АЛЕСЬ АДАМОВИЧ
ДАНИИЛ ГРАНИН

БЛОКАДНАЯ КНИГА

Annotation

Переиздание широко известного произведения, в котором, основываясь на большом фактическом материале — документах, письмах, воспоминаниях ленинградцев, переживших блокаду, — авторы рассказывают о мужестве защитников города, о героических и трагических днях обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

-
-
- 900 БЛОКАДНЫХ ДНЕЙ
  -
- ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
  - ТОЛЬКО МЫ САМИ ЗНАЕМ…
    -
  - НЕИЗВЕСТНОЕ ПРО ИЗВЕСТНУЮ ФОТОГРАФИЮ
  - СПОРЯЩИЕ ГОЛОСА
  - ЗАСЛАННЫЙ В ГОРОД
  - НАЕМНЫЙ УБИЙЦА
  - БЛОКАДНЫЙ БЫТ
  - НА РАБОТЕ
  - ЧТО МОЖНО БЫЛО СДЕЛАТЬ
  - ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ
  - У КАЖДОГО БЫЛ СВОЙ СПАСИТЕЛЬ
  - БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ
  - ЧЕМ ЛЮДИ ЖИВЫ?
  - ЛЕНИНГРАДСКИЕ ДЕТИ
  - А ВПЕРЕДИ ЕЩЕ ДВА ГОДА…
  - ЭТА БЕССМЕРТНАЯ,
- ЧАСТЬ ВТОРАЯ
  - ТРОЕ ИЗ ТРЕХ МИЛЛИОНОВ
    -
  - «НИКУДА Я ИЗ ГОРОДА НЕ ПОЕДУ»
  - ПЕРВАЯ ЭВАКУАЦИЯ ДЕТЕЙ
  - «МАЛЫЙ РАДИУС» ГЕОРГИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА КНЯЗЕВА
  - О ТЕХ, КТО БЫЛ РЯДОМ
  - «МНЕ — 16 ЛЕТ»
  - ЧЕМУ УЧИЛИ СТОИКИ
  - ПЕРВАЯ БОМБЕЖКА
  - ДНЕВНИКИ, ДНЕВНИКИ…
  - СОТЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ
  - КОНЧИЛОСЬ ДЕТСТВО
  - ЧЕРТА
  - КТО-ТО ВСЕГДА ЗАПИСЫВАЕТ
  - ОЛЕДЕНЕВШИЕ СФИНКСЫ
  - ГОЛОД НЕ ТЕТКА, СОВЕСТЬ НЕ СОСЕД
  - ПРЕДЕЛЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ

- ИРИНА КАРТОЧКА
- СПАСТИ ДЕТЕЙ
- НА ЧТО ОПИРАЛАСЬ ДУША
- КРУГ СУЖАЕТСЯ
- ПОСЛЕДНИЕ СТРАНИЦЫ
- ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ
- ОБЯЗАННОСТИ ИСТОРИКА
- «ЛИХОРАДОЧНО ТОРОПЛЮСЬ ЖИТЬ…»
- УЕЗЖАЮТ 900 ТЫСЯЧ[39]
- «…ЗАЧЕМ-ТО ШАПКУ СНЯЛ»
- ПРАВЕДНЫЕ И НЕПРАВЕДНЫЕ
- ТЯЖЕСТЬ КНИГ
- МОЮ ТЫ ЗЕМЛЮ НЕ ПОШАТНЕШЬ
- ЖИВОМУ — ЖИТЬ

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31

- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41

Librs.net

Благодарим Вас за использование нашей библиотеки Librs.net.

900 БЛОКАДНЫХ ДНЕЙ

900 дней противостоял Ленинград вражеской осаде, и каждый из этих дней был отмечен высокой боевой и трудовой доблестью ленинградцев. Никакие лишения и страдания блокадного времени не поколебали их верности социалистической Родине.

Грандиозная битва за Ленинград началась в первой половине июля 1941 года, когда немецко-фашистские войска, захватившие часть Прибалтики, устремились к городу на Неве. В планах гитлеровского командования его захвату отводилось важное место. Оно учитывало не только экономическое и стратегическое значение города Ленина, но и тот факт, что он является колыбелью Великого Октября. Захват Ленинграда по расчетам немецких генералов должен был предшествовать взятию Москвы.

По указанию Политбюро ЦК ВКП(б) Ленинградская партийная организация, представлявшая собой боевой, закаленный отряд партии, возглавила всю политическую, военную и хозяйственную жизнь города. В короткий срок в действующую армию из Ленинграда было направлено 300 тысяч человек. На производство вооружения, снаряжения и боеприпасов для фронта переключились ведущие отрасли ленинградской промышленности.

Партийная организация Ленинграда выступила инициатором создания народного ополчения — одной из наиболее массовых форм участия советских людей в вооруженной борьбе с фашистскими захватчиками. В течение июля — сентября было сформировано 10 ополченческих дивизий, вобравших в себя лучших представителей рабочего класса и интеллигенции Ленинграда. Семь из этих дивизий, получив необходимый боевой опыт, стали вскоре кадровыми.

На фронт ушла большая часть сил Ленинградской партийной организации. В первые полгода войны она дала Вооруженным Силам 70 тысяч коммунистов — свыше трети своего состава. В части армии и флота влилось около 200 тысяч комсомольцев — юношей и девушек.

Неся огромные потери, гитлеровцы рвались к Ленинграду. В начале сентября им удалось выйти к его юго-западным окраинам, захватить Шлиссельбург. Связь со страной по суше оказалась прерванной. Враг предпринимал попытки ворваться в город, но советские войска и ополченцы стояли насмерть. В конце сентября атаки противника прекратились. «Победа в оборонительных сражениях на подступах к Ленинграду, — вспоминал позднее Г. К. Жуков, командовавший в сентябре 1941 года войсками Ленинградского фронта, — была достигнута совместными усилиями всех видов вооруженных сил и родов войск, опиравшихся в своей борьбе на героическую помощь населения города… История войн не знала такого примера массового героизма, мужества, трудовой и боевой доблести, какую проявили защитники Ленинграда. Огромная заслуга в этом ленинградских городской и областнои партийных организации, их умелая и оперативная организаторская деятельность и высокий авторитет у населения и в войсках».[01]

Срыв планов врага по захвату Ленинграда имел важное военно-стратегическое значение. Советские войска не только оборонялись, но и переходили к активным действиям, лишая гитлеровское командование возможности перебросить часть своих сил на московское направление.

Блокированный врагом город стал главной базой оборонявших его войск, их основным арсеналом. Несмотря на острую нехватку топлива и электроэнергии, в темных и холодных цехах собирались танки, изготовлялись пушки и минометы, боеприпасы, снаряжение и обмундирование. Часть произведенной в Ленинграде военной продукции была переправлена воздушным путем советским войскам, сражавшимся на московском направлении.

Осенью в Ленинграде развернулось патриотическое движение за создание народного фонда обороны страны; ленинградцы отдавали в фонд обороны свои сбережения, отчисляли средства из заработной платы, жертвовали драгоценности. Сотни тысяч рублей на постройку боевой техники были заработаны на воскресниках. Общая сумма средств, внесенных ленинградцами в фонд обороны к октябрю 1941 года, составила около 600 миллионов рублей.

В условиях блокады город был основным источником пополнения войск Ленинградского фронта. В самое тяжелое время — первую блокадную осень и зиму — он дал вооруженным силам более 80 тысяч новых бойцов. Это было особое пополнение—люди, познавшие страдания блокады, пережившие смерть родных и близких, готовые сражаться против захватчиков не щадя жизни.

Каждые сутки тысячи мужчин и женщин из групп самозащиты и противопожарных постов жилых домов дежурили на крышах. Вместе с бойцами МПВО они тушили зажигательные бомбы, разбирали завалы, спасали людей из-под обломков рухнувших зданий. Несмотря на интенсивные вражеские бомбежки и обстрелы, жизненные центры города продолжали действовать. Пример ленинградцев еще раз доказал, что успешный отпор врагу зависит не только от боеспособности армии, но и от участия в борьбе всего народа.

Потерпев неудачу в попытке овладеть Ленинградом штурмом, немецко-фашистское командование избрало своими орудиями голод, холод, уничтожение города авиацией и тяжелой артиллерией. В документе гитлеровского генерального штаба, называвшемся «О блокаде Ленинграда», цинично заявлялось о твердом намерении сравнять Ленинград с землей, полностью истребить его население.

Отрезанные от Большой земли, защитники Ленинграда сражались не в одиночестве. Неразрывными нитями они были связаны со страной, с многомиллионным советским народом. Партия делала все возможное, чтобы облегчить положение блокированного Ленинграда с его 2,5-миллионным населением. В конце августа 1941 года в город прибыла комиссия ЦК ВКП(б) и Государственного Комитета Обороны «для рассмотрения и решения… всех вопросов обороны Ленинграда и эвакуации предприятий и населения».[02] В комиссию входили член ЦК, заместитель Председателя СНК СССР А. Н. Косыгин, член ЦК, нарком Военно-Морского Флота Н. Г. Кузнецов, командующий Военно-Воздушными Силами Красной Армии П. Ф. Жигарев, начальник артиллерии Красной Армии Н. Н. Воронов. На основе предложений комиссии ГКО принял постановление «О транспортировке грузов для Ленинграда», которым предусматривалась доставка в город продовольствия, вооружения, боеприпасов и горючего водным путем через Ладожское озеро.

Организация продовольственного снабжения Ленинграда превратилась в одну из важнейших государственных задач. По призыву ЦК ВКП(б) большую работу по оказанию всенародной помощи городу Ленина развернули ЦК компартий союзных республик, крайкомы и обкомы. Общее руководство обеспечением города продовольствием возлагалось на члена Политбюро ЦК, заместителя Председателя СНК СССР А. И. Микояна. В сентябре ГКО направил в Ленинград наркома торговли РСФСР Д. В. Павлова, назначив его своим уполномоченным по продовольственному снабжению войск и населения.

Обкому и Ленинградскому горкому партии, коммунистам Северо-Западного речного пароходства, морякам Ладожской военной флотилии понадобились поистине героические усилия для того, чтобы наладить перевозки по осенней Ладоге. Вражеские самолеты бомбили катера, буксиры и баржи, совершали налет за налетом на строящиеся портовые сооружения и причалы. Многие суда были потоплены или затонули во время штормов. Тем не менее до середины ноября в Ленинград было доставлено 25 тысяч тонн продуктов питания, сотни тонн горючего, значительное количество боеприпасов и вооружения.

Наряду с перевозками по Ладоге доставка грузов в Ленинград осуществлялась и по воздуху. По распоряжению ГКО на ленинградских трассах работали летчики Особой северной авиагруппы и Московской авиагруппы особого назначения, прикрываемые истребителями. Им приходилось летать в любую погоду, днем и ночью, в условиях господства вражеской авиации в воздухе, которая охотилась за предельно перегруженными транспортными машинами. С сентября по декабрь 1941 года в Ленинград воздушным путем было доставлено свыше 6 тысяч тонн продуктов питания и 1660 тонн боеприпасов и вооружения.

Несмотря на предпринимаемые партийными и советскими органами героические усилия, продовольствия поступало меньше, чем его требовалось городу и фронту. В течение сентября — ноября нормы выдачи хлеба населению снижались пять раз. Резко сократилась суточная норма питания в войсках. С 20 ноября ленинградцы стали получать самую низкую хлебную норму за весь период блокады: рабочие — 250 граммов, все остальные категории — 125 граммов. Фактически минимальный паек выдавался двум третям населения блокированного города, которым пришлось особенно тяжело. Кусочек суррогатного хлеба, содержавшего до 40 процентов различных примесей, отныне стал почти единственным продуктом питания, — остальное выдавалось в крайне ограниченном количестве, с задержками и перебоями.

Вместе с голодом на ленинградцев обрушились и другие бедствия. Нехватка топлива повлекла за собой остановку турбин электростанций. С ноября 1941 года от сети были отключены многие заводы и фабрики, коммунально-бытовые учреждения, трамвайные и троллейбусные линии. Прекратилась подача тепловой энергии в дома, вышли из строя водопровод и канализация.

Острый недостаток питания, рано наступившие холода, изнурительные пешие переходы на работу и домой, постоянная нервная напряженность сказались на здоровье людей. Темп смертности среди населения с каждой неделей неумолимо рос. Главной причиной была дистрофия, голодное истощение.

Партийная организация Ленинграда приняла самые жесткие меры по экономии продовольствия, строжайшему распределению продуктов питания и топлива. В декабре Военный совет Ленинградского фронта пошел на крайнюю меру, постановив передать населению города более 300 тонн продовольствия из неприкосновенных запасов, хранившихся в Кронштадте и на фортах.

Положение Ленинграда глубоко беспокоило партию и правительство, всех советских людей. Неоднократно предпринимались попытки прорвать блокадное кольцо, но сил для этого еще не хватало. В ноябре—декабре 1941 года советские войска разгромили противника под Тихвином и отбросили его за Волхов. Эта победа означала спасение от голодной смерти тысяч людей, так как через Ладожское озеро — единственную оставшуюся коммуникацию — Ленинград сохранил связь со страной.

По указанию ЦК партии по озеру в короткий срок была проложена ледовая трасса, названная позднее ленинградцами Дорогой жизни. Коллективы промышленных предприятий выделили автомашины и технику, инженеров и рабочих. Горком партии направил на трассу 80 коммунистов комиссарами автомобильных колонн. Для проведения политической работы на трассу по партийной мобилизации было также послано свыше 700 человек с ленинградских предприятий. По инициативе коммунистов и комсомольцев развернулось движение водителей-двухрейсовиков; отдельные шоферы успевали делать даже по 3–4 рейса в сутки.

Тяжел и опасен был труд работников трассы. Машины попадали под бомбежки, проваливались в полыньи, моторы глохли на морозе, но движение не прекращалось. Увеличивался поток грузов блокированному городу, одновременно шла и эвакуация населения в глубь страны, вывозилось оборудование, необходимое для военной промышленности.

По указанию правительства железнодорожные составы с продовольствием для Ленинграда пропускались в первую очередь. О поступлении грузов на перевалочные базы ежедневно докладывалось Государственному Комитету Обороны. Более 150 партийных и советских работников, выехавших из Ленинграда на узловые станции, в ближайшие областные центры, вместе с представителями местных органов содействовали ускоренной отправке продовольствия осажденному городу.

152 дня действовала ледовая Дорога жизни. За это время по ней была доставлена 361 тысяча тонн грузов, из них 262 тысячи тонн продовольствия. Из Ленинграда было эвакуировано около 550 тысяч человек. «История ладожской дороги, — писала 9 мая 1942 года «Правда», — это поэма о мужестве, настойчивости и стойкости советских людей».

Благодаря умело организованным перевозкам по Ладожской ледовой трассе произошло заметное увеличение продовольственных запасов. Это позволило с 25 декабря 1941 года по 11 февраля 1942 года трижды повысить нормы выдачи хлеба ленинградцам и увеличить нормы по другим продуктам питания. Как и в начале введения карточной системы, рабочие стали получать ежедневно 500 граммов хлеба, служащие — 400, иждивенцы и дети — 300 граммов. Наступил долгожданный перелом в снабжении населения продовольствием.

В декабре 1941 года бюро Ленинградского горкома партии постановило создать специальные лечебные учреждения (стационары) для наиболее истощенных жителей. Десять — двадцать дней, проведенные в стационарах, поднимали большинство больных на ноги, возвращали их к жизни и труду. В самый трудный период блокады в более чем ста стационарах восстановили свои силы 64 тысячи ленинградцев, главным образом рабочие фабрик и заводов. В апреле 1942 года во всех районах города открылись столовые повышенного типа, рассчитанные на обслуживание больных дистрофией первой и второй степени. К концу июля около 260 тысяч ленинградцев смогли поправить в них свое здоровье. Поисками эффективных путей борьбы с алиментарной дистрофией и разработкой рациональной системы питания занимались видные ученые-медики и научные учреждения.

Партийные и советские органы особую заботу проявляли о детях. По решению бюро горкома партии, принятому в январе 1942 года, были открыты столовые для школьников младшего и среднего возраста. Горячую пищу в них стали регулярно получать около 30 тысяч детей. Весной в Ленинграде действовало почти сто детских домов, приютивших 13 тысяч ребят.

В начале января 1942 года Ленинградский горком партии обсудил вопрос о наведении элементарного порядка в домах. Работники райкомов и райисполкомов, секретари партийных организаций, руководители предприятий и учреждений, комсомольские и профсоюзные активисты обходили квартал за кварталом, устанавливая на месте размер и характер необходимой помощи. Многие инспектирующие сами едва держались на ногах от слабости и истощения. В домах устанавливались кипятильники, устраивались обогревательные пункты, оборудовались комнаты для тяжелобольных.

По заданию горкома партии комсомольские организации взяли под свой контроль всю «цепочку» доставки продуктов населению города, начиная от их перевозки по железной дороге и кончая выдачей населению. Во всех районах города из комсомольцев были организованы бытовые отряды. Их бойцы, преимущественно девушки, обследовали около 30 тысяч квартир, оказали помощь тысячам больных, истощенных и обессиленных от голода людей.

Первая блокадная зима, поставившая ленинградцев перед величайшими испытаниями, ярко показала замечательные качества советских людей, воспитанных партией. Измученные лишениями блокады, ленинградцы во имя любви к социалистической Отчизне и своему народу находили силы держаться, работать и побеждать.

С приближением весны неотложной задачей партийных и советских организаций, всего

населения стало наведение санитарного порядка в городе. Проспекты и дворы, набережные и площади были покрыты толстым слоем снега и льда, завалены мусором и нечистотами, из которых вытаивали неубранные трупы. Ленинградцы, выдержавшие самые жестокие и суровые дни, должны были теперь подняться на борьбу с новым врагом — угрозой эпидемии. Горком партии и Исполком Ленгорсовета мобилизовали все трудоспособное население на очистку города. К середине апреля огромная по объему работа, в которой ежедневно участвовало около 300 тысяч человек, была в основном завершена. По главным проспектам города снова пошли пассажирские трамваи.

Город постепенно набирал силы. Возрождалось городское хозяйство, дом за домом получал воду, восстанавливалась канализация, открывались бани, прачечные, парикмахерские. В июне вступил в строй трубопровод для горючего, проложенный по дну Ладожского озера. А еще через два месяца по проведенному через озеро кабелю город получил энергию Волховской ГЭС.

С каждым днем полнее и увереннее бился пульс производственной жизни Ленинграда. С июня по сентябрь его промышленность сумела восстановить производство почти всех образцов военной техники, которые она производила в первые месяцы войны. К осени 1942 года город-фронт выпускал артиллерийские орудия, минометы, танки, станковые и ручные пулеметы, автоматы, снаряды, мины, приборы — всего около ста видов боевой продукции. Это была еще одна важная победа трудящихся героического Ленинграда.

Город, ставший в полном смысле крепостью с единым, закаленным гарнизоном, жил, боролся, вместе со всей страной ковал оружие победы над врагом. «Ленинград — фронт, каждый ленинградец — боец». Эти слова отражали уклад жизни в осажденном городе.

Прошло еще несколько месяцев, и наконец блокада была прорвана. Воины Ленинградского и Волховского фронтов устремились через Шлиссельбургско-Синявинский выступ навстречу друг другу. В полдень 18 января 1943 года, на шестой день наступления, войска обоих фронтов соединились. Свершилось то, о чем мечтал каждый ленинградец, вынесший на своих плечах всю тяжесть блокады.

Прорыв блокады позволил установить постоянную железнодорожную связь с Большой землей. Уже 7 февраля ленинградцы встретили на Финляндском вокзале поезд с Большой земли, доставивший в осажденный город продовольствие. Тяжелой и упорной была борьба за дееспособность фронтовой магистрали, названной Дорогой победы. Артиллерия противника систематически обстреливала поезда, разрушала пути и переправы. Более тысячи раз пришлось строителям ликвидировать крупные повреждения железнодорожного полотна, десять раз восстанавливать мост через Неву. Несмотря на все трудности, магистраль продолжала действовать. В течение 1943 года по ней было проведено в Ленинград более 4700 поездов с топливом, вооружением, боеприпасами, сырьем и продовольствием.

Прорыв блокады Ленинграда незамедлительно сказался на снабжении населения продовольствием. С конца февраля 1943 года в городе начали действовать продуктовые нормы, установленные правительством для крупных промышленных центров страны. Рабочие и инженерно-технические работники стали ежедневно получать 600 граммов хлеба, служащие — 500, дети и иждивенцы — 400 граммов. Увеличились нормы снабжения и другими продуктами питания.

Наступил новый этап в жизни осажденного города. С начала года Государственный Комитет Обороны принял ряд постановлений, предусматривавших возобновление производства на крупнейших промышленных предприятиях Ленинграда. Началась работа по восстановлению разрушенных заводских цехов и корпусов. Скоро в городе действовало свыше 200 предприятий, дававших фронту сотни видов вооружения и боеприпасов. Первые шаги делались и по возрождению выпуска мирной продукции.

Однако враг еще был у ворот. Его самолеты поднимались с аэродромов, расположенных вблизи Ленинграда, его артиллерийские орудия вели огонь по жилым кварталам и госпиталям, улицам и предприятиям. Если в 1942 году артиллерийские налеты на городские районы были совершены 390 раз, то в 1943 году — 2490. Летом и осенью обстрелы иногда не прекращались сутками. Ленинградские артиллеристы и летчики самоотверженно боролись с артиллерией врага. Успешную контрбатарейную борьбу с противником вели артиллеристы кронштадтских фортов и кораблей Балтийского флота. Но окончательно снять постоянную угрозу обстрелов могло только полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады. И этот час пришел.

В середине января 1944 года мощный удар трех фронтов — Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского, поддержанных Балтийским флотом, взломал оборону фашистских армий. За две недели упорных боев от врага были освобождены Пушкин, Павловск, Петродворец, Красное Село, Гатчина, Новгород и другие города. Никогда ленинградцы не забудут день 27 января 1944 года. С волнением и радостью слушали они по радио обращение Военного совета Ленинградского фронта: «Город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады… Граждане Ленинграда! Мужественные и стойкие ленинградцы! Вместе с войсками Ленинградского фронта вы отстояли наш родной город».[03] Вечером в честь победы прогремел артиллерийский салют.

Ленинградская битва завершилась сокрушительным разгромом немецко-фашистских войск. Вся страна гордилась этой победой. Общей была борьба за город Ленина, и все делили по праву радость его полного освобождения от блокады. Родина высоко оценила беспримерный подвиг Ленинграда: город-герой в январе 1945 года был награжден орденом Ленина. «Девятисотдневная защита осажденного города, — подчеркивали позднее Центральный Комитет партии, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР, — это легендарная повесть мужества и геройства, которая вызвала удивление и восхищение современников и навсегда останется в памяти грядущих поколений».[04]

Какие силы помогли выстоять городу Ленина?

Источником несгибаемого мужества ленинградцев, их несокрушимой стойкости было руководство Коммунистической партии. Главным результатом всей многообразной деятельности партийной организации города, отмечал А. А. Жданов, было то, что в Ленинграде, как и во всей стране, партийным стал народ. В первые полтора года войны в ряды Ленинградской партийной организации влилось свыше 21 тысячи человек — это было убедительным подтверждением величайшего доверия ленинградцев к партии, свидетельством ее авторитета.

Общая борьба и общая судьба спаяли воинов фронта и жителей города в единый боевой коллектив.

Моральной поддержкой для ленинградцев были слова братского привета, шедшие из всех республик, краев и областей страны. Многочисленные выступления радио и печати, нескончаемый поток телеграмм и приветствий, шедших в осажденный город, вдохновляли ленинградцев на решительную борьбу с врагом. Велика и многообразна была материальная помощь, оказанная страной Ленинграду на протяжении войны. С военных заводов воинам, защищавшим крепость на Неве, шло вооружение и боевая техника. Отклик в сердцах миллионов людей нашел призыв Коммунистической партии развернуть всенародную кампанию помощи городу Ленина. Несмотря на то что страна испытывала нехватку товаров, советские люди стремились поделиться с ленинградцами продуктами питания, одеждой, обувью. Русские и казахи, узбеки и киргизы, грузины и армяне, азербайджанцы и таджики внесли свой вклад в фонд продовольственной помощи Ленинграду. В этой помощи ленинградцам ярко проявилось единство народов Советского государства.

Победа под Ленинградом стоила немалых жертв. Защищая город-герой, погибли тысячи воинов Советской Армии и моряков Балтийского флота. Огромные потери понесло и гражданское население Ленинграда, страдавшее от бомбардировок и обстрелов, голода и холода. Тяжелый материальный ущерб был нанесен городу, его промышленности и хозяйству, памятникам искусства и архитектуры.

Страна высоко оценила подвиг ленинградцев. В декабре 1942 года Президиум Верховного Совета СССР учредил медали за оборону городов-героев, и среди них медаль «За оборону Ленинграда». Эту медаль получили около полутора миллионов человек.

Сорок лет отделяют нас от того героического времени. Но и сейчас живут тысячи людей, участников беспримерной битвы за город Ленина, испытавших тяжкие дни голода, холода, лишений, пожаров, бомбежек и артиллерийских обстрелов, утраты родных и близких. Для них и для последующих поколений, на долю которых выпало величайшее счастье жить без войны, память о стойкости Ленинграда священна. «Когда-нибудь наши дети, потомки, живя в счастливой и радостной стране нашей, будут по книгам изучать историю героической обороны Ленинграда в 1941–1942 годах, будут изучать традиции ленинградцев в период суровых испытаний, — писал в своем дневнике партийный работник Кировского завода Л. П. Галько. — Да, изучать это будущему поколению надо… Голодные люди падают и умирают на улицах, предприятиях, но умирают они как герои, без единого слова, без стона и жалоб». На такое способны только советские люди, воспитанные партией.

Предлагаемая читателю книга рассказывает о героизме жителей осажденного фашистами Ленинграда, переживших тяжелейшие блокадные дни. Авторы, известные писатели А. Адамович и Д. Гранин, опираясь на собранные ими рассказы и дневники переживших блокаду, знакомят нас с обыкновенными ленинградцами, которые самоотверженно и скромно выполняли свой патриотический долг.

Перед читателем проходят разные люди. Мужчины и женщины, взрослые и дети, рабочие и служащие, военные и гражданские, коммунисты и беспартийные — советский народ, который показал свою убежденную преданность социалистическому образу жизни, перенес неслыханные трудности и победил в жестоком единоборстве с врагом. Авторов интересует в первую очередь пережитое, ибо, говорят они, «надо прежде всего представить всю меру лишений, утрат, мучений, пережитых ленинградцами, только тогда можно оценить высоту и силу их подвига».

Книга эта правдива, потому что строго документальна. В ней все реально, все достоверно. Многие из героев книги живы, и мы можем встретить их на улице, во дворе дома или на лестнице. Книга эта — памятник тем, кому не суждено было дожить до Победы, памятник, убедительно повествующий о мужестве и стойкости павших.

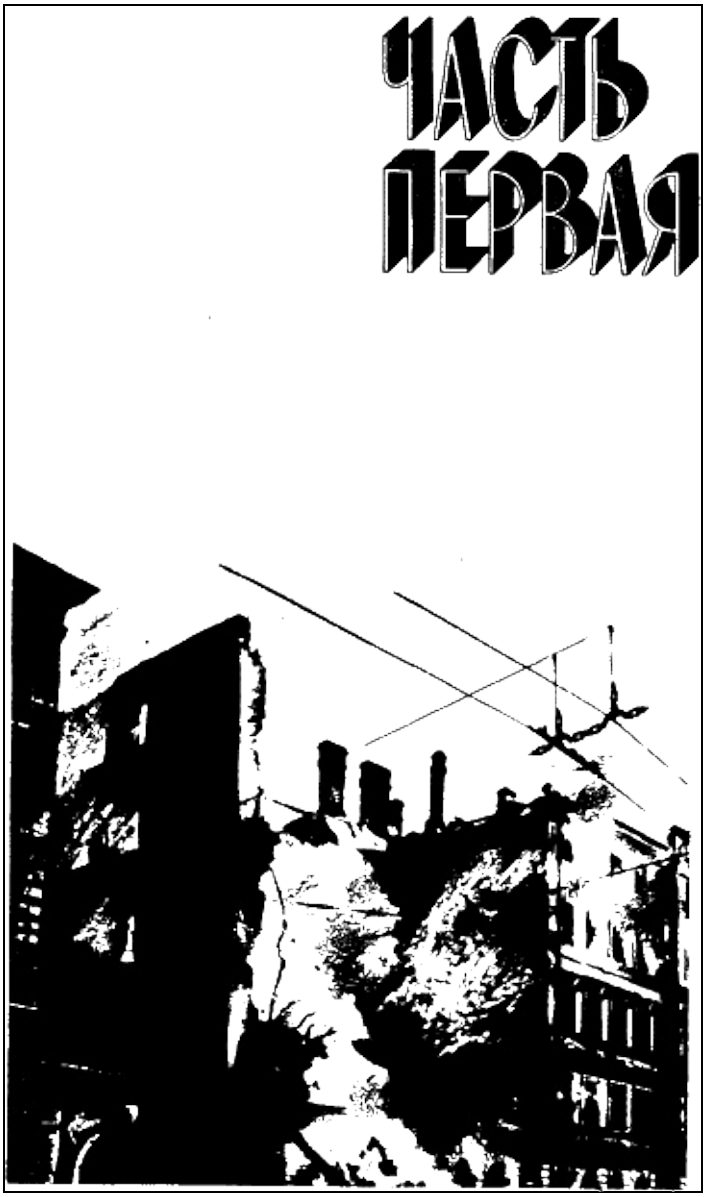
А. П. Крюковских

АЛЕСЬ АДАМОВИЧ
ДАНИИЛ ГРАНИН

БЛОКАДНАЯ КНИГА

ЛЕНИЗДАТ
1984

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



ТОЛЬКО МЫ САМИ ЗНАЕМ…

У этой правды есть адреса, номера телефонов, фамилии, имена. Она живет в ленинградских квартирах, часто с множеством дверных звонков — надо только нажать нужную кнопку, возле которой значится фамилия, записанная в вашем блокноте. Ожидавшая или не ждавшая вашего посещения, вашего неожиданного интереса, она взглянет на вас женскими или не женскими, но обязательно немолодыми и обязательно взволнованно-оценивающими глазами («Кто?.. Почему?.. Зачем им это?»). Проведет мимо соседей к себе и скажет тоже почти обязательное: «Сколько лет прошло… Забывается все…»

Ленинградские дома, квартиры блокадников…

Вообразите себе солдата, который живет сегодняшним мирным бытом, но окружен теми же стенами, предметами, как бы все в той же землянке, в том же окопе. Следы осколков от снаряда на потолке (старинном, лепном), осколков стекла на глянце пианино. Пятно-ожог от «буржуйки» на блестящем паркете…

«А здесь паркет испорчен — это мой муж в последнее» время колол мебель. Пока он не умер на этом вот диване. Вот здесь…» (Ден Александра Борисовна).[05]

«Вот если посмотреть из окон, такой обзор у нас… Ипподром. Чуть налево, если высунуться из любого окна, — Обуховская больница, а вправо — газовый завод. В ту сторону нам можно было смотреть на Бадаевские склады…» (Пенкина Нина Вячеславовна).

«Мы встречали 42-й Новый год вот в этой комната уже совершенно замороженной. На этом месте стояла «буржуйка». Вывод трубы от нас был вот в тот вентилятор. Видите желтое пятно? Его ничем не замазать, потому что здесь «буржуйка» стояла…» (Усова Лидия Сергеевна).

Лидия Сергеевна и сейчас хранит черные занавески, за которыми прятала от самолетов свет своей коптилки. Говорит, не веря сама, но говорит: «Уничтожу их — война начнется!»

Бабич Майя Яновна вспоминает и показывает: «В блокаду мы остались с мамой вдвоем. В нашей квартире собрались ее приятельницы, и сверху пришли. И в этой квартире, в одной комнате, которая была дальше всего от улицы, в глубине квартиры, все и сгрудились. Стекла были выбиты, и одно окно закрыли вот этим ковром, турецкий ковер ручной работы. Потом матрац прислонили к одному окну… Осколки снарядов залетали в окна, застревали в стенах…»

…Тут его, ленинградца, обстреливали, обрушивали на него смерть — снаряды, бомбы. Тут его истребляли голодом. Он потерял здесь стольких близких, соседей, здоровье потерял. А сейчас (здесь же!) живет, как все. Как все, только со всех сторон окружен памятью…

И в нем самом она, та память о блокаде, о всем выстраданном, пройденном, пережитом вместе с миллионами других ленинградцев, которых уже нет, за которых тоже надо помнить, а если спрашивают — рассказать… «Столько лет прошло, забывается все…» Но ничто не забыто — эти родившиеся в Ленинграде же слова звучат и как уверенность и как надежда, просьба. Да, не забыто — разве может человек такое забыть, даже если бы и хотел, имел право?! Да, все это помнят еще живущие блокадники. Они блокаду выдержали, они переносили ее изо дня в день, сохраняя человеческое достоинство. Но мы, мы, не пережившие этого, или сегодняшние молодые, — имеем ли мы право не стараться узнать обо всем, что вынесли, пережили, перестрадали, сделали и ради нас они, ленинградцы?!

И вот сегодня мы пришли к нему, к ней — именно к этому человеку, чтобы «все записать», потому что время все быстрее уносит свидетелей, участников, тех, кто был, кто знал, кто видел…

Откровенно говоря, мы многого не знали, не знали, какие жестокие вещи стоят за привычными словами «ленинградская блокада». Даже мы, прошедшие войну — один в

белорусских партизанах, другой на Ленинградском фронте, — казалось, привычные ко всему, были не готовы к этим рассказам. Они ведь, эти люди, щадили нас все годы, но себя, рассказывая, уже не щадят…

Понять и унести безжалостную быль «ленинградской памяти» легче, если видишь этих людей — самих рассказчиков, а не только слышишь их голоса (с магнитофона) или читаешь их воспоминания.

Многое в этих людях удивительно и неожиданно. Но потом все оказывается таким простым, понятным, таким человеческим… и еще более поразительным.

Например, поражает и бесконечно трогает — сколько их, бывших блокадников, писали и пишут… стихи. Не просто и не только дневники, воспоминания, но и стихи. Едва ли не каждый десятый. (Даже тогда писали. Например, в 1943-м женщина посылает письма-стихи на Большую землю, а ей отвечает, тоже стихами, эвакуированная ленинградка-племянница…) Что это — влияние самого города с его несравненной поэтической культурой? Или же слишком врезалось в сознание ленинградца, как оно было: голод, блокада и стихи (об этом же) — и все рядом? Он их слышал, слушал по радио, жадно, как никогда до этого, — стихи Ольги Берггольц (да и не только ее). Можно было бы и не придавать особого значения «непрофессиональному» увлечению стихами взрослых людей, если бы за этим не виделось большее, главное: сквозь годы многое в блокаде светится поэтически, проступает романтика общего подвига. Нет, не в том смысле, что ленинградец опускает в своих воспоминаниях холод, голод, трупный ужас тех дней и ночей. Все это живет в нем как крик боли до сих пор. Но во всем и надо всем — понимание почти каждым (поразительно!), что это были исторические дни и ночи, сознание, что Ленинград — единственный город, который устоял перед самой длительной блокадой, что образ города этого помог миру, человечеству остановиться на краю страшной пропасти. Отрезанный, блокированный город был, и это надо понять, силен своим неодиночеством, к нему были устремлены внимание, любовь, вера всей страны. Неслыханные жертвы, немыслимые испытания, о которых рассказывает блокадник, просветлены чувством гордости, поэтическим чувством: зато Ленинград устоял! Мы выстояли! Жизнь продолжается!

…Вот так настал,
одетый в кровь и лед,
сорок второй необоримый год.
О, год ожесточенья и упорства!
Лишь насмерть,
насмерть всюду встали мы.
Год Ленинграда,
год его зимы,
год Сталинградского
единоборства.
В те дни отхлынул быт.
И смело
в права свои вступило бытие.

Ольга Берггольц

Сколько нужно было выстрадать, пропустить сквозь себя блокадного горя, женской тоски, ленинградской надежды, ожидания («Когда, когда же наконец?!»), чтобы поэтически увидеть

прорыв блокады, тридцать лет сохранять образ и чувство и вот так рассказать:

«Демобилизовали, и я работала уже с 9 января 1944 года на трамвае, он ходил по Невскому. И вот первый день снятия блокады. Начали военные корабли стрелять. Это такое было зрелище, что я никогда не забуду. Красивое и страшное. Как будто с Невы вся вода, огненно-красная, поднимается и летит через наши головы, а потом сильный грохот…» (Петрова Анна Алексеевна, ул. Бассейная, 74, корп. 1).

О блокаде Ленинграда, о героических защитниках невской твердыни, о «наемном убийце» фашистов — блокадном голоде существует обширная документальная литература.

Немало душ, сердец во всем мире потряс зимний дневничок маленькой Тани Савичевой: «Бабушка умерла 25 янв…», «Дядя Алеша 10 мая…», «Мама 13 мая в 7.30 утра…», «Умерли все. Осталась одна Таня».

В драгоценно-подробных дневниках писателя Павла Лукницкого «Ленинград действует» и в записках, дневниках (опубликованных) других свидетелей и участников героической ленинградской эпопеи есть много нестареющей правды, нужной людям.

За послевоенные годы выпущены, особенно в Ленинграде, сборники воспоминаний участников героической обороны Ленинграда и прорыва блокады — генералов, полководцев, рядовых солдат Ленинградского фронта. Изданы воспоминания партийных и советских работников, которые сумели в условиях блокады наладить жизнь осажденного города, поддерживать стойкость в людях, осуществить «Дорогу жизни». Есть воспоминания юных защитников города — школьников, юнг, воспоминания тех, кто создавал в блокированном городе овощную базу, заготавливал лес, торф… Книга об ученых ленинградской блокады, артистах, художниках, врачах, учителях.

Созданы очерки, повести, романы, начиная от «Балтийского неба» Н. Чуковского, «В осаде» В. Кетлинской, книг О. Берггольц, Н. Тихонова, В. Инбер, Вс. Вишневского, А. Фадеева… Все они честно, талантливо, страстно изображали увиденное, пережитое, опыт самих авторов и их героев. Многотомная «Блокада» А. Чаковского вобрала в себя и документы и факты, передающие мужество великого города. И то, как связана была история ленинградской блокады с историей всей Великой Отечественной войны.

Что еще можно поведать людям, миру обо всем этом? И нужно ли это ему, сегодняшнему миру?

Мы хотели дополнить картину свидетельствами людей о том, как они жили во время блокады. Записать живые голоса участников блокады, их рассказы о себе, о близких, о товарищах. Обыкновенные ленинградцы, работавшие и неработавшие, холостые и семейные, мастера, рабочие, дети, инженеры, медсестры, — впрочем, дело не в специальностях и должностях. Мы ограничивали себя, свой интерес к профессиям, к службам, потому что не в силах охватить разные стороны жизни огромного города, показать все разделы. Нас интересовало прежде всего пережитое. Мы хотели записать, понять, сохранить все то, что было пережито, прочувствовано, изведано душами людей, не вообще людей, а конкретных людей с именами и адресами, старых и молодых, сильных и слабых, тех, кого спасали, и тех, кто спасал… Оказалось, что быт и бытие сошлись в тех условиях, когда ведро воды, коптилка, очередь за хлебом — все требовало невероятных усилий, все стало проблемой для измученного, ослабевшего человека…

Откуда брались силы, откуда возникала стойкость, где пребывали истоки душевной крепости?

Перед нами стали, открываться не менее мучительные проблемы и нравственного порядка. Иные мерки возникали для понятия доброты, подвига, жестокости, любви. Величайшему испытанию подвергались отношения мужа и жены, матери и детей, близких, родных,

сослуживцев.

В рассказах людей вставали те сложные моральные задачи, которые приходилось решать каждому человеку. Мы увидели необычайные примеры крепости духа, примеры благородства, красоты, исполнения долга, но и — неслыханных страданий, мучительных лишений, смертей…

Не всегда было ясно — пришло ли время для этих рассказов такой жестокой беспощадности? А с другой стороны — не ушло ли, не упущено ли время и возможность рассказать об этом так, как это было вживе и въяве, так, как это помнят лишь сами ленинградцы?..

В морозные дни обстрелов, голодных галлюцинаций узнаваемый всеми радиоголос Ольги Берггольц говорил ленинградцам и от их имени:

«Только мы сами знаем, какого отдыха мы все заслужили». «И Ленинград щадил ее (Родину), мы долго ничего не говорили о боли, которую испытывали, скрывали от нее свое изнеможение, преуменьшали свои пытки…» «Они девятьсот дней осаждали Ленинград, подвергая его таким пыткам, о которых до сих пор не расскажешь…»

Это говорилось в 1942-м, в 1943-м, в 1945-м.

Да, ленинградец блокаду переносил изо дня в день с трагической стойкостью, достоинством. С тем же достоинством долгие годы удерживал, сохранял в себе обжигающую правду о пережитом.

И вот сегодня мы пришли к нему, к ней — именно к этому человеку, чтобы «все записать», потому что «пришло время», «люди хотят знать», «людям надо…».

Будоража их все еще воспаленную болью и утратами душу, мы не раз спрашивали себя: а надо ли, а имеем ли право? Ответом служат сами же рассказы ленинградцев. В них — в тексте, в интонации — звучит: да, нам тяжело, больно вспоминать, но еще больнее было бы думать, что такое никому не нужно, кроме нас самих.

А ведь действительно, если все это было на планете — тот блокадный смертельный голод, бессчетные смерти, муки матерей и детей, — то память об этом должна служить другим людям и десятилетия и столетия спустя.

Уже с 1944 года, со дня снятия блокады, когда выставку обороны Ленинграда стали переделывать в Музей обороны, начался, по сути, правдивый, впечатляющий рассказ о героизме девятисот дней. Один из создателей музея, Василий Пантелеймонович Ковалев, наизусть помнит все экспонаты, он рассказывает так, словно ведет нас из зала в зал: вот зал авиации с бомбардировщиком, который первым бомбил Берлин в сорок первом году, а вот в зале артиллерии миномет братьев Шумовых, дальше — несколько залов партизанского движения…

Был там и дневник Тани Савичевой, тот самый, который выставлен ныне в центре мемориала Пискаревского кладбища. Записки девочки (она погибла в 1945 году в эвакуации) стали одним из грозных обвинений фашизму, одним из символов блокады. Дневник имеет свою историю. «Принес его Лев Львович Раков, директор музея, — рассказывал нам В. Ковалев. — Эта маленькая книжка производила невероятное впечатление. Зал, в котором она была, отличался особенным оформлением: потолок был сделан в виде палатки, были колонны, изображающие лед, и при входе в зал была витрина, покрытая как бы изморозью. За этой витриной стояли весы и на весах лежало 125 граммов хлеба, а напротив была витрина, в которой был сосредоточен материал по пайкам, которые выдавались ленинградцам. Паек все уменьшался, уменьшался, дошел до 125 граммов, потом, с открытием «Дороги жизни», начал возрастать. Посреди музея стояла витрина из старого музея Ленинграда, с одной стороны лежал дневник Тани Савичевой, синим карандашом написанный, с другой стороны лежали ордена погибших в блокаду, в том числе лежали документы погибшего молодого человека. А перед этим залом был зал снайперский.

Я помню, как стояла леди Черчилль у этого экспоната — дневника Савичевой, стояла около витрины, и на глазах были слезы, когда ей перевели содержание. Стоял у этой книжки Эйзенхауэр. Он был в музее вместе с Жуковым. Буденный долго стоял, Калинин. (Кстати, дом, в котором когда-то жил Калинин, был как раз напротив музея, в том же Соляном переулке.)…»

…Данная наша работа потребовала собрать тысячи страниц дневников и записок блокадников, тысячи страниц, «снятых» с магнитофонной ленты, — что с этим делать? Что отобрать и как выстроить? Без такой, без авторской, работы материал сам себя похоронит; кто и когда это прочтет?

А с другой стороны, главными авторами все-таки должны оставаться блокадники. Они рассказывали — мы записывали. Они передали нам свои дневники, свои записки-воспоминания. Теперь это и нашей памяти боль и богатство.

Читателю конечно же нужны, интересны прежде всего те, кто сам все это пережил, люди-свидетели, люди-документы. Мы это сознавали, да и поневоле немеешь перед их правдой и судьбой. Свою авторскую задачу и роль мы видели в том, чтобы дать ленинградцам возможность встретиться друг с другом на страницах нашей работы, в главах блокадной книги. У этих сотен столь разных людей судьба одна — ленинградская, блокадная. У них столько общих мыслей, чувств, неуходящих образов, картин одно потянется к другому, голос отзовется на голос, боль, слеза — на боль и слезу, гордость, что все же выстояли, — на гордость… Что из этого отобрать, оставить? Есть факты явно невыносимые, есть истории легендарные, которые и не проверить… Мы опускаем сотни страниц того, что так старательно искали, записывали, расшифровывали, если эти страницы не выдерживают соседства других страниц, рассказов, судеб. Надо было оставить самое значительное и самое обыденное. Хотелось сохранить и всю индивидуальность и «неправильность» рассказа, «голоса» в ущерб любым литературным соображениям. Литература (и хорошая) уже была. И еще будет. Всему свое время и место. У литературы свои преимущества и возможности. Но и своя ограниченность, если имеешь дело с таким событием и такими страданиями. Пусть на этих страницах выговорится сама память блокадная — ее языком и «стилем». Поэтому мы просим принять неправильности и повороты живого рассказа. Скорее попросим извинить нас за некоторые поправки, сокращения, за наши вторжения и комментарии, за невольные «разрывы» житейских и семейных судеб…

Люди не только голодали, не только умирали, не только преодолевали страдания — они еще и действовали. Они работали, они помогали воевать, они спасали, обслуживали других, кто-то снабжал ленинградцев топливом, кто-то собирал детей, организовывал больницы, стационары, обеспечивал работу заводов, фабрик. В сущности, это было в каждом рассказе — голод, холод, обстрелы, лишения, смерти и, следовательно, душевные проблемы, порождаемые страданиями, и тут же активность людей, то, что они делали, как боролись, несмотря ни на что. Три эти стороны жизни появлялись в любом рассказе. Конечно, в каждом рассказе, в каждой судьбе три эти части не расчленены. Разъединять цельное повествование трудно. Потому что каждый рассказ был рассказом не о каком-то случае. В блокаду люди жили, поэтому и рассказывали они о всей жизни, где сплетались воедино и предвоенные годы, и семья, и послевоенная судьба, там были и фронт, и эвакуация, и нынешняя жизнь. Из этого цельного, связанного чувством и настроением изложения приходилось брать, выдирать один какой-то эпизод, а то всего лишь фразу, мысль, то есть разрывать неразрывное. Приходилось исключать в рассказах фронт, хотя город был неотделим от него. Было обидно обходить бойцов Ленинградского фронта, которые несли тяготы голода, не имели сил прорвать блокаду, освободить город, но в то же время не пустили фашистов в город, не позволили им снять войска из-под Ленинграда для других фронтов. Не только враг держал город в блокаде, но и голодные, малочисленные армии Ленинградского фронта лютой хваткой держали гитлеровские армии у

стен Ленинграда.

Один за другим — ударами Синявинской операции и на Московской Дубровке — срывались немецкие планы захвата города Ленина. Всего не объять: у этой части книги своя тема.

Блокадная книга составлена из записей, рассказов нескольких сотен человек. Мы не могли упомянуть всех, кого записали, не могли использовать всего собранного материала. Но все равно так или иначе они присутствуют в этой книге, в этом отборе. Мы начали с переживаний, может наиболее заповедных, к которым память рассказывающих (всех) прикасается осторожно, с особой болью и трепетностью, но устремлена она в ту сторону обязательно и постоянно — это голод, это обстрелы, бомбежки, первая осень, первая зима блокады 1941/42 года и весна 1942 года. С этого приходится начинать. Надо прежде всего представить всю меру лишений, утрат, мучений, пережитых ленинградцами, только тогда можно оценить высоту и силу их подвига.

НЕИЗВЕСТНОЕ ПРО ИЗВЕСТНУЮ ФОТОГРАФИЮ

В. А. Опахова с дочерьми Лорой и Долорес. Фото ЛЕНТАСС, май. 1942 г.

…Весенний день 1942 года. Две женщины идут по улице, с ними девочка лет пяти — она на ходу пытается поиграть, попрыгать…

В этот момент их сфотографировал военный корреспондент где-то в районе Невского.

Эту фотографию мы потом увидели в музее Ленинграда, в музее Пискаревского кладбища, в книгах и альбомах, посвященных блокаде. Ее перепечатывают в журналах в памятные даты вместе с фотографиями занесенных снегом троллейбусов, саночек с мертвецами…

Присмотревшись, видите: первая женщина постарше, вторая — еще ребенок, девочка, но и лицо и фигура у нее старушечьи. А у прыгающей девочки не ножки — спички, и только колени уродливо раздались…

Мы всматривались заново в эту фотографию, сидя в квартире Вероники Александровны Опаховой. Скоро пришла и ее дочь, Лора Михайловна, такая же невысокая, как мать, такая же приветливая, но более сдержанная, с какой-то неуходящей грустью в глазах.

На столе перед нами лежал семейный альбом. Знаменитая на весь мир блокадная

фотография здесь, в этой квартире, — семейная память…

Женщины, что сидели перед нами, никак не связывались в воображении, не соединялись с теми, что на фотографии.

Блокадники вкраплены в массу ленинградцев.

Эту женщину, Веронику Александровну, многие, возможно, даже видели, приходя на Мойку в Академическую капеллу. Старая женщина с очень «домашним», добрым лицом проверяет билеты, предлагает программки. Кажется, что она вам лично благодарна за то, что пришли. Может быть, еще и потому, что вы, не зная того, пришли послушать и ее дочь Лору Михайловну, которая поет в хоре. А живут они тут же, на Мойке, в двух шагах от места работы.

В их непросторной квартире мы долго рассматривали знаменитую фотографию. От нее и начался рассказ сначала матери, затем и дочери.

«…— Вы не видели людей, которые падали от голода; вы не видели, как они умирали; вы не видели груды тел, которые лежали в наших прачечных, в наших подвалах, в наших дворах. Вы не видели голодных детей, а у меня их было трое. Старшей, Лоре, было тринадцать лет, и она лежала в голодном параличе, дистрофия была жуткая. Как видите по фотографии, это не тринадцатилетняя девочка, скорее старуха.

— Вероника Александровна, вот эта слева — Лора?

— Да… Мне было тридцать четыре года, когда я потеряла мужа на фронте. А когда нас потом эвакуировали вместе с моими детьми в Сибирь, там решили, что приехали две сестры — настолько она была страшна, стара и вообще ужасна. А ноги? Это были не ноги, а косточки, обтянутые кожей. Я иногда и сейчас еще смотрю на свои ноги: у меня под коленками появляются какие-то коричнево-зеленые пятна. Это под кожей, видимо, остатки цинготной болезни. Цинга у нас у всех была жуткая, потому что сами понимаете, что сто двадцать пять граммов хлеба, которые мы имели в декабре месяце, это был не хлеб. Если бы вы видели этот кусок хлеба! В музее он уже высох и лежит как что-то нарочно сделанное. А вот тогда его брали в руку, с него текла вода, и он был как глина. И вот такой хлеб — детям… У меня, правда, дети не были приучены просить, но ведь глаза-то просили. Видеть эти глаза! Просто, знаете, это не передать… Гостиный двор горел больше недели, и его залить было нечем, потому что водопровод был испорчен, воды не было, людей здоровых не было, рук не было, у людей уже просто не было сил. И все-таки из конца в конец брели люди, что-то такое делали, работали. Я не работала, потому что, когда я хотела идти работать, меня не взяли, поскольку у меня был маленький ребенок. И меня постарались при первой возможности вывезти из Ленинграда: ждали более страшных времен. Не знали, что все пойдет так хорошо, начнется прорыв и пойдут наши войска, пойдет все очень хорошо. Нас вывезли в июле месяце сорок второго года.

— А третья — ваша младшая?

— Да. Как видите, она пытается прыгнуть, хотя ее колено вот такое было: оно было все распухшее, налитое водой. Ей четыре года. Что вы хотите? Солнышко греет, она с мамой идет, мама обещает: вот погуляем, придем домой, сходим в столовую, возьмем по карточке обед, придем домой и будем кушать. А ведь слово «кушать» — это было, знаете, магическое слово в то время. А дома она, бывало, садилась на стул, держала в руках кошелек такой, рвала бумажки — это было ее постоянное занятие — и ждала обеда. Животик у нее был, как у всех детей тогда, опухший и отекший. Потом, когда мы покушаем, она снова садится на свой стул, берет эти бумажечки и снова рвет, наполняет кошелек.

— Вроде карточек они ей казались?

— Да, она бумажки рвала вроде как талончики на хлеб. Она занималась уничтожением мелких бумажоночек. Сейчас она взрослый человек, у нее двое детей.

— Как ее зовут?

— Ее зовут Долорес. Она родилась в тридцать седьмом году. У меня муж был военный. Жили мы тогда в военном городке. В то время вернулись очень многие наши военные, которые были в Испании. Мужу понравилось это испанское имя, и он дал его дочке.

— А где погиб ваш муж?

— Муж погиб в сорок втором году при переправе через Ладогу. Он был человеком мирной профессии. Он музыкант, был гражданским дирижером любительских оркестров. Потом ушел на военную службу и стал военным дирижером. И медиком. Был обучен и как медик. А среднюю дочь Бертой зовут, она тоже жива. Все они у меня живы, вся тройка.

— Вы получали иждивенческие карточки?

— Да, иждивенческие, поскольку я не работала. Я была в санитарной бригаде у нас в доме. Но когда врач узнал, что у меня трое детей, меня освободили. А так я ходила заниматься на медицинские курсы, ну, первая помощь: упал раненый, каким-то осколком подбило, надо втащить в дом, в сануголок, перевязать. Тогда все ленинградцы занимались этим.

— Где вы жили?

— Жили на Гражданской улице, в Октябрьском районе, дом девятнадцать. Сейчас наш дом — Мойка, двадцать, квартира семнадцать. Дочь моя работает уже двадцать лет здесь, в Капелле.

— И вы тоже?

— Я работаю тоже в Капелле, с шестьдесят восьмого года, билетером. У нас на Гражданской была двадцатиметровая комната и такая семья — вот дочери и дали эту квартиру.

— Вот здесь на фотографии — куда вы идете сейчас?

— Насколько я понимаю, это Невский проспект. У нас маршрут был такой: мы выходили из дома, шли по Майорова, по Герцена, делали круг сюда, к ДЛТ. [06] Я их водила, чтобы отвлечь от мысли, что надо кушать. Мы просто гуляли. Лора только что поднялась. Врач сказал, что ее надо больше тренировать в ходьбе: у нее совершенно была отнята левая сторона. Видите — она идет с палочкой. И врач говорил, что пусть она как можно больше ходит. Так что мы делали очень большие круги. Даже иногда заходили в кино, смотрели, чтобы отвлечь как-то мысли от еды.

— Кинотеатры работали?

— Работали уже. Мы раз в кинотеатре «Молодежный» смотрели кинокартину «Свинарка и пастух», и была тревога. Сеанс прервали, зал затемнили, и мы немножко посидели там. Зимой, конечно, было труднее, потому что, сами понимаете, воды не было, водопровод нарушен. Значит, люди шли с чайниками, кастрюльками, с санками — кто как мог. И вот в этих люках (были люки открыты с чистой водой) брали воду. А потом у нас в доме дали воду в прачечную, и мы в эту прачечную ходили цепочкой, потому что там лежали груды мертвых, которых увозили машины. Подбирали по улице мертвых, складывали в прачечной (потом машина приезжала и забирала). И там же вода была, в прачечной. Так что мы шли рука за руку. Кто боялся, тот не смотрел в ту сторону.

— А цепочкой шли потому, что боялись?

— Во-первых, потому что боялись, а потом потому, что не было света. Первый несет лучину, как в деревне, и последний несет лучину, а остальные все идут и держат в руках кто чайник, кто кувшинчик. Надо же помыться, надо же попить, надо и приготовить.

— Сговаривались?

— Сговаривались с соседями по лестнице, по площадке и шли. Если я вот могла взять кого-либо из ребят, давала чайник или кувшин, чтобы шли вместе.

— Вернемся к фотографии. Вы гуляли по проспекту Майорова, а потом?

— Потом шли по Герцена до Невского, вот здесь, около кино «Баррикада», выходили на Невский. Здесь была открыта масса магазинчиков с канцелярскими принадлежностями, с

книжками.

— Это февраль — март сорок второго года?

— Это скорее апрель — май, перед нашим отъездом. Увозили в июле (у меня где-то даже эваколисток есть). Меня тогда в военкомат пригласили как жену военнослужащего, потому что у меня в мае прекратилась выплата по аттестату. Тут я начала жить на то пособие небольшое, что мне военкомат давал на детей, поскольку их было трое.

— Лора Михайловна, а вы помните вот этот день? Как вы тут идете с матерью, с сестренкой?

— Нет.

— А другие прогулки, подобные этой, помните? Сколько вам тогда было лет?

— Мы с мамой, казалось, тогда одинакового были возраста. А мне не было тринадцати лет.

— Вы помните свое состояние болезни, голода? Как вы помните свои двенадцать-тринадцать лет?

— По-моему, самое страшное — это когда человек все время хочет есть, а есть ему нечего совершенно. А второе, когда ни руки, ни ноги не действуют и не знаешь, будешь ли ты жить и действовать вообще. Врач приходила каждый день и смотрела, но я понимала, что она только проверяла, жива я или не жива.

— А помочь нечем было?

— Чем врач могла помочь? Она выписала шроты, ну, жмых, выжимки, которые были у нас в детской больнице, шротовое молоко. Но это все было, конечно, несъедобное. У нее было две таких больных, как я, то есть я и еще одна девочка.

— Это был голодный паралич?

— Паралич на почве дистрофии. Однажды она пришла и сказала, что моя «напарница» умерла.

— Она это вам сказала?

— Нет, она сказала маме, но у меня слух хороший, и я слыхала, что она сказала за дверями в коридоре. Вроде того, что и со мной должно повториться. И когда на другой день она пришла и увидела, что я жива, она даже удивилась. А потом я встретила эту врачиху. Это после войны, наверно, в пятьдесят третьем году было. Мы шли, у меня ребенок уже был, маленький. Она маму спрашивает: «Как вы живете? Как ваша семья, муж? Лора, конечно, умерла?» Я говорю: «Доктор! Я жива, у меня даже ребенок на руках». Она онемела, она не знала, что сказать. То есть это вообще чудо из чудес получилось.

— И что же вас спасло? Мама?

— Мама, конечно, с папой, пока он был. И очень хотелось жить. Вы даже не представляете! Я даже удивляюсь, что у ребят моего возраста была такая большая сила воли. Очень хотелось жить.

— А какой была младшая сестренка, вы помните?

— Ну как же! Я помню, у нее такое состояние было, что она сидела и стригла бумагу. У нее мозоли на руках были от этого. Это, конечно, такое психическое состояние было у ребенка. Маленькая, четыре годика. Ей есть все время хотелось, понимаете? Когда ребенок есть хочет, он просит. А она не просила, потому что понимала, что взять неоткуда. Она сидела и стригла и рвала бумажки, то есть даже могла сойти с ума.

— Стригла до мозолей?

— Да, у нее пальцы были в мозолях. Когда мама отнимала у нее ножницы, она находила новую бумажку и молча начинала ее рвать».

Позже мы встречали похожее и в других рассказах о блокадных голодающих детях.

Мальчики и девочки рвали, стригли бумажки, сидели, покачиваясь из стороны в сторону, что-то ковыряли непрерывно, методично, стараясь как-то заглушить сводящее с ума чувство голода.

«— Вы говорите, Вероника Александровна, Лора заболела в декабре?

— Да. В декабре. Она пошла первый раз в булочную сама. Стояла в очереди. Пришла и сказала, что у нее ножка слабая, ватная какая-то. Ну, полежала. Ничего. Потом пошла со мной дрова пилить, потому что врач говорила, что тепло — это первое дело, кроме еды, нужно еще и тепло. И вот когда мы пошли с ней пилить дрова, она свалилась окончательно. Наверх ее уже пришлось нести. Она лежала с декабря до мая. Я не могу сказать время точно, конечно, но в начале мая она начала вставать. И врач, которая ходила к нам, говорила, что обязательно делайте прогулки побольше, чтобы укрепиться, потому что был период такой в декабре — январе, когда мы все легли, не было уже сил ни бороться, ни желания встать, ни желания что-либо делать. Двери в квартире были открыты настежь, входил кто хотел. И вот как-то раз пришла врач, я лежала, и все лежали, потому что мы уже потеряли всякие ощущения от такой жизни. Врач на меня так накричала, сказала, что по квартире мы должны ходить. Ух как она меня ругала! Это все-таки был хороший очень доктор. Она ходила к нам изо дня в день, хотя и не надеялась, что мы выживем. В последнее время она мне говорила: «Что я могу? Разве только подписать акт о смерти». Ко мне приходили из ЖАКТа, проверяли, жива ли Лора. Это потому, что в то время бывало, когда люди умирали, оставшиеся пользовались их карточками. Ну, и всегда удивлялись, что она вот лежит, но живет. У нее было желание что-то иногда делать, что-то почитать, что-то пошить одной рукой, как-то приспособиться. И вот потом (я об этом говорила), когда наступила весна, пригрело солнышко, мы пошли гулять. Мне врач сказала: ходите, ходите, ходите, укрепляйте ноги. Ноги очень болели — после лежания долгого и после цинги.

— Вы говорили, что Лору соседки не узнали?

— Да. Мы вышли, и я думала недалеко с ней идти. Я'решила, что мы посидим на солнышке, погреемся и пойдем обратно, все-таки еще на четвертый этаж надо поднять ее. Пусть она и весила всего ничего, но и я весила в то время сорок два килограмма. Вы сами понимаете, что это тоже уже вес одних костей. Мне было трудно поднимать ее. И соседки сказали, слава богу, мол, зиму вы пережили благодаря тому, что старшая девочка умерла, а вы пользовались ее карточкой. Тут Лора заплакала и сказала: «Мамочка! Пойдем отсюда. Не будем слушать этих старух!» Они не поверили, что она жива. Не узнали… Мы начали делать прогулки. Сначала прогулки были не очень большие, а потом больше и больше. Как раз во время прогулки, видимо, я и натолкнулась на этого товарища, на фотографа.

— Когда вы впервые увидели эту фотографию?

— Впервые в Музее обороны. Даже не я увидела. Я была у своей приятельницы, мы с ней очень давно дружим. И она тоже прожила с ребятами долго здесь, в Ленинграде, и тоже эвакуировалась уже летом. Ее сын был в Музее обороны. А мальчишки, знаете, бегали туда, там были сбитые самолеты, немецкие каски, оружие и так далее. Он прибежал и говорит: «Тетя Роня! А я вас видел!» А я говорю: «Где же ты меня видел?»—«А я, говорит, был в музее, и там вы, Лора и Доля, все трое. И написано: «Ленинградцы на прогулке»… Когда у меня гостила с Севера средняя дочь, она была в музее и попросила, чтобы нам отпечатали эту фотографию. Но поскольку она сама уехала, пришлось идти туда Лоре. Вот когда Лора пришла и попросила, чтобы ей выдали эту фотографию, и когда она ее увидела, с ней стало плохо. Вы сами понимаете — увидеть себя в таком состоянии! И вспомнить все это! Снова за какой-то короткий момент пережить весь этот страх и ужас! Мужчина к ней подошел, какой-то тамошний сотрудник, и говорит: «Что вы плачете? В этот год — сорок первый и сорок второй — погибла такая масса

народу. Не плачьте! Их уже нету. А вам жить надо». А женщина, которая выдавала фотографии, говорит ему: «Вы видите, это она сама!» Он ужасно смутился, отошел от нее с извинениями. Вот так мы получили эту фотографию. И я храню ее у себя. Все-таки пускай она будет, хотя это ужасно, конечно, и страшно, и всегда вызывает волнение и слезы».

СПОРЯЩИЕ ГОЛОСА

Вот что стоит за одним снимком. Для безвестного военного фотографа-корреспондента он означал надежду, пробуждение к жизни. Для нас, сегодняшних, он — взгляд издали в ту страшную и легендарную блокадную реальность. Для семьи Опаховых, матери и дочерей, это живая боль памяти.[07]

И ты, мой друг, ты даже в годы мира,
Как полдень жизни, будешь вспоминать
Дом на проспекте Красных Командиров,
Где тлел огонь и дуло от окна.
Ты выпрямишься, вновь, как нынче, молод,
Ликуя, плача, сердце позовет
И эту тьму, и голос мой, и холод,
И баррикаду около ворот.

Ольга Берггольц

Надежды эти казались поэтическим образом, мечтой, а не предвидением. Прошло тридцать пять лет, и оказалось, что Ольга Берггольц права. Страшные, голодные годы вспоминаются с ужасом, с тоской, со слезами, «ликуя и плача», сердце зовет и удивляется стойкости собственной души, ее возможностям, силе подвига ленинградцев.

Только поэзия обладает таким даром пророчества. В пустых, вымороженных, темных квартирах после мертвого стука метронома звучал негромкий, чуть запинающийся женский голос, который ждали все ленинградцы. Сквозь голодные видения к людям прорывались сострадание и любовь. Они исходили от женщины, которая так же мучилась, голодала, все понимая, все чувствуя.

И вот спустя целую жизнь мы приходим к этим людям и просим рассказать нам о блокаде. Не вообще о блокаде, о ней много написано, а о своей жизни в блокаду. Первое, что они отвечали:

«Это слишком тяжело, это невозможно, я не хочу вспоминать, нет, нет, у меня было чересчур страшное…»

Про других, про отдельные эпизоды — как работала фабрика или как рыли окопы и ставили противотанковые надолбы — пожалуйста. Но только не про свою жизнь. А мы просили именно про это, про себя, про свои переживания. В конце концов они соглашались. За исключением, может, двух или трех человек. Может быть, некоторые рассказывали не все. Иногда они щадили нас. Иногда они боялись за себя. Погружаться в прошлое было мучительно. Рассказывая, плакали, умолкали, не в силах справиться с собою. После этих рассказов некоторые долго не могли успокоиться… В последующие дни многие звонили нам, приходили, писали, вспомнив что-то еще и еще или же, наоборот, ужасаясь тому, что прорвалось, прося стереть запись.

Они боялись вернуться в блокадный город, в свою заиндевелую квартиру, в которой человек «у себя на кровати замерзал как в степи» (О. Берггольц). Мы настаивали с жестокостью, которая нам самим была тягостна и даже стыдна. Мы просили, ссылаясь на историю, на новые поколения, которым надо знать все как было. Втайне нас мучили сомнения — стоит ли? Для чего снова спустя десятилетия вытаскивать из забвения немыслимые муки и унизительные страдания человеческие? Разве это кому-нибудь поможет?

Рассказав нам и про голод, про госпиталь, где она работала, и про эвакуацию, Галина Евгеньевна Экман-Криман закончила так: «Не хочется к этому возвращаться. Забывать не надо, да и не забудется никогда, но все-таки я не хочу вспоминать».

Оглядываясь сегодня назад, люди не верят себе, тому, что они могли. Это был особый взлет человеческих способностей: да, в самой тяжкой поре жизни был и взлет. Об этой поре не хочется вспоминать, но когда вспоминаешь, начинаешь думать, что все же это была пора, когда каждый мог свершить, проявить благородство, раскрыть щедрость своей души, ее смелость, любовь и веру.

У каждого оказывался свой рассказ. У каждого было свое. Повторения были неизбежны, но все равно в каждом рассказе была своя, ни на что не похожая история.

Мы слушали, записывали, и не раз нам казалось: вот он — предел страданий, горестей, но следующая история открывала нам новые пределы горя, новую вершину стойкости, новые силы человеческого духа.

Насыщение материалом не проходило. Мы так и не дошли до того ожидаемого края, когда дальнейшие рассказы уже ничего существенного не могут добавить к тому, что мы знаем. Может, этот край где-то впереди, еще через тридцать, пятьдесят рассказов, а может, его вообще нет и такого насыщения не существует.

Когда мы 5 апреля 1975 года делали свою первую запись, приехав к Марии Гурьяновне Степанчук (ул. Шел-гунова, д. 8), мы знали про главную боль ее памяти — про погибшую девочку. Но женщина настойчиво и как-то испуганно уходила от этого… И мы не решились настаивать. Потом оказалось, что именно этим причинили человеку еще большее страдание. Сложное это чувство — блокадная память!

— А знаете, что было после вашего ухода? — позвонила нам женщина, от которой мы получили адрес Марии Гурьяновны. — Прибежала ко мне расстроенная, что не рассказала главного: «Я боялась, что расплачусь, если заговорю о девочке, и не смогу дальше рассказывать, и люди зря приезжали, старались».

Затем, растревоженная, объехала всех подруг и знакомых блокадных (из двадцати семи, как сказала нам женщина, осталось их у нее четверо). Сходила на могилу дочери, сходила в церковь. И заболела, слегла.

И, кажется, не только потому, что воспоминания расстроили. Но и от какого-то чувства вины перед своей погибшей дочерью, о которой ничего не рассказала: словно бы она пожертвовала ее памятью, чтобы только «не помешать» нам работать — собирать блокадную быль.

А потом Галина Максимовна Горецкая (знакомая наша) показала ей вышедшую в Ленинграде книгу «По сигналу воздушной тревоги», где описана трагедия и того рокового для ее дочери обстрела, и взрыва на заводе (девочка находилась в яслях вблизи завода). Каким-то странным образом это подействовало на женщину не то чтобы успокаивающе, но все же сняло напряжение последних дней. Увидела, убедилась: значит, и без ее рассказа люди будут знать, будут помнить!..

Есть в воспоминаниях блокадников и спор, а точнее, продолжение спора (не повседневного ли?) с теми, кто не только «не помнит», но и сердится, когда напоминают. Это как с ребенком в семье: вы его оберегали-оберегали от жизненных драм (чужих) и горя (чужого)—«пусть окрепнет душа», — а потом обнаруживается черствость, глухота…

— Меня спрашивают: блокада, блокада. А что такое на самом деле блокада? Внучка в прошлом году писала и нынче говорит: у тебя доказательств нету.

Это вырвалось у Таисии Васильевны Мещанкиной (ул. Софьи Ковалевской, д. 9) с обидой уже под конец ее рассказа. Она пыталась, и не раз, дома, среди своих же детей и внуков

рассказать какие-то подробности про блокаду — не верили. А чем она могла доказать?

— Вот я вам говорю и думаю: может быть, и вы не поверите?

Мы сплошь и рядом сталкивались с этим ожиданием; недоверия, болезненным, опасливым чувством, которое возникало по ходу воспоминаний; по мере того как человек слышал себя, он настораживался, его история сглаживалась, усыхала, подменялась общеизвестными фактами.

«…— Моя знакомая преподает в техникуме, — рассказал Нил Николаевич Беляев. — У них в семьдесят пятом году состоялась встреча какого-то старого блокадника ленинградца с рассказом для студентов о положении дел в сорок втором — сорок третьем году. И когда он, значит, рассказывал все эти тяжелые истории, что людям приходилось испытывать во время голода, то многие студенты слушали весьма и весьма, так сказать, невнимательно. А после его рассказа вышла девушка и сказала, что она не понимает, что же здесь такого: подумаешь, человек в день не съел эти сто двадцать пять или сто пятьдесят граммов хлеба, да она сейчас может неделю не есть хлеба и отлично себя чувствовать.

— Причем без всякой иронии это?

— Неизвестно… Ведь сейчас вообще вроде считают, что хватит говорить о блокаде».

То, что они сыты и благополучны — девушка, возражавшая блокаднику, и сомневающаяся внучка, — это, конечно, хорошо. Но вот что эти ребята, кажется, «моральные дистрофики» (ленинградское, военного времени, выражение) — это уже хуже.

Но это самое простое — обвинить в глупости, в благополучии, в бездушии. Или же отмахнуться от них, признать исключением. Стоит вдуматься — при намерениях самых благих, при душевной и гражданской чуткости легко ли человеку, никогда не испытавшему голода, вот так, с ходу, умозрительно представить себе, что это такое. Что такое долгий ленинградский голод и что значит, при этом голоде кусочек хлеба в 125 граммов, что значит обломок хлебной корки… Нет, требовать этого от человека, выросшего в сытости, в тепле, нельзя, ему рассказывать надо терпеливо, убедительно, воображение его разбудить. Преемственность поколений налагает обязанности на тех и на других. Новые поколения должны узнать, услышать рассказы людей, которые все это перенесли и пережили.

«Мы старались не рассказывать, но я думаю иногда, что, может быть, мы неправильно сделали, потому что и Тамарин сын и Виктор не понимают. А мы избегали всегда с ними об этом говорить, рассказывать. Может быть, и зря, потому что они так и не поняли. Мишка как-то сказал Тамаре: «Подумаешь! Вот папа — он на фронте был!» (Сезеневская Нина Вячеславовна).

Во время одной из записей блокадного рассказа возник разговор, поразивший нас. Рассказывала женщина, слушали ее дочь, зять, внуки. Такое бывало часто. Конечно, и нам и рассказчику лучше было обходиться без посторонних слушателей, но это не всегда удавалось. И уединиться было некуда, кроме того, любопытство одолевало и домашних и соседей. Впрочем, иногда реплики слушателей помогали, их недоверие, их сочувствие, ахи, слезы, возбуждали память.

Та запись, о которой идет речь, была нелегкой, рассказ был тяжелым, и, видимо, младшим все эти подробности о бедах их семьи были неизвестны. Они хотели все знать и не хотели. Сами они никогда не стали бы расспрашивать, но тут слушали внимательно, напряженно. Первым не выдержал зять. Не такой уж и молодой, не ленинградец, он воскликнул:

— Зачем, ну зачем нужны были такие страдания? Сдать надо было город. Избежать всего этого. Для чего людей было губить?

Так просто, естественно вырвалось у него, с досадой на нелепость, на странность того, минувшего. Поначалу мы не совсем поняли, что он имел в виду. Ему было лет тридцать пять, бородатый, вполне солидный мужчина, казалось, он не мог не знать. Потом мы сообразили, что мог. То есть, вероятно, он где-то когда-то слыхал, читал о приказах гитлеровского

командования, о планах фюрера уничтожить, выжечь, истребить, но ныне все это стало выглядеть настолько безумным, фантастичным, что наверняка потеряло реальность.

Время, минувшие десятилетия незаметно упрощают прошлое, мы разглядываем его как бы сквозь нынешние нормы права и этики.

В западной литературе мы встретились с рассуждением уже иным, где не было недоумения, не было ни боли, ни искренности, а сквозило скорее самооправдание капитулянтов, мстительная попытка перелицевать бездействие в доблесть… Они сочувственным тоном вопрошают: нужны ли были такие муки безмерные, страдания и жертвы подобные? Оправданы ли они военными и прочими выигрышами? Человечно ли это по отношению к своему населению? Вот Париж объявили же открытым городом… И другие столицы, капитулировав, уцелели. А потом фашизму сломали хребет, он все равно был побежден — в свой срок…

Мотив этот, спор такой звучит напрямую или скрыто в работах, книгах, статьях некоторых западных авторов. Как же это цинично и неблагодарно! Если бы они честно хотя бы собственную логику доводили до конца: а не потому ли сегодня человечество наслаждается красотами и богатствами архитектурными, историческими ценностями Парижа и Праги, Афин и Будапешта да и многими иными сокровищами культуры, и не потому ли существует наша европейская цивилизация с ее университетами, библиотеками, галереями, и не наступило бездонное безвременье «тысячелетнего рейха», что кто-то себя жалел меньше, чем другие, кто-то свои города, свои столицы и не столицы защищал до последнего в смертном бою, спасая завтрашний день всех людей?.. И Париж для французов да и для человечества спасен был здесь — в пылающем Сталинграде, в Ленинграде, день и ночь обстреливаемом, спасен был под Москвой… Той самой мукой и стойкостью спасен был, о которых повествуют ленинградцы.

Когда европейские столицы объявляли очередной открытый город, была, оставалась тайная надежда: у Гитлера впереди еще Советский Союз. И Париж это знал. А вот Москва, Ленинград, Сталинград знали, что они, может быть, последняя надежда планеты…

«Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли… — так гласила секретная директива 1-а 1601/41 немецкого военно-морского штаба «О будущности города Петербурга» от 22 сентября 1941 года. Далее следовало обоснование —…После поражения Советской России нет никакого интереса для дальнейшего существования этого большого населенного пункта. Финляндия точно так же заявила о своей незаинтересованности в дальнейшем существовании города непосредственно у ее новой границы. Предложено тесно блокировать город и путем обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сровнять его с землей. Если вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты… С нашей стороны нет заинтересованности в сохранении хотя бы части населения этого большого города».

Документ этот напечатан в материалах Нюрнбергского процесса (изд. 3-е, М., 1955, т. 1, с. 783).

Указание это повторялось неоднократно. Так, 7 октября 1941 года в секретной директиве верховного командования вооруженных сил было: «Фюрер снова решил, что капитуляция Ленинграда, а позже — Москвы не должна быть принята даже в том случае, если она была бы предложена противником…» («Нюрнбергский процесс», т. 1, с. 784).

Кейтель указывает командующему группой армий «Центр»: «Ленинград необходимо быстро отрезать и взять измором».

Москва и Ленинград обрекались на полное уничтожение — вместе с жителями. С этого и должно было начаться широко то, что Гитлер имел в виду: «Разгромить русских как народ». То есть истребить, уничтожить как биологическое, географическое, историческое понятие.

Но подвиг ленинградцев вызван не угрозой уничтожения… Тогда, в блокадные глухие дни,

в снежных сугробах Подмосковья о ней лишь догадывались, ее представляли. Документами она подтвердилась куда позднее. Нет, тут было другое: простое и непреложное желание защитить свой образ жизни. Мы не рабы, рабы не мы, мы должны были схватиться с фашизмом, стать на его пути, отстоять свободу, достоинство людей.

Вот в чем оправдание и смысл подвига Ленинграда, вот от чего ленинградцы и все наши люди спасали себя и человечество, от каких жертв и мук, ради чего шли на любые страдания, мучения, даже не помыслив об «открытых» городах.

Чтобы оценить это, надо ощутить меру испытаний, вынесенных нашим народом.

«Как-то мне задали такой вопрос, — пишет Александра Федоровна Соколова, — почему у вас столько медалей, в том числе и «За победу над Германией»? Вы же не были на фронте? Верно, не были, а видели и перенесли не меньше, чем на фронте: знаю на вкус каждую травинку, вкус торфа, военных ремней, что остались у меня от финской войны…»

Нет, это не обычная склонность старших подчеркнуть преимущества свои и своего времени над людьми и временами нынешними. До поры до времени многим из них вообще не хотелось ни вспоминать, ни рассказывать. Даже казалось ненужной жестокостью.

Откладывали на дальше, на потом, когда придет время…

Мы отомстим за все, о чем молчали,
За все, что скрыли от Большой земли,—

звучали по радио стихи Ольги Берггольц в январе 1943 года.

Но если вчера, может, и стоило щадить израненные войной души соотечественников, то сегодня новым поколениям, наверное, как раз и нужно как можно полнее, подробнее узнать, ощутить, что было до них. Надо же им знать, чем все оплачено, надо знать не только о тех, кто воевал, но и о тех, кто сумел выстоять, об этих людях, не имевших оружия, которые могли лишь стойкостью своей что-то сказать миру. Надо знать, какой бывает война, какое это благо — мир…

«Очень рады, что так теперь хорошо живем, сыты и одеты все, ребятишек заставляем больше есть и все вспоминаем, как Лариса в семь утра в голод просыпалась и просила хлеба вчерашнего! Говорим:

— Лариска, нет хлеба.

— Ну тогда дайте завтрашнего!»

Это из письма Веры Ивановны Павловой (город Тосно).

Немолодая и конечно же, как почти все бывшие блокадники, потерявшая здоровье, Екатерина Дмитриевна Янковская-Ладыженская, которую мы видели молодой на довоенной фотографии (там красавица, каких мало), заявляет: «Если бы сказали, что вернем здоровье, красоту, молодость и еще раз пережить такое, — не захотела бы, не согласилась бы!»

А М. М. Хохлова (ул. Конторская, д. 18) написала нам:

«В это блокадное время я думала, с каким чувством, если переживем, будем вспоминать страшное время. Я ни у кого не спрашивала, какие у кого чувства остались, но у меня осталось чувство гадливости, и очень долго это чувство держалось, сейчас уже стерлось, притупилось. Осталось у нас с мужем еще до сих пор чувство пережитого голода во рту. Он иногда говорит: «Есть не хочется, но горят зубы, это все блокада, будь она неладна!» И мне есть не хочется, но ноет язык».

«У меня была еще такая мысль — навсегда записать тот день, когда я буду сыта» (Клавдия

Петровна Дубровина, ул. Сердобольская, 71).

«Только что прослушала передачу о том, что… вы начали собирать рассказы о жизни ленинградцев в блокаду… Хотя некоторая часть молодых людей, слушая рассказы блокадников, вдруг, иронически скривив губы, заявляет, что настоящие блокадники все лежат на Пискаревском кладбище» (Чиканина Александра Михайловна, ул. Мытнинская, 5/2).

Правда о пережитом миллионами людей в годы блокады, правда документальная, рассказанная людьми, которые все это лично прочувствовали, покажется, быть может, жестокой и сейчас. Но зато она (мы надеемся) прорвется к любому сердцу. И к сердцу той девушки, которая и без 125 граммов хлеба прожить может, тоже прорвется.

«Я прошел мимо новостройки, где плотники строгали доски. Я выбрал из кучи две чистые стружки, сунул одну в рот, а другую спрятал про запас.

…Я не пожалел, что ушел из редакции, так и не попросив крону, даже за дверью, когда голод вновь начал терзать меня. Я вынул из кармана вторую стружку и сунул ее в рот. Мне опять стало легче. Почему я не делал этого раньше?»

Это не блокада, это молодой Кнут Гамсун. Первый знаменитый его роман «Голод», во многом автобиографичный, написанный в 1890 году. Может быть, единственное до сих пор произведение мировой литературы, где голод человека стал основой сюжета, предметом тщательного писательского исследования. Голод погружает героя романа в такую замкнутость существования, которая исключает взаимопонимание с сытым благополучием окружающих.

Голод отъединяет героя. Сытые голодного не разумеют. Голод у Гамсуна и голод блокадника были разные не физиологически, а психологически — голод блокады был враг, засланный фашизмом, был актом ненависти, войны, участком сражения, которое вели ленинградцы с врагом.

Измученный, полубезумный от голода, мечется одинокий герой Гамсуна в благоденствующей Христиании. И не только ум и сердце наши, читательские, отзываются на то, что происходит с героем, но как бы и желудок и железы. Читатель словно бы сам переживает разные стадии голодания. Выразить силу голода непросто даже большому таланту. Только собственные переживания художника, память о его голодной юности, о мучительных годах хронического недоедания придали этому роману пронзительную достоверность. Изображение голода у Гамсуна считалось одним из самых сильных в мировой литературе.

Любовь и голод правят миром, писал Шиллер, и, не раз повторяя эти слова, Максим Горький считал, что это самый правдивый и уместный эпиграф к бесконечной истории страданий человека.

Голод в романе Гамсуна и голод ленинградской блокады — явления разные. Ясно, что массовый голод — ситуация особая. Тем не менее, что замечаешь при первом взгляде — это сходство состояний:

«Есть приходилось что попало. Помню, приходила домой, и мне так хотелось кушать! Я жила тогда на улице Войтика. У меня там дрова лежали около печки, полено или два. И вот я взяла это полено (сосновое, помню) и стала грызть, потому что молодые зубы хотели что-то кусать. Есть хотелось страшно! Вот грызу, грызу это полено, смола выступила. А этот запах смолы мне какое-то наслаждение доставлял, что хоть что-то я погрызу. Надо было что-то кушать, иначе неминуема смерть от голода, а это еще хуже, чем от обстрела. От голода очень тяжелая смерть» (Елена Михайловна Никитина, проспект Стачек, 26).

И снова Кнут Гамсун, литература:

«Еда уже оказывала свое действие, меня сильно тошнило, к горлу подступала рвота. Во всяком темном углу я искал облегчения, старался преодолеть тошноту, от которой снова пустел мой желудок, сжимал кулаки, делал над собой усилие, топал ногами и в бешенстве глотал то,

что готово было извергнуться изо рта, — но все напрасно».

Здесь, как во всякой подлинной литературе, есть вызов холодному чистоплюйству — лишь любовь к человеку, а значит, и чувство сострадания, которому ничего не страшно. Человек мучится от неспособности удержать в себе пищу, так дорого ему доставшуюся, и автор страдает за человека и за его бессилие перед той самой «ироничностью жизни», о которой страстно, с болью писал Достоевский в «Идиоте»…

«Голод», роман молодого Кнута Гамсуна, снова и снова как бы вопрошает: что в вас сильнее — человеческое сострадание, понимание другого человека или эстетская брезгливость?

Но куда больше испытание для этих чувств и для нашей способности смотреть не отворачиваясь на человека страдающего — блокадные воспоминания. Да, человек, агонизирующий от лютого голода, куда как «неэстетичен»! К этому нужно быть готовым, если мы собираемся, хотим услышать, увидеть, понять всю правду, а не всего лишь дольку ее.

Нельзя понять всей подлости всех преступлений фашизма, «заславшего смерть» в город (по очень точному выражению Ольги Берггольц), если не говорить о массовом голоде, об этом «наемном убийце» гитлеровцев.

Ведь блокадный голод, так же как голод лагерный (и как освенцимский и прочие крематории), числился в арсенале главных средств, с помощью которых фашисты (существляли свои планы истребления целых народов, «обезлюживания» целых стран.

Кстати, многие наши самые беспощадные и правдивые рассказчики, это медики — врачи, медицинские сестры, санитарки, те, кто по профессии своей милосерден. Они о человеке голодающем, о массовом голоде расскажут вам, ничего не приукрашивая, потому что в их глазах никакая болезнь (а дистрофия, тем более алиментарная, — тяжелейшая болезнь), никакие проявления болезни человека не унижают. Например, одна женщина-врач рассказала о себе, что ходила по улицам «всегда мокрая», как ребенок: голод сожрал все мышцы, одни кости и кожа. «Я ходить не могла, но я работала» (Ершова Мария Михайловна).

Врач Г. А. Самоварова вспоминает:

«Съели всех кошек, съели всех собак, какие были. Умирали сначала мужчины, потому что мужчины мускулистые и у них мало жира. У женщин, маленьких даже, жировой подкладки больше. Но и женщины тоже умирали, хотя они все-таки были более стойкими. Люди превращались в каких-то, знаете ли, стариков, потому что уничтожался жировой слой, и, значит, все мышцы были видны и сосуды тоже. И все такие дряблые-дряблые были».

Врач Кондратьева Анна Александровна: «Эти страшные лица, эти неподвижные глаза, с обтянутыми носами, при отсутствии мимики».

Но вначале даже возможно обострение самых разных чувств, эмоций, фантазий. К чему, как известно, сознательно стремились когда-то жаждущие «видений» монастырские затворники и «пустынники».

Алиментарная, третьей степени, дистрофия — это не только скелет без мышц (даже сидеть человеку больно), это и пожираемый желудком мозг.

Кого настигал голод, корчились и мучились так же, как тяжелораненые…

«Лучше держались девочки, а мальчик двенадцати лет, Толя, очень страдал, уже недоедал изрядно, иногда ложился на скрипучую кроватенку и все время качался, чтобы чем-то заглушить чувство голода, качался до тех пор, пока мать на него не накричит, но опять потом начинал качаться. Потом, через какое-то время, я узнала, что он умер…» (М. М. Хохлова).

Да, голод в литературе «старой», классической, и массовый голод (к тому же, как во времена фашизма, организованный, направленный) — явления разного уровня и смысла.

Массовый бывал и прежде, но рассказывали о нем подробно, всерьез, пожалуй, лишь

летописи.

«А коли вже была весна в року 1602, тот наход людей множество почали мерти; по пятеру, по тридцати у яму. Хворых, голодных, пухлых многое множество, — страх видети гневу божого. А так при великих местах человека по едному у яму ховали: священники проводили.

Так же, которые ишли на низ, тые вси там померли, мало се застало. А так мерли одны при местах, на вулицах, по дорогах, по лесах, на пустыни, при роспутиях, по пустых избах, по гумнах померли. Отец сына, сын отца, матка детки, детки матку, муж жену, жена мужа, покинувши детки свои, розно по местах, по селах разышлися. Один другого покидали, не ведаючи один о другом. Мало не вси померли.

А коли тот наход у ворот, албо в дому у кого стоячи хлеба просили, отец з сыном, сын со отцом, матка з дочкою, дочка з маткою, брат з братом, сестра з сестрою, муж з жоною тыми словы мовили силне, слезне, горко мовили так: «Матухно, залулюхно, утухно, панюшко, сподьриня, солнце, месец, звездухно, дай крошку хлеба!» Тут же подле ворот будет стояти з раня до обеда и до полудня, так то просячи. Там же другий под плотом и умрет.

…А коли варива просил, тые слова мовили: «Сподариня, перепелочко, зорухно, зернетко, солнушко, дай ложечку дитятку варивца сырого!»

Так сообщал о массовом голоде белорусский летописец из деревни Баркулабово.[08]

В книге «География голода» бразильский ученый, председатель Исполнительного комитета Организации по вопросам продовольствия и сельского хозяйства при ООН Жозуа де Кастро писал:

«На каждый печатный труд по проблемам голода имеется свыше тысячи трудов по проблемам войны. Соотношение более чем тысяча к одному! В то же время… от голода погибло гораздо больше людей, чем во время всех эпидемий, вместе взятых. Причиненный ущерб значительнее по числу жертв и гораздо серьезнее по своим биологическим и социальным последствиям».

И дальше:

«Западная наука и техника, одержавшие блестящую победу над силами природы, не вели почти никакой борьбы с голодом. Ученые подчеркнуто хранили молчание об условиях жизни голодающих масс во всем мире. Сознательно или бессознательно, они стали соучастниками заговора молчания. Голод как явление социальное не был объектом их изучения».[09]

Современная литература, документальная и художественная, о фашистских концлагерях, о ленинградской блокаде, литература о второй мировой войне отразила и продолжает отражать жестокую правду XX века: голод, массовый голод вошел в арсенал, числится в арсенале недавних и потенциальных убийц народов как важнейшее оружие.[10]

Не писать сегодня об этом «оружии», забыть — то же самое, что «забыть» о запасах, складах атомной смерти.

Психологически разница между массовым, «блокадным» голодом и тем, что «у Гамсуна», принципиальная. Хотя и писатель повествует о том, что хорошо знает, испытал на себе, но испытал он это не в условиях массового голода. Тут напрашивается аналогия с журналистской памятью о солдатских окопах. Журналист побывал на передовой, пережил яростный обстрел, его могли и убить, так же как и солдата. Разница в их переживаниях, их восприятии передовой тем не менее огромная, даже принципиальная. Журналист приехал, пришел, он сидит в окопе, но он знает, что может и уйти отсюда. (Даже если и не уходит, не собирается уходить.) Солдат знает, что он уйти сам, по собственному желанию не может.

И в этом разница — великая.

Вот такая разница и между «голодом» героя Кнута Гамсуна и «голодом» ленинградцев-блокадников. Блокадникам от голода, смертельного, невыносимого, «уйти» большей частью

некуда было: он был кругом, на всем прижатом к заливу, к озеру, прошитом пулями, снарядами пространстве города, он блокировал человека наглухо.

ЗАСЛАННЫЙ В ГОРОД

Голод и триста лет назад и ныне — тот же. И мучения те же, и ощущения. Но к голоду блокады было особое отношение — это был враг, засланный фашизмом, это был противник, мешающий работать, воевать, эта была война.

Один из авторов книги воевал осень и зиму, вплоть до весны сорок второго года, под Пушкином. Он сидел в окопах, и каждую ночь позади, за спиной, полыхали отсветы ленинградских пожаров, багровые их пятна дырявили звездную темноту. Впереди взлетали вражеские ракеты, а позади горел город. Днем силуэт города подробно и четко вырисовывался на ясном небе. Многочисленные трубы не дымили, и воздух над городом был чист, лишь в нескольких местах поднимались толстые копотные столбы дыма от пожарищ. В одни и те же часы над передовой проплывали фашистские бомбардировщики, они летели бомбить, а к вечеру, сменяя их, с мягким шелестом, невидимые, неслись в город тяжелые снаряды.

В его батальоне были случаи дистрофии и голодной отечности, потому что солдатский паек был скудным, пусть не таким, как у горожан, но очень скудным, урезанным. Но война с этим не считалась, надо было стоять на посту, ходить в разведку, разгребать окопы от снега, таскать снаряды, патроны, чистить оружие. Кроме всего прочего, война — это еще и тяжелый физический труд, где нет ни выходных, ни перерывов.

Немцы не жалели ни мин, ни снарядов. Были дни, когда на участке батальона оставалось несколько десятков бойцов. Немецкие окопы у железной дороги были от наших всего метрах в пятидесяти. Насадив на штыки булки, немцы поднимали их над бруствером и предлагали переходить к ним, они обещали сытную кормежку и спокойную жизнь в плену. Они доказывали, что солдаты Ленинградского фронта обречены на гибель и если не подохнут от голода, то будут убиты. Не так-то легко было это слушать. Однако за всю зиму из его батальона не было случая перехода к немцам.

И хотя он прошел всю эту долгую войну, где были и наступление, и победы, и штурмы, и разные фронты, и все это не только видел, но и прожил, он затрудняется объяснить, каким образом голодным, промерзшим, ослабевшим воинам Ленинградского фронта удалось защитить, отстоять город, продержаться в обороне под городом в мелких, простреливаемых окопах на открытых низинах, и мало того — непрерывно атаковать, наседать, продвигаться на отдельных участках, не позволяя снять немецкому командованию и перебросить дивизии из-под Ленинграда на другие фронты. Теперь, спустя, столько лет, непонятным кажется и то, почему, каким образом в декабре, в самое тяжкое время, нашим солдатам стало ясно, что немцам в Ленинград не пробиться, не прорваться.

Ленинградцам надо было ходить на завод, работать, дежурить на крышах, спасать оборудование, дома, своих близких — детей, отцов, мужей, жен, обеспечивать фронт, ухаживать за ранеными, тушить пожары, добывать топливо, носить воду, возить продовольствие, снаряды, строить доты, маскировать здания.

Вале Мороз было в блокаду пятнадцать лет. Отец ее ушел в народное ополчение. Старшая сестра тоже хотела на фронт, ей это не удалось, она устроилась в военный госпиталь. В декабре 1941 года умер отец, через два месяца сестра, в конце марта мать. Валя осталась одна. Ей помогли устроиться на завод учеником токаря. Она делала детали для снарядных стабилизаторов. Она работала, всю блокаду работала.

Надо понять слово «работала» в его тогдашнем значении. Каждое движение происходило замедленно. Медленно поднимались руки, медленно шевелились пальцы. Никто не бегал, ходили медленно, с трудом поднимали ногу. Сегодня здоровому, сытому молодому организму

невозможно представить такое бессилие, такую походку.

«Примерно такое ощущение, что ногу не поднять. Понимаете ли? Вот такое ощущение, когда на какую-то ступеньку ногу надо поставить, а она ватная. Вот так во сне бывает: ты вроде готов побежать, а у тебя ноги не бегут. Или ты хочешь кричать — нет голоса.

Я помню чувство, когда нужно было переставлять ноги (это в то время, когда мама еще была жива, когда надо было выходить), когда надо было на ступеньку поставить, в какое-то мгновение нога у тебя не срабатывает, она тебе не подчиняется, ты можешь упасть. Но потом все-таки хватило сил, как-то поднималась».

Чтобы хоть как-то оценить труд ленинградцев, находившихся в подобном состоянии, чтобы постигнуть, что значило отремонтировать орудие, подняться на чердак для дежурства, что значило расчистить завал, для этого надо прежде всего понять протяженность и силу блокадного голода, протяженность его не только вширь, но и как бы в глубь человека. Надо понять, как сказывался голод на поведении человека, каким испытаниям подвергались и психика, и душа, и вера, причем не вообще человека, а конкретного, этого, потому что у каждого было свое, своя схватка с голодом, и протекала она по-разному. Только постигнув голод, представив его силу, изучив его масштабы, его действие, можно почувствовать сделанное ленинградцами. Без этого не понять истинной величины мужества защитников города.

Подробности голода проступают в рассказах порой неожиданно, из случайно оброненных пронзительных фраз, не сразу их можно и осознать.

Тамара Александровна Халтунен работала в больнице для дистрофиков, там, когда больного в ванну опускали, вспоминает она, больной криком кричал: «…голые кости, он не может ни сидеть, ни лежать, у него нет жира».

«— Три женщины было и я — девочка. Я самая молодая и сильная считалась. Я вроде ничего была, — начала свой рассказ врач-психиатр Майя Яновна Бабич.

— А сколько вам тогда было?

— Мне было тогда шестнадцать лет. Я брала их карточки, ходила в очередь, чтобы взять на всех хлеб, каждому отдельно. Я себя ловила на мысли: хоть бы маленький довесочек дали. Когда давали, я иногда от их порций довесочек съедала. Потом приходила, отдавала каждому его порцию. А эта крошечка мне как бы за работу. Иногда стоишь, стоишь — и ничего нет, потому что хлеба не было. Когда я приносила хлеба, они лежали на диванах, на кроватях в этой комнате. Были какие-то тулупы; все в валенках, под ватными одеялами. Все лежали. Коптилка стояла, горело какое-то масло, мерцало. И «буржуйка» стояла.

Рядом с «буржуйкой» ведро с водой, которая к ночи замерзала до дна. А потом вставали и топориком откалывали кусочки льда, чтобы вскипятить воду. По очереди вставали. Пили бурду.

…Это было в начале января. Приходит на квартиру ко мне мой школьный приятель Толя. Это такой поэт был, витал в облаках, говорил о проблеме «быть или не быть?». В школе он был таким мальчиком с возвышенными интересами. И вот приходит — лицо серо-зеленое такое. Глаза совсем вытаращенные, и говорит: «У тебя не сохранился твой, кот?» А у нас кот был. Я говорю: «Ну что ты! А что?» — «А мы хотели бы его съесть!» Мама и бабушка у него лежали. И вот он ушел. Он был такой ужасный, такой грязный, тощий. Ушел качаясь! А только год тому назад было совершенно по-другому. Собирались, о высоких материях разговаривали. И вдруг — кошка! Я хотела через неделю-другую пойти к нему (на другой улице они жили). Я сразу не пошла. Самое страшное было выйти из дому, бессознательно стремились оберегать себя от таких картин. Это как-то интуитивно было. Но я пошла все-таки в этот дом. Вот иду на второй этаж — двери не закрываются, входи куда угодно, в любую комнату заходи, бери что угодно. Это был шикарный дом — добротный, красивый. Дом одного бывшего миллионера. В мирное время на лестницах были ковры. Он жил в комнате в коммунальной квартире. Я захожу к нему в комнату.

Темно, так чего-то брезжит. И они все трое лежат мертвые: бабушка, мать и он. В комнате страшная грязища. Холод. «Буржуйку» топить, видно, сил не было. И все умерли. Мне было страшно. Я в другие комнаты не вошла и пошла обратно».

Блокадную квартиру нельзя изобразить ни в одном музее, ни в каком макете или панораме, так же как нельзя изобразить мороз, тоску, голод…

Сами блокадники, вспоминая, отмечают разбитые окна, распиленную на дрова мебель — наиболее резкое, необычное. Но тогда по-настоящему вид квартиры поражал лишь детей и приезжих, пришедших с фронта. Как это было, например, с Владимиром Яковлевичем Александровым:

«— Вы стучите долго-долго — ничего не слышно. И у вас уже полное впечатление, что там все умерли. Потом начинается какое-то шарканье, открывается дверь. В квартире, где температура равна температуре окружающей среды, появляется замотанное бог знает во что существо. Вы вручаете ему пакетик с какими-нибудь сухарями, галетами или чем-нибудь еще. И что поражало? Отсутствие эмоционального всплеска.

— И даже если продукты?

— Даже продукты. Ведь у многих голодающих уже была атрофия аппетита».

…Там, на фронте, думали, что эти ложки пшена, сухари, которые сберегали, откладывали от своего скудного пайка, будут встречены с восторгом, а их принимали порой вот так, уже безразлично…

В конце войны Алексея Дмитриевича Беззубова откомандировали в Германию. Была организована Советская военная администрация в Германии (СВАГ), и Беззубова как широкообразованного пищевика, с большим опытом работы, назначили начальником научно-технического отдела пищевой промышленности. Ему пришлось ведать в Германии лабораториями университетов, научно-исследовательскими институтами, проектными организациями, поэтому неудивительно, что судьба свела его с таким крупным немецким специалистом, как профессор Цигельмайер. Рано или поздно это должно было произойти. Цигельмайер считался одним из ведущих ученых в области питания. Раньше он руководил Мюнхенским пищевым институтом.

Итак, они встретились, разговорились, знатоки, казалось бы, одной из самых мирных наук. Что может быть более добрым, благородным, заботливым, чем наука о питании?

И тут по ходу беседы выясняется, что профессор Цигельмайер во время войны занимал высокую должность — заместитель интенданта гитлеровской армии. Поскольку специалист он был выдающийся, его привлекли курировать важнейшую для командования проблему — блокированного Ленинграда. Прямое наступление на город захлебнулось. Наши войска плотно держали изнутри блокадное кольцо, не давая нигде его переступить. Вот тогда гитлеровскому генеральному штабу и потребовались консультации Цигельмайера. Он обдумывал и советовал, что следует делать, чтобы скорее уморить голодом Ленинград. Именно это имел в виду Геббельс, когда, немного кривя душой, записывал в своем дневнике 10 сентября 1941 года:

«Мы и в дальнейшем не будем утруждать себя требованиями капитуляции Ленинграда. Он должен быть уничтожен почти научно обоснованным методом».

Цигельмайер вычислял, сколько может продлиться блокада при существующем рационе, когда люди начнут умирать, как будет происходить умирание, в какие сроки они все вымрут.

«Цигельмайер рассказывал мне, что они точно знали, сколько у нас осталось продовольствия, знали, сколько людей в Ленинграде… Правда, он сделал ошибку, я потом ему сказал, что у нас положение было еще тяжелее: «Вы не учли, сколько с армией пришло

населения из Ленинградской, Новгородской и других областей». Цигельмайер изумлялся и все меня спрашивал: «Как же вы выдержали?! Как вы выдержали?! Как вы могли? Это совершенно невозможно! Я писал справку, что люди на таком пайке физически не могут жить. И поэтому не следует рисковать немецкими солдатами. Ленинградцы сами умрут, только не надо выпускать ни одного человека через фронт. Пускай их останется там больше, тогда они скорее умрут, и мы войдем в город совершенно свободно, не потеряем ни одного немецкого солдата». Потом он говорил: «Я все-таки старый пищевик. Я не понимаю, что за чудо у вас там произошло?»

Алексей Дмитриевич мог бы ему многое рассказать про свою работу. Витаминному институту, где он заведовал химико-технологическим отделением, горисполком поручил руководить изготовлением хвойной настойки, чтобы как-то предупредить авитаминоз среди населения. Решение было принято 18 ноября 1941 года. Подняты были даже архивные материалы двухвековой давности, когда Россия экспортировала хвою как лекарство от цинги. Нашли документы о том, как сосновой хвоей лечили цингу во время войны со шведами. Вместе со своими сотрудниками А. Д. Беззубов составил инструкцию, как делать антицинготную хвойную настойку в промышленных условиях, как делать ее дома, как витаминизировать этой настойкой продукты. Как раз когда Цигельмайер приступил к изучению данных ему генштабом сведений, Беззубов учил, как измельчать хвойные иглы, как проводить их экстракцию, как фильтровать, расфасовывать настой. Тут же он изучал, как использовать в госпиталях и больницах проросший горох.

Спустя месяц, во второй половине декабря, Беззубов и оставшиеся в живых сотрудники института отправились проверять, как работают установки по изготовлению хвойных настоев. Они ходили по воинским частям, госпиталям, детским учреждениям, стационарам. На сорока шести фабриках работали эти установки и в шести научных учреждениях.

Для борьбы с обморожением они искали способы получения каротина.

В начале января 1942 года в городе начались заболевания пеллагрой. Надо было раздобыть никотиновую кислоту — витамин PP. На чердаках и в вентиляционных трубах табачных фабрик собирали табачную пыль. Из нее извлекали никотиновую кислоту.

Он мог бы рассказать Цигельмайеру, как учились лечить алиментарную дистрофию. Наиболее эффективными оказались препараты белковые и витаминные. Полноценным белком были казеин,[11] дрожжи, альбумин. Беззубов помогал организовать доставку казеина в Ленинград. А еще раньше он сумел использовать остатки горелого сахара на Бадаевских складах. Знаменитый этот сахар, растопленный огнем, залитый водой пожарных брандспойтов, смешанный с землей, песком, — о нем столько нам рассказывали! — вот его-то извлекли десятки тонн. Это были глыбы черной сладкой земли; их Беззубое придумал промывать сверху водой и перерабатывать на кондитерской фабрике. До войны он работал главным инженером этой фабрики. Из черного этого творога, который долго еще продолжали копать ленинградцы на горелом пустыре, стали производить леденцовую карамель. По вкусу карамель напоминала известные дореволюционные леденцы — ландрин. Была такая популярная в России карамель с горчинкой.

Его отдел изучал, сколько каротина и витаминов содержат одуванчики, крапива, лебеда, что из них можно приготовлять…

Ничего об этом Цигельмайер не знал. Да, собственно, вряд ли такого рода мелочи он принял бы во внимание. Будучи специалистом примерно того же профиля, что и Беззубов, он подсчитывал, сколько суток может просуществовать средний ленинградец без белков и жиров. Он вел глобальные подсчеты. Перед ним была задача, эксперимент, огромный эксперимент, поставленный на миллионах, единственный в своем роде. Чем больше населения, то есть

испытуемых, тем меньше сказываются всякие аномалии, тем точнее должен быть результат.

Энергия не может возникать из ничего. Сто лет назад великий земляк этого Цигельмайера врач Роберт Майер вывел закон сохранения энергии. И Алексей Беззубов и Цигельмайер изучали, как человеческий организм подчиняется этому закону, изучали для совершенно противоположных целей.

Чтобы обеспечить работу сердца, легких, всех органов, для этого необходимо снабжать организм топливом. Цигельмайер четко знал: тепло не может возникать из духа, из воли, из убеждений; как бы ни хотел человек согреться, организму нужны для этого не мысли, не вера, а калории, нужна пища, минимальное количество которой исчисляется двумя тысячами калорий в сутки.

Этих калорий у ленинградцев не было.

Не видя ожидаемого результата, Цигельмайер на всякий случай вводил еще всякие коэффициенты. Однако Ленинград по-прежнему держался. Цигельмайер сделал еще некоторые последние допущения, ему надо было спасти законы энергетики.

Жители этого города должны, обязаны были умереть, а они продолжали жить, они двигались, они даже работали, нарушая незыблемые законы науки.

Рацион ленинградцев был известен, температура воздуха, качество хлеба, — все, все было подсчитано, учтено: 125 граммов, 150 граммов, даже 250 граммов при отсутствии каких-либо других продуктов не могли обеспечить физиологического существования организма в условиях такого холода.

Цигельмайер не понимал, в чем он просчитался. Он не мог объяснить генеральному штабу, почему его расчеты не оправдываются.

Теперь он расспрашивал об этом господина советского профессора. Но и Алексей Дмитриевич не мог до конца объяснить этого феномена. Он разговаривал с Цигельмайером, ученым — специалистом по питанию, который «консультировал» голод, — вполне учтиво, придушив свои чувства. Он говорил о неучтенной вере в победу, о духовных резервах организма ленинградцев.

Но, откровенно говоря, ему и самому было не все ясно. Он все пережил, все видел сам, и тем не менее при всем огромном опыте не до конца понимал, откуда брались силы у людей…

…Этого убийцу-«невидимку» вначале не считали самым опасным. Убивали — куда заметнее для всех — другие: бомбы, снаряды. Да и вообще август — сентябрь — октябрь были и без того тревожными до крайности: ожидался со дня на день новый штурм. Враг у ворот! — это кричало в душе ленинградцев, заглушая другие тревоги.

В дом к вам приходят моряки, солдаты и, отодвинув подальше детскую кроватку, закладывают кирпичом окно, делая из него амбразуру, — и вы им помогаете! Танки врага — в четырех километрах от Кировского завода…

О союзнике врага,[12] который через месяц-полтора станет самым главным и страшным убийцей ленинградцев, — о голоде мысль хотя и беспокоила, тоскливо сосала, но все еще не казалась столь опасной.

Вот рассказ Галины Иосифовны Петровой (набережная Фонтанки, 39):

«— Довольно быстро ввели карточную систему. Я помню, что мы даже не выбирали ту норму продуктов, которые нам давали.

— Вначале?

— Да. Вначале выбирали весь хлеб, смотрим—стал хлеб дома оставаться; булки были, батоны. Потом уже вспоминали, что вот тогда давали хлеб, а мы не брали, а можно было брать и сушить сухари. А сначала не придавали никакого значения. У меня здесь были папа, мама, сестра и я. Сестра вышла замуж, и в августе они уехали в Сочи, мы с папой и мамой здесь

оставались.

— В этом же доме?

— Нет, мы жили тогда на улице Гоголя, семнадцать, в том доме, где жил когда-то Гоголь».

Цепко держалась иллюзия (причем одновременно с ожиданием самого худшего), что-скоро каким-то чудесным образом «все станет на место». Психологическое состояние неожиданности растянулось на месяцы. Хотя, казалось бы, это состояние моментальное.

Неожиданность — длилась.

На такую «психологию» первых месяцев войны обращает внимание в своем рассказе ученый-математик Евгений Сергеевич Ляпин (Московский проспект, д. 208).

«— Это был август?

— Август — начало сентября. Насчет того, что кто-то специально распространял слухи, я не знаю, не приходилось слышать. Думаю, что люди сами себя старались «успокоить». В частности, был в то время такой неправдоподобный слух: стрельба в городе слышна потому будто, что неприятель выбросил десант, они спрятались где-то на кладбище и вот из минометов стреляют по городу, для того чтобы вызвать панику. Такие представления характерны для того момента. Люди никак не могли освоить всего, что реально происходило. Опыта не было. Тем более что были еще в памяти описания войны на Западе, всякие там фокусы, воздушные десанты во Франции и Бельгии. Вот в таком духе и здесь ожидали. Потом все оказалось не так. Никто на кладбище не сидел, никто из минометов по нас не стрелял, просто фронт продвинулся ближе к нам, и дальнобойная артиллерия могла стрелять на расстоянии восемьдесят километров. Я не помню уже точно числа, но это было за Московским вокзалом. И не два-три раза выстрел в день ухнет, а был непрерывный артиллерийский огонь, бой, который велся в тридцати километрах от Ленинграда, в Павловске. Все стало понятно. Мы уже знали, что фронт продвинулся к Ленинграду, подошел неприятель, бой происходит у самого города, и, очевидно, с этим связана и судьба города. Тем не менее налетов на город больших не было. Даже отдельные выстрелы к этому времени прекратились. В общем, хотели взять нас паникой, а паники не получилось.

Что нам предстояло впереди? Это стало ясно, по-моему, если не ошибаюсь, седьмого или восьмого сентября, когда вечером была объявлена очередная тревога. Тревог уже было много, мы несерьезно к ним относились. Я выглянул из окна (я жил тогда в районе Варшавского вокзала). Мы услышали сперва, что зенитки стреляют особенно рьяно и усиленно. А взглянув на небо, я увидел необычную вещь: шли не отдельные самолеты, которые где-то высоко летят маленькими точками и их даже рассмотреть нельзя. Нет, движется в определенном, явно рассчитанном, сложном порядке большая масса самолетов. Построены они так, чтобы движение их казалось грозным. И оно действительно было грозным. Вокруг них рвутся снаряды, видны разрывы зенитной артиллерии. А они движутся ровно: не петляют, не делают разных сложных фигур, как делали самолеты в августе. И даже если кто-то из них валился в клубах дыма и уходил книзу, остальные продолжали свое движение. Ясно было видно, что это не случайный налет, а это массовый налет. Прошла одна волна, прошла вторая волна, третья волна. Что-то происходит, это было ясно. Вдруг, посмотрев в южном направлении, я увидел растущее большое облако дыма. Такое было в первый раз. Облако разрасталось все выше и выше, достигая десятков, сотен метров. Стало ясно: это результаты появления вражеской авиации. И нам все это потом дорого обошлось.

Тогда еще мы о голоде не знали, не думали совершенно. Снабжение по карточкам было хорошее: хлеба давали столько, что съесть его было совершенно невозможно (шестьсот или восемьсот граммов — кто из ленинградцев съедал столько хлеба за один день?). Так что эта сторона оставалась без внимания. Но, забегая вперед, скажу, что как раз поражение и, в общем, уничтожение этого склада — оно стоило жизни многим жителям».

Уточнить эти факты, оценить их последствия — дело историков. Мы изучали не исторические документы, мы вслушивались в рассказы живых людей. Между нами и прошлым была людская память, шаткий мост, источенный временем. У одних их прошлое сохранилось в голове, у других оно заместилось вычитанным из книг, виденным в фильмах, и они сами не заметили, как это произошло. Сдвинулись даты. Первая бомбежка Ленинграда была 6 сентября 1941 года; через день, 8 сентября, произошел второй налет, во время которого разбомбили Бадаевские склады. Две эти даты у многих слились в одну, и получилось, что Бадаевские склады сгорели в первую же бомбежку. Таких ошибок много.

Мы выясняли не историческую картину, а скорее состояние людей того времени. И в этом смысле было важно знать, что именно каждому запомнилось из тех лет. Что врезалось в душу, что осталось от блокадной жизни навечно в душе, в сознании, что из пережитого постоянно сосуществует с человеком.

НАЕМНЫЙ УБИЙЦА

Голод был уже рядом, в городе.

Ужесточались продуктовые нормы, город собирал все, что можно было собрать, сохранить, пустить в дело. Пошли в ход всякие «заменители» — на хлебозаводах, в столовых.

И каждый сам стал оглядываться, искать: что и где съедобного осталось, что можно использовать?

Голод только еще нащупывал глотку своих жертв, но всем уже становилось тревожно, неуютно: убийца где-то рядом… Вот как рассказывают об этом времени сами ленинградцы.

Художник Иван Андреевич Коротков:

«— Постепенно голод стал поджимать. Что я предпринял? Какие меры? Я стал обходить квартиры всех эвакуированных друзей. Прежде всего к Тае Григорьевне. Не помню, как попал (рядом соседка, кажется, жила). Я вошел, перерыл все шкафы, всякие сухарики, зацветшие, зеленые, подобрал, еще что-то такое. В общем, я такой мешочек набрал. Был крайне доволен, что получил довольно хорошую порцию чего-то. Еще к кому-то я пошел в квартиру, тоже по всем шкафам собирал все кусочки засохшие, которые остались. Потом мне один мой студент принес жмых — вот такие листы. Принес три листа. Это была колоссальнейшая вещь — три листа жмыха!

— А какой тогда месяц был?

— Октябрь и ноябрь, холода, когда уже ничего не стало. Потом дома нашел немножко муки. Потом у меня оказался клей рыбный для грунтовки и несколько бутылочек масла льняного на окне… Каким-то образом я почувствовал, что дело скверно. Я не стал очень-то налегать, а все это плавно распределял».

Бывший работник радио Нил Николаевич Беляев: «— Что характерно было для тех месяцев, когда началась голодовка? Это — сразу же воспользоваться всем, что можно есть. Что к этому относилось? Это вот дуранда — жмых подсолнечный, который можно было кусочками на рынке приобрести. Маленький кусочек, плиточку жмыха можно было за тридцать рублей купить. Цена тридцать рублей почему-то держалась на этот жмых несколько месяцев, пока он не кончился. Квадратный дециметр шкуры животного, с коровы или с лошади (из нее можно было сварить студень), плитки столярного клея — эти вещи на рынке покупались, и приблизительно каждая из них рублей по тридцать стоила. Если студень сварить из маленького кусочка кожи, он не получится достаточно хороший, плотный, а если сюда добавить столярный клей, то сварится, получится хороший, крутой. Есть, конечно, весьма отвратно было, но приправишь горчицей, перцем, уксусом, который выдавался регулярно по карточкам (собственно, только это регулярно и выдавалось), и кое-как ешь, и можно было как-то существовать. Но в сорок втором году этого уже ничего нельзя было достать, ни жмыха, ни клея. Это все пропало. Так что оставалось, как полярным путешественникам из рассказов об Амундсене или Нансене, переходить на ремни. Но это дело нехорошее получалось. Потому что тогда, у тех путешественников, ремни были сыромятные. Это сыромятная кожа, не выделанная химически, не прошедшая, так сказать, обработку. А ремень — что? Ничего! Его вот изрежешь, искрошишь, попытаешься сварить, варишь-варишь — он не разваривается. А если и разварится, съешь это все, то, как говорится, никакой радости от этого нет, ничего нет».

Все самое, казалось, немыслимое голодный пытался «утилизировать». Особенно наивно-беспомощную изобретательность проявляли ребята-ремесленники. Они (по многим рассказам) умирали едва ли не первыми: одни, без родных-близких, что получат, съедят за раз, проедали

одежду, обувь.

По мнению опытных блокадников, более сдержанных, излишняя изобретательность тут пагубна. Часто она убивала человека еще до того, как завершал свое дело голод. Но, даже зная это, люди не могли удержаться: голод не тетка!..

Рассказывает Зоя Алексеевна Берникович, работник Эрмитажа:

«— Конечно, все приходилось есть: и ремни я ела, и клей я ела, и олифу: жарила на ней хлеб. Потом нам сказали, что из горчицы очень вкусные блины. За горчицей какая была очередь!

— Что же, из одной горчицы?

— Надо было уметь делать. Я две пачки положила (взяла-то пятнадцать пачек, думала, запас будет, может, жить буду). Вот надо ее мочить семь дней, сливать воду и опять наливать, чтобы горечь вся вышла. Ну, конечно, я спекла блинчики, два. Съела один, и потом я стала кричать как сумасшедшая. У меня были такие рези! Очень многие умерли. Все-таки это горчица; говорят, съела кишки. Когда вызвали ко мне врача, он спрашивает: «Сколько вы съели блинчиков?» — «Только один». — «Ваше счастье, что вы съели мало. Ваше счастье!» Вот так я осталась жива… Ландрин покупали, пили сладкий чай; сахарин иногда можно было достать. Правда, весной уже был огород. Я была очень счастлива, что мой огород никто не трогал. Я ела, знаете, какую траву? Лебеду и мать-и-ма-чеху, может быть, знаете такую? Как принесу полный мешок, у меня была такая большая бутыль, я туда натрамбую, насолю и с солью ем».

Про «бадаевскую», про «сладкую», землю рассказывают многие. Ее продавали на рынках наравне с другими продуктами. Качество (и цена) «бадаевского продукта» зависела от того, какой это слой земли — верхний или нижний. Валентина Степановна Мороз (библиотекарь) и сейчас помнит вкус ее:

«— Потом еще такая деталь запомнилась: когда разбомбили Бадаевские склады, мы бегали туда, или, вернее, добредали. И вот земля. У меня остался вкус земли, то есть до сих пор впечатление, что я ела жирный творог. Это черная земля. То ли в самом деле она была промаслена?

— Сладость чувствовалась?

— Даже не сладость, а что-то такое жирное, может быть, там масло и было. Впечатление, что земля эта была очень вкусной, такой жирной по-настоящему!

— Как готовили эту землю?

— Никак не готовили. Просто по маленькому кусочку заглатывали и кипятком запивали».

В перечне блокадной еды всякое можно найти — конопляные зерна от птичьего корма, и самих канареек, и дроздов, и попугаев, собирали мучной клей от обоев, извлекали его из переплетов, вываривали приводные ремни, ели кошек, собак, ворон, потребляли всякого рода технические масла, использовали олифу, лекарства, специи, вазелин, глицерин, всевозможные отходы растительного сырья. Список этот длинный, удивительный по своей изобретательности, даже по изощренности, с какой испытывалось на съедобность все окружающее. Например, одна женщина разрезала, варила и съела шубу из сусликового меха (из рассказа Степанчук М. Г.).

Есть народы, у которых принято потреблять в пищу, допустим, собак, или змей, или лягушек. Для ленинградца преодолеть эти «предрассудки», все свое воспитание было делом нелегким, и многим оказывалось не под силу.

И даже в буквальном смысле… «землю ели»…

Александра Михайловна Арсеньева, автор печатных воспоминаний о комсомольском полке противовоздушной обороны Ленинграда, рассказала нам:

«— Я пошла на семинар в райисполком и попала под бомбежку под аркой — побили мне позвонки, в общем, не сломали, но большие синяки были, и я уже не могла двигаться. Без

сознания меня принесли в ремесленное училище какое-то, в первый этаж. И вот там я, лежа и чувствуя, что я уже не вернусь к жизни, не встану, смотрела на мальчишек — тощих, с сумками из-под противогазов. И в сумках у них земля — они продают, меняют на хлеб землю! Подходит ко мне мальчишка и говорит: «Тетенька! Вы хлеб не едите? (А я хлеб уже не ела, у меня открылся кровяной понос, и я ничего не ела.) Поменяйте на землю. Это очень вкусно!» — «Как же, говорю, землю есть?»

— Это с Бадаевских складов земля?

— Это торф, даже не сладкий, а просто торф, поскольку торф считается питательной землей. И вот землю — на хлеб. За кусочек хлеба он дает тебе две кружки земли. Я эту землю взяла только, чтобы попробовать, а хлеб отдала. Отдала им и карточки свои. Мальчишки честные были, они мне приносили хлеб».

Слово «хлеб» обрело, восстановило среди всего этого свой символический смысл — хлеб насущный. Хлеб как образ жизни, хлеб как лучший дар земли, источник сил человека.

Блокадница Таисия Васильевна Мещанкина о хлебе говорит, будто молитву новую слагает:

«Вы меня послушайте. Вот сейчас, когда я встаю, я беру кусок хлеба и говорю: помяни, господи, всех умерших с голоду, которые не дождались досытья поесть хлеба.

А я сказала себе: когда у меня будет хлеб оставаться, я буду самый богатейший человек.

Вот с этого я начинаю утро, только с этого. Я не вру. Пью чаю две чашки крепкого, и это богатство.

Когда умирал человек и ты к нему подходил, он ничего не просил — ни масла, ни апельсина, ничего не просил. Он только тебе говорил: дай крошечку хлеба! И умирал!..

Я осталась, я не знаю, почему я, такая, осталась. Я не знаю почему. Я малограмотная.

У меня детство было тяжелое, отец и мать до революции умерли. Ну, почему я осталась? Может быть, для этого осталась, чтобы рассказать какую-то там историю интересную?»

Массовый голод — это тихие смерти: сидел и незаметно уснул, шел — остановился, присел… Многие наблюдали, запомнили жуткую «тихость» голодных смертей.

«Я шла с работы, и вот (угол проспекта Газа и Огородникова) женщина одна идет и говорит мне: «Девушка! Ради бога, помогите мне!» Я мимо шла, говорю: «Чем я могу вам помочь?» — «Ну, доведите меня до этого забора». Я довела ее до этого забора. Она постояла, потом опустилась и села. Я говорю: «Чем вам помочь?» Смотрю, она уже и глаза закрыла. Умерла!» (Никитина Елена Михайловна).

Об этом же — Людмила Алексеевна Мандрыкина (Невский проспект, 137).

«— Ну, что вам еще сказать? Вот у нас в военном архиве всегда сидела милиция. И такие замечательные парни были — милиционеры, чудесные, молодые были все. Это те, которые были призваны на войну и оставались здесь в милиции. В милиции кормили очень плохо, так же как и в МПВО. Вот я часто с ними разговаривала, ну, просто говорили о том, что пройдет же это время, что будет потом? Мы старались не говорить об еде. И вдруг, ты смотришь на человека и видишь, что у него стекленеют глаза. Я теперь знаю, что это такое…

— Прямо во время разговора?

— Вот прямо во время разговора. Он сидит… садится, говорит: «Ой! Мне что-то не очень!..» — «Ну, посиди! Всем не очень хорошо…»

Вот двое так умерло на моих глазах. Потом он все медленнее говорит, медленнее…

Вот так умирали люди. Так они умирали и на улице. Когда они шли, кто-то садился на тротуар. Сначала к нему подходили, первое время, а потом его просто обходили, и он часто вмерзал в струйку вот этой воды, которая шла…» Такие рассказы повторяются и варьируются до бесконечности — про тихий, незаметный переход за край голода, — а иные приобретают жуткий образный смысл.

«— Потом вдруг он ко мне обращается и говорит: «Марья Андреевна! Сядьте со мной рядом. Я вам отдам партийный билет. Посидите со мной рядом». Села с ним рядом, значит. Я говорю: «Где у тебя семья?» — «Она эвакуирована. Не знаю, мне ничего не пишут». (Ну, где там писать. Может, и пишут, да не попадает.) И вы знаете, он меня обхватил за шею-то, то ли он хотел поцеловать, то ли что. И он умер! Вы представляете — у мертвого как зацепляются руки? Я никак не могу выбраться оттуда, ничего не могу сделать. А Женя Савич и еще там пришли. Ну, что — они тоже не могут. Ну, еле-еле вытащила голову от него…» (Из рассказа Сюткиной Марии Андреевны, бывшего парторга цеха Кировского завода).

Надо было ходить на завод, надо было работать, хотя и просто идти по улице для ленинградца порой было не по силам.

«— Потом я еще очень хорошо помню, как люди шли. Никогда я и нигде не видела и не слышала, чтобы человек шел так, как в блокаду: человек шел так, как против ветра идут, понимаете, вот наклонившись всем корпусом вперед, чтобы не упасть, тяжело вот так переставляя ноги! Почти все так ходили. Не знаю, почему мне запомнилась эта походка.

— А сами вы ловили себя на том, как вы идете? Или на это уже не обращали внимания?

— Может быть, я тоже так ходила, я сейчас не помню. Только вот мне запомнилась эта походка. Моя ли это была или окружающих? Не помню. Мне кажется, что все так ходили…» (Григорович Александра Дмитриевна).

«Вы знаете, и на меня это производило впечатление тоже: идешь это шаркающей походкой, еле ноги переставляешь; и люди вокруг тебя ходят, где-нибудь у него привешен портфель, потому что в руках ему трудно нести, и поэтому его привязал сюда, на шею. И все как в замедленной киносъемке.

Вот меня две вещи поразили: это картина — человек, который читает объявления, а от руки у него веревка к фанере с покойником. И еще один раз, тоже из одного из самых глухих мест я возвращался — из Института экспериментальной медицины, — поздним вечером по улице Павлова. И сзади меня шла какая-то группочка людей. Я даже не обратил бы внимания, но я вздрогнул и оборотился, когда услышал хохот. Произошло что-то совершенно неукладывающееся: оказывается, что какие-то девчонки и кто-то на что-то расхохотался…» (Александров Владимир Яковлевич).

Голод изменял людей не только физически — он менял характер, привычки, он искажал у некоторых людей весь их душевный облик.

«— Чем мне удалось поддержать своих сотрудников? — вспоминает Зинаида Александровна Игнатович (Средний проспект, д. 35). — Перед войной мы занимались в лаборатории пищевыми отравлениями, которые вызывались бактериями. Для того чтобы выращивать бактерии, варится особая среда. Она варится на мясном бульоне. Ленинградский мясокомбинат готовил нам такую среду, такой концентрированный бульон, готовил его из нетелей. А что это такое? Это когда забивали коров и в утробе у них находили плод. И вот из этих плодов они готовили экстракт Либиха и сушили его. У нас был большой запас его. Это спасло многих сотрудников. Когда начался голод, я как заместитель начальника по научной части, когда приходила, вынимала одну банку, вокруг садились сотрудники, и я давала по столовой ложке мясного экстракта. Его можно было так есть. Тут я хочу вспомнить случай, который до сих пор волнует меня. У нас был в институте сотрудник, культурнейший человек. Он был крупный и здоровый мужчина. И он очень быстро сдал. Когда я утром раздавала этот мясной бульон, он уже первым сидел за столом. И такими горящими глазами провожал он эту ложку! Чувствовалось, что все его помыслы сосредоточены на ней. Очень трудно было представить, что это он же — такой деликатный, такой умница, такой замечательный человек!

Когда начали открываться так называемые стационары, нам удалось поместить его в

стационар. Но врачи тогда еще не знали, что нельзя сразу после голода давать много пищи. Ему дали двести граммов масла, полбуханки хлеба. Он съел все сразу и ночью умер.

— Неужели врачи не знали?

— Первое время не знали. Потом они уже знали, что человека надо постепенно выводить из голодного состояния».

В той же маленькой лаборатории были другие люди, которые жили эти месяцы и умирали по-другому.

«У нас был такой Соловьев, сидел в вестибюле. Он простой человек, даже не очень хорошо грамотный. Сыновья у него пошли на фронт. Дочка с ним одна осталась (жена умерла перед войной). Потом зятя его призвали в армию, и дочка пошла с ним на фронт. Он у нас был дежурным сторожем, что ли, потому что к нам в лабораторию, поскольку лаборатория была пищевая, приносили анализы и днем и ночью. И он сидел в вестибюле, не топившемся, холодном. Человек этот было малограмотный, но убежденный, всем малодушным он говорил: «Да неужели мы Ленинград отдадим? Мы никогда не отдадим». А сам затягивал пояс туже и туже, худел и худел. Принимал анализы, выполнял свои обязанности и всех ободрял: «Подождите еще немножко! Отстоят Ленинград. И все мы будем живы». И вот однажды сотрудники пришли: что-то Соловьева не видать? А он как сидел на своем посту на табуретке, так и умер. Так и умер, крепко веря в обязательную победу, в то, что Ленинград обязательно освободят».

З. А. Игнатович не сравнивала. Она ни словом, ни тоном, ничем не осуждала память первого сотрудника. Люди понимали, что голод может перебороть человека, каждый на себе ощущал его всесокрушающую силу и втайне боялся — сегодня устоял, а завтра может не хватить воли и что-то хрустнет, сломается…

«Я перенесла всю блокаду. Хуже всего — это голод, — утверждает Лидия Сергеевна Усова, которая была тогда рабочей. — Это страшнее всего. Наш завод каждый день обстреливался. Но мы не шли в бомбоубежище: совершенно перестали этого бояться. Первое, что мы делали, это хватали кусок хлеба и запихивали в рот; не дай бог, если тебя убьют, а он останется! Понимаете? Вот какая психика была. А потом ты в ужасе: ты все съела, а бомбежка кончилась! Это был сорок второй год. Это был самый ужасный год!.. Помню, когда умирала мама, я ей давала сахар по кусочкам, и она все говорила: добренькая, добренькая! А с сестрой поделиться я уже не могла. Она была в больнице, я несла ей что-то, но по дороге начинался обстрел, и я все съедала, я не могла ей донести. Тут я уже была в таком состоянии, я уже ни о чем не могла думать, как только о еде. Понимаете? Это совершенно ужасно».

Лидия Сергеевна беспощадна к себе. Она из тех людей, у кого через эту беспощадность видна живая совесть, никакими лукавыми поблажками времени не успокоенная.

То и дело в рассказе о своей работе она возвращается к воспоминаниям о голоде, к ощущениям, очевидно неизгладимым.

«— Работала я в Пятом ПМТ. Затем нас перевели на завод «Красная заря», куда ходить было очень далеко. На заводе мы занимались расчисткой. Было очень тяжело, когда мы на снегу работали. Я упала. Меня перенесли в приемный покой больницы. И когда я приходила в себя, то слышала: ну, ну, здесь полный упадок сердечной деятельности. Вероятно, тогда мне сделали укол. Когда я открыла глаза, мне дали кипятку и опять отправили на работу. Все-таки я была живучая. Может быть, даже то, что меня отправили опять на работу, это и нужно было, потому что тот, кто ложился, тот не вставал.

— А знали тогда уже, что тот, кто ложился, тот не вставал? Или это уже потом, задним числом?

— Нет, мы еще тогда ничего не понимали. Я скажу так: у меня все мысли были направлены

только на еду.

Это было совершенное помешательство. В сорок втором году я уже не могла донести паек из магазина до дома: если там был сырой горох, я его съедала на улице… Так прошла зима сорок второго года, и наступила весна. У меня вид был ужасный. Я очень сильно отекла. Я была невероятно худа: при моем росте у меня был вес сорок два килограмма (я взвешивалась в больнице, это интересно было). Ноги были как тумбы, вот такое опухшее лицо, глаза — щелки. Ужасный вид был. И вот здесь нас начали пропускать через усиленное питание. Оно было абсолютно правильно организовано: нас кормили четыре раза в день небольшими порциями, давали полноценные продукты, но мы даже плакали. Нам казалось, что нас ограбили: у нас отобрали карточки и дают очень мало. Это, конечно, психоз был, безусловно. Столовая была на углу Невского и Владимирского, где сейчас ресторан «Москва». Было просто ужасно: придешь — и дадут тебе маленькое блюдечко каши. Ужасно хотелось больше. И здесь я помню, как я сидела в садике и смотрела на прыгающих воробьев, и у меня были совершенно кошачьи инстинкты: вот поймать этого воробья и сварить из него суп!

…Было усиленное питание, и была травка, которую мы стали есть. Я по утрам — часа в четыре — вставала и шла на всякие свалки собирать крапиву. И если удавалось набрать носовой платок крапивы, это было счастье! Ну, затем я в Таврический сад ходила, где трава была по пояс. Я просто на вкус пробовала. Это лебеда была, конечно. Я еще поражалась: зачем это люди едят редиску, когда можно есть лебеду, это гораздо вкуснее. Вот этой травой мы дополняли тот паек-кашку, которую получали».

Встретились мы с рабочей семьей Васильевых — Никандром Ивановичем и Зоей Ефимовной (проспект Металлистов, д. 105), записали их рассказы. Муж работал мастером на Металлическом заводе, жена дома спасала детей. Вот ее рассказ об этом:

«— У меня было эвакуационное удостоверение, в Омскую область нас эвакуировали с завода. Многие женщины поехали, я тоже собралась, думала, что я здесь буду делать, детей ведь некуда деть. А мне говорят: «Как ты поедешь? Кто у тебя там есть?» Я говорю: «Да никого у меня нет, все в Ленинграде». Тут я подумала-подумала: куда же я с двумя такими малышами поеду? Нас там никто не ждет. И решила, что не поеду, и все! Все распаковала! И осталась! Ну, потом начались обстрелы, еще голода мы не знали. И обстрелы на нас так подействовали, и мы так смотрели, что лучше бы нам голодать, только не такие обстрелы страшные, потому что рабочий район, здесь заводы кругом. И ведь они по ночам бомбили, и обстрелы производили, и спускали ракеты осветительные как бы на зонтиках таких. Потом продуктами перестали обеспечивать. Дочка долго в карточки играла, обрезала талончики.

— Это после войны? Ненужные?

— Да, ведь остались неотоваренные карточки. Я уходила в три часа ночи и становилась в очередь за продуктами… Да пальто, еще сверху веревкой завяжешься или кушаком, чтобы поплотнее, потому что уже кожа да кости были. Муж всегда с утра на работу шел, на завод. А я вот эту, старшую, оставляла с грудной малышкой. Она переберется на нашу кровать и смотрит: мокрая — так подстелет ей. А я в очереди за продуктами. И стоишь иногда зря — ничего не получишь, придешь домой пустая. Единственное, что помогло нам выжить, — это огороды. Где теперь шоссе Революции, застроенное домами, тогда там поля были. Дали нам две сотки земли. Прислали семена. Там были и морковь, и репа, и брюква, и турнепс. Такие пакеты были защитного цвета, маленькие, плотно так заклеенные. Нам раздавали семена. А потом, как стали мы огороды эти копать, нам дали верхушки — срезы картофеля, на заводе раздали по полтора килограмма, как сейчас помню.

— Глазки?

— Да, глазки, верхушечки. Ну вот, мы три килограмма получили и посадили. Картофель

был чудесный — прямо вот такие картошины, красные, рассыпчатые. И мы рады были этим овощам. И капусты очень много. Вначале, когда я собралась эвакуироваться, мне дали сухого молока на дорогу. Ну вот, я первое время маленькой немножко добавляла. Да и еще сами пока получали продукты, так что хватало. А потом, когда уже совсем голодно стало, она у меня похудела очень. Но она такая румяная была на лицо. У мужа и мать, лет восемьдесят ей было, а она все румяная — такой цвет лица… Как-то несколько дней хлебозаводы, пекарни не пекли хлеб. Ну и давали муку. Я эту муку вместо хлеба получила и наварила такую болтушку, ну просто две ложки муки на кастрюлю воды и подсолила. Вот этой муки горячей, что называется, похлебали по-русски. А дочке погуще кашу сварила. Ночью я слышу — рвота у нее поднялась. Мы с девочкой старшей на плите спали. Муж на столах, два или три стола было на кухне. А для маленькой внесли стулья на кухню, и она лежала здесь. Я скорей вскочила, коптилку зажгла. Смотрю — ее вырвало и желудок расстроился. После этого я пошла в консультацию и говорю: «Нечем кормить ребенка, хоть что-нибудь выпишите!» Врач говорит: «У нас ничего нет, мы не выписываем». Я говорю: «Вы посмотрите на нее!» А она: «Да нет, румяный ребенок!» — «Вы не смотрите на лицо, у нее же руки, ноги как плети!» — «Не разворачивайте, у нас здесь холодно. И нету у нас ничего». Так мне и отказали. Ну, она вскоре, конечно, и умерла, потому что уже кормить совсем нечем было, ни круп, ни масла, ничего мы в это время не получали.

…А когда бомбили, вы знаете, как бомба упадет, дома вот так и качаются. Я ведь в убежище ни разу не была. Думала — если убьют, то все равно, в подвале или здесь. Иногда приготовишь сумку, держала там кое-что, водички чтобы попить, пеленку держала (это малышке). Мы обычно в передней садились — я и еще из другой комнаты женщина с ребенком. Садились с сумками и сидим в середине, чтобы стекла не полетели на нас. И вот когда меня в госпиталь положили, старшая девочка осталась дома. Я там больше месяца лежала. Ну, он утром дочку покормит и идет на завод. В обед прибежит и еще подогреет что-нибудь, тут близко было. А потом я пришла из больницы. Тогда вот и дали участок на огороде. Он меня свел туда и говорит: вот, копай. А я стою. Ветер был сильный, как дунет — я падаю. Сесть не на что — кругом мокрая земля…»

Сначала видели только убитых бомбами, снарядами. Потом стали появляться убитые голодом. Их какое-то время не то что не замечали — боялись понять до конца, что это означает, что надвигается на город.

Галина Иосифовна Петрова училась в мединституте, и она в числе первых увидела умерших от алиментарной дистрофии. Но, увидев труп на улице, она, без двух дней врач, испугалась, как девчонка, — не мертвого человека, а массового голода, который вдруг разглядела…

Человек уже видит. Но видеть ему не хочется. Не хочет принимать.

Художник Иван Андреевич Коротков хорошо запомнил эту вот беспомощную хитрость человеческого сознания, для которого правда слишком ужасна.

«— Я стою в очереди за хлебом в булочной. Там горит светильничек такой, и по карточкам нам дают мокрый кусочек. Я чувствую, что я зацепляюсь за что-то и перешагиваю. У меня нет сознания, что это человек. Я думаю: кто это там мешок какой-то бросил? Никак не мог понять, что вообще происходит. Я перешагнул, и другие идут. Когда я вышел, только тогда до меня дошло, что мы ходили по человеку, который тут упал! Шагали через него, и никто, так сказать, не осознал этого. Вот это какое страшное состояние!

— А продавцы хлеба охранялись?

— Не знаю, может быть, какая-нибудь тайная охрана и была. Как-то об этом никто и не думал, и у меня никаких особых мыслей не было. И вот такие непонятные вещи: я все время где-то ошибался. Вот у жены, Лины Осиповны, сестра была — Мария Осиповна. У нее в одну ночь умерли муж и сын от голода. Каким-то образом меня известили об этом. Я пришел к ним. У них

еще был один сын, который служил в это время в госпитале политруком, потому что у него был только один глаз (другой потерял на войне). Ему где-то сделали пару гробов (в то время это была редкая вещь), дали лошадь; и вот мы поставили два гроба на какие-то деревенские розвальни, привязали, сели на эти гробы и поехали с ним на кладбище. Я как сейчас помню это место на Малой Посадской. Хороший такой дом на углу. Они в этом доме и жили, Малая Посадская, десять. Балконы там такие. Я как сейчас помню, как Мария Осиповна стоит внизу, а мы уезжаем на этих гробах.

Ну вот, мы поехали. Поехали мы на Серафимовское кладбище. И по дороге все везут, значит, на санках. Кто-то попросился, чтобы мы привязали санки к розвальням, а его посадили с собой. Одного посадили, другого. Потом у нас уже трое санок сзади и сидят еще трое. И тихонько мы едем на Серафимовское кладбище. Приезжаем на кладбище. Там работает экскаватор, роет траншеи. В это время, я вижу, где-то вдали проходит машина. Как-то в то время до сознания не доходило. Потом только дошло, что это в траншеи возят мертвых и зарывают, и машины все подходят, потому что они собирают по городу всех кто где лежит, привозят и хоронят. В то время недопонимание у меня было или я так был настроен, чтобы не поддавать ся, — я не воспринимал этого».

Дмитрий Михайлович Смирнов был тогда еще под ростком. Но он хорошо помнит и все, что было, и чувства свои.

«— Они в декабре месяце еще не лежали и в январе месяце еще не лежали, в начале. Они стали лежать в конце января месяца. Еще в январе месяце их возили даже в гробах. Потом уже без гробов, а потом уже было, через какой-то период, что в основном они, как я вспоминаю, лежали на улицах как-то зашитые, как-то обернутые.

— В простыни?

— Да… Везут много покойников. Что значит много? Если по пути встретишь от одного конца Большого проспекта до другого три, четыре, пять покойников… На саночках, в большинстве случаев на саночках, потому что снег уже был. Некоторые везли на спаренных саночках. Чаще всего женщины тащили. И у меня мать чуть не умерла. Она работала в аптеке, и, может быть, это ее спасло. У нее начался фурункулез, на шее были страшные нарывы. Потом, некоторые не верят, а хвоя очень помогала ей, мы пили хвойную настойку. Большое потрясение было у меня, когда я однажды видел (это и сейчас перед глазами у меня) где-то на Большом проспекте — не то там было ремесленное училище, не то ФЗУ, не знаю что, может быть, там был пункт, куда свозили трупы. И вот уже весенний день (весенний, потому что уже снега не было), и идет машина, и на ней трупы, лежат. Это такое, такое… Я и сейчас вижу то место, где идет эта машина, как она идет. И здесь нужно только отвернуться. Но теперь уже и отвернуться не могу… Причем почему-то, знаете, это была довоенная трехтонка, знаете, с такой большой кабиной? Не видели таких? Но мысль: почему, почему не эвакуировались, почему не уехали? Можно было, как говорится, пешком уйти. В конце концов потом был организован конвейер перевозной по «Дороге жизни»: туда людей, обратно продукты, туда людей, обратно продукты».

Очень точно выразил этот рассказчик безжалостную силу «блокадной памяти»: «И здесь нужно только отвернуться. Но теперь уже и отвернуться не могу».

А вот как видели люди друг друга, когда собирались вместе:

«— Университет не топили, воду не выключили, водяное отопление замерзло, трубы лопнули, раз трубы разрывает, потом вода течет. И наши аудитории к концу ноября превратились в такие ледяные пещеры-глетчеры, где замерзшая вода по стенам, по потолку висела в виде сосулек.

— А на потолке почему?

— Просто, ведь это паровое отопление. Думаю, что, если бы было больше опыта, можно

было бы предусмотреть и выключить отопление, может быть, тот, кто мог бы выключить, умер или уехал, во всяком случае факт таков, что с потолка сосульки просто свисали, а снизу были сталагмиты, как в пещерах. Это выглядело очень неуютно. Студенты сидели в пальто, надевали на себя пальто сколько можно. Свет еще электрический был, даже можно было заниматься, но было в общем не легко и в общем тяжело. Студентов становилось все меньше и меньше, и чаще кто-либо из преподавателей не являлся. Практически занятия — я не скажу, что полностью прекратились, — но система занятий была нарушена. Страшнее всего было, что страшными казались лица студентов, сотрудников, знакомых. А как меняется лицо человека, который глядит так, как глядели мы? Этого словами описать нельзя. Может быть, это можно было бы нарисовать. Это просто страшно. Не так страшно, когда человек просто болен и умирает или если умирает необычно (может быть, цинично так сказать), которого убил снаряд или бомба. Но то, что делалось в результате голода, это было особенно ужасно, как менялся облик человека. Менялся облик, лицо, человек был вроде движущегося трупа, а известно, что труп — это зрелище тяжелое. Эти желтые лица очень страшны, причем заметно остановившийся взгляд. Это не то, что когда болит рука или нога и человек очень сильно мучается. Тут весь организм расстраивался, часто имелись нарушения психических процессов. Желтое лицо, остановившийся взгляд, заметно терялся голос, нельзя было по голосу судить — мужчина это или женщина, дребезжащий голос, существо, потерявшее возраст, пол…» (Ляпин Е. С.)

…Муки были страшные, но и радости выпадали такие, что запоминались навсегда.

Никто из блокадников про себя не думает: мы совершили подвиг, проявили геройство. Нет. Но спустя десятилетия для некоторых тяжкие годы эти стали как бы оправданием жизни, знаком гражданской доблести, мерой соучастия в Победе. Чувство это сродни тому самому чувству, какое есть у солдата Великой Отечественной войны. И еще есть у блокадников знание беспредельных возможностей человека, в том числе и своих возможностей, уважение к себе. Конечно, много противоречивого возбуждает каждое прикосновение к прошлому, у каждого свое; ужас и печаль, стыд и красота, отвращение и любовь — все смешалось столь плотно, что иногда нет сил отщепить какое-либо одно чувство.

Перед нашим приходом Павел Филиппович Губчевский, научный сотрудник Эрмитажа, внутренне готовясь к разговору, размышлял: что же такое была для него блокада? Потом он нам сам признался в этом.

«— Мне было трудно самому себе на это ответить. Снаряды? Ну так они же всюду. Бомбы? Они всюду. Голод? Ну, он, конечно, не такой, как всюду, а в более страшной форме, но ведь и всюду не так уже сладко жилось. Смерти? Так они всюду были, и еще какие! Ну, может быть, только не в такой концентрированной форме. И мне показалось, когда я сам захотел отдать себе отчет (никогда об этом я нигде не говорил и сам с собой никогда не говорил), что блокада — это раньше всего человек. А человек — он разный. И в силу этого, по-видимому, существует и очень разное восприятие вот этого понятия «блокада»— в зависимости от индивидуальности человека.

И вот что удивительно: после этого я подумал следующее: что ни разу в жизни, ни до, ни после блокады, я не имел такой осознанной и определенной цели в своей жизни. Она, эта цель, даже казалась близкой. Другое дело, что она все время отодвигалась по разным причинам. Но ведь что происходило во мне, в человеке? Я не какой-нибудь руководитель или кто-то, я обыкновенный, простой человек, и я имел четкую и определенную цель, которая всегда до этого (и вот сейчас, сегодня) была растушевана и размыта. А тогда она была определенной. Вот что для меня блокада (конечно, и все остальное, о чем вам уже многие рассказывали). Человек приобрел какую-то удивительную цельность. И как бы вам сказать? Это тоже, наверно, как-то дико звучит: я чувствовал, что во мне что-то снялось, рассвободилось. Конечно, были тысячи

«нельзя» и «не могу». Конечно, я не мог выехать за кольцо блокады или поехать на черноморский курорт. И, конечно, я не мог есть вкусные вещи. Более того, я выполнял множество разных обязанностей — и по моему положению (я был начальником охраны больших зданий), и по моему гражданскому долгу. Мне, конечно, приказывали, я получал инструкции, я знал, что-то я должен, что-то обязан сделать, но это «обязан» было для меня свободой. Наверно, вам диким кажется то, что я говорю, но я хочу быть с вами искренним, это так было, и это тоже блокада.

— Вот вы говорите, что все время чувствовали цель, видели ее…

— Я сидел в своей комнате и ждал очередного обстрела, который больше выматывал душу тем, что он долго тянется, — понимаете? — и думал: и какой же я был чудак, как я жил раньше! Я редко ходил в филармонию, редко ходил в Кировский театр. А ведь как много для этого нужно! Нужно, чтобы в театре было тепло, чтобы его осветили, чтобы собрали более сотни оркестрантов и чтобы они были сыты, чтобы собрали артистов балета, чтобы публика могла приехать туда, и тысяча еще «чтобы»! И этого я не ценил, этого не замечал. Я не думал тогда, что вот кончится блокада и я буду есть пшенную кашу целыми кастрюльками (наверно, вы это слышали, наверно, вам это некоторые блокадники говорят). У меня этого как-то не было. А была такая вещь: появилась цель найти в жизни то большое, если говорить громкими словами, что-то духовное, такое, что раньше мало ценил, мало пользовался, не смог осуществить».

В залах Эрмитажа, всегда переполненных посетителями, звучат на всех языках приглушенные голоса экскурсоводов. Картины, скульптуры, узорчатые паркеты, — кажется, что так было всегда и что иначе и быть не могло в этом прославленном источнике красоты, за которой приезжают из далеких стран… Но в служебной комнате несколько сотрудников музея рассказывают, как они жили здесь в войну.

Александра Михайловна Амосова:

«— Здесь, под библиотечным зданием, был устроен морг. Периодически вывозили из этого морга покойников. Но я очень тяжелый случай помню. Это было в конце марта. Иосиф Абгарович Орбели, директор Эрмитажа, кажется, тридцатого марта уехал. Очень мало нас осталось здесь народа. Несколько человек было из рабочей команды. При Орбели еще оформлены были документы на захоронение. Увезли инженеров группы, в том числе и наших старших научных сотрудников. И там же был наш профессор Куббе и еще некоторые известные люди».

Ольга Эрнестовна Михайлова:

«— Я вот этот эпизод хочу еще как-то дополнить, потому что он запечатлелся особенно глубоко и сильно, нельзя его забыть.

— Вы людей этих знали?

— Да… Эта большая машина, причем они все свои, знакомые, в общем близкие тебе люди, потому что коллеги, распростертые в разных положениях… Ну, знаете, это ведь никогда в жизни не забудешь. А это, может быть, и писать не надо и говорить не надо?»

«Не надо» — это человек нас щадит, оберегает. От тяжести, которую сам несет всю жизнь. Сам он от этого уйти не может — «отвернуться не может».

«— Тут уже не знаешь, где фантазия, где правда, потому что правда была так фантастична, что ты не могла разобраться, что правда, что неправда, что фантазия, что ложь. Понимаете? Но ведь это верно, и не расскажешь все до конца.

— Почему?

— Только тот, кто это пережил, тот понимает». Последнее — довольно распространенное

заблуждение. Исключительности тут никакой нет, человек может понять и представить все, что угодно. Любые лишения и тяготы блокадной жизни. Для этого надо лишь рассказать все как следует, не утаивая, не приукрашивая ни в ту, ни в другую сторону. Заблуждение это и потому, что сами блокадники многое не могут себе вообразить — как это могло быть с ними? — не верят себе же. Человеческая память устроена коварно. Другое дело, что рассказать, поведать о том, что было, изобразить это — действительно весьма и весьма нелегко.

И тут хоть и невпопад, не по теме, а нет сил обойти, отложить на потом одно место из рассказа Павла Филипповича Губчевского. Случай, который чем дальше, тем больше заставлял о себе думать.

«— Тридцать два снаряда попало. Степень разрушения разная: снаряд в Гербовом зале упал где-то в двух метрах от Малого тронного зала. По каким законам баллистики, я не знаю, но осколки рванули сюда, в Малый тронный зал. В Гербовом зале дырка в полу вниз, в Растреллиевскую галерею, и больше ничего. А Малый тронный зал весь изрешечен осколками. Сбита люстра, ее не удалось восстановить — хрупкая очень бронза была… Кроме того, осколки буквально изрешетили стены и потолок. Если на стенах ничего не было (вот эти лионские бархаты, шитые серебром, очень стильные, хорошие бархаты, были навиты на валы и увезены, эвакуированы), то роспись там феноменально трудная для реставрирования. Вид это имело ужасный. Или та лестница, по которой вы сейчас поднимаетесь в музей, — Посольская, Иорданская, Главный подъезд, как угодно ее называйте, — она имела тоже ужасный вид. Снаряд сделал пробоину в перекрытии этой лестницы. Если плафон только почернел, стал черным, потому что почти три года непрерывно менявшиеся температуры его сделали таким, то вся околоплафонная роспись и все потолки — это железо (после пожара тысяча восемьсот тридцать седьмого года сделали железные потолки). Железо проржавело, не выдержало, умирало. И вот эта роспись, которую вы сейчас видите, все это осыпалось чешуйками чуть побольше этой книжицы. Люди, наши сотрудники, ходили по этим чешуйкам. Вид, конечно, жалкий.

— А картины все увезены были?

— Вообще ведь Эрмитаж вывез миллион сто семнадцать тысяч предметов, но тут уже выступает статистика, а это скучно и неинтересно. В залах картин практически не было. Но нельзя было эвакуировать фреску Анджелико, нельзя было эвакуировать огромный картон Джулио Романо — даже на валу он бы рассыпался, нельзя было эвакуировать роспись лоджии Рафаэля. Осталось и то, что могло само по себе сохраниться, рамы например.

— Какой вид имели залы?

— Пустые рамы! Это было мудрое распоряжение Орбели: все рамы оставить на месте. Благодаря этому Эрмитаж восстановил свою экспозицию через восемнадцать дней после возвращения картин из эвакуации! А и войну они так и висели, пустые глазницы-рамы, по которым я провел несколько экскурсий.

— По пустым рамам?

— По пустым рамам.

— В каком году?

— Это было весной, где-то в конце апреля сорок второго года. В данном случае это были курсы младших лейтенантов. Курсанты помогли нам вытащить великолепную ценную мебель, которая оказалась под водой. Дело в том, что мы не смогли эвакуировать эту мебель. Она была вынесена в помещение конюшен (в первом этаже, под висячим садом). В сорок втором году сверху прорвало воду, и мебель, великолепный набор: средневековье, французский классицизм — все оказалось под водой. Надо было спасать, перетащить, а как и кто? Эти сорок старушек, которые были в моем подчинении, из которых не менее трети было в больнице или стационаре? И остальные люди — это все инвалиды труда или те, кому семьдесят с лишним. А курсантов

привезли из Сибири, они были еще более или менее сильные, их тут готовили на курсах младших лейтенантов. И они переволокли мебель в тот зал, где безопасно сравнительно, и тут до конца войны она стояла. Нужно было поблагодарить их. Выстроили их в зале (вот между этими колоннами), сказали им какие-то слова, поблагодарили. А потом я взял этих ребят из Сибири и повел по Эрмитажу, по пустым рамам. Это была самая удивительная экскурсия в моей жизни. И пустые рамы, оказывается, впечатляют».

…Можно представить себе, как это было — промороженные за зиму стены Эрмитажа, которые покрылись инеем сверху донизу, шаги, гулко разносившиеся по пустым залам… Прямоугольники рам — золотых, дубовых, то маленьких, то огромных, то гладких, то с вычурной резьбой, украшенных орнаментом, рамы, которых раньше не замечали и которые теперь стали самостоятельными: одни — претендуя заполнить собой пустоту, другие—подчеркивая пустоту, которую они обнимали. Эти рамы — от Пуссена, Рембрандта, Кранаха, от голландцев, французов, итальянцев — были для Губчевского обозначением существующих картин. Он неотделима видел внутри рам полотна во всех подробностях, оттенках света, красок — фигуры, лица, складки одежды, отдельные мазки. Отсутствие картин для него сейчас делало их еще нагляднее. Сила воображения, острота памяти, внутреннего зрения возрастали, возмещая пустоту. Он искупал отсутствие картин словами, жестами, интонацией, всеми средствами своей фантазии, языка, знаний. Сосредоточенно, пристально люди разглядывали пространство, заключенное в раму. Слово превращалось в линию, цвет, мазок, появлялась игра теней и воздуха. Считается, что словом нельзя передать живопись. Оно так, однако в той блокадной жизни слово воссоздавало картины, возвращало их, заставляло играть всеми красками, причем с такой яркостью, с такой изобразительной силою, что они навсегда врезались в память. Никогда после Павлу Филипповичу Губчевскому не удавалось проводить экскурсии, где люди столько бы увидели и почувствовали.

…Враг дожидался, когда Ленинград «выжрет сам себя». И непрерывно напоминал — снарядами, бомбами, листовками, — что пора, что он ждет.

Зоя Алексеевна Берникович рассказывает про злорадно-садистские напоминания фашистов:

«Да, а когда я на окопах была, знаете, какие там частушки были? Немцы бросали листовки: «Съешьте бобы — готовьте гробы!» Это немцы бросали с самолетов.

Или: «Чечевицу съедите, Ленинград сдадите!» А мы только кричим: «Мы не сдадим!..»

Смерть в городе стала повседневностью. Советские солдаты, моряки, сами полуголодные, бились, истекали кровью на «Невском пятачке», рвались к железной дороге, которая обеспечила бы Ленинграду полнокровное снабжение, вернула бы силу голодающим, истощенным людям, сохранила им жизнь. Ледяная дорога через Ладогу, открывшаяся в конце ноября, в декабре стала давать какие-то продукты и надежду. Снова появилась возможность эвакуировать ленинградцев, хотя для людей истощенных, больных маршрут был тяжелейший, и многие погибали по пути к жизни и даже вырвавшись за кольцо. Вплоть до лета 1942 года голод косил людей, даже когда стало полегче: у многих слишком далеко зашла дистрофия.

«— В загс приходили родственники и регистрировали умерших людей от голода и холода, — рассказывает Елена Михайловна Никитина, учительница. — Это уже декабрь сорок первого и январь сорок второго года. В моей памяти, в моей жизни это были самые тяжелые минуты всей блокады. Мало того что война, обстрелы, бомбежки. Это все было очень тяжело, страшно. Но это было еще не так страшно, как голод, потому что кушать было абсолютно нечего. Мы на оборонных работах еще выкапывали картошку, оставшуюся в земле, питались капустными листьями, и конину нам давали иногда (лошадь покалечит обстрелом, и сразу ее прирежут, и нам давали мясо). А здесь уже кушать было абсолютно нечего, потому что дома все запасы были

на исходе, все иссякло; сначала были какие-то сухарики, был крахмал. У меня его было несколько килограммов. Но все иссякло. И вот идешь на работу, у тебя ноги едва-едва переступают. Трамваи уже не стали ходить. Воды не было. Света не было. В страшном состоянии были люди: они не могли ходить, не могли даже выносить ведра с грязной водой… И вот я в загсе работала — декабрь сорок первого года и январь сорок второго года.

— Расскажите подробнее, как регистрировали.

— Ну, стояла очередь. Приходит какая-нибудь женщина и говорит, что вот у меня умерла мама, умерла соседка-старушка. Подает их паспорта, документы. Я выписывала свидетельства. Выписывала быстро, торопилась.

Чернила замерзали. В здании Кировского райсовета отопления никакого не было. Впоследствии печурки нам поставили, но не помню, чтобы печурки нас грели. Чернила замерзали. Придешь и руками так погреешь, думаешь, что чернила разогреются. Вот и выписываешь им документы. Я помню, как стояли большие очереди, чтобы регистрировать умерших.

— Сколько же за день регистрировали?

— Очереди стояли. Я не одна работала, трое. В день я человек по сто пятьдесят регистрировала. Работала в декабре и январе. Люди стояли истощенные, жалко было их. И мы старались скорее их отпустить. Причем слез у них не было. Я тогда после работы возвращалась домой. А у меня еще семья брата жила (брат был на фронте): жена его жила и ребенок у нее был. Ребенку четвертый год был (сейчас он диссертацию уже защитил, тот ребенок). Приду, бывало, домой, а он лежит на кровати все время, потому что от холода и голода другое что-нибудь придумать и сил не было. На нем такая была одета рубашечка с длинными рукавами, чтобы было потеплее. Вот он встанет в рубашечке и спрашивает: «Тетя Лена, ты хоть кусачек хлебца принесла мне?». Я скажу: «Нет, не принесла». Потому что у меня у самой ничего не было. По карточкам мы получали то, что нам было положено. Я со всей семьи собирала карточки, пойду в булочную и принесу. Ходила всегда только я одна, потому что остальные были не в состоянии ходить, все были старше меня по возрасту. Вот ребеночек каждый раз спрашивает: «А ты мне что-нибудь принесла?» Смотреть на ребенка было жалко. Сравниваешь сейчас вот с детством наших детей, когда яблоки даешь им и они еще не хотят кушать. А тогда даже хлеба не было!

— А брат?

— На фронте был, вернулся. Правда, ранение перенес тяжелое, но ничего. И сейчас он жив… «Ты мне хоть корочку хлебца принесла?» — он спрашивает. Такой тощенький, одни косточки. И в этой белой рубашечке, ну просто как смерть какая! А идешь домой, стучишь (звонки-то не работали) и каждый раз думаешь: ну, сейчас откроют и скажут, что кто-то из семьи умер, потому что тогда смертность была сплошной, поголовной. Напротив нас, на одной площадке, жили артисты из театра имени Кирова, Никольские. Прихожу домой после работы вечерком, и вдруг этого артиста выносят из квартиры мертвого. А тогда ведь уже гробов не делали, просто вот так в простыню завернут человека и выносят на мороз… После этого, в феврале, а может быть, в конце января я была переведена райкомом партии в комиссию по эвакуации населения. Была техническим секретарем. Выдавала документы, выписывала направления на ту сторону «Дороги жизни», через Ладожское озеро переехать.

— В Кобону?

— Да. И выдавала им карточки или такие талоны на питание. Чтобы они тут же на берегу Ладожского озера получили уже питание… Были мы там же, в Кировском райсовете, но в другом кабинете, комната двести шестьдесят. Там уже стояла печурка, которую мы немножко подтапливали. Но дров не было, так мы мебель жгли, оставшуюся там, стулья старые, лишние письменные столы, шкафы, ломали мебель, какая была неважная. А после мы дрова добывали

сами: ходили ломать деревянные дома. В саду «Девятого января», рядом, помню, я ломала. Для отопления райсовета и вообще для населения района, чтобы немножко люди в тепле были.

— А жителей деревянных домов переселяли, или они были уже пустыми?

— Да. Никого не было. Мужчины на фронт ушли, а женщины какие умерли от холода или голода, какие были уже отправлены на Большую землю. Некоторые были переведены в каменные дома, более теплые. И вот когда я в комиссии по эвакуации работала, не могу забыть такой случай, когда ко мне пришел один мужчина знакомый. Он был близким приятелем моего первого мужа. Помню, когда они окончили Кораблестроительный институт и вместе работали на Адмиралтейском заводе, они очень любили красиво одеваться. Там они зарабатывали большие деньги и одевались хорошо, как один, так и другой. И вдруг этот моего мужа приятель приходит ко мне чумазый, страшный, я его вначале и не узнала. Он пришел получить документы на эвакуацию на себя и на свою мать. Мать-старушка, говорит, умирает от голода. А тогда было указание, чтобы всех стариков вообще вывезти из Ленинграда, потому что кормить нечем. Вот стариков и детей в первую очередь вывозили. Я не знаю, по какой причине он не был в армии, может быть, по состоянию здоровья. Но он пришел страшный, весь в копоти, закопченное лицо, в таком женском платке, то есть косынка шерстяная поверх пальто была какая-то завязана, и вот так воротник поставлен, и лицо чуть-чуть видно. Я когда документы ему стала выписывать, посмотрела и думаю: боже мой, ведь это хорошо знакомый человек, товарищ моего мужа, молодой человек, только что окончивший институт. Ему было лет двадцать семь, наверно, а тут он выглядел как старый-старый старик. Я выписала документы на него и на его мать. Он говорит: «Я сначала маму повезу до Финляндского вокзала на санках, а потом она меня тоже, может быть, немножко повезет». Он был тоже очень ослаблен от голода. Сменяя друг друга, люди себя довозили до Финляндского вокзала, а там их везли дальше через Ладожское озеро, по «Дороге жизни». И вот помню — я уже впоследствии узнала, — что он даже не доехал до Ладожского озера, он по дороге скончался, и он и его мать скончались от голода и холода».

Про то, как умирали рядом самые близкие люди, нам рассказывали мало — или потому, что помнят как сквозь туман, или рассказывать слишком больно. Зато много про то, как хоронили.

Жестокая правда обстоятельств, условий, беспощадная правда чувств (и голодного бесчувствия) мучит и поныне блокадника. Но было то, что было…

«Когда он лежал, я думала только об одном (мне не жаль его было): «Если он умрет, как я его буду хоронить?» Все хоронили как-то за хлеб, а у меня хлеба нет. И когда я выходила и видела этих покойничков, которых везли, я думала, что мне же, во-первых, не обшить его вот так, на саночки не положить. Но для меня было самое страшное — похороны, а то, что он умрет, — я об этом не думала…» (Рогова Нина Васильевна, учительница, ул. Братьев Васильевых, 19).

Выполнить перед умершим последний долг в тех условиях было нелегко. Многим просто не по силам. И не по средствам, если собственных сил не хватало. Похороны были проблемой. Рассказы о похоронах порой мучительней, чем рассказы о смерти. Но одно тут неотделимо от другого.

Все силы любви, горе потери близкого человека — все уходило в стремление хотя бы похоронить, раз уж нельзя было спасти. Люди оставались людьми. Киреева Ирина Алексеевна вспоминает, как хоронила она свою няню на Волковом кладбище:

«— Вспоминаю, как, разбивая эту мерзлую землю ломами, долго-долго два бойца никак не могли проломить, потому что там оказался цементный склеп. Наконец они кое-как втиснули этот гроб.

И вот мольба какой-то женщины: умоляла положить в эту же могилу ее дочь. Она ее привезла. Буквально снимая с себя все, что было, она умоляла, чтобы вот туда похоронили и ее

дочь. Сама она еле держалась на ногах».

Людмила Алексеевна Мандрыкина, историк, работник Центрального государственного военно-исторического архива, рассказывает:

«— А потом наступило то, что у всех, — голодный ноябрь, голодный декабрь. Это сорок первый год. Здесь начались потери очень большие. Здесь умер Алексей Алексеевич Шилов. Это был один из основателей архивного дела в СССР.

— Как он умер?

— Как умер? Заболел, обессилел. Мы же все получали вторую категорию — карточки служащих, Алексею Алексеевичу в то время было шестьдесят лет. Жил он, как и все мы, на казарменном положении. Он работал в Историческом архиве (это одна система), жил в подвале. И вот он просто заснул, как засыпали почти все, которые умирали от голодной дистрофии. Через некоторое время мы положили его на саночки и, так как не было никакой возможности хоронить на кладбище, свезли его в такое огороженное забором место, где Новая Голландия. Знаете? Туда привозили умерших на санках, с гробами, без гробов — в каком угодно виде. Это было официальное место. Тут сидели, дежурили два-три человека. И потом машинами эти трупы вывозили.

— А у Спаса-на-крови как хоронили?

— А около Спаса-на-крови было совершенно иначе. Сюда просто привозили мертвых. Тоже очень много у аптек сажали — полумертвого человека или совсем мертвого.

— Возле аптек? Почему именно у аптек?

— Я думаю, потому, что раньше тут все-таки всегда оказывалась медицинская помощь. Около больниц тоже сажали: Не было сил, не было возможности довезти куда-то еще. Мы вот так Алексея Алексеевича свезли. А где он похоронен? Меня много раз спрашивали ленинградские ученые: «Где похоронен Шилов?» Не знаю… А потом умер Михаил Ильич Ахун. Это был очень крупный военный библиограф. Мы повезли его на Смоленское кладбище, но довезти уже не могли. Так и оставили гроб в снегу на полпути. Это январь. А второго марта умерла мама. Это мое личное, но я вам хочу рассказать, что получилось. Когда умерла мама, у меня был какой-то идефикс. Мама умерла второго марта. А карточку ей дали накануне. Карточка была иждивенческая. Мама тоже заснула. Мама моя жила очень близко от Военного архива; на улице Герцена, дом один, я работала, а на Герцена, одиннадцать, жила мама.

— Вы здесь жили? В этом же доме?

— Да. Я приходила часто к маме. Мы сделали чугуночку. Если я выжила, то, конечно, благодаря маме, потому что это она хлеб делила. Ее и мой хлеб она делила на три части, подсушивала на чугунке, заливала кипятком, и три раза в день мы это ели, если это можно так назвать. А второго марта мама ослабела, и когда я пришла, она умерла. Она при мне умерла. Я хотела похоронить маму на Волковом кладбище, где похоронена была моя сестренка. Я пошла на кладбище. Город был совсем пустынный. Это трудно сказать даже, какой был город. Почему-то нам всегда казалось, что это на дне моря, потому что он был весь в огромном инее, все провода были в инее, толстые, вот такие, как когда в холодильнике намерзает. Такой был каждый провод. Трамваи стояли мертвые, застывшие. Это было застывшее царство какого-то морского царя. И кто-то пришел с земли и вот ходит! Пришла я на Волкове кладбище. И встретила женщину, которая выглядела хорошо. Она спросила: «Вам…» — нет, она сказала: «Тебе нужно похоронить кого-нибудь?» — «Да». — «Я могу тебе это сделать. Но не даром». — «Хорошо», — сказала я. «Тогда послезавтра в четыре часа ты придешь. Где копать могилу?» Я говорю: «Я бы хотела рядом с сестрой». Мы пошли. Она посмотрела и сказала: «Вот тут рядом и выкопаю могилу».

Мне помогли с работы, сделали гроб, мы взяли санки и поехали по Невскому. Это было

седьмого марта, там снега мало уже было. Мы повезли эти санки. Около Литейного был такой обстрел! Милиционер кричал: «Что? Я за вас буду отвечать?! Бегите под ворота!» А рабочий и наша уборщица сказали, что никуда не пойдут. И я говорю: я тоже. Мы сели на гроб и подождали, пока пройдет обстрел. Пошли дальше. Долго мы шли — часа два, наверно. Когда мы пришли туда, могила была выкопана только вот настолько, потому что была земля такая, что ее было действительно невозможно копать. Эта женщина сказала: «Ну, подожди, я буду копать». Мои друзья посмотрели и сказали: «Мы пойдем, Людмила Алексеевна». А был такой вечер, такой закат, все пылало. На кладбище все видно. Я говорю: «Вы идите, а я останусь». Ну, они заплакали, и я заплакала. И они ушли. Я осталась. Я чувствую, что замерзаю. А она копает. Она сильная такая, здоровая была. Она мне говорит: «Ты ж замерзаешь?» Я говорю: «Замерзаю». — «Я живу в этом доме церковном, вон там вот. Ты пойди туда, — говорит она мне, — у меня отдохни немножко. Потом, через часик, приходи. Посмотрим, что будет дальше». Ну, я пошла туда. С час я посидела.

— Там было тепло?

— Нет, там было холодно. Но это все-таки не мороз. Я посидела. Потом прихожу — она ничего не сделала, еще, может быть, вот настолько прибавилось. Тогда мы решили: поставим гроб в снег, сделаем большой сугроб. Она сказала: «Ну, ты придешь через месяц, в начале апреля, и я тебе все сделаю. Через месяц ужо оттает. Я тебе все сделаю». У меня не было чувств никаких. Я говорю: «Хорошо. Я пойду». Она на меня так поглядела и говорит: «Ты, наверно, не дойдешь». — «Ну, наверно, не дойду». — «Так останься у меня». А я принесла ей буханку хлеба, сахар. И потом она обращается ко мне и совершенно спокойно мне говорит: «А ты не бойся, я тебе ничего не сделаю». Я сказала: «Я не боюсь». — «Ну тогда пойдем».

И вот мы пришли в ее комнатушку — маленькая, крошечная, ничего в ней не было. Ничего, только внизу нары, как в поезде в общем вагоне, и наверху нары. Она нарубила чурочек от гроба какого-то, затопила печурку, согрела кипяток, отрезала от моей буханки кусок хлеба, от моего сахара кусок сахара и сказала: «Съешь». Я съела. «Теперь, говорит, ложись наверх». Я провалилась. Мне было совершенно все равно!»

А потом человек возвращался к живым — жить. Скудна была радостями внешнего существования та жизнь, но ленинградцы искали и находили в себе (и в других) силу, волю, богатство душевное, и вдруг светлее и теплее становилось им в блокадном кольце…

Вот и Людмила Алексеевна вернулась из той кладбищенской жути в свой мир… «Мы не просто так жили», — говорит она, как бы споря с ею же недавно нарисованной картиной. И не она, а сама жизнь противопоставила иные картины — картины взлета человеческого духа.

«— Я хочу вот что интересное рассказать. Был такой — вы, наверно, его знаете, он потом работал директором Института международных отношений — Францев Юрий Павлович. Это был профессор. Он жил тоже на казарменном положении. На Мойке тогда был Кабинет изучения истории партии. И мы были на казарменном положении. Я с ним не была знакома раньше. Однажды он пришел ко мне и сказал: «Я хочу посмотреть, как живут мои соседи». — «Пожалуйста». Он очень милый, очень интересный человек был. Однажды, уже весной, он мне сказал: «Людмила Алексеевна, давайте что-нибудь придумаем. Ну мы же не можем только так. (Он худой-худой, высокий такой был, седоватый.) Мы же не можем все время только так жить». Я говорю: «Давайте. А что мы будем делать?» — «Давайте соберем историков и будем говорить о том, о чем каждый хочет. А собираться мы будем в архиве Академии наук, внизу». Знаете? На набережной, там же пустое место было. И вот он, я, мы собрали тех, кто оставался в Ленинграде. Вот вы обязательно поговорите, есть такая (она, по-моему, сейчас замещает директора Института истории) Сербина Ксения Николаевна. Она всю блокаду прожила в Ленинграде. И она вам много может рассказать… Иногда нас было пять человек, иногда семь человек. Это был

очень своеобразный семинар. И каждый говорил, делал такие рефераты, доклады о том, о чем хотел. Я, например, занималась двенадцатым годом, я говорила о партизанской тактике Дениса Давыдова. Ираида Федоровна Петровская, наш научный сотрудник (она сейчас работает в Институте театра и музыки), говорила о московском ополчении, псковском ополчении, о петербургском ополчении. Из Института истории Академии наук (не помню ее фамилии) говорила об устройстве виноградников в пятом веке в Риме.[13]

— Наверно, и это помогало?

— И это помогало. Сербина рассказывала о борьбе тихвинцев со шведскими интервентами.

— Лишь бы подальше от голода?

— Да, это же была отдушина! Мы делали доклады часами, причем слушали так, что я не помню, чтобы когда-нибудь потом так слушали.

— А сколько народу сидело?

— Тут уж больше приходило, начиная с десяти человек и кончая тридцатью. Никто не шевелился, никто не вышел, никто! Вот мы каждую пятницу и собирались. Сегодня мы не смогли, не кончили, тогда говорили: продолжим в следующий раз.

— И что, с удовольствием об этом вспоминаете?

— С огромным удовольствием я это вспоминаю! Это была такая большая отдушина, ты там занимался тем, чем бы ты мог заниматься, если бы всего этого не было… Потому еще так было. Пришел как-то ко мне в Военно-исторический архив журналист Викторов Александр Викторович и говорит: «Людмила Алексеевна, я хожу собираю сведения, чем занимаются ученые. Неважно, какой специальности. Чем занимаются, какой научной работой? Дом ученых имени Горького ведет работу по сбору таких материалов. Пожалуйста, опросите историков». Оказывается, почти все чем-нибудь занимались. Потом должна была быть издана книга. Это была бы прекрасная книга. По-моему, Орбели возглавлял это дело. Была даже корректура. Но потом наступили сложные годы в Ленинграде, и осталась эта корректура лежать у нас в отделе рукописей. Ее легко посмотреть…»

БЛОКАДНЫЙ БЫТ

Фашисты пытали Ленинград, ленинградцев голодом. Матерей пытали жалостью к умирающим на глазах у них детям и мужьям, а солдат — жалостью к угасающим матерям, женам, детям, надеясь, что дрогнут ленинградцы, откроют ворота в город.

Гитлер так объяснял немцам и миру непредвиденную «задержку» с Ленинградом: «Ленинград мы не штурмуем сейчас сознательно. Ленинград выжрет сам себя».

Штурмы тем временем следовали один за другим. Продолжались. В том числе и самый грозный штурм — голодом.

Потребности человека стремительно сужались, концентрировались, заострялись на хлебе, тепле, воде.

«Голод — все!» — восклицает врач-блокадница Г. А. Самоварова. И проверила она это не только на других — на себе самой. «Знаете, какая самая большая радость была? Это когда прибавили до трехсот граммов хлеба. Вы знаете? Люди в булочной плакали, обнимались. Это было светлое Христово воскресение, это уже такая большая радость была!»

Нб и 300 граммов (без других продуктов) — это все еще «смертельная» норма. А было и 200, и 125 граммов! Без воды, без дров, без света…

Условия города мешали приспособиться. Паровое отопление не действовало, а печек во

многих домах уже не было. Ведро воды, равно как и полено, становилось проблемой часто сложной, а иногда неразрешимой. А освещение? Коптилка — казалось бы, просто. Но чем ее заправить? Где достать керосин, лампадное масло? Ведь даже дневным светом нельзя было пользоваться, потому что во многих домах, может даже в большинстве домов, от обстрелов, от бомбежки повылетали стекла, и окна были забиты фанерой, завешены одеялами, заткнуты тряпьем, матрацами. Так что в комнатах была постоянная темь (и слово появилось «зафанерил» вместо «застеклил»).

«Боря придумал хорошую коптилочку — чернильница-невыливайка, в нее вставляют стеклянную трубочку-фитилек», — записывает в дневник Фаина Прусова. Это было изобретением, это было событием.

Даже на улицах темень: в целях светомаскировки ввинтили в домовых фонарях синие лампочки.

«Когда погасли и синие лампочки, то приходилось ходить по памяти. Когда ночь светлая, то ориентируешься по крышам домов, а когда темная, то хуже. Машины не ходили, натыкаешься на людей, у которых не было на груди значка-светлячка» (из дневника О. П. Соловьевой, работницы прядильно-ниточного комбината имени Кирова).

Темнота действовала угнетающе. К этой морозной темноте трудно было привыкнуть, приспособиться.

В наивном и искреннем дневничке семнадцатилетней «К. Лиды»,[14] работавшей (пока они действовали) в парикмахерской, ночная пробежка по тесному от бесконечной темноты Ленинграду описывается так:

«Бывало, выйдешь с парикмахерской, а на улице так темно, что будто пропасть какая, идешь и руки вперед перед собой держишь.

Однажды иду, совсем темно, лунные ночи кончились, мне надо переходить дорогу, слышу, автомобиль едет, я жду, слышу, ехал и где-то вдали остановился. Я спокойно перехожу дорогу, все время держа вперед руки, одну пустую, другую с чемоданом, где я носила свой инструмент, иду (а я чуть ли не бегом ходила в темноте) и, видимо, так сильно шла рядом с панелью, что натолкнулась на машину и даже упала назад, потому что так быстро шла. Чуть чемоданчик не выронила. Слышу, открывается кабина, шофер спрашивает: «Кто здесь?» — а я притихла, неудобно стало, но подумала — наплевать, все равно не видно. Тогда решила идти по панели (а почему я не любила по панели ходить — из-за того, что наталкиваешься на людей все время), ну, вот, дохожу я до угла Советской улицы и Суворовского проспекта, иду около стенки и знаю, что сейчас надо поворачивать направо. Вдруг — не пойму, что это, куда я зашла? Наткнулась на что-то большое, круглое и тут сообразила, что это бочка с песком, значит, это я с ней в обнимку стояла, пока соображала, что это, в собственном дворе и заблудилась».

«— Итак, вы вернулись из стационара? — спрашиваем мы Ирину Алексеевну Кирееву.

— Да, пролежав там некоторое время, вернулась. Няня была еще жива, но она уже погибала от голода. Помню, что мы ее поднимали. В стационаре нам давали какие-то порошки — на вес золота! — и мы считали, что, если эти порошки принесем домой, мы можем спасти своих близких. Помню, что усиленно питали няню, которая, конечно, уже сильно была истощена, настолько, что начался у нее голодный понос. Она скончалась на наших глазах. А до этого умерли наш восемнадцатилетний двоюродный брат, и тетя, и дядя. В январе — феврале вымирали прямо семьями. Что тут было — страшно! Тетя — в госпитале. Мама моя лежит со страшной водянкой (по возрасту она была, наверно, моложе, чем я сейчас). Лежит бабушка. Лежит няня. Воды нету. Темно, холодно.

— Электричества уже не было?

— Электричества не было. Поставлена была времянка, такая печурка. Пришел боец и сложил нам такую времяночку. Тут мне приходилось, поскольку я оказалась самая жизнеспособная и самая старшая из детей (сестра моложе меня была), приходилось ходить за водой. Воду мы брали из люка. Каждое утро выходили — это тоже был подвиг. Ведра нет. Мы приспособили кувшинчик, наверно, литра на три воды. Надо было достать эту воду. До Невы идти далеко. Открыт был люк. Каждый день мы находили новые и новые трупы тех, которые не доходили до воды, Потом их заливало водой. Вот такая это горка была: гора и корка льда, а под этой коркой трупы. Это было страшно. Мы по ним ползли, брали воду и носили домой.

— Видны они были сквозь лед?

— Да, видны».

Клавдии Петровне Дубровиной (ул. Сердобольская, 71) было тогда двадцать с чем-то лет, работала она токарем, служила в МПВО. Многое в этой блокадной молодости ей вспоминается сейчас с улыбкой. Для нас вроде ничего веселого, а она почему-то улыбается тому своему нелегкому быту. «Перед войной я была такая, что у меня простых чулок даже не было, — знаете, как говорится, модница была: все шелковые чулочки на мне, туфельки на каблучках. И вот когда жизнь так стукнула меня, то я сразу перестроилась. Правда, в Ленинграде в течение, может быть, нескольких дней пропало все сразу. В магазинах, например, раньше лежали, вот как сейчас лежат, шоколадные плитки, и в течение нескольких дней — абсолютно ничего! Все сразу раскупили: запасы стали кое-какие делать. Но карточки были быстро введены. И так же было с промтоварами. Я схватилась: что же я так осталась? Я побежала в магазин и успела еще захватить простые хлопчатобумажные, причем черные, чулки в резинку. Сколько там было, не помню, кажется, шесть пар, я купила и все шесть пар на себя надела. И вот так эти шесть пар не снимались. Представляете, черные чулки, шесть пар не снимались — это чтобы от холода спастись! Потом — как я ноги обула. Тоже думаю — что же мне делать? Я пропаду. А у меня какие-то старые лисьи шкуры валялись. И тоже я где-то схватила, купила с рук (тогда еще продавали за кусочек хлеба) такие вроде бурочки, они были буквально сшиты на машине из байки, тоненькие такие. Но все же туда можно было всадить ногу. Я что сделала? Я эти шкуры намотала себе вместо портянок и всадила ноги в бурки. Но в них же не будешь ходить по улице, это типа домашних, подошва-то тонкая. Где-то в коридоре нашла старые мужские галоши громадного размера (это был, видимо, самый большой размер), с такими острыми носами. Я бурки свои всадила в эти галоши, проколола дырочки, шнурочками, как лапти, перекрестила, завязала — и вот так я спасла ноги. В тепле я ходила все время. Иначе я пропала бы… Теперь в смысле умывания. Конечно, воды не было. Вот когда я еще выходила из дому, шла на завод, у меня единственно что было — кусочек тряпочки в кармане. Я выходила на улицу — снег. Я беру, немного потру руки о снег, это вместо воды, — и все. Ну, лицо, кажется, тряпкой протирала. А так больше никогда ничего, не умывались, воды никакой не было. Ну, воды в столовой, где нас кормили, было немножко».

Иван Андреевич Коротков, художник: «Какие тут события происходили? Водопровод работал кое-где, и оттуда можно было ведром доставать воду, но получались такие большие ледяные горы. На Невском, как раз около Гостиного двора, была такая башня. Почему она образовалась? Потому что когда ведра, наполняли, то воду проливали, она скатывалась, лед нарастал, нарастал и на метра два-три поднимался от земли. Потом забраться туда было целым событием. Воду я носил. Заберешься (я был в ботинках солдатских), а как обратно? С ведрами? Ну, иногда сядешь на горку и скатишься ничего, а иногда грохнешься. И опять проливаешь. И гора эта растет без конца. Так и на спусках к Неве, кто ходил за водой на Неву».

Галина Иосифовна Петрова: «Да, возили мы воду из Невы. Это я помню очень хорошо. Это против Медного всадника. Мы туда ездили через Александровский сад. Там прорубь была

большая. Мы на коленочки вставали около проруби и черпали воду ведром. Я с папой всегда ходила, у нас ведро было и большой бидон. И вот пока довезем эту воду, она, конечно, уже в лед превращается. Приносили домой, оттаивали ее. Эта вода, конечно, грязная была. Ну, кипятили ее. На еду немножко, а потом на мытье надо было. Приходилось чаще ходить за водой. И было страшно скользко. Спускаться вниз к проруби было очень трудно. Потому что люди очень слабые были: часто наберет воду в ведро, а подняться не может. Друг другу помогали, тащили вверх, а вода опять проливалась. Около Сената и Синода стоял какой-то корабль. Там, бывало, моряки приходили и помогали пожилым. Да было и не понять, пожилой это человек или молодой, настолько были, во-первых, все закутаны, а во-вторых, были же коптилки, и из-за этих коптилок мы были как черти».

«Как-то я мужчину попросила, а он говорит (это из рассказа Заборовской Валентины Алексеевны, ул. Варшавская, 116): «Доченька! Если бы я мог достать, я бы достал тебе хоть десять ведер».

Мужчина не мог достать мне воды! Не поймешь: то ли он молодой мужчина, или он старый, ничего не поймешь, потому что люди какие-то были изменившиеся очень.

Ну, как-то я воду эту достала. Я ее подымала! Бабушка жила у нас. Я сейчас скажу, — на втором этаже бабушка жила у нас. И я, значит, эту воду — по одной ступеньке, и всё считала, сколько мне ступенек еще пройти! Вот прошла я ступеньку, считаю — раз, два, три, четыре. Сколько мне еще пройти надо? Я не держусь за перила, веревка у меня привязана к кастрюле, и я иду. Ступеньку пройду — отдохну. Я не могла принести кастрюлю воды. Вот до чего была ослабевши!»

«На лютом морозе мы простояли около двух часов и, наконец, наполнили все наши вместилища. Мы везли наши санки с возможной осторожностью по оледенелым улицам. Надо было еще проехать по двору и завернуть за угол дома. Двор был завален смерзшимся снегом, между сугробов узкой траншеей шла тропинка. Когда мы приближались к повороту, из-за дома навстречу нам вышла девушка-дружинница тоже с санками. На них лежали два уже, верно, уже давно застывших трупа. Тропинка узкая, разлучиться было трудно, на повороте окостеневшая нога задела наши санки, и они опрокинулись. Наша вода! Мы с сестрой стояли ошеломленно, совершенно обессиленные. Присели на санки и расплакались…» (Зинаида Владимировна Островская, ул. Ленина, 34).

На топливо, на дрова разбирались деревянные дома для заводов, учреждений, часть дров давали тем, кто выходил на разборку.

Этим занимались постоянно бойцы МПВО. Звучит мужественно: «бойцы», а на самом деле — восемнадцати-девятнадцатилетние, к тому же истощенные голодом, девчонки.

Вот рассказ одной из них — Дубровиной Клавдии Петровны:

«— И вот обязательно каждый день выделялось несколько человек на ломку дома и чтобы привезти вот это. Не знаю, сколько у нас сил тогда было, — но было, может быть, потому что молодые были.

У нас такие вот большие сани были, самые обычные большие сани, мы ломы туда клали. Сначала мы близко — вот в Новой Деревне, вот здесь — ломали, а потом нам уже приходилось далеко ехать — Озерки, Шувалово, вот туда ехали. Ехали утром на целый день, ломали там дома этими ломами, взваливали на эти сани и везли сюда.

— На себе?

— На себе.

— Лошадей не было?

— Нет! Ну что вы!

Везли мы на себе, но нас несколько человек. Ну, когда зима была — это еще полегче, а

когда весна наступила, то было уже очень тяжело. Мы через мост буквально тащили: на мосту снег быстро таял и по мосту было тяжело тащить.

Но опять я должна сказать: пусть это тяжело было, но это нас спасло! Дома я бы не могла, мне было бы нечем, — еще впереди было три зимы страшных, — мне бы нечем было топиться, и я бы пропала. А здесь мы везли и для госпиталей, и для райкома, и для своей казармы. Мы находились в тепле, мы отапливались. Для себя мы же везли. Мы отапливались, мы сушили свои портянки, нам нужно было всё сушить, на нас все же было мокрое, нужно было сушить, и мы таким образом, значит, жили…»

Но каждый ленинградец искал, что поближе и что по силам ему было.

«У нас центральное отопление было в доме сорок, но его не топили. Холодно в комнатах, а на кухне дровяная плита была. Соседка там у нас одна оставалась, так мы с ней ходили. Заборов-то нам не досталось — все спилили (заборы кругом деревянные были). А мы с ней столбики — вот такие от земли — подпиливали. То я лежа попилю ножовкой такой одноручной (что там силы мои были), то она лежа попилит. Так вот принесем, истопим, иногда и сварим там все…» (Зоя Ефимовна Васильева).

Еще ребенком была, но помнит и уже не забудет Галина Александровна Марченко (Приморский пр., 55), как это безмерно важно — хлеб, вода, дрова:

«— Потом, как я сказала, мы перестали ходить в бомбоубежище, потому что у нас и сил не было. И как тревога, мы просто ложились и закрывались. Мы жили на втором этаже, окна все намертво были забиты; никогда не уходили. Из квартиры все уехали. Квартира была коммунальная. Там четыре комнаты было. Мы перебрались в самую маленькую комнатку — моей тетки. А во всех остальных комнатах мы потихонечку выламывали пол. Полы уже не помню: паркетные были или простые, крашеные? И мы жгли. Книг у нас было не очень много, и их жалели жечь. Остались у нас одна кровать, стулья и диван. На диване три каких-то подушечки и валики, их тоже постепенно сожгли, там была стружка. Откуда появилась «буржуйка», кто ее принес, когда мы ее купили? Я не помню. Небольшая «буржуечка». Мы так мелко-мелко резали хлеб долечками маленькими и на ней сушили, просто прилепляли. Хлеб-то был клейкий такой. Эти сухарики и жевали.

— Хлеб водянистый, а есть его было лучше сухим? Почему?

— Потому что так дольше сохранялся вкус хлеба…»

А бывшая работница ленинградского радио Александра Борисовна Ден, рассказывая, показывала:

«Вот здесь у нас была времянка, и паркет испорчен до сих пор… Сначала полки с кухни пошли, кухонные столы. А потом пошла мебель вообще».

Владимир Рудольфович Ден, сын Александры Борисовны, тоже вступил в беседу: «Разговоры о еде, по-моему, считались непристойными. Люди хорошо научились, придя к кому-то в дом, вести себя так, как будто они ну совсем есть не хотят. Можно было при постороннем человеке есть, хотя это считалось, в общем-то, дурным тоном. Да, но можно было, и люди очень искусно притворялись, что они не хотят…»

Это наблюдал, подметил, запомнил он, тогда еще мальчик.

«— Еще не касались вопроса, на чем готовили, — напомнила Александра Борисовна.

— Книжки я жег собственноручно, причем я их старался как-то отбирать, сначала что похуже, — продолжает Владимир Рудольфович, поглядывая на мать. — Сначала всякую ерунду — то, чего я даже до войны не видел. За стеллажом оказалось много всякой ерунды — какие-то брошюры, инструкции по техническим вопросам, случайно, видно, попавшие. Потом начал с наименее интересных для меня — журнал «Вестник Европы», что-то еще было. Потом спалили

сначала, по-моему, немецких классиков. Потом уже Шекспира я спалил. Пушкина я спалил. Вот и не помню чье издание. По-моему, марксовское, синее с золотом. Толстого — знаменитый многотомник, серо-зеленая такая обложка, и медальон в уголке вклеен металлический.

— А я в основном пихала в печку Шиллера, Гёте — немецких классиков, — виновато и тихо дополнила маленькая росточком Александра Борисовна.

— Жгли мебель, — продолжает Владимир Рудольфович. — Был такой гардероб старорежимный, знаете, с двумя ящиками внизу. Топили им двадцать дней. Отец был человек пунктуальный, он решил посмотреть, на сколько его хватит? Заметил. Двадцать дней топили шкафом».

Вот так нам рассказывали мать и сын, а их квартира, уцелевшие в квартире вещи, стены, обожженный паркет тоже как бы участвовали в беседе, «вспоминали».

Ценились не вещи — настоящими блокадниками, во всяком случае, — не шкаф, например, а дрова из массивного шкафа…

«Приятель мужа рассказывает: он вывез на рынок шкаф — и никто не покупает. Он тогда здесь же, на глазах у всех, этот шкаф разломал; причем за шкаф он там просил, — я не знаю сколько, — предположим, десять рублей, а дров он продал рублей на двадцать! Я помню только, что в два раза больше за дрова выручил, чем стоил этот шкаф» (Рогова Нина Васильевна).

…В комнате, в которой жила Александра Михайловна Арсеньева, не было самого главного — печки!

«Нету печки! Я не знаю, где мне купить печку за хлеб? И как хлеб оторвать? Ведь у меня служащая карточка, а на детскую карточку в столовой ничего не дают. Детская карточка пропадала, а в столовой на одну служащую питались с дочкой вдвоем. Я знала, что не сегодня-завтра упаду. Девочка еще ничего была. Правда, она такая молчаливая была, тихо сидела и ждала, когда мы пойдем в столовую…»

Находили иногда где-нибудь на чердаках «буржуйки» от первых лет революции. Топили тряпьем, старой обувью, паркетом, матрацами, но главным топливом стали деревянные дома. Ими отапливались учреждения, предприятия. Их распределяли организованно, через райисполкомы.

Мало было найти, купить, выменять, добыть дрова, надо было расколоть их, принести. И это было проблемой.

«Пошла искать каких-нибудь дров в подвал, нашла полено, которое необходимо расколоть на мелкие щепки для «буржуйки», но силы не оказалось, я подняла топор, и он тут же опустился на землю. Я расплакалась; говорила: что со мной, я не больна, здорова, а сил у меня нет?» (из дневника Поповой Ульяны Тимофеевны, Васильевский остров, 11-я линия, д. 46).

Спали не раздеваясь. Месяцами так. Живые рядом с умершими.

К Дубровиной Клавдии Петровне перешла жить соседка («Мне ее очень жалко было»). И умерла в ее квартире.

«— Здесь же лежала вместе со мной: тут я лежала, тут — она лежала (показывает, где стояли койки).

— И долго так было?

— Долго, до весны.

— До весны?

— Да, и так лежали мы. В квартире у нас, рядом — девочка, мужчина, еще женщина лежали мертвые…

— А вы ходите на работу, возвращаетесь?

— Да, я дома днем не бывала, дома мне, собственно, нечего… Я там по карточке и кушала на работе что давали.

— Ну, а ночевали вы где?

— Дома, здесь. Ночевать было, конечно, страшно, потому что вот это все выбито, мороз, холод страшный. Во-первых, я лишила себя дневного света окончательно: еще пока силы были, я взяла эти два окна забила — одно одеялом, другое — старым ковром, так, чтобы хотя не дуло сюда. Но это, собственно, лишило меня света. И я приспособилась так: я приходила в темноте и знала, что вот здесь — у меня кровать, залезала в эту нору, как я ее называла, ложилась до утра и в таком холоде… Но я как делала? Несколько подушек на себя наваливала. Я, собственно, сделала нору.

— И не раздеваясь?

— Да, не раздевалась абсолютно.

— Что, и в валенках?

— Нет, это я снимала. Вот с ног снимала, пальто снимала, а остальное не снимала, и так до весны не снимала.

— До какого времени?

— Я как-то подсчитала: до тех пор, пока меня не призвали в МПВО в марте, — вот до марта месяца.

— То есть с декабря до марта?

— Да, да, примерно так, может быть, даже больше.

— А с соседкой вы жили вместе в этой комнате?

— Нет, она рядом жила, но она была такая старая, пожилая женщина, совсем уже не могла… болезненная такая. Так она еще меня пока просила, чтобы я хоть бы воды сначала принесла, там кипяточку погрела. Вот я приобрела такую «буржуечку» за хлеб тоже, маленькую такую. Ну что за «буржуечка»? Пока топишь, пока тут кипяток поставишь… И вот мы сожгли в этой «буржуйке»… весь паркет разобрали, все стулья сломали (это я все делала, поскольку я сильнее), книги. У меня было много-книг, и у нее много книг (она интеллигентная такая женщина, у нее было очень много книг). Мы не смотрели — мы всё жгли. Но этого хватило ненадолго, а потом — уже ничего нет! Вот она умерла у меня.

— У вас в комнате?

— Да, я прихожу — она мертвая лежит. Мне это как-то тоже безразлично было: тут кругом умирали люди. И я вот только залезала в эту нору, — снимала пальто, снимала валенки, — залезала туда, потому что холод страшный, такой платок на себя одевала старый. И когда я утром вставала, то у меня к шее, вот здесь, примерзало все. Отрывала все это, поднималась, одевала пальто и шла на работу…»

«Спала под двумя ватными одеялами и клала два нагретых утюга: один согревал ноги, а другой грудь и руки. Утром одеяла покрывались белым инеем» (Попова Ульяна Тимофеевна).

«Цвет кожи необъяснимый — многомесячные коптилки, и все это въедалось… В валенках спали… Свитер, валенки, пальто, брата пальто» (Бабич Майя Яновна).

И после этого — баня! Представляете?

«Первая баня! — восклицает Майя Яновна. — Ой!.. В первые дни стояли часов по восемь — с десяти утра занимали очередь и к вечеру попадали. Я все-таки прорвалась туда недели через две.

Это был такой ужас, когда они все голые и падали — силы не было тазы нести. Господи! Какой кошмар там можно было увидеть! Мыла у многих не было, терлись-терлись некоторые и без мыла. И тут же падали. Медленно очередь шла, медленно мылись, но горячая вода была».

Нам передали много дневников блокадного времени. Некоторые авторы нам прочитывали — для записи на магнитную ленту. И сами же комментировали. Галина Григорьевна Бобинская — высокая, красивая, хоть и не молодая уже женщина, специалист по краеведению, научный

работник — свою квартиру воспринимает, кажется, как своеобразный «музей» пережитого ее семьей в блокаду. Показала осколки стекла, все еще поблескивающие в поврежденном глянце рояля. Лепной потолок — старая петербургская квартира — был тоже порушен, и это также заметно.

В дневнике Галины Григорьевны есть про баню (ей было тогда 18 лет). И другие вспоминают это редчайшее весною 42-го чудо — случайную баню. И про то, каким себя человек вдруг осознавал, ощущал, когда заново видел свое и другие нагие тела.

Вот запись из дневника: «Третьего марта открылась Разночинная баня (это баня на Разночинной улице). Пошли мы в баню всей семьей». Или еще рассказ об этом же — Маргариты Федоровны Неверовой, бывшей актрисы (ул. Рубинштейна, 26).

«И вдруг нам говорят:

— Бегите, девчонки. Баню на Казачьем затопили. Скорей, скорей.

И вот весь исполком побежал в баню».

Мария Андреевна Сюткина — бывший парторг одного из цехов Кировского завода:

«Выстроили мы баню. При стационаре. Баня была по-черному, как деревенская баня».

Елена Николаевна Аверьянова-Федорова, которая вела дневник, вспоминает о том же:

«…Нам дали талончики — это уже март 42 года. И ходили в Мытнинскую баню, талончиков очень мало, и давали лучшим работникам, не всем. Мы очень хорошо помылись».

Вода, дрова, тепло… И конечно же — хлеб. В первую очередь он, к нему и сейчас стягиваются главные нити воспоминаний, с ним связаны, может быть, самые острые и жестокие переживания. Граммами хлеба (ленинградскими «граммиками») измерялись в те дни шансы и надежды человека выжить, дождаться неизбежной победы.

И какие драмы — видимые и не видимые миру — разыгрывались ежедневно вокруг кусочка хлеба (ведь он был мерой жизни и смерти!), какие сложные, самые высокие и самые низкие чувства клокотали в очередях, где дожидались хлеба, над «буржуйками», где его сушили!

Бесценные и безжалостные «граммики» — о них и сегодня говорят с восторгом и с ужасом:

«Когда нам давали этот хлеб — 125 граммов, представляете?! И отпускали нам буханкой, и вот приносили мы весы и начинали делить по 125 грамм.

Вы представляете, что в комнате! Вот все эти рабочие смотрят. Даже глазам не верят, что это такой кусок, и причем каждый боится за каждую каплю хлеба» (Сюткина М. А.).

«В наш дом попала авиабомба. Она не разорвалась, но нас выселили в соседнее бомбоубежище. Это были бывшие царские винные подвалы под зданием Эрмитажа, со стороны Дворцовой набережной… Подвалы огромные, сводчатые, целая анфилада… Света не было, кое-где горели коптилки. В одной из сводчатых ниш, на нарах, ютилась мама — совсем девочка — с тремя малыми детьми. На детей страшно было смотреть — крошечные старички: большая голова на тонких ножках, еле пересту пающих по полу в темноте огромного подвала. 25 декабря я рано утром зашла в бомбоубежище. У титана (кипятильника) стояла девочка-мама. Руки у нее тряслись она со слезами радости показывала всем кусок клейкой и тяжелой буханки и все повторяла: «Прибавили, видите, прибавили! Будет теперь ребятам…»

В этот день увеличили норму выдачи хлеба, и она получила на всех четырех — 800 граммов.

И появилась надежда» (Островская Зинаида Владимировна).

Попадались некоторые истории — неясные, вторичные — о том, как отнимали хлеб (подростки или мужчины, наиболее страдавшие от мук голода и наименее, как оказалось, выносливые). Но когда начинаешь спрашивать, уточнять, сколько раз, сами ли видели, оказывается, все-таки не очень частые случаи. Разное, конечно, в огромном городе бывало.

«Один раз я шла на работу утром, на углу Лесного и Нишлотского переулка ехал на лошади старикашка с хлебом. Хлеб был покрыт брезентом. Откуда ни возьмись, человек пятнадцать

мальчишек в форме ФЗУ. Железными крючками повыдергивали хлеб и убежали. Остановить их было некому, да и невозможно. Бедный старик плачет: меня, мол, расстреляют! Но тут милиционер подскочил и ряд рабочих-очевидцев, составили акт; оказалось, не хватило пятьдесят две буханки. Что было дальше, не знаю, думаю, что старика ни в чем не винили. Это были не воры, эти ребята. Они были голодные, холодные, немытые и совершенно, совсем еще дети, у многих уже не было родных, а ведь работали они у станков» (из записок-воспоминаний Екатерины Павловны Янишевской; Гражданский проспект, д. 90).

Или разбило снарядом телегу с бочками, повидло разбросало. Хватают кто во что собирает! Но опять же не это диво, а совсем другое: машину снарядом разнесло, хлеб лежит, собрали и никто себе не взял!

«Начался сильный обстрел… Я кое-как доползла до булочной, на углу у нас на проспекте Стачек была булочная, сейчас там кафе. Крик там был, шум. Все бросились. Кто лежит на полу, кто спрятался за прилавком. Но никто ничего не тронул! Буханки хлеба были — и никто ничего» (Евгения Семеновна Козловская, пр. Стачек, д. 8/2, работала в блокаду заместителем председателя Кировского райисполкома).

Неполной будет картина, если упоминать про одни рассказы и умалчивать о других. Вот и об этих похитителях хлеба, хлебных довесков. О них рассказывают тоже по-разному. С одной стороны, очень врезались в память такие случаи. Еще бы: женщина, ее дети мечтали об этом «завтрашнем» хлебе еще вчера, ночью видели во сне, как едят его, — и вдруг чья-то рука хватает, запихивает в рот!.. Запомнилось, хотя самые лютые обстрелы могли уже выпасть из памяти. И так этого довесочка жалко — все тридцать лет он в памяти! Даже самим рассказчицам неловко. Но еще более жалко им тех подростков, мужчин, потерявших себя. И тогда, в тот миг тоже их жалели, хотя и кричали на них вместе с возмущенной очередью, даже били.

«Со мной вместе жила жена моего брата с ребенком маленьким, четырех годков, и ее мать-старушка, потом еще карточки ее сестры дали мне и просили, чтобы я пошла получить хлеб. Вот я пошла в булочную. Я получила хлеб на всю семью. Ну, дали мне такую маленькую буханочку и небольшой довесочек. Не знаю, сколько в этом довеске было, граммов пятьдесят, что ли. И вот только я беру у продавца этот хлеб, и вдруг какой-то парнишка, голодный, истощенный парнишка лет шестнадцати-семнадцати, как выхватит у меня эту буханку хлеба! Ну и стал скорей кусать от голода — ест, ест, ест ее! Я закричала: «Ой! Что же мне делать, я ведь на всю большую семью получила хлеб, с чем же я приду домой?!» Тут женщины сразу же закрыли дверь булочной, чтобы он не убежал, и начали его бить! Что ты, мол, сделал, ты оставил семью без хлеба! А он скорее глотает, глотает. Остатки буханки отобрали от него, и у меня этот довесок остался. Я стою и думаю: с чем же я домой-то приду? И в то же время и его так жаль; думаю, ведь это голод заставил его сделать, иначе он так не сделал бы. И так мне его жалко стало. Я говорю: «Ладно уж, перестаньте его бить». Этот случай мне запомнился, думала: надо же, чтобы голод человека на такой поступок толкнул! Ведь из-за голода он выхватил хлеб!» (Юлия Тимофеевна Попова).

Со слезами смущения, вины, удивления перед тем, что голод с нею сделал, вспоминает Таисия Васильевна, Ме-щанкина про такой случай. Подошла она к магазину, и там как раз похожая сцена: выхватил парень хлеб, упал и ест, глотает, глотает лежа… Карающий гнев, обида в ней заговорила, она тоже стала его бить, толкать, чтобы спасти чей-то хлеб. Вдруг рука ее нащупала на земле кусок… Но лучше послушать ее, ее рассказ, начиная с тех трех дней в январе, когда в магазинах совсем хлеба не давали. Не было. Хлебозаводы стали.

«— В эти три дня тяжелые я одну ночь почувствовала — умираю. У меня длинная слюна бесконечная была. Рядом лежала девочка, моя дочка. Я чувствую, что в эту ночь я должна умереть. Но поскольку я верующая (я это скрывать не буду), я стала на колени в темноте ночью и

говорю: «Господи! Пошли мне, чтобы я до утра дожила, чтобы ребенок меня не увидел мертвую. Потом ее возьмут в детское учреждение, а вот чтобы она меня мертвой не увидела». Я пошла на кухню. Это было в чужой квартире (мы там жили, мой дом на улице Комсомола, пятьдесят четыре, был разбомблен). Пошла на кухню и — откуда силы взялись — отодвинула столы. И за столом нахожу (вот перед богом говорю) бумагу из-под масла сливочного, валяется там еще три горошины и шелуха от картошки. Я с такой жадностью это поднимаю: это оставлю, я завтра суп сварю. А бумагу себе запихиваю в рот. И мне кажется, что из-за этой бумаги я дожила.

— Только бумага от масла? Масла не было?

— Да, бумага. Из-за этой бумаги я дожила до шести часов утра. В шесть часов утра мы побежали все за хлебом. Прихожу я в булочную и смотрю — там дерутся. Боже мой! Что же это дерутся? Говорят: бьют парня, который у кого-то отнял хлеб. Я, знаете, тоже начинаю его толкать — как же так ты, мы три дня хлеба не получали! И вы представляете себе, не знаю как, но евонный хлеб попадает мне в руку, я кладу в рот — чудеса — и продолжаю того парня тискать. А потом говорю себе: «Господи! Что же я делаю? Хлеб-то уже у меня во рту?!» Я отошла и ушла из булочной.

— И не получили хлеба?

— Я потом пришла за хлебом. Мне стало стыдно, я опомнилась. Пришла домой и простить себе не могу. Потом пошла и получила хлеб. Я получала двести пятьдесят граммов, я была рабочая, и девочка сто двадцать пять».

…Но настоящей трагедией была потеря карточек. Особенно если в начале месяца и особенно если карточек лишалась вся семья. Потерявший их мог считать себя убийцей всей семьи. «Я крикнула так, что остановился трамвай», — вспоминает Анна Викторовна Кузьмина. Рука вернулась к карману, а там — ни кармана, ни карточек… Крик был такой, что остановился трамвай, подошла какая-то женщина, предложила ехать с нею. Она-то, незнакомая женщина из столовой, и подкормила четырнадцатилетнюю Аню, ее сестренку и мать несколько критических дней какими-то остатками щей, какими-то крохами.

В воспоминаниях Екатерины Павловны Янишевской есть сцена, кажется вобравшая в себя всю трагедию утерянных карточек и особую нравственность первой блокадной зимы.

«Видела на проспекте Энгельса такое: везет старик полные дровни трупов, слегка покрытых рогожей. А сзади старушонка еле идет: «Подожди, милый, посади». Остановился: «Ну, что, старая, ты не видишь, какую кладь везу?» — «Вижу, вижу, вот мне и по пути. Вчера я потеряла карточку, все равно помирать, так чтоб мои-то не мыкались со мной, довези меня до кладбища, посижу на пеньке, замерзну, а там и зароют»… Был у меня в кармане кусочек хлеба граммов сто пятьдесят, я ей отдала…»

Конечно же сужался круг интересов, потребностей человеческих. Но те потребности, что оставались, приобретали значение, силу, какие не имели в другое время. В числе оставшихся и усилившихся не только потребность в пище да в тепле «буржуйки». Но и в тепле участия. Никогда так не нуждался ленинградец в помощи, поддержке, и никогда его поддержка так не нужна была кому-то другому, как в дни, месяцы, годы блокады. «У каждого был свой спаситель», — убежденно сказала нам ленинградка. Каждый в нем нуждался и сам был необходим, как хлеб, вода, тепло, другому.

И не только помощь физическая.

Пища духовная, когда так мало было просто хлеба, она не обесценивалась, она значила больше, чем в «сытые» времена.

«Я думаю, что никогда больше не будут люди слушать стихи так, как слушали стихи ленинградских поэтов в ту зиму голодные, опухшие, еле живые ленинградцы, — пишет Ольга

Берггольц в предисловии к сборнику «Говорит! Ленинград». — Мы знаем это потому, что они находили в себе силы писать об этом в радиокомитет, даже приходить сюда за тем или иным запомнившимся им стихотворением; это были самые разные люди — студенты, домохозяйки, военные».

У блокадного Ленинграда была своя богиня Сострадания и Надежды, и она разговаривала с блокадником стихами. Стихами Ольги Берггольц.

«А ее стихи часто просто, просто вот так они настолько запоминались, настолько как-то ритмично укладывались в голову… Ну вот идешь и так, шагая, бормочешь эти стихи ее… «Пусть так стоит всегда зарей покрытый…» Когда-то я знала это наизусть, и как-то это очень помогало, когда я лезла на вышку и когда приходилось стоять там под обстрелом на нашей крыше библиотечной» (Озерова Галина Александровна, ул. Седова, 124).

«Потом по радио стали передавать стихи Ольги Берггольц. Это я отлично помню, действительно было здорово, это было под настроение. Это очень встряхнуло от этого животного думания об еде!» (Бабич Майя Яновна).

Казалось, хлеб, прежде всего хлеб, ну еще вода и тепло! И все говорили и думали, что все желания сосредоточились только на этом, на самом насущном. Ничего другого. Так ведь нет. В иссушенном организме душа, страдающая и униженная голодом, тоже искала себе пищи. Жизнь духа продолжалась. Человек порой сам себе удивлялся, своей восприимчивости к слову, музыке, театру. Стихи стали нужны. Стихи, песни, которые помогали верить, что не бесполезны и не тщетны его муки беспредельные. И еще многое нужно, просто необходимо было ленинградцу. Живой голос брата по судьбе — осажденного Севастополя. И уверенность, что Москва устоит и отбросит танки Гудериана. И обязательно — больше, чем даже хлеб, вода, тепло! — необходима была надежда, свет победы в конце ледяного тоннеля…

По этому тоннелю люди и двигались, зажав в себе все, что могло казаться лишним, не главным.

Но стоило человеку получить чуть больше тепла, света, как чувства его с невероятной остротой начинали воспринимать простые радости: солнце, небо, краски. Ничего не было вкуснее лепешек из картофельной шелухи. Никогда так ярко не светила электрическая лампочка. Человек научился ценить самое простое и самое главное.

Александра Михайловна Амосова, сотрудник Эрмитажа, рассказывала, как весной 1942 года блокадники снова — но как бы впервые в жизни! — вырвались к зелени, к земле кормящей…

«Набрали мешки лебеды, конского щавеля (считался деликатесом этот дикий щавель), набрали всякой травы. И вот у меня было такое чувство, что хотелось лечь на землю и целовать ее за то, что только земля может спасти человека. Даже если бы в тяжелые времена, зимой, была бы эта трава, то, может быть, такой гибели, такого количества мертвых, смертности такой не было бы. Свет. Солнце. Где-то в небесах жаворонок поет. А здесь мы просто этой травы наелись досыта. Конечно, это не пища. Но помню это чувство очень хорошо: хотелось лечь, распластаться и целовать землю! Понимаете?! Землю, которая дает нам все — и хлеб, и все абсолютно, чем может с ществовать человек».

…Малейшего облегчения было достаточно, лишней пайки хлеба, тарелки крапивных щей, чтобы очнулась стиснутая до предела, замершая душа. И тогда с небывалым прежде восторгом, благоговением ценились простые радости: сухой чистый асфальт, оконная рама с целым стеклом, нагретая солнцем стена, зелень деревьев, ни в одну весну не были они такими зелеными, как в ту весну! Чудом была и кровать с чистыми простынями, и цветок, который можно было не рвать, не жевать, не готовить из него салат, а оставить просто цветком, который вырос на газоне.

НА РАБОТЕ

Что же можно было противопоставить такому голоду? Довольно скоро многие почувствовали спасительную силу товарищества, старались соединиться, быть вместе. Происходило это и организованно, под руководством партийных комитетов. Происходило и инстинктивно, стихийно, соединялись через работу, переходили на так называемое казарменное положение. Приспосабливали в рабочих помещениях комнаты, ставили кровати, налаживали отопление, быт. Скучивались, собирались по цехам, по отделам, жались друг к другу, ища тепла, помощи. Да и работать так было легче, не ходить из дома и домой пешком в непогоду. Первыми, естественно, переходили на казарменное одинокие и те, у кого семьи были эвакуированы. Хуже приходилось, когда семья жила в городе и нельзя было оставить мать, жену, детей одних.

Многие на казарменном прожили всю блокаду, почти не выходя «в город». Все силы забирала работа, дежурства, восстановление разрушенных цехов. Мир съеживался, как сжимается человек на морозе, втягивает голову в плечи, уходит в себя. Так уходили в спасительное лоно своего предприятия, старались быть среди людей. На миру и смерть красна, миру со смертью тягаться легче.

Главный библиограф Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина Озерова Галина Александровна об этом так рассказывает:

«— Я думаю, что они умерли потому, что оставались в этой квартире одиночками. А мы —

кто были на казарменном положении в первую, блокадную осень в Центральной библиотеке, — мы сохранились благодаря коллективу. Все-таки у кого было больше сил и сноровки, те занимались такими работами, как заготовка топлива, колка, пилка, как расчистка снега, как добывание воды. Заставляли людей — тех, которые укладывались и не хотели двигаться, — заставляли их двигаться и выходить на воздух. Ну, скажем, я на далекие концы города таскала на саночках дрова нашим сотрудникам, которые решили отсиживаться у себя на квартирах и уже не имели сил ходить в библиотеку. Они умерли.

— А вы таскали дрова им?

— Да.

— Ну вот, вы помните ваше появление в этих квартирах? Как это все выглядело?

— Это очень страшно: затемненные квартиры, замерзшие, совершенно жёлтые, опухшие люди.

— Встречи проходили молча?

— Да нет, мы говорили. Они интересовались, что делается у нас в библиотеке, кто жив, кто умер — вот самое главное; какие прогнозы относительно немцев, что, продвигаются они, не продвигаются… Но вот, главным образом, как живет и как работает библиотека и кто из товарищей жив и кто как себя ведет, как держит себя, — вот такие разговоры были, главным образом».

Но и «в городе» тоже происходила как бы концентрация. Внутри квартир все сселялись в одну комнату: чем теснее, тем теплее. Согревали друг друга своим дыханием. Переезжали к друзьям, близким. По две, по три семьи собирались вместе из разных районов города. Оживали родственные связи. Сообща легче было управиться, стоять в очередях за хлебом, носить воду, смотреть за детьми.

Казарменное положение было в той обстановке, может, самой действенной помощью людям. Организованность, воля, ум коллектива изыскивали, казалось бы, совершенно невероятные возможности. Работники типографии, которая печатала карточки для города, рассказывали: когда на эти карточки стали давать все меньше (с 20 ноября рабочим — 250 граммов хлеба, служащим, иждивенцам, детям — 125 граммов хлеба, черного, липкого, как замазка, водянистого, с примесью целлюлозы и опилок, и ничего кроме этого), начали искать, оглядывать, как бы проверять заново все, что было под рукой, в смысле съедобности, пытать окружающее воспаленными глазами голода.

«— Матрицы были. Там папиросная бумага и какое-то количество мучного клея, чтобы смазывать. Матрицы отработанные — свинца, красок нет, только бумага. Так мы мололи их, делали кашу и говорили, что каша ничего. Или столярный клей — это же студень.

— Получается, что у вас было профессиональное блюдо, из матриц?

— Да. Мы эту кашу ели, и ничего! Доля муки там была очень незначительная, в основном была бумага, клей и ряд других компонентов» (Евгений Александрович Тренке, наб. Мартынова, д. 12).

Питание хоть какое-то на производстве организовать было легче.

«Питались мы в столовой, — рассказывает Клавдия Петровна Дубровина и тут же переспрашивает: — Если вам, конечно, интересно? Питались по карточкам…»

Она работала в зиму сорок первого — сорок второго года токарем на заводе. В рассказах ее драгоценные подробности, но она то и дело стеснительно обрывает себя:

«Я кратко… Может, лишнее что, может, короче надо?»

«Нам выдали талончики. На них дадут немножко жидкой-жидкой каши, а мы еще подходим и разбавляем кипятком, чтобы ее было побольше, вроде впечатление, что больше поел. Там кипяток стоял в столовой, и мы еще разбавляем. Потом у нас без карточек так называемый

дрожжевой суп давали. Ну, в то время что только шло в рот, как говорится, то и ели. Вот потом мужчины, которые у нас остались по возрасту или по броне, потому что было что делать, знаете, вот даже в столовой сидит за столом и, видишь, упал и умер. Такой тихой смертью умирали, так спокойно… На заводе было страшно, конечно. Ну и что? Голодные у станков работали, всюду были выбиты окна, руки примерзали к металлу. Я работала в перчатках, потому что все примерзало. Помогали мне, даже к мастеру не обращалась. Там инженер-технолог один, такой Вася Кириченко, перешел на станок, так он часто подходил ко мне. Придет: «Ну что, не умеешь? Так я помогу тебе». (А его не призывали, потому что он моряк, а моряков не призывали, держали до весны.) И вот он мне все показывал, и я таким образом научилась и работала.

Потом уже мы и так не работали. Придем к началу — нет электроэнергии. Мастер говорит: «Сидите ждите». Сначала сидим по нескольку часов, ждем — нет электроэнергии. Потом уже стало это в дни превращаться, уже днями ее не стало. Нам говорят: «Приходите только дня через три». Мы стали меньше ходить на работу. Вот так примерно мы и работали, с промежутками все работали. Я кратко!»

Мария Андреевна Сюткина, заканчивая свой рассказ; вдруг вспомнила, что у нее есть меню сорок второго года столовой одного из цехов, и прочитала нам названия блюд, которые заменяли мясные, рыбные, мучные. Но это уже весна — лето 1942, когда с питанием стало намного лучше:

«Щи из подорожника
Пюре из крапивы и щавеля
Котлеты из свекольной ботвы
Биточки из лебеды
Шницель из капустного листа
Печень из жмыха
Торт из дуранды
Соус из рыбнокостной муки
Оладьи из казеина
Суп из дрожжей
Соевое молоко (по талонам)».

Чего только не варили, чего не ели, чего не изыскивали! Воистину, как говаривали немцы в старину: «Лучший повар — голод!»

«Деда! А танковый жир?» — напомнила вдруг присутствовавшая при нашем разговоре внучка Зенькова, и Петр Ефимович сам не без удивления вспомнил, видимо, один из семейных рассказов:

«Во! Танковый жир ел. Боже мой! А знаете как? Одна моя знакомая работала. А до войны я в том цехе работал. Секретарем там был один созыв, освобожденным. Да. И вот она говорит: «Знаешь что, Ефимыч? У меня бочка целая жиру — танки что смазывают. Приходи!» И я взял. Какая прекрасная штука! Как мы его ели-то! И домой принес. Понимаете?..»

Главным в казарменном положении, в этой коллективной жизни была взаимовыручка, взаимодействие, которое поддерживало дух.

Часть судостроительного завода имени Жданова была эвакуирована на Выборгскую сторону, там начали делать мины, работали до декабря, пока была электроэнергия. А потом могли разойтись по домам, но многие продолжали оставаться на заводе, жили там.

Чем голоднее становилось, тем труднее было работать, но тем нужнее была работа и для фронта и для города, да и для самого ленинградца. Работа помогала держаться. И за работу держались. В этом вымороженном, безлюдном, обессиленном до предела городе продолжалась

деятельность большинства учреждений. Почтальоны разносили письма, типографии печатали карточки, газеты, листовки, работали райисполкомы, детские сады, поликлиники, теплилась жизнь в архивах, в Публичной библиотеке, в симфоническом оркестре. Работа заглушала непрестанные, доводящие до безумия мысли о еде. Через работу люди приобщались к жизни страны, от которой они были отрезаны.

Г. А. Князев и его сотрудники продолжали писать «Историю Академии наук СССР». Эта работа в первую очередь нужна была им самим. Они исполняли свой долг, они, архивисты, историки, делали что могли, что умели. Большинство же занималось куда более насущными делами — для того чтобы поддерживать жизнь города, а главное, для того чтобы обеспечивать Ленинградский фронт, и, кстати говоря, не только Ленинградский. Делали оружие, мины, снаряды.

Мария Андреевна Сюткина вспоминает, как на Кировском заводе жили в комнатах технологического бюро, как топили деревянными шашками, которыми выстланы были полы в цехах.

«Ну, значит, когда началась у нас весна, мы решили — так как каждый день сбрасывали на нас листовки: мол, все равно вы погибнете, помрете от голода, от холода, — мы решили, что должны народ как-то морально поднять. Вы понимаете, если каждый день такое! Надо как-то дух у людей поднять. Вот решили мы восстановить меднолитейный цех. Часть женщин у нас были стерженщицами. Нам дали задание — пятидесятидвухмиллиметровую мину делать. Делали по силам, чтобы можно было трамбовкой в ящиках-то трамбовать. Основной медный участок пустить нельзя — у нас не было металла. А для вагранки у нас был металл. Мы решили пустить вагранку. Но как пустить вагранку? У нас остался только один вагранщик из семи. Вагранщики были здоровые такие мужчины, высокие, и от голода они погибли. Остался один Чагинский. Он знал хорошо вагранку. Но что делать? У него зубы выпадали — цинга! Многие заболели тогда цингой, к весне-то. Решили обучать женщин на вагранщиков. И вот этому Чагинскому мы пеленали ноги(!), чтобы его на ноги поставить и вести к вагранке (от стационара метрах в пятидесяти этот цех был). И туда его под руки водили. Он давал инструкцию, как пустить вагранку. Вагранку мы пустили. Женщины стали работать на вагранке. Участок этот у нас заработал. Как только заработал участок, вы представьте, народ ровно воскрес, у него какая-то живость появилась, даже улыбка появилась. Стал он верить, что все-таки мы победим».

Внутри самой работы все изменилось. Блокада и голод сделали особенным все, начиная от движения транспорта вплоть до, казалось бы, незыблемой технологии станочников.

Работа связалась с бытом, с семьей, связалась как никогда прежде. Рассказы о работе необычные даже среди всего этого невероятного быта. Сместились понятия возможного. В обыденной привычной обстановке цехов появились вещи, казалось бы, невозможные для производства. Темень. Женщины, не знающие самых простых приемов работы. Мальчики и девочки, совсем дети. Все слабые, неумелые…

Федор Иустинович Козодой (ул. Тракторная, д. 13), начальник цеха, а потом партработник, секретарь райкома, сейчас, спустя три с лишним десятилетия, начисто не может понять, каким образом они сумели без лифта, без крана втащить в четырехэтажное здание тяжелые станки, когда налаживали производство мин на Выборгской стороне.

Рассказы о работе поражают.

«— В каком же году это? Это в сорок первом году, значит, — старается припомнить Вера Антоновна Гаврилова (Касимовская ул., д. 14). — Завод пластмасс эвакуировался в Боровичи. Оборудование у нас было очень неплохое, очень дружный коллектив, как я вспоминаю. На заводе остались почти пустые цеха. Станки самые лучшие увезли. Все цеха уже стояли —

пластмассового сырья не было. И вот мы начали осваивать гранаты «Ф-1» и «РГД». У нас шло это хорошо. Работала половина женщин, половина мужчин. Ночная смена в двенадцать часов, диспетчера нету, смотрю, там два станка стоят — людей нету. Иду искать. А мы перед этим приняли на завод по разверстке из детского дома ребят-ремесленников. Иду к ним в общежитие (общежитие рядом было). Смотрю: Петька живой лежит, спит, а сверху-то него мертвый…

— Постойте? Я не понял. Где они лежат?

— Да в общежитии! Ну, ребята истощенные, голодные, подкормить-то ведь нечем — кроме карточек, ничего не было. Это позднее догадались есть казеин. Ну, прихожу. «Господи, Петька! Ты чего?» — «Да я проспал!» — «А Витька что?» — «А Витька, ну, чего — он уже мертвый!» И вот мальчишка, пришел и начал работать. Не спрашивайте, как он стоял! Но все равно дырочки и все что надо в гранатах лучше вот этих мальчишек никто, конечно, не делал».

Работали по-всякому. Электроэнергии не было, не давали, если и включали на несколько часов, то в первую очередь тем производствам, которые делали оружие. А работать надо было и остальным. И тогда где можно работали вручную. На фабрике имени Бебеля было так, что крутили машины руками. Шили гранатные сумки, ремонтировали полушубки, чинили ремни.

«Летом будет легче, там свет будет, а зимой самое трудное время. В цеху холодно, не топят. Цех большой, окна с двух сторон. На улице мороз 30°. Руки, ноги отмерзают. Машины вертим руками, машины замерзшие».

Это из дневника Елены Николаевны Аверьяновой-Федоровой. Она читала нам свои записи, поясняла их. Читала, поясняла и плакала.

«26.1.1942 г. Сегодня так перемерзла на работе, несмотря на то что тепло одета! Но когда в желудке пусто, то хоть что надевай — тепло не будет…

27.1.1942 г. Нигде не было хлеба. Очереди стояли с пяти утра. Открыли булочные — и пустые. Приходилось ждать, пока выпекут да подвезут. Шура стояла с семи утра и только в семь вечера получила хлеб. Двенадцать часов простоять на воздухе. А мы этот хлеб моментально съели. Ведь за целый день ничего во рту не было: конечно, если принесли хлеб, то не удержаться. Вот раньше могли его делить на какое-то время, а тут не до этого было.

Сегодня я работала один час, потом отпустили домой, чтобы достать хлеб.

Второй день иду на работу и ничего не ела. Как работать в таком холоде и что делать? Так и пошла. По дороге, на Кирилловской, около дома 22, брошены два покойника. Вот идешь, и хоть бы что! До чего притуплено все, явление считается обычным, как будто так и надо, уже не коробит этот случай, мы уже привыкли к нему.

Но хуже всего то, что сегодня только надежда на хлеб. Ведь продуктов опять не дают. Подразнили немного, дали крупки по 50 грамм и думают, хватит. А тут уже хуже быть не может. Хлеб — это же жизнь. Одним словом, держаться! Как трудно пережить эти тяжелые дни!

28.1.1942 г. Сегодня с работы не отпустили, несмотря ни на какие уговоры и просьбы отпустить домой. Директор у нас жестокий — не велел отпускать. Но что толку? Все равно работать никто не может. Машины все замерзли. Мы все как кочерыжки. И не мудрено замерзнуть, если в цеху кипяток сразу превращается в лед. Стены все покрылись снегом, а стекла все покрылись толстым слоем льда. Да разве можно работать в таком цеху, где мороз минус 25, если на улице 30, — только что нет ветра?!

Кончили работу в 3 часа. Пошли домой. Опять плохо, опять ничего нет. Я пошла искать, где дают хлеб на 29-е. Ведь гибель без хлеба».

…Вернемся к семье Васильевых. Рассказ Зои Ефимовны мы приводили раньше, теперь обратимся к тому, что сообщил нам ее муж, Никандр Иванович, мастер Металлического завода.

Если можно было бы не прерывать повествование, не возвращаться назад, не располагать рассказы один за другим, а как-то показать одновременно, что происходило с детыми Васильевых, и с людьми на его заводе, и дома с женой, а потом с ней в больнице, и сравнить, как в это же самое время работали и жили другие семьи, как работала почтальон Наталья Сидоровна Петрушина и трамвайщица Анна Алексеевна Петрова, и как работали в своих разбитых цехах кировцы, краснозаревцы…

В разных частях огромного города боролись, страдали, одолевали эти страдания и не одолевали их, и все в одни и те же дни, и все это сливалось в единую картину и не сливалось, потому что каждая судьба имела свою особую историю, неповторимые подробности, и память сохраняла их тоже по-разному.

Хотелось передать эту множественность жизни, не возвращаясь всякий раз назад. Хотя бы так: «А в это время». Или: «А в этот же час»… Но все равно приходится возвращаться. Возвращаться же значит повторяться. И нам немало придется повторяться. Речь идет о том же — и все же о другом. Потому что каждый рассказ таит в себе новый, хотя бы небольшой поворот жизни. Потому что бесчисленные эти повторы в рассказах людей не были повторами. Они открывали новые и новые обстоятельства, казалось бы, достаточно известного. Они подтверждали и вели вглубь, придавали тем же событиям всеобщность, закономерность, объемность.

Вот рассказ Никандра Ивановича Васильева:

«— Мне сейчас шестьдесят один год, значит, в войну мне было двадцать шесть. В армии я не служил, потому что меня сразу взяли на броню. Когда война началась, я был старшим мастером: у меня было около восьмидесяти человек ребят и мужиков. И конечно, сразу же все — я сам призывал идти защищать родину, — все ребята, конечно, пошли в армию. А меня сразу за рукав: «Ты что? (Я был, конечно, комсомолец.) Не только на фронте воевать надо. Надо здесь воевать, цех надо готовить, вооружение делать». Короче говоря, получилось, что от меня ушли лучшие люди, квалифицированные, а мне дали, конечно, женщин.

— И ремесленников?

— Ремесленников тогда мало было. Были, но они были настолько слабые от голодухи… Два-три человека их у меня было. А в основном, конечно, женщины. Женщин забирали из столовых, отовсюду… Вы понимаете, что такое мастер? На заводе, в цеху? Ему нужно выполнять задание и работать с людьми. А люди, понимаете, голодные, холодные. Я вот не забуду, мы выполняли такой заказ. Уже «катюша» пошла, а нам дали задание: мы снаряды точили, женщины на операциях. Как сейчас помню, тридцать семь операций (меня даже наградили орденом Красной Звезды), и на всех — женщины. Вначале даже плакали, а потом освоили. Холодина — минус двадцать два — двадцать пять градусов в цеху. А нам дали такие трубы длинные, с «Большевика» привезли. Диаметр миллиметров сто восемьдесят — двести, стенка толщиной миллиметров двадцать. Сталь такая вязкая (специально для вооружения). Трубы метров восемь длиной, а нужно нарезать заготовки по восемьсот миллиметров. И резать на строгальных станках, на больших. А делается это очень долго, потому что нужно поливать, а вода замерзает на ходу. Стружка не вылетает. Резец ломается. А резцы в то время где ты возьмешь? Кузница там была тогда — три-четыре молотка. Я потом, значит, мужиков своих взял, которые были более или менее ничего и сами резцы ковали. К чему я это говорю? А к тому, что этот холод, мороз нам с трубами помог. И на «Большевике» тоже мучились с этой резкой, самая тяжелая была операция. (Я сам токарем в прошлом был, до мастерства. Я стал мастером в тридцать восьмом году.) Мы стали делать так. Начинаешь надрезать, примерно миллиметров десять надрежешь, потом тюк по кольцу — все, готово, труба обламывается. Потому что она хрупкая на морозе. Короче говоря, мы удивили всех.

— И ровно?

— Ровно, как ножом. Короче говоря, все это шло до тех пор, пока основные люди у меня не умерли. Вот помню такой случай. У меня до войны был один шлифовщик, единственный! Это такой мужик был! Ну, добротный наш русский мужик. Выпивал, закладывал, конечно. Ну, это не важно. Вы поймите, как он работал! И его настолько хвалили на заводе! Ну, везде плакаты, ну, герой, понимаете? Я его поддерживал по-всякому. У меня были моряки, но и они голодали. Кое-что нам давали, а мы все ему совали. И вот этот мужик приходит ко мне и говорит: «Знаешь, Васильевич (он так меня звал), я умру сейчас». Я говорю: «Да ты что! Ты один шлифовщик, ты что?!» — «Умру!» И он ушел из кабинета. Что вы думаете? Приходит ко мне женщина минут через двадцать и говорит: «Умер!» Жил он где-то на Васильевском острове, ходить было далеко. У нас конторка была у механика, я ее утеплил, но, конечно, там особого тепла не было. Он там спал. Семья? У него жена умерла, двоих парней в армию взяли, вот он один остался. Этот человек точно знал, что он через несколько минут умрет. И он до самой смерти тянул, понимаете?»

То ли это особенность гибели от дистрофии, от голода, то ли обострившееся чувство смерти, которой так много было крутом, но известно было в то время, что многие точно ощущали момент ее приближения. Как будто слышали ее подход, видели ее.

«— К чему я это говорю? Люди в таких тяжелых условиях работали, и действительно безотказно. До войны были указания: за двадцать минут опоздания — увольнение, потом судить. Чуть ли не каждый обеденный перерыв собирали людей: такой-то прогулял! А вот в тяжелое время блокады не было случая, чтобы человек, который еще может двигаться, чтобы он не работал. Не было таких.

— Так что, тогда не нужно было приказов?

— Никаких приказов! И я не забуду никогда. Я вижу, что народ валится от голода, а больше от холода. Я решил «буржуйку» сделать. Был у нас такой красный уголок, и в нем я сделал вместе с работягами «буржуйку». И решили: полчаса работать — десять минут обогрев. И я потом пришел к такому заключению, что они у меня за эти полчаса дают больше, чем за два часа… Назначили нового директора. Он в шинели начал ходить. Я и не знал, что он директор. Он до этого раз был у меня. Ничего не сказал. А потом приходит и говорит: «Где твои люди?» Я говорю: «Греются». — «Фронт требует оружия, задания надо выполнять, а тут у тебя люди сидят!» Я говорю: «Не сидят, а обогреваются. Они больше потом сделают». В общем, короче говоря, взыскание на меня наложил. Пришел курьер, принес мне выговор. А через две недели, когда он лучше познакомился, пришел извинился передо мной и издал приказ: везде «буржуйки» сделать! Вот так… В силу того что моя семья жила рядом, я, понимаете ли, в неделю раза два-три дома бывал. Тут быстро пробежать, минут пять. У меня две дочки были и жена. Мы жили тут, в доме сорок. И одна дочка умерла. Я ее сам схоронил. Потом жена свалилась. Ее положили не в стационар, а в госпиталь. Вот у меня одна дочка умерла, а вторая одна дома. А ей три, четвертый годик. Так я что? Натоплю плиту (мы не в комнате жили, а на кухне). Я дочку на плиту, тряпками накрою, а сам на завод. Потом прихожу. Бурдой накормлю, чтобы она не умерла. Так и бегал. Прибегу, накормлю ее, переодену, понимаете? И убежал. А она опять одна! Я думал, что она озвереет. Я другой раз прихожу, открываю дверь, а она стоит — маленькая девочка одна в квартире. Ведь все там умерли.

— А какая часть работников умерла?

— Большая. Хорошие, квалифицированные люди были. Ну, что же сделаешь?! Если взять, допустим, ноябрь — декабрь сорок первого года, меньше чем половина, нет — одна треть осталась. Если взять сорок второй год, так я прямо вам могу сказать: в целом по заводу примерно тысячи полторы-две осталось из восьми.

— И на фронт ушли многие?

— Да, на фронт многие ушли, очень многие».

На место ушедших на фронт становились подростки и женщины. Так бывало на всех предприятиях. Город, который остановил у своих стен фашистские армии и устоял перед штурмом, продолжал снабжать своих защитников оружием. Даже на Большую землю попадала его продукция в самые трудные для Москвы месяцы. Сейчас кажется непонятным, как могли ослабевшие от голода детские руки поднимать, закреплять в станки тяжелые заготовки.

«Привязывались к станкам… Чтобы в станок не упасть. Не просто боялись упасть, а в станок чтобы не упасть, не искалечиться, — вспоминает Михаил Петрович Пелевин, который пятнадцатилетним мальчиком работал на заводе имени Кулакова. — Нас, мальчишек, использовали на подсобных работах. Берегли металл, и доверить его порой нам, бывшим ученикам-ремесленникам, было не всегда возможно. В те дни брак исключался. И конечно, когда на время кое-кого из нас и ставили за станок, главной нашей заповедью становилось — не спеши!»

Нечего скрывать и того, что на завод такой мальчишка тянулся из последних сил еще и потому, что там можно было в заводской столовой на один крупяной талончик в 12,5 грамма получить сразу три тарелки горячего дрожжевого супа и бутылку соевого молока. Это молоко только-только начало появляться. Его изобрели тут, в блокадном городе.

Была у нас встреча с Ольгой Николаевной Мельниковой-Писаренко. Ее военная (да и послевоенная) судьба связана была со знаменитой «Дорогой жизни» через Ладогу (об этом будет ниже). Но было в ее рассказе и такое вот отступление:

«— Я никогда не забуду, что видела на Кировском заводе. Я случайно попала туда. Как раз мы оттуда возили дрова. Там много деревянных домов было. Это для госпиталей везли. И случайно я туда забежала. Смотрю — подростки, мальчики по двенадцать-тринадцать лет, девочки по четырнадцать лет стоят у станков и работают. Они заменили своих отцов или своих старших братьев. Этим подросткам подставляли скамейки или ящики, для того чтобы они могли работать. Рассказывали, что одна девочка, работая на станке, еще играла в куклы… Это неправда! Это она брала куклу, идя на работу. Она должна была брать с собой какую-нибудь, знаете, дорогую вещь, то есть для нее дорогую. Она куклу брала с собой, потому что считала, ее такой ценной вещью.

— Это оттого, что дом могут разбомбить?

— Да. Она не играла, а это просто ее личная вещь. О какой игре в куклы можно говорить, когда она недоедала, недопивала, когда знала, что нужно деталь сделать. Она куклу брала, чтобы сохранить; дом может разрушиться, а эта ее дорогая вещь сохранится.

— А сколько этим девочкам было лет?

— По тринадцать-четырнадцать… Другой раз бежишь куда-нибудь, смотришь: стоит подросток. Говоришь: «Что ты стоишь? Давай выходи, уже всё, обстрел кончился». Подойдешь к нему, а он мертвый! Он, конечно, от голода умирал. И вот стоя, прислонясь к стене, умирали!»

Рассказывает Петр Ефимович Зеньков, бывший мастер Кировского завода:

«— Я двадцать пять дней пролежал в больнице, в стационаре… Потом поправился. Пришел в цех. Начальником был Иван Иванович Плотников. Он сейчас жив-здоров. Плотников и говорит мне: «Зеньков, расчищай у цеха снег. Надо начинать работать». А с кем работать? Вот у меня один был слесарь Маникин, а остальные все женщины. И девочки были по шестнадцать-семнадцать лет, слабые были, разный народ. Никто ничего не умеет. Сам я и мастер, и настройщик, и рабочий, что угодно! Сверло заточу, резец заточу, резец установлю, пущу станок. А Нарышкина была у меня, так она посмотрит на меня и плачет, — почему-то она меня боялась, сам не знаю почему, и станка боялась, и меня.

— Это девочка была?

— Женщина! Пожилая. У нее муж старый большевик, еще с дореволюции. На «Жданова» работал. Ну, я стал набирать народ. Стал этих людей обучать. Интересно — сварка. Сам я никогда сварщиком не был. А нужно опоки делать. Это по нынешним временам преступление, но я делал опоки алюминиевые, чтобы женщинам больным поднимать, выколачивать мины было легче. Вот делал алюминиевые опоки, и туда три мины ставили. И одна сторона все как-то приваривалась. Жалко же — одна мина не выходит, она приваривается, брак получается. Вот думал-думал, что сделать. Придумал: пятимиллиметровую шайбу сделал отсюдова, а тут контргайку внутри затягивал… Получилось у меня. Начальник говорит: «Ну и молодец же ты!» Стало выходить три мины — во!!! Ну и делал я эти алюминиевые опоки. И втулочки заливали там, и всё с этими бабками. Ну, все сами обрабатывали. На карусельном станке обрабатывали. Нашел карусельный станок заброшенный. Установил. Думаю, по-хозяйски это будет, хорошо будет. Мины-то нужны. И ДОТ сделал — там прятались, когда сильный обстрел.

Однажды такой обстрел был! А у меня была украинка Кормилицина. У нее муж на Кировском работал. Ушел на фронт и погиб. Ну вот, обстрел, а я там около строгального ковыряюсь. Я говорю Кормилициной: «Сходи-ка послушай, где снаряды ложатся?» Она пошла. Идет. «Хозяин! За фасонкой!» Только она сказала — как ахнет у меня над головой снаряд! Меня контузило. Я ничего не помню. Я эту Кормилицину, тоже раненую, веду через весь цех и не чувствую, что у меня человек в руках. А когда подошел, зацепился за опоки, опомнился — человек в руках. Пришел. Кровь тут у меня течет, ну — смерть! Значит, нужно, наверно, было живому остаться: у меня тамбур был, двери двойные. Я в этом тамбуре повалился и думаю: тут уже смерть! Кусак стоял у меня как раз перед дверью. И в это время как ахнет снаряд по этому кусаку! Если бы я шаганул два шага — мне бы смерть! А потом я уже без памяти летел, снаряды — жжи-жжи! Я прилетел в подвал, в медпункт. Пришла жена. Брат прибежал. Плачут. Я говорю: «Чего плакать? Жив-здоров». — «В больницу!» — «Никуда не пойду. Работать некому. Работать же надо. Кто будет делать все это? В больницу я не пойду». После стал немец так бить! Один раз я вышел, смотрю — самолеты. Считаю — семь, восемь. Ну, думаю, наши летят! Как он тут стал бомбить! Боже мой! Вот так стою, и земля подо мной ходуном. Все дрожит. Он много тогда побил у нас. Цех один положил, буквально положил!.. Потом — труба стояла у нас. Громадная труба. Как стал бить по этой трубе! А у нас как раз печки тут.

— Это в каком цехе?

— В медно-чугунолитейном. В эту трубу попал и пробил. Несколько пробоин сделал. Валить ее надо, иначе может упасть, нас убить. А моя мастерская рядом — между столовой и меднолитейным, меня тоже эвакуировали с народом. И положили эту трубу, она как струнка упала. Перестал стрелять по этой трубе. У нас померло больше, чем на фронт ушло наших кировцев. Вот я не знаю, как я остался живой! Голодали здорово. Но я пил соевое молоко и ел шроты. У нас никто не пил соевое молоко, а я пил. Я воду не пил. Пил соевое молоко и шроты ел… Потом стали давать нам рационы — пятьсот граммов хлеба. И потом давали рационы и на рабочих, и на нас. Водку давали. Пиво давали — по талончикам нам как рабочим. И тут стало положение все лучше».

Валентина Степановна Мороз, которая как раз была одной из тех девочек четырнадцатилетних, что должны были на заводах, в мастерских заменять не просто мужчин, а квалифицированных мужчин-рабочих, это же помнит «со своего места»:

«Смерть матери на меня подействовала угнетающе. Я не могла вообще дома находиться. Я несколько дней провела у соседей, а потом меня отвели на завод там же у нас, на Петроградской стороне. Я устроилась на заводе и перешла на казарменное положение. Завод стал оборонным. До войны выпускал кассовые аппараты или что-то вроде. Теперь, в блокаду, он стал оборонным

заводом. Оборудование вывезли в Свердловск, но кое-что оставалось. Ну, я пришла, ничего не зная. Стала ученицей токаря, так как надо было очень быстро что-то осваивать. Я делала такие маленькие эксцентрики. Это когда стабилизатор приваривается к снаряду, маленькие эксцентрики на эту заточенную часть. Работа была по микрометру, очень хлопотливая и точная работа. У меня не было сменщицы, и я одна над этими эксцентриками работала…»

А еще была работа — убирать трупы, свозить к траншеям, спасать город от эпидемий. Работа повседневная, постоянная, даже «привычная» уже. И все равно страшная для человека.

В блокадной памяти она «записана» наряду с другими работами и делами ленинградцев. Но когда эта «запись» звучит сегодня — не только слушающему, читающему, но и рассказывающему, пишущему, помнящему это, такое — не по себе…

А ведь ее, эту работу, необходимо было выполнять. Притом часто — женщинам, женскими руками.

«Я боялась покойников, а пришлось грузить эти трупы. Прямо на машины с трупами садились, сверху, и везли. И сердце было как бы выключено. Почему? Потому что мы знали, что сегодня я везу их, а завтра меня повезут, может быть.

Но кто-то ведь останется жив. Мы твердо верили, что город ни за что немцам не взять» (Арсеньева А. М.).

Сердце «выключалось» — такое не придумаешь, такое надо испытать, как испытала Анна Алексеевна Петрова (Бассейная, д. 74).

«— Потом еще была такая работа. Возили в 1942 году покойников, которые были последними в голодную зиму. Нас послали на Марата улицу — мое отделение МПВО. Приезжаем на трамвае. Брали в разных районах и местах. И разные люди были. В Кировском районе, там больше мужчин, крупные и потом животы большие, а когда несем носилки, то в этих покойниках переливается вода, как вроде в бочке. В Невском районе большинство — дети и старики. Нам сказали — без документов не брать трупы. Вот по этому поводу был у нас такой случай. День был воскресенье. Мы брали трупы в больнице Бехтерева. Там был только сторож. И вот я сказала своим подчиненным взять в покойницкой столько человек, сколько было документов. Пока я со сторожем оформляла бумаги, мои уже успели погрузить трупы. И здесь сторож стал ругаться, зачем не тех взяли, требовать, чтобы обратно сгрузили. К этим, мол, еще родные придут…

Девочки отказались сгружать, тогда этот сторож сам залез в кузов машины. За покойника, через плечо и обратно в покойницкую. Трупы не были застывшие, они гнулись в любом направлении, и вот таким образом сторож забрал своих покойников. Нам же пришлось самим забирать тех, что черные. Ругался шофер на меня: не дотрагивайся до трупов, а то не посажу в кабину!»

Она рассказывала без брезгливости, это была работа, жребий пал на А. А. Петрову, и ничего тут не поделаешь, кому-то ведь надо было… Вы просили рассказать все как было, пожалуйста, вот так тоже было. И нам тоже необходимо рассказать об этом не стыдясь, не жеманничая, отвергая все упреки в натурализме, антиэстетичности, рассказать, чтобы отдать должное всем, кто, подобно Анне Алексеевне, делал эту тяжкую работу.

Какие сложные функции обретали, казалось бы, самые незаметные, вроде самые простые профессии, какую значительность и действенность они получили! Например, почтальон. Уже упомянутая нами Наталья Сидоровна Петрушина (Большой проспект, д. 51/9) и сейчас еще очень подвижная женщина, несмотря на годы (она 1914 года рождения). Так и представляешь ее, с тяжелой сумкой, а в блокаду сумка эта казалась куда тяжелее, и дом от дома стоял дальше, и лестницы были круче. Тогда ведь носили письма прямо в квартиру, в каждую квартиру, да еще

лично адресату старались вручить.

«— Конечно, я и сама-то была еле-еле. Когда блокада началась, мы жили в Новой Деревне, там было общежитие. Бомбили рынок — там какие-то объекты были, — и наше общежитие, конечно, разбомбили. Ну, нас перевели сюда, на Большой проспект, дом тридцать один. Мы тут, значит, жили. Нас было шестьдесят человек. А я работала в сто двадцать девятом почтовом отделении. Это Каменный остров. Ну, кое-кто у нас уехал, а большинство, конечно, умерло от голода. Муж у меня на заводе погиб от артобстрела. Пошел туда и не вернулся. Дети во время войны тоже умерли, двое. Начался основательный голод: уже на карточки мы ничего не получали приблизительно с половины декабря.

— Вы продолжали работать?

— Работать я продолжала. Я как раз обслуживала улицу Академика Павлова, а там Институт экспериментальной медицины и вакцин-сывороток. Когда я туда приходила, это уже когда голод начался, мне работники медицинские объяснили: «Ни в коем случае, товарищ почтальон, как бы вы ни чувствовали плохо себя, не ложитесь и старайтесь работать».

— Это вам ученые сказали?

— Да, как раз там был профессор Гуревич (ему было много корреспонденции), он мне сказал: «Я, говорит, эвакуируюсь, потому что меня заставляют. Но я вам объясню: вы никогда не ложитесь. И не падайте духом. Сколько можете, столько и ходите». Ну вот, я эти наставки и от многих других слыхала и не падала духом! Корреспонденцию, пока возили нам, мы, значит, разносили, это пока морозов больших не было. А потом уже не стало у нас машин. Нам приходилось, значит, вот так делать: в четыре-пять часов два-три человека сами ехали с санками на почтамт. Там корреспонденции другой раз неделю не бывало, две, а потом она вся прорывается. Тогда мы ее забирали в мешки и везли. Но везли как? Друг друга подталкивали и в течение дня привозили. В отделениях почти не топили, но нас, правда, пускали в ЖАКТ. В ЖАКТе были дежурные, там топили (как раз в доме семьдесят дробь семьдесят пять).

— Вы помните, как ходили в дома?

— Мы корреспонденцию разбирали в течение дня, потому что шло писем по двадцать в квартиру. Это надо было разобрать. Вы себе представляете, мешки какие?! А разбирать? Рукам холодно, хотя и топили. Один разбирает, один несет. А лестницы эти! Несешь приблизительно часа два, потому что приходишь — темно. На лестницах темно, скользко, отходы, кто мог, сюда выливали, потому что туалеты не работали (воды не было), люди все на лестницу! Другой раз идешь, упадешь и обратно скатишься, потому что скользко, особенно темно когда. Ну, приходишь в квартиру: комнаты открыты, квартиры не запирались, темно, спотыкаешься. Другой раз придешь — человек лежит. Думаешь — мертвый! Потрясешь его немножко: вам письмо! Человек, если в сознании, так он, конечно, начинает шевелиться. А другому безразлично, письмо или что. Ну, начинаешь тормошить его. Если просит — прочтешь. Иногда даже такое сообщение читаешь, что такой-то без вести пропал или раненый, отправлен в госпиталь, — не плачут. «Ну, говорят, хорошо». А другой раз придешь — человек уже мертвый лежит на кровати… Идешь по улице, конечно, людей почти не видишь. А если идет человек, то его не узнаешь: это ребенок, или старуха, или девушка, или кто?! В таком все были состоянии.

Было у меня два таких случая. Отец ждал письма от сына. Пошел в столовую за питанием. Ну а питание какое там? Вода да две крупинки! И то не всегда давали. Постоишь в очереди и уйдешь, потому что не хватало и этого. Я пришла, а он сидит на лестнице. Я назвала его (забыла уж имя-отчество), говорю: «Вам письмо!» Он говорит: «Прочтите, пожалуйста». Я прочла. Сын пишет, что бои тяжелые, наступление как раз было, — и все. Он взял это письмо, поблагодарил. Потом говорит: «Знаете что? Помогите мне встать». Представляете себе — встать! Мужчина! Ну, правда, он худой был. Я качала поднимать — и сама уселась на лестнице. И нам было не

встать, ни тому, ни другому. Вот такой ужас! Тут, правда, шел еще другой мужчина, видать, более сильный. И вот мы друг за друга так и поднялись. Ну, пошел он еле-еле домой. Потом еще такой случай: письмо тоже по дороге вручила одному мужчине (большинство так вот) на улице Академика Павлова. Так он это письмо даже не прочитал. Был обстрел, и волной его как отбросит. И он ударился об дом. Тут как раз работники Дома пионеров, дворники были. Они его и подобрали. Так что человек даже письмо не успел прочитать.

— А почему вас просили читать письма? Такие слабые были?

— Слабые, конечно. Уже не может человек даже рукой шевелить. Вот как тот мужчина, что на лестнице сидел, сеточку держал в руке. Он сел и уже не мог встать. У него руки закоченели уже. А поскольку человек не шевелится, с ним уже все.

— А ваши детишки дома были, когда вы ходили?

— Нет. У меня сын умер в начале войны. А дочка умерла в конце ноября. Мы все в бомбоубежище ходили, она простудилась, воспалением легких заболела и умерла. А тот, маленький, в яслях был, и его хотели эвакуировать с яслями, но он простыл и то же самое умер от простуды. Так что дети у меня умерли оба почти в один год, и муж погиб на заводе от артобстрела… Было так, что вот видишь, человек сидит без сил, а ты ему помочь не можешь — не можешь, потому что ему дашь руку и сама садишься. И не можешь подняться. Не было ни страха, ничего. Ходили, конечно, один раз в день, корреспонденцию носили. Кое-как забираешься, а уж с лестницы считайте что как на санках едешь, лед, за перила держишься… Приходишь — квартиры совершенно пустые, людей нету: или на казарменном, или у родственников — съезжались тогда в одно место. У меня рост сто пятьдесят один. Сейчас во мне пятьдесят два килограмма, а вы представляете, тогда было тридцать шесть килограммов? Потом, когда уже пришла весна (ранняя, правда, весна), пошли раз на Каменный остров. Там много деревьев. Подходишь к дереву молодому, маленькие листочки зеленые рвешь и прямо ешь. Потом в сумку наберешь. Когда корреспонденцию разнесешь, наберешь этих листьев, нарвешь крапивы, лебеды. Приходишь, сомнешь мокрые — и на «буржуйку»! Напечешь и ешь! Вставала я в пять часов, чтобы взять свои двести пятьдесят граммов хлеба.

А другой раз стоишь в очереди, и кто-нибудь посильней, пока тебе хлеб вешают, сзади схватил, — в рот, и все.

— У вас были такие случаи?

— Были несколько раз, — более сильный человек, особенно мужчина или женщина более сильная (каждый ей казался сильным!). Стоят. Ведь не думаешь, что она хочет схватить. И она с карточкой. Но такая жадность и безразличность, что только для себя. Хлеб был как глина или как земля. Такой кусочек — 250 — его в рот сразу положишь. Продавец ничего не может сделать. Подошел человек — главное что сразу — в рот. Ничего не сделаешь! Потом я уже научилась, — стоишь и когда вешают, вот так! (Складывает руки шалашиком.)

— Как над огоньком?

— Да».

Это почтальон. А вот другая профессия — печатник. И она получила непредвиденную значительность, даже более того…

Евгений Александрович Тренке (набережная Мартынова, 12) работал в типографии имени Володарского в цеху, который печатал карточки.

Цехом этим, разумеется, интересовались разного рода жулики и фашистская агентура. Старались дезорганизовать работу цеха, выведать, какие карточки выпускаются на следующий месяц. Менялся и цвет карточек, и размеры их:

«…В конце месяца нам давали указание: цвет такой-то, сетка такая-то, размер такой-то. Мы за каких-нибудь шесть дней, работая, конечно, круглые сутки, не уходя, должны были их

отпечатать… Это как деньги… Счет был строжайший. Бумага была специальная. Были карточные бюро на каждый район. Они должны были у нас за день-два принять эти карточки, по счету, строго. На прикрепление карточек населению давали два дня. Все это делалось, чтобы не успели изготовить фальшивые карточки».

Как же сами они обеспечивались, те, кто изготавливал карточки для Ленинграда? Да никак, на общих основаниях. Голодали. И сам Тренке голодал, и его семья. Сын его пятнадцатилетний, а за ним и жена Евгения Александровича умерли в начале 1942 года.

Люди работали, и работа их была необходима. Правда, зачастую связь ее с судьбами войны, города, других людей угадывалась смутно.

Но была работа, от которой все зависело, были при той работе люди, которые сознавали, видели, от того, сделают они или не сделают, сумеют вопреки всем трудностям или не сумеют, от них непосредственно зависит, умрут еще тысячи и тысячи сегодня-завтра или же продержатся…

Это пекари, работники хлебозаводов.

В квартиру Николая Антоновича Лободы (Новосибирская, д. 4) мы попали к обеду. Вера Николаевна, хозяйка, согласилась с нами, что раньше работа, а угощение можно и потом, и охотно, даже весело рассказывала о блокаде, о себе, о школьных своих годах. Муж ее угрюмо, как нам показалось, отмалчивался. «Ну, из этого человека много не вытянешь», — профессионально прикидывали мы. Так, кажется, и ушли бы, не попадись нам на глаза в ворохе семейных документов старая газета, в которой сообщалось про подвиг Лободы Н. А., который отремонтировал горячую печь, и благодаря этому хлебозавод смог к утру дать продукцию. Дать хлеб Ленинграду.

Тут Николай Антонович впервые улыбнулся, виновато так, и стал, чтобы отвлечь внимание от своей особы, усаживать нас за обеденный стол…

Рассказ его «нам все-таки записать удалось. Николай Антонович по службе моряк, механик.

…«— Это был первый месяц войны. Ну что же? Пришел я на завод. Никого нет: директора нет, главного энергетика нет. Главный механик Михайлов (теперь он уже на пенсии) был за месяц до войны взят на сбор, и обязанности главного механика исполнял я. Пекли мы круглый хлеб. Проходит месяц. Это уже в сентябре. Муки нет. Говорят: надо переходить на формовой хлеб, а не то закрывать завод.

— А почему формовой хлеб?

— Разница между формовым и круглым в припеке. Больше припек в формовом. В форму вы можете долить воды или чего хотите, а в круглый — он на под кладется — не можете, потому что все расплывется… Был у нас начальник управления Смирнов. И был тогда (его уже нет) директором Мочаловский. Вот вызывают они меня и говорят: «Вот что, поедем в горисполком». — «Ну что ж, поедем». Приезжаем. Попков и Кузнецов говорят: «Товарищи! Надо хлеб, только не круглый, а формовой и с добавками». (Целлюлозу добавляли.)—«Но мы выпускаем круглые хлеба». — «А сколько потребуется времени для того, чтобы вы переделали? Вот даем вам двадцать дней — подумайте и доложите!» Приехали мы обратно. Я, значит, прикинул. Нет материалов, не из чего делать. Я говорю: так и так, мне надо полосу двести миллиметров любой толщины, чтобы люльки выкинуть, а формы поставить по тринадцать штук — чертова дюжина (так и по сей день называется). Вот, значит, я написал, что мне надо — и время и людей. Мне дали с «Вулкана» десять человек, и мы за семь дней переоборудовали. А материалы? На Каменном острове были какие-то склады. Мне дали пропуск. Я туда приехал на машинах, нагрузил одну, нагрузил вторую. Приехал с третьей. Приходят два товарища в штатском: «Кто вам разрешил брать?» Я говорю: «У меня есть бумажка». — «Это только Москва может разрешить». — «Я не знаю, вот у меня есть». Тут меня в машину и повезли в «Большой

дом». Там, видать, созвонились и говорят: «Извините! Вы здесь ни при чем. Высшая власть дала указание». Вот мы первое кольцо переделали. Когда выпускали первый хлеб формовой, так я вам скажу — вот так в руку взять, сдавить, так там половина воды. И вот такого — сто двадцать пять граммов! И ничего сверх… Когда началась бомбежка, воды стало не хватать. Так мы построили на Малой Невке (это уже в декабре) насосную станцию, протащили туда провода. А труб-то нет! Что мы сделали? Взяли шланги пожарные и эти шланги протянули вместо труб. Тут мороз стал припекать: как два-три дня, так шланги все промерзают. Что делали? Изоляцию накрутили на них… А сперва когда воду отключили, то пытались носить ведрами с Невки на седьмой этаж».

Вот так, вручную, воду таскали для целого хлебозавода. По лестнице да на седьмой этаж! А какое здоровье, силы у людей были, мы уже знаем.

«Рядом был лесопильный завод Калинина. Энергии не было. У нас имелась своя маленькая блок-станция, но она не обеспечивала. Так вот на территории лесопильного завода было огромное количество бревен (доски они делали) и разных отходов. Они три месяца этими бревнами топили и давали нам энергию. Сначала мы построили насосную станцию на льду; потом уже, когда город стал давать воду, то этот завод Калинина нам давал электроэнергию. Мы протянули оттуда кабель, а машины-то ходят и перерубили кабель. Машины еще ничего, а танк, видать, прошел — гусеницами кабель разрезал. Тогда мы вынуждены были поднять кабель на два с половиной метра, чтобы вверху он был. И так жили уже до мая месяца. Стали нам давать более стабильную электроэнергию с Волхова, а топить печи нечем было. Так вот на Каменном острове разбирали дома. Нам говорят: вот вам десять домов. А там все — мебель, одежда, все. Разбирали, естественно, днем: тот, кто работает в вечер, выходит в день, и кто в ночь — идет также в день.

Дала нам воинская часть два трактора «Сталинец». Так вот трос стальной пропустим через верх (а там все дома были деревянные, одноэтажные и двухэтажные) и тросом раздергиваем. Воинская часть нам дала три машины. На машинах возили на территорию хлебозавода дрова, для того чтобы топить и печь хлеб. И давали по одному метру тому, кто разбирал дома (квартиры топить тоже нечем было). Однажды работница прохлопала — и забила печь. Я примерно прикинул, что на семь метров от того места, где посадочный механизм ходит, там и садит формы. Отмерил и говорю: долбай! Вот продолбили, чтобы можно было влезть туда. А температура двести сорок градусов! Погасил печь, все! Сначала полил туда водой. Пар идет наверх. Сбил температуру. Наверно, уже было примерно сто шестьдесят — сто восемьдесят градусов. Обвязал голову, ватник намочил, валенки, ватные брюки, двое рукавиц. Влез туда. За первый раз я так и не смог. И уже чувствую, что я теряю соображение. Я тогда вылез, минут десять посидел — и второй раз. Вот за второй раз выдернул все. Я говорю: «Ну, теперь закладывайте». И поехали! Стояли примерно около двух с чем-то часов — и пустили, то есть мы не сорвали снабжение хлебом. Меня за это правительство отметило: наградили за эту работу орденом Трудового Красного Знамени…»

ЧТО МОЖНО БЫЛО СДЕЛАТЬ

Улицы, засыпанные снегом, заваленные обломками порушенных домов.

Снег то девственно, не по-городскому белый, то густо присыпанный летучей копотью пожаров.

Город стал пешим. Расстояния обрели реальность. Они измерялись силой своих ног. Не временем, как раньше, — трамвайным временем, автобусным, — а шагами. Иногда количеством шагов. От этого город обрел новые очертания, независимые от транспортных маршрутов. Когда-то только своя улица и ближние к ней имели протяженность, выхоженную ногами, физически ощутимую. В блокадную зиму попасть с Васильевского на Петроградскую, с Выборгской на Невский, означало поход, и готовились как к походу.

Тропинки крутят между снежными сугробами, заледенелыми троллейбусами, тропинки к домам, прорубям, к магазинам, тропинки через Неву, через площади, тропинки к райкомам, райсоветам. Тротуары завалены, люди ходят посреди мостовой. Окна повыбиты, заделаны фанерой, заткнуты подушками, матрацами, и всюду торчат трубы «буржуек».

На щитах, закрывающих от осколков витрины магазинов, объявления: «Продается гроб», «Делаю печки-времянки», «Меняю кубометр дров на пшено»… Объявления той поры — удивительные документы жизни. Они сохранились лишь на редких, случайных фотографиях да в чьей-то памяти, и то не буквально. И нет никакой возможности воспроизвести поразительные их тексты-свидетельства.

А ленинградские дворы, а ленинградские лестницы… А столовые, где двигались безмолвные очереди людей с кастрюльками, котелками.

Можно без конца приводить поражающие воображение картины разрушения, голодного быта блокадников, картины города закоченелого, парализованного, обессиленного…

Куда труднее высмотреть за всем этим железные скрепы воли — энергичную, целеустремленную деятельность, которая поддерживала жизнь города в страшных условиях. Кому-то ведь приходилось распределять крохи электроэнергии, давать задания заводам, изыскивать сырье. Нужно было убирать трупы, хоронить, нужно было создавать стационары, собирать комсомольские бытовые отряды, набирать девушек в МПВО…

Ничего не делалось само по себе. Те же печи-времянки: надо было наладить их производство силами местной промышленности, найти для этого железный лист или прокатать металл, а для этого выделить металлокомбинату электроэнергию… Открылись бани. Но для этого надо было дать топливо, а его надо привезти… Все было проблемой почти неразрешимой и требовало прежде всего огромных усилий организаторских. Уже в январе бюро Ленинградского горкома потребовало от исполкомов: отогреть замерзшие водопроводные сети и по графику начать подавать воду в верхние этажи домов для промывки фановой канализации. Выделяли керосин и бензин, чтобы отогревать замерзшие трубы. В свою очередь, для этого надо было снабдить домохозяйства паяльными лампами. И в это вникало бюро Ленинградского горкома, потому что в условиях блокады изготовить пятьсот паяльных ламп было серьезной проблемой. Постановления, решения тех месяцев, жесткие, категоричные, кажутся порой нереальными (а тогда и вовсе выглядели непосильными), и тем не менее они выполнялись, и выполнялись большей частью в срок, без отговорок и ссылок на обстоятельства. Без ссылок на обстрелы, на смерти исполнителей, на пожары, на отсутствие материалов. Причин хватало, решали не эти причины, решала настоятельная нужда, исполнение каждого пункта спасало жизни людей, спасало город. Работа райкомов и райисполкомов проходила в условиях непривычных, даже невероятных. Город был тот же — те же районы, те же кварталы,

домохозяйства, те же учреждения, те же склады, те же мостовые, школы, магазины. Но речь шла уже не, как прежде, о нуждах района, о планах улучшения быта, о ремонте — речь шла о жизни и смерти жителей.

Впервые на плечи партийных и советских работников легла такая тяжкая ответственность.

А возможностей у них становилось все меньше. Не было транспорта, фронт забирал врачей, милиционеров, строителей — физически крепких мужчин, — да они и сами рвались на передовую. Других забирала дистрофия. Голод не различал профессий — он косил литейщиков и прокуроров, водопроводчиков и композиторов. Число мест в стационарах было ограничено. Иногда сами секретари райкомов распределяли эти спасительные места. Но перед этим надо было еще организовать эти самые стационары. Наладить там отопление, питание, уход.

А организация эвакуации с ее бесчисленными сложностями доставки людей, погрузки, регистрации. Одних надо было уговаривать, другим помогать, надо было устанавливать очередность, собирать детей, выделять сопровождающих.

Каждому из городских районов каждодневно приходилось заниматься множеством подобных проблем, среди которых, оказывается, не было мелких. Их невозможно ни перечислить, ни восстановить в живых подробностях. То, что нам удалось собрать, — всего лишь отдельные факты, они совсем не дают полной картины, но представление об этой работе они дают. Сергей Михайлович Гастеев был одним из тех районных руководителей, которые непосредственно и занимались всем этим. Он работал в Ленинском районе начальником жилищного управления, заместителем председателя райисполкома. Вот он рассказывает про деревянные дома, которые давали на слом для дров. Людей оттуда надо было переселить в дома своего района, а для этого найти площадь, приготовить ордера, прописать.

«— …За два-три дня, помню, мне надо было чуть ли не пятьдесят домов на слом срочно распределить госпиталям, детским садам и что останется — столовым, баням, прачечным. Нужно срочно было топливо, а топлива не было никакого. Стульями топили. Я видел сам — после бомбежки крышками от пианино и роялей топили… Войдешь в квартиру — ничего нет, пусто, сидеть негде. Поэтому очень строгое распоряжение было горисполкома — срочно ломать. «Даешь топливо!» Люди замерзали. Разбомбят дом, или снаряд разорвется — все раскрыто, стекла выбиты, фанеры нет, закрыть нечем — люди уходят в другой район. К родным, к близким. Квартиры оставляют пустыми… Как снаряд разорвется — стекла все летят. Люди бегут, потому что страшный мороз. Куда — неизвестно. Потом их разыскивают. Мне приходилось при бомбежке срочно переселять людей, которые остались живы… Вызываешь нескольких управдомов, ближних от разбомбленного дома, и спрашиваешь: «Какие у тебя комнаты, квартиры, свободны?» — и сразу по списку срочно переселял. Тут уж не до ордеров было. Люди на улице стоят, дрожат, негде же греться. Это моя обязанность была — бомбоубежища, газоубежища, квартиры, переселение и дома деревянные ломать. Мне давали, например, для района около Кировского завода сотню домов (Правая Тентелевка, Левая Тентелевка и другие), и я должен был в короткие сроки переселить людей в свой район.

— Как они перетаскивали свои вещи?

— На салазках, конечно. А было еще решение горисполкома каждому району приготовить помещение-склад и, прежде чем дома ломать, составить опись вещей жильца, который отсутствует. И вещи по описи на склад… И в этих складах заведующие должны были по углам расставлять мебель, вещи такого-то дома, такой-то квартиры… После этого только можно дома разбирать».

Трудно представить, каким образом ухитрялись в тех условиях соблюдать эту хлопотную юридическую процедуру во всех районах города.

В рассказе председателя Выборгского райсовета Александра Яковлевича Тихонова

повторяется та же история.

«На всех деревянных домах мелом вывели «ПС» — «подлежит сносу»… Многие не хотели уезжать, особенно те, кто имел возле дома клочок земли. Были такие моменты: дом ломают, а бабушка сидит, не уходит: «Я туда не поеду». Люди ей доказывают: «Все равно нужно. Сама погибнешь тут без топлива, и люди погибнут»… А некоторых людей, которые переезжали, потом разбомбило, и им приходилось переселяться еще раз.

Была и другая тяжелая задача. Вот, например, был такой Дом специалистов. Мы там, как и всюду, проводили инвентаризацию имущества всех эвакуированных. Сами инвентаризировали имущество, которое у них осталось, и хранили его на складе завода «Красная заря». Никакой техники у нас не было. Это сейчас можно сказать: «Приготовьте двадцать машин». А тогда были люди ослабевшие, попробуйте с их помощью вывезти ценные вещи на склады. Долго на этих складах потом вещи хранили, специально отопление устроили, подобрали кладовщиков, зарплату им платили, и они охраняли имущество граждан. Это казалось несколько фантастическим: город в блокаде, немцы обстреливают — и в этот момент райком, исполком занимаются не только сохранностью государственного имущества, но охраняют имущество уехавших граждан. Смотрели и чтобы квартиры не разрушались после бомбежки — фанерой заделывали окна, двери забивали.

Когда произошел прорыв блокады, были и такие эпизоды. Допустим, пишет гражданин: «Пришлите мне опись, как сохранилась моя квартира». Пишут из Средней Азии, из Свердловска, все запросы шли на райисполком. Надо было дать ответ. Создали специальные группы депутатов, актив, ходили на этот склад, шли на квартиру, если вещи сохранялись там, и составляли ответ».

Деревянные дома, которые сгорали в котлах, в «буржуйках», в плитах, не могли обеспечить всех теплом.

«Всем дать дрова мы не могли, — говорит Александр Петрович Борисов (Невский проспект, 84), — но кто приходил, давали немного топлива. Нам выделяли деревянные строения в Новой Деревне. Во многих домах все равно оставалось холодно. Вот на улице Рубинштейна, 17, большой дом был, в нем жило до пяти тысяч человек. Придешь в квартиру — открыта, люди полуживые, некоторые лежат, некоторые бродят, матери умирали, дети оставались живыми. Страшные случаи были. Как руководство исполкома мы должны были обходить дома».

Александра Петровича Борисова война застала на должности заместителя председателя исполкома Куйбышевского района, одного из центральных районов города. После войны с ним случилось тяжкое несчастье. Александр Петрович уже много лет слепой. По тому, как внешне легко несет этот человек свою тяжелейшую беду, стараясь не удручать близких, можно догадываться, каким он был там, в блокадном своем районе, как много чужого горя брал на себя. И сейчас он иногда бывает на Пискаревском кладбище. Слушает вечную музыку и за ней тишину, покой зеленого мемориала и видит…

«Мне представляется только та картина, которую я видел сам. Это не теперешнее кладбище, облагороженное, особенно там, где памятник Матери-родине. А в то время эти трупы, эта траншея метров в сто длиной!.. Туда закладывали тысячи трупов, зарывали тракторами, лопатами, как только могли. Боялись, чтобы весной не было эпидемии, но все обошлось благополучно, потому что в какой-то степени удавалось соблюдать санитарное состояние».

Память его удерживает многое уже в масштабе не только своего дома или завода, а в масштабе района, а район этот и по населению и по размеру — целый город.

«— Мне пришлось проверять хлебозавод один. Люди как будто полностью обеспечены были хлебом на том заводе, однако большой процент рабочих не выходил на работу — болели цингой. Что спасало? Настой хвои. Это очень помогало. В первые дни, когда голод начался,

смотрим — люди идут с ветками хвои. В чем дело? Оказалось, они хвою настаивали на воде и эту воду пили… А надо сказать, что наш район — район служащих, самый голодный район был: получали хлеба сто пятьдесят граммов. Ну, конечно, это не такой хлеб, который мы сейчас едим… Утром мы всегда объезжали район. Едешь — тут трупы выброшены, тут оставлены. И не знаешь, откуда трупы. Это являлось тоже формой обеспечения живых — некоторые смерть не регистрировали, чтобы карточки оставались… Если придешь, спросишь: когда умер? — не скажут, что умер полмесяца назад, скажут, что сегодня умер, вчера.

— Карточки изымали в таких случаях?

— Нет, оставляли карточки…

— И что же вы могли сделать в таких квартирах?

— Некоторым помогали. Чаще удавалось спасти людей, которые как-то были связаны с производством, с учреждениями. А так только успевай трупы собирать. Груды трупов были при больнице Куйбышева. И в других пунктах сосредоточивали трупы, чтобы потом свозить на кладбище. Специальные машины были выделены, они ежедневно трупы собирали и увозили на кладбища… На Пискаревском кладбище много хоронили из нашего района. Рыли рвы. У нас были тракторы, мы мобилизовали людей из районных организаций. Набирали человек двести и туда направляли, чтобы они рыли рвы и зарывали. Картина ужасная. Трупов — глазом не окинешь! Особенно на Богословском и Пискаревском кладбищах. Трупы были всякие. И дети и старики, кто в сидячем положении, у кого руки подняты, у кого нога согнута…»

Захоронение мертвых — зимой это стало проблемой едва ли не первоочередной: грозили эпидемии, которые добили бы живых, если вдруг бы кончился мороз.

«Когда началась массовая смертность, — продолжает свой рассказ Тихонов Александр Яковлевич, — раскрепили кладбища. Нам досталось Пискаревское кладбище (за лесом здесь было). Мы должны были выкопать рвы силами населения нашего района. Трупы на улицах валялись. Район разбили на микрорайоны. К каждому микрорайону прикрепили исполкомовский актив. Создали бюро по захоронению. Вели учет: должны были ежедневно сводку давать в горком партии: сколько мы сегодня выкопали рвов, сколько похоронили. Самое максимальное захоронение мы делали до двух тысяч… Ну, месяца два длились массовые захоронения, а потом к весне цифра начала уменьшаться.

Я на кладбище в день бывал четыре раза. Начинал свой рабочий день с кладбища и кончал кладбищем…»

Ученые города изыскивали возможность изготовить какие-то полноценные заменители продуктов, чем-то помочь населению. Каждый район стремился участвовать в этом деле, выявляли сырье на своих предприятиях, предлагали оборудование.

Выборгский райком во главе с секретарем райкома Кедровым налаживал производство белковых дрожжей из древесины.

Эти знаменитые в блокаду белковые дрожжи спасли, наверное, немало ленинградцев. Белковые дрожжи выдавали как дополнительное питание. Во многих рассказах мы слышали о тарелках супа из белковых дрожжей. Но ни рассказчики, ни мы как-то не задавались вопросом, откуда появились эти белковые дрожжи.

Между тем с ними связано имя замечательного ленинградского ученого Василия Ивановича Шаркова, который не только разработал технологию производства этих дрожжей, но более того — он предложил использовать в качестве примеси к муке гидроцеллюлозу, наладил производство этой пищевой целлюлозы, и уже в середине ноября она стала поступать на хлебозаводы. Гидроцеллюлоза не содержала ничего питательного, но она увеличивала припек, позволяла давать населению установленную норму хлеба, делала его пористым, съедобным.

Доктор технических наук В. И. Шарков был одним из тех ученых, знания которых

сохранили жизнь сотням тысяч голодающих горожан. Было создано 18 дрожжевых заводов, часть в Выборгском районе:

«Все делала промышленность нашего района. Было распределено, кому сделать эту часть к машине, кому сделать кузов, кому — контейнер, кому достать мотор, кому перемотать мотор. Все до малейших деталей распределили. Коллективно участвовали все организации. Быстро пустили цех. Производительность (в тоннах) была большой. Использовали для этого березу».

Тут же, при фабрике, и затем при хлебозаводах стали гнать витамин из хвои для хвойного экстракта.

«Некоторые сами приходили и спрашивали: «Чем я могу помочь в решении этой задачи?» Чувство локтя было необычайно высоким, может, выше, чем чувство желудка.

Остро стоял вопрос: как обогреваться? Распределили силы членов исполкома и создали утепленные чайные, чтобы ослабевшие люди, у которых не было отопления дома, могли попить кипятку. Установили кипятильники. Отапливали их дворники. Снабдили их топливом. Бытовые комсомольские отряды носили кипяток тем, кто по слабости не мог спуститься с верхних этажей. Часть депутатов раскрепили по квартирам, они слабым носили по карточкам хлеб. В чайных проводили беседы о положении на фронтах.

Мы наладили изготовление «буржуек» для населения, налаживали подвоз дров, создали склады».

Чем только не занимались районы. Вот, например, зимой 1942 года пускали трамвай через Ленинский район, и С. М. Гастеев вспоминает:

«Все пути заморожены, все рельсы залиты водой. А решено было пустить трамваи под Новый год, 1943-й. На моей обязанности было расчистить участок от Нарвских ворот до Калинкина моста. Мне дали сто женщин с «Красного треугольника». Целую ночь мы работали, пока не закончили. Лом, лопаты, кирки…»

Районным руководителям приходилось бывать там, где было особенно тяжело, где происходил обстрел, где горели пожары, где шла бомбежка, где лопнули трубы, где надо было мобилизовать людей, где что-то случалось… Память их поэтому вобрала немало событий чрезвычайных, историй впечатляющих. Так, у А. П. Борисова запечатлелась бомбежка Гостиного двора:

«Была в Гостином небольшая меховая фабрика. Женщины приходили с детьми, фабрика женская была, по сути. Началась тревога. Часть спустилась в бомбоубежище, а часть осталась на производстве. Здание обрушилось, и одна девочка с матерью попали в промежуток между сейфами. И дочь утешала мать. А дочери было семь лет. «Мама, нас спасут», — говорила она и поддержала мать. Мать потом, когда мы вытащили их, говорила: «Вот моя спасительница». Другая женщина оказалась между балкой и кирпичами. Ее зажало балкой так, что она пошевелиться не могла. Осторожно разрывали ее, потому что если быстро разбирать завал, то могли обвалиться стены. Трое суток по кирпичику разбирали. Пришел муж и все время находился возле нее. У нее единственная мысль была: спасут или нет? Мы в щель разговаривали с ней, и она говорила, что ее окружает смерть и, наверное, ей не вырваться. Все же спасли…»

Он был сначала инструктором Дзержинского райкома партии, Дубровский Анатолий Иванович.

Через комсомольскую работу, через спорт, учебу искал он свое место в жизни. Тут началась война, он вернулся из Каунаса в Ленинград, его направили работать инструктором в райком партии, и он сразу же уехал на оборонные работы — в первые дни, недели войны сооружение оборонительных рубежей было главной заботой райкомов, райисполкомов. Необходимо было обеспечить «ежесуточное количество работающих на оборонительных укреплениях до 500 тысяч человек».[15]

Все было впервые, и все было неожиданно, трудно, и не только людям молодым и неопытным, таким, как А. И. Дубровский. Опыта такой войны, таких испытаний и трудностей ни у кого не было. Зато была огромная самоотдача, преданность делу. Оборонительные рубежи ленинградцы строили у Луги. И уже там получили первое боевое крещение. Анатолий Иванович Дубровский, один из рядовых участников напряженной работы по организации населения на отпор врагу, и сегодня волнуется, когда вспоминает свои первые «инструкторские задания». В его рассказ о бомбежках, которым подвергались ленинградцы «на окопах», о раненых, которых ему пришлось эвакуировать в Ленинград, врываются такие картины войны:

«А тот эшелон под Шимском был с лошадьми, и там же были бензобаки. Бомбы попали в бензобаки и в сам эшелон, эшелон загорелся, и помню впечатление, как горящие лошади выскакивали из вагонов и бежали… горели и бежали…»

Война сразу обжигала душу, но обстановка требовала хладнокровия, повседневной напряженной деятельности. В октябре, вспоминает Анатолий Иванович, двухсотпятидесятикилограммовая бомба попала в здание Дзержинского райкома, пронизала его насквозь. Запомнился красный столб пыли… С особенной остротой и человеческой болью помнится ему тот день, когда погибли сразу трое его инструкторов (он уже заведовал оргинструкторским отделом райкома).

«Эти женщины — три их — всегда уходили с утра по делам на свои предприятия… Немцы к этому времени мало что фугасными и зажигательными нас забрасывали, так еще и шрапнельными стали бить. Чтобы побольше окон высадить. А зима, а мороз — дома без окон, понимаете? Под такой шрапнельный снаряд они и попали сразу все три. Шли по Чайковского, и там, где у нас 17-я пожарная команда и военкомат, там их и убило. Парамонова, Поздняк, а третья была новенькая, я даже фамилии не помню…».[16]

Нет, не просто было это для каждого в отдельности, какой бы пост человек ни занимал, — достойно делить, нести судьбу ленинградца-блокадника. Зато, если оказался на высоте, сегодня это помнится, сознается с гордостью.

«— Районный комитет в это время у себя не имел ничего. Я говорю о продовольствии. Работники райкома партии, так же как и все работники других организаций и те лица, которые остались в эту первую зиму охранять помещения после эвакуации или вообще не выехали, — они были в равном положении. Поэтому чем-то прямо помочь в этой части я, например, никому не мог. Единственно что… Нам вот давали эту похлебку — дрожжевой суп, ну, иногда вот придет секретарь партийной организации, знаешь, что он голодный, и вот у нас была столовая так называемая, ну, его пригласишь. И для себя и для других правило у нас было: не ложиться, как бы трудно ни было, не ложиться! Потому что практика показала: как ослабевший человек залег, так он уже большей частью не вставал… Ну, потом немножко оздоровило, разрядило обстановку с питанием, когда открылась Большая дорога через Ладогу. И особенно когда мы весной стали организовывать подсобные хозяйства. Сначала стали вывозить людей, как говорится, на травку. И там они ползали, рвали и ели что можно и что нельзя. И потом, когда стали покрепче, стали копать огороды, заводить хозяйство. Каждая организация имела свои участки.

Что касается самого райкома партии, то нам были отведены грядки в Михайловском саду, и мы старались за ними ухаживать. Старались посеять такую культуру, которая побыстрее дала бы плоды.

— И мужчины тоже?

— Все, все! Начиная с первого секретаря и кончая техническим работником. Все копали, все сеяли, ухаживали… Как правило, нажимали на огурцы. У кого они получались, у другого вообще ничего. Выгорело, не взошло. Ну, тут делились… Ну а большая часть организаций

выведена была за пределы района и там осваивала участки. И в последующем это были крупные, хорошо организованные подсобные хозяйства, с хорошей урожайностью. Мы даже выставку устроили готовой продукции. Многие и сегодня могут позавидовать тому, что мы получали. Потому что люди, которые наголодались, стали понимать, что и как растет и что с чем едят. Ухаживали, как за своими родными…»

Работники райкомов, райисполкомов, всех организаций, которые направляли жизнь блокадного города, сами поставлены были в условия, которые исключали всякую деятельность для проформы, для видимости.

Силы, энергия, ум, чувство, совесть направлялись на самое главное и неотстранимое, без чего завтра в магазины не поступит хлеб, без чего насмерть замерзнут тысячи людей, навалятся эпидемии…

В овощах, которые удалось собрать, запасти для Ленинграда, завелся опасный грибок. Каждый понимал: грибок сожрет не просто картофель, а тысячи и тысячи человеческих жизней, если немедленно не принять меры в масштабах всего города… Это заболевание фитофторой, которое появляется на пятнадцатый день после копки: начинается гниение, картошка «плачет», делается мокрая, и хранить ее уже нельзя, никакая сила не поможет.

Высокий, уже поседевший человек — Станислав Антонович Пржевальский,[17] который работал до войны и в годы блокады управляющим Лензаготплодоовоща, рассказывает о своей отрасли, о служащих своего учреждения, о своем «продукте» с не меньшим пафосом, чем любой военачальник о своих победах и поражениях. Еще бы: от того, сохранят его люди эту плачущую картошку или нет, реализуют или загубят ее, зависело очень многое. В блокадном Ленинграде, на всем Ленинградском фронте это понимали все, и поэтому решение принималось очень ответственно и на самом высоком уровне.

«— Я доложил в Смольный… Попков и Лазутин со мной поехали на комбинат. Я им сделал пробную закладку и сказал, что приезжайте через неделю — посмотрите! Приехали через неделю, разрезали сусек: клали хорошую, разрезали — худая! Вот тогда они убедились, что эту картошку надо съесть. И было решение Военного совета: запретить потребление крупы.

— На какое время?

— На определенное время, и пустить весь картофель в расход. Так что мы грамма не испортили картофеля. Все было использовано, но в очень короткий период времени. В данном случае овощи стали заменителем крупы. Овощи были съедены.

— Что, вся картошка урожая сорок второго года, которая поступила в Ленинград, была заражена?

— Вся, абсолютно вся. Вот какая была трагедия. До зимы мы не могли ее держать, до зимы мы все съели. Если бы оставить до зимы, мы похоронили бы все запасы».

…На обстреливаемый, голодный, замерзающий город наступал и еще смертельный враг — цинга. И с ним борьбу нужно было организовать. Заведовавший химико-технологическим отделом Витаминного института Алексей Дмитриевич Беззубое рассказывал, как готовились научные рекомендации «по извлечению витамина С из хвои». Об этом у нас уже шла речь.

Но инструкцию-рекомендацию «по получению антицинготной хвойной настойки в промышленных и домашних условиях» необходимо еще было реализовать, добыв или приспособив какую-то технику. Для нескольких миллионов жителей и солдат нужно было готовить спасительное средство. И надо было еще добраться до той хвои. И доставить ее в Ленинград… Только представив себе всю сложность в тех условиях, казалось бы, нехитрого дела — приготовить настой из хвои, — можно понять, почему Станислав Антонович Пржевальский назовет эту работу ученых, руководителей, ленинградских женщин эпопеей!

«— И вот эта эпопея нигде не описана. Причем в литературе она выглядит, что вот, мол,

хвойный настой… Слез было в достатке — женщины приходили со стертыми пятками… Могу вам рассказать, как это было. Это на Дегтярном, пять. У нас там была небольшая плодоовощная переработка. Вот там мы организовали переработку этого хвойного настоя. Использовали мы наши шинковальные машины.

— Это те, которые капусту шинкуют?

— Да, да, те же самые машины. Мы использовали их для дробления хвои. Но для того чтобы сделать хвойный настой, надо было хвою заготовить, причем ее немало шло на это дело. В Парголовском лесу мы заготовляли эту хвою силами нашей погрузочно-разгрузочной конторы, где были только женщины.

— На это шла сосна?

— Да, сосновая хвоя. И вот каждый день группа женщин, голодных, шла в Парголово. Потом кое-как мы сумели организовать доставку их на лошадях (машин-то нам ведь не давали).

— А вначале просто волокли на себе?

— Да, на себе, даже без лошадей. Это от Калининской конторы, от Пискаревки, примерно что-то километров шестнадцать было.

— Шестнадцать километров эту хвою на себе носили?!

— Сначала на себе. Потом мы организовали доставку на лошадях (у нас было несколько лошадей на нашей пискаревской базе) и доставляли ее на Дегтярный, пять. Там ее дробили. Добавляли туда уксус. Этот настой фильтровали. И я вам должен сказать, что мы этот настой делали в таких количествах, что обеспечивали все госпитали полностью, все столовые. И больше того: мы даже организовали для гражданского населения выпуск хвои в пакетах, с инструкцией, как приготовлять. Сами хвойные иглы мы освобождали от сучьев, закладывали в пакет и давали инструкцию, как приготовлять хвою. Если мне память не изменяет, в день мы давали в аптеки что-то до двухсот тысяч доз. Причем торговали мы ими через аптеки ежедневно, бесперебойно. И, таким образом, как мне потом медики говорили, все-таки цинготных заболеваний в том виде, как они ждали, не было. Вот это хвоя. Трудности ее заготовки были колоссальнейшие… Ну, Военный совет нам помог. В каком плане? Мы все-таки этим женщинам дали третью категорию армейского пайка, так что они были наравне с бойцами (не фронтовыми бойцами, а тыловыми — тыловой паек). Это в какой-то степени дало возможность заготовить хвою…

— А настаивали ее в бочках?

— В бочках.

— И сколько она должна стоять?

— Ну, если мы утром делали, к вечеру она была уже в госпитале. Оттуда приезжали к нам, в очередь становились и сразу забирали и пили настой».

И так в большом и малом. Впрочем, ничто не назовешь малым, если от него зависит жизнь стольких людей. Когда мы вспоминаем, говорим про легендарную «Дорогу жизни», про хвойный настой, про топливо, воду, захоронение трупов, стационары, посильную помощь голодающим на дому, которую оказывали работники МПВО или комсомольские «бытовые группы», — за всем этим видим, ощущаем сложнейшую организаторскую работу.

Был такой лозунг: «Ленинграду помогает вся страна!» — и это действительно осуществлялось, несмотря на смертельное кольцо блокады. Участвовали в этом тысячи и тысячи людей вне кольца. Вот один из характерных примеров, который мы берем из рассказа Станислава Антоновича Пржевальского:

«— По «Дороге жизни» и овощи поступали?

— Да, поступали, в большом количестве. Северо-восточные районы нам дали в те годы большое количество сушеного картофеля. Что мы сделали? Ведь эти северовосточные районы были бездорожные. Это сегодня можно говорить о каких-то проездах на машинах. Мы

организовали там производство сушеного картофеля, чтобы из этой глубинки вытащить картофель. У нас работали на дому. Одних надомников у нас было десять тысяч колхозников.

— Они сами сушили в печках?

— Колхозникам раздавали заготовленный картофель, и они его сушили. А часть мы сушили в своих сушильных печах, которые нам удалось как-то слепить.

— Десять тысяч надомников работало?

— Да, работали надомники, сушили картофель для города Ленинграда…»

Мы уже много приводили рассказов, где люди вспоминают, как голод заставлял каждого тревожно и с надеждой снова и снова осматривать, изучать углы и ящики в своей квартире — не завалялось ли что съедобное. Того, что прежде и не считалось съедобным… Но и целый город в голодной осаде вел себя почти так же, как и отдельный человек. Сгорели Бадаевские склады 8 сентября, а землю на том месте копали еще долго сами жители. Но также и организации — тот же Лензаготплодоовощ… «— Много там сгорело сахара?

— Но я же его переварил весь на варенье, — возражает Станислав Антонович. — Правда, оно было с хрустом песочным. Осталось какое-то количество сгоревшего, который не поддавался обработке. Но тот сахар, который спекся, мы его пустили в дело».

И далее он рассказал историю, которую многие сегодня вспоминают с удивлением, даже веселым. Дак блокадный город обнаружил у себя под ногами огромные «залежи» квашеной капусты.

«— Мне секретарь горкома партии звонит, Капустин: «Что ты сидишь? Знаешь, что у тебя на комбинате творится?» Я говорю: «А что?» — «Там, говорит, больше десяти тысяч народа копает весь твой комбинат». Ему об этом доложили. Я сел, поехал.

— А когда это было? Осенью?

— Это было в сорок втором году. Ну, поехал. Действительно, одних лопат там директор комбината насобирал пятнадцать тысяч. Они копают, лопаты бросают и капусту берут. Кто-то знал, что был перезавоз в Ленинград в тридцать пятом году (это еще до моего прихода на работу) квашеной капусты и ее не съели.

— В каком году?!

— В тридцать пятом.

— С тридцать пятого года она лежала?

— Прямо в бочках. А закапывали ее в песчаный грунт, причем в такой, я бы сказал, грунт, который создал хорошую среду для сохранности. И кто-то об этом знал. И вот пошла раскопка этого дела. Ну, этой капусты там было пять тысяч тонн. Разнесли ее в течение суток!

— Ну и какая она? Вы пробовали эту капусту?

— Прекрасная.

— Серьезно? С тридцать пятого года!

— Законсервированная квашеная капуста с сохранившейся консистенцией, вкусом. Все как надо!

— Брали бочку, а лопаты бросали? Пятнадцать тысяч лопат собрали, вы говорите?

— Пятнадцать тысяч лопат мы собрали. Их бросали люди.

— Значит, пятнадцать тысяч человек пришло?

— Да, выходит, так. Не останавливать же их, пусть продолжают и дальше. Так очистили территорию».

Условия сложились так, как сложились. Были и просчеты в завозе и хранении продовольствия, эвакуации населения на том первом этапе, когда имела место растерянность, непонимание масштабов происходящего, того, как и куда разворачиваются события. Даже великий положительный фактор, сыгравший огромную роль в стойкой защите Ленинграда, —

страстная привязанность ленинградцев к своему городу, патриотизм — обернулся пагубными последствиями. Не уехали из города, не эвакуировались те, кто мог, кто должен был уехать не только в своих интересах, но и в интересах активных защитников города.

Достаточно напомнить, что смертельное кольцо блокады замкнулось и вокруг 400 тысяч детей. Остались матери, бабушки, а с ними и дети… Летом и осенью сорок первого не было достаточной настойчивости, твердости, последовательности в эвакуации населения, это пришло позже, в условиях несравненно более трудных, зимой — весной, когда пришлось вывозить (и даже выводить пешком на сотни километров!) около миллиона женщин, детей, ослабленных голодом людей, в морозы, и все под теми же бомбежками и обстрелами.

Обо всем этом говорят, пишут самокритично многие, оценивая сложную обстановку тех лет.

«Надо сказать, и это не новость, — напоминает Иван Андреевич Андреенко, — что у нас до войны не была разработана система нормированного снабжения продовольственными и промышленными товарами на случай войны. У нас было разработано, как бороться с зажигалками, с пожарами и т. д., а как тут — нет… Я еще хочу сказать про одно тяжелое обстоятельство. Оно заключается в том, что в блокированном городе осталось 2 миллиона 544 тысячи человек и плюс еще в пригородных районах Ленинграда в кольце блокады 38 тысяч. Причем стариков много, детей более 400 тысяч, иждивенцев больше 700 тысяч. И вот в первую эвакуацию, которая у нас началась с 29 июня (Ленинградский Совет принял решение), мы фактически эвакуировали всего 636 тысяч. Причем даже разговор такой был, что обстановка накалилась, а ленинградцы не бегут, никто не бежит, никто не уезжает. Из районов поступали такие сообщения в Ленинградский Совет, что, так сказать, население настроено никуда не уезжать и защищать город Ленинград. Видите, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, плохо, потому что нам нужно было не 636 тысяч вывезти, а в полтора-два раза больше, а может быть, и в три раза больше. Тогда мы не терпели бы такого положения, какое терпели, — ведь осталось 2 миллиона 544 тысячи.

Вот потом, когда было специальное постановление Государственного Комитета Обороны об эвакуации народа по Ладоге и приехал Алексей Николаевич Косыгин, в один конец стали завозить продовольствие, а в обратный людей вывозили. И надо сказать, что с января сорок второго года по октябрь сорок второго вывезли более 900 тысяч. У меня где-то была точная цифра… Вот она: с января сорок второго года по октябрь сорок второго включительно всего эвакуировано 961 тысяча 79 человек. Осталось около 700 тысяч к сорок третьему году. Да, в ноябре — декабре 1943 года было уже только такое количество населения».

Фамилия Ивана Андреевича памятна блокадникам. Трепетно ожидаемые всеми сообщения о нормах выдачи продуктов скреплялись его подписью: «Андреенко И. А.». Он рассказывал нам:

«Андрей Александрович Жданов говорил: «Использовать надо «Ленинградскую правду» и радио. Кто у нас несет персональную ответственность за снабжение? Андреенко Иван Андреевич… (Я заместителем председателя Ленинградского городского Совета работал, заведовал отделом торговли.) Пусть, — говорит Жданов, — он и сообщает народу…»

Была горькая необходимость сообщать о все новых снижениях и без того голодных, а в конце уже и смертельных норм. Иван Андреевич в те дни и недели (октябрь-декабрь 1941 года) отнюдь не казался блокадникам добрым гением. И он это сознавал. Вознаграждением были дни, когда началось улучшение обстановки, с организацией «Дороги жизни». И можно было подписывать своей фамилией совсем другие сообщения…

«— Я помню, как в декабре я был вечером у секретаря горкома партии Алексея Александровича Кузнецова. Еще раз мы просмотрели наличие запасов продовольствия. Снижать хлебную норму населению уже некуда было, нельзя уже было, народ и так умирал. Разбирали-

разбирали, прикидывали. Алексея Александровича я до войны знал, встречался с ним. Он был волевым человеком, много сделал для того, чтобы сохранить больше жизней ленинградцев, но таким мрачным я его еще не видел. И все-таки он потом говорил (об этом записано у меня): «Знаешь, мы не можем опускать руки, нельзя!» И привел он такой пример: «Знаешь, что мне на Кировском заводе сказал один рабочий? Камни будем грызть, но Ленинграда не сдадим!»…» Пошли мы к товарищу Жданову, доложили. И снизили мы тогда нормы продовольственные не населению, а военным, морякам и солдатам. В декабре месяце плохо было дело. Что дальше делать? Снижать некуда.

— А завоз? Через Ладогу?

— А завоз сначала был такой, знаете, — по капле. Тогда у нас были неприкосновенные запасы — сухари в армейских соединениях и мука, рассредоточенные на военных кораблях в Кронштадте. Это были неприкосновенные запасы. Военный совет Ленинградского фронта принял решение использовать эти сухари и эту муку для снабжения моряков, солдат и населения, потому что дальше нельзя было никак снижать».

Вот наконец! Перелом наконец наметился…

«Когда с 21, 22, 23 декабря завоз муки стал превышать расход, тогда мы все у Андрея Александровича Жданова собрались. Потом перенесли рассмотрение этого вопроса на заседание Военного совета. И приняли там решение: с 25 декабря сорок первого года рабочим прибавить 100 граммов, значит, вместо 250–350 граммов, а остальным группам населения прибавить по 75 граммов.

Я должен вам сказать, что прибавка, конечно, была небольшая, но как народ, понимаете ли, это встретит?! (Тогда занимались тоже тем, как народ на это реагирует.) Потому что люди не знали (это было вечером сделано), что они придут в булочную, в магазин, а им не 125 граммов будут давать, а 200 граммов.

Люди почувствуют в этом деле силу не столько оттого, что человек стал наедаться этими добавочными 75 граммами, нет, а веру в то, что дело идет все-таки к тому, что мы одолеем этого фашиста и справимся с вопросами, связанными со снабжением».

У каждого руководителя, хочет он того или нет, есть репутация в народе. От этого суда не уйти никуда. А тем более человеку, который сообщал вам приговор: жить или не жить, будет повышение или, наоборот, снижение скудной хлебной нормы… Спрос с такого человека особенно большой. Тем более что быт в тех условиях не был отделен от работы. Все просматривалось насквозь. Большинство жило на казарменном. Можно представить, с какой требовательностью к себе старался относиться всякий честный работник. К себе и к другим… О «щепетильности того времени» говорит Станислав Антонович Пржевальский, приводя такой случай, пример:

«Командующий фронтом заболел. И адъютант приехал ко мне, зная о том, что у меня по распоряжению Павлова в совхозе Мяглово было оставлено пять живых дойных коров, причем с запиской врача приехал, что требуется молоко. Я Андреенко докладываю, что вот совершил такое действие: выдал пять литров. Ну и что я от него получил? Он говорит: «Понимаешь, что в военное время за такие дела расстреливают? Какое ты имел право без разрешения продовольственной тройки давать? У нас есть продовольственная тройка». Я говорю: «Я дал не кому-нибудь, а командующему, которому продовольственная тройка подчинена». Он говорит: «Независимо ни от чего. Раз есть порядок, значит, он не должен нарушаться». Я говорю: «Вас-то ведь не было, все равно вы бы не отказали». — «Нет. В следующий раз таких вещей не делать!» Вот вы понимаете отношение человека к тем порядкам, которые были установлены?»

Все еще энергичный, собранный и не потерявший в жизненных передрягах, послевоенных

невзгодах скорую, живую улыбку, Иван Андреевич хранит в памяти как большую награду себе такой случай:

«Однажды на одном заводе — я не помню теперь на каком — после выступления я шел с директором и секретарем парткома. Идем. И вот кто-то басом говорит: «Ну вот он какой, Андреенко! Сам себя-то накормить не может, куда же ему общим котлом управлять?!» А я был очень худой. Если бы я был полный, конечно, сказали бы: «Ясное дело!» Но за меня вступились женщины, они назвали этого: «Боров ты! Значит, он не заедает твое, а заедал бы твое, то он во какой был бы!»…»

…Когда изучаешь условия жизни, работы в блокированном городе, когда размышляешь о людях, которые должны были принимать непростые, трудные решения, неизбежно приходишь к этому — взаимооценкам руководителей и руководимых. Руководишь людьми так, как понимаешь, как видишь, как ценишь их. У Ивана Андреевича Андреенко взгляд на ленинградца-блокадника отнюдь не упрощенный, не отвлеченно-романтический — обращались люди разные в самые критические моменты жизни, спасая себя и близких…

В рассказах Ивана Андреевича немало хорошего о людях тех лет, он понимал цену проявлений — притом массовых проявлений — сознательности, дисциплины, доброты человеческой.

В условиях, которые, казалось бы, должны были развязать самые эгоистические и грубые инстинкты: массовый голод — состояние критическое!..

«— Был такой случай. Это было что-нибудь в ноябре или декабре сорок первого года — в самое трудное время. В одну из булочных в Володарском районе (ныне это Невский район) зашел мужчина крупного такого телосложения. Он не похож был на всех покупателей и продавцов (они тоже мало чем отличались от покупателей). Он, значит, посмотрел так и сразу пошел к полке и сказал: «Слушайте, что я вам скажу. Нас хотят уморить голодом!» И стал эти батоны хлеба, эти самые кирпичики швырять. «Берите, говорит, и ешьте!» Понимаете? Но народ не брал. Присутствующих там было человек двенадцать. И было три продавца. Они сообразили, и хотя они не особо сильные были, но количеством его взяли — они его свалили. И еще школьники участие приняли в этом деле — побежали в отделение милиции (телефона-то не было). Пришли, его забрала. Он оказался провокатором.

— А вообще была дисциплина?

— В Ленинграде в то время, я помню, в этом отношении было хорошо. Ну, вначале народ привыкал. Я уже об этом говорил: как мы привыкали, так и остальные привыкали. Случаи ограблений были единичные. Ну, тогда можно было что? Вы же знаете, что за килограмм хлеба можно было золотые часы купить.

— А кто же на рынке занимался этой торговлей?

— Разные люди приходили туда. Я могу такой пример вам привести. Тоже на толкучку, понимаете, парень пришел. В семье осталось только два мальчика — один постарше, другой помладше. Карточки у них есть. Отец на фронте. Мать погибла от голода. И они пришли на толкучку продать бушлат. Они пришли туда. У них мужчина купил бушлат за триста граммов хлеба. Ну, вот пришли домой и хлеб съели. А на другой день проснулись — бушлат-то, значит, они проели, а карточки где? А карточки остались в бушлате. Парень, который продавал, запомнил покупателя по бородке. И этот мужчина с бородкой пришел к ним. По карточкам — там адрес был написан — нашел, принес и отдал. Видите?

— А как вы узнали про этот случай?

— Ну как, донесения же были. По Ленинграду всегда собирались всякие проявления и отрицательного и положительного характера. Отрицательных было мало, но были, а положительных, конечно, было больше.

— А вам шли донесения по какой линии?

— В Ленинградский Совет. Насчет продажи продовольствия у меня есть еще такой случай. Машина с хлебом шла. В машину попал снаряд. Шофера убило. Это действительно так было. Темно. Народ собрался — хватай и беги! Но ведь этого не сделали, все сохранили до крошки. Вызвали милицию, все погрузили и повезли… Или, понимаете, такой случай с двумя школьницами. Загорелся магазин… Нет, их четыре школьницы было. Так вот четыре школьницы бросились в этот магазин и стали таскать вместе с работниками сахар и еще крупу, что ли. И одновременно одна побежала и доложила, чтобы приезжала, значит, пожарная команда. Так спасли очень много продовольствия, предназначенного для выдачи. Такой случай… Но я вам еще не сказал, что, как это ни странно, хотя было очень туго, а все-таки Ленинградский Совет, наш исполком при поддержке Военного совета Ленинградского фронта, городского и областного комитетов партии приняли решение об организации школьных елок с первого по десятое января сорок второго года. У меня есть один документ. Вот он: «Устраивать новогодние елки в помещениях, обеспеченных бомбоубежищами». Ленглавресторан организовал обслуживание участников новогодним обедом без вырезки талонов из продовольственных карточек и елочными подарками. Вот пришли ленинградцам мандарины из Грузии. Тогда решили, что эти самые мандарины надо доставить в Ленинград к Новому году, и доставку эту поручили шоферам триста девяностого автобатальона. И они были доставлены. Когда новогодние елки проводили, давали детям эти подарки».

Эти фантастические в тех условиях мандарины помнят сотни людей. Память эта теплой волной связывает тех, кто добывал, доставлял их в Ленинград, кто их получал, брал детской ручкой, прятал, прижимая под одеждой, уносил домой — маме…

Эти рассказы мы приводим в главе «Ленинградские дети».

Особая большая тема ленинградской блокады — организация «Дороги жизни». По литературе хорошо известно, кто и как участвовал в осуществлении, реализации спасительной идеи, каких усилий, трудов, самоотверженности от руководителей и от работников ледяной трассы это потребовало. Но это особая тема. Скажем лишь, что браться за такую невиданную по смелости и сложности задачу — организацию ледяной дороги через Ладогу — можно было, лишь веря в то, что люди наши способны на невозможное…

Неудивительно, что у многих бывших блокадников и поныне особое чувство товарищества и долга друг перед другом. Чтобы понять, почему Емельян Сергеевич Логуткин, генерал-майор, получивший боевую закалку еще в Испании, до сих пор озабочен судьбой ветеранов МПВО — неотступно добивается, чтобы наконец приравнены они были к «полноценным бойцам, участникам Великой Отечественной войны», — надо послушать рассказы его об этих «девочках семнадцати-девятнадцатилетних», которые, заменив ушедших в окопы мужчин, вынесли и смогли все…

«— Я рассказывал о тяжелом периоде блокады, я имею в виду первую зиму. Это была, я бы сказал, самая страшная схватка с врагом у стен Ленинграда. Кроме защиты непосредственно города, перед нами часто стояла задача помогать фронту.

— Вы говорите, восемь тысяч отправили на фронт?

— Да, восемь тысяч.

— В какие дни?

— В самый трудный момент, и оказалось, что у нас, если не ошибаюсь, осталось всего две с половиной тысячи личного состава. Я поставил вопрос: а что дальше? И доложил командованию, в частности начальнику штаба фронта генералу Гусеву Дмитрию Николаевичу: «А что дальше будем делать? Не с кем город будет защищать». Он мне сказал: «Емельян Сергеевич, не беспокойтесь, мы вам поможем». Через некоторое время вызвал командующий

фронтом Говоров. Командующий выслушал и тоже сказал мне: «Мы вам поможем». Через некоторое время меня вызвал начальник штаба фронта генерал Гусев и сказал: «Радуйтесь, Емельян Сергеевич, к вам идет пополнение!» — «Какое? Кто? Откуда?» — «К вам придут женщины-ленинградки». А потом я спросил: «А что вы так смотрите на меня?» — «Женщины к вам придут!» Я говорю: «Слушайте! Из армии?» Он мне сказал тихим голосом: «Вы поймите, поймите, товарищ Логуткин, дорогой! У нас мужского контингента в Ленинграде не осталось. А теперь вы сделайте выводы сами, сделайте все, чтобы они были солдатами!» Через некоторое время к нам пришли около семнадцати тысяч женщин-ленинградок, молодых женщин и девушек. Это был замечательный контингент… Знаю хорошо историю вообще, нашу военную историю: пожалуй, никогда не было такого случая, чтобы кадровые части войск комплектовались женщинами. Я вообще этого не встречал. И поэтому первое время мы растерялись… пока поняли, что и с этим составом нужно уметь воевать, тем более что враг готовил наступление на город. И мы стали их обучать.

— Это начало сорок второго года?

— Если не ошибаюсь, март сорок второго. И мы стали их обучать, личный состав обучать».

Легко сказать — обучать. Извечно мужскому делу — женщин, часто почти девочек, да еще голодных, истощенных до предела.

Как это выглядело поначалу и как было, потом рассказывал нам (не без юмора, тоже извечно мужского) Калягин Иван Васильевич — бывший подводник, а позже — помощник директора Кировского завода по МПВО…

«— Ну, во-первых, когда женщин привели в казармы (а казармы у нас были тоже запущены; мужчины ведь не особенно там ухорашивали хоромы свои — они не всегда и помоют), вот в эти хоромы пришли женщины. Школы мы занимали и детские сады.

Ну, как положено, командиры роты оставались мужчины. Скомандовали: «Смирно!» И вот, вы представляете себе, — встал строй женщин: закутаны в платки, волосы торчат отовсюду, лица синие! Я поглядел — напугался. Отвел командира роты Лапина и спрашиваю:

«Почему у тебя все женщины беременные? Ведь они только пришли еще».

Он говорит:

«Да нет, что вы! Это они травы наелись. Знаете, травы нащипают, наварят баланды-супу и едят. Есть-то хочется?!»

А ведь женщины оставались женщинами, старались даже понравиться: иначе, чего доброго, и не возьмут…

Арсеньева Александра Михайловна так вступала в «комсомольский полк», подруга увидела ее и позвала:

«Знаешь, говорит, работать очень много приходится, но кормят три раза в день горячей пищей».

Я говорю:

«Люсенька! Ну, как же меня возьмут? Ведь я как былинка, — на меня дунь, и я упаду!»

Она говорит:

«Знаешь что! Ты накрасься! Ты хорошо одевалась, приходи нарядная. Тебя примут. Ты только покрасься!»

А у меня ни помады, ничего уже нет. Я у соседски прошу помаду, крашу щеки, крашу губы. Надеваю шляпу меховую и иду! Ну, эта Люсенька Будакова, которая в Алтайском крае нашлась теперь, она уже командиру сказала, что вот развитая девушка, очень политически подготовленная, художник — она много наговорила, — рисует, пишет и черт знает что. (Я тогда там все стихи писала.) Командир уже был как-то подготовлен. Когда он меня встретил, я хорошо держалась, и вот он меня послал на Песочную. Знаете Песочную? С Баскова переулка, с конца

Баскова переулка — на Песочную идти оформляться в штаб полка! Это было ужасно!

— Он поверил вашему румянцу?

— Стойкая краска была! Но когда я дошла до этой Песочной — обратно, думала, не дойду! Где-то лежала, где-то сидела и думала: как же мне дойти? Но надо же, надо! У меня ребенок на Моховой сидел один. И вот ребенок меня подгонял все время — ребенок! Если бы не ребенок — я пала бы духом. Но у меня девочка — хорошенькая такая девочка была. Мне нужно было встать ради дочери. И вот я шла, шла. Иду по Марсову полю и вдруг вижу: мужчина наклонился, нагнулся, что-то в снеге выковырнул и в рот — красные какие-то, малиновые пятна. И все идут, выковыривают — ив рот. Я нагнулась: оказывается, кто-то сироп пролил какой-то. Тогда давали сироп, и вот капельки сиропа выковыривали из снега! И я выковырнула этот сироп, немножко! Иду, иду, иду. Бегом. Остановлюсь. Нет, нельзя останавливаться — упаду. Надо идти — там же дочка. Опять про свою доченьку! Ну вот, дошла. Командир спрашивает:

«Не устала? Принесла документы?»

Люся мне мигает, а я улыбнулась такой глупой-глупой улыбочкой: «Нет!» И думаю: только бы ноги выдержали, только бы не упасть!

«— Ну, потом мы их привели в порядок, — говорит Калягин И. В. — Я сперва струсил, рапорт подал (потому что я специалист морского флота и меня приглашали во флот), — отпустите меня! Ну, получил соответствующую отповедь.

— Взбучку?

— Да. Меня назвали трусом. Что, говорят, захотел паек первой нормы? А тут боишься с голоду помереть? Ну, это меня задело, и я, конечно, остался. Нам предстояло сделать из этих женщин солдат. Начинать нужно было с сержантского состава. Ну, создали школу сержантского состава — трехмесячную. Нужно соответствующих командиров ведь, чтобы они подготовили. У меня подвернулся один командир, вышедший из госпиталя, — кавалерист. В первых боях на подступах к Ленинграду он был изрублен весь, на него, откровенно говоря, страшно смотреть было: все лицо исполосовано шрамами. Но он кадровый командир. Он не представлял себе, чтобы быть уволенным из армии (его отчисляли потому, что у него череп был поврежден). Я попросил военкома отдать мне его. И он стал начальником школы. Ну, девки, конечно, плакали, когда теперь за них по-настоящему взялись. Но в три месяца нужно пройти программу шести лет. Ну, обстреливать нас нечего было — у нас кругом все обстрелянные были. Но все же я получал иногда сообщения, что школа снялась с места дислокации и направилась к фронту.

— Что это значит?

— Это значит, что он построил школу ночью по тревоге и повел их на передок обстреливать. Ну, правда, сперва мы паниковали, думали, что, может быть, человек больной, может, у него заскок какой-нибудь. Нет! Он это делал с целью. Работал он с ними и день и ночь.

— И как это выглядела стажировка на фронте?

— Ну, как? Довел до больницы Фореля, там их минометным огнем накрыло, все расползлись по канавам, проползли, выползли из зоны обстрела. Построил — и назад повел. Это просто было на войне, довольно просто. Мы отвечали морально за жизнь человека, но его надо готовить. По окончании школы состоялся выпуск. И в нашей школе ни один не был отчислен — все получили звание сержантов. Некоторые получили старших сержантов, а несколько человек — старшин. Все женщины. И вот, когда пришел подготовленный состав в роты, — они, конечно, сделали революцию: роты на глазах превращались в солдат — настоящих солдат. Я потом командовал полком по восстановлению железнодорожной линии до Пскова, и, работая на Карельском перешейке, работая на минных полях, имел дело с воинскими частями. И когда командиры частей воочию убеждались, что это за народ, я неоднократно слышал от них, говорят: «Любую роту мужчин меняем на твоих девчат».

«— Сейчас, — вторит Калягину генерал Логуткин, — вспоминая прошлое, я бы прямо сказал: перед нашими женщинами мы, солдаты, офицеры, мужчины, должны снять шапки, поклониться. Ведь это они сбрасывали зажигательные бомбы с крыш домов, со зданий, тушили пожары, откапывали заваленных, помогали голодным, умирающим, хоронили мертвых, спасая город от эпидемий… После прорыва блокады, вернее после снятия ее, наши части — подчеркиваю, все те же девушки — по заданию командования Ленфронта помогали частям фронта громить противника. В тяжелых зимних условиях, часто на заминированной территории наши полки, двигаясь за наступающими войсками, восстанавливали железные дороги на главнейших направлениях. Они восстановили двести два километра железных дорог, пятнадцать железнодорожных мостов и семнадцать мостов деревянных. Они разминировали много площади, для того чтобы наши войска прошли. Когда я был на одном из направлений и по этим дорогам, которые восстанавливали наши бойцы, двигались эшелоны войск, то из вагонов солдаты и офицеры так кричали «ура», так они приветствовали со слезами на глазах этих замечательных бойцов-девушек, благодарили! Дальше. Нельзя списать со счетов и такие мероприятия, как разминирование пригородов Ленинграда. Вот взять Пулковские высоты, Пушкин, Колпино, Петродворец и много, много других. Ведь там были миллионы мин и снарядов! Кто их разминировал? Большинство из них разминировали солдаты МПВО.

— То есть девушки?

— Девушки. Они обезвредили на большой территории более семи миллионов взрывоопасных предметов. Что это? Разве это не героизм? Разве это можно забыть? (Калягин И. В.: «Много подрывалось. У нас были потери 18 %».) Они же восстановили почти все основные здания города. Ведь из них подготовили тысячи штукатуров, электромонтеров, шоферов, плотников и других необходимых специалистов… Это же они восстановили набережную Фонтанки, они проложили трамвайный путь по Старо-Невскому, они восстановили сотни зданий школ, больниц и т. д. …Вот передо мною сейчас встает картина, как мы отправляли людей после демобилизации. Но они не ушли! Ведь раз демобилизованы — можно домой! Так нет! Этого нельзя забывать. Они не ушли домой, они пошли по разнарядке восстанавливать промышленность на заводы, фабрики и во многие другие места…»

С помощью МПВО делалось и великое дело, чрезвычайно важное для обороны всей страны — вывозили из Ленинграда зимой 1941/42 года уникальное оборудование, броневую сталь, цветные металлы, необходимые для промышленности Урала.

Люди, с которыми мы встречались, которых расспрашивали, записывали, называли нам имена своих коллег и товарищей по работе, им отдавая все заслуги, говоря о труде и подвиге известных и забытых руководителей блокадного фронта, которые вносили в жизнь города волю и спокойствие, распорядительность и смекалистый поиск выходов из положений зачастую безвыходных. О тех, кто сначала в уме, а затем на карте и по не ставшему еще льду Ладоги прокладывал дорогу к спасению, кто нашелся и распорядился, когда стали хлебозаводы и город замер в предсмертном забытьи, дать электроэнергию с военных кораблей, кто добыл и снабдил горожан семенами и картофельными глазками весной и летом 1942 года, когда ленинградцы сделались еще и земледельцами, — всего и всех не перечислить и не назвать.

Нас поражали неиссякаемые резервы душевных сил людей. Но также поражало и другое: чего можно добиться организованностью, какие возможности создавала та работа, которую называют таким холодным словом — организационная. Сколько можно, оказывается, сделать, когда ничего уже сделать нельзя, какие можно найти слова, какие чувства извлечь, как много можно (спокойно!) потребовать от других и от себя самого, когда, кажется, никто и ничего уже не в состоянии…

Подсчитано, что за неполных шесть военных месяцев 1941 года рабочий Ленинград сдал

Красной Армии и Флоту 713 танков, 480 бронемашин, 58 бронепоездов, 2405 полковых и 648 противотанковых пушек, около 10 тысяч минометов, изготовил свыше 3 миллионов снарядов и мин, более 80 тысяч реактивных снарядов, авиабомб. Кроме того, на Кировском заводе, на заводе «Металлист» и других было отремонтировано около 500 танков и более 300 орудий. Адмиралтейский, Балтийский и другие заводы перевооружили, отремонтировали 186 кораблей.

В труднейшем 1942 году было эвакуировано около миллиона человек…

И все это, и все это в тех условиях, в таких условиях!..

ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ

Для живых жизнь продолжалась: работа, тревожные мысли о последней радиосводке, заботы о еде, тепле, близких, — в сутках были все те же двадцать четыре часа, каждый день проходил сквозь человека и ни один мимо. В рассказах, в сегодняшних воспоминаниях блокадников много точных фактов, состояний, деталей. В них и повседневная жизнь запечатлена: память (особенно женская) цепко, резко зафиксировала невероятную реальность тех дней и ночей.

Но именно дневники особенно полно передают дыхание того времени, знобящей повседневности, когда жизнь и смерть сошлись предельно близко, склонились вместе с блокадником над его чуть теплой «буржуйкой»…

Как ни странно, многие вели дневники. Некоторые по старой привычке, по давней привычке к бумаге, перу. Нередко в этих дневниках не только умение фиксировать факты и переживания, но и стремление осмыслить заново и человека, и историю, и вообще целый мир: война, блокада давали для этого предостаточно и поводов и «материала».

К такому типу дневника относятся «подневные записки» директора Архива Академии наук СССР Георгия Алексеевича Князева «В осажденном Ленинграде», которые передала нам его вдова Мария Федоровна Князева. Документ этот (в нем более 1200 машинописных страниц!)

заслуживает специального изучения и разговора. Пока приведем лишь некоторые места, раскрывающие саму «идею» дневника Г. А. Князева.

«Ухожу на службу.[18] Стараюсь думать о работе, об истории культуры… Пишу о себе не как о субъекте, а как объекте. Все, что я пережил, переживают и многие другие… Многие переживают то же, но все и кончается «трепыханием» сердца, смутно отражаясь, без ярких образов, без ясной мысли в мозгу. Сколько переживаний! И все они забываются, затухают, испаряются. Потом все кажется по-иному, как надо после. И какими героями, умниками становятся многие на самом деле обыкновенные люди. Котурны, ходули являются на сцену лишь когда смотрит зритель.

Но никто не знает, что делается в душе человека, когда он сам с собой, со всеми своими противоречиями, подъемом и упадком духа. Вот мне и хочется запечатлеть такого человека… Самое позорное для воина — малодушие, трусость. То же и для нас — невоенных. Но 24 часа в сутки «обывателю» никак не удается остаться в натянутом, как стальная струна, положении. Всякую струну нужно настраивать».

Вот человек, автор дневника, и настраивает себя — и через дневниковый самоконтроль также. Чтобы не позволить голоду сожрать вместе с мышцами и душу. Записывая то, что наблюдает на «малом радиусе» (дом, улица по дороге к архиву, работа), старается выходить на «большой радиус».

О «невоенных» защитниках Ленинграда, о погибших и погибающих от голода, обстрелов говорит с уважением, но поскольку это и о себе, формулирует так: «пассивные героические защитники Ленинграда», «героические пассивные защитники» (имея в виду, что не видят врага и не могут нанести ему прямого урона).

«Интеллигентщина! Да, да, чем мы были, тем и останемся… У нас есть еще стыд, совесть. Это старые, «смешные» интеллигенты создавали великую русскую гуманистическую культуру и предпосылки Великого Октября… Я все силы напрягаю к тому, чтобы сохранить в отношениях с людьми предупредительность, мягкость, чтобы легче было. У меня нет хлеба, но есть покуда слово, бодрое и доброе слово. Оно не заменит хлеба… Но как противно, когда другие, не имея хлеба, швыряются камнями…

1941.X.12. Воскресенье. Сто тринадцатый день.

Целый день приводил свои папки с бумагами в порядок. Запаковал в три папки — одну в другую — свои записки. Сохранятся ли они или пропадут: сгорят, взрывная волна развеет их? Что бы там ни случилось, сложил их, а также и все ранее написанное в книжный шкаф на нижнюю полку».

Среди разных предположений ему ни в ноябре, ни в декабре, ни позже не приходит мысль, что записи его могут достаться вошедшим в город фашистам. Ни разу в дневнике, который в любую минуту мог оборваться смертью, следовательно, в документе искреннем, думается, исповедально откровенном, — ни разу Князев всерьез не представляет себе падения Ленинграда. Он не то чтобы гонит эту мысль как слабость, но просто представить себе этого не может.

Дневник свой он вел не для того, чтобы занять время. Архив АН СССР продолжал работать. Под руководством Г. Князева продолжалось создание «Истории Академии наук», сотрудники ходили на работу, собирали документы, часть документов, наиболее ценных, эвакуировали. Это был дневник рабочего человека. Каждодневные записи по нескольку страниц производились после рабочего дня. В них не только описание тревог, бомбежек, голода, в них — работа архива, быт учреждения, сотрудников, общественная жизнь города.

Интересно по дневнику следить, как менялись взгляды и оценки самого автора и на войну,

и на голод, и на назначение человека. В такого рода подлинных документах драгоценны подробности городского быта, вид улиц, зданий, запахи, краски, звуки — все, с помощью чего можно представить себе Ленинград того времени. Детали такого рода уцелели большей частью лишь в дневниках. Там они сохраняются в подлинности, независимые от капризов памяти.

«Сфинксы, мои древние друзья, одиноко стоят на полупустынной набережной…

Напротив них мрачно глядит заколоченными окнами массивное здание Академии художеств. Каким-то тяжелым белым величием оно и теперь подавляет. Поредел и обнажился Румянцевский сквер. Там бивак. Бродят красноармейцы, горит костер, лошадь щиплет остатки пожелтевшей травы. Около обелиска стоит какой-то фургон; по аллеям — несколько грузовых автомобилей; остальные, почти целиком наполнявшие сад, куда-то ушли. На Неве темная свинцовая вода рябит под падающими крупинками мокрого снега. Против Сената стоит трехтрубный военный корабль, почти закрывая с Невы величественное здание. Дивный памятник Петру потонул в насыпанном кругом него песке… Основатель города — в темноте деревянного футляра с песочными мешками… Осенний пейзаж. Я каждый день и каждый раз взволнованно переживаю видение этой дивной ленинградской панорамы. Выходя из дверей парадной, я первым взглядом убеждаюсь: целы сфинксы, цел Исаакий, цела Адмиралтейская игла, цел ангел с крестом на Александровской колонне…

1941.XI.8. Суббота. Сто сороковой день войны. Печальное зрелище представляет собой ряд старинных домов по набережной от 1-й линии до университета: все они стоят с вылетевшими или разбитыми окнами. И Меншиковский дворец был, по-видимому, в центре взрывной волны, все его круглые окна вверху и окна в среднем этаже над балконом зияют пустотой, не осталось ни одного стекла. В нижнем этаже выбиты только отдельные стекла. В крыльях Меншиковского дворца также множество разбитых и вылетевших стекол, исковерканных рам. Такие же разрушения в доме б. Архива военно-учебных заведений и в филологическом факультете университета. Что случилось, так я и не мог понять: разрушений от бомб самих зданий нет, цела и набережная. Дворник сказал мне, что бомба упала в Неву близко от берега и разбила все стекла на набережной. Но может быть, это результаты разорвавшихся снарядов вчерашнего артиллерийского обстрела, когда мы утром слышали канонаду. Есть и третий вариант. Напротив, у Сената, стоит трехтрубный военный корабль с морскими дальнобойными орудиями. Из них, говорят, третьего дня во время налета стервятников было сделано несколько залпов. Мне и раньше говорили моряки, что если заговорят дальнобойные орудия с кораблей на Неве, то у нас на набережной все стекла из окон повылетят.

В Академии наук покуда все по-прежнему; только старые рамы в окнах Зоологического и Этнографического музеев закрывают пластырем из фанеры.

Всматривался в набережную противоположного берега Невы. Новых разрушений в окнах не видно, потому что большинство из них давно забиты щитами.

1941.XI.19. Трубы кораблей, стоящих вдоль набережных по Неве, окрасили в белый цвет. Автомобили грузовые из окрашенных зелеными пятнами покрылись белою краской, под цвет снега.

Нева начинает затягиваться льдом.

Около здания Первого кадетского корпуса по Съездовской линии все время у ворот и подъездов толпятся женщины, молодые, старые, дети, ожидающие свидания с родными — ранеными и выздоравливающими бойцами. Иногда почему-то толпа быстро перебегает с одного места на другое, заглядывает в окна. У одних вдруг глаза повеселеют, другие стоят угрюмые, раздраженные или совершенно ко всему равнодушные. У некоторых узелочки в руках.

И без того плохо одевавшиеся ленинградцы теперь совершенно потеряли всякий стиль,

особенно женщины. Вчера видел пару: он в военной форме, она под ручку с ним в серой стеганке, ватных штанах-шароварах и коричневой феске с кисточкой. А лицо молодое, простое, довольное. Идет, по-видимому, с женихом или молодым мужем. Одежда других сборная, с «хронологическими наслоениями». Трудно, почти невозможно будет восстановить впоследствии художнику, писателю эту толпу, как она выглядит на улице; неизбежно придется прибегать к выдумкам и бутафории».

Такие дневники редкость. Большинство людей записывали свои переживания, свою борьбу за жизнь, за близких. Есть дневники — трагические повествования о судьбе какой-либо семьи или человека, о том, как он отчаянно сопротивлялся, как работал (большинство дневников вели люди работавшие). Попадались нам дневники, описывающие главным образом, где и что съедено, как отоваривали карточки, сколько продуктов выдавали. В одном из них со всевозрастающей скрупулезностью В. Беляков записывал:

«6 января 1942 г. Ходил в столовую на Чубаровом пер. Скушал четыре порции каши из дуранды — больше ничего не было. За кашу оборвали 50 гр. крупы… Каша плохо переваривается, чувствую боли в желудке…

16 января. За хлебом стоял около двух часов. Встал в 5 ч. утра… и только в 8 часов получил теплый хлеб… Обед сегодня принял сказочный характер, он длился с 11 ч. до 16–30. За это время скушал одну тарелку щей, один суп-лапшу и один перловый суп. Много пил воды, лицо сильно опухло…»

С непонятной ныне настойчивостью перечисляются почти ежедневно эти цифры, тарелки, граммы. В этом была жизнь, а может, это казалось самым важным, самым ценным и для истории? И тут же изо дня в день тянется рассказ о том, как он, Беляков, искал, кто бы ему переделал боксерские перчатки в рукавицы, потому что руки мерзли беспощадно, а надо было носить и дрова, и хлеб, и воду.

Многие только с наступлением блокады принялись — впервые в жизни — записывать. Люди вдруг ощутили, что оказались в центре событий таких, в которые завтра они сами не поверят: да было ли, могло ли такое происходить, можно ли было пережить все это? Вот записи нашего разговора с Галиной Григорьевной Бабинской. О ней мы уже упоминали — высокая немолодая красивая женщина, живущая в старой «петербургской» квартире, где и рояль, и стены, и лепной потолок тоже как бы часть «блокадного дневника».

«— Вот обваленный потолок был заделан потом, знаете, как это ни странно, пленными немцами.

— Что? Вот эти рисунки — это они делали?

— Нет, там штукатурка просто была. Вот эта заплата, светлая, это заделали они. У нас сосед был, которому дали немцев на ремонт его комнаты, а он к нам их направил ремонтировать потолок. Это было, наверно, в сорок шестом или сорок пятом году. Если не в сорок четвертом. Здесь нужно восстановить лепнину и роспись, но это дорого и руки не доходят. А вот осколки стекла тут, в рояле, блестят до сих пор. В доме напротив взорвалась бомба. Дом был тогда двухэтажным (сейчас надстроено два этажа). Я была на работе. А мои мама и бабушки оставались здесь. Это был сорок второй год. Сейчас я старший научный сотрудник Государственного музея этнографии народов СССР. Так что я этнограф, до некоторой степени путешественник. Заодно мы еще и туристы: вдвоем с мужем лодочники. Вот у нас и байдарка тут стоит.

— Дневник писался, когда вам было девятнадцать лет?

— Да, мне было девятнадцать.

— Скажите, с какой мыслью вы его писали?

— Трудно сказать. Вероятно, все-таки события были таковы, что как-то остаться незафиксированными они просто не могли. Самая главная мысль была та, что когда-то, когда все это кончится (а в этом сомнения не было, раз мы писали такие вещи), вот когда все это кончится, и самой читать, и, очевидно, прочесть тем, кто этого не видел.

— А до войны вели дневник?

— Ну, школьный, какой-то там ерундовый… Привычка писать у меня, надо сказать, и до сих пор сохранилась.

— И уверенность была, что выживете?

— То есть в этом не было никакого сомнения! Это какая-то глупая надежда была. Вот даже идешь по улице, — обстрел и бомбежка, и почему-то думы о том, что это может коснуться меня или моих близких, у меня никогда не было: где-то с кем-то что-то, но не со мной и не с моими близкими.

— А какая у вас была семья? С кем вы тогда жили?

— Я, мама, две бабушки было на тот момент».

Галина Григорьевна читала нам свой дневник и поясняла его время от времени:

«— «15 декабря 41 года. Прошел последний трамвай. Трамвайные пути занесены снегом и покрыты льдом. Провода повреждены. Вагоны стоят на путях»… А надо сказать, что потом я стала работать в Трамвайно-троллейбусном управлении и восстанавливала как раз вот ту самую трамвайно-троллейбусную сеть, о которой первые строчки моего дневника. «25 декабря. Увеличили норму хлеба: со 125 граммов до 200 граммов (это служащим) и с 250 до 350 — рабочим. Кузька спасен от смерти…» Кузька — это кот. Этого кота мы собирались со дня на день съесть, со дня на день покушались на его жизнь. Кот был чистый, домашний, очень хороший и очень любимый. И запись эта не случайна, поскольку каким-то образом этот момент был отсрочен. Ну, мы думали, что он вообще спасен, но ничего не получилось. «28 декабря. В квартиру перестала поступать вода. Приходится брать ее в первых этажах… Деликатный момент: 30 декабря последний раз пользовались уборной. Двор принял первый «подарок» в конвертике…» Понятно? Да? Можно не комментировать. «Редко чистим зубы. Моемся не больше одного раза в сутки. Вода в ведрах и банках на кухне замерзает. В конце января переставились в комнате: в комнате «буржуйка». Греемся, готовим пищу три раза в день и пользуемся ею (то есть «буржуйкой») как освещением. 18 января. Догорела последняя свечка. В керосиновую лампу налит бензин. Пользуемся ею только во время еды…» А вот это существенно, это вообще говорит о нашем состоянии: во время утреннего завтрака, на кровати, рядом с обеденным столом, в той вот комнате умер Меншиков. Это одной из наших бабушек приемный сын. Ну, это, в конце концов, неважно — приемный, не приемный. Важно то, что человек лежал тут же в комнате на кровати, пока мы принимали вот эту самую долю утренней пищи. Он умер, но завтрак был доведен до конца. Наступило уже какое-то торможение, не было места для таких эмоций, которые естественны для нормального человека и для нормального состояния… «За рытье могилы и похороны просили килограмм хлеба и 300 рублей деньгами».

— За похороны триста рублей?

— Да, и один килограмм хлеба. А где взять килограмм хлеба, когда по карточке не хватает, а на рынке совершенно бешеные цены. Вот поэтому так и свозили — в простыне, на саночках и куда-то в угол. В связи с этим обязательство управхоза (это, видимо, по распоряжению милиции — управхозами милиция, наверно, ведала): «Обязуюсь трупы умерших безродных граждан не вывозить на кладбище без гроба». Потому что часто трупы находили во дворах, на чердаках, на лестницах. «По словам врача К., умирает 80 % мужчин»… Это все середина января. «Дрова из сараев переносятся в квартиры, потому что из сараев и дрова тащат, и сараи разбирают на дрова… Мама ежедневно распределяет нормы хлеба по кускам…» Это то, что я вам уже

говорила. Ну, вся эта норма делилась на три части в день, а потом еще каждая эта часть должна была делиться по членам семьи. «На улицах нет ни одной кошки, ни собаки: все съедены в январе. А еще в начале ноября дохлые кошки валялись, завернутые в бумагу».

— Выбрасывали?

— Их тогда еще выбрасывали, а теперь уже нет.

— А кошка ваша уже съедена?

— Еще нет… «В начале ноября получено разрешение на разборку предохранительных ящиков из-за недостатка света днем, в связи с чем резко ухудшилась светомаскировка… Декабрь и январь — месяцы астрономической смертности: люди мрут возле дома, на улице, на работе… Умирая буквально на улице от голода, перенося сверхъестественные лишения — отсутствие света, тепла, бытовых удобств и т. д., а главное, достаточного количества пищи, — никогда не слышно ни жалоб, ни пораженческих разговоров…» Вот так у меня записано. И это действительно было так: абсолютно никто ничего. Характерно, что большинство ленинградцев чем дальше, тем больше принимали свои желания за действительность. Так было с прорывом кольца блокады, прибавкой норм, занятием Мги и т. д. Тут еще записан целый ряд моментов: закрыты парикмахерские, закрыты кинотеатры, Театр комедии, Ленинского комсомола. Музкомедия работала сначала-периодически, вскоре прекратила свое существование. Город замер. «Объявление на двери магазина: «Продается новый гроб». Дальше идет цена, размер…» 17 января. По Пионерской улице резво пронеслась овчарка. Прохожие проводили ее жадными бессильными взглядами». …Вообще удивительно, потому что откуда эта овчарка, да еще так резво пронеслась?..

— Может быть, военных?

— Да, может быть… «Выгорают каменные здания. Пожары длятся неделями. Мер к тушению не принимают: нет воды, неисправен водопровод. Затопило проспект Карла Либкнехта на участке Блохина — Пионерская и Введенская. Это почти от Тучкова моста и Пионерской и Введенской. Вода вышла на панель, в воду попадают автомобили до половины колес». И тут вот страшное случилось. Я сама тоже видела. Вышли мы на улицу. И вот здесь, около моей школы (через дорогу от школы, где я училась), в воду попала женщина. Ее вытащили и поставили на приступочку перед дверью школы. Но ее ведь только поставили. Вот так прислонили к стенке. Но так как мороз был сильнейший, то, видимо, ничего не могли с ней сделать. Вот так и оставили. Я ее видела сама, вот такую замерзшую.

— Стояла замерзшая?

— Ну да, потому что двигаться она не могла. Дойти до дому она не могла, и дотащить ее тоже никто не мог.

«Характерная фраза одной старухи: «Попадись он мне, сукин сын (речь идет о Гитлере), я бы ему дала баню!» А сама старуха еле говорит от слабости и старости. Все деревянные дома, ларьки и стадион Ленина — все снесено на топливо… 15 апреля. Из трампарка вышел первый маршрут пассажирских трамваев — 3, 7, 9, 10 и 12. Пошли уличные часы на Большом проспекте… Осенние плакаты «Все на фронт!» сменились плакатами «Все на огороды!»… Объявления о продаже гробов сменились объявлениями о продаже мебели, домашней утвари, носильных вещей… Карточки отовариваются целиком, но продукты отнюдь не дешевле (рыночные, разумеется), достать их почти невозможно, еще более невозможно, чем зимой… Разрушенные дома маскируются декоративными стенами. Очень долго разрушенный дом на углу Невского проспекта и улицы Герцена (где было здание института) был замаскирован всякими фанерками, плакатиками и т. д. Места, где разрушены здания, разработаны под гряды…» Ну, дальше целые страницы всякой лирики…»

Теперь из дневника Елены Николаевны Аверьяновой-Федоровой.

«— Как вы начинали этот дневник, почему?

— А я не начинала… Я даже не знаю, что меня толкнуло… Я провожала человека, он пошел добровольцем на фронт. Думаю: надо записать, как там будет что… Ну, не знаю…

— Прочитайте, пожалуйста, что вам самой кажется интересным.

— А мне сейчас это кажется уже не очень интересным…. Значит, сначала идет про этого Федю. Потом: «Хлеба стали давать уже 600 граммов». Уже начинается сбавление. Дальше: «14 августа 1941 года. К нам пришли жить бабушка, тетя Таня, кока (моя крестная) и сестра. У них ничего, кроме своих карточек, нет. У Тани немного крупы, килограмма два, картошки килограмм и сахару немного, у бабушки ничего. Но зато у нас с мамой крупы (пшена) 4 килограмма, чечевицы 3 килограмма, риса 4, манной 2,5, овсянки килограмм и что-то еще, сахару 6 килограммов (нет, песку 5 килограммов), чай, кофе, соль, горчица… Все продукты пустили в общее пользование: варили все на всех, ни с чем не считались. Купили капусты на 150 рублей, посолили и все время варили щи, а потом кашу и каждый день ели досыта. Все было хорошо, да еще получали продукты по карточкам. 3 сентябре мы еще жили прилично, так что хватало на пять человек. Только вот каждый день вечером в 7 часов начиналась бомбежка. Но мы в убежище не ходили».

Чувствуете: «все время варили щи», «каждый день ели досыта» — какая досада и горечь сопровождают эту опрометчивость! Спустя два-три месяца эта нерасчетливость будет мучить голодными видениями. Кто мог знать, как оно все обернется. У опытных старых питерцев, видевших голод двадцатых годов, и у тех не было ни предчувствия, ни предусмотрительности.

А Елена Николаевна продолжала листать дневник:

«— Дальше идет опять про Федю… Ага, вот: «Плиту топим через день. Готовим все на плите. Керосина не дают, приходится жечь дрова. У нас их пока много. Думаю, на зиму хватит. Больше пока никто не дает, хотя в коммуне пять человек. Ну а все-таки держится наше хозяйство, пока все есть. О дальнейшем не беспокоимся. Ну ладно, надеюсь, что хватит на всех, а там видно будет, что дальше. Мы еще живы. Ведь это очень много. Бомбят, и страшно. Разрушено много домов, ну, конечно, не без жертв».

А с Федей… Хочешь не хочешь — ни обойти, ни миновать, она входит, врывается в блокадное существование, история той первой любви. В Ленинграде, как нигде, фронт и город сплелись, соединились родственно на все девятьсот дней. На фронт уходили пешком, с фронта тоже. Город был виден из окопов, видно было, как он горел, выгорал. Каждую ночь светились вдали багровые оскалы пожарищ. А днем силуэт города, знакомый, родной, изученный до малейшего изгиба, курился и тлел копотным дымом. Город поедали обстрелы, бомбежки, пожары. А трубы не дымили. Ни заводские, ни бесчисленные печные над снежными волнами крыш. И воздух был прозрачен, оптически чист, так что видно было далеко. Никогда еще город не проступал с такой четкостью на бледном северном небе. Город был виден с переднего края из-под Пушкина, и с Пулковских высот, и с Красного Бора.

«9 октября. Сегодня ездила к Феде на ст. Шушары. Опишу все по порядку. Еще с вечера собрала все, что отвезти; взяла ему носки теплые, шлем его, просил привезти трубку, табак и вместо хлеба купила пряников, 600 граммов конфет «Крыжовник», сахару, вина даже маленькую бутылочку, папирос, конверты, бумагу — все. Утром собралась, вышла в 6 часов. Зашла за Наташей». Была у меня такая знакомая, которая ходила вместе со мной… «Очень много часовых пришлось пройти — либо уговаривать, либо обманывать, либо дать папирос за то, чтобы пропустили. Одних обошли минным полем, а не по шоссе, и долго шли полем, а потом уже около Шушар вышли на настоящую дорогу. Но здесь опять патрули не пропускают, говорят: «Куда вы идете, там фронт». И верно, стреляют очень здорово. Но я решила не отступать, все равно идти. Наташа говорит: «Ну, ладно, пойдем домой». Я говорю: «Нет, теперь уже почти

пришли, осталось немного, и обратно я не пойду. Можешь возвращаться, я пойду одна».

Пошли вдвоем. Встретили военного. Он помог уговорить часовых, и нас пропустили. По дороге мы встретили женщину — военного врача, и как раз того полка, где наши ребята. И того и другого она знает. И вот благодаря ей мы скоро нашли землянки, где они находятся. Но их недавно разъединили, и Кузю перевели дальше, а Федя остался здесь. Наташа пошла дальше, я стала ждать Федю, так как его на месте не было: он был связным. За ним командир послал бойца, а меня пригласил в землянку погреться, так как на улице было холодно, а я была в осеннем пальто, замерзла. И вот я зашла в землянку. Вскоре пришел Федя. Сперва мы даже не знали, что сказать, ничего не нашлось. Командир его отпустил. Сказал: «Пойдите погуляйте. Когда проводишь, то придешь и скажешь».

Вот мы с ним пошли в один дом. Там была хозяйка. Усадила, угостила нас. Поговорили. Потом опять начался обстрел. Перешли в землянку, там было неуютно. Потом я пошла домой. Все, что привезла, ему отдала. Конечно, он был рад и мне и подарку. Так он проводил меня до первого поста. Дальше ему идти было нельзя. Я пошла домой опять пешком по шоссе. Вышла из Шушар в 2 часа, а в 6 часов вечера мне нужно было на работу. А идти далеко, да и устала и тяжело. Но ничего, зато Федю видела! Только стала подходить к мясокомбинату, опять начался обстрел, и так близко снаряды рвались — прямо жутко! Остановиться нельзя — время не ждет, боюсь опоздать на работу. Бежала, согнувшись, до самого трамвая. Устала как собака! Приехала домой уже в шестом часу и только успела поесть, переодеться — надо уже на работу. Пришла на работу усталая, спать охота. В 8 часов тревога. Пошли в бомбоубежище, так я там уснула. Немножко отдохнула. Но я не смогла даже работать — так я устала.

10 октября. Сегодня от вчерашней прогулки все тело болит, как будто на мне возили тяжести, до чего все болит! Но зато Федю видела! Не знаю, доволен ли он или нет, что я к нему, несмотря ни на какие трудности и обстрелы, все-таки приехала, но я довольна, что его видела. Он выглядит хорошо, рассказал мне, как были в боях, как по пять дней ничего не ели, как их часть разбили, как они хотели бежать в Ленинград, но по дороге встретили своих и остались в Шушарах.

Да, в 18 лет так много испытал — не хорошего, не легкого, а тяжелого. Он рано понял, что жизнь тяжелая, и теперь ему еще и войну и бои пришлось пройти. Молодой, а пережить пришлось много. Вот за это он мне еще больше дорог, что ничего хорошего не видел и опять пришлось нести тяжелые испытания. Война! «Вот, — он говорит, — у меня нет ни отца, ни матери, а ведь у других есть, и ни к кому никто не пришел, а вот ко мне ты пришла», Я ему говорю, что постараюсь тебе заменить отца и мать, друга и сестру, всех, и все, что зависит от меня, я всегда для тебя сделаю. И я свое обещание выполняю…» Я еще думала тогда, что встретимся, долго была надежда. Погиб он…

«11 октября. Федя просил меня достать перчатки и рукавички. И вот я решила достать, через фабрику. Мне помогли в фабкоме, выдали не только рукавички кожаные, стрелковые, хорошие, но и теплое белье, и я поеду к нему в воскресенье еще раз, свезу. Спасибо, они позаботились, помогли мне все достать для Феди.

Сегодня собирали деньги для подарков бойцам. Все давали по пять — десять рублей, а я уже не считала, дала тридцать. Ведь это же наши бойцы, они нас защищают.

14 октября. Недавно сбавили норму хлеба до 500 граммов, а вскоре опять сбавили до 400 граммов.

16-е. Сегодня опять ездила к Феде в Шушары. На этот раз пришлось потруднее. Ездила одна — Наташа больше не захотела. Я решила добраться, как бы трудно ни пришлось».

И добралась. Сколько написано книг, сколько примеров подвига женской любви, и все равно вновь поражаешься, слушая это скупое, неумелое описание походов из города на фронт, в

окопы. Пока голод не навалился. Потом уже сил не было.

«— Из тех ребят, что ушли у нас добровольцами, почти никто не вернулся. Девочки некоторые вернулись. Их как-то отправили сразу дальше за Ленинград. Они вернулись, несколько человек, двое или трое. И я до сих пор еще подруг встречаю.

— А Федя, он с вашего завода?

— С нашей фабрики, где мы тогда работали… «17 января 1942 года. Тяжелое время! Уже семь месяцев как продолжается война с Германией. Все, что мы пережили за это время, очень трудно описать. Но эти трудности еще не кончились, а только сейчас самый тяжелый период этого времени. Опишу некоторые факты. 15 января. В этот день мы хоронили свою бабушку, и то, что я увидела в этот день… Я никогда не могла подумать, что может такое случиться. Хоронить пришлось без гроба, потому что гробов нигде не купишь, а сами сделать не в силах, а кого-либо просить это сделать можно только за хлеб. Но где же его взять, когда мы сами получаем 350 граммов в день и, кроме хлеба, больше…» (Плачет.) Что это такое!.. Даже не думала, что буду плакать… Ну, ничего… «Ну где же его взять, когда мы сами получаем 350 граммов в день и, кроме хлеба, больше ничего. Уже 18 дней как мы живем на одном хлебе. Голод продолжается уже четвертый месяц. Мы съели все, что у нас было, общей коммуной, и все было хорошо. А теперь, когда у нас уже ничего не осталось…»

— Вы продолжали жить вместе?

— Да. А вот сейчас будет распад. Когда у нас ничего не стало, начнется распад, все будут уже уходить. Мы с мамой останемся вдвоем. Правда, она потом на оборонные работы уйдет, а я на казарменное перейду. Но самое-то трудное время я работала на фабрике и жили мы все-таки дома.

— Вам тогда было двадцать, а маме?

— А маме было пятьдесят. Она тысяча восемьсот девяностого года… «Не давали ничего продуктов. Еще в том месяце кое-какие продукты давали, но зато хлеба давали только 250 граммов…» Это еще, значит, в декабре было двести пятьдесят граммов. Это в блокаду была самая маленькая норма рабочим, а потом — триста пятьдесят. Но у нас были рабочие карточки, мы работали… «А продукты такие, что в тот голод, в восемнадцатом году, даже, наверно, совсем…» Не разбираю, что написано… «Хлеб очень плохой, с примесями разными… Но сейчас даже и этого не дают… Везли мы бабушку на кладбище на санях по очереди: я, мама, Таня, Шура. Сами едва ноги волочили. От такого питания не знаю, как мы все еще живем… А друг за другом — беспрерывная цепь с покойниками, большинство без гробов. Но этого мало. Хорошо, если везут свои родственники, а то того хуже — провезут целый грузовик нагруженный, раздетые, разутые, кто как и кто в чем…» Собирали людей на улице. Идет человек, падает, умирает — и его в машину. И вот там, на кладбище, такие большущие братские могилы были… «Шесть грузовиков и три повозки на лошадях — это при нас привезли, — полные покойников. — Смотреть жутко! А сколько уже перевозили и не успели зарыть! Рабочие, которые присланы сюда с фабрик и заводов (потому что заводы не все работают), не успевают вырывать ямы, хоронить. Хоронят теперь всех в общую могилу, без гробов, друг на друга… Вот еще месяц назад, т. е. 19 декабря, когда мы хоронили Коленьку…» Сестренки Шуры маленький сынишка, мой племянничек… «…то могилы были уже за пределами кладбища, на новых участках. А теперь еще дальше общие могилы».

— Это какое кладбище?

— Охтинское, Большая Охта. Оно и до сих пор существует. Там большие братские могилы. Вот туда мы везли бабушку. А Коленьку мы хоронили еще на нашем месте, где у нас папа похоронен, на Георгиевском кладбище — так оно называлось… «22 января 1942 года. Свету нет, воды нет, движения нет. Трамваи не ходят. Автомашины проходят очень редко. Зато очень

много пешеходов с санями, гробами, с мертвецами. Это единственное движение по городу. Магазины все закрыты, только булочные да некоторые продуктовые магазины, и те пустые и темные. Люди все опухшие, страшные, черные, грязные, тощие. Прошло семь месяцев. Кажется, что прошло семь лет. Все постарели. Молодые стали такие страшные, старые, что просто жутко смотреть. Очень много домов разрушено. Кто вернется сюда, то навряд ли узнает город сразу. Но все это не так страшно, как голод. Мы меньше всего ожидали, и это получилось… Только бы все это пережить! Тогда уже будем ценить каждый кусочек хлеба — не так, как раньше, даже не хотели смотреть на него… А теперь вся жизнь зависит от этого хлеба и воды. Вот как сегодня: воды нигде не было, вот и хлеб не выпекали. Разбило водонапорную башню, и не было воды на хлебозаводе, была задержка, и в очереди пришлось стоять за ним по 4 часа на таком морозе!..

15 февраля 1942 года. Самое большое несчастье — у мамы украли хлебные карточки. Ведь это же смерть. До 1-го еще далеко. Без хлеба жить невозможно. Что делать? Когда я пришла с работы и мне мама об этом сказала, я прямо не знала, что делать. Сгоряча я ее поругала, потом разревелась. Но ведь этим не поможешь.

Пошли на рынок. Купили 500 граммов, заплатили 150 рублей. Спасибо, что продали. Но ведь каждый день невозможно покупать на рынке, никаких же денег не хватит. Хорошо, если будут давать кое-какие продукты, а если нет, то очень тяжело пережить это время. Я приложу все силы, потрачу все деньги свои и Федины, но только бы выжить. А живы будем, все потом наживем. Только бы пережить! Очень тяжело, но что же делать? На маму сердиться не могу. Наверно, судьба наша такая».

В комнате за столом, кроме нас троих, — светящаяся тихой старостью щупленькая мама Елены Николаевны. Запомнилась: как дерево, что по-осеннему светит кроной, сияет. Молча, внимательно слушает, как ребенок страшную сказку, у которой, уже знает, конец все-таки благополучный…

У КАЖДОГО БЫЛ СВОЙ СПАСИТЕЛЬ

Мы записали множество рассказов, из которых видно, как люди выжили, хотя по всем объективным данным должны были умереть. Одна из женщин, Александра Михайловна Арсеньева, это чудо сформулировала так: «У каждого был свой спаситель». И действительно так. Не в том только смысле, что многие выжили лишь потому, что в самый трудный момент кто-то кого-то поднял на улице, вернул утерянную карточку, поделился последним. Была и более сложная зависимость.

Люди остались в живых потому, что их держало на ногах чувство любви, долга, преданности — ребенку, дорогому человеку, родному городу…

Как говорит Ершова Зоя Александровна (ул. Мартыновская, д. 19):

«— Спасла нас всех (ну, всех ли, я не знаю) надежда, любовь. Ну я любила мужа, муж любил семью, дочку. Он близко служил, воевал. И вот когда мы садимся что-нибудь есть, карточка его около нас стоит, и мы ждем, что должен вернуться. И вот только ради любви, ради надежды этой мы все могли выжить. Очень было тяжело. Вот сейчас не представляю себе — ну как мы выжили».

Спасались, спасая. И если даже умерли, то на своем последнем пути кого-то подняли. А выжили — так потому, что кому-то нужны были больше даже, нежели самому себе. Вот и А. М. Арсеньева помнит, что нынешней своей жизнью она обязана людям, которые спасали ее. И не раз.

«Кто меня спас? Вот недавно я нашла своего, можно сказать, спасителя. Она меня устроила в комсомольский полк. Нашла я ее совершенно случайно: она приехала на встречу школьных друзей из Алтайского края.

А первый мой спаситель? Я даже не помню его фамилии, но знаю (мы работали с ним вместе), что он был шофер. Кого он возил, уже теперь не помню, знаю, что его звали Саша. Очень симпатичный парень был. И вот как-то он приехал к одной женщине и решил забрать своего племянника. Привез он ей спирту немножечко, чуть-чуть гречневой крупы и, конечно, чурки — отапливаться. Вот они сидят за столом, какой-то сыр, как мыло, едят. А я лежу. Саша смотрит: «Кто это у тебя?» — «Да вот женщину нашли без сознания. Была бомбежка. Не знаю, кто она такая». А я-то его узнала, я так слабо-слабо говорю: «Саша!» Он так посмотрел, подошел ко мне и говорит: «Александра Михайловна! Это вы?» Я говорю: «Я, Саша».

И вот он пошел на работу (а я там была списана как пропавшая без вести), пошел, сказал, где я. Ко мне пришли, потом уже на саночках доставили домой; больничный дали. А я уже умирала! Ну, девочки у нас были хорошие. Они с меня снимали платье (у меня платье с Невского, 12[19] — золотистое, шелковое). Вот это платье выстирают (я лежу голая) — наденут, выстирают — наденут. Каждый, кто приходил, все почему-то платье стирали. Я лежала в чистом, у меня не было вшей. На работе я осталась главным бухгалтером. Ну какой я главный бухгалтер, если я думала только о хлебе? И дочку я взяла с собой на работу…»

Сколько их, подобных случаев! Каждый отдельно может показаться нечаянным, но когда слышишь о них подряд, начинаешь понимать, что за этим стоит.

«Идем мы с Ларисой (дочь моей подруги Лены) через Баварский мост, что у «Красной Баварии», подходит моряк и говорит: «На, девочка, держи от дяди Вани!» — и дал килограммовую банку американской тушенки. Мы бегом домой, и все четверо ели не разогревая», — вспоминает Вера Ивановна Павлова (Тосно, ул. Боярова, д. 52).

Такие случаи запоминаются во всех подробностях. На всю жизнь врезалось: и Баварский

мост, и облик этого безвестного моряка, и как они ели эту тушенку, которая, может, спасла их, и Ларису и Колю, взрослых ныне людей, у которых уже свои дети. И когда В. И. Павлова навещает свою подругу Лену, которая уже нянчит детей Ларисы, — они вспоминают того моряка на Баварском мосту, и он уже существует и для внуков, которые его никогда не видели.

«В конце ноября мы потеряли хлебные карточки, — пишет нам Зинаида Владимировна Островская, — запасов у нас никаких не было, потеря эта для нас могла оказаться роковой. В соседней квартире жила семья Иваненко. Кроме четверых взрослых там еще застряла семья невестки из Луги с тремя детьми. Младшая дочь хозяйки, Ирина, была замужем за капитан-лейтенантом, который погиб в первые дни войны…»

И вот выстраивается цепочка спасающих и спасенных: моряки, сами жившие на полуголодном пайке, время от времени приносят семье погибшего товарища какие-то продукты («тогда ведь все исчислялось на граммы»), и что-то перепадает, в критический для них момент, и соседям… («Валентина Ильинична Иваненко… принесла нам стакан риса. Сейчас невозможно представить, что это тогда значило. А ведь у нее самой было 8 голодных ртов. Мне это вовек не забыть. Из их семьи остались в живых только Ирина и невестка с детьми, эвакуировавшаяся в феврале».)

Незнакомый, безвестный, безымянный солдат спас Марию Ершову. Он пришел к ней на прием в поликлинику, стал жаловаться на расстройство желудка. Она спросила, что он ел. Он сказал — конину.

«Я всегда очень застенчивая была, а тут впервые попросила, не сможет ли он достать мне конины. Он говорит: «Доктор, что вы? Неужели вы будете есть конину?» Спросил адрес и принес мне большой кусок конины. Ну, я взяла, потом поделилась с соседками».

Она рассказала это с удивлением. Столько лет прошло — и до сих пор удивительно и, может, стало еще удивительнее. Потом задумалась и вспомнила, что ведь был еще человек, который ее спас без всяких даров, делясь совсем другим.

«Я уже получала рабочую карточку. И все равно я продала все, что могла, на рынке. Зарплата у меня была приличная по тому времени, я все-таки врач. И я ведь все только для себя. Детей-то увезли. И все равно я умирала. Меня тогда спасла соседка. Ее сейчас уже нет в живых. Но я встречаюсь с ее дочерью Аллой. Один раз я просто не пошла на работу — не могла. Наконец моя соседка обнаружила, что я дома лежу, встать не могу. Есть нечего. Совершенно не отапливаюсь. Она забрала меня к себе. Мы жили в одной квартире. Полина немножко крепче была. Ломала, таскала какие-то дровишки, топила. Ее дочери было лет шесть, наверное. Полина согреет нас, чай нагреет.

Я заболела в этот период воспалением легких. Так она пойдет на базар, поменяет там черный хлеб на кусочек чего-нибудь сладкого. Однажды дочь оставила ей вот такой кусочек хлеба — не съела сама. Мамочку она любила. И вот моя соседка Полина Георгиевна этот кусочек долго не ела, хранила. Потом все-таки съела».

Никто не мог оставить на память даже кусочек того ленинградского хлеба. Каким бы дорогим, святым он ни был.'Все же мы допытываемся:

— Почему соседка взяла вас к себе? Что ее заставило? Ершова думает. Сперва она отвечает:

— Мы в одной квартире жили.

Потом говорит:

— Мы дружили.

Потом она находит какую-то во всем этом более важную, насущную мысль:

— Мы до сих пор дружим. Сейчас мои внучки дружат с ее внуками, ездят к ним в гости, они сюда приезжают.

Мысль ее как бы восходит к достойности этой дружбы, к знатности ее происхождения. Блокадные испытания как бы украсили «генеалогические древа» обеих семей; порядочность, благородство во время блокады стали семейной гордостью. Так, по крайней мере, наблюдалось во многих семьях потомственных ленинградцев.

В трудовых коллективах, устойчивых, коренных, таких, допустим, как Кировский завод, Публичная библиотека, Металлический завод, милиция — там тоже репутация блокадных лет является как бы гарантией порядочности.

Историк Татьяна Николаевна Токарева помнит, знает счастливые моменты своего блокадного жития-бытия, и связаны они все с тем же — с человеческой взаимовыручкой, добротой и добром, сделанными тебе, сделанными тобой…

«— А у нас печурки не было. Была квартира, но не было печурки, а была большая печка, в которой мы жгли классические энциклопедии и так далее. Они не хотели гореть, но в общем ничего, жгли. И вот мы идем с хлебом. Короче говоря, мы с мамой его получили, и навстречу идет печник и несет печку. Мы его спросили — что да как. Он говорит: «Эту я уже продал, хотите, пойдем ко мне». И мы пошли. Это было на Белевском поле. Пришли, приходим в его квартиру. У него восемь человек детей.

Причем у него еще там племянница и половина детей уже лежащих, собственно говоря, с голодухи, не встающих и очень слабых. Сам он еще ходит, жена — тоже. Да, вот он дает нам эту печурку. А у нас положение такое, когда нам идти домой, собственно говоря, незачем, там отец лежит, он лежит мертвый, и мы не сумели его похоронить, ничего не смогли сделать… А печник говорит: «А знаете что? А у нас тепло, оставайтесь у нас. Есть и у вас нечего и у нас нечего, но у нас зато тепло».

И мы остаемся. Мы с матерью остаемся. Он нам стелет на полу, тут же и его дети, восемь человек. Хозяйка приносит откуда-то из разваленного рядом дома дрова, и вот печурка все время горит. Все лежат почти вповалку.

Что можно было обсуждать, как не вкусные рецепты? И разговор идет очень долго — всю ночь. И мы остаемся у него три дня…

И вот мы остаемся. И тогда решаем пойти посмотреть почту, пойти домой…

— …А от кого вы ждали почту?

— А у меня муж был на фронте… посмотреть газеты и так далее. Мы приходим — газет нет. Причем тут выясняется, соседи напротив говорят: «Да вот приходил какой-то военный, забрал газеты. Но мы ему сказали, что вы умерли, потому что вас три дня не было (а это уж обычно было: если три дня не было человека, значит, уж он погиб). Но все-таки он сказал, что он еще зайдет». Короче говоря, это, оказывается, был мой муж. Он снова пришел. Приехал с фронта и без всяких, конечно, извещений, с мешком за спиной, со сгущенным молоком, пшеном и так далее. Первое, что мы решаем, — это пойти к этому печнику. И тут, естественно, все очень экспромтно. Значит, мы забираем туда еду…

И там у него остаемся до вечера. Ну… такая немножко сентиментальная история. Печник очень доволен. Он умный был, интересный дядька. Я бы сказала, категория людей, которые недавно из деревни вышли, они откуда-то из деревни приехали. Это такие большие семьи… Вот у него восемь человек. Ну, и проходит много времени. А мама моя преподавала в школе. После блокады мы возвращаемся в Ленинград, — это, наверно, сорок шестой год, — и мама, естественно, поступает обратно в свою школу (в Володарском районе). Вдруг какой-то парень подходит и говорит, что вот… в общем начинает говорить, что «я очень рад вас увидеть», что «папа много говорил о вас». Ну в общем выясняется история семьи печника: отец умер и умерло

четверо детей его. Осталось четверо мальчиков, часть их осталась.

Это было очень трогательно, что в их семье память о нас и вообще обо всей этой истории, — что мы пришли, мы остались, мы с ними разговаривали, они приняли как бы нас в свою семью, а мы были такие несчастные, в общем ужасные, конечно, — и как-то все это было очень трогательно. Мне не хочется это детализировать…»

Открывали других, открывали и себя — с лучшей стороны. Блокадная жизнь, конечно, обнажила и самые затаенные, скрытые пороки человеческие, которые в обычной мирной жизни часто маскировались красивыми речами, заверениями, умением понравиться, быть душою общества и тому подобными способностями. Но происходило и обратное. За молчаливостью, угрюмостью, резкостью, неучтивостью вдруг открывалась такая готовность помочь, такая сила нежности, любви, сочувствия!..

Сотрудница Эрмитажа Ольга Эрнестовна Михайлова говорит:

«— Блокада нас настолько крепко связала, что разъять эту связь мы не можем до сих пор. Блокада раскрывала людей до конца, люди становились как бы голенькими. Ты сразу видел все положительное и отрицательное в человеке. Доброе начало, хорошие стороны расцветали таким пышным цветом! Могу рассказать вам об Анне Павловне Султан-Шах, которая работает в отделе Востока. Она и сейчас еще работает. Она пятьдесят с лишним лет работает в Эрмитаже. Это человек, который сделал для Эрмитажа колоссально много. И вот она в блокаду взяла на себя заботу о пожилом поколении Эрмитажа.

— А ей сколько было лет?

— Она была средних лет. (Сейчас ей восемьдесят с чем-то.) Вот как она за ними ходила, как старалась их сохранить (ну, это громко звучит, но все-таки можно так сказать): дать горячий чай, навестить лишний раз, если не пришел на работу, — сходить выкупить хлеб, помочь там что-то сделать. А ведь сама была не в лучшем положении, чем все. Она не на каких-то особых была хлебах, она тоже работала, как и все. Удивительно, что и сейчас она осталась такой же, хотя внешне это человек даже немножко суровый, не сразу скажешь, что она такая добрая. А если человек имел какие-то плохие задатки, он и оставался плохим, может быть, даже становился хуже. Жадный безусловно мог стараться выжить за счет другого. А тот, кто не был эгоистом, тот все-таки так не делал, он последним делился».

Уже знакомая вам Таисия Васильевна Мещанкина горячо убеждала нас (сама она убеждена в этом), что голубые глазки у девочки, которая со двора всегда так бросается ей навстречу (соседки дочка), — оттуда, из блокадного времени. Эти глазки были у девочки, которую она подобрала на снегу…

«— …Идет женщина, шагов тридцать впереди, а сзади ее идет девочка. Эта девочка уже падает и отстает. А девочка лет пяти. Я иду этой стороной, где завод «Прогресс». Дочка у меня в детском саду. А эта девочка поскользнется, потом встает и опять карабкается по этой каменной стенке. А эта бабушка (бабушка, может быть, такая же, как я) оглянется на нее и опять идет. Почему она ребенка не берет? Я не могла стерпеть. Я перешла дорогу (дом 13 напротив детского сада) и беру эту девочку. А она вот так смотрит на меня. У нее были какие-то особые красивые глаза. Эта девочка в серой шубке, в серой шапке меховой. Это в самый сильный мороз. Не знаю, откуда у меня взялись силы? Я этого ребенка беру на руки и несу в этот детский сад, где была моя девочка.

Нина Николаевна мне говорит:

«Куда вы несете?»

«Нина Николаевна! Я не могла пройти так мимо».

Только я ее внесла, как она говорит:

«Я кушать хочу!»

А там пахнет супом, хлебом. Я говорю:

«Няна Николаевна! Я иначе не могла, простите! Отнимите от моего ребенка паек, возьмите эту девочку».

Я не знаю, почему я не могла, я больше ничего не сделала, только вот это».

Однако вернемся от знакомого к тому, другому, незнакомому человеку, к встречному.

Кто он был, этот человек, который помог работнице Лидии Георгиевне Охапкиной тащить санки с вещами, а главное — с посылкой, где были продукты, присланные мужем с фронта?

История Лидии Георгиевны Охапкиной — это особый рассказ, жаль нарушать его цельность, но очень уж подходящий пример.

Наступал вечер. Целый день она ходила, таща за собою эти санки, оформляла предстоящий отъезд, спасительную эвакуацию, и вот теперь надо было возвращаться домой, с улицы Чайковского на Васильевский остров.

«Чемодан и посылку мне было везти очень тяжело, и я выбивалась из сил. На улицах Ленинграда, как только стемнеет, совершенно народу не было. Улицы были пустынные, тихие, была пурга, из-за нее идти еще труднее. На дорогах и панелях лежал снег. Его в ту зиму никто не убирал. Ноги мои тонули в снегу, и я их еле передвигала. Часто останавливалась, тяжело дышала. Вся взмокла, чувствовала, что по лицу и спине бежит пот. Стала считать шаги. Раз, два, три, так до десяти, потом останавливаюсь, передохну. Опять раз, два, три, снова останавливаюсь. Я себя сравнивала с усталой лошадью, которую бьют кнутом, а она не может сдвинуться с места. Один раз я остановилась, чтобы передохнуть, а двинуться потом совсем не могла. Навалилась на свою поклажу и с ужасом думала, что же мне делать. Времени час ночи. На дороге ни души. Я шла по набережной Невы, подальше от домов: боялась, что кто-нибудь от домов, из-под ворот может меня убить и отнять посылку. А бедные мои дети долго будут плакать и, не дождавшись меня, умрут. От этих мыслей у меня разрывалось сердце. Они уже с восьми утра не кормлены, находятся сейчас в холодной, нетопленой комнате, в темноте. А я здесь, на улице, и никак не могу до них доехать. Что делать? Что? Постучаться к кому-нибудь, попросить помощи? Оглянулась кругом — темно. Да кто ночью пойдет? Скорей прихлопнут меня и все заберут. Нет, надо как-то двигаться самой. Чуть тронула санки. Опять считаю: раз, два… Вдруг откуда-то взялась женщина, подошла ко мне и говорит: «Давайте помогу». Я обрадовалась. Она взялась за веревку и повезла, а мне велела толкать сзади. Я за ней не успевала. Она повезла одна. Я забеспокоилась, что она увезет. Стала ей кричать: «Остановитесь, подождите!» — но она продолжала везти не оглядываясь. Я хотела за ней бежать, но сразу же упала. Лежу и думаю: ну вот, теперь она увезет, а я здесь замерзну. Смотрю — ее уже нет. Я встала, потихоньку пошла, гляжу — мои санки стоят и на них все лежит как лежало. Я обрадовалась, думаю — спасибо ей, спасибо! Взялась и повезла опять сама. Доехала до Литейного моста, хотела через него проехать. Задыхаюсь, дышу тяжело, вся взмокла, с бьющимся сердцем. Но мосты охранялись. Стояли двое военных с винтовками и меня не пропустили. Как я их просила, как умоляла, плакала! Они одно твердили: «Нельзя!» Они советовали куда-то в обход. Но я уже не могла, у меня совершенно не было сил. Вот здесь, у санок, я замерзну. Значит, второй раз у меня срывается отъезд. Тогда потерялся сынишка, а сейчас я не могу. Обессиленная и одинокая, на всей улице ни души, я полулежала на санках по эту сторону Невы, а дети по другую. Живы ли они? Может быть, уже умерли, кричавши меня, голодные, в холодной темной комнате? От этой мысли я как ужаленная вскочила. Надо с санками проехать по тропинке по Неве, но ее замело, и я не могу найти ее точно. Оставила

санки на набережной, спустилась, попробовала немного пройти, но сразу почти до коленей утонула в снегу. Поднялась наверх. Вдруг вижу — едет грузовая машина. Я стала кричать: «Помогите! Помогите!» Машина остановилась. Спросили меня, в чем дело. Я объяснила. Машина была военная. Один солдат перебросил мои санки, помог мне забраться, и мы поехали. Ехали недолго. Главное — перевезли меня по другому мосту. Им надо было в другую сторону. Они торопились по делам. По их озабоченным лицам я поняла, что им не до меня. Но все же я им очень благодарна. Потом уже еле-еле я добралась сама, доехала наконец до дома. Время было уже три часа ночи».

В сущности, через всю историю Лидии Георгиевны Охапкиной проходит цепь подобных вызволений, выручек, цепь, которая вытягивала ее, возвращала к жизни.

У каждого был свой спаситель. Они появлялись из тьмы промерзших улиц, они входили в квартиры, они вытаскивали из-под обломков. Они не могли накормить, они сами голодали, но они говорили какие-то слова, они поднимали, подставляли плечо, протягивали руку. Они появлялись в ту самую последнюю, крайнюю минуту, когда человек, прислонясь к стене, сползал вниз, когда, присев на ступеньку подъезда, он уже не находил сил подняться. Это была особая, пограничная минута между жизнью и смертью, последнего одинокого дыхания в груди, как писал Твардовский, это было то неисходное томленье,

что звало принять покой.

И тут могло помочь лишь что-то со стороны, только извне еще можно было вернуть человека, удержать. Нужен был кто-то, кто бы капельку помог, поскольку «все, что мог, ты лично одолел, да вышел весь». И кто-то подходил, отдавая свои силы, и силы эти часто помогали отползти от той тьмы кромешной.

«— Я вот что вспоминаю, — сказал Нил Николаевич Беляев. — Я был на бюллетене некоторое время — январь и февраль сорок второго года. Сходил днем в поликлинику. Получил «добро» на то, что можно идти на работу. Ну, лечить меня, конечно, ничем не лечили, а просто немножко за эти дни пришел в себя. Дело в том, что у меня было не только простудное заболевание. Меня тогда почечные дела очень мучили. Я получил на оборонных работах, на окопах, сначала воспаление почек, а потом привязалась почечно-каменная болезнь, и меня стали преследовать почечные колики. А эта вещь — если вы не знали, так лучше вам и не знать. Это страшное дело. Вот в январе меня впервые посетило это явление, и я был на бюллетене. После того как я немножечко оправился, я решил сразу же после поликлиники, в этот же день, пойти на работу, проверить, как и что, потому что я знал, что на работе в это время почти никого не было. Мы работали в это время с моим товарищем — хороший такой товарищ, пожилой уже человек, Дмитрий Иванович Воробьев. И мне хотелось навестить его, узнать, как идут дела, потому что одному человеку там трудно было.

— А где вы работали?

— В Радиокомитете. Это здесь, на теперешней Малой Садовой. Тогда называлась улица Пролеткульта. Было это часа в четыре или три пополудни. Это февраль, двадцать восьмого февраля сорок второго года… Не доходя до Московского вокзала, я почувствовал, что не дойду. Под вечер такой мороз закрутил, что я думаю: свалюсь, замерзну. Я решил вернуться. Повернул назад, миновал Суворовский проспект и был уже недалеко до дома — я жил на Невском, в доме сто пять. А это случилось около дома сто один. Я привалился к стене передохнуть. Привалился я с таким расчетом, чтобы не упасть. Там стояли такие откосы, наполненные песком и землей,

защищающие прежние витрины магазинов. Я думал: тут я постою, немножечко приду в себя, направо или налево я не упаду, потому что меня задержат эти стенки. Но потом чувствую — напрасно я остановился. Лучше бы мне было собрать силы и как-нибудь доползти. Потому что стоило только остановиться и дать ногам покой, как хвать! — они дальше-то, и не идут! Я тут, значит, стою в горестном раздумье. Как быть? И самым обидным мне казалось, что через один дом — мой! Я у сто первого; значит, сто третий — и я буду у сто пятого. Но, к сожалению, Невский безлюден, едва-едва ползают дистрофические люди. Но, на мое счастье, подошла какая-то женщина. Довольно молодая еще, очевидно, в лучшей силе, нежели я. Спросила: «Вы что, гражданин?» Я говорю: «Что? Стою и двигаться дальше не могу. А дом рядом».

И вот это обстоятельство, что я сказал «дом рядом», повлияло положительным образом. Если бы я где-то далеко жил, она, конечно, со мной не стала бы связываться. А так как это было через дом, она сказала: «Ну, я сейчас попытаюсь вас довести. У вас там есть кто-нибудь?» Я говорю: «Дома мать должна быть». (Мать еще была жива в это время.) И она взяла меня под руку. Я обхватил ее за плечо. Постепенно-постепенно, значит, добрели до дома. Подняла она меня, так сказать, по лестнице до третьей площадки. Позвонила. За дергалку, конечно, не в электрический. Электричества в это время не было. Сдала прямо из рук в руки матери. Мать сначала перепугалась: что же это такое? Думала, что я совсем плох. Но уж когда зашел в квартиру, она видит, что я в таком состоянии, в каком был все эти месяцы. (Она была в несколько лучшем состоянии, чем я в то время.) И обрадовалась. Поблагодарила эту женщину. Двери закрылись. Когда мы немножко одумались, у нас возникла мысль: как же так, я не спросил, кто эта женщина, откуда? Здешняя ли она? Приезжая ли откуда-нибудь или постоянная ленинградка? Потому что мне хотелось потом ее повидать и как-то отблагодарить буквально за спасение жизни. Но тогда, откровенно говоря, не очень большая надежда была на это. Поэтому я перестал об этом тужить. Думаю, наверняка мне не выжить, а может быть, и она в таком же положении, как я, все равно ее не увидишь».

Что может быть проще, естественней, чем помочь подняться человеку, довести его до дома? Если это не делают сегодня, то только в случае какого-то позорного равнодушия, черствости, подлого эгоизма. Никто ныне не может вообразить, что человек пройдет мимо просто от бессилия, что у кого-то не найдется сил протянуть руку, нагнуться. И в голову не придет вообразить, что человек хочет помочь — и не в состоянии. Представить, как это было трудно, можно лучше всего из рассказов не тех, кто помог, а кто не смог помочь. Именно они открыли нам всю непосильность этого, казалось бы, такого простейшего порыва.

Бывшая трамвайщица Варвара Васильевна Семенова:

«— Как-то я шла с Петроградской стороны. И упал дядька. Знаете, такой, видно, был солидный, высокий мужчина. И лежит. Он кричать не может, только вот так руками показывает. Подошла. Ну а что? Я одна ничего не могу сделать. Пешеходы проходят, проходят. Все такие, знаете, страшные, что самих тоже кто бы поддержал. Потом как-то иду, а впереди женщина. И упала она. Худенькая такая! Эту я подняла кое-как. Она сама немного помогла, и я подняла ее. Она просит: «Доведи меня до той вот парадной». Я говорю: «Нет, милочка! Скажи спасибо, что я тебя подняла. Я сама, говорю, завалюсь, и меня никто не поднимет. Я подняла, давай-ка иди!» А скользко! Не то что не посыпали, но и лед-то не скалывали. Вот так.

— А куда вы шли-то?

— Я на Крестовской ходила. Ведь тогда все пешком. А я ходила почему? Потому что дров-то не было. А у меня брат был портной, и у него стол был длинный такой, как бы верстак. Доски толстые такие. Я доски помаленечку оттуда таскала. И внук пойдет и откуда-то палочки

притащит. И вот «буржуйку» топили и на ней сушили сухарики. Каждый свое место занимал. Уйдет один, второй садится. Обязательно сушили сухари.

— Зачем сушили?

— Сушили потому, что думали, что так-то спорее. Кладем сухари и наливаем кипятку горячего, соль, немножко перцу и пьем эту воду. Потом еще одну плошку воды выпьешь и уже потом берешь сухари размокшие как на второе. И это настолько въелось, что и после блокады так ели — сначала жидкое из тарелки, а потом густое».

Было и бесчувствие, была черствость, воровали карточки, вырывали кусок хлеба, обирали умирающих («Умирать-то умирай, только карточки отдай!»), всякое было, но удивительно не это, удивительно, как много было спасений, подобных беляевскому! Таких рассказов мы услышали множество. Сколько их было — безвестных прохожих! Они исчезали, вернув человеку жизнь; оттащив от смертельного края, исчезали бесследно, даже облик их не успевал отпечататься в мерклом сознании.

Казалось, что им, безвестным прохожим, — у них не было никаких обязательств, ни родственных чувств, они не ждали ни славы, ни оплаты. Сострадание? Но кругом была смерть, и мимо трупов шли равнодушно, удивляясь своей очерствелости. Большинство говорит про себя: смерть самых близких, дорогих людей не доходила до сердца, срабатывала какая-то защитная система в организме, ничто не воспринималось, не было сил отозваться на горе. И все же отзывались. Обострилось другое чувство — гражданское, а кроме того, город-фронт рождал солдатское чувство взаимовыручки. Каждый в какой-то степени чувствовал себя фронтовиком, и помогал он не просто упавшему прохожему, а своему однополчанину. Армия сражалась рядом, где-то у трамвайного кольца, и законы воинской чести становились общими законами города.

«…В каждой квартире покойники лежали. И мы ничего не боялись. Раньше разве вы пойдете? Ведь неприятно, когда покойники… Вот у нас семья вымерла, так они и лежали. И когда уж убрали в сарай!» (М. Я. Бабич)

«У дистрофиков нет страха. У Академии художеств на спуске к Неве сбрасывали трупы. Я спокойно перелезала через эту гору трупов… Казалось бы, чем слабее, человек, тем ему страшнее, ан нет, страх исчез. Что было бы со мною, если бы это в мирное время, — умерла бы, от ужаса. И сейчас ведь: нет света на лестнице — боюсь. Как только люди поели — страх появился» (Нина Ильинична Лакша).

Весь сохранившийся запас душевного участия отдавали живым.

Какое-то особое властное чувство заставляло людей подавать руку тем, кто сползал в небытие. Довести до дому — по тем временам это был подвиг. Зачастую это, было единственное, что мог сделать человек человеку. На это самопожертвование часто уходили последние силы. Такая простая вещь, самая вроде элементарная, была, может, одним из высоких проявлений человечности. Для чего это делалось? Для себя, для своей души, для того, чтобы чувствовать себя человеком. Для того, чтобы выстоять, не поддаться врагу.

Безвестный Прохожий — пример массового альтруизма блокады. Он обнажался в крайние дни, в крайних обстоятельствах, но тем доподлинней его природа.

Большинство спасителей осталось безвестными. Но некоторые обнаруживались. Черты их проступали слабо и случайно в рассказах, которые, в сущности, лишь называли, только обозначали судьбу, заслуживающую исследования, подробной истории.

Николай Иванович его сперва назвали. Кажется, Лебедев. Наверное, Лебедев. Детская память ненадежная. Ирине Киреевой (ныне работнику Эрмитажа) было тогда четырнадцать лет. Она не представляет, сколько было там детей, в стационаре, который организовал Лебедев. Он

ходил и собирал по Дзержинскому району истощенных ребятишек, бесконечно хлопотал, добывал для них какие-то маленькие дополнительные пайки.

«— Мы спаслись, потому что с двоюродной сестрой оказались в больнице у Николая Ивановича. Он заполнил абсолютно все теплые помещения, которые можно было отапливать. Помню, когда привозили детей, они часто уже есть не могли, так были истощены. Меня поразило и то, что в три с половиной года дети стали совершенно взрослыми… Это было страшно. Это декабрь, тут уж был голод.

В сентябре — октябре нас зажигалками забрасывали. Тогда мы, ребята, еще дежурили на крышах. К этому относились легко. Как-то все было любопытно… Теперь уже наступило другое. Помню, привезли ребят-близнецов… Вот родители прислали им маленькую передачу: три печеньица и три конфетки. Сонечка и Сереженька — так звали этих ребятишек. Мальчик себе и ей дал по печенью, потом печенье поделили пополам. Остаются крошки, он отдает крошки сестричке. А сестричка бросает ему такую фразу: «Сереженька, мужчинам тяжело переносить войну, эти крошки съешь ты». Им было по три года.

— Три года?!

— Они едва говорили, да, три года, такие крошки! Причем девочку потом забрали, а мальчик остался. Не знаю, выжили они или нет…»

О нем бы разузнать подробнее — кто он был, Николай Иванович Лебедев? [20] Как он все это делал? Собрать то, что еще не кануло в Лету: ведь это человек, который спас сотни детей.

Их встречалось немало в разных рассказах — работников роно, врачей, учителей, бойцов комсомольских отрядов, бытовых отрядов, тех подвижников, спасителей, кому обязаны жизнью ленинградцы. Многие из этих людей заслужили специального повествования, надо было разыскать материалы о них, но мы успевали лишь подхватить мелькавшие имена, оттащить хоть так от потока забвения…

Спасали людей по-разному.

Помогало порой самое что ни на есть скромное посильное участие. Мария Ананьевна Щелыванова перед войной усыновила мальчишку Валерия, о котором, впрочем, будет еще отдельный рассказ. Сама она работала в домоуправлении, никаких добавочных возможностей, как говорится, у нее не было. А имелась еще лишь обязанность донора, которую она возложила на себя, чтобы чем-то еще помогать фронту.

«— в общем, вот так. Я когда вернулась, Валерий, конечно, сразу ко мне пришел: «Тетя Муся! Я уж к вам». — «Ну, говорю, давай, ладно». Больше того. У моего мужа была племянница. Она была студенткой Технологического института. Она уже была на третьем курсе и вышла замуж. Муж был инженер, его послали в Барнаул, они прожили всего три месяца. И вот эта Нина была послана на окопы. У меня Валерик в комнате (а комната двенадцать метров, меньше этой), и вот теперь Нина. Она вообще-то жила в общежитии, где Лесное, но она туда даже не пошла, а пришла ко мне. Она из Новороссийска. У нее такое широкое лицо было, нерусское немножко, и толстые-претолстые черные косы. И вот эта Нина приходит — прямо дистрофик, ни щек, ничего нет, так она изменилась на этих окопах. Даже говорить не могла. Я говорю: «Нина, а карточки у тебя есть?» Она говорит: «Есть карточки». — «А хлеб ты выкупила?» — «Я, тетя Муся, за три дня вперед все съела». За три дня! А у меня только ежедневное, я не давала себе брать вперед. Я говорю: «Ну хорошо, Нина, раздевайся, будешь у меня жить».

Вот, значит, Валерий, а теперь Нина. А у меня какие запасы продуктов были? Сейчас я вам расскажу. Я запасов, как другие люди, не делала. У меня даже хранить их негде было. У меня и шкаф был такой комбинированный. Все время я легкомысленно жила — не было никогда никаких запасов. Но вот однажды, еще в первые дни, я иду, и лоточница продает рис в пакетах

по полкило. Никого не было. Я подхожу, говорю: «Можно полкило?» Она говорит: можно. Я беру полкило. Потом я приостановилась и думаю: может быть, она мне дала бы еще? Нет, думаю, я возьму лишнее, а другому не достанется. В общем, я решительно отправилась домой и забросила этот рис как НЗ за печку, высоко, далеко, чтобы не достать. Ну вот, эта Нина прямо, знаете, как ненормальная от голода, прямо не знаю что. Я говорю: «Нина, я тебя три дня буду кормить своим хлебом (я получала как донор карточку рабочую, но я еще делилась с Валерием), я выровняю твою карточку, и ты будешь как все».

— А донорам давали что-нибудь еще, кроме хлеба?

— Вы знаете, в это время ничего не давали. Нина пришла ко мне в октябре. Тогда — весь сорок первый год — ничего больше не давали, только карточку хлебную рабочую… Вот я ее так выровняла. Она все время такая странная ходила и говорила, чтобы собаку купить. Я говорю: «Чего это ты, Нина, собаку хочешь купить?!» — «А я хочу ее съесть». Вот она по рынкам и ходила.

Ну, соседки у нас были пожилые, они много курили и ее научили курить. Вот про этих соседок я тоже расскажу. Они были старые девы. Они хлеб меняли на курево. Они видели, что я и Валерию делю хлеб, и Нине. Вот они думали, что Мария Ананьевна как-то особенно умеет все это делать. Анастасия Алексеевна даже сказала: «Какая Мария Ананьевна предусмотрительная! Если бы мы знали, что донорам будут давать карточку рабочую, мы бы тоже пошли в доноры». И вот однажды они меня прямо обескуражили: у них было такое блюдо большое специально для хлеба; они положили вот такусенький кусочек хлеба свой «и несут вдвоем это блюдо с вот таким ножом и говорят: «Мария Ананьевна, вы так хорошо умеете хлеб делить. Мы все с Леной говорим, как вы умеете хлеб делить. Вот разделите нам этот хлеб». Я, конечно, не подаю виду, что никак особенно я не могу делить, говорю: «Давайте». Беру нож и режу: «Вот это вам на утро, это на обед, а это на вечер». — «Спасибо, Мария Ананьевна, большое спасибо!» И понесли это блюдо. Потом эти старушки перебрались к брату на Советскую и там умерли от голода. Это были наши соседки. Хорошие были у нас соседи. Мы дружно жили — пять комнат, двенадцать человек. Мы никогда друг другу даже резкого слова не сказали».

Опять: всего-то хлеб поделить, разрезать на три кусочка, по сути лишь знак, движение навстречу. И это поддерживало, выручало.

«— А ведь с Ниной, знаете, что случилось? Про рис я не рассказала? Она однажды у меня заболевает… Да, я не сказала, что у меня брат от голода умер, у жены. И я вот как его хоронила. Как это страшно! Может быть, вы мне потом позволите рассказать?

— Да, конечно. Сначала о Нине.

— Сначала про Нину? Хорошо. Нина ходила по рынкам, хотела что-то купить там, но я об этом не знала. Однажды она отравилась и стала умирать: волосы поднялись, потом ногти посинели. Она умирает! А я только похоронила брата. Отвезли его на это кладбище страшное, на Смоленское, где я видела столько покойников! Меня такой ужас обуял, что я ее тоже должна буду хоронить! У нее желудок расстроился, рвота поднялась. Я говорю: «Нина, что ты съела? Расскажи, в чем дело?» И вот она мне говорит: «Извините меня, тетя Муся, я пошла на рынок и купила там кусочек — вот такой — масла и там же его и проглотила, это масло». Оказалось, что это было мыло, только сверху помазано маслом. И она его проглотила. И вот она умирает! Тогда, конечно, «скорой помощи» не было. И тут я вспомнила про этот рис, полкило-то. Какие тут лекарства? Человек умирает, уже руки синие. Я беру этот рис, отвариваю его. Дала ей отвар горячий, и она его выпила, а потом и весь рис съела. И вот до сих пор… Сейчас покажу ее карточку!»

Те, кто спасал, те, кто за кого-то беспокоился, кому-то помогал, вызволял и кого-то тащил,

те, на ком лежала ответственность, кто из последних сил выполнял свой долг — работал, ухаживал за больными, за родными, — те, как ни странно, выживали чаще. Разумеется, правила тут нет. Умирали и они. И выживали всякие жулики. Кировский райком партии выдвинул в начале 1942 года Анну Александровну Кондратьеву заведовать райздравом. Секретарь райкома В. С. Ефремов просил прежде всего обратить внимание на детские ясли, на детей. Анна Александровна — потомственная путиловка. Все ее родные были связаны с Кировским заводом. В общей сложности, как она подсчитала, они проработали там более трехсот лет.

Она начала с яслей Кировского завода. Выяснилось, что кто-то разрешил «на базе яслей питаться ряду сотрудников». Получалось так, что дети умирали, а родственники сотрудников «питались». И в туберкулезном диспансере тоже открылись хищения…

Среди людей происходила как бы поляризация. Либо поступать по чести, по совести, несмотря ни на что, либо выжить во что бы то ни стало, любыми способами, за счет ближнего, родного, кого угодно. Подвергались тяжелейшему испытанию все человеческие чувства и качества — любовь, супружество, родственные связи, отцовство и материнство.

Особую историю рассказала нам Мария Васильевна Машкова. Ей было поручено в 1941 году эвакуировать детей сотрудников Публичной библиотеки, однако дорогу перерезали, и вскоре ей пришлось вернуться с детьми в Ленинград.

«…В числе детей, с которыми я уезжала, был мальчик нашей сотрудницы — Игорь, очаровательный мальчик, красавец. Мать его очень нежно, со страшной любовью опекала. Еще в первой эвакуации говорила: «Мария Васильевна, вы тоже давайте своим деткам козье молоко. Я Игорю беру козье молоко». А мои дети помещались даже в другом бараке, и я им старалась ничего не уделять, ни грамма сверх положенного. А потом этот Игорь потерял карточки. И вот уже в апреле месяце я иду как-то мимо Елисеевского магазина (тут уже стали на солнышко выползать дистрофики) и вижу — сидит мальчик, страшный, отечный скелетик. «Игорь? Что с тобой?» — говорю. «Мария Васильевна, мама меня выгнала. Мама мне сказала, что она мне больше ни куска хлеба не даст». — «Как же так? Не может этого быть!» Он был в тяжелом состоянии. Мы еле взобрались с ним на мой пятый этаж, я его еле втащила. Мои дети к этому времени уже ходили в детский сад и еще держались. Он был так страшен, так жалок! И все время говорил: «Я маму не осуждаю. Она поступает правильно. Это я виноват, это я потерял свою карточку». — «Я тебя, говорю, устрою в школу» (которая должна была открыться). А мой сын шепчет: «Мама, дай ему то, что я принес из детского сада». Я накормила его и пошла с ним на улицу Чехова. Входим. В комнате страшная грязь. Лежит эта дистрофировавшаяся, всклокоченная женщина. Увидев сына, она сразу закричала: «Игорь, я тебе не дам ни куска хлеба. Уходи вон!» В комнате смрад, грязь, темнота. Я говорю: «Что вы делаете?! Ведь осталось всего каких-нибудь три-четыре дня, — он пойдет в школу, поправится». — «Ничего! Вот вы стоите на ногах, а я не стою. Ничего ему не дам! Я лежу, я голодная…» Вот такое превращение из нежной матери в такого зверя! Но Игорь не ушел. Он остался у нее, а потом я узнала, что он умер.

Через несколько лет я встретила ее. Она была цветущей, уже здоровой. Она увидела меня, бросилась ко мне, закричала: «Что я наделала!» Я ей сказала: «Ну что же теперь говорить об этом!» — «Нет, я больше не могу Все мысли о нем». Через некоторое время она покончила с собой».

Распад человеческой личности кончался трагически.

Амплитуда страстей человеческих в блокаду возросла чрезвычайно — от падений самых тягостных до наивысших проявлений сознания, любви, преданности.

Сплошь и рядом, когда мы допытывались, как выжили, каким образом, каким способом, что помогало, то оказывалось — семья сплотилась, помогала друг другу, сумели создать в учреждении, на предприятии коллектив, кто-то требовал, заставлял подчиняться дисциплине, не позволял опускаться. Мать Марины Ткачевой заставляла детей всю блокаду чистить зубы. Не было зубного порошка — чистите древесным углем. Много значило для этой семьи то, что не был съеден кот. Спасли кота. Страшный он стал, весь обгорелый оттого, что терся боками о раскаленную «буржуйку». Но не съели. И это — по чисто детской, сохранившейся от тех лет гордости — первое, что сообщила в своем рассказе Марина Александровна Ткачева. И такое тоже поддерживало, поднимало самоуважение людей. Из самых разных историй и случаев убеждаешься, что для большинства ленинградцев существовали не способы выжить, а скорее способы жить.

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Мы убедились, что блокадная память способна удержать многое. И на многие годы. Нужны лишь готовность спросить у нее правду, выслушать правду. Всю правду. Хотя бы через тридцать пять, через сорок лет.

Но если память сохраняет выборочно, что-то ретуширует, от чего-то отказывается забыванием, то дневники безразличны ко времени. Годы ничего не могут поделать с ними. В дневниках важна личность автора, то, насколько он был бесстрашен.

В дневник учительницы Ползиковой-Рубец К. В. вписаны странички из дневника школьницы. Те, которые девочка по имени Валя ей показала: имелось в виду, что Валя прочтет их на школьном утреннике 30 апреля 1942 года. В дневнике Вали записаны события, совсем еще близкие по времени и всем, кто должен был ее слушать, знакомые по собственным переживаниям.

Но смотрите, сколько волнений в связи с этой идеей: прочесть, послушать то, что все они, и чтец и слушатели, знают, помнят и без дневника.

«Волнуюсь неимоверно, — записывает Ксения Владимировна. — Как пойдет это все дело? Дети страшно заинтересованы, но что скажет гороно? Мы любим все приукрашивать. Особенно волнует дневник Вали. Она пришла ко мне с ним и сказала: «Я прочту только то, что могу. Все я не могу прочесть». Я, конечно, не настаивала».

«Валя дает дневник непосредственно Лебедеву (работник Института истории партии. — А. А., Д. Г.). Мне она говорит: «Там очень, очень тяжелые вещи». Глаза полны слез, и они медленно стекают».

«3.V.1942 г. Даю урок в VIII классе, — продолжает учительница Ксения Владимировна Ползикова-Рубец. — Начинается обстрел, и ученики заметно нервничают. Это результат 1-го мая.[21] До этого ими все спокойно переносилось. И я ловлю себя на мысли, что возможность смерти стала реальнее.

Валя сует мне тетрадь. «Прочтите и решите, давать ли мне это?»

Тоненькая грязноватая тетрадь. На обложке полуистертый эпиграф. Его разобрать не могу.

Привожу те выписки, которые она мне помогла прочитать.

«9. X.41 г. Итак, начинаю описание протекающей жизни и событий. Возможно, завтра начнутся занятия в школе. Я с нетерпением жду этого желанного дня, когда приступим к занятиям.

Скучно!

Одно развлечение — ирландский сеттер. Сильва. Собираюсь в клуб Связи смотреть кино, но… напрасно, идти не могу, много там «народа» нежелательного мне пошиба.

15. X. За протекшее время я многое пережила.

Сильву решили убить — и как!

Александр Петрович решил покончить с ней так: сперва оглушить молотком, а потом зарезать, но получилось не то, что предполагали, а именно: Сильва сильно завизжала и во избежание сильного шума А. П. бить ее не стал.

Убить мы ее хотели, с одной стороны, ради мяса, а с другой — что кормить ее нечем. Когда ее убивали, я вся переволновалась. Сердце так сильно билось, будто желало выпрыгнуть из груди.

1 Мая немцы особенно яростно обстреливали город.

Потом мы уже придумали способ: решили убивать кошек и кормить ее их мясом.

А. П. одну убил, я содрала шкурку, выпотрошила ее и разрезала на куски. А другие кошки с

таким удовольствием разрывали мясо своего сородича, что было удивительно смотреть.

Я тоже решила попробовать вкус кошачьего мяса, поджарила с перцем и чесноком, а потом стала жевать… и что же, мясо оказалось довольно вкусным, что, пожалуй, не уступит и мясу говяжьему, а вкус — будто ешь курицу.

20. X. Я теперь отлично понимаю, что такое голод. Раньше я себе точно не представляла этого ощущения. Правда, меня немного тошнит, когда я ем мясо кошки, но т. к. я хочу есть, то и противное кажется вкусным. Да я ли одна так голодна? Кто же в этом виноват? Я никогда не была злой. Я всем старалась сделать что-нибудь хорошее. А теперь я ненавижу этих сволочей немцев за то, что они исковеркали нашу жизнь, изуродовали город. Город пустеет.

3 ноября 41 г. Сегодня мы пошли учиться. Как я рада! Обещали кормить обедом и давать 50 гр. хлеба в день без карточек. Учителя все новые…

Бедную мою Сильву хотят усыпить. Жалко.

8. X1.41 г. Вчера был праздник. 24-я годовщина Октября.

Немцы не бомбили, против ожидания.

Пока учусь. По геометрии получила хорошо. Учительница по русскому все время нас ободряет. Она говорит, что к Новому году война кончится. А правда ли? Сейчас очень тяжело.

А. П. очень злится, что нечего есть. А при чем тут я и мама. Где же мы возьмем? Одна надежда, придется засолить Сильву. Ее надолго хватит. А мне ее жалко.

Что делать?

12. XI. Обед в школе давать прекратили. Все по карточкам. Положение тяжелое. Хлеба, наверное, завтра убавят, получим по 150 гр. У мамы тоже почти ничего не достанешь. Учителя советуют подтянуть кушаки. Город в окружении. Засолили кошку. Сильва еще живет. Вероятно, скоро и ее засолим. От Алика совсем нет писем. Сейчас иду обедать к маме. Покормит или нет? Не знаю.

15. XI. Пока с учебой все благополучно. Имею две четверки и одну пятерку, а троек нет. С едой очень плохо. Сегодня не было во рту ни крошки до 3-х часов. А потом съела одну тарелку жидких кислых щей без хлеба и выпила две чашки чая с 1 конфеткой за 4 руб. 20 коп. килограмм. Голова кружится от недоедания. А что будет дальше?

Надо все-таки учиться как можно лучше, все это ведь зачтется на дороге предстоящей жизни! Надо мужаться! Быть выносливой и пока терпеть. Другого выхода нет.

13. XII.41 г. Наконец-то я выбрала свободное время, чтобы изложить свои мысли и желания.

Сколько перемен произошло за этот период времени! Сколько бед стряслось! Сколько перенесено тяжких минут!

Мою бедную Сильву украли и съели. О кошках сейчас говорят как о лакомстве (но, увы, их нет). Александр Петрович оказался очень гадким человеком: несознательным, вымогающим из всех все, заботящимся только лишь о себе, лодырем, лицемером, подлипалой и сплетником (в общем, со всеми отрицательными качествами). Я его поняла, поняла его и мама. Но как от него избавиться? Он очень зол и может убить ни за что ни про что (как говорят).

Мы собираемся бежать из города (не из боязни бомбежек немцев и голода, а от него чтобы избавиться). Мама болеет, стала как тень. Она все старается для нас с отчимом, сама не съедает, иногда потихоньку плачет. Я знаю, что она беспокоится об Алике, от него нет ни одного письма. Я стараюсь ее поддерживать. Неужели она не выживет? Я боюсь об этом думать. Наша милая и дорогая соседка Пелагея Лукинична уехала. Я рада за нее и желаю ей от души счастья за ее доброту. Ведь это исключительный человек! Она обещала похлопотать и о нашем отъезде. Хочу бросить все! Уехать на юг и там зажить тихой и мирной жизнью, как отшельник!

18. XII. Недавно мне хотелось уехать из города. Уехать и жить, как «отшельник». Ну не глупо ли это? А как же учеба? Ведь полгода проучилась! Права ли я, ненавидя отчима? Не могу

отдать себе отчета. Почему я забочусь о всех, а он только о себе? Это мне противно. А может быть, голод его сделал таким. Ведь до войны он был другим. Он хотел заменить мне отца! О! Если бы я могла, то придумала Гитлеру жуткую смерть. Он вина всему. Он винойник войны, а война калечит людей.

25. XII.41 г. Сегодня исключительный день! Прибавили хлеба на 75 гр. Мне полагается теперь 200 гр. и также маме 200 гр. Какое счастье. Все так рады, что от счастья чуть не плачут! Отчим сегодня нестерпим. Мне стыдно ему грубить, но я не могу больше. Он съел весь хлеб свой, а потом мамин и мой. Сегодняшняя прибавка для нас не существует.

Ненавижу его! И не понимаю, как можно так подло делать.

29. XII.41 г. Говорят, что счастье не всегда сопутствует человеку. Да, отчасти это верно, но сегодня для меня день счастья! А почему? Рада смерти моего отчима Куклина. Я так ждала этой минуты! Я его страшно ненавидела. Голод раскрыл его грязную душу, и я его узнала. О, это жуткий подлец, каких мало. И вот сегодня он умер. Умер он вечером. Я была в другой комнате. Бабушка пришла и сказала: «Он умер!» А я сперва не поверила, потом мое лицо исказилось в ужасной улыбке. О! Если бы кто видел выражение моего лица в эту минуту, то сказал бы, что я умею жестоко ненавидеть. Он умер, а я смеялась. Я готова была прыгать от счастья, но силы у меня были слабы. Голод сделал свое дело. Я не могла даже хорошо двигаться».

Несчастная девочка как бы сама увидела свою ужасную улыбку… Да, поведение отчима, растерявшего слишком многое под гнетом голода, было прямой причиной ее ненависти. Но улыбка, ужаснувшая самое девочку, также и от потерь, незаметно понесенных и самой Валей. И кошки, которых она потрошила, и покушение семьи на жизнь любимицы Сильвы — все имело значение. Дело не в том, съедобны ли, «вкусны» ли «меньшие братья» наши. А в том, что они — тоже наше «предполье». Без них, без человеческого к ним отношения мы не вполне люди…

Судьба животных блокадного Ленинграда — это тоже часть трагедии города. Человеческая трагедия. А иначе не объяснишь, почему не один и не два, а едва ли не каждый десятый блокадник помнит, рассказывает о гибели от бомбы слона в зоопарке. Многие, очень многие помнят блокадный Ленинград через вот это состояние: особенно неуютно, жутко человеку и он ближе к гибели, исчезновению от того, что исчезли коты, собаки, даже птицы!..

Ф. А. Прусова вписала в свой дневник услышанное по радио из стихотворения Веры Инбер — то, что она сама видит, переживает: «Ни лая, ни мяуканья, ни писка пичужки».

А вот у Г. А. Князева:

«Я все записываю, что попадает в мой кругозор. Но вот давно уже в мой кругозор не попадает ни одной собаки, ни одной кошки, ни одного голубя… Даже воробьев не вижу, хотя для них пища на улицах имеется. Первых съели. Воробьи, должно быть, померзли от сильных морозов. Правда, одну живую собаку я знаю, это у Лосевой. Она держит ее в комнате, никуда не выводит. Потерявши мужа, она привязалась к своему псу, как к другу. Сейчас она взяла девочку, дочку погибающей О. А. Девочкой она не совсем довольна. Вера у нее временно, но и то делает ей честь, что она взяла ее к себе в такое трудное время».

Нам передали рукопись Ирины Корженевской, и, хотя автор рукописи — вполне сложившийся писатель и то, что мы процитируем, уже вполне литература (а в нашей книге это скорее недостаток, чем достоинство), мы в виде исключения приведем несколько отрывков:

«…Хлебный магазин, где я получала паек, находился на углу напротив. Там, как и везде, окна заложены мешками, и продажа идет при свете коптилки. Недавно я заметила, что у входа в магазин сидит овчарка. Шкура и скелет. Она сидит и смотрит на входящих и выходящих, и глаза

у нее горят и просят. Но кто может с ней поделиться? Все проходят, не глядя, а она все сидит и сидит. Смотрит на каждого, и на меня в том числе. Однажды я видела, как она шла к своему посту. Она шла на трех лапах. Передняя левая болит. Может быть, вывихнута? Где же ее хозяева? Умерли или выпустили ее, чтобы сама кормилась?

Собачка деликатна. Просит без унижения. Взгляд ее говорит: «Я умираю от голода. Может быть, вы дадите хоть крошку?»

Я приласкала эту собаку и приподняла губу, чтобы взглянуть на зубы. Совсем молодая овчарка. И я поднялась к себе на четвертый этаж. Отпираю дверь, и — глядь — овчарка пришла за мной. Как раз я накануне нашла зеленый хлеб. Придется с ней поделиться. Я дала ей окаменелый кусок, и собака жадно его грызла. Потом я обмыла бутылку и напоила ее теплой водой. Собака ничего не просила, была благодарна, свернулась калачиком и уснула. А ведь не может быть, чтобы она не понимала, что людям сейчас очень трудно…

Сколько времени жила у меня эта собака, я не могу вспомнить. Помню только, что я уходила, а она оставалась. Она не виляла, когда я возвращалась. Может быть, ей было трудно вилять, а может быть, овчарки вообще не виляют. Я была рада, что у меня дома есть кто-то живой и он ждет меня. Иногда я разговаривала с ней, но большей частью мы молча смотрели друг на друга. Я назвала эту собаку Проспером. Проспер значит «Благополучный». Глядя на лихорадочно горящие глаза Проспера, я думала, что может прийти момент, когда кто-то из нас обезумеет от голода и бросится на своего случайного друга, чтобы съесть его. Но, пока я в здравом уме, я не могу убить существо, попросившее у меня приюта. Собака же настолько слаба, что, пожалуй, не в состоянии броситься на меня. Кроме того, овчарки благодарны и помнят и обиду, и ласку.

Я начала ощущать, как я слабею. Я плохо спала, видела съестное во сне. Поминутно просыпалась и слушала, как тикает в репродукторе. Выключить радио было нельзя — оно предупреждало о налетах. Но ночные налеты случались редко, а днем и вечером немец бомбил всегда в одно и то же время.

Зеленый хлеб кончился, и я возобновила разведку в квартире. Нужно было найти и топливо. Табуретки были уже сожжены, сожжен и мой кухонный столик. Теперь я обратила взоры на большущий кухонный стол ветеринара. Его хватит надолго, но разрубить мне таки будет трудновато, а прежде всего нужно освободить его.

Я выдвинула верхний ящик. Там лежали кухонные ножи, деревянные ложки, каталка для теста… Засунув руку подальше, я нащупала что-то необычное… Это оказался чистый белый узелок, величиной с кулак… В нем было что-то сыпучее… Может быть, горох? Я развязала узелок и увидела кукурузные зерна. Вот сюрприз! Но откуда в Ленинграде кукуруза? До войны как-то продавали кукурузную крупу, похожую на манную. Из нее можно было варить «мамалыгу»… Но цельных зерен кукурузы в Ленинграде, пожалуй, не сыщешь… И зачем они здесь, где не должно быть съестного, да еще засунуты в самый дальний угол и завязаны наподобие синьки?.. А ведь если их сварить, они разбухнут вдвое, и я смогу протянуть еще два-три дня.

…Я съела всего несколько зерен и дала горсточку Просперу, а утром я разделила кукурузу на две части. Одну отдала Просперу, а другую положила в кулек и после лекций отнесла тете Оле.

…Проспер не выдержал. Зеленый хлеб кончился, кукурузу он съел… И вот дня через два после этого, когда я уходила в институт, он встал и вышел вместе со мной.

— Я не стану тебя удерживать, — сказала я ему. — Но право же, у меня тебе все-таки лучше… Я наверняка не убью тебя, и в моей комнате немного теплей, чем на улице… Мне будет без тебя грустно…

Все-таки он ушел. Я видела, как, пошатываясь, он поплелся к помойке. Наивный пес!»

«Внизу, под нами, в квартире покойного президента, упорно борются за жизнь четыре женщины — три его дочери и внучка, — фиксирует Г. А. Князев. — До сих пор жив и их кот, которого они вытаскивали спасать в каждую тревогу.

На днях к ним зашел знакомый, студент. Увидел кота и умолял отдать его ему. Пристал прямо: «Отдайте, отдайте». Еле-еле от него отвязались. И глаза у него загорелись. Бедные женщины даже испугались. Теперь обеспокоены тем, что он проберется к ним и украдет их кота.

О любящее женское сердце! Лишила судьба естественного материнства студентку Нехорошеву, и она носится, как с ребенком, с котом, Лосева носится со своей собакой. Вот два экземпляра этих пород на моем радиусе. Все остальные давно съедены!»

Вот так же «носилась» с живым существом и еще одна женщина, Маргарита Федоровна Неверова, а потом произошла трагедия. Да, трагедия, если и спустя три с лишним десятилетия воспоминание об этом мучит человека, саднит душу.

«…Я вышла из дома. Пошли мы с моей собачоночкой, вот такой маленькой, за хлебом. Вышли. Лежал старичок. Вот у него уже так молитвенно три пальца сложены, и он так, замерзший, лежал в валенках.

Когда мы пришли в булочную, хлеба не было, моя собачоночка вдруг меня носом тык-тык-тык в валенок. Я наклонилась.

— Ты что?

Оказывается, она нашла кусочек хлеба. Мне отдает его. Причем я, знаете, как ворон, вскочила, хлеб зажала. А она на меня смотрит: «Дашь ты мне или не дашь?» Я говорю:

— Дам, миленький, дам!

А я из этого хлеба такую похлебку наварила, что вы даже не представляете, как мы с ней угощались!

А обратно мы шли — этот старичок уже лежал без валенок. Ну, оно конечно, ему на том свете валенки ни к чему, — я понимаю… Да, вот уже крест сложил и не донес, бедняжечка.

Перед войной было очень много птиц в комнате там всяких…

— Канареек?

— Нет, канареек не было, только лесные были. В общем, у нас было 18 аквариумов шестиведерных с рыбами разными экзотическими (это было хобби мужа), а я двадцать четыре птицы завела, сто восемьдесят горшков с цветами у нас было…

— А сколько у вас комнат было?

— У мужа — три, а у нас — одна была. У нас было шесть собак. Потом, правда, пять раздали, потому что такие собаки были породистые. Оставили вот только нашего маленького фокстерьерчика Зорю. Потом ее наш сосед сожрал.

— Украл, да?

— Нет, хуже, чем украл, за горло меня схватил и… Вот когда дом начали ломать, надо было-вещи мне куда-переносить, а я — сами понимаете — не могу. Вот только единственно на детских саночках возила книги сюда. Так вот за то, что он помог мне перевезти крупные вещи, он взял буфет, оттоманку, шкафы… Я уже сейчас даже не помню что… и на закуску — собаку, чтобы я ему скормила. А собака-то была маленькая, там и есть-то нечего было. Она была настолько голодная, что у нее вообще ничего не было. Ну вот, вы понимаете, это собака, которая с колен у меня не уходила, а особенно в блокаду; все-таки какое-то тепло от меня исходило…

— И все-таки отдали вы собачку?

— Вот я долго сопротивлялась, потом говорю ей: «Зорик, ну все равно, ну пойдем». И так загадала… (А он уже и оттоманочку перевез к себе, все перевез…) Я ему говорю: «Сеня, ну

возьми еще что-нибудь… икону, возьми икону. Только не бери собаку. Пусть она умрет смертью. Все равно уж она… Есть ведь ей нечего».

И вот характерный случай. Пришли… Я загадала… Если она встанет и пойдет, — я ее заберу. Черт с ним, пусть у него вещи останутся, пусть все там валится… (И я бы не держалась за вещи, если бы я знала, что муж не вернется. Господи, сколько мне надо!.. Я к вещам до сих пор равнодушна.)

А вот, представьте себе, она пришла, села. Я встала, пошла к дверям, — она даже не повернула головы. Я дошла до порога… Она отвернулась от меня (вот так) и не шевельнулась! Я вышла за двери — ну вот на один марш я спустилась — и сразу вернулась. Говорю: «Сеня, отдай собаку! Бери что хочешь, или… не надо… пусть, не помогай мне ничего…»

— «А я, — говорит, — ее уже убил…»

Вот вы знаете, вот это первый раз за войну я ревела. Я не плакала… Я мужа провожала, а не плакала. Я как-то окаменела… А тут я…»

А что, если потому отвернулась собачка, что поняла — предала ее хозяйка?

А может, просто жертвовала собой — ради хозяйки, раз ей это нужно?..

Сколько лет прошло, а мучит это Маргариту Федоровну — по натуре женщину жизнелюбивую и ко многому относящуюся иронично.

У нас записан рассказ работника Эрмитажа Ольги Эрнестовны Михайловой — о том, как девушка отравилась, увидев, как ее мать потрошила домашнего любимца — кота. Вот что для человека оставалось мерой нравственного и безнравственного в условиях, когда, казалось, мера эта могла резко снизиться. И снижалась — для других людей. Романтик и в то же время трезвый историк — Г. А. Князев записывает:

«…Даже в лоне семьи некоторые не доверяют друг другу и держат, например, хлеб при себе в запертом портфеле. Подглядывают друг за другом. Грызутся, как голодные собаки, из-за куска. Как скоро может скатиться человек с вершин культуры до своего первобытного звериного состояния!»

Если это правда, то и другое тоже правда: в тех же условиях другие люди сумели сохранить себя, не допустить себя до «звериного состояния». По-разному превозмогали условия, самих себя. Некоторые потом все-таки не выдерживали. Но и не выдерживали тоже по-разному…

«…Поэтому я глубоко убеждена, — говорит Михайлова О. Э., — что кто был приличный, кто был порядочный, тот и остался порядочным. Кто был непорядочный, в том, безусловно, все черты человеческие, отрицательные, они, наверно, развивались. Это точно.

Тут очень много, что можно сказать, и разные чувства обуревают тебя, когда ты вспоминаешь. Обуревают и чувства тяжелые, и чувства радостные, потому что в это тяжелое время все-таки встречались с такими удивительными людьми. Как я сказала, в то время люди были как бы голенькими, их сразу можно было почувствовать, увидеть. Все раскрывалось. И вот это было счастье общаться с прекрасными людьми.

И вот еще такой случай с моей подругой детства, которая жила в нашем доме. Она покончила жизнь самоубийством.

— Не выдержала?

— Она сама пошла в Публичную библиотеку, прочла-там какие-то книжки, составила яд. Не буду называть ее фамилию. Она дочь когда-то известного ученого (он умер до войны). Почему она это сделала? Потому что осталась с матерью. А у них был кот большой. И мать съела кота собственного, которого они обожали, любили его, до войны все было для него. Вы знаете, как иногда животные становятся такими маленькими божками семье!

Когда она увидела, что ее мать съела кота, она подумала, что уже все кончено, в жизни все кончено, что принципы, которые раньше были, какие-то нормы у них в семье, они рухнули, и

даже сама любимая мать это сделала, самый близкий ей человек. Вот такие вещи были. Она тоже была доведена до дистрофии, но вот силы, моральные устои у нее все же оказались сильнее, чем у матери. Очевидно, она понимала, что это уже деградация внутренняя идет, идет все дальше, дальше и дальше. В общем, для нее была трагедия увидеть мать в этом свете.

— А мать знала, почему она покончила с собой?

— Я не знаю, но думаю, что мать, несмотря на то она оплакивала свою дочку, все же до конца этого понимала. У некоторых людей совершался маразм почве дистрофии, если у них были какие-то предпосыли как я говорю, в худшую сторону от природы. Вот тут эта дистрофия и на почве дистрофии другое, будем его условно называть — маразмом. Я думаю, что мать не понимала. Ее вот дочь точно понимала. Я с ней виделась уже после того, как мать съела кота. Она мне это рассказывала ужасом: «Ты понимаешь! Мать съела кота, Максима съела! Содрала кожу и съела, и все собственными рукам! И предлагала мне!!!»

И по тому, как она мне это рассказала, для, меня было ясно, что это тупик был».

По-разному люди видели, ощущали надвигающийся тупик. И по-разному вели себя: не в силах были удержаться и приближались к нему или же спасались от него — тоже по-разному.

Да, та девушка не выдержала. Но по-человечески не выдержала, а не по-животному.

Князев ее, пожалуй, понял бы. Хотя у него запас прочности больший. Больше аргументов в пользу борьбы до последней возможности, больше веры в себя, в человека.

Не только спасали животных, но и спасались сами через животных, детям детство их возвращали. Ведь Ленинград-то был после сорок второго года лишен какой-либо живности. Ни кошек не было, ни собак, ни птиц — ничего. Сохранился только один уголок в городе, не чудом сохранился, а любовью нескольких человек. Об этом удивительные вещи рассказала нам Мария Мечиславовна Брудинская.

«— Мне надо было прежде всего подготовить животных, животные не подготовлены совершенно. Надо было как бы дрессировать, чтобы они производили какое-то впечатление. Прежде всего нужно было текст какой-то выработать, чтобы рассказывать ребятам. Клетки сама я делала для животных, чтобы можно было ехать.

Была у нас маленькая полупони, такая лошадка маленькая — Мальчик. И Тимоша — не сторож, а конюх, но хороший по душе человек, который соглашался с нами ездить. Ведь все надо было грузить. И вот мы стали возить этих животных. (То, что вы видели на рисунках, на фотографиях, — это роскошь, это уже в самом конце, когда у нас была машина.)

Вот мы устанавливали эти клетки, привязывали их. И там мы втроем — Тимоша, я и вот Тамара Семеновна — ехали в те точки (как я называла), куда я получила договора. Вот приезжали. Нас встречали очень хорошо. Но не думайте, что мы ждали какой-то поблажки в смысле еды. Нет, там все было учтено, так что ничего не обламывалось, грубо говоря, нам.

— Это сорок третий год?

— Да, в сорок третьем году. Выбирали большую комнату, расставляли этих животных. Дети шумели, потому что для них это было…

— Они не видели ни собак, ни кошек?

— Да, да, да. Глаза огромные. Они сидели, смотрели. Ну, я маленькую такую вступительную лекцию читала им, а потом, значит, показывали: собачки танцуют, лисичку можно потрогать (она не кусалась). Чем ее кормить — они не знали, суют ей конфетку-крошечку, которую им дали.

Ну, вот у нас эта обезьянка Инка, — она была довольно свирепая, так что к ней вообще трудно было подступиться.

Ну, вот потом, когда все это представление кончалось, мы опять все укладывали. И вот один раз мы ехали по Невскому и в страшный обстрел попали. И вы знаете? Не о себе тут думаешь, а

как спасти животных. Мы проскочили во двор (по-моему, здания Публичной библиотеки), у них большой двор. Мы встали под арку. Я как раз наклонилась к этой клетке, где сидела обезьяна Инка, а она, злодейка, вместо благодарности, почувствовав, что что-то темно, что-то необычно (они ведь очень реагируют на все это), и она начала меня щипать и драть халат, который на мне был. Ну, уж тут приходите терпеть!

Все-таки выбрались и уехали. Это кончилось благополучно. А раз мы вдвоем ехали к Рукавишниковой (так ее фамилия). И только мы поднялись, вот памятник Суворову, а это, значит, Троицкий мост, и о чем-то разговаривали, и вдруг какой-то шум — мчалась пожарная машина и не заметила эту несчастную тележку, а там у на утки были, там у нас были курицы, цыплята какие-то, — трах! И мы оказались все на земле. Она сломала у нас оглоблю.

— А вы на пони ехали?

— Да. Ехали одни. Я левой рукой всегда правлю. Мальчик испугался, потянул меня вперед дальше. Я только ушиблась, но не растерялась, взяла его, он дрожал. Настолько был сильный удар, что у него слетела даже подкова с задней ноги. Привязали его к первой попавшейся скобе и начали собирать. И можете себе представить: вот эта самая тележка, и эти кудахчут, шум. Народа мало очень, бежит кто-то, но он же не может нам помочь. А ведь это же как собственность, это как ценность, за нее ты от вечаешь.

Вот я собрала все в кучу (Рукавишникова мне кое-как помогала). Надо, было оттащить от дороги куда-то в сторону. Я оттуда, с Троицкого этого моста, тащилась с этим Мальчиком в зоосад, чтобы дать знать, что мы вот хоть и потрепались, но целы. И оттуда уже за нами приехал телега большая, которая подвозила корм для животнь И все это хозяйство забрали.

— Скажите, а дети младшего возраста животных не знали?

— Не знали. Откуда они могли знать? Там же малыши. И школьники почти не знали, уже забыли. Собак ведь не было совсем — их съели, — ни голубей, ни собак, ничего живого.

— Скажите, а вот как зоопарк уцелел, выжил в сорок первом, сорок втором году?

— Запасы были. Ведь у нас же там Удельнинский парк. Косили сено. Слон в сорок первом погиб. Бомбежка была, и его ранило. Очень потом жалели и ругали (это уже когда я поступила туда), ругали, что не сохранили мяса — могли его засолить или еще как, а его закопали, и так колоссальное количество мяса пропало. А вообще, несмотря на голод, несмотря на обстрелы, в зоологическом саду животные не погибли. Нет, нет. Вот заболел и умер своей смертью тигренок. Большинство животных отсюда было вывезено, не помню точно, кажется, в Саратов. А часть осталась. Не могли вывезти слона и не могли вывезти огромную бегемотиху Красавицу.

— Она выжила?

— Выжила. Она умерла собственной смертью уже мафусаиловых лет.

— Не покушались потом на ее мясо?

— Нет. Бывало, по-моему, не на мясо, а на корм для нее покушались.

— Но она же травоядная?

— Но тогда и трава шла. Вы знаете, что я вам хочу сказать: она больше всех нам доставляла мучений. Она ведь не может жить без воды — у нее трещины на коже делаются. Там, сзади зоопарка, есть такой канал, и нам приходилось просто на саночках возить воду без конца. Это был тяжелый для нас наряд, прямо, знаете, по очереди нас заставляли это делать. И вот, несколько раз в день, ее обливали, смазывали (если не съедали) всякими животными жирами.

А так, понимаете, этот зоопарк был на балансе на продовольственном в городском Совете, так что обезьянам выделяли витамины (как там доставали — я просто не знаю).

Отопление тоже было для нас очень трудным. Я жила на Васильевском острове. Так всегда я шла из зоосада (ну, конечно, с противогазом, само собой) с вязаночкой каких-нибудь дров, щепок — все маленькие кусочки, но чтобы прийти домой и подтопить буржуйку.

Ну что еще я вам скажу? Потом мы организовали катание детей на пони. Там оставались два пони. Сбруи не было — кое-какая, рваная. И я сама шорником была: шила седельники всевозможные, хомут обтягивала, все это делала. Тележка наряжена была. И вот Тимоша, наш знаменитый Тимоша — мы его все страшно любили… Тимоша — это старичок, который нам помогал. И вот он возил этих ребятишек, и, конечно, это страшная радость.

Тяжелое впечатление, конечно, производили эти самые посещения раненых в лазаретах. Это ужасно прямо было. Ведь они, понимаете, прикованы иногда к кровати, с ужасными ранениями, и все-таки улыбались. А эта улыбка так дорога была! Не нужно было ничего, лишь бы только он улыбнулся.

— На вашу обезьянку?

— Конечно, уже старались, выворачивались, чтобы как-нибудь идти к ним на встречу.

Много детей стекалось к нам. Знаете, что принимали мы только тех, которые хорошо учились, чем-либо отличались, помогали старшим или что-нибудь еще. И они охотно шли, очень охотно. А работа тоже была такая, что они должны были убирать зоосад, помогать в кормежке, а главным образом наблюдать данное животное, записывать. Мы выезжали с ними в Удельнинский парк, наблюдали перелет птиц или животных мелких этих.

Вы знаете, холодища эта, щели, промерзший потолок, иней. И ребята — юннаты — и мы все-таки что-то такое делаем. Не думаем о каком-то хлебе, а о хлебе духовном, тут у нас и Брем «Жизнь животных»…»

ЧЕМ ЛЮДИ ЖИВЫ?

Голод терзал, насмерть убивал детей на глазах у ленинградских матерей. И дети видели муки своих матерей, но поняли их по-настоящему, может быть, лишь спустя много лет, когда сами стали матерями, отцами.

Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,
А туда, где молча мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.

Анна Ахматова

У нас имеется несколько записей, где одновременно и об одном вспоминает мать и ее ребенок, теперь уже взрослый человек. Вот один из таких современных рассказов Ольги Ивановны Московцевой и Валентины Александровны Гавриловой (дочь будем называть Валя, хотя она уже давно взрослая).

«Ольга Ивановна:

— Я в охране была, и нам разрешили дрова брать. Попрошу одну соседку, вторую, наберем дров — они тащат, я тоже дотащу до дому и скорей на дежурство. Потом эти дрова расколем и — на рынок, там рядом рынок был, Клинский. Мне-то самой нельзя стоять продавать. Я Валю поставлю. Я привожу ее на тележке еле живую, чтобы она только стояла около этих дров, чтобы чувствовалось, что есть человек. А я наблюдаю стою. И вот, знаете, один раз такой посчастливился нам день: подошла ко мне женщина и сказала: «Я, говорит, вам дам килограмм крупы».

Валя:

— Пшена, килограмм пшена!

Ольга Ивановна:

— «Пшена кило. Никому не говорите. Я вам свою квартиру не покажу. А только вы мне к дому подвезете и свалите эти дрова». А мне нужно и дрова везти и Валю тащить на санках.

— Вы дрова везли, а ее посадили наверх? Ольга Ивановна:

— Да, она не ходила. Ну, довезли. Дали нам эту крупу. Куда ее девать? Валя кричит: «У нас отберут, у нас отберут эту крупу!» Я говорю: «Ладно, давай запрячем тебе за пальто».

Валя:

— Тогда отбирали.

Ольга Ивановна:

— Да, бывало. Ну, я ей крупу сюда запрятала и говорю: «Садись в санки, а лучше ложись. Я тебя повезу домой». И вот мы привезли крупу домой. Уж Валя эту крупу берегла, ведь она за хозяйку у меня была. Я приду с работы, она нальет мне супу и считает, сколько крупин. До того досчитается, что суп холодный. Я заплачу, мне тепленького хочется с улицы, а она все» считает: «Доктор мне сказал, чтобы ты не откусила лишний раз от меня, ни я, чтобы было поровну. Тогда будем живы». Знаете, с головой у нее что-то было — она была как ненормальная.

Валя:

— Да, я была ненормальная.

Ольга Ивановна:

— Как ненормальная: у нее ни памяти не было, ничего.

— А это какой год был? До Ладоги? Ольга Ивановна:

— Да, да, да. До Ладоги, я еще не работала на Ладоге. На Обводном был оборонный завод, там муж работал. Меня и взяли туда в охрану — я уже больная была, у меня была третья группа инвалидности. Вот отсюда дрова и брали. Это до Ладоги было.

Валя:

— Тогда давали шроты, дуранду…

Ольга Ивановна:

— У меня шерсть была, я вязала чулки, повару отдавала. Что было, я все ей давала, а она мне луковичку даст, шелуху отдаст. Из шелухи я делала котлеты картофельные, из дрожжей суп дрожжевой делала. Потом клею мне дали. Из клея сделала студень (клей вот этот, которым клеют). Я не могла есть, а Валя ела. Она ела с удовольствием этот клей как студень.

— А насчет крупы это ей врач внушил в больнице?

Ольга Ивановна:

— Да, да. У нее с легкими было неблагополучно, все время с легкими было неблагополучно. И вот, значит, врач ей давал соевое молоко. Придет она и делает вроде кофе. Я хочу, чтобы она съела, а она — чтобы я. Вот сидим спорим. Она мне: «Я не буду есть, умру — тогда и ты умрешь. А если я буду есть, а ты нет — ты умрешь тогда, но и я без тебя». Мне приходилось уступать ей и все делить поровну. И потом: продукты получала она. Вот вижу — половиночка конфетки осталась. Я говорю: «Валя, почему ты это не съела?» (Я все хочу, чтобы она побольше меня ела.) Она мне: «Нет, нет, что ты! Я только половину конфеточки. Доктор сказал, чтобы мы все поровну ели, все поровну. Тогда мы будем с тобой жить».

Валя:

— Относительно того, как спастись в таких условиях, по радио ленинградскому, например, говорили: «Не ешьте сразу свои сто двадцать пять граммов, делите пополам». У меня хватало сил делить пополам. Я за окно почему-то прятала, за раму, потому что крысы были, мыши. Это поначалу. А потом уже ни мышей, ни кошек, ни собак — ничего в Ленинграде не было. И вот я делила так: кусочек съедала утром, кусочек вечером. Я прислушивалась к тому, что говорили по радио.

Ольга Ивановна:

— У нас был котенок. Я говорила — унесите его куда-нибудь. А крестный пришел и говорит: отдайте его мне, я его съем. А Валя как заплачет: «Что ты говоришь! Кошечку хочешь съесть!» Потом я уговорила соседку, она кондуктором работала. Я говорю: «Слушай, Катя, скажи Вале, что снесешь кошечку в столовую, она там будет жить, ее кормить будут, а потом ей вернут. Но только туда нельзя ходить, нельзя смотреть. Кончится война, и тебе тогда вернут». Уговорили.

Валя:

— И еще запомнилось: мне очень хотелось жить. Я так хотела жить, так велика была сила эта, что я была готова подчиняться всему, что говорили, всем советам, только бы выжить! Просто удивительно как-то! Еще мне запомнилась продавщица, которая выдавала нам паек. Были случаи, когда не выдавали пайка: не было муки или хлебозавод не выпустил хлеба по каким-то причинам. Даже такие случаи были! А вот когда все было благополучно и хлеб привозили, это были очень большие буханки. На меня производило впечатление, что они очень большие были. Но они были мерзлые. И продавщица не могла буханку хлеба разрезать ножом, она ее рубила топором. Это я очень хорошо помню. Булочная находилась в нашем доме, в доме семьдесят шесть. Тут мы и блокаду пережили. И вот она топором рубила эти буханки, чтобы отрубить маленький кусок — сто двадцать пять граммов. Вперед не отоваривали, потому что мало было в Ленинграде таких возможностей, чтобы вперед отоваривать. И у меня тогда была

мечта: «Мама! Неужели мы доживем до того времени, когда в булочной будут полные полки хлеба?!» Мне не верилось, что такое будет время. Я не мечтала о каких-то булочках, хотя бы только хлеба были полные полки. И я говорила: «Какие же мы будем счастливые, когда мы доживем до этого!» Я дожила до этого времени, увидела полные полки хлеба… Но до сих пор мы сушим сухарики, не выбрасываем хлеб.

Ольга Ивановна:

— Она говорила, что мы будем очень богато жить, когда у нас будет вдоволь хлеба и соли (ведь и соли тогда не было), будем с тобой пить кипяток с солью и хлебом!

Валя:

— И еще такой момент я запомнила. Мы жили рядом с Варшавским вокзалом: Московская застава, много заводов, рядом Бадаевские склады. Поэтому и бомбили очень сильно этот район. Пулковские высоты недалеко, и Московский район принимал все эти снаряды. Как только начинали бомбить, я себя считала счастливой, что живу в первом этаже, потому что сверху все бежали к нам прятаться. Обычно первый этаж считался плохим: темновато там, сыровато, а во время войны это было большое счастье. Это, может быть, нас спасло, потому что в наш дом много снарядов попадало в четвертый этаж, в третий, и тогда все бежали к нам спасаться. Мама меня в этот момент так наряжала: она снимала с меня мое детское пальто и надевала свое, потому что оно было из бостона, с меховым воротником и было все-таки подороже, чем мое детское. Она вешала мне мешочек на шею и туда клала карточки и свои и мои и говорила: мало ли что может случиться, на первое время, на первый месяц у тебя будут карточки, ты мои вещи продашь, мое пальто и как-то просуществуешь, а может быть, блокаду прорвут, и ты сумеешь эвакуироваться…»

Ленинградская женщина… Она жила чуть дольше, чем могла жить, если даже потом смерть, иссушив, сваливала. Ее «задерживала» — на день, на два, на месяц — мысль, страх, забота о ребенке, о муже…

«И вот, знаете, другой раз я чувствую, что слабею, слабею. Совсем руки, ноги холодные. Батюшки! Я же умру! А Вова? И, знаете, я вставала и что-то делала. Этого я просто сейчас объяснить не могу» (Александра Борисовна Ден).

Многие из них только благодаря этому и сами выжили — вопреки научным подсчетам, что, мол, лежащий неподвижно теряет меньше калорий, чем тот, кто ползет на заледеневшую Неву за водой, через силу тащит на саночках дрова, сутками стоит в очередях за хлебом, для ребенка… Тут и наука должна была что-то пересматривать или вспоминать забытое.

Е. С. Ляпин, доктор физико-математических наук, профессор математики, сам все это и наблюдавший и переживавший, высказался так:

«Но один момент я все-таки отмечу, ибо он для нас сыграл свою роль, да и для многих людей тоже. Я говорил с врачами в этот период, и потом они это подтвердили. Ведь нормально люди себе представляли, что человек — это вроде печки: пока дрова подкладывают — печь горит, если нет дров, их не подкладывают, дрова сгорели — и печка потухла! Ну а человеку подкладывают там всякие калории, на этих калориях он живет, действует. А когда их нет, то расходуется то, что накоплено в организме: жировые отложения, мускулы. Он все это съедает. Когда у него все «сгорело» (всякий физик знает энергосистему), нечем двигаться — он умирает. Но часто человек умирал тогда, когда в его организме какой-то еще небольшой запас калорий — в физическом, примитивном смысле — оставался: печка работать еще могла, а он умирал. Человек-то все-таки не печка. Человек очень сложное устройство, необычно сложное. В этом отношении важную роль играло то, как человек себя вел, насколько он мог бороться. Я помню людей в начале голода, которые перестали мыться, перестали бриться. Если получали по

карточкам, то тут же, в магазине, все съедали сразу. Если давали на три дня, они съедали все в один день, а потом у них ничего не было. И это не ужасные, безвольные люди, нет, нормальные, хорошие люди. Они исходили из принципа той же самой печки: на движение человека тратятся калории, калорий не хватает, надо лежать, лежать столько, сколько можно. Не надо шевелить пальцами, надо лежать. И это было ошибкой, потому что человек не печка. Правда, идешь по комнате, тем более умываешься, тем более холодной водой, тратишь на все это какие-то калории. А на самом деле так ты продолжаешь оставаться человеческим существом, которое в какой-то степени функционирует.

Надо сказать, что многие люди в этом отношении стали на позицию соблюдения жесткого режима, конечно, режима, соответствующего тем условиям, которые были, но это было твердо на каждый день. Для тяжелого периода блокады обед состоял из кипятка, в котором размачивали пятьдесят граммов несъедобного хлеба. Ели из тарелки ложкой. Можно подумать, что я о пустяках говорю: не все ли равно, когда съесть свои сто двадцать пять граммов, размачивать хлеб или нет, есть ложками или так. Нет, и это было важно. Надо было создать какой-то ритм, похожий на жизнь нормального человека. Это я знаю по себе, знаю по своим близким, знаю и слышал от врачей, которые могли наблюдать все это в массовом порядке. Конечно, это не гарантия; естественно, что в конце концов никакой режим не действует, если человек не получает пищи, рано или поздно смерть его захватит.

Повторяю, это не гарантия, но это отодвигало насколько можно гибель. Надо сказать, что я свои мысли, свои чувства старался держать в норме, опускаться так, как опускались некоторые люди, — это было неправильно и ошибочно».

…У нас имеются два дневника — матери и сына Прусовых. Дневник матери, Фаины Александровны, особенно интересен: медицинская сестра, писавшая его, не только яркая личность с трагической материнской судьбой, но и человек с литературным даром. Она и сыну подсказала записывать. Когда студента-медика мобилизовали в армию, она взяла толстую тетрадку, сказала: «Записывай туда самые интересные вещи, потому что есть такая фраза: «И плохие записки современников ценны для потомков». Есть в записках ее сына врача Бориса Прусова странички, затрагивающие ту же проблему калорий — пищевых и, так сказать, «духовных калорий».

«Моя мама Прусова Фаина Александровна была медицинской сестрой с довольно большим стажем. Работала когда-то операционной сестрой у профессора Грекова в Обуховской больнице. И потом работала в хирургии в больнице Софьи Перовской. Благодаря нашей маме мы и выжили, потому что как-то она поднимала дух всех нас. Мы не опускались: мы мылись элементарно, делали себе какую-то ванну. Причем очень интересно, что у нее была своя теория, которая, кстати, подтвердилась жизнью: не залеживайтесь, не залеживайтесь! Когда я как медицинский работник пытался ей возражать: «Мама! Когда ты лежишь, то ведь энергии тратится меньше, питания ведь надо меньше», — она говорила: «Это парадоксально, но факт: кто ходит — будет жить и работать. Ходите!» Когда я совсем выбился из сил (это в сорок втором году) и уже не хотел ходить в институт, то сестра и мать сказали: «Ты должен кончить медицинский институт. Ходи! Если ты не будешь ходить, ты умрешь!» И я ходил. Я ходил от Марсова поля до площади Льва Толстого ежедневно туда и обратно и еще делал квартирные вызовы и принимал больных в больнице Софьи Перовской.

Вот такая была мама. Кто бы к нам ни пришел, у нас всегда было чисто. Стол всегда был накрыт скатертью. Как-то всегда было весело. Все убрано, аккуратно, чисто. И вот эта самая чистота, вот эта самая дисциплинированность матери — она передавалась нам. И это, по-моему, помогло нам выжить. Мать никогда не давала нам падать духом… Паек делился, каждому

давалась порция, причем, как они уже потом признались, мама с сестрой в самое трудное время больше давали мне, не знаю почему. Но вот что самое интересное: мама считала, что у нее в комнате чисто, всегда вымыт пол, все блестит, но когда уже сняли блокаду и она сняла затемнение (шторы), дали электричество, она посмотрела на обои и сказала: «Господи, господи! До чего же я себя обманывала! Все-таки в какой грязи я жила…»

Из дневника Ольги Ефимовны Эпштейн:

«5 мая. Я после бюллетеня вышла на работу. Завод выпускает новый военный заказ. Народу мало. Из старых рабочих почти никого нет. Вымерли, а часть уехала… Я осваиваю новые детали. Все хожу еще в зимнем пальто. Настоящий заказ гораздо интереснее прошлого. Во-первых, разнообразие деталей и гораздо точнее, притом из цветного металла. Сегодня привезли в столовую икру из дуранды, мне дали один килограмм. Раньше я бы в рот не взяла, а теперь мне это кажется очень вкусным.

13 мая. Пошла Эдика навестить… Вечером слушаю сообщение Информбюро, затем иду в булочную, выкупаю 250 граммов хлеба и, если есть, масло. Помажу на хлеб и наслаждаюсь. Затем ухожу на работу. Придя с работы, разогрею чай, напьюсь и ложусь спать. Я работаю самостоятельно, заменяю и мастера и контролера, подсобницу, нарядчицу и др.

Сегодня мы проводили заводское собрание. Подвели итоги мая месяца. Задание мы выполнили.

Сегодня была врачебная комиссия. У меня признали дистрофию первой стадии. Стали отбирать самых больных дистрофиков на усиленное питание. Я не мечтаю попасть. Десны у меня уже выровнялись. Я даже удивилась, что я так легко отделалась и зубы на месте остались. Сегодня нам дали по одному литру соевого молока.

10 июня. Ко мне подходит парторг и говорит: «Вот тебе справка, и пойдем скорее к врачу». — «А зачем?» — «На усиленное питание»…»

Ленинградская женщина отчаянно и бесстрашно сражалась против голода. Это был ее фронт. Те, кто выжил в Ленинграде, обязаны не только войскам, не только «Дороге жизни», но и женской стойкости, женскому терпению, выносливости, женской силе и, наконец, ее любви.

А ведь как ей хотелось и тогда быть не самой сильной и выносливой, а «всего только» женщиной, которую кто-то бы и пожалел. Иногда так невмоготу ей было изображать и самую сытую и самую здоровую в семье…

«Вот я вспомнила такой случай. Давали одно время вместо сахара так называемые соевые батончики. Ну, там было не столько сои, сколько… я не знаю, что там было. И я их делила между нами тремя. И я помню случай или два, когда я им свою порцию отдавала и выходила в коридор. И один раз я вышла в коридор и заплакала. Знаете, вообще-то я и до сих пор довольно равнодушна к еде: есть так есть, нет так нет. А вот тогда… До сих пор помню, как я вышла в коридор и заплакала» (Александра Борисовна Ден).

Ей, женщине, матери, жене, приходилось быть сильнее, выносливее, мужественнее самой себя.

ЛЕНИНГРАДСКИЕ ДЕТИ

«— Я выхожу со двора своего, рядом с Генеральным штабом, и вижу — около калитки, совсем прижавшись, сидит мальчик. Мне показалось, что ему лет шесть. Я спрашиваю: «Что ты здесь делаешь?» Он говорит: «А я пришел сюда умирать». — «Умирать? Ты смотри, какой ты, — раз ты смог сюда прийти, ты не умираешь! И где ты живешь?» — «Я живу на Мойке. У нас очень темный двор и квартира очень темная. А здесь вон как светло. (Это на Дворцовой площади.) Я пришел сюда умирать». Ну, я со своими девочками взяла его к себе в архив. Мы его напоили теплой водой, какие-то корочки ему дали. И клею столярного, вот этого самого. И он нам сказал: «Если я останусь жив, я всегда буду есть этот клей».

— А сколько же ему было лет?

— Мне казалось, что ему лет шесть. А ему оказалось одиннадцать. Я его спросила: «Ну почему ты пришел сюда? У тебя никого не осталось?» Он сказал: «А разве ты не понимаешь? Если бы у меня кто-нибудь остался, я не пришел бы. Папа на фронте, мама умерла, лежит. Сестренка умерла». Ну, я отвела его в детскую комнату и сказала его адрес (он знал свой адрес), они туда пошли. А больше я о нем ничего не знаю». (Из рассказа Л. А. Мандрыкиной.)

«Ленинградские дети»… Когда звучали эти слова — на Урале и за Уралом, в Ташкенте и в

Куйбышеве, в Алма-Ате и во Фрунзе, — у человека сжималось сердце. Всем, особенно детям, принесла горе война. Но на этих обрушилось столько, что каждый с невольным чувством вины искал, чтобы хоть что-то снять с их детских плеч, души, переложить на себя. Это звучало как пароль — «ленинградские дети»! И навстречу бросался каждый в любом уголке нашей земли… До какого-то момента они были как все дети, оставались веселыми, изобретательными. Играли осколками снарядов, коллекционировали их (как до войны коллекционировали марки или бумажки от съеденных конфет). Убегали, прорывались на передовую, благо фронт рядом, рукой подать. Азартно закидывали песком в своем дворе немецкие зажигалки, словно это новогодние шутихи.

«Едем дальше, до Обводного канала, — вспоминает бывший водитель трамвая Анна Алексеевна Петрова, — здесь на мосту Ново-Каменном дети метлами сметают бомбы в Обводный канал, прямо в воду…»

Калягин И. В.: «Ну, мальчишка решил, что, если побегу кругом, кричать, никто не услышит. Побегу кругом — дом загорится. Он решил прыгать с большого дома на нижележащий дом.

— Сколько этажей?

— С четвертого на двухэтажный. Два этажа. Что думать? Он прыгнул и зажигалку выкинул. И тоже фамилия затерялась».

А потом они становились самыми тихими на земле детьми.

«Сидим мы, и вокруг нас, вокруг школы, разорвалось шестнадцать снарядов! Стекла все выбиты. Мальчишки все за меня вот так пальчиком держались. Вы понимаете почему? Очевидно, я… Я чувствую, что я дрожу. Я напрягла все силы, чтобы, понимаете ли, вот эту дрожь убрать. И вы знаете, мне это удалось! Вы знаете, вот я напрягла все силы! И потом я себе внушила, что я сейчас не в Ленинграде, что я сейчас в Молодине у мамы, что все совсем хорошо» (Рогова Нина Васильевна).

«Впереди меня стоял мальчик, лет девяти, может быть. Он был затянут каким-то платком, потом одеялом ватным был затянут, мальчик стоял промерзший. Холодно. Часть народа ушла, часть сменили другие, а мальчик не уходил. Я спрашиваю этого мальчишку: «А ты чего же не пойдешь погреться?» А он: «Все равно дома холодно». Я говорю: «Что же ты, один живешь?» — «Да нет, с мамкой». — «Так что же, мамка не может пойти?» — «Да нет, не может. Она мертвая». Я говорю: «Как мертвая?!» — «Мамка умерла, жалко ведь ее. Теперь-то я догадался. Я ее теперь только на день кладу в постель, а ночью ставлю к печке. Она все равно мертвая. А то холодно от нее» (Игнатович З. А.).

Ленинградские дети разучились в ту зиму шалить. И даже смеяться, улыбаться разучились, так же как их мамы и бабушки и так же как их первыми умиравшие отцы, дедушки…

«Люди, даже дети, не плакали и не улыбались», — об этом многие вспоминают. Как говорила Ольга Берггольц «своим» ленинградцам: «…горе больше наших слез». А для улыбки, оказывается, тоже необходимы силы. А сил столько не было, не хватало на работу, на жизнь!.. Когда минула страшная зима смерти, голода, женщина однажды — что-то сказали, сделали при ней — почувствовала: «…с лицом моим происходит нечто, какое-то непривычное положение мышц…» А это человек снова заулыбался…» (Из рассказа Лидии Сергеевны Усовой.)

«— Помню, как стояла за хлебом, — говорит нам, но грустно смотрит куда-то глубоко в себя, на ту блокадную тринадцатилетнюю Галю, певица Ленинградской академической капеллы Галина Александровна Марченко. — У нас был такой большой двор, и нужно было стороной как-то обойти домика полтора, и там была булочная. Я помню, мы стояли в очереди с вечера, стояли сутками, напяливали на себя абсолютно все. А мама не могла, в общем-то, двигаться, она скорей как-то ослабла. Она все время грела мне кирпичи, у нас на «буржуечке» всегда лежали кирпичики, два или три. Я устраивала себе на грудь теплый кирпич, чтобы согреваться. Помню

— замерзну, приползу домой, мне дадут другой кирпич, и я опять, у меня сил было больше, уползаю вместе с кирпичом. Помню, что мама меня просто обогревала этими кирпичами. Ну, в конце концов я получала своим по сто двадцать пять граммов хлеба и возвращалась домой.

— Бывало, чтобы вы смеялись?

— Мы не смеялись, в общем, я не помню такого случая. Мы вообще не разговаривали, потому что просто, сил не было. Нет, не могу вспомнить, чтобы я смеялась. Я все время ходила с карточкам и, потому что мама боялась потерять их: ведь это же смерть.

— А вы плакали?

— Нет, и плакать не плакали, просто уже было какое-то безразличие. Мы уже не спускались в бомбоубежище, а просто закрывались у себя дома и никуда не ходили.

— Вот нам рассказывала одна женщина, как он впервые после всего пережитого улыбнулась и как сам удивилась этому забытому мышечному движению. Вы не помните свою первую улыбку?

— Про улыбку я не помню. По-моему, я улыбнулас уже тогда, когда мы уехали в эвакуацию. Может быть, раньше. Нет, когда мы были уже в Жихареве».

Александра Александровна Агронская, заведующая нотной библиотекой Ленинградской академической капеллы, милая, с улыбчивыми ямочками женщина, сразу посерьезнела, погрустнела, как только заговорила о улыбках, которых так мало было, которые так редко светились на детских лицах. Жила она в детском доме, блокадном детском доме (мать — «по мобилизации» отец — на фронте).

«— Ну а вот дети как себя вели? Кто-то ел сразу, кто-то прятал, да?

— Вы знаете, я могу только сказать, что мы очень мелкими частичками ели. Мы никогда не кусали хлеб, а отщипывали, отщипывали кусочки хлеба и брали в рот И в столовой (у нас была большая комната, где мы, все дети, ели), в столовой мы по очереди имели возможность облизывать кастрюли после второго, ну, после каши…

— А очередность кто устанавливал?

— Воспитательница. Нас там много детей было.

— По очереди или в порядке поощрения?

— Нет, это по очереди. Вы знаете, я думаю, что мы не очень озорничали. Нас, по-моему, не за что было наказывать, только расшевелить можно было. Во всяком случае, когда я в школу пошла… Вот запомнила имя своей учительницы в первом классе — Елена Игнатьевна. Это была двести вторая школа, на Желябова… Она, когда мы впервые чему-то засмеялись в классе, — это уже было, наверно, в сорок четвертом году, в конце, класс почему-то захохотал, — она после этого пошла по домам, обошла родителей и всем говорила: «Сегодня ваши дети смеялись!» Это было самым важным сообщением.

— А детский дом где был расположен?

— Детский дом был на Некрасова. Там церковь какая-то снаружи, а во дворе у нас был детский дом. Во время одной из прогулок этот детский дом был разбит снарядом. Дети не пострадали, нас перевели в другое наше помещение.

— А в самом детском доме не удавалось вас рассмешить?

— Я думаю, нет, хотя мы и танцевали. Вот Лисичкой я была… Еще помню — у нас постановка была, «Снегурочка», и я там Снегурочкой была, пела, но, наверно, это было не очень весело, я так думаю.

— А дети все вашего возраста или были и постарше?

— Были и старше дети, были и помоложе.

— А потом из детского дома вернулись домой?

— Да, из детского дома я вернулась домой вместе с сестрой.

— А отец?

— А отец у меня недавно умер. Он всю войну прошел. Он был в Германии. А потом работал — хочу похвастать! — в экспедициях. На «Оби» и «Лене» ходил в Антарктиду. И сейчас его именем названа банка в Антарктиде.

— Агронский?

— Нет, Пожарский.

— А почему у вас другая фамилия?

— А вы знаете, я замуж вышла. — Смеется. — Вообще, конечно, воспоминаний много, в основном не очень веселых. Мне страшным показался тогда даже день снятия блокады. Мы с сестренкой и мамой были дома. Мы жили в самом центре города — на Софьи Перовской. Здесь, вы знаете, канал Грибоедова, все рядом, самый центр города. И ничего по радио я не слышала, никаких объявлений, ни сестра, ни я. Мы с мамой вышли на улицу, и навстречу попалась мамина приятельница. Она что-то ужасно громко кричала, подхватила маму, и они побежали, а мы с сестренкой остались. И в этот момент такой грохот был! Вы знаете, во время войны такого грохота я не помню и такого страшного ощущения, что что-то рушится… Весь город осветился. А оказывается, это был салют!.. Мы с сестренкой упали в сугроб. Нас какие-то мужчины военные вытащили оттуда, из этого сугроба. Мы страшно плакали. Нас еле-еле успокоили.

— Вы еще не знали, что произошло?

— Да, мы не поняли, в чем дело. Мы вообще не представляли себе, что такое победа. Для детей победа в то время еще была очень отвлеченным, по-моему, понятием. Но к тому времени, ко дню снятия блокады, мы, понимаете, уже что-то ели, нам что-то давали, не только хряпу, ну я вот из школы приносила в кружке кашу, и ее можно было поесть. Нам уже казалось, что это лучше. И конечно, снятие блокады — день этот был очень знаменательным, хоть мы с сестрой очень испугались».

Все же мы попросили вернуться к той учительнице, о которой Александра Александровна рассказала вначале. Упоминание о ней не давало покоя. В первом смехе детей она увидела событие. Она оценила это событие как великое, может быть решающее. Настолько, что обошла всех родителей. Она разносила эту весть как самый дорогой подарок — они смеялись! Они снова смеются!

«— Как вы узнали, что она ходила?

— Нам родители сказали. Я не знаю довоенной судьбы этой учительницы, я не знаю ее домашней жизни во время войны. У меня сложилось такое впечатление, что она жила только школой и только нами. Мы приходили в школу голодные, холодные. Она нас раздевала, смотрела, что у нас внизу надето. Заворачивала (у кого ничего нет) в газету, сверху надевала платье, чтобы дети не мерзли. Если кто-то начинал плакать на уроке, у нее всегда какие-то корочки находились в кармане. Кофта у нее была большая, карманы где-то внизу (может быть, такое впечатление тогда было). Вот она нам давала эти корочки пососать, лишь бы мы не плакали. Во время обстрелов она нас собирала в коридоре и буквально укрывала собой. Очень часто навещала нас дома. Если кто-то из детей хотя бы раз не придет в школу, она в этот же день шла домой. Как она себя чувствовала, я этого ничего, конечно, не знаю, не знаю, была ли у нее семья или она была одна, потому что я у нее проучилась только первый, второй и начало третьего класса.

— И дальнейшую ее судьбу вы не знаете?

— Я ее больше не видела. Я перешла в другую школу. Потом, когда я вернулась в свою школу, ее там уже не было.

— А как ее имя и отчество?

— Елена Игнатьевна.

— А фамилии не помните?

— Нет».

…Воспоминания детей, то есть тех, кто были в блокаду детьми, не похожи на воспоминания взрослых, хотя сейчас рассказывают их нам люди взрослые, сами уже отцы, матери, даже бабушки.

Память детская сохранила чрезвычайно много, донесла точно, ярко. Какие-то картины нынешним сознанием даже не расшифровать. И какие-то страхи тоже малопонятны нам.

Шестилетнему тогда мальчику Вите (Виктору Васильевичу Корбунову) из всех бомбежек врезалось: огромный шкаф заплясал на ножках! И то, что в их детском саду после бомбежек осколки стекла были в кроватках.

Володю (Владимира Рудольфовича Дена), которому тогда было лет двенадцать, мать выпустила на улицу гулять. Был февраль 1942 года. После невылазного сидения дома от воздуха его слегка шатало. Но больше всего его потряс высокий снег, выше головы — снежные траншеи, сугробы, заваленные снегом первые этажи, снежные горы. И снег не городской, а чистый, сверкающий, слепящий. И вот спустя тридцать пять лет, тоже в феврале, он поехал в Кировск кататься на лыжах.

«Вот там я иду по улицам и — что такое? Какие-то странные ассоциации. Вот этот снег! Тротуары, конечно, занесены не так, как здесь было. Ну, скажем, если газоны, то они выше головы засыпаны снегом — это всю зиму чистят и отбрасывают».

Через этот чистый снег, через полярную снежность вдруг ожило детское, блокадное. Оно возвращается, оно вдруг обнаруживается в характере, привычках, сновидениях. У каждого по-своему, да и так, что человек порой и не знает, откуда у него это.

У шестилетнего Коли (Николая Викторовича Хлудова) снег связан с голодом: «Когда выпал снег, мне стало постоянно хотеться есть». Так это и соединилось для него.

Картинки, вырезанные детской памятью, обычно сверкают всеми красками.

«У Финляндского вокзала внимание мое приковывали троллейбусы, зимующие на площади. Рядом стоял сгоревший дом. Его тушили, и струи воды, упав на крыши троллейбусов, застыли огромными ледяными столбами. В лучах весеннего солнца столбы искрились и просвечивали, и все кругом мне казалось похожим на ледяное царство» (Лидия Ивановна Мельникова).

А восьмилетней Жанне (Жанне Эмильевне Уманской) блокада вспоминается как страшный холод. Все время холод, под одеялом, в шубе — и все равно холод. Еще огромная корзина, обшитая кусками ватного одеяла, в которой мать носила обед. Хлеб, кусочками в двести граммов, прятали в чемодан, а чемодан клали в диван, чтобы не съедать этот хлеб сразу.

«Как-то не существовало ни утра, ни вечера. Ничего. Казалось, что темень сплошная все время. Я научилась различать циферблат часов. И до сих пор, к стыду своему, вспоминаю, что помню только час, когда мама должна была покормить меня. Иногда я знала, что утро, иногда не знала, потому что практически мы не спали, в какой-то дреме ночью были. Говорят — хлеб спит в человеке. А поскольку хлеба не было, нам не спалось».

Внутри блокадной муки, среди всех бед, лишений, ужасов, смертей главной трагедией были дети. О них заботились прежде всего и городские учреждения и само население, их страдание, их положение для всех было наимучительной болью. И даже в помутненном голодом сознании взрослых дети, детское сохранялось, как правило, святым.

«Продукты с базы возила на санках одна взрослая женщина-экспедитор. Она всегда брала с собою двух мальчиков лет по четырнадцать. Вот наступила моя очередь. База находилась за

Нарвскими воротами. Туда и обратно мы шли пешком. Туда налегке, обратно схватившись за веревку санок. Один из нас всегда шел сзади наблюдающим. На одном из ухабов сани накренились, и соевые конфеты рассыпались из коробки на снег. Вокруг нас моментально образовалось тесное кольцо из проходивших мимо пешеходов. Экспедитор замахала руками, заохала, из ее крика поняли, что конфеты везут в детский дом, да и мы, два заморыша, были хорошей иллюстрацией. Народ толпился вокруг нас, растопырив в стороны руки, глаза горели, но никто не наклонился. Мы собрали все конфеты в коробку, подобрали кульки, поправили сани и двинулись дальше. Люди еще долго провожали нас глазами» (Александр Иванович Любимов).

Дети-старички, безулыбчивые, молчаливые, вялые, все понимающие и ничего не понимающие. Немцы, война, фашисты где-то там, за городом, да и сама блокада оставалась для шести-восьми-десятилетних детей понятием отвлеченным. Конкретными были темнота, голод, сирены, взрывы, — непонятно, почему все это обрушилось на людей? Куда исчезла еда, куда исчезли близкие? Война не воплощалась в людях, во врагах, в полицаях, в чужой речи, как это было, допустим, на оккупированных землях. Мы говорим о малышах, те, кто постарше, быстро взрослели. У малышей же детство прекращалось. Непросто было этим маленьким старичкам потом возвращаться в жизнь, в детство, к самим себе.

Нина Васильевна Ковалева, женщина очень импульсивная, живая, вдумчивая, рассудительная, рассказывает о себе девочке так, что невольно хочется ту девочку от нее же защитить, от ее беспощадной памяти.

«— Сколько вам, лет было тогда?

— Шесть. Мама закутала меня во все, что было. Я помню — на мне какие-то тряпки, платки. Пальто несколько штук даже было надето.

— Наверное, холодно было и для того, чтобы вещички с собой взять?

— Не знаю, для чего это было сделано. Помню, я какая-то неповоротливая была. По-моему, лишь одна десятая доля этих тряпок была я сама. Запомнила, что ехали на подводе, потом куда-то заехали. Какой-то мужчина в тулупе движение остановил. Говорит: «Куда? Немцы!» И мы повернули. Мама, по-моему, рядом была. Она спрашивала: «Нина! Есть хочешь?» Я ужасно хотела есть, а сказать не могла. Кричу где-то внутри: «Мама, хочу есть!» А сказать не могу. И так страшно было оттого, что язык не поворачивался.

— А почему не могли сказать?

— Впечатление, что язык совсем размяк, вата какая-то. Не могу ни шевельнуться, ничего. Просто трупом была. А внутренний голос кричал: хочу есть!.. Помню дальше еще эпизод, когда нас уже привезли на Урал. Куда сначала, даже не помню. Помню, я сидела где-то в углу. И нам делили пряники. Пряники делили не поперек, а вдоль, чтобы видимость целого пряника была, а не половины… Эти пряники давали и все спрашивали: «Вкусно?» А я даже не понимала. Помню, сидела и рассуждала: что такое вкусно, невкусно? Что такое хочется есть или не хочется есть? Клянусь, сижу в углу, и вот эта мысль у меня: что такое значит «не хочу есть»?.. Потом помню на Урале такой эпизод. Когда дети все спали, я побежала в поле. Все говорили: хлеб растет. Я понимала это в буквальном смысле. Думаю, надо раскопать ямку — и там буханка свежего хлеба. Я ее возьму и сыта буду. Сижу копаю, копаю. Ямку глубокую выкопала, а хлеба-то и нет! Сижу реву. И вот, помню, какой-то очень высокий дядька идет: «Что ты здесь делаешь?» Говорю — хлеб копаю. И вот знаете, или люди добрые были, или мне так казалось, взял меня пожилой человек, посадил на плечи, куда-то принес. Помню — в темную комнату. Картошки он мне дал и долго рассказывал, что хлеб надо сначала посеять, потом вырастить, убрать, муку смолоть, потом испечь. Тогда это хлеб будет… И помню, няня у нас была толстая. Бывало, она прислонит меня к своему животу и вот гладит, гладит. А до меня не доходило, настолько отупела вообще. Даже когда в школу пошла, плохо соображала. Долго такая была.

— А мама где была?

— Я даже не знаю. Когда нас переправили через Ладогу, сажали в машину (или на подводу, не помню), кажется, мамы уже со мной не было. Сестра моя болела. Помню, она лежала в больнице, в палате. По-моему, туберкулез у нее был. Ей давали ложку сахарного песку и кусочек масла. Она есть не могла. А я пряталась под кроватью, и она меня кормила. Долю, которая ей полагалась, она мне давала, а я слизывала с этой ложки.

— Она ложку под кровать совала?

— Да. Я говорила: «Валя, когда еще тебе будут давать?»

— Вы долго лежали? Близко ваша палата была?

— Нет, я не лежала. Я не знаю, что было. Помню, что она лежала в кровати, ей давали сахар и масло. Она есть не могла, а я была под кроватью и все слизывала. А потом — настолько я отупела! Я помню, когда мы уже возвращались, мы ехали с Валей в поезде. Я та боялась поезда! Меня волоком волокли в вагон! Боялась ужасно паровоза, пара, дыма. Валя говорит: «Вот смотри, мама сейчас тебя будет встречать». Она была старше. Если мне было шесть, ей — девять. Она уже в разумном возрасте. А я… я слово «мама» уже забыла. Вот я помню, мама уже на перроне, Валя говорит: «Вот мама идет». А я маму отталкиваю и говорю: «Где же моя мама?» Валя говорит: «Да вот она! Здесь!» А я очень долго ее не принимала. Я до такой степени ее не принимала, настолько была злой, что вот мы уже в школу пошли, мне выдавали дневники или тетрадки, так я двойки ставила сама себе и подкладывала маме и из-за угла подглядывала. Что это такое было? Чувства такого, что у меня есть мама, что я ее нашла, этого у меня не было.

— А она хорошо обращалась с вами?

— Конечно, хорошо. Ведь она столько пережила, видела своих детей в ужасном положении, думала, что потеряла их. Как она могла плохо относиться? Она очень страдала, но мне ее страдания вроде даже доставляли удовольствие. Я не знаю, что это такое? Сейчас я даже понять не могу той злости. И жалею об этом. Ведь я совсем другая стала. А в то время была какая-то ужасная, и до меня долго ничего не доходило. Я вот помню, учительница математики задачку на простейшие числа вдалбливала. Долбит, долбит — не понимаю! Даже до двадцати не научилась считать. Не знаю, что это такое! Ужасная была.

— А где ваша мама сейчас?

— Мама на пенсии. Папа тоже на пенсии. Больные люди. Мама особенно больна. Отец поздоровее ее, мужчина.

— А мама часто вспоминает Ленинград, блокаду?

— Знаете, не вспоминает. Мы не спрашиваем, а она не говорит. Как-то я попыталась: «Может быть, расскажешь что-нибудь?» А она вроде, знаете, закричала на меня: «Нет, не хочу!» Кино о войне она вообще не смотрит, старается не ходить на эти фильмы. Слово «война» она не переносит сейчас и не хочет ничего слушать.

— Расскажите про День Победы, пожалуйста.

— Вот такой случай был. В конце войны нам давали творожные сырки, соевые. Помню День Победы у Пяти углов. Музыка всякая гремела, граммофоны из окон орали. Весна уже была. Полно народу. Я запомнила, что два солдата несли большой крендель, громадный белый крендель. По-моему, это был настоящий крендель. Все им что-то бросали. С балкона цветы летели и какие-то бумажки. А у меня ничего не было в руках, только один этот сырок. Я подошла и отдала солдату, который нес крендель, свой сырок.

— Он взял его?

— Не помню, взял или не взял, в общем, отдала вместо цветов — подарок».

В детском стационаре Ирине Киреевой запомнилась девочка. Ее привезли уже умирающую. Девочка была старше Ирины.

«Она мне говорит: съешь, пожалуйста, мой хлеб (ну сколько там? Норма — 125 граммов хлеба), я не доживу до завтра. Лежит она рядом со мной. Койки стояли очень близко, чтобы побольше можно было впихнуть.

Помню, как я всю ночь не могла спать, потому что думала: взять хлеб или не взять? Все знают, что она не может уже есть. Но если возьму этот хлеб, то подумают, что я его украла у нее. А страшно хотелось есть. Страшная борьба с собой: чужое же! Так я хлеба не взяла. Вот сейчас, когда говорят: голодный может все сделать, и украсть и прочее, прочее, — я вспоминаю чувства свои, ребенка, когда чужое, хотя мне и отдавали его, я взять все-таки не могла. А девочка действительно умерла, и этот кусок хлеба остался у нее под подушкой».

Скрытая полемика нет-нет, а вспыхивает в самых разных рассказах. Сводится она, грубо говоря, к двум суждениям: одни, как Ирина Киреева, считают, что человек не имеет права терять своего достоинства, нарушать законы человечности, честности, чести. Они не прощают, не оправдывают случаев, когда люди воровали хлеб, отнимали его у ближних, пускались на мошенничества, хитрости, Они сами прошли через все испытания, не оступясь и не поступясь ничем, и как бы заработали право на такую требовательность. Другие тоже испытали пытки голодом и видели, как голодному человеку трудно отвечать за свои поступки.

Полемика эта — один из тех споров, которые не решаются с помощью математической логики. Они длятся, тянутся годами, поколениями, отражая разное устройство человеческой души, разнообразие ее воли, стойкости, ее воспитания, а может, и еще каких-то неизвестных нам свойств.

…Позже нам встретился еще один случай, подобный тому, когда дети впервые засмеялись в классе. Почти такая же история, но все же другая. Мы приведем и вторую. Выбирать между ними трудно.

Это было глубокой осенью 1942 года. Некоторые школы начали работать. В школе, где училась Ирина Киреева, собрали всего один класс, человек семнадцать детей.

«Мы удрали с урока. Вдруг нам захотелось совершить такую проказу. А двери закрывали, чтобы мы не выходили на улицу. Мы сломали дверь на черный ход и убежали с урока. И натолкнулись на нашего заведующего роно. Он сказал: немедленно идите в школу! Потому что были обстрелы и нам не разрешали ходить по улице. В общем-то, нам нечего было делать и на улице. Мы вернулись в школу, пришли к завучу, а она вдруг заплакала.

…Теперь я понимаю, что учителя радовались, потому что это был первый детский проступок и, в общем, дети возвращались к жизни, это было ясно и им чрезвычайно приятно».

Эпизоды эти и похожие и непохожие. В первом смех, во втором озорство: разные реакции учителей, но одинаковое понимание события. Каждый случай по-своему примечателен. Другие оттенки, другие чувства и обстоятельства. Можно ли было нам отобрать из них одно и при этом не обеднить всю картину? Всякий раз, ограничивая себя, мы видим не выигрыш, а потери, потери…

Когда рассказ за рассказом слушаешь день за днем, является мучительная потребность еще и еще раз убедиться, что улыбка возможна, что детство возможно, что все это есть, есть, бывает, возможно!

«— Мы сидели, и они говорили только о еде: «Мама приносила яблоки», «Мама варила манную кашу»… Одним словом, они сидели как старички и говорили только о еде. И вдруг от этих ребят выбегает девочка в беленьком платьице и на скакалочке запрыгала. Все ребята так недоуменно на нее посмотрели. Я даже не поинтересовалась, чья это девочка, но было очень приятно, она, как бабочка, вспорхнула, она даже, знаете, в меня вселила бодрость, легкость какую-то» (Рогова Нина Васильевна).

Вплоть до декабря 1941 года по Ладоге пробивались к Ленинграду буксиры с баржами. К этому времени Военный совет фронта уже сделал все для подготовки будущей «Дороги жизни». 21 ноября 1941 года пошел, потянулся по первому льду конный обоз, вскоре пошли и автомашины, 60 автомашин двинулись к восточному берегу озера за мукой. Ленинград стал получать хлеб. Но потребовались недели и месяцы, пока на карточки стали выдавать уже не 125 граммов, а 200, потом 300 граммов. Хлеб подвозили, пробиваясь через вьюги, минуя ледяные полыньи, трещины, машины из Кобоны. «Дорога жизни» не сразу могла восполнить тающие запасы продовольствия в городе. Страна слала Ленинграду все, что могла. Эшелоны с подарками, партизанские обозы. А назад, из Ленинград, машины увозили матерей с детьми. Самых бедственных. Двадцать тысяч солдат, офицеров, вольнонаемных обслуживали «Дорогу жизни». Они делали, что могли, да еще и то, что невозможно в обыденной жизни. Героизм этих людей составляет одну из самых прекрасных страниц истории Великой Отечественной войны. Они были герои — каждый опять-таки по-своему, своим отдельным, неповторимым поведением.

«Все мы очень боялись умереть на льду. Почему? Потому что мы боялись, что нас рыбы съедят. Мы говорили, что лучше пускай нас убьет на земле, на мелкие куски разорвет, но только не на льду. Особенно я. Я была трусиха. Я этого не скрываю. Трусиха. Боялась, что меня рыба съест! И вот с тех пор я стала бояться воды. А когда девчонкой была, я хорошо вообще плавала. Я спортсменкой была когда-то… А потом, после «ледовой дороги, стала бояться воды. Даже не могу в ванной сидя мыться. Я обязательно должна просто под душем стоять. Боюсь воды».

Так говорит о себе кавалер ордена боевого Красного Знамени, получившая его в числе первых на Ленинградском фронте, боец, о котором в свое время писали в очерках и Фадеев и Симонов, Ольга Николаевна Мельникова-Писаренко. Слушаешь эту маленькую-маленькую (хочется именно дважды повторить) женщину и веришь, что ей было страшно, так же как веришь в ее орден (третий по счету, полученный ленинградками), в ее подвиг на «Дороге жизни».[22]

«— Эвакуация началась во второй половине января. Сперва эвакуировали тяжелораненых. Очень страшной эта эвакуация была. Эвакуировали детей, больных женщин… Это назывался ценно-драгоценный груз, потому что это живые люди были, истощенные, голодные! Эти люди были настолько страшные, настолько исхудалые, что они были закутаны и одеялами и платками — чем придется, только бы проехать эту ледовую дорогу. А перед рассветом, когда машины проезжали через Ладожское озеро, шоферы очень мчались, для того чтобы быстрее проехать эти тридцать — тридцать два километра, — перед рассветом мы находили по пять, по шесть трупиков. Это были маленькие изможденные дети. Они уже были мертвыми, потому что представьте: ребенок на полном ходу вылетал из рук матери, он при вылете скользил, ударялся об этот лед… Мы старались узнать — чей это ребенок? Разворачивали, но там ни записки, ничего не было. Это были дети от восьми месяцев до годика, мальчики и девочки.

— Мать не могла удержать?

— Вы поймите, мать держит ребенка на руках. Допустим, машину тряхнет на ледяном бугре, и у матери от слабости ребенок вылетает из рук. Она же была так слаба: у нее дистрофия чуть ли не третьей степени, может быть, даже третьей. Ее ведь на руках сажали на эти машины, чтобы переправить на Большую землю. А иногда ехали целые колонны с детьми в закрытых машинах, в автобусах. Это уже были дети детсадовского возраста, школьного возраста. И хотя те машины были закрытые, но отопления не было. Они очень холодные были. Не то что у нас в данный момент — отапливаются и автобусы и троллейбусы. И нередко во время пурги, метели у машины перехватывало радиатор, так как вода замерзала мигом. Для того чтобы разогреть этот

радиатор в открытом ледовом поле, шоферу приходилось затратить полтора часа, а может быть, даже и все два. И хорошо, если он близко остановится от палатки, тогда детей мы забирали в палатку, оказывали им медицинскую помощь, кормили. То есть чем мы кормили? Давали по кусочку — граммов пятьдесят — сухариков. Чай сладкий давали. И если видели, что ребенок плохо себя чувствует, мы делали все, чтобы он доехал до Большой земли. Приходилось порой делать уколы — камфару вводить, чтобы сердечко работало.

У меня в палатке в феврале стояли сибиряки-уральцы: здоровые такие мужчины были эти бойцы — мои санитары. И вот они говорили: «Ольга Николаевна, ведь эти дети мертвые!» Говоришь: «Нет, они живые, у них еще бьется сердечко, они живые. А то, что у них были такие безжизненные глаза, это лишь оттого, что они очень были истощены. Часто у них, у этих детей, на личике даже росли волосики.

— Как у старичков?

— Да. Мы их и называли маленькими глубокими старичками. Когда эти дети попадали в палатку, у них отсутствовали и сила, и воля, и движения не было (не то что у наших сейчас детей). Бывало, возьмешь их ручонку — тонкой-тонкой кожицей обтянута. И все косточки буквально через эту кожицу можно было пересчитать. И вот когда шофер приходил и сообщал, что машина готова, что можно их снова погрузить в автобус, дети, знаете ли, такое сопротивление оказывали! Они не хотели уходить из тепла. Они чувствовали, что им здесь уделили внимание, что им дали кусочек сухарика, сладкого чаю. Они сопротивлялись. Ну, мы уговаривали, что еще в лучшее место попадете, вам там дадут супу, дадут мягкую булочку, там вас будут лечить и там будет еще теплее. Хорошо вам будет. Я говорю: «Мы будем вас сопровождать до самой Кобоны». И приходилось порой сопровождать машины до самой Кобоны, для того чтобы успокоить малышей. Видя, что мы с ними едем, они успокаивались. А глазки их были настолько мертвые, знаете, даже никакого блеска не было, мертвые глаза, как стеклянные, если можно так выразиться. Когда вот этот сухарик давали, у них на миг появлялся блеск, а потом как-то моментально этот блеск тушился».

Это о детях самых маленьких, еще ничего не сознававших, не понимавших, о тех, которые, выжив, сегодня сами ничего рассказать не могут. Они не помнят. Они были в возрасте, когда живут еще без памяти. Если ныне и появляются перед ними какие-то смутные картины раннего детства, то расшифровать их значение они не могут.

Из всего выслушанного, записанного несколько рассказов выделялись значительностью и памятью, правдой чувств, донесенных сквозь годы. И в первую очередь рассказ Марии Ивановны Дмитриевой (проспект Газа, 54). Правда, Марию Ивановну надо видеть рассказывающей или хотя бы голос ее слышать, чтобы прочувствовать ее блокадную повесть на всю глубину. Но раз уж не рассказ ее слушаете, а читаете запись, то хоть что-то надо сказать о ней самой.

Эта покрупневшая и конечно же постаревшая (в сравнении с военной фотографией) женщина — воплощение доброты. Деятельной доброты. И рассказ ее — тоже действие, требующее огромной душевной отдачи. Она так видит, так чувствует происходившее тридцать пять лет назад, что как бы снова участвует во всем, о чем рассказывает вам. И вы уже сами не рассказ слушаете, а словно спешите с нею, с ее бойцами самозащиты от барака к бараку, от пожара к пожару, от смерти к смерти…

Свои объекты начальник группы самозащиты ЖАКТа Кировского района Мария Ивановна Дмитриева и сегодня все помнит по номерам.

«— Случилось это примерно в декабре. Или в январе? Было это зимой. Был большой мороз. Начался обстрел. Обстрел был очень сильный. Мы долго пробирались туда. Это улица Швецова, там дом был обстрелян, дом сорок семь, напротив и сюда еще ближе — дом тридцать шесть. Вот

мы бежим. Дом тридцать шесть. Тут даже незаметно. Снаряд ушел в окно. И, оказывается, через окно — вот стекла пробитые! — прошел и в квартире разорвался. И убило девушку. Мы уже на обратном пути только увидели. Но она уже все равно мертвая была. Стоит на коленях среди комнаты в одной нижней сорочке. Видимо, она вскочила, хотела бежать куда-то, но не успела. И у нее голову снесло. Только одни волосы лежат. А девушка лет восемнадцати. Мы пробрались в дом сорок семь. Примерно около часу ночи было времени, может быть, и второй уже. Я пришла туда, кричу — нигде никого не слышно. Окна освещены. Лестницы темные. Ну, у меня фонарик был, на пуговице висел, чего-то и он плохо горел. Пошла наверх, во второй этаж. Кричу — нигде никто не отзывается. И вот первую дверь, на которую я напала на втором этаже, открыла. Я не помню — фонариком сначала я освещала или там горел какой-то свет? Не могу уточнить. И только открыла, а эта Демина Катя, молодая женщина, сидит на диване около печки (печка там была такая круглая). У нее на одной руке ребенок маленький, месяца три, может быть и меньше, а на второй — так поперек ног — лежит еще ребенок, мальчик, года четыре. Я подошла, смотрю, начинаю спрашивать — свет-то плохой! Тут фонариком я своим осветила. А у нее, смотрю, половина головы оторвана осколком — вот так! Она мертвая. А этот ребенок, которому месяца два или три, не знаю, — живой! Представьте себе! Как он сохранился? А тот, *что на коленях лежит*, мальчик, лет трех-четырех (он большой, рослый такой), этот мертвый. У него ножки перебиты и поясница.

— Снаряд разорвался снаружи?

— Снаряд разорвался около дома, и осколки попали между перекрытием и косяком рамы. А она здесь сидела — и все! Потом слышу, кто-то еще пришел. Я открыла дверь, кричу: «Заходите сюда!» И не помню, какая-то женщина пришла ко мне. Говорит — в сороковой дом тоже снаряд попал (а сороковой напротив). Но там миновало. Там кого-то слегка ранило, но жертв не было. У этой Кати муж на фронте… Ну что же — до утра. А утром вызвала МПВО, из РОККа пришли. Унесли, увезли кого куда.

— А куда ребеночка отдали?

— Ребеночек у нас долго находился: вот здесь дежурный приемный пункт был, вроде яслей, на этой — как улица называется, забыла, — между Балтийской и Швецова. Мы много туда сдавали детей.

— Там их и держали?

— Да. Поживут там, и потом отправляли. Много ведь детей-то оставалось, очень много. То с бабушкой были оставши, то с какими-нибудь тетями. Много их было. Если все действительно рассказать — это какой-то кошмар. Какие-то люди находились. Не люди даже, а может быть, только в облике человека».

Конечно, сила воздействия той или иной истории: зависит от таланта рассказчика. Но еще и от правды. «Если все действительно рассказать…» Дмитриева рассказывала все, что помнила.

«— Вот был один мальчик в тридцать шестом доме. Мать его геолог, осталась где-то там, где она работала. А он был с бабушкой. Такой красивый парень. До сих пор вспоминаю. Все мне хотелось взять его к себе. Не было сил, потому что я работала много. Я ведь не находилась дома, не ночевала.

— Простите, вы не замужем были?

— Замужем. Мой муж на фронте был.

— А детей у вас не было?

— Были, с моей мамой эвакуировались. Я здесь была одна. Но я люблю детей, поэтому мне так было жалко. Причем он такой толковый, красивый. Думала — вот это такого человека вырастить можно! Я не знала, что он до такой степени отощавши был. Бабушка у него умерла.

Где мать была — неизвестно. Отца у него не было. И вот я дежурила, а он был у меня в конторе, ночевал здесь.

— Сколько лет ему?

— Ему лет восемь-девять было, но он уже в полном сознании был. Вот он мне ночью-то про себя и рассказал. В последнюю ночь. Утром я пришла, а он мертвый лежит. Вы можете себе представить! Я еще вечером принесла и отломила ему от своего пайка корку-хлеба: у него и карточек не было. Я в тот вечер дежурила, и мы с ним разговаривали. Я еще подумала, что он утомился, спать хочет, потому что он не сидел, а лежал. А у него, видимо, сил не было. Но он не ныл, не жаловался ни на что. Я его еще спросила: «Алеша, как же так получилось?» Он говорит: «А вот как, Мария Ивановна. Я думал, что она хорошая, она ведь при бабушке к нам ходила, эта тетя. А вот бабушка умерла, она взяла меня к себе и карточки наши взяла». Я говорю: «Она и вещи ваши взяла?» — «Она все у нас взяла. А потом сказала, что она не может со мною заниматься». В общем, попросила его о выходе. Ну, я не думала, что люди так могут… Вот он пришел сюда, к дому. Что делать? Мы еще мало чего могли. Среди месяца карточки не дали бы. Это только к началу месяца можно было чем-то ему помочь… Да, вот был еще случай — мне подкинули ребенка.

— Прямо вам, к дому вашему?

— Да не к дому — к двери моей, к квартире! А было так. Мы ночью тоже ходили по заданию, вылавливали ракетчиков. У нас были созданы такие комиссии. В том числе и меня пригласили. И вот мы, значит, ходим ночь. А утром нам сказали: «Идите отдохните. А на работу можете до двенадцати не выходить». Ну, я пошла. Пришла в свое хозяйство, надо узнать — что там? У меня был организован кипятильник для беспомощных, для тех, которые идут и падают. Так вот приносили их и кипятком отпаивали. Может быть, это незначительная помощь, но хоть что-то было, хоть немножко. Ну вот, там были люди, специальные женщины».

Кипяток — это была великая помощь в тех условиях. «Воду вскипяти вкрутую — и вода уж как еда», — писал поэт Олег Шестинский.

«— Я шла домой по лестнице. Никого не было. Это днем. Захожу к себе. Плита была на кухне. Горсть каких-то сучков или дров, не знаю, чтобы чаю согреть. Вдруг слышу — плач где-то на лестнице. А у нас по лестнице ни одного ребенка не оставалось. Что такое? Ребенок? Прислушалась. Может быть, кошка? Нет, кошек всех давно поели. Выхожу. У моей двери сидит ребенок и в такое черное сукно, грубое, как шинели у железнодорожников, закутан. На голову тряпка какая-то навернута. И весь завязан, с глазами. И вот он плачет. Я подошла. Про все забыла. Взяла его на руки и понесла домой. У меня плита подтоплена, немножко теплая. Поставила стул у плиты, его развязала. Мальчик. Он не, говорит почти. Плохо очень говорит. «Мальчик, где твоя мама?» — «Мама умея». Значит, умерла. «Неня, Неня убежал». Значит, братишка, наверно, его посадил, бросил его тут, посадил и убежал. Ну, может быть, кто-нибудь и подсказал.

— К вашей двери?

— Да, именно к моей двери… «Неня, Неня убежал». — «Где же твой Неня?» Ну, он не знает ничего, адреса не знает. Тоже хороший такой парень. Крупный такой, черноглазый. Что делать-то? Правда, я тут поставила ведро воды, помыла его. Грязный, запущенный такой — кошмар. Помыла. Вместе с собой покормила. Мне надо на работу. Взяла его с собой. Принесла туда. Позвонила Котельникову Ивану Васильевичу, начальнику уголовного розыска. Он всю свою жизнь проработал у нас в районе. А я тоже всю жизнь прожила в Кировском. Ну вот, я говорю: «Иван Васильевич, вот такое дело. Что мне делать с ним?» А он говорит: «Ну что же, сдавай сюда». Я говорю: «Сдавай! Так там не берут безо всего-то, просто так, надо направление какое-то. Какое направление я дам?» Он говорит: «Да, действительно, с некоторых пор там это

требуют, а то, бывает, своих детей приводят. Подожди. Сейчас я пришлю солдата. Принесет направление». А у нас было несколько женщин, они детей у нас отводили в приемник. Мы их на другие дела не брали, а на это они еще были способны. И одна из этих старушек, Устя, уже не помню ейной фамилии (она потом быстро умерла), эта Устя пошла вместе с солдатом. Сдали этого парня. А вот еще случай, улица Швецова, пятьдесят шесть, по-моему, дом этот потом весь разбило. Тоже не выходят и не выходят из квартиры. А нижняя квартира. Людей-то ведь мало осталось в домах. Иду. Да не одна я, взяла двух человек с собой: ведь кто его знает, там почти никто не живет, дом-то разбитый весь. Вот закрытая комната. Уж мы бились-бились. Дворничиха принесла много ключей, и вот мы стали открывать. Открыли. И что увидели, какую картину? Открыли дверь стоит кровать. Мать лежит мертвая. Молодая женщина, Белова ей фамилия. А муж на фронте. А ребенок — не знаю, ему года полтора — живой. И вот по ней лазает, причем тащит ейные груди в рот и сосет их. Кошмар какой-то! Ну, как вы думаете?! Вот такая картина перед глазами. Ну, что делать, взяли этого ребенка…»

Прервем пока рассказ Марии Ивановны…

Голод и дети; блокада и дети — самое большое преступление фашистов перед Ленинградом, ленинградцами. Мучая голодом, убивая детей, они жалостью к детям пытали ленинградцев, дожидаясь, чтобы или вымерли защитники Ленинграда, или сдали его — сдали весь северный фланг восточного фронта.

В рассказе Ивана Васильевича Калягина о действиях МПВО Кировского района, где он был командиром, есть небольшой эпизод, в котором собрались как бы вся сила и вся боль материнская…

«Я помню такой случай, когда доложили, что вот тут, на Тракторной улице, снаряд не разорвался в квартире. Ну, послал туда пиротехника. Пиротехник поехал туда. Приехал. Оттуда звонит, что не может снаряд отобрать. «Как не можешь снаряд отобрать?» — «Не могу. Приезжайте сами». Приехал сам. Зашел в комнату. Лежит женщина на полу, обняла снаряд, закутала в шаль (он теплый еще) и не отдает его. Не отдает снаряд! Стали выяснять, в чем дело. Оказывается, у нее грудной ребенок был. От страха, в панике родственница схватила ребенка и унесла. А мать осталась. Увидала этот снаряд и решила, что это ребенок. Ну, то есть человек был уже в ненормальном состоянии…»

Когда они попадали на Большую землю, их узнавали сразу: ленинградские дети!

И их не узнавали.

Узнавали по старческим личикам, походке, но прежде всего по глазам, видевшим все! Видевшим все то, что ленинградцы «скрыли от Большой земли…» (Ольга Берггольц).

Знакомые же или родные, если встречали своих, часто не могли их узнать. Как тот военный (об этом в записках вспоминает о себе Лидия Георгиевна Охапкина), что вскочил на прибывшую в Череповец машину, посмотрел на жену, детишек своих и хотел слезать: не узнал! А когда позвали: «Папка!» — он взглянул еще раз и… «зачем-то шапку снял».

Галина Александровна Марченко лишь после того, как выехала из блокадного Ленинграда, поняла, какая она «на нормальный взгляд»:

«— В Вологодской области мы попали в какую-то деревню. И рядом оказалась деревня, в которой у моей соседки родные жили. А девчушечка их приезжала когда-то в Ленинград, к нам заходила в гости. И вот когда мы приехали, она обратилась ко мне: «Бабушка, а где Галя?»

— Это о вас тринадцатилетней? Так были одеты?

— Так была одета, да и сама кожа до кости. «Кланя, говорю, Галя — это я». Она заревела и говорит: «Я тебя не узнала!»…»

Троицкая Ольга Гавриловна (Дегтярный пер., 39), воспитательница детского дома, припоминает о первых впечатлениях, реакции детей, когда они из блокадного, уже ставшего привычным, мира попадали в нормальный, обычный.

Первые впечатления ребят:

«— Ольга Гавриловна, посмотрите, трава растет!» (А мы ее тут же выстригали и ели.)

Или:

«Вы знаете, наш проводник картошку варит, а шелуху выбрасывает!» — с ужасом говорили они мне. И вот я рассказала проводнику об этом. Она говорит: «Ну уж картошкой-то я вас угощу». И мы сидели и ждали, пока она нас угостит, но так и не дождались…

В группе у меня была девочка (фамилию ее забыла). Ее привезли с какого-то маленького полустанка. Там на ее глазах сожгли поселок, убили мать и остальных жителей, а она куда-то забилась и таким образом спаслась. Она сидела как мышка. Но все-таки — ребенок, хотелось ее как-то оживить, что-то ей расскажешь, но она никак ни на что не реагирует. Я обратилась ко всем своим родственникам — поискать у себя, чтобы дать ей какие-то игрушки. Наконец я собрала какие-то пестрые лоскутки и принесла ей, и вдруг она к ним потянулась! Или — один мальчонка. По Ладожскому озеру плыла баржа. Ее разбомбили, все утонули, а на мальчике была отцовская куртка (надувной жилет), и он в ней не утонул. И вот нам передали его в детский дом. Мальчишка ходил как волчонок, никого не подпускал к себе и не разрешал снять с себя эту куртку. Или — Люся Волкова. Ее забрали из какого-то дома. Она лежала в квартире с трупом матери. Маленькая девочка, лет восьми. И вот, когда мы переехали в Ярославскую область, она ночью как заплачет. Я говорю: «Люсенька, что с тобой?» — «У меня зубы болят». Ну, конечно, никакие зубы у нее не болели. И вот она обнимет меня, прижмется и успокоится».

«Я помню, что раздался какой-то странный звук во дворе. Я спросил маму, и она сказала, что ничего страшного, что это отдирают доски от забора. Оказывается, это зенитки готовили. Это было в самом начале войны. Вот первое детское впечатление о начале войны».

Это рассказывает Жанна Эмильевна Уманская, которая сейчас поет в Академической капелле.

«— На улицу я выходила очень редко, очень редко. Видела этот заснеженный город, страшный беспорядок на улицах, массу трупов. Мама как-то старалась отвлечь мое внимание. Видела я и последнюю агонию человека: человек карабкался, не мог встать, цеплялся за стенку. Ужасно было. Но в детское воображение это как-то не вселяло такой ужас и отчаяние, потому что это проще тогда казалось. Сейчас, уже умом, понимаешь, сколько жуткого пришлось пережить. Запомнила я блокадную елку новогоднюю. Возможно, это будет интересно. Я ребенком тогда была. Это был трагический день — одиннадцатое января, день, когда умер отец.

— Где он умер?

— Дома. Ему пришла повестка на фронт. Он был в запасе, старший комсостав, а до этого он был на окопах. Очевидно, там очень тяжело было с продуктами: он пришел весь опухший. И вот когда он пришел по этой повестке в военкомат, ему сказали, что на фронт ему уже нельзя идти, забраковали. И как-то быстро-быстро (я считаю) подкосило всех оставшихся мужчин в Ленинграде (это как раз первая зима, первые месяцы сорок второго уже года). Он мне отдавал потихоньку от матери все крохи жалкие, которые ему выпадали. Я этого не понимала, чтобы отказаться. В общем, он себя обкрадывал. Он уже лежал, не вставал и все пытался как-то меня поддержать, как-то мою жизнь сохранить. Теперь это все понимаешь!

— Не помните, о чем он говорил с вами?

— Этого не помню. Он мало говорил. «Береги мамочку», — он говорил. «Слушайся ее, не расстраивайся, если что-нибудь случится», — иногда говорил. Но я не понимала, что должно

случиться. Вот одиннадцатого января дали билет на елку. Я уже не помню происхождение этого билета. По-видимому, я должна была учиться где-то в первом классе. Пошла я одна. Сказано нам было, что такой мешочек должны сшить. Эти мешочки надевали под шубенку, чтобы никто не видел, как понесу обратно подарок, потому что люди были всякие, и озверевшие от голода были. Не все могли держать себя в руках, не у всех оставалось чувство порядочности. Всякое случалось. И вот как сейчас помню, тощие мы все какие-то, маленькие, заморенные дети, и такой же фокусник-мужчина: пиджак на нем болтается, горло шарфом повязано. Он пытался показывать какие-то, фокусы. И такие безразличные сидят ребятишки. Потом не выдержали, и один спросил: «А скоро нам обед будут давать?» Насколько мало детского оставалось у нас у всех. Ну, дали обед. Он показался роскошным по тем временам. И подарки дали. Не помню, что там было: яблоко, печенье, какая-то конфета. Я запихала этот подарок в мешочек — и под пальто. Но если кто-нибудь обратил бы внимание, то на моей физиономии ясно было написано, что я что-то страшно берегу, несу, руки сжаты около этого подарка, выражение испуганное.

Я благополучно принесла этот подарок домой. И когда мы с трудом согрели чай, буквально на свечке, мама, говорит: «Иди разбуди папу, он что-то крепко спит. У нас будет праздник, пусть у нас это будет Новый год». (Нам нечем было встретить Новый год, когда он был.) Мне показалось, что отец как-то очень странно раскидался, раскрылся. Он всегда меня просил: «Жануля! Подотки! мне одеяло, тут дует, там дует». Я пришла: «Папа, пап, папа, пап!» А он, в общем, никак! Я закричала, маму позвала. Мама говорит: «Успокойся, успокойся! Он спит». И увела меня. А он почему-то в другой комнате лежал, он еще раньше попросился, может быть, он чувствовал свой конец, и его перенесли туда. До меня это не доходило, я не понимала, я даже никогда не спрашивала, почему он в другой комнате лежал. И так решила, что женщины в одной комнате, а мужчины должны быть в другой. Короче говоря, наступила его кончина. Умер еще у нас сосед. Мы общими усилиями снесли их на кухню, завернули в одеяла. Месяц они лежали на кухне, потому что сил не было их унести. И меня до сих пор удивляет полное отсутствие страха перед мертвым телом. Никакого ужаса мы не испытывали. И если только раздавался какой-то шорох в квартире, мы ползли на кухню посмотреть: не проснулись ли они? Потому что большинство ленинградцев были уверены, что многие заснули летаргическим сном, как бывает от голода. Не заснули ли они? А вдруг они проснулись? Вот никак не хотелось примириться со смертью. Но, по-видимому, чудес не бывает! Я заходила часто. Мама меня стала пускать, потому что я никак не реагировала на то, что отец мертвый, не понимала, что мертвый, и думала, что он заснул, думала, что он проснется.

— Знали о летаргии?

— Да, знала, что бывает летаргический сон. Это объяснила мне мама.

— Но сама она не верила?

— Нет. Она знала, что это конец».

А из ума не идет та новогодняя елка, заморенные дети и такой же заморенный фокусник-мужчина. Он показывает фокусы, сидят безразличные ребятишки. И все мечтают об обеде. И сам фокусник и его зрители. И невозможно было ничем развлечь, вернее, отвлечь от желания есть.

О новогодних елках 1942 года помнят многие школьники. Обычная для тех дней школьная елка была, например, у Леонида Петровича Попова. Ныне он инженер и, кстати говоря, много помогал нам в сборе материала.

«Сидели мы в классе. Окна были затемнены, в коридорах тоже. Нас развели по классам. Когда мы пришли, был концерт. Я его не помню. Помню, елка без огней стояла, сумеречный свет дня.

Недавно я с дочерью пошел в эту школу на елку. Встал у окна и стал вспоминать… Помню, как мы сидели, но какой там был концерт, совсем не помню — никакого внимания на него не

обратили. Сидели мы в пальто, а потом пошли в столовую. Школа помещается на проспекте Металлистов, за «Гигантом». Приглашение нам разослали на 5 января.

До войны я кончил пять классов. Зиму сорок первого — сорок второго года совершенно не учился. Сидел у печурки в штабе объекта (мать была начальником объекта). Кто-то (кто — не знаю) отыскал меня и моего товарища Арвида Калнина. Мы пошли на елку вместе. Матери наши дома сидели, беспокоились. Мы ушли утром. Часа в три мы пообедали, нам дали обед. Была тревога, нас спустили вниз. Долго стояли на подвальных лестницах. Потом стало темнеть. Решили: видимо, дело идет к концу. Поднялись, хотя отбоя тревоги еще не было. Пошли в столовую. Учителя шли с лучинами, одна из них, Шарова, — она сейчас живет в Ярославской области — была нашей первой учительницей. Учителя ходили между столами и смотрели, все ли нам дали. Мы сидели смирненько, тихо. А елку-то мы видели еще до этого в актовом зале. Стояла большая елка, учителя ее сделали.

В столовой мы разделись. Раздали нам суп из хряпы, котлеточка маленькая, хряпа на гарнир, на третье был кисель из эссенции. Пообедали, быстренько все съели. Пошли по классам. Каждый класс пришел к себе. Там на ощупь стали раздавать — сосчитано каждому было — восемнадцать изюминок в шоколаде. Каждый проверил: восемнадцать изюминок! Спрятали — ни одной не съедим здесь, съедим дома. Это было уже в шесть часов вечера. Матери страшно беспокоились. У нас могли отобрать подарки, могли избить. Мы выходили из школы по два-три человека и, пробираясь почти на ощупь, пришли домой. Матери обрадовались тому, что мы пришли и еще подарки принесли».

Он не помнит, что за концерт был и что была за елка, а прежде всего помнит восемнадцать изюминок в шоколаде. Казалось бы, все ясно. Но вот на что невольно обращаешь внимание: все ребята отчетливо сознают, что не обратили внимания на фокусника, на концерт, на елку. Свое безразличие помнят, свою недетскость. Задним как бы числом осознают и эту елку, устроенную с таким трудом, и этого фокусника, все невоспринятое ими, то, что для них как бы не было и тем не менее — было.

Мария Ананьевна Щелыванова живет сегодня одна-одинешенька и, может, поэтому так остро помнит, вспоминает своего «приемыша» Валерия. Еще до войны он ушел из пьяного дома родной матери, потом сбегал и от ласковой приемной матери Марии Ананьевны, а затем убежал — уже навсегда — на Ленинградский фронт.

Этот поразительный, даже когда смотрит с детской фотографии, мальчик, ленинградский Гаврош, в ее рассказах предстает таким живым, таким живучим! Никак не хочет он остаться, раствориться в успокоительном «никто… и ничто…». Он, именно он, хочет жить в нашей с вами памяти, в наших сердцах. Жить! И сохраниться; своенравием, независимостью короткой своей жизни ленинградского мальчишки!

«— У нас управхозом был не очень грамотный Конанович. В июле он меня позвал. Тогда карточную систему объявили. Я ему помогла в выдаче карточек. И когда пришла домой, еще во дворе вижу — Валерий. Он в окно смотрит и говорит: «Тетя Муся! Здравствуйте! Я пришел».

— Это ваш приемыш? Снова вернулся?

— Да, мы до войны его усыновили, и все было хорошо. Но перед самой войной он вдруг пропал. Мы так переживали с мужем. Война началась — объявился наш Валерий… У него мать алкоголичка. Они жили около Невского. Почему он воришкой стал? Там воришки были, и он, значит, подпал под их влияние, они его взяли потому, что у него быстрый взгляд. Я вам карточку покажу. Мальчишка был такой занятный, веселый. Про него в школе говорили: или это будет великий прохвост, или знаменитость какая-то. В общем, он меня так обрадовал: «Тетя Муся! Я пришел». Я говорю: «Ну ладно. А что я буду с тобой делать?» Он мне поставил такое условие:

«Устраивайте, тетя Муся, пожалуйста, меня в ФЗУ здесь, около Андреевского собора. Только туда!» Из школы он был исключен за свои шалости — озорник был такой. Мы тогда наняли ему двух учительниц. Одна учительница была по всем предметам, старенькая, ей семьдесят с чем-то лет было. А другая — студентка. Она по арифметике с ним занималась. Он ходил к ним заниматься перед войной до тех пор, пока не сбежал. Эти учительницы были в восторге от него: такой способный, что прямо за четыре месяца прошел годовую программу! И вот он появляется и говорит: я пойду в ФЗУ. А ему всего двенадцать лет. Я пошла к Анашкину, директору ФЗУ. Он говорит: «Мы его не можем принять — ему лет мало и надо справку из школы». А в школе он не учился. Тогда я пошла к Марье Константиновне и говорю, что мне нужно Валерия устраивать в ФЗУ. Дайте справку, что он прошел там все. Она дала такую справку, заверила ее. И вот, вы знаете, я несколько раз ходила в это ФЗУ, и все мне отказывали. Я прямо плакала, говорю: «Он мне неродной. Муж у меня ушел добровольцем. Как же мы будем жить? Я очень прошу вас принять». И после многих хождений я как-то прихожу (Валерий меня уже встречает) и говорю: «Ну, скажи мне спасибо, Валерий, тебя приняли в ФЗУ». Он был экспансивный мальчишка, он выразил свое спасибо знаете как? Распластался и поцеловал мне ногу! Я и до сих пор не могу забыть, как он был рад.

Стали мы жить с Валерием. Ему шинель выдали — чуть ли не до пят, он был маленького роста, ведь двенадцать лет, там мальчишки большие. Вот однажды мастер мне прислал записку: надо с вами поговорить. Ну, я пришла. Он говорит: «Ваш сын прямо золотые руки, просто удивляемся, как все у него получается. Но вы знаете (и выдвигает ящик стола — полный стол денег!), вот, говорит, отбираем у мальчишек деньги. И у вашего сына. Вы даете ему деньги!» — «Какие у меня деньги? У меня денег нет». — «Вот забирайте, у него шестьдесят рублей взяли». Оказывается, матери, которые эвакуировали детей, часто забывали сумочки в магазине и даже карточки, а мальчишки из ФЗУ все подбирали. Один раз Валерик мне говорит: «Тетя Муся, у меня такой блат! Вы хотите иметь крупу, рыбу?» Я говорю: «Откуда у тебя может быть блат?» А он пожимает плечами и говорит: «А у меня есть блат, я могу все устроить!» Вот такой шпингалет мне такие вещи говорит: «Я могу все!» Я говорю: как же так? Сейчас все по карточкам. И отказалась от этого. Вот однажды он приходит и говорит (а вообще-то врать он умел, как Хлестаков, еще почище): «Тетя Муся! Представьте себе, я захожу в магазин молочный, а там работает тетя Нюша, подруга моей мамы. Она говорит мне: «Валерий, как ты попал в этот район?» — «А я живу тут с тетей Мусей». — «Как же ты живешь? Может быть, ты будешь ходить сюда ко мне за молоком? Ты бери бутылочку, и я тебе буду наливать молока…» Я, не подозревая ничего, даю ему полулитровую бутылочку. Он приносит это молоко и почти все сам же выпивает. И вот однажды — а он уже сделал себе такие погоны красные матерчатые (мальчишка-то маленький) подпоясался ремнем и шашку сделал себе из дерева, мальчишками в войну играет, и вот один раз я и го ворю: «Валерий, иди домой, я тебе должна штанишки постирать. Ты переоденешься, а я выстираю». Когда я взяла эти штанишки, в кармане оказались карточки. По карточкам он получал молоко, вот и все! По детским карточкам! Я его позвала и говорю: «Валерий! Я у тебя нашла детские карточки. И ты мог получать детское молоко? Есть у тебя совесть или нет? Как ты меня обманул! Как мне с тобой жить после этого?!» Его это передернуло, он сказал: «Ну, тетя Муся, с вами каши не сваришь». Я говорю: «Чтобы этого больше не было никогда! Ты знаешь, что такое маленькие дети, что такое для них молоко, а карточки у тебя!» — «Я нашел их». — «Мало ли что нашел. Это же детские карточки».

Зима настала, у него был парень знакомый в нижнем этаже, так, лет шестнадцати. Я говорю: «Валерий, вот как было бы хорошо, если бы ты съездил с ним на правый берег Невы. Там картошка в поле еще есть, говорят, и капуста тоже. Взял бы капусты, и мы с тобой что-нибудь сделали». Он говорит: «Ну, что же, тетя Муся, пожалуйста, я могу поехать. Я договорюсь

с Колей». И вот в воскресенье утром они отправляются туда. Я ему дала мешок. И вот, знаете, как я мучилась, потому что начались обстрелы. Думаю: что я сделала? Послала ребенка за капустой, а там обстрел. Ругаю себя. Места себе не нахожу. Уже пять часов, и шесть, и семь, а его нет. Ну, думаю, пропал Валерий из-за меня. И вдруг часов в девять он является. И такой знаете, вот как дед-мороз — с мешком. И вот он так в три погибели согнулся, идет, как странник божий. Я говорю: «Валерий, ты жив!» Он говорит: «Да. Тяжело было. Переправлялись на катере, пять рублей (а я ему пять рублей дала с собой) не понадобились, тетя Мусь, возьмите». Я взяла эти пять рублей. Он привез мне пять кочанов капусты. Я эти кочаны потом посолила. Он мне, например, мог сказать, ложась спать: «Тетя Муся, сегодня у нас собирали на Красную Армию. Пришлось дать двадцать пять рублей». Я прямо с ужасом думаю: откуда у него двадцать пять рублей? Я же ему не даю. Значит — ворованные. Так и есть, значит, он остался воришкой. Я молчу. Мне просто неудобно говорить, что ты украл и дал Красной Армии. Вот здесь на набережной (а мы жили у Большого проспекта) был когда-то такой ресторан «Золотой якорь», а теперь это была столовая этого ФЗУ. Вот однажды он мне говорит: «Тетя Муся, завтра детям будут давать шоколад по двадцать пять грамм — вот такой кусочек шоколада. Но вы знаете, я не люблю этот шоколад. Я могу отдать его вам. А вам дадут батончики соевые, а ведь батончики я страшно люблю. Давайте меняться?» Это он от души хотел сделать мне приятное. Но однажды он меня действительно потряс: вдруг он приходит (а он такой голодный был! Хотя им давали четыреста граммов хлеба, но он не мог наесться, он такой маленький был, голодный и еще перед войной он набегался — неизвестно где был), — вот пришел в комнату ко мне и говорит: «Сейчас кое-что я вам покажу». Лезет за пазуху, достает маленький сверточек в бумаге: «Тетя Муся, чем я вас буду угощать сейчас, вы не поверите! Нам на ужин дали по куску пирога — белого. И вот, тетя Муся, я принес вам. Я не притронулся к этому пирогу». Представляете, какое сердце было у этого мальчишки, у воришки-то?! Я говорю: «Давай пополам разделим». — «Нет, нет, тетя Муся, я только для вас принес». И он действительно от сердца это сделал! С этим пирогом он, голодный мальчишка, шел две остановки. Какой человек мог быть, если бы он не погиб! Этот случай просто меня потряс… Вдруг он пропадает, нет и нет его, не идет ночевать. Я пошла в ФЗУ, говорю: «Скажите, пожалуйста, где Валерик? Может быть, послали куда?» Мне говорят: «Знаете, ваш Валерий с мальчишками — те больше, по семнадцать-восемнадцать лет, — все они убежали на фронт». Так он сбежал, и больше я никогда не видела Валерика.

— Это начало сорок второго года?

— Да, это было зимой сорок второго года. Больше я его не видела. Наводила справки и после войны — ничего. Сбежал на фронт, пропал. Может быть, под обстрел попал, очень многие садились в поезда, поезда, попадали под обстрел, бомбили, все горело. Так Валерий пропал. Я его не могу без слез вспоминать».

Во фронтовых записках артиллериста Сергея Герасимовича Миляева много страниц посвящено неотступным мыслям солдата о детях, которые там, в Ленинграде, — совсем близко, и для фашистских снарядов близко!

Накануне 1942 года С. Г. Миляев записал:

«31.12.41 —1.1.42. Начинаю записывать в новой книжечке в последний день 41 года — закончу в первый день 1942 года. Итак, подведем итоги: 1) 6 месяцев 10 дней войны, точнее — 190 дней. Я — 180 дней в армии, 40 дней на передовой. Артиллерист. Участвовал в «местной» операции стрелком взвода. Почти освоился со своей новой ролью командира артиллериста. 2) За 40 дней от семьи, от ребят ни одной весточки. (Втайне надеюсь, что живы, поэтому никаких выводов пока…) 3) На фронте положение улучшается для нас: наступление, начатое в декабре, продолжается, хотя и медленно. Москва в безопасности, Ростов тоже. Начата десантная операция в Крыму (заняты Керчь, Феодосия). Но Ленинград еще в кольце, а значит, еще очень

тяжело моим героям, моим маленьким героям…»

«21.1.42. Большая радость: получил письмо от ребят наконец-то, датированное 4 января. Есть, таким образом, надежда, что они сейчас живы. Письмо сдержанное, но по существу отчаянное. Как это пишет 13-летняя девочка. Маленькие герои! О матери и от матери ни слова, должно быть, она больна или сердится, думает, что я могу помочь…

«Здравствуй, дорогой папа!

Твои письма мы получили все. Извини, что не ответили. В комнате холодно, руки мерзнут. Печку нам поставили, но топим, когда есть что варить. Дров нет. Много я все равно не напишу, а хочется рассказать обо всем. В школу я не хожу. Шурик очень похудел, плачет все время. Валичка тоже. Думаем, что скоро будет лучше. Хлеб выкупаем (1 кг.) и сразу съедаем, потому что есть больше нечего. Редко что-нибудь варим. За водой ходим к остановке. Вода за ночь застывает. Я ничего не читаю, и не хочется. Пиши чаще. Когда мы получаем от тебя письма, нам как будто становится теплее. Папа, Василий (в квартире брат тети Нюши) 24.12 умер. И Бовин отец (помнишь, к Шурику мальчик ходил) тоже умер. Писать больше не о чем. О плохом писать не хочется, а хорошего мало. Привет от Шурика, Инны и Валички. До свидания. Люда. 4.1.42. Пиши чаще».

«23.1.42. Жилин привез сразу два письма от ребят и Марии… Мария пишет: на лестнице умерли 18 человек. Жилин говорит, что хуже всех выглядит Шурик и Валя, остальные из моих, говорит, выдержат. Особенно понравилась Мария — энергией и стремлением удержаться. Мария так и пишет: «Цепляемся за жизнь». Да, голод оказался много страшнее бомб и снарядов. Сейчас, надо полагать, дело пойдет на поправку. Даже нам прибавили 100 гр. хлеба. По-моему, лучше бы прибавили ленинградцам, чем нам, армия еще может терпеть».

Чтобы почувствовать цену последних слов, надо прочесть запись, сделанную до того, как прибавили эти 100 граммов:

«17.1.42 г. Я пытаюсь ходить поменьше… два дня, как чувствуется общая слабость. Очень обидно, если сковырнусь не от пули, а от голода…»

Люди, которые изыскивали, изобретали пищу и витамины из бог знает каких заменителей; голодающие врачи, которые невольно на самих себе ставили «эксперименты» по основательно забытой дистрофии и лечили от нее ленинградцев; люди, добывающие топливо, тепло, сберегающие культурные, научные ценности, детские жизни и т. д. и т. п., — в героическом противостоянии Ленинграда это не было столь очевидно, как залпы Кронштадта. Но это было противостояние и не менее важное — для исхода борьбы на северном фланге бескрайнего фронта. Поэт Сергей Наровчатов, воевавший под Ленинградом, как-то заметил: солдаты могли удерживать Ленинградский фронт, голодая и замерзая, потому что знали: есть живые души в Ленинграде, «мы не болото, мы Ленинград удерживали…

Усилия безвестной женщины-матери, спасающей в городе жизнь детей, продолжались и завершались в атаке танкистов или пехоты, в артиллерийской дуэли с фашистскими детоубийцами…

В блокадном музее Ленинградского педучилища № 5 учительница Любовь Борисовна Береговая показала нам оригинал письма из Ленинграда на фронт — тринадцатилетней Тани Богдановой отцу. Как хочется ребенку-ленинградцу, как необходимо ему пожаловаться солдату-отцу и как боится ранить своей болью, своей близкой гибелью того, кто спасает Ленинград! А ведь тринадцать лет ей, Тане Богдановой!

«Дорогой папочка! Пишу я вам это письмо во время моей болезни когда думала, что я умру и пишу из-за того что я жду смерть, а потому что она приходит сама неожиданно и очень тихо. В моей смерти прошу никого нивинить. (В тексте ничего не правим. — А. А., Д. Г.) Сознаться по совести виновата я сома, так-как нивсегда слушалась маму. Дорогой папочка я знаю, что вам

тяжело будет слышать о моей смерти да и мне-то помирать больно нехотелось но ничего не поделаешь раз судьба такая. Я знаю, что трудно вам будет понять мою болезнь так я о ней пишу вам ниже. Сильно старалась поддержать меня мамочка и поддерживала всем чем могла и что было. Она даже для меня отрывала и от себя и ото всех понемногу но так-как было очень трудно поддержать пришлось поэтому мне помереть. Папочка болела я в апреле, когда на улице было так хорошо и я плакала, что мне хотелось гулять, а я немогла встать с кровати так спасибо дорогой мамочки она меня одела и вынесла на руках во двор на солнышко погулять. Дорогой папочка вы сильно не расстраивайтесь ведь и мне то умирать больно нехотелось потому-что скоро лето да и жизнь цветет впереди. Пишу я вам это письмо и сома плачу, но сильно боюсь расстраиваться так-как руки и ноги начинает сводить судорога, а ведь как не заплакать, жить больно хочется… Я сильно старалась, что-нибудь поделать что б не приходить в забытье но нет на это никакого желания лежу и каждый день жду вас, а когда забудусь то вы мне начинаете казаться. Я уже стараюсь ничего не думать, но мысли не выходят из головы. Ну дорогой папочка очень не расстраивайтесь и к словам моей смерти прошу отнестись похладнокровнее. Очень я благодарна одной только мамочке да сестренкам с братишкой за всю их заботу и уход за мной, а особенно мамочки, которой я не могла высказать словами свою благодарность, спасибо большое ей, ведь они меня поддерживала всем чем могла».

Солдат Богданов вернулся с войны. Но дома у него погибло пятеро детей. И в их числе — Таня.

Сергей же Миляев увидел своих до того, как погиб сам. Они живут и сегодня, его дети. Но тогда ближе к смерти были они.

«19.2.42. С 11 часов утра 13.2 до 5 часов утра 16.2 дома в семье. Город смерти встречал и провожал трупами, темнотой, грязью, тишиной, зловещей тишиной. Встречен слезами и трупом Валички, отвез ее на братское… Шурик распух. Мария, Инна, Люда, думаю, выдержат… Через 4–5 дней опишу все, сейчас же такой тяжелый осадок, что нет силы писать. Кроме того, физически так устал, вот уже два дня не могу отойти, прошел за 11 часов 60 километров.

20.2.42. По-прежнему физическая слабость, умственное отупение, благо, что занят делом, а то бы… Подождем…

22.2.42. Итак, я начинаю «Повесть для себя» о Ленинграде февраля 1942. В предрассветном тумане далеко высятся силуэты главных зданий красавца — родного города. А в 9.00 я уже был на улицах предместья (2-й Муринский).

Первая встреча — гроб, салазки с трупом без гроба, словом, саночки с трупом. Город внешне выглядит так, как он рисовался со слов других моему воображению: грязь, сугробы, снега, холод, темнота, голод, смерть.

Однако, пройдя пешком до Литейного моста по пр. Володарского, завернув к Московскому по пр. 25 октября, пройдя всю Невскую заставу и далее, везде встречал хмурые, изможденные, но твердые мужественные лица.

11.00 я у двери своей комнаты, с тревогой в сердце стучу и говорю: «Ребята, откройте». Там радостные восклицания: «папа» и рев, слезы. Мария: «Валичка померла».

Самое страшное — декабрь 1941 — январь 1942. Февраль уже стал месяцем надежды на самое лучшее: скорейший разрыв блокады (правда, февраль прошел, осталось 5 дней, и кольцо еще не разорвано полностью, и стремление к «слоеному пирогу» для немцев не освобождает пути ж. д. к городу и может скоро обернуться скучно, когда Ладога начнет пениться весенней распутицей).

500 гр. рабочим, 400 служащим, 300 иждивенцам и детям, немного подброшено мяса, крупы, сухих овощей… Я привез 1 кг хорошего мяса, немного рыбы, крупы, хлеба. С жадностью варили и ели три дня. Сам я отлеживался, отдохнуть давал ногам, готовил их к 60-ти-километр.

переходу, ходил только за водой и немного пилил дрова. Печуркин дымоход плох, в комнате дымно, холодно, неприятно.

Радио работало все дни до ночи на 16.2 (я вышел из дома в 5.00. 16.2.42. по направлению к Финляндскому вокзалу), плохо согревался.

Первые мои слова при входе домой: «Живы! Родные!» И это чувство, что в основном взрослые мои и жена живы — это успокоительно бодрое чувство не покидало меня все время.

Людочка ходила по моей просьбе в книжно-канцелярские магазины. Книг нет (закрыто), бумагу, блокноты, карандаши купила, говорит, что 99 проц. магазинов закрыто. Кстати о торговле: торгуют на рынках. Валюта: хлеб, табак. За хлеб и табак (последний становится дороже хлеба) все, буквально все можно купить. Мародеры, спекулянты… Злость забирает, когда вспомнишь, что такие же, как N. сволочи устроились в городе, и, конечно, не голодают…

День первый моего пребывания в городе 18.2 промелькнул быстро. Поели уху, чайку попили, топили печечку, надымили, легли спать и всю ночь в разговорах не заснули. Передо мною развернулась картина щемиловского быта в эти страшные для Ленинграда дни: ужас перед смертью, борьба титаническая за жизнь… Это как у Гейне: «И покуда не поймешь смерть для жизни новой — хмурым странником живешь на земле суровой…» Шурик стал «старичком», «гномом», и еще тысячу эпитетов и прозвищ ему давали в семье за его угрюмый вид, за сиденье у огня и нежелание даже пройтись по комнате, за его разговоры только о еде, вплоть до того, что требовал «выделите мой хлеб отдельно», за сою и воду, которую он тайком пил и ел, и вследствие этого уже трижды опухал.

Вот и сейчас он в пальто, опухший, бледный, кожа да кости, только две черные бусинки-глазки говорят еще о прежнем розовом Шурике.

Настроение Люды: «Не читаю и еще 1–2 мес. не буду. Не могу». Тела у Марии и девочек от голода грязные, от дыма и отсутствия бани вот уже 3 мес.

В комнатах ленинградцев горшки и ведра… чтобы затем вылить в люк канализации. Это днем и ночью, уборные не работают. Судя ло «Ленправде», в городе много, уже много домов пустили канализацию и отогрели водопровод и отопительную систему. Может быть, скоро это будет и на Щемиловке? Света нет, достали газолин, горит хорошо. Я ведь здесь привык к коптилке. Электро скоро не ожидают. И если чистят трамвайные рельсы, пути, то разговоры такие: «Пустят два-три паровозика с прицепом по 4–5 вагонов — возить рабочих на работу».

Действительно, очень мучительно ходить голодными или полуголодными, во всяком случае вконец отощавшему человеку из-за Невской, напр., на Петроградскую сторону.

День второй моего пребывания начался хорошо: к утру в мягкой постели, под одеялом, почти раздетый, я хорошо заснул. Утром чай с сахаром. В обед мясо с крупой и каша на второе. «Как в мирное время», — с радостью говорили мои галчата, поедая по 2–3 порции супа, по полной тарелке каши. Это отмечали день рождения Людочки и Шурика (18 февраля Люде 14 лет, Шурику 6 лет)… Людочка сходила за покупками, достала за 50 рублей пачку «Норд», я лежал и блаженствовал.

А вот сегодня обещают дать 12 грамм (двенадцать — не путать!) в честь праздника, и я эти крохи, живя без курева с 18.2., т. е. 4 долгих дня, жду как манны небесной.

Людочка пешком дошла до Садовой. Принесла почти все, что я просил. Очень устала.

День, сутки, третьи, что был я дома, прошли в попытках натопить печь, согреться. Затем у соседа около хорошей жаркой печечки погрел ноги, натер их нашатырным спиртом. Лег спать до 4-х часов. Спал вторую и третью ночи крепко и долго.

Затем начались сборы. Поцелуи. Выход в темную, мягкую (снег даже не хрустит, а мнется) ночь. Два часа ходьбы до агитпункта Финляндского вокзала, оттуда дальше.

В 8.00 шел по окраине города, полный впечатлений бодрости и мучительного уныния,

свежести и грязи, героического дыхания великого города…»

Миляев С. погиб в 1944 году в боях под Витебском.

«…Не пережившим блокаду», записывает в дневнике учительница Ксения Владимировна Ползикова-Рубец, «никогда не понять», что смерть здесь «такая же неизбежность, как на фронте». Вот ее запись от 2 марта 1942 года: «Сижу в кабинете завуча. Появляется маленькая хорошенькая девочка — дочь Бубина, которого я хоронила в октябре: «Здравствуйте, Ксения Владимировна, — а у нас в доме все умерли!» — «Кто все?» — спрашиваем; мы с завучем в один голос, глядя на хорошенькое и абсолютно не грустное личико. «Сперва бабушка, а потом мама и Володя в один; день, а меня взяла к себе тетя, а квартиру нашу, пока я была у тети, обокрали, вот я и пришла за вещами, которые были в бомбоубежище, такой красный узел».

Так вот пытается защищаться детство, детская психика: не вбирает, отталкивает…

«А по дороге Валя Петерсон эпически спокойно рассказывала о зиме, — записала Ползикова-Рубец 3 августа, — о том, как отец умер от голода, как «папа любил лес и охоту», как ей было трудно прокормить сеттера и как они его съели».

И снова: «По дороге эпически спокойно рассказывал (мальчик Колобов) про гибель матери на дежурстве от фугасной бомбы. Балка раздавила ее грудную клетку. Он с отчимом выскочил в кухню. Останься они в комнате, и их не было бы в живых. Соседка в вагоне говорит о поседевших висках 19-летнего сына на фронте: «Во и он, верно, так спокойно бы говорил о моей смерти, бы раньше такой заботливый, ласковый, а теперь совета не добьешся; спрашивала, эвакуироваться ли, а он отвечает — как хотите…»

Взрослых поражало, пугало спокойствие детей, равнодушие к смерти близких, к потерям. Что это было детская неспособность воспринять чрезмерное горе, вс общее бедствие, что обрушилось на них? Или это защитная реакция неокрепшей психики?

Мы не знаем, как объяснить это, но мы увидели другое, не менее поразительное. Встретив этих бывших мальчиков и девочек блокады спустя тридцать пять лет, мы обнаружили, как свежо помнят они те самые события, не стараются уйти от горьких воспоминаний, подобно многим, кто были постарше. Наоборот, читают все о тех днях, знают блокаду, включаются в поиски материалов, собирают блокадных своих однокашников… Живет в них тяга к той заледенелой, голодной, лишенной детских радостей поре. А главное — то тогда не пережитое, вроде бы отстраненное горе потерь, все страдания виденные, они, оказывается, навсегда вошли в сердце, отпечатались в детской, еще податливой душе. Они продолжают жить, прочувствованные стократно. Многих они сделали сердечней, отзывчивей к страданиям других, к чужой беде…

А ВПЕРЕДИ ЕЩЕ ДВА ГОДА…

Ушли самые долгие месяцы блокады — зима 1941 и весна 1942 года. Они-то в основном и унесли жизни ленинградцев, которые умерли в городе или какое-то время спустя, многие уже в эвакуации.

Выходил из зимы, из холода и голода Ленинград трудно, но выходил. Надо еще было спасти себя от весенней эпидемии — убрать с улиц трупы, нечистоты, все, что оставили голод и бессилие истощенных людей. Руками их же, обессиленных. Ленинградцы шли на очистку города, как на фронте шли в атаку. Надо было очистить дома, дворы, квартиры и не умереть весной, летом от неизлечимой глубокой дистрофии и не дать умереть другим. А тут — снова опасность, ожидание вражеского штурма. И злобные, ночные и дневные, обстрелы, слепые — «по площадям» и прицельные — по трамвайным остановкам, госпиталям, кинотеатрам…

«Да, смерть глядела этой зимой в самые наши зрачки, глядела долго и неотрывно, — рассказывала Ольга Берггольц выжившим ленинградцам про них самих, как рассказывают человеку про кризис болезни, когда он миновал, — но она не смогла загипнотизировать нас, как гипнотизирует удав намеченную жертву, обезволивая ее и покоряя. Фашисты, заславшие к нам смерть, просчитались».

Город чувствовал себя, как человек после тяжелейшей болезни: слабость, но и невероятный прилив душевных сил, жадность к жизни.

«Я работала санитаркой в эвакогоспитале № 68 на углу Б. Пушкарской, — пишет Вера Ивановна Павлова из Тосно. — Ни воды, ни света, почти у всех был голодный понос. И вот в такой палате почти умирающие вдруг закричали: «Ребята, победа, ура, ура!» Это был апрель 1942 года, по-моему, 15 апреля. И полезли кто как мог к окнам. Ура! Победа! Оказывается, зазвенел трамвайный звонок и прошел трамвай, который всю зиму стоял на Большом проспекте. Если бы вы видели, сколько было радости! Кто посильнее говорили: «Это уже победа!» — убеждали, объясняли…»

В некоторых записях и дневниках звучит восторг, ликование летних дней 1942 года, когда на город хлынули потоки солнечного света, запоздалого тепла, зеленые листочки появились на ветках, трава брызнула из развороченной земли.

Такая вот безоглядная, нерассуждающая радость вычитывается в дневнике девятнадцатилетней Галины Ба-бинской:

«27 июня 1942 года: Город — как хочется писать о нем, о нашем Ленинграде! Тот, кто не перенес эту зиму здесь, не чувствовал, не перенес всех ее трудностей на себе, не может понять радости ленинградцев, наблюдающих возрождение своего родного города. Об этом хочется говорить и говорить без конца, говорить об этом возвращении к жизни. Сейчас в особенности оживление города заметно на каждой мелочи. Незаметно это для постороннего глаза, для глаза, не видевшего Ленинград зимой.

Улицы и проспекты совершенно чистые, с шумом и звонками. Как приятно слышать эти звонки, сидя дома у окна за работой. И так, со звонками, пробегают мимо сверкающие чистотой стекол трамваи. Всего несколько маршрутов, но все-таки это настоящий трамвай. И сколько человеческих жизней спас трамвай. Трамвай спас жизни! А прежде говорили наоборот. Да, нам понятно это выражение — трамвай спас жизни!

На трамвайных остановках толпы. На улицах снуют взад и вперед деловые люди. Но есть и женщины нарядные, мужчины, женщины, ребятишки. В садике у театр особенно нарядна публика: женщины с модельными прическами, в изящных туфлях, в изящных платьях всех цветов

радуги; мужчины в начищенных костюмах, в нарядных ботинках. Но главным образом военные. На некоторых девушках исключительно складно сидят шинели, девчата здоровые, румяные, веселые.

В кассах кинотеатров и театров, в Музыкальной комедии — очереди. Перед началом спектаклей у подъездов собирается большая толпа неудачников, не имеющих билетов. В саду Дворца пионеров концерты джаза Клавдии Шульженко и Владимира Коралли. Открывается сад отдыха. Дает концерты филармония. На улицах группа людей возле очередного номера свежей газеты. Народ заходит в промтоварные и продуктовые магазины. Продавщицы в чистых белых халатах. На полках чистые белые занавески. Продукты выдаются в срок и без очередей. А на углах чистильщики сапог. Парикмахерские полны дам на маникюр и горячую завивку — со своим керосином!..»

Или как вспоминает С. С. Локшин пословицу тех дней: «Заходите с керосинками — выходите блондинками!»

Вот как оно воспринималось после блокадной зимы! Здесь все гиперболизировано. Но преувеличенность эта, ликование, умиление, жажда видеть, находить только хорошее показывает не столько весну и лето 1942 года, сколько лютость ушедшей зимы, нечеловеческий ужас пережитого.

То, что очистили город, что ослабевшие руки сумели поднять лом, воткнуть лопату, вывезти тачку, было чудом. Сегодня, издали, это воспринимается естественно. Вышли, выходили день за днем люди во дворы, на улицы, площади, скололи лед, убрали завалы грязи, отбросов, нечистот, вывезли, вычистили, отмыли… Что-то похожее» на теперешние апрельские субботники. Но тогда у самих же ленинградцев результаты работы вызывали изумление. Они не предполагали, что сумеют это сделать, что осилят. Секретари райкомов, председатели райисполкомов знали, что сделать это необходимо, но не понимали, каким образом высохшие, вялые от слабости, похожие на призраков люди смогут справиться — вручную, без механизмов, машин — с таким гигантским трудом.

Почти у каждого блокадника бережно хранится справка, которую давали тем, кто участвовал в очистке города.

Как же было в городе летом 1942 года?

Город грелся.

Люди стояли, сидели на солнышке, стараясь прогреть замерзшее, казалось, до самых костей тело. Холод выходил медленно, долго. До июня стены домов еще дышали холодом. Солнце было также и светом, от которого отвыкли. Люди наслаждались ярким светом, открывали окна, забитые фанерой, завешенные одеялами, тряпками. Солнце беспощадно высвечивало внутренности комнат. Закопченные стены, потолки. Обломки несожженной мебели. Вывороченный на дрова паркет. «Буржуйка». Тряпье на кроватях, диванах. Грязь, грязь, нечистоты, обломки, осколки стекла, посуды — следы бомбежек… Опустели книжные полки. Повсюду проступали следы потерь и смертей. Во что превратились лестницы, дворы! Крыши продырявлены, прожжены зажигалками, пробиты осколками. Из всех окон торчали трубы «буржуек». Открылись от снега развалины, остовы горелых домов…

Человеку нужна возможность оглядеться, увидеть себя и ужаснуться. Это было необходимо.

Город оживал.

Откуда-то появились силы. Заготавливались дрова, торф для электростанции. Исчезли очереди за водой, заработал водопровод, не везде, но в дома один за другим стали подавать воду, хотя бы в нижние этажи. Открывались бани, прачечные. Стали изготавливать подошвы. Их

штамповали из старых автомобильных и авиационных покрышек. Реставрировали одежду. Стали шить пальто, костюмы. Делалось много. Однако обстрелы продолжались. И бомбежки. Питания не хватало. На скудном пайке истощенный организм не способен был полностью восстановить силы. Давали куда больше, чем зимой. Уже с 11 февраля 1942 года ленинградцы начали получать: рабочие — 500 граммов хлеба, служащие — 400 граммов, дети и иждивенцы по 300 граммов, стали выдавать крупу, сливочное масло. И все же этого было недостаточно, питания не хватало, нужны были витамины, овощи…

«На нашем дворе появились первые листки. И вот из окна своего дома я вижу: подошел к дереву гражданин, стал срывать эти листья и класть в рот, а затем открыл портфель и начал бросать листья в портфель… Это дерево и сейчас стоит около стены дома в нашем дворе…» (Вера Яковлевна Бокина).

В парках и садах невозможно было увидеть ни одной одуванчика. Из листьев одуванчика варили щи, из корней, мясистых, сочных, делали лепешки. За одуванчикам приходилось ездить все дальше — в Удельную, Озерки! По знакомству двенадцатилетнюю Марину Ткачеву пропустили за одуванчиками в зоопарк. Она не может забыть, что там она ранним летом 1942 года увидела живого бегемота. Как раз соседка, которая пригласила ее (она работала в бегемотнике), и спасла бегемота. Это тоже одна из правдивых ленинградских легенд, о которой, к сожалению, Марина Александровна подробностей не знает. Помнит лишь свои страхи и восторг, с каким миновала клетку, косясь на бегемота, помнит, как потом соседка вывела ее на траву к одуванчикам. И помнит еще, как проходила служительница и что-то сердитое пробурчала насчет этих одуванчиков, которые, мол, растаскивают посторонние. Она имела, наверное, в виду интересы зоосадовских зверей.

«На рынках стали траву разную продавать — по 30–40 рублей за сто граммов щавеля просят, а то и хлеб им давай. Я купила крапивы и сварила щей, а на следующий раз лебеду сварила. До чего голод довел людей, смотришь, на вид приличная дама, нагнувшись, щиплет травку и кладет в рот, как коза» (Из дневника Ольги Ефимовны Эпштейн).

Люди мылись в банях, приводили себя в порядок, чистили свои жилища, вскапывали огороды, заготавливали дрова — исподволь готовились к следующей зиме.

В июле 1942 года Л. М. Филиппова получила самый для нее дорогой подарок — пакет лебеды. В то время это был драгоценный дар, но тут важно и что предшествовало этому подарку. Любовь Михайловна до сих пор волнуется, стоит коснуться того случая. А дело обстояло так.

Зимой пришло к ней письмо с фронта от ее товарища по горкому комсомола И. К. Ковбаса. Он спрашивал, чем можно помочь его жене и дочери. Л. М. Филиппова сама получала 200 граммов хлеба, что она могла? Но она была женщиной огромной энергии и собранности, недаром все эти годы она руководила парторганизацией Государственной Публичной библиотеки.

…«— Думаю, пойду я к Попкову, председателю горисполкома, пойду к Петру Сергеевичу. С чем пойду? Использую свой депутатский билет. Ведь не для себя, для помощи. И действительно, написали записочку на Тамбовский холодильник: двести граммов сухарей, плиточка шоколада, сушеная картошка, какая-то крупа. Я к Попкову в Смольный рано утром пришла, оттуда на Тамбовскую. Я такая была счастливая, что столько получила! Только бы мне застать родных Ковбаса живыми. (Илья Кириллович был комиссаром какой-то бригады.) Дошла и до Невы. Уже вечер. А чтобы сократить расстояние, не через мост пошла, а по Неве, там к Александровскому

саду была дорожка. Вьюга страшная! И вот вы знаете, это самый страшный момент в моей жизни. У меня пакет, там шоколад, я иду через Неву и уже падаю. Как бы не съесть! Этого чувства я вам передать не могу никакими словами. Страшный случай. У меня там шоколад и сухая картошка, а я должна донести. Понимаете? Иду через Неву. Вьюга задувает, думаю, мне уже не дойти. Как я тогда с ума не сошла, не знаю. И все-таки я иду, иду, иду. Вот улица Ленина. Нашла этот самый дом. Поднялась на третий этаж. Ищу комнату, где они жили (это была коммунальная квартира). Вхожу. Мне стало легче, что я донесла.

— Борьба с собой была для вас труднее, чем с вьюгой?

— Этого не передать. Это было страшно. Когда я переступила порог этой комнаты, мне стало легче, что я донесла. Я такая же голодная, такая же больная, я не могу двигаться, но уже счастливая. Думаю — были бы только живы! Вижу — с одной стороны кровать, с другой стороны кровать. Спрашиваю: «Ксения Петровна? Люся?» В ответ слабый голос Ксении Петровны и более сильный девочки. «Я вам от отца принесла привет!» Ну, знаете, что тут было! Мало того что счастье преодоления! Я какой-то стул очередной, какие-то книги оставшиеся вытащила, растопила «буржуйку», поставила кипяток. Они, конечно, поднялись. Мы сели около этой «буржуйки». Они меня угощали, и я, уже не стесняясь, поела, потому что я иначе с улицы Ленина до Публичной библиотеки не дошла бы. Это был очень счастливый случай. К счастью, они обе выжили. Потом мне удалось их отправить на Большую землю, эвакуировать, тоже через горком партии. И вот — самый дорогой подарок, который я получила в блокаду. Я прихожу домой, лежит большой-большой пакет — Любови Михайловне Филипповой. Я уточняю: это когда они встали и окрепли, весной. Я их после отправила. Они тот паечек разделили и обе выжили. И жили уже на Крестовском острове, были на своих ногах, собрали там лебеду и весной сорок второго года вот такой большой пакет принесли мне и трогательное письмо. Из этой лебеды мы наделали таких котлет! Такой у нас был пир! Ведь они уже умирали обе — девочка и Ксения Петровна. И тот паек, который я принесла и они постепенно ели, их все-таки спас, я так считаю. Еще помню какие-то одуванчики, которые мы тоже ели. Но главное — лебеда. Одуванчики — в салат, а из лебеды очень хорошие можно было сделать котлеты. Это был роскошный подарок!»

Рассказывает З. А. Игнатович:

«— В первую весну сорок второго года, когда появилась трава, то народ как будто превратился в животных: любую траву срывали и ели. Ни одной травки в Ленинграде не оставалось под забором. Однажды мы с одной из сотрудниц, Софьей Хатановой, поехали в Ботанический сад, хотели договориться с ними, чтобы разные травы посылать им на анализ. Надо было выяснить, какие травы ядовитые, какие не ядовитые. Ботанический сад был закрыт на замок. Мы позвонили. Когда мы туда вошли, увидели купырь вот такой высоты! Господи! Нас попросили подождать, пока придет научный сотрудник. Мы же стали этот купырь есть — с таким удовольствием!

— Купырь — это трава?

— Трава. Листья ее похожи на листья моркови. И мы этого купыря так наелись. Никто не трогает, везде пусто, и мы ели. Когда вышел к нам Никитин, нам стало неловко… Мы договорились, что травы мы на анализы, конечно, будем посылать. Мы его спросили: а можно нам купыря нарвать? Он говорит: «Это же сорная трава». Я говорю: «Ну, все равно». И вот мы с ней набили две сумки, пришли, в лабораторию. Наелись все и были счастливы. С таким удовольствием ели эту сорную траву: купыря наелись!»

«Июнь месяц 1942 года. С каждым днем организм слабел, хотя хлеба прибавили, я уже получала 400 граммов в сутки, но есть еще больше хочется… Бомбежки, обстрелы, воздушные тревоги продолжались, но было хорошо тем, что мы грелись на солнышке, как мухи…

Июль месяц 1942 года. На улице тепло. Распустились деревья, выросла трава. Мы с мамой и другие ходили на кладбище и собирали какие-то корни, варили и ели. Крапивы и травы почти не было, так как голодные люди собирали все для питания…» (Из дневника Ульяны Тимофеевны Поповой).

К тому времени Ульяна Тимофеевна Попова начала работать в столовой кассиром. Рассказывая о своей работе, она упоминает и меню, и обстановку в столовой того времени:

«Давали щи из сушеной морской капусты и дрожжевой суп, давали кашу, на 200 граммов талон, а также выдавали на номерные талоны дополнительно шротовую запеканку.

…Тарелки вылизывали… Вечером я клеила вырезанные талоны по сто штук на бумагу… Клеить талоны было не на что. Не было бумаги. Клеили на газеты или на старые ноты, которые кто-то приносил».

Что ни рассказ, то свое, не похожее на другие восприятия весны 1942 года. По-разному люди выходили из блокадной зимы, по-разному оживали. Не ко всем возвращалась вера.

Было интересно обратиться к наиболее полному из всех дневников — как встречал весну и лето 1942 года на своем «малом радиусе» Г. А. Князев. В записях его чувствуется усталость. Он все время подбадривает себя, обнадеживает, но это все труднее дается ему.

«26 мая 1942 г. Плохо здоровье академика физиолога Ухтомского. У него на почве запущенной цинги началась гангрена. Врачи считают его положение безнадежным. Здоровье академика Крачковского все время колеблется, как пламя свечи. На днях у него был консилиум. Его взяли под наблюдение лучшие врачи города.

3 июня. Около нашего архива разломаны ворота на дрова… Некоторые «охотники» выпиливают балки на чердаке… Самый страшный для быта ленинградцев вопрос — как просуществовать зиму?

12 июня. На моих глазах от голода погибает Матрена Ефимовна, наша бывшая домработница, которую я взял временно на службу. Она на иждивенческой карточке. Сегодня она вся почернела. У нее, как она призналась мне, начался голодный понос».

Он изо всех сил хочет сохранить объективность. Он тщательно отмечает все хорошее, любые успехи, приметы возрождения жизни.

«22 июня. На грядах в Румянцевском сквере поднялись всходы… Совершенно не встречаю транспорта с покойниками — ни ручного, ни автомобильного. Вероятно, не в те часы провозят, когда иду на службу. Вижу немало людей, и нестарых, с трудом передвигающихся, некоторые держатся даже за стенки дома. Напротив нашего дома на самом берегу продолжают женщины рыть траншеи.

В городе, по крайней мере на моем участке, малом отрезке радиуса, очень чисто; каждый день подметают. Дворники — сплошь женщины. В Академии художеств в одном окне сегодня маляр вставлял стекло.

28 июня. Большая тревога на сердце. Под Севастополем непрерывные ожесточенные бои… Писать ли дальше записки? Слишком они становятся тяжелыми.

Нам, современникам, не видно всего, а то, что мы видим, может быть, совсем не то, что должно войти в историю. Нужны ли такие записки, как мои, не очень ли они односторонни, субъективны?.. И все-таки продолжаю писать. Я уж десятки раз пояснял, что веду свои записи как современник великих событий, но не активный их участник. Я обязан и должен сделать свое дело, записывать до тех пор, покуда в состоянии буду писать.

М. Ф.[23] катастрофически худеет. Карточек не хватает. Пайка не выдают. Купить по спекулянтским ценам ничего не удается. Сжимаю зубы и гляжу судьбе в глаза…

Пришлось прервать выписку. С воем и визгом проносятся над крышей снаряды и где-то рвутся недалеко. Подошел к окну. В дворовом садике копаются в песке ребятишки; кто-то идет с кувшином. Яркое солнце, почти безоблачное небо. М. Ф., к счастью, только что вернулась домой. Мы вместе. Чего же беспокоиться? Продолжаю.

Страшные опять приходят мысли в голову… Неполучение пайка поставило нас в тяжелое положение. М. Ф. плохо себя чувствует.

Борюсь. И буду бороться. Еду сейчас проверять дежурство в архиве. Исполняю свой долг до конца…»

…Весна и лето 1942 года воспринимались по-разному Г. А. Князевым и девятнадцатилетней Галиной Бабинской. Сперва кажется, что это совершенно разные города. Или разные времена блокады. Но стоит вдуматься, вглядеться — и окажется, что они не опровергают друг друга и даже не противоречат. Существовало и то и другое. Все зависело от того, кто смотрел, какими глазами. Надо наложить несколько разных картин, чтобы возник перед нами медленно оживающий Ленинград 1942 года, где еще умирали, не в силах оправиться от дистрофии, и где вскапывали, обрабатывали каждый клочок земли в садах, парках, на бульварах под огороды. Можно понять Галину Бабинскую, когда любая малость виделась ей преувеличенной. Две-три встречные женщины в туфлях и летних платьях были событием, надеждой, счастливой приметой. Чистильщик сапог вызвал восторг. И можно понять Г. А. Князева, который понимал, что блокада продолжается, Ленинград по-прежнему в упор расстреливают вражеские орудия, и впереди вторая блокадная зима, а силы кончаются.

Можно понять и настроение четырнадцатилетней школьницы Д. Лозовской, запечатленное в ее дневнике:

«21 июня. Без одного дня годовщина войны. Сегодня мы занимались алгеброй четыре часа, но не знаю, к чему это приведет, боюсь, что провалю. После обеда ходила в кино, смотрела «Машеньку». Я могу сказать, что картина только ничего, не больше… Я так боюсь алгебры, прямо не знаю.

26 июня. Испытаниям конец! По литературе у меня хорошо, по геометрии четверку получила. Я очень рада, потому что вчера, вместо того чтобы готовиться, я ходила с Асей гулять в сад. Между прочим, в сад Дворца пионеров ходят очень хорошие мальчики, Рома и Лева. Они были с Аськой в доме отдыха. Мне они оба очень нравятся. Вообще мальчики на все сто: культурные, вежливые, хорошо одеваются, не подкопаешься… На завтрак нам дали два кекса из сои с киселем, стакан сладкого кофе и 100 граммов хлеба. Было очень вкусно приготовлено. На обед гороховый суп, какая-то рыба с лапшой, на третье стопочка морса и 200 граммов хлеба. На ужин нам дали соевую запеканку с томатным соусом, стакан сладкого чая (на сахарине) и 100 граммов хлеба».

И рядом другое. Нам дала свою фотографию Мария Ананьевна Щелыванова. Показала и сама ужаснулась:

«Вот смотрите, какие волосы и какое лицо, совсем как у мертвой. Вот какие косы были, а от голода начали вылезать. Я сказала своей знакомой: я отрежу волосы, куда они мне. Нет мыла, ничего нет… Это сорок второй год, ближе к осени. Последний раз я распустила волосы, и она меня сфотографировала. Нет, обратите внимание, какое у меня было страшное лицо!»

Из многих свидетельств мы отбирали не только схожие, но и разные, несовпадающие, разноречивые. Мы не хотели выводить из них среднее. Среднее не значит истинное.

Все четыре Евангелия излагают одно и то же. Четыре автора описывают одну и ту же

судьбу, одни и те же события, но каждый по-своему. И если подойти к этим произведениям как к явлению литературному, то возникнет вопрос: зачем, почему эти четыре повести существуют вместе? Почему читательский интерес не гаснет, не падает по мере чтения каждой новой повести? Каждая следующая дает все меньшую информацию, все меньше нового… Авторы повторяются, хотя у каждого есть свое — и свой слог, и свои факты, и свое видение. И все же все четыре повествования вместе интереснее, чем каждое в отдельности. Они образуют какое-то устойчивое единство, несмотря на все повторения, несмотря на разные толкования… А может, именно благодаря этому? Они как бы поддерживают друг друга, помогают, высвечивают, почему-то не мешая, а усиливая друг друга. Какое взаимодействие между ними происходит? Таинственное, сложное это взаимовлияние не укладывается в известные законы литературы. Когда Ренан пробовал на основе четырех Евангелий и всей известной ему литературы написать «Жизнь Иисуса», получилось произведение, лишенное художественной силы. Такая же судьба постигла и «Евангелие» Л. Н. Толстого, созданное как нечто сводное, более точное. Пример этот поучителен…

Четыре Евангелия создают объемность: можно обойти со всех сторон, то есть с четырех сторон обсмотреть историю Христа. Разноречивое, многоликое повествование людей о блокаде повторяется и не повторяется, и несется дальше, и уходит в глубь страданий, испытаний. Впрочем дело не в одних только страданиях, страдания открывают, нам более важные свидетельства, которые можно услышать в этих рассказах, — границы человека, пределы человеческие. Они расширяют эти сферы силы и высоты человеческой, продвигают их в пределы, казалось до этого, необитаемые, безумные, где нельзя соблюдать законы морали, где душа гибнет, а оказывается, и там человек может остаться Человеком.

ЭТА БЕССМЕРТНАЯ, ЭТА ВЕЧНАЯ МАРИЯ ИВАНОВНА!

А Мария Ивановна из ЖАКТа — помните ее, командира группы самозащиты? — она все еще там, возле своих «жилых объектов»… И сегодня память ее мечется между домами и бараками, тащит и нас следом туда, где с громом и дымом разорвался снаряд, или где, наоборот, подозрительно тихо, или куда ее послало письмо фронтовика, встревоженного молчанием своей семьи…

М. И. Дмитриева. Фото 8 августа 1942 г.

Сегодня Мария Ивановна Дмитриева занимается садоводством, ждет к лету в гости внучек («Две девочки-школьницы, чудесные»), пишет письма дочери, живущей на Севере с мужем-летчиком, обсуждает с соседками местные новости…

Но память ее блокадная при малейшем толчке снова там, возле «жилых объектов»…

«— А здесь был у нас сильный обстрел, на Швецова, тридцать восемь. Вернее, здесь так было: вначале, нам казалось, нас сильно обстреливали, а когда разместились здесь «катюши»,

вот тогда действительно началось… Здесь есть завод металлолома, и туда подвели рельсы и поставили «катюши»… Их быстро выкатят, нацелятся и стреляют. Потом они уйдут, а мы-то останемся. По нас и били. Так били, что дома были разрушены на нет. Получилось это примерно, если не ошибаюсь, в марте месяце. Это днем было. Я помню, что уже позавтракала, пошла в контору. Начался свирепый обстрел. Я дошла до конторы. И не помню, кто вскричал: «Мария Ивановна! Там разбили дома!» Снаряд попал в тридцать третий дом. Ну, было трудно подойти. Пошла я. Пошла, пробралась все-таки. Это далековато, к Тентелевке, туда, в стороне дом. Вот пришла, вхожу. А там какой-то стиль был, не знаю, — на обе стороны комнаты, а посредине коридор сквозной. Вроде строители жили или что-то такое.

— Общежитие?

— Да, как общежитие. И были не квартиры, а только комнаты. Причем длинный коридор. Двухэтажный дом. Ну вот, я прошла по первому этажу, никого нет. Стукнулась туда, сюда, все закрыто. Тогда я наверх прошла, а там стенка разбитая. Дом-то деревянный, и когда его снарядом стукнуло в угол в верхние перекрытия, бревнато встали как карты. Но это в одном углу только, а остальные все нормально.

— А вот в этих закрытых комнатах, куда вы толкались, там, может; быть, люди были?

— Вот я и думала, только никто не отозвался. Потом, когда я уже обратно повернула (но обстрел еще не кончился, и осколки жих, жи-их в этот дом), шла назад, я услышала какой-то звериный рев, просто ненормальный просто зверь ревет, причем шибким таким, сильным голосом. Я остановилась. Потом вышла на улицу и смотрю наверх: как там разбита квартира и где? Стала прислушиваться: откуда звук издается? Вижу — из этой разбитой квартиры. Я подошла к двери, слышу, что здесь. Но, дверь настолько плотно закрыта, что не шевельнуть ее нисколько. В это время бежит ко мне мальчик, подросток, лет ему пятнадцать-шестнадцать. Очень хотела бы теперь его найти, увидеть. Это Юрик Лебедев. Я его запомнила… Родители у него эвакуировались давно. Старший брат, летчик, ушел на фронт, это он мне рассказал. А он был в ремесленном железнодорожном училище. У них наверху была квартира (тоже все разбило). И вот он появился откуда-то. (Юра после, когда ремесленное эвакуировалось, часто приходил к нам помогать — тушил зажигалки и всякое там другое.) Ну вот. Я говорю: «Где же это кричат? Кто здесь живет? Я во все двери толкалась — везде закрыто». А он говорит: «Ах, это Дуся!» Он в доме всех знал. Я говорю: «Ну а как же мы с тобой туда попадем? Дверь-то не поддается». Он говорит: «Подождите, Мария Ивановна, сейчас». Ну, он юркий такой, худенький. Он пошел другой стороной. Отсюда стреляли, а он другой стороной обошел и говорит: «Я сейчас в эту дыру, которая пробитая, пролезу». Я говорю: «Осторожней смотри: осколки». Пролез. И кричит: «Мария Ивановна, я здесь!» Дверь бы нам нипочем не открыть. Оказывается, от толчка снарядом вещи попадали. У них гардероб большой стоял, и этот гардероб на дверь опрокинулся. Ну, Юрик этот гардероб отодвинул, приоткрыл дверь, и я туда вошла. Там, знаете, известь, мел, как облако! Потому что все осыпавши, вся штукатурка. Вот такие груды штукатурки! Ну когда немножко это вроде стало осаждаться, я увидела, кровать стоит. Она вся завалена, потом диван или оттоманка, тоже вся завалена. И везде доски раскиданы. Я говорю: «Подожди, Юрик, не двигайся». Потому что я услышала писк какой-то, что-то вроде писка, кошку, что-ли, придавило. Я говорю: «Подожди, Юрик, мы должны осторожны быть». Ну вот — и вдруг опять рев этой женщины! Она без сознания, израненная, под кроватью! Она почему-то затиснута под кровать. Кровать низкая, железная, и она заткнута туда.

— Может быть, от обстрела забилась?

— Может быть, она заползла, а скорее волной ее забило туда. И опять таким же голосом страшным она заревела. Только поэтому мы увидели, что кто-то под кроватью лежит. И вдруг опять писк — вот такой, вроде котенка. Не знаем, с чего начинать. Я говорю: «Юрик, как можно

осторожнее шагай, потому что придавишь». Вы знаете, на цыпочках шагали через эти плиты-то, штукатурку.

— Которые на кровати лежали?

— Нет, на кровать-то мы не ступали. На полу. Теперь, значит, стол. Он посередине стоял, но ничего там от стола не осталось, только доски лежат. Подошла я, как взяла, средняя доска и поднялась. К моему удивлению (я, честное слово, не знаю, как без языка не осталась!), лежит вроде бы ребенок. Но грязный, в глине какой-то, в извести, мокрый!

— Голенький? Только еще родился?

— Да, конечно, только родился, из утробы матери. И вы знаете, за ним тянется пуповина. Это от матери, из-под кровати, через это все… Кошмар! Никогда ничего такого не видела. Но в это время, я не знаю, откуда что-то бралось. Я говорю: «Юрик, ищи воды. Воды и ножницы!» Юрик побежал. Бегал, бегал (их квартира тоже наверху). И несет мне: «Мария Ивановна, не нашел я ножниц. Вот нож принес и графин, хвоей настоянный». «Ну, — я говорю, — она, наверно, кипятком налита. Ничего страшного». А у кровати, знаете, такие красивые свесы вязаные. Ну, я выдернула этот свес из-под обломков, кромку от него, так, сбоку, оторвала пупок перевязать. Все это встряхнула — больше делать-то нечего, у нас ничего другого нет. Подошла, свесом этим накрыла ребеночка — и на кровать в уголок. Завернула я ребеночка. Он запищал. От грязи задыхается, плакать-то не может, понимаете ли, как котенок пищит. Я говорю: «Ну вот я пупок перевязала, нужно обрезать, чтобы не тащился». А сама не знаю, сколько оставить. Оставила сантиметров восемь, наверно.

— Вам никогда не приходилось принимать роды?

— Никогда не приходилось, конечно, где же там. Не приходилось и не видела даже никогда. Ну вот, я пупок обрезала ножом. Перевязала.

— И Юрик помогал?

— А Юрик мне вот что сказал. Я говорю: «Сейчас будем вытаскивать больную оттуда». А он: «Мария Ивановна, неудобно мне». — «Что ты! Мы спасаем жизни! И ты о каком-то неудобстве говоришь! А как же врачи? Да ты что? Никаких неудобств! Слушать не хочу!» И он принялся мне помогать. И вот я этого ребеночка завернула. Потом говорю: «Теперь ты мне поливай». Он из графина мне поливает. А я хоть завернула, но один конец оставила (свес-то ведь длинный), и вот он мне на этот конец льет. Я стала чистить изо рта все, чтобы дыхание открыть ребенку. И он заплакал настоящим голосом. А то он задыхался от этой грязи. На кровати расчистили местечко. Положили ребенка. Молчит. «Давай вытаскивать». Как ее вытащить? Она оказалась такая здоровая, такая сильная женщина, причем косы распущены, расплетены. Длинные, ниже поджилок волосы — красивые светлые волосы. Боже мой! Мы с ним тащили-тащили ее. А у нее так: у нее здесь на голове изранено все, видимо, осколком. И волосы прилипли, с кровью, грязью. И она как шевельнется, у нее сильная боль: потому она и кричит. Я говорю: «Знаешь что, Юрик, простит она нам, если живая будет. Давай обрежем это, чтобы ее не тревожило».

— Волосы?

— Волосы.

И я ножом эту прядь. А другие пряди оставила. Я говорю: «В больнице отмоют». Ну вот, мы ее вытащили. Вытащили — она без сознания. Только изредка прямо, знаете, каким-то тигровым голосом ревела. Ужасное что-то! И вот подтащили ее к дивану. Мы все эти плиты, знаете ли, расчистили. Мы теперь уже ходили свободно, потому что расчистили себе дорогу. Мы ее подтащили к дивану, но никак нам ее не положить на диван. Вся грязь за нею тащится. У нее место не вышло, ничего, понимаете? «Юрик, ты держи. Немножко приподнимем. Ты только держи, подставь колено. А я здесь буду заворачивать». Все-таки положили! Только мы успели

положить, еще тут подбираем все, вдруг девушка бежит. «Марья Ивановна, — кричит, — Марья Ивановна! Вы живы?» Мы уж забыли об обстреле. Обстрел-то не кончился, вспышки, осколки! Это была Муся, Смирнова ее фамилия. Из дома тридцать шесть. А квартиру не знаю. Молоденькая девушка, тоже, наверно, вот такая, как Юрик, ей лет шестнадцать. Я говорю: «Жива я, Мусенька, жива». И еще говорю: «Нам необходимо сейчас же вызвать машину. Ты иди обратно к телефону. Осторожно пробирайся!» — «Я осторожно. Вы-то осторожнее, ведь он сюда все бьет!» И потом она мне сообщила: «Марья Ивановна! Еще разбило дом шестьдесят седьмой на Тентелевке, все пробило одним снарядом, и печка там упала». А там лежали все больные, и печка — круглая, большая — им на ноги. Они все и умерли. Я говорю: «Муся, мы тоже должны закончить здесь все. Вызывай машину. Скажи, что роженица, они быстрее приедут». Ну, правда, быстро-быстро, мы не успели тут прибрать по-настоящему, как машина приехала. Сдала я их.

— Ни фамилии, ни имени не помните?

— Имя ее Дуся. А фамилия? Если только вот найдете Юрика этого Лебедева, то он, конечно, знает. Они в одном доме жили. Он наверху там, во втором этаже жил. Он знает хорошо. Чего-то такое… Нет, не хочу, потому что я перевру, так я хочу сказать. После этого я справлялась. Вернее, как? Не справлялась. Меня вызвали как-то в Дом культуры (уж наверно, года через два после этого всего, после войны). Вызвали в Дом культуры и попросили рассказать отдельные эпизоды. Там были стенографистки. И когда я закончила, я говорю: «Вот что я не знаю: я забыла даже посмотреть — мальчик это был или девочка. Очень сожалею. И не знаю сейчас, жив ли он». Тогда поднялась какая-то женщина со стула и говорит: «Мария Ивановна! Жив мальчик, и жива его мать». Они получили комнату, когда она вышла из больницы. Долго лежали в больнице, где-то у Черной речки, на Петроградской. Так я не нашла. Все хотела написать в бюро добрых услуг — может быть, они бы нашли.

— А Юрик после куда делся?

— Про Юрика тоже не знаю. Когда все тут кончилось, он исчез. Наверно, они получили площадь. Лебедев Юрик. Его брат — летчик. Мать и отец были эвакуированы».

Когда рушился под тяжестью преступлений несостоявшийся «тысячелетний рейх» и фашистскому Берлину непосредственно стали угрожать окружение, штурм, Гитлер вдруг вспомнил про Ленинград.

А в циркуляре рейхсфюрера СС Гиммлера, ставшего командующим группой войск «Висла», Ленинград приводился как пример поведения жителей, обороны города, создания неприступной крепости. Циркуляр № 40/10 завершался фразой: «Ненависть населения создала важнейшую движущую силу обороны».

С каким «научным» хладнокровием старались они удушить, истребить, стереть с лица земли Ленинград. Не получилось. Теперь приходилось «научно» (с учетом ленинградского опыта) спасать собственную столицу.

Да только ни там, ни здесь их каннибальская «наука», их самые предусмотрительные приказы не могли решить задачу, привести их к победе.

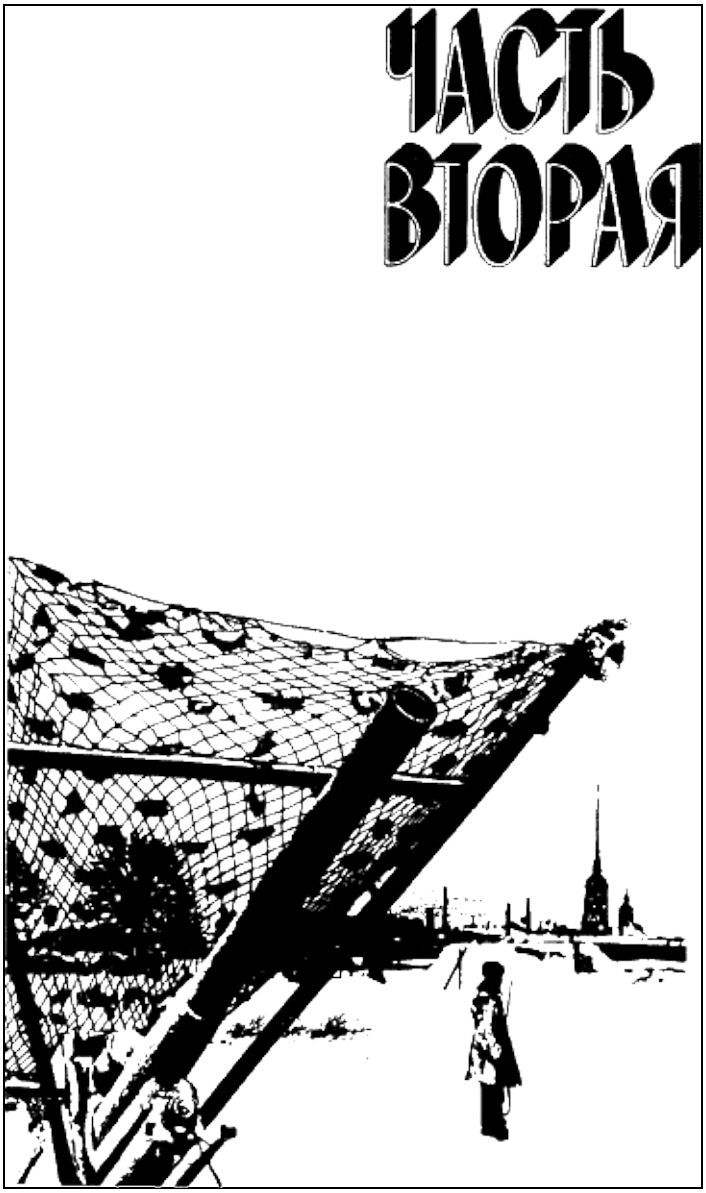
Нужно было что-то большее, чем блудливый страх перед расплатой, за жизнь свою страх.

Нужно было что-то такое, что сильнее любых приказов, всех мук голода. Что сильнее и страха и смерти. Именно то, чем держались ленинградцы, что питало волю и героизм советских людей под Москвой, и в Севастополе, и в Сталинграде, и в партизанских краях и республиках, — великая, высокая человеческая правота и оправданность борьбы до последнего дыхания.

Мария Ивановна, бессмертная, вечная Мария Ивановна не капитулировала. Капитулировали они — те, чта старались убить ее бомбами, снарядами, похоронить под стенами обрушившихся домов, уморить голодом, холодом, усталостью, безнадежностью. Победила она и безымянный

мальчик, который родился, казалось бы в самом царстве смерти. Жизнь победила.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ



ТРОЕ ИЗ ТРЕХ МИЛЛИОНОВ

В первые дни войны, несмотря на стремительное продвижение фашистских полчищ, никто еще не мог предвидеть, какова будет военная судьба Ленинграда и что ждет ленинградцев.

Слово «блокада», вобравшее в себя все мыслимые» и немыслимые трудности, мучения, беды, возникло и закрепилось в тревожной жизни горожан не сразу. Что-то грозное происходило, надвигалось, и ленинградец жадно искал, где, где же нужны личные его усилия, его самоотверженность, готовность сражаться, а если надо, то и умереть. Только бы не длилось это беспомощное ожидание самого худшего. Найти в деле, в общем и главном деле выход гневу и беспокойству…

Ополчение! Народное ополчение!.. Это встало и зазвучало надеждой, как бы позванное из исторического прошлого народа, из героической истории города-революционера.

Слово было найдено, дело обретено — для тысяч и тысяч, готовых все отдать, все на себя принять…!

С первого дня войны, с 22 июня 1941 года, к дверям парткома Кировского завода выстроилась очередь. И внизу, на первом этаже, по всему коридору протянулась очередь к дверям комитета комсомола. Несколько суток обе очереди не убывали. В них стояли пожилые рабочие и молодые ребята, даже девушки и женщины, комсорги, парторги, активисты и никакие не активисты, совсем пассивные, как их до этого считали, беспартийные и не комсомольцы.

Тут же в коридоре, на лестнице, на подоконниках писали заявления. Старались объяснить как можно убедительнее, почему надо отправить на фронт. И в первую очередь. Приписывали себе военные способности. Доказывали, что они артиллеристы, поскольку их цех делал пушки. Выяснилось, что, кроме того, необходимо доказать, что завод может без тебя обойтись, надо было получить разрешение от начальника цеха. Потому что завод работал на оборону, делал танки и все были нужны и имели так называемую броню. В парткоме добровольцам приходилось еще труднее, туда шли мастера, конструкторы, инженеры — цвет завода, путиловская гвардия. Если бы отпустить всех, кто рвался на передовую, в истребительные батальоны, завод пришлось бы остановить.

Еще не было объявлено о народном ополчении (это решилось на восьмой день войны), но на других заводах, в райвоенкоматах, всюду стояли такие же очереди. Ах эти страстные, возмущенные, умоляющие прекрасные жалобы и заявления! Изложенные с трогательной и наивной убежденностью, что, если нас пустят, мы немедленно разгромим, уничтожим врага. Ясное дело, мы — кировцы, путиловцы — имеем право первыми идти в ополчение. И она-таки получила первый номер, Кировская дивизия народного ополчения — Первая ДНО!

За Нарвской заставой маршировали взводы, роты первых ополченцев. Учились в парках ползать по-пластунски, метать гранаты. Старательно отбивали шаг — еще в туфлях, штиблетах, в макинтошах, подпоясанных ремнями. Ночевали в клубе имени Газа. То и дело обнаруживалось, что этот работник планового отдела, а тот лекальщик — участники гражданской войны, что они саперы, кавалеристы, а не просто пожилые люди, которые не могут быстро бегать со снарядными ящиками, что они воевали, командовали…

Молодым это еще предстояло. Печальные июльские сводки не могли сбить восторженного настроя. Выдали гимнастерки, шинели, синие шаровары, в них добровольцы-ополченцы гордо ходили по заводу, прощаясь, и все им завидовали. Эшелоны уходили, гремя песней «За далекой за Нарвской заставой парень идет молодой…».

Будни войны навалились сразу за Лугой, нагрянули с первыми бомбежками, воем пикирующих самолетов, первыми боями, первыми могилами.

Конечно, ополчение было армией своеобразной: наспех обученной, необстрелянной, скудно вооруженной; дисциплина отнюдь не военная, скорее производственная. Кругом заводские, свои. Командир роты — мастер, взводные у него — механик, бригадир. Обращались к командирам по имени-отчеству. Нужны были бои и бои, чтобы цеховые авторитеты заменились военными.

Но зато у этой армии были некоторые преимущества — она быстро приспосабливалась к непривычным для кадровых военных условиям войны, она знала цену каждому орудию, танку, здесь царила своя трудовая спайка.

Тяжелейшие испытания обрушились на только что сформированные дивизии. Даже участники тех событий с трудом могут объяснить, каким образом могли выстоять эти народные полки, батареи — даже остановить фашистские колонны тяжелых танков, поддержанные с воздуха, их кадровые механизированные дивизии, прошедшие всю Европу. Это было чудо — чего? Нет, не отчаяния. Вцепившись в землю, стояли насмерть оглохшие от бомбежки, прекрасно понимающие, что все сейчас зависит от них, рабочие Нарвской заставы, судостроители, кировцы, портовики, учителя, наборщики, историки… Горела рожь, горели деревни, жара, и едкий дым, и кислая вонь взрывчатки, и повсюду треск немецких автоматов. Наши — с гранатами и бутылками горючей смеси — лежали притаясь, чтобы подпустить танки ближе.

Было всякое. Но Кировская дивизия не побежала, полки продолжали воевать, попадая в окружение, лесами и болотами пробиваясь к Ленинграду.

Город создавал все новые дивизии — Московского района, Фрунзенского, Калининского, Октябрьского, — они собирали под свои знамена людей без различия званий и степеней. В ополчение вступили: замечательный артист Николай Черкасов, учитель Леонид Попов, партработник Александр Ермолаев, литературовед Исаак Ямпольский. Никто не думал, как лучше использовать свои знания. Может, это было бесхозяйственно — но стать солдатом было выше соображений о пользе своей специальности. В этом был патриотизм тех дней, это считали самым нужным.

Потери, ранения — ничто не останавливало добровольцев. Только бы хватило винтовок, только бы было из чего стрелять!

Город отдавал в армию лучших. Ополчение стало великолепной школой мужества. Ополченцы проявляли героизм легендарный, подобно Дмитрию Подрезову, начальнику политотдела Кировской дивизии, или Феодосию Смолячкову, знаменитому снайперу фронта.

Эпопея ленинградского ополчения преобразила город. Через ополченцев каждое предприятие было напрямую связано с армией и войной. После сентябрьских боев ополчение влилось в кадровые дивизии Красной Армии. Бои на дальних подступах превратили ополченцев в солдат. Война учит каждый час, каждый день без перерыва, учит надежно.

Когда зимой сорок первого — сорок второго один из нас сидел в мерзлых окопах за Шушарами, невольно вспоминался завод, родные улицы, Нарвские ворота, тот ресторан, где накоротке собрались, прощаясь, члены заводского комитета комсомола. Один уходил в летную часть, другой — в артдивизион; мы прощались легко и уверенно, не задумываясь над тем, что многие из нас не вернутся.

Мы жили вестями с завода. В опустевших цехах, поросших инеем, работа не прекращалась. Был уже другой Кировский, эвакуированный в Челябинск, на ЧТЗ, вести оттуда доходили редко. Бывшие ополченцы писали прямо на свои цехи, на свои фабрики, потому что для многих это было единственное, что оставалось от мирной жизни. Семья погибла, друзья на фронтах, был только свой завод. И на заводе-то, увезенном куда-то за Урал, многое сменилось, но все равно это была последняя родня. И они действительно были надежной родней, они заботились о детях,

матерях, помнили и ждали.

Однажды в Минске был у нас разговор с Константином Симоновым. О том, как он собирал рассказы солдат — кавалеров, орденов Славы, как записывал воспоминания маршалов. И Жуков, и Рокоссовский, и Конев, да почти все наши маршалы, опубликовали мемуары, и все же К. М. Симонов после этих публикаций записывал их рассказы — у каждого набирались сотни страниц недоговоренного, того, что по разным причинам в книги не вошло. Так появились бесценные материалы. «Мы должны, — говорил Константин Михайлович, — хотя бы успеть записать все что можно. Это материал не только для историков, но и для будущих писателей, для тех, кто сумеет создать эпопею Великой войны».

Он был прав. Благодаря его энергии собраны свидетельства солдат и крупнейших военачальников, кинокадры, кинорассказы. Константин Симонов проделал громадную историческую работу. С его стороны такая работа была самопожертвованием: вместо того чтобы писать собственные романы и повести, он собирал чужие свидетельства, выступая при этом как хронограф, как собиратель, побудитель…

Отдавая должное поступку Константина Симонова, мы все же не могли полностью освободиться от своих сомнений: каков смысл нашей работы над «Блокадной книгой»? Для чего надо извлекать на свет божий, восстанавливать полноту человеческих страданий и переживаний тех времен? История отобрала уже то, что нужно, из ленинградской блокады, воздвигла памятник ее героизму и мужеству — чего же мы ищем?

Нас интересовали истоки, то, как рождалось у тех или иных людей сознание необходимости терпеть любое лишение во имя победы, как возникал, формировался дух стойкости, сопротивления, сохранявший непреклонность и человеческое достоинство в самых отчаянных обстоятельствах. Нам нужен был процесс подлинный, не подправленный знанием свершившейся победы. Единственной возможностью узнать, раскрыть то, что происходило в душах людей, было — обратиться к документам тех лет. И лучшими из них были дневники. Они позволяли видеть внутреннюю жизнь без поправок на то, что будет. Наши герои не знали о победе. Они не знали, выживут ли они, что будет с Ленинградом, со страной. Сомнения и даже отчаяние охватывали их, но и в эти дни, если вчитаться внимательней, в них живет вера в торжество справедливости. И самое примечательное: мы можем видеть, как постепенно крепнет эта вера, хотя день ото дня силы убывают и смертный мрак поглощает надежды.

За несколько дней до своей смерти Державин написал грифелем на аспидной доске последнее свое стихотворение. Никогда еще он не писал так просто. Слабеющей рукой он выводил строки, поднимаясь с ними над прожитой жизнью, над временем, над могучей екатерининской эпохой:

Река времен в своем стремленье
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы!

Надо иметь немалое мужество, чтобы, уходя, обречь на забвение все, чем восхищался, ради

чего жил и творил. Но еще более поражает здесь мысль б том, что если что и останется на какой-то срок, то это то, что воспето лирой и трубой, то есть поэтом, композитором, художником.

Современникам не дано узнать, что из пережитого ими история отберет на века, что истлеет в газетной подшивке, а что превратится в легенду. Конечно, хочется думать, что ленинградская блокада останется надолго в памяти народов. Но какой она увидится потомкам? Как время перекроит ее, что сотворит из тысяч трагедий, какой миф создаст из стойкости и ужаса, из мороза и голода? Мы об этом не узнаем, как не узнали жители осажденной Трои, что человечество из девятилетней осады их города сохранит мифы о прекрасной Елене, о троянском коне, о золотом яблоке раздора. Сколько в те времена было войн значительней и страшнее, а в живой памяти человечества осталась эта, связанная с маленьким городом Троей. Конечно, тут заслуга автора «Илиады» и «Одиссеи», но у истории есть свои причуды, она совершает порой произвол и несправедливость, предавая забвению и героев, и жертвы, приносимые народами. Однако Ленинград… Откуда это ощущение будущей легенды, долгой ее жизни? Не должно это пропасть… Не потому, что так хотелось бы нам, а потому, что в подвиге ленинградцев есть такие высоты человеческого духа, которые не могут пропасть.

Их трое, главных героев второй части нашей книги. Они никогда не виделись, не знали друг о друге. Двое, мужчин и одна женщина. Первый — Георгий Алексеевич Князев, историк, второй — пятнадцатилетний мальчик Юра Рябинкин и третья — Лидия Георгиевна Охапкина.

Для первой части «Блокадной книги» мы записывали, собирали сегодняшние рассказы людей, переживших ленинградскую блокаду, для второй использовали прежде всего дневники того времени.

Во время блокады дневники вели многие. А некоторые блокадники по свежим следам записывали то, что пережили. Нам присылали, приносили эти тетрадки, старые конторские книги, где карандашом, бледными чернилами, аккуратно или наспех, коротко или подробно, иногда коченеющей рукой люди записывали пережитое. Из всех дневников и записок мы отобрали три наиболее поразившие нас истории, три разные судьбы.

Они подлинны, они позволяют проследить во всех подробностях историю души каждого нашего героя в дни блокады. Ни одного слова в них не вписано, не изменено, мы позволяли себе только сокращать, опускать повторы или записи, не имеющие отношения к происходящему.

В Ленинграде мемориальные доски ставят скупо. Слишком их много — мест, домов, достойных быть отмеченными, обозначенными. Поэтому тот дом на Васильевском острове всегда привлекает внимание.

Если идти по набережной Невы от университета по направлению к гранитным сфинксам, что лежат над невской водой у бывшей Академии художеств, а ныне Института имени Репина, то сразу за сфинксами виден трехэтажный дом с портиком, поддерживаемым четырьмя дорическими колоннами. Дом старой постройки, милой, скромной петербургской архитектуры, в 1806–1808 годах он был перестроен знаменитым зодчим Захаровым. Все его стены увешаны чугунными мемориальными досками. Ни один жилой дом в Ленинграде, да и в Москве, пожалуй, а может, и вообще в мире не имеет столько мемориальных досок. Их здесь 27. Дом принадлежит Академии наук. Жили здесь — преобразователь русской орфографии и составитель русского словаря Яков Карлович Грот; византолог Федор Иванович Успенский; исследователь древнерусской литературы Александр Сергеевич Орлов; физик, изобретатель современной гальванотехники Борис Семенович Якоби; крупнейший русский и советский минералог Александр Евгеньевич Ферсман; создатель теории фигур небесных тел Александр Михайлович Ляпунов; первый русский электротехник Василий Владимирович Петров; языковед Николай Яковлевич Марр; великий наш геолог, геохимик, человек, который создал современную

теорию биосферы, ионосферы Владимир Иванович Вернадский; здесь жил и умер в 1936 году Иван Петрович Павлов. Что ни имя, то целый раздел науки. За полтора с лишним века история отобрала эти двадцать семь крупнейших имен, а сколько еще жило здесь замечательных русских и советских ученых.

Г. А. Князев. Фото 1945 г.

В доме этом, ставшем в каком-то смысле символом русской науки, проживал к началу войны директор Архива Академии наук СССР Георгий Алексеевич Князев.

Мог жить он и в другом доме, там завершить свой жизненный круг, написать труды по истории Академии наук, по архивному делу, но то, что он жил в этом доме всю блокаду и здесь писал свой дневник «Полвека жизни среднерусского интеллигента», обретает неожиданный смысл.

Часто кажется, что если бы вы жили в другом доме, с другим видом из окна, то вы были бы немного другим человеком и ваша жизнь сложилась бы иначе. Может быть, это не просто игра фантазии.

У Георгия Алексеевича Князева ноги были полупарализованы, ходить было трудно, из дома на работу и обратно перемещался он в коляске, «самокате». Более дальние поездки были редки. Архив Академии наук находился тут же на набережной, за университетом, в здании Академии наук, метрах в восьмистах от дома. В сущности, этот отрезок пути по набережной и составлял главный путь Г. А. Князева всю блокаду, это был тот кусок, кусочек города, который он мог видеть, тот крохотный радиус, на котором развертывалась для него война — блокада, обстрелы, бомбежки, голод, эвакуация.

На первый взгляд, пространство очень ограниченное, но в эти же самые месяцы мы, сидящие в окопах на Ленинградском фронте под Пулковом, под Пушкином, у Синявина, что видели мы? Свой окоп, свой участок длиной в те же полкилометра, «своих» фрицев, заминированное поле, пятачок, да позади землянку штаба батальона, два своих дота и где-то вдали бездымный силуэт города. Свой крохотный радиус, где проходила наша Великая Отечественная, где гибли, стреляли, наступали, где было все.

Князев записывает:

«1941. VI. 23. Второй день войны. Так и не узнал я о подробностях вскрытия гробницы

Тимура. Военные события заслонили сведения об археологических раскопках в Самарканде.

Как все повторяется на свете. Тимур, или Тамерлан, в XIV веке завоевал Индию от Инда до Ганга, Персию, Сирию, Турцию, южную Россию.

И вот теперь снова, но далеко превзошедший Великого Хромца — наглый Гитлер, принесший столько страданий и своему народу и всем другим народам, как порабощенным и униженным, так и борющимся с его дьявольским режимом.

В Ленинград привезены первые раненые. Новая линия Маннергейма за Выборгом прорвана нашими частями в нескольких местах, по словам Черникова. Также уничтожен германский воздушный десант в несколько тысяч человек.

Закончился второй день великой отечественной войны.[24]

Устал за день. В голове шумит кровь, и словно гул пропеллеров все время звучит в ушах».

Этот лишь ожидаемый гул пропеллеров долго будет преследовать Г. А. Князева — пока не произойдет первый большой налет на Ленинград в первых числах сентября. И тогда этот нервный гул пропадет, заменившись настоящим ревом самолетов и взрывами, к которым тоже вскоре люди привыкнут.

«1941. VI. 25. Четвертый день… Сегодня утром, когда все окна проклеили белыми полосками, пришла одна женщина и сказала, что в их учреждении получен приказ заклеивать не белыми, а черными полосами… Все же все окна в домах испещрены белыми полосками бумаги.

У карты изучаем положение на фронте. Напряженные страшные бои. Наиболее нас волнует вопрос, удастся ли немцам перерезать Кировскую (Мурманскую) железную дорогу. Особенно напряженные бои идут в районе Кандалакши.

На службе вел переговоры с представителями специальных архивохранилищ. Решили в ряде случаев не переносить наиболее ценные материалы в сырые и затопляемые подвалы…»

Что у вас под окном, по дороге на работу: березы? река? дома? У Георгия Алексеевича Князева — сфинксы. Как бы специально — потому что он историк. И еще потому, что собирает, записывает факты, говорящие о прогрессе или регрессе рода человеческого. Всегда перед глазами они — древние сфинксы.

Лежат розовато-каменные, под цвет гранитных набережных, с человеческими лицами и звериными лапами, обращенные друг к другу, а старая вязь сообщает о том, что сфинкс из древних Фив в Египте перевезен в град святого Петра в 1832 году. Так кстати здесь они — свидетели немалой уже истории бесконечных, как пишет Князев, «взлетов и падений человечества по пути прогресса».

Записки Князева с ранних лет посвящены были — давно и постоянно — одному вопросу: куда идет человек, человечество? Теперь это записки ленинградца, который еще не знает, какая судьба ждет город и его жителей в ближайшие месяцы, но который в первые же дни войны понял: «Нам много придется пережить — это ясно».

«…Стоявшие около сфинксов два бронзовых светильника разобраны и увезены. Сфинксы еще стоят… Сегодня я смотрел на них с глубоким волнением… Но стихов сочинять не мог.

Но вот все-таки пишу эти записки. Зачем? Не могу не писать. Но не гонюсь за необъятным.

«На моем малом радиусе» — вот содержание моих записей. Для кого же пишу? Для тебя, мой дальний друг, член будущего коммунистического общества, которому будет чужда и органически отвратительна воина, как противна нам, противоестественна антропофагия — людоедство… А ведь люди, наши предки, с удовольствием пожирали друг друга!.. Я верю, и здесь я неисправимый мечтатель, что настанет такое время, когда войны не будет на земле.

Вот почему я все же пишу свои записки. И меня не пугает мысль, что они, может быть,

погибнут, сгорят в какой-нибудь страшный момент возможной бомбардировки нашего города. Как не пугает и то, что могу погибнуть и я.

И если дойдут до тебя, мой дальний друг, может быть в отрывках, обгоревшие эти страницы, ты переживешь вместе со мной, чем жил и волновался твой несчастный предшественник, которому пришлось жить в «доисторическую» эпоху, но на заре истинной человеческой истории.

В официальных бумагах, сохранившихся до тебя, ты найдешь материалы для научной истории, в моих записках ты ощутишь биение пульса жизни одного маленького человека, пережившего на своем малом радиусе большую, необъятную сложно-трагическую и противоречивую жизнь…

На дворе, в садике, собрание живущих в доме. Там и моя жена. Сейчас она придет и расскажет, что там делалось.

10 ч. 30 мин. Последние известия по радио. Турция заявила о своем нейтралитете. Громадный взрыв народного воодушевления прокатывается по стране в связи с начавшейся великой отечественной войной.

Должны же восстать народы Европы!

1941. VI. 26. Пятый день. Ночь проспали спокойно. Тревоги не было. Значит, в ушах шумело. Интересно, что эта иллюзия слуха не у меня одного, а и у других наблюдателей.

На службе нормальный рабочий день. Провел экскурсию со студентами и читал им лекцию с большим подъемом.

Вечером читали правила поведения и мер при воздушной тревоге. М. Ф. ходила в медицинский пункт. Я разбирал запасы медикаментов на случай ожогов или ранений».

Века и даже тысячелетия, обжитые умом и фантазией образованного историка Князева, не мешают ему оставаться «среднерусским интеллигентом своего времени». Потом мы убедимся (и записи это засвидетельствуют), что недели, месяцы жизни в условиях блокадного Ленинграда окажутся равными многим десятилетиям в жизни человека. Он передумает, перечувствует, поймет столько, что вся его предыдущая жизнь покажется подготовительным классом.

«1941. VI. 28. Суббота. Седьмой день. Нервный, нервный день. На службе излишнюю нервность внесла И. Л..[25] Она под влиянием объявленного угрожаемого положения и известия об эвакуации детей составила, по-видимому, мрачное заключение о положении на фронте в связи с протечкой танковых частей в расположение наших войск на минском и других направлениях. Это настроение сразу передалось другим, особенно тем, что пришли усталыми с ночного и бесцельного дежурства в главном здании Академии наук. Я принял все меры к поднятию настроения. Указал И. Л., что она накануне нарушила мой приказ, сняв с дежурства в Архиве вечером Свикуль и направив ее в главное здание. По выражению дежуривших там сотрудников, они «сберегали стулья в кабинете президента», в то время как Архив оставался без охраны. Утром все сотрудники носили песок на чердак».

Записи, да еще подневные, сделанные в те месяцы и дни, отличаются от того, что вспоминается спустя тридцать лет. Отличаются прежде всего тем, что в дневнике человек не знал, что будет. Он здесь со своими надеждами, которые не оправдались и потому забыты, с предположениями, которые оказались иллюзиями… Так, Князев убежден, что народы Европы восстанут, что начальство все предусмотрело…

Сегодня блокада вспоминается как одна из трагических страниц победоносной войны. Многие подробности той жизни память утратила или же по-своему заострила, но, отбирая факты и переживания, укрупняя и заостряя их, она теряет кое-какие краски, душевные

движения, а бывает, избавляется от прошлых слабостей, страхов.

По рассказам ленинградцев — по тому, что и как они помнят, — хорошо заметна такая особенность блокадной памяти: человек пребывает там (в блокаде) и здесь (в нашем времени) одновременно. Жестокая, ничего не прячущая память как бы стирает границы времени. (Поэтому, кстати, рассказы-воспоминания блокадников так естественно и просто монтируются с документами и дневниками.)

Евгения Александровна Равдель, женщина точного и наблюдательного ума, очень емко сформулировала для нас то самое двойное (или сдвоенное) видение — характерную особенность блокадной памяти:

«Когда я отсюда смотрю туда, то у меня такое ощущение, что я стою все время у открытых могил, но когда я переношусь туда вся, тогда я хорошо помню, что было и любопытство ко всему, что нас ждет, какое-то восторженное ощущение, что откроется невероятное…»

Или читаем в дневниковых записках Т. В. Рябининой, в которых такое же удивление перед неожиданностями, сложностью человеческих переживаний и поведения:

«Тогда-то мы узнали, что выхода из города нет, что мы окружены плотным кольцом. Но не было паники, и не было желания вырваться. Что касается меня, то я, кроме того, была полна глупого детского любопытства. Я хотела все видеть и все испытать. Желание мое судьба потом вполне удовлетворила. Я видела и испытала достаточно».

Да, дневниковый материал отличается и должен отличаться от тех записей блокадных воспоминаний — тридцать лет спустя, — которые в основном составили первув часть «Блокадной книги».

Но какое это отличие, в чем оно? Приводя во второй части дневники военных лет, мы как бы подвергаем проверке и перепроверке ту, первую часть.

Выдержит ли правда воспоминаний испытание дневниковым документом?

Сомнения были, нам их высказывали: все-таки минуло тридцать лет! Насколько можно доверять таким воспоминаниям?

Юра Рябинкин. Фото 1939 г.

Но своеобразную проверку эти воспоминания уже прошли. Она зафиксирована в откликах-письмах бывших блокадников, тех, с которыми мы не смогли встретиться, поговорить. И почти во всех письмах: да, и у меня так было, у нас тоже именно так было!.. И тут же — свои случаи, подробности, подтверждения.

Дневники не опровергают, не отрицают правду воспоминаний блокадника. Память эта особенная, время на нее, конечно, действует, как действует оно и на горные породы: мягкие выветриваются, осыпаются, зато твердые выступают на поверхность, обнажаются. Самое сильное делается заметнее. Но теперь, читая дневники, мы спускаемся к материковым породам, в ничем не нарушенную подлинность той жизни…

Юра Рябинкин — он представился в своем дневнике краткой автобиографией:

«Автобиография

Я родился в 1925 году 2 сентября в г. Ленинграде.

Живу я с матерью, с сестренкой и теткой.

Мать моя работает в Обл. комитете союза пром. строит, центра, завед. библиотечным фондом, член ВКП(б) с 1927 года. Тетка — врач, в настоящее время на фронте. Сестренке — 8

лет. Отец бросил семью в апреле 1933 года, женился и уехал в Карелию; впоследствии, говорят, в 1937 году, он был сослан в г. Уфу.

До 7-летнего возраста я рос у тети за городом.

В 1933 году поступил в школу и сейчас закончил 8 классов, перешел в 9-й класс.

В 1938/39 году учился еще в морском кружке Куйбышевского района, прошел летнюю практику в Стрельне и получил значок «Юный моряк». Кроме этого, попутно со школой занимаюсь 3-й год во Дворце пионеров в историческом кружке. Проводил доклады на темы: Багратион, Суворов и т. д. По учебе имею «хорошую» оценку.

Ю. Рябинкин».

Итак, ему еще нет шестнадцати, живет он в центре, на улице 3-го Июля (тогда бывшая, ныне опять Садовая улица). Он, как и все, описывает день начала войны со множеством деталей. День этот запомнился всем. Не только то, что происходило после известия о войне, но и предшествующие часы память тоже прихватила, высветила с мельчайшими подробностями.

«22 июня 1941 г. Всю ночь мне не давало спать какое-то жужжанье за окном. Когда наконец к утру оно немного затихло, поднялась заря. Сейчас в Ленинграде стоят лунные, светлые, короткие ночи. Но когда я взглянул в окно, я увидел, что по небу ходят несколько прожекторов. Все-таки я заснул. Проснулся я в одиннадцатом часу дня, вернее, утра. Наскоро оделся, умылся, поел и пошел в сад Дворца пионеров. В это лето я решил получить квалификацию по шахматам. Как-никак, а я выигрываю часто даже у третьей категории.

Выйдя на улицу, я заметил что-то особенное. У ворот нашего дома я увидел дворника с противогазом и красной повязкой на руке. У всех подворотен было то же самое. Милиционеры были с противогазами, и даже на всех перекрестках говорило радио. Что-то такое подсказывало мне, что по городу введено угрожающее положение.

Придя во Дворец, я застал только двоих шахматистов. Вероятно, было очень рано. Действительно, немного позднее пришло еще несколько человек.

Расставляя шахматы на доске, я услышал что-то новое, обернувшись, я заметил кучку ребят, столпившихся вокруг одного небольшого парнишки. Я прислушался и… замер…

— …Вчера в 4 часа ночи германские бомбардировщики совершили налет на Киев, Житомир, Севастополь и еще куда-то, — с жаром говорил паренек. — Молотов по радио выступал. Теперь у нас война с Германией!

Я просто, знаете, сел от изумления. Вот это новость! А я даже и не подозревал такой вещи. Германия! Германия вступила с нами в войну! Вот почему у всех противогазы.

У меня голова пошла кувырком. Ничего не соображает. Я сыграл три партии. Чудак, все три выиграл и поплелся домой.

На улице остановился у громкоговорителя и прослушал речь Молотова.

Когда я вернулся домой, дома была только мама. Она уже знала о происшедшем.

Пообедав, я пошел ходить по улицам. Всюду чувствовалось какое-то напряжение, им была наполнена вся душная, пыльная атмосфера города. Подходя обратно к своему дому, я встал в очередь за газетой. Газеты еще не было, но очередь была огромной. По очереди ходили любопытные разговоры, проносились шутки на международные темы, скептические замечания.

— А что будет, если Германия с Англией мир заключит и вместе с ней да на нас?

— Теперь все будем бомбить, не как в Финляндии, и жилые кварталы, пусть пролетариат заговорит, поймет, на что идет.

— Слышали, под Ольгином самолет немецкий сбили!

— Вон куда залетел!

— Да, приготовляйся к бомбежке. Как налетит на Ленинград сотни три…

— Без этого не обойдешься. Все своим чередом.

Постояв около двух часов, я решил было уйти, как вдруг объявили, что хотя газет не будет, но будет какой-то официальный бюллетень, но, когда он будет, неизвестно. Постояв еще полчаса, я все-таки пошел домой. За газетой пошла наша домработница Нина.

День кончается. На часах — половина двенадцатого. Началась решительная серьезная борьба, столкнулись два антагонистских строя: социализм и фашизм! От будущего этой великой исторической борьбы зависит благо всего человечества».

Отрывки из дневника Юры были напечатаны в 1970 году в ленинградской газете «Смена». Копию дневника нам дала Алла Белякова, бывший редактор этой газеты. Спасла и сохранила дневник медсестра Р. И. Трифонова.

Все, кто соприкасался с дневником Рябинкина, безошибочно ощущали силу и талантливость этого документа. Хотя начало его довольно обычное. Так же как и Г. А. Князев, Юра выполняет свой долг, старается чем-то помочь взрослым, городу. Война, блокада еще не ставят перед ним серьезных проблем, ему еще не надо бороться…

К этой обычности стоит присмотреться. При всем мальчишестве Юриных записей и несмотря на то, что это первые дни войны, в дневнике нет страха, есть деловое спокойное отношение, есть работа, которой Юра немного любуется. Но заметно, и далее это будет все явственнее, как быстро он взрослеет.

«26 июня! Сегодня, как встал, пошел во Дворец. Оттуда вместе с ребятами пошел на строительство у Казанского собора. Работал я с одиннадцати утра и до девяти вечера с обеденным перерывом. Перерыв час. На обеих руках — мозоли, занозы. Таскал доски, копал землю, пилил, рубил — все приходилось делать. Под конец рука разболелась так, что пилить не мог. В обеденный перерыв дома начал читать Тургенева «Новь». Вечером дома. Мама возвратилась со своего дежурства рано — ее сменили. Ну, писать много не могу — нет времени, надо идти во Дворец.

28 июня. Сегодня работал опять во Дворце пионеров на строительстве бомбоубежища. Работа была адовая. Мы стали сегодня каменщиками. Я отбил все свои руки молотком — все они теперь в царапинах. Но сменили нас рано — в 3 часа. Поработали мы, следовательно, 4 с половиной часа, но как!!!

Из Дворца я пошел к маме. Мама в беспокойстве, все ходит унылая… Встала возможность химической войны, сейчас начинает производиться эвакуация. Взял 5 рублей и сходил в столовую. Затем пришел домой. Приходила какая-то женщина, которая записывала всех ребят до 13 лет. Ирку записала. Комендант приказал Нине дежурить у ворот с половины десятого и до трех. Кстати, сообщил, что на случай тревоги мы должны бежать к Хамадулину, в 1 этаж. Но там все равно небезопасно. От фугасной бомбы не спастись, от воздушной волны тоже: волна снесет дом, а его обломки похоронят нас в этом подвале; от химической бомбы не спастись тем более.

29 июня. Работал во Дворце на строительстве бомбоубежища. Перед этим был на площади Лассаля — грузил песок. Но работы там было все же мало. Ребята вылепили из песка рожу Гитлера и стали бить ее лопатами. Я тоже присоединился к ним.

Во Дворце опять таскал кирпич и песок. Ушел из Дворца в шесть часов. Придя домой, получил неожиданный сюрприз.

Еще в дверях ко мне подбежала Ира с криком: «Посмотри, что мне мама купила! А тебе не купила! Не купила!» Я пошел в столовую. На диване лежала купленная Ире матроска и кукла. На столе стояли новые Ирины сапоги.

Мама мне сунула какую-то записку в руки. Я машинально развернул ее. Это было заявление в военкомат о добровольном вхождении мамы и меня в ряды Красной Армии.

Оказывается, у мамы было утром партсобрание и все партийцы решили войти в ряды нашей Красной Армии. Никто не отказался. Сперва я почувствовал какую-то гордость, затем некоторый страх, наконец, первое пересилило второе.

Вечером я и мама пошли к владелице одного из домов в Сиверской. Мама решила отправить туда Нину и Иру, если мы уйдем на фронт. Кое о чем все же там договорились.

В тот же вечер я — ого-го! — сходил в парикмахерскую, Наверное, месяца два не стригся.

30 июня. Придя во Дворец, застал ребят, играющих в бильярд. Поиграл около получаса; затем мы пошли на работу в бомбоубежище. Я опять таскал песок из сада. Освободился к 7 часам. Пошел в фонд. Там другая новость — меня, наверное, в армию не возьмут: мал, да еще плеврит; из-за того, что плохо себя чувствую, дает себя знать плеврит, освободят, наверное, от работы во Дворце и пошлют в лагерь.

С Тиной[26] связь прервана. Она не может сюда приехать, так как прописана в Шлиссельбурге, а к ней ехать опасно. В девять часов вечера сходил к Доде Финкельштейну. Он нигде не работает — свободен. Братишку отправляют в Малую Вишеру послезавтра. Рассказал ему о Дворце. Решил тоже идти туда работать. Я ушел от него около одиннадцати часов».

И третий персонаж этой книги — Лидия Георгиевна Охапкина. Ей было тогда двадцать восемь лет. 22 июня 1941 года она с утра собралась возвращаться на дачу, где жила с детьми. Муж ее, Василий Иванович, был в командировке, и Лидию Георгиевну пришли проводить ее племянник и родственник мужа Шура Самсонов.

Л. Г. Охапкина с сыном Толей. Фото 1940 г.

«Все уже было собрано, я кормила дочку грудью, ей было пять месяцев. Вдруг по радио прозвучало: «Внимание, внимание!» И стал выступать Молотов. Я сказала, что на дачу мы не поедем. Надо дождаться мужа. Я совсем не испугалась, вспомнив финскую войну, которая совсем не была страшной, во всяком случае для меня и для Ленинграда. Олю, сестру мужа, и моего племянника послала в магазин за продуктами к обеду. Накормив дочку, с ней на руках я и Шура вышли на улицу. Шура меня успокаивал, говорил, что война долго, не продлится, но, однако, ему и Васе придется идти воевать».

Уточним: заметки Лидии Охапкиной отличаются от Юриных и князевских, это не дневник, а записки, и сделаны они несколько позже.

«Начала я их как раз в День Победы. Все веселятся, а на меня нахлынуло, и я села писать. Специально для мужа, для сына писала — муж воевал за «кольцом», а сын ничего не помнит. И я поклялась, что напишу только правду. Только правду! За месяц все записала. А тогда, в блокаду, мне не до того было, совсем не до того было, совсем не до того…» — вот история записок Л. Г. Охапкиной, как она ее сама излагает.

«26 июня 1941 г. приехал муж. Из Ленинграда стали эвакуировать некоторое оборудование заводов и людей. Достать билет на поезд уже трудно. Всех детей детсадовского и школьного возрастов предполагают вывезти в другие города, так как Ленинград будет подвергаться опасности».

Далее записи идут не по числам.

«Мы с мужем решили только сына отправить с детским садом… А я с дочкой останусь, и мне легче в случае тревоги бегать в бомбоубежище. Он тоже предполагает, что война продлится лето и к зиме кончится».

Жила Лида Охапкина в двухэтажном деревянном доме за Волковым кладбищем.

«28 июня мы отправили сына. Бедный ребенок, ему пять лет. Я приготовила для него одежду, всю пометила, вышила нитками его имя и фамилию.

Одевая его в то утро, я подумала, когда мне придется еще его одевать. И вдруг меня взяла тревога и беспокойство, когда я его увижу вообще, а вдруг он потеряется. Я очень расстроилась и взволновалась и сказала об этом мужу, оглянулась на него и смотрю, у него по щекам текут слезы.

…30 июня Вася уехал. Перед отъездом он сказал, что его отправляют на спецвоенные работы (он был инженер), а не на фронт, где идут бои, чтобы я не беспокоилась. Это была правда и неправда. Его отправили куда-то под Смоленск, и он попал в окружение немцев. Долго блуждали и скрывались в лесу, потом все же вышли. Но об этом ни он, ни я еще не знали.

…Бомбежки продолжались 20–30 минут, а иногда они длились час и два. Я от страха вся дрожала и бледнела. В ушах что-то звенело и как будто лопалось. Ноги слабели, и я иногда была не в состоянии двигаться. А надо было брать на руки дочурку и бежать в бомбоубежище».

Так начинается эпопея матери.

Полуголодная, а затем голодная женщина спасала своих детей. Спасала не раз, не два, а сотни раз, проявляя выдумку, изворотливость, отчаянную смелость.

«НИКУДА Я ИЗ ГОРОДА НЕ ПОЕДУ»

Архив и дом. Оба эти пункта жизни Князева претерпевали изменения. Война преображала, казалось бы, самые устойчивые, малоподвижные, неизменные оплоты. Г. А. Князев неустанно наблюдает это, сравнивает, осмысляет. Можно подумать, что он готовится к долгим записям и тысячелистному повествованию, — таков обстоятельный зачин его дневника. И, как ни странно, именно такое повествование ему и удалось довершить, а многие дневники, начатые наспех, коротенькие записи, где рассчитывалось, что потом, дальше записано будет подробнее, были оборваны разными обстоятельствами.

«1941. VII. 1. Десятый день войны. Акад. Павловский, передавая мне находившуюся у него рукопись, сказал: «Сохраните, если возможно. Положение очень серьезное».

Через некоторое время пришел зав. Архивом ИРЛИ.[27] Долго совещались по вопросу о надлежащем сохранении здесь, в Ленинграде, ценных материалов — рукописей Пушкина, Ломоносова, Лермонтова, Тургенева, Достоевского, Толстого и др. На Городецком лица нет Не может спать. «Какую же мы несем с вами ответственность!»

— Да, величайшую мы несем ответственность (не о юридической, административной или служебной ответ ственности здесь приходится говорить), ответственное моральную, перед потомством.

1941. VII. 2. Одиннадцатый день. Здание Архивного управления, на набережной Красного Флота, так много видавшее на своем веку, сейчас переживает еще один этап в своей истории. На лестнице, по которой когда-то стучала сабля гвардейского офицера Лермонтова, по которой когда-то пробегали в суете, обыскивая дом солдаты с насаженными на штыки сальными свечам в ночь на 15 декабря 1825 года, после неудавшегося восстания на Сенатской площади, — теперь висит на правой стороне обрубленный рельс на толстой проволоке и рядом металлический прут — било. Это на случай химической тревоги. На верхней площадке темно: горят синие лампочки. Шел по коридору почти впотьмах и испытывал что-то похожее на постановки Мейерхольда.

Жуткое впечатление произвело на меня архивохранилище ИРЛИ. Я не узнал рабочих комнат. Все в каком-то хаосе. В первой, проходной, комнате сзади статуи Александра Веселовского стоят две сорокаведерные бочки с водой, одна из них уже подтекает; везде ящики с песком и лопатами; по коридору растянут пожарный шланг. Около пушкинской комнаты ящики для архивного материала. Некоторые пустые, другие заполненные. Надо отдать справедливость — упаковка пушкинских рукописей идеальная… Но много нервности, суеты. Тут же около ящиков один из сотрудников диктует машинистке статью о фашизме. Кто-то пишет описи подлежащего укладке в ящики. Под ногами песок, водяные пятна от растянутого на полу пожарного рукава, по-видимому оставленного для просушки или положенного там для какой-то предохранительной надобности. Везде, как в служебных помещениях Архива, так и на лестницах Музея, толкутся люди, несут мешочки с песком… У дверей в читальный зал прижались два бюста писателей. Их откуда-то второпях сняли и оставили на полу. Заведующий Городецкий очень много сделал для сохранения материала, но и переборщил. Успенская, дочь писателя и сотрудница Литературного архива, сказала мне, показывая на развал: «Пожалуй что и перестарались…»

Сам Городецкий устал до изнеможения. Он третью или четвертую ночь не спит: все время в Архиве, волнуется, борется с администрацией. В результате совсем издерган. «Обязательно уйду, как только выполню свой долг. Ни за что не останусь заведовать Архивом. Меня не понимают, и администрация упрекает за слишком большие заботы об архивных материалах, за настойчивость…»

Памятник Петру Великому закладывают мешками с песком.

В Румянцевском сквере закончены траншеи или землянки.

Сфинксы еще стоят. Им нет ни до чего дела, как всегда!

Никак не пойму — шум ли в ушах или шум пропеллеров слышу. Тихо, зловеще тихо… И вот когда-то придет час — и такую тишину будет разрывать страшный треск. Начнутся пожары. Завалятся в развалинах громадные дома под ударами фугасных бомб… Раненые… Убитые… Обезумевшие… Засыпанные обломками заживо. Всё это придется пережить, и в самом, быть может, недалеком будущем. Если думать все время об этом, надо сойти с ума; в лучшем случае потерять жизнеспособность и сделаться никчемным человеком. Надеюсь, со мной этого не случится. У меня достаточно еще воли к жизни.

1941 VII. 3. Двенадцатый день. Те, кто слышал речь самого Сталина, передают, что было очень плохо слышно и многие места речи они не разобрали. Мой шофер, слышавший эту речь, заметил, что слишком сильно выделялся акцент и были паузы, во время которых было слышно бульканье воды, наливаемой в стакан…

Беседовавший со мной академик С. И. Вавилов очень трезво смотрит на вещи. За Ленинград он спокоен. Обсудили с ним все вопросы по истории Академии наук и другим работам. Работу комиссии по истории Академии наук мы продолжаем.

Смертельная борьба… Отступая, ничего не оставлять врагу — таков лозунг в речи Сталина.

1941. VII. 5. Четырнадцатый день. Жена целое утро убирала чердак, носила на двор доски и всякий хлам. Чего только не сбросили с чердаков, захламленных более чем за сто лет. (Наш дом капитально перестраивался за 6 лет до первой Отечественной войны, т. е. в 1806 г.). Никак не можем сорганизовать достаточной и полноценной пожарной охраны на нашей лестнице № 3. Быть может, представит когда-нибудь интерес вот этот небольшой документ, составленный общительным и любезным семидесятитрехлетним старичком, живущим в квартире акад. Крачковского, бывшим инженером Снитко: «Список жильцов, проживающих в д. 2 по 7-й линии В. О. по лестнице № 3 (кв. №№ 1, 2, 3, 4, 6, 29)».[28]

…О чем я, гуманист, сейчас мечтаю? Вот о чем (см. иллюстрацию, вырезанную из газеты): «В ответ на угрозу германского вторжения население Лондона воздвигло у одного из разрушенных бомбардировкой домов виселицу с надписью «Приготовлено для Гитлера».

Но не сразу повесить, а сперва судить. Призвать от каждой разоренной Гитлером страны представителей: мужчину и женщину из особенно пострадавших местностей в качестве присяжных заседателей. Собрать документы и образчики из необъятного количества «вещественных доказательств» изуверской жестокости Гитлера и гитлеровцев. Создать из этих «реликвий» музей в назидание потомству, показать будущему человечеству «музей» ужасов и страданий, причиненных людям жестоким завоевателем. Собрать в этом «музее» и предшественников Гитлера — мировых убийц и грабителей, удачливых и неудачливых, вроде Наполеона и Вильгельма, Тамерлана и Аттилы и всякой прочей нечисти т. н. всемирной истории человечества, точнее, истории дочеловеческого общества… Пожалуй, даже не среди этого сонма «великих», а просто в ряду смрадных негодяев вроде Каина, Ирода, Иуды место Гитлера. Презренное имя во всем мире. Смрадное имя».

И список жильцов-соседей, который приводит Г. А. Князев, где эпически, на равных соседствуют имена выдающихся (арабиста Крачковского, китаиста Алексеева) и безвестных «домашних» (вдов и родных академиков, пенсионеров, домашних хозяек, школьников: все люди, все равны перед надвигающейся трагедией), и подробности происходившего в архиве Института литературы — все пронизано ощущением исторической значимости происходящего. Драгоценное чувство, естественное для автора-историка, но, к сожалению, не столь уж

распространенное. Подробности жизни, быта, даже значительных событий теперь не записываются, не фиксируются так, как это было, допустим, в XIX веке. Мы, например, куда лучше представляем себе детали, события, обстановку, круг чтения, вкусы, мебель, еду, костюмы и т. п. в двадцатые годы XIX века в России, чем все это спустя сто лет, в двадцатые годы XX века. Мы как бы перелагаем обязанности летописца, бытописателя на газеты, кино, журналистику. Надежды эти часто остаются неоправданными.

Мы хотели иллюстрировать «Блокадную книгу» фотографиями. Мы отправились в архив ТАСС, для того чтобы найти фотографии заводов и фабрик времен блокады. Мы знали, как это было: разбитые снарядами цехи, измученные, еле стоявшие у станков люди, вязывавшие себя, чтобы не упасть. Мы перебрали тысячи фотографий, сделанных репортерами в те годы. Мы видели за станками людей, рабочих — мужчин женщин, суровых или улыбающихся, но неизменно бодрых. И совсем немного примет голода, мук, — хоть сейчас печатай их в газете. Мало оказалось снимков, которые показали бы, что творилось тогда на фабрика и заводах, как трудно было работать, как тяжелы были условия.

Вначале нас это возмутило: украшательство, фальсификация… но, расспросив фотокорреспондентов тех лет, мы убедились, что тут происходило иное: это была та боевая задача, которую они выполняли в сорок втором — сорок третьем годах, считая своим долгом показать, как, несмотря на блокаду, голод, холод, обстрелы, люди продолжают работать и выполнять свой долг. Со своей задачей фотожурналисты блокадного города блестяще справились. Они были журналисты, а не художники. Те думали бы иначе: о том, чтобы оставить для историй драгоценные кадры быта, героики ленинградцев.

Ни в одних воспоминаниях о блокаде не сохранилось текстов объявлений о продаже, обменах, услугах, которыми тогда пестрел город. Известно, как много их было, какие среди них были необычные, характерные, сами же тексты забылись. Ни у кого не встретилось нам подробных описаний блокадного рынка или первых гитлеровских военнопленных, которых провели по улицам города. Вот почему так дороги подробности жизни, которые тщательно заносит в свой дневник Г. А. Князев:

«1941. VII. 7. Шестнадцатый день. Напряженный день. Четыре раза объявлялась воздушная тревога. Стрельбы не слыхали. Вчера, говорят, появились над городом ночные вражеские аэропланы, но тревоги не объявлялось. Все передают, что был сбит в окрестностях Ленинграда вражеский самолет, который, упав, сгорел.

Исаакий со своим грандиозным золоченым куполом видный за многие десятки километров, как стометровой высоты маяк, теряет свой эффектный вид. Золоченый основной купол и другие малые золоченые купола покрываются какой-то серой массой.

Медный всадник все еще не обложен мешками; также совсем не обложены сфинксы. Но вот Петр работы Растрелли, стоявший перед Инженерным замком с надписью «Прадеду правнук», снят. Остался один пустой пьедестал.

Третьего дня эвакуировались дети. Теперь предполагают эвакуировать не только детей, но и взрослых, которые могут сопровождать своих детей.

Все главные ценности Эрмитажа эвакуированы в неизвестном направлении. Сегодня у меня был акад. С. И. Вавилов. Решили присоединить ко второму эрмитажному эшелону и наши архивные ценности. Некоторые мы уже и передали: мозаичные портреты Петра работы Ломоносова, два плана Петербурга XVIII века (Леблона и Махаева) и золоченый ковчег, в котором хранился в Академии наук Наказ Екатерины II, писанный ею самой.

Нет слов, чтобы описать мое настроение, когда снимался со стены мозаичный портрет основателя Академии наук Петра I, который я оберегал с такой любовью и заботливостью; когда выносили позолоченный ковчег искусной работы мастера XVIII века; когда оголялось и

разорялось хранилище, которому я отдал столько сил и любви. Эрмитажные рабочие бережно сняли портрет со стены и унесли его на автомобиль. Я провожал их, не скрою, очень взволнованный. Я ясно отдавал себе отчет, что больше их не увижу. Я строил как мог архив и музей истории одной области великой русской культуры — Академии наук. Война нарушила порядок и оголила те места, где с такой заботливостью хранились эти памятники.

Сперва мы говорили о надежном хранении на местах, теперь, в связи с событиями на фронте, заботимся об эвакуации; думаю, что эвакуация совместно с Эрмитажем будет дело надежнее… Но болит сердце. Пришел домой совсем разбитый.

1941. VII. 13. Двадцать второй день. Не дождался автомобиля и четыре часа простоял и просидел под колоннами нашего академического дома. В расстоянии каких-нибудь сотен метров (до километра) по радиусу раскинулись передо мной: Нева, мост, сфинксы, Академия художеств, Исаакий, Адмиралтейская игла, памятник Петру (скрытый в дощатом футляре), здание бывшего Сената, старинные дома на набережной, вдали Зимний, прямо у моста б. дома Румянцева с его знаменитым музеем, прежняя Английская набережная, на западе — Новое Адмиралтейство, по правому берегу Невы — Балтийский завод, Горный институт, Морское училище, б. Киевское подворье, старинные прямые линии Васильевского острова, корабли у причалов, высокие могучие краны у берегов, где Нева заворачиваетется мысом Васильевского острова. Это мой город, красотой которого вот с этого бывшего Николаевского моста восторгался еще Достоевский, вот эту Сенатскую площадь и открывшийся оттуда вид на стрелку Васильевского острова с Академией наук и Пушкинским Домом воспевал Блок, вот этот гордый памятник Петру 1, Медный всадник, и Неву воспевал Пушкин; вот сфинксы, которые волновали многих поэтов, художников, ученых, проходивших мимо них. Замечательный город!.. И неужели ему угрожает опасность быть занятым врагом?.. Нет, нет, нет!..

Четыре часа я любовался дивной панорамой своего родного города. Никуда я из него не поеду. Если случится несчастье, пусть лучше вот тут, где-нибудь на набережной или в водах глубокой Невы, погибну… Но наш город, я твердо верю в это, не попадет в руки врага!

1941. VII. 15. Двадцать четвертый день. Сегодня отправили из Архива в Эрмитаж самые большие наши ценности — рукописи Ломоносова, Кеплера, рисунки Кунсткамеры и т. п. Они будут отправлены со вторым эрмитажным эшелоном в надежное место. Какое? Нам неизвестно.

Всего запаковали 30 ящиков. Приняли все меры против сырости и проникновения пыли (рубероид, целлофан, клеенка, папки, бумага). Работали всем составом Архива в течение 2-х недель. На все материалы составили поящичные описи. Ящики перевязали проволокой и запломбировали.

Проводил из ворот до набережной грузовик с ящиками. Так провожают кого-то родного: сына, дочь, жену.| Долго смотрел, как медленно грузовик (я просил шофера быть осторожным) двигался по Дворцовому мосту… Осиротелый вернулся в Архив…

Вводятся продуктовые карточки. Предложено завтра к 10 часам составить списки. Проводится это очень спешно. Само население только приветствует это новое или, точнее, старое, введение.

Предложено все путеводители, планы Ленинграда Петербурга сдать в спецчасть.

1941. VII. 16 и 17. Двадцать пятый и двадцать шестой дни… Доносятся слухи о крайней несогласованности, неорганизованности. Это меня пугает. Чем страшны немцы? Именно своею исключительною организованностью, точностью, слаженностью действий…

С эвакуированными детьми неблагополучно. Матери едут за своими детьми. Я отпустил служащую у нас машинисткой Т. К. Орбели в Боровичи за своими двумя дочками 9 и 12 лет».

ПЕРВАЯ ЭВАКУАЦИЯ ДЕТЕЙ

Мы записали немало рассказов об эвакуации детей, первой и последующих. Г. А. Князев добросовестно подчеркивает, что радиус его наблюдений малый. За его пределы он выходит осторожно, чтобы не сбиться на слухи: Князев по первой мировой войне знает, как много этого добра в тяжелые времена. Об этом, кстати, предупреждает и народный опыт: «В голод намрутся, а в войну наврутся».

Где возможно и где это к месту, будем расширять малый радиус Г. А. Князева посредством дополнительных документов — дневников, рассказов, воспоминаний других ленинградцев.

Мария Васильевна Мотковская как раз занималась в те дни эвакуацией детей. Помнит события во всех подробностях. Немолодая уже женщина, она до сего времени тяжело переживает, что так все получилось…

«— Теперь мы понимаем, что ехали мы навстречу немцам, а тогда никто этого не понимал. Что вы! Район очень хороший, глубинный район. И я была назначена уполномоченным райисполкома по вывозу ребят в Новгородскую область, конкретно в Демянск. И прямо туда мы и приехали. У меня было две легковые машины и одна грузовая. Со мной послали еще двух товарищей ответственных, и мы поехали.

— А кем вы работали?

— Я заведовала в это время районным отделом народного образования Кировского района, членом исполкома была. Вот поэтому меня и направили. У меня был очень хороший заместитель, Анатолий Иванович Тодорский, который должен был отправлять, а я — как следует размещать ребят. И вот я… Не знаю, стоит ли об этом говорить?

— Говорите, пожалуйста.

— Получилось так. Мы приехали туда… Надо вам сказать, что Демянск, как говорится, поднял весь район, чтобы встречали ленинградских детей… Мы наметили, где будет какая школа размещена, все такое. А через несколько дней последовало распоряжение срочно опять эвакуировать ребят.

— А вы уже и ребят завезли?

— Да, ребят разместили. Но они только две-три ночи там переночевали, и последовал приказ. Да и мы уже чувствовали, что быстро движется немец.

— А много ребят с вами было?

— Много, очень много.

— Несколько сот?

— Где там сот — больше! Сейчас уже не скажу сколько. Вообще из Кировского района было около шести тысяч эвакуировано, но часть потом была отправлена в Ярославскую область. Вот так, значит, реэвакуация. Понимаете, какая история? Были у нас и ясли. Мы ясли тоже вывозили, и почти без отдыха им тоже обратно нужно было ехать. А тут уже, знаете, немец подступал (Демянск в сорока километрах от железнодорожной станции Лычково). Немцы там сбросили чрезвычайно большой десант, и мы оказались отрезанными. Потом тут были истребительные отряды организованы и десанты все рассеяли. Ну вот, мы стали ребят реэвакуировать.

— На чем вы возвращались?

— Ой! Кто на чем мог. Тут нам армия сильно помогла. Военные машины стали вывозить ребят. Я даже помню такую деталь: еду, смотрю — на обочине стоит автобус, значит, наших ребят везут. Я соскочила. Что же они стоят? Ведь вывозить скорее надо! Подхожу: шофер лежит на земле, спит. Я подошла к нему, говорю: «Товарищ!» А он говорит: «Ну, теперь я могу ехать. Я ведь четыре ночи не спал. Я немножко отдохнул и поеду. А так я боялся дальше ехать». Помню — хороший был день, прекрасный день. И началась бомбежка в Лычкове, на железнодорожной станции. В это время в Лычкове были ребята Дзержинского района. Они были еще дальше, чем наши, — в Малоосьминском районе. Где ребята? Я вскочила в какой-то большой дом, потому что знала, что ребят всегда в хороших домах размещали. Сидит воспитательница. Около нее ребята. Сколько их! И вот как бомба разорвется, они кричат: «Мама! Мама! Мама!» Ужасно! Я первый раз в жизни ребятам соврала: «Не бойтесь! Не бойтесь! Это наши!» Сама вышла на крыльцо. Вы знаете, он летает так низко, посмотрит, нажимает — и бомба сразу разрывается. Потом говорили, что они не знали. Ерунда! Прекрасно знали и, конечно, прекрасно видели. Дело в том, что Дзержинский район уже грузился в эшелон в это время, и он бомбил ребят на вокзале. Прекрасная погода. Ребята хорошо одеты. Он прекрасно видел, кого бомбит… Ну, потом, когда мы всех уже из Лычкова отправили, я говорю: все-таки поеду в Демянск, потому что я должна проверить, всех ли мы увезли.

Приехали туда. Все сельсоветы обзвонили: остались только раненые. И вот, как сейчас помню, идем мы с Василием Яковлевичем в больницу, где лежат наши ребята, идем, а тут ведут немцев пленных (там, наверное несколько десантов было). Говорю: «Черт возьми вас! Подождите, подождите, придет время, когда наши летчики тоже будут ваших детей убивать!» Василии! Яковлевич мне говорит: «Что ты, Мария Васильевна! Разве будут наши летчики детей убивать? Это они вот так только убивают». Стали отправлять раненых детей. Мы их отправили в

Ленинград хорошо: с врачами, с медицинскими сестрами. А сами мы в Кировскую область поехали. Тут мне на помощь Ленинград прислал заместителя моего. Он приехал помогать, потому что с родными, с родителями творилось ну что-то ужасное! Еще бы! Потому что, что есть дороже ребенка?!

Не доехали до станции Котельнич — пришел в поезд начальник станции, говорит: «Тут едет уполномоченный Кировского исполкома?» Я говорю: «Да». — «Знаете, передали из Кирова и рекомендовали вам не выходить в Котельниче». Я говорю: «Почему?» — «Там вас толпа родителей ожидает!..» Вы понимаете, в чем дело? Родители приехали в Котельнич вслед за нами. Понимаете? Анатолий Иванович, мой помощник, говорит: «Мария Васильевна, не выходи! Давай я выйду!» — «Ты что. Моя совесть чиста. Я выйду сама. Ты мне даже не говори про это!»… Ну, приехали в Котельнич. Я помню, у меня такое светлое пальто было, знаете. Иду я, и женщины — а! а! — начинается шум. Ну, видят, что я спокойна. Я го ворю: «Знаете что, товарищи, если так будете себя вести мы ничего не разберем. Спрашивайте, что кого волнует я вам на все отвечу, потому что всех детей увезли кроме тех, которых ранило». — «Тех-то мы встретил тех-то мы видели», — это они говорят. Я говорю родителям: «Прежде всего вам скажу: буквально всех вывезли. Вот не могу только сказать об одной девочке, о Беловой…» Потом они меня об отдельных ребятах уже начали спрашивать. И я не могу сказать, где одна девочка. Понимаете! Мы взяли списки, все перерыли — нет! Я говорю: «Подождите, все равно я ее найду!» И что мне запомнилось: я в светлом пальто. Там шпалы. Я прямо села в этом светлом пальто! А женщины: «Встань, встань! Что ты села? Пальто-то испачкаешь!» Я, значит, вижу, что настроение уже другое. Ну хорошо. Я два дня там пробыла, в Котельниче, все эту девочку маленькую разыскивала. Она оказалась в том же интернате, но под другой фамилией. Я матери говорю: «Вон иди туда, там твоя дочка…» Потом я поехала в Киров, и там мы стали уже жить.

— Скажите, какова судьба этих детей? Их куда-то дальше на восток увезли?

— Нет, зачем? Большая часть осталась в Кировской области, но туда был не только наш район эвакуирован, там было около шестидесяти тысяч эвакуированных детей».

Но многие вскоре все-таки вернулись в Ленинград.

Вернулась в Ленинград и Александра Михайловна Арсеньева со своей дочкой.

«— Когда мы вернулись в Ленинград, то нас спрашивали: «Беженцы, вы откуда? (Причем я ленинградка коренная, у меня и дедушка ленинградец). Вы откуда, беженцы?» И только кассирша из нашего магазина узнала нас и говорит: «Ой! Да это соседи наши, это же из этого дома, я их хорошо знала!»

— Это вы вернулись такими не похожими на себя?

— Мы вышли из вагона кто в пальто, кто в халатике. Мы очень долго ехали до Мги, что-то около трех суток. Когда начался обстрел вдоль вагонов, сразу были раненые и убитые. Мы детей — под лавки, матрацы на них клали, закрывали матрацами, сами бросались на них.

— В вагонах?

— В вагонах. Бомба попала в паровоз… Все-таки нам удалось, когда было затишье небольшое, выбраться из вагона. Уже стало темнеть. Станция горела. Никого не найти. Это был какой-то ужас! Начальник эвакопоезда сидел на пне и держал голову вот так — обхватил руками. Он потерял семью и не знал, кто где… Как только начинался где-то обстрел, какой-то звук — мы сразу тут же в канаву, детей вот так, носом в землю, и сами а них. И одеяла набрасывали. Потом, когда мы вставали, дети все равно уже сами натягивали на головы. Вот так они закрывались этими одеялами. Потом, значит, мы увидели, что движется что-то — все в елках и движется. Это, видимо, поезд маскированный. Мы к станции, к рельсам, смотрим — состав! Он медленно, медленно но так двигается. Остановится и опять двигается. Все закрыто. В одних дверях стоит солдат и говорит: «Девушка! Дай-ка мне этот матрасик. У меня раненых тут

полный вагон». — Я даю ему матрасик и бросаю дочку.

— Туда? В вагон?

— Да! Бросаю дочку и говорю: «Довези!» И сама хочу сесть. Но колеса покатились. А дочка уже в вагоне! Вдруг вижу — колеса остановились! Я бегом. Догнала, говорю: «Возьми меня!» А он: «Не могу! Не могу! У меня плюнуть негде. Спичку зажечь нельзя. Раненые стонут». Я говорю: «Слушай! У меня для раненых есть бутылка вина. И в заплечном мешке кое-что». (Заплечный мешок у меня большой.) Он говорит: «Ну давай сюда!» Бросила я мешок и сама уцепилась. Он меня, не знаю как, за спину, и втащил в вагон. Потом из мешка я все отдала для раненых. И изюм мой пошел по рукам, и вино пошло по рукам. Все стонали. Я сняла с себя пальто, потому что они мерзли, раненые. А когда на Сортировочной нам нужно было разгрузить раненых, оказалось, что мое пальто все в крови. И я осталась в одном платьице, а холод был собачий!

— Это сентябрь?

— Это было тридцатое сентября, уже Мгу взяли. Приехали. Стали разгружать раненых. Мне тут сказали: «Дочка уже на вокзале, найдешь ее там». И я ее потом нашла. Она под колонной сидела на вокзале. Кто-то ей ватник дал, ватником закрыл ее.

— Как вашу дочку звали?

— Моя дочка — Евгения Порфирьевна Строганова. Она руководитель группы в проектной организации.

— Тогда ей было пять лет?

— Да, пять лет. Вот дочка, она меня действительно спасла. Кто — кого, не знаю. Вот так. Умненькая, неразговорчивая. После Мги она долго не разговаривала ни с кем. И в школу пошла, на пятерки училась, а не разговаривает…»

Надо было срочно вывозить детей из районов, которые оказались в опасности. Занимались этим и ленинградские организации, и местные власти, и сами матери. Лидия Охапкина тоже пыталась вернуть сына.

«Как-то после обстрела я побежала с дочуркой на руках за хлебом, надо было успеть, пока стихло. Передо мной стояла женщина лет 60–63, в очках, на вид интеллигентная, и стала говорить, что вот, мол, возьмет хлеба на два дня вперед и поедет за внуком. Я спросила ее, куда был отправлен ее внук. Она ответила, что с 21-м детсадом (помню точно номер), т. е. туда, куда и мы отправили своего сынишку. Я, вначале нерешительно, стала просить ее привезти и моего. Она стала отказываться, уверяя меня, что дороги бомбят, что не дай бог нас убьют и она не хочет на душу брать грех. Я с ней, конечно, соглашалась, но другого человека у меня нет, и я за нее ухватилась, мысленно, конечно, и стала ее так просить, умолять, от волнения я заплакала. Потом взяла ее руки и стала их целовать. А сама все говорю: ну пожалуйста, прошу вас, пожалейте его и вот этого ребенка, что у меня на руках. Как я с ним поеду, чем кормить, умоляю вас, поймите, помогите, я никогда не забуду вас — и тому подобные слова.

Она согласилась, даже сама чуть прослезилась. Она спросила, сколько лет мальчику. Я сказала, что скоро будет шесть (наврала). Он крепкий, хорошо бегает и может пешком пройти, если нужно будет, много.

На следующий день надо было через райсовет взять документ на возврат ребенка. Я думала, что это просто, но оказалось — довольно трудно. Когда я опять, конечно с девчушкой на руках, приехала к Московскому райсовету, там уже собралась толпа женщин-матерей. Все они были взволнованы, шумели, а некоторые даже кричали: «Верните наших детей! Пусть лучше они с нами здесь будут, а умрем, так вместе, хотя бы будем знать, как и где». Мужчина, который выписывал документы, успокаивал как мог, объясняя, что хотели как лучше, и торопливо выдавал документы. Он дал мне доверенность, которую я сделала на ту женщину. Сразу же

поехала к ней. Дала ей весь хлеб, что у меня был, и немного денег. Она в этот же день уехала. А я с нетерпением стала ждать их возвращения.

Однажды я только что вернулась из бомбоубежища после отбоя тревоги измученная, усталая, сразу легла и заснула. Вдруг проснулась от страшного артобстрела. Я вскочила, спала я тогда не раздеваясь, в платье и чулках. Схватила Ниночку, рюкзак, в котором было приготовлено самое необходимое для ребенка, документы и деньги. Выбежала из комнаты в коридор. Окна — стекла — у меня давно уже были разбиты. А в тот момент от взрывной волны и сотрясения слетела дверь с петель. Я выбежала на крыльцо и увидела, что снаряды летят прямо по нашей улице и так низко, примерно не выше электрических столбов. Я не знала, что мне делать, бежать в бомбоубежище я опасалась, так как они там летают, бомбят. Я так перепуталась, что руки и ноги у меня дрожали и ослабли и дочка стала выпадать из рук. Я села на крыльцо. Колени у меня ходили ходуном. Ко мне подбежала соседка и взяла ребенка. «Что ты здесь сидишь, успокойся, пойдем в бомбоубежище, — говорила она. — Смотри, они падают и разрываются чуть дальше, вон где-то у карбюраторного завода».

Вдруг мы услышали страшнейший взрыв, и пошел черный дым. Это снаряд упал где-то недалеко, где стояли цистерны с бензином. Но бензин все же успели вывезти, а пустые, огромные, чуть ли не с наш дом баки остались, так вот туда и попал снаряд. Запахло гарью, горела земля, пропитанная керосином и бензином, потоки дыма и огня распространялись все дальше и дальше. И мы испугались, как бы пожар не достиг нашего дома. А ближайшие дома сгорели. Небо было багрово-черным с красно-желтыми сполохами.

Я вернулась домой. Один сосед, старый дядька, повесил мне дверь, и я стала варить дочурке жиденькую манную кашку на керосинке. Я решила, как только мне привезут Толяшку, немедленно куда-нибудь выехать.

Прошло две недели. Все это время Лидия Георгиевна жила в страшном напряжении в ожидании сына.

«Наконец, смотрю как-то раз в окно и вижу, стоит та женщина с двумя мальчиками. В одном я, конечно, узнала своего, скорей выбежала, схватила его, стали целовать и благодарить ту женщину. Она стала рассказывать, что дорога была очень трудной. Они ехали немного на поезде, когда бомбили — выбегали из вагонов. Много шли пешком, ехали на попутных грузовыз машинах, на подводах и лошадях… Я поблагодарила ее. На следующий день я опять поехала в райсовет за посадочными документами. Куда ехать, я не знала. Да мне было все равно, лишь бы выехать из Ленинграда. Мне хотелось в Саратов, где жила моя мама, это через Москву, а туда поезда не ходили. Время было конец августа. Но поездка моя сорвалась, потому что я вновь потеряла Толика. Когда я подъехала к райсовету, у его дверей было очень много народу — больше женщин, но были и мужчины. Все они хотели выехать, и пришли тоже за документами. Дверь была закрыта. Все волновались, кричали, стучали в дверь. Я Толю отвела в сторонку, чтоб его не задавили. Вдруг объявляют воздушную тревогу. Дверь открыли, меня туда втолкнули люди, которые были позади меня. Я успела крикнуть: «Толик, беги скорей сюда!» — но потом я огляделась и его не нашла. Я просила открыть дверь, но ее не открыли. Я стала оформлять скорей документы, попросилась без очереди, объяснив, что у меня остался на улице ребенок. Волновалась ужасно. Когда дали отбой воздушной тревоги, я выбежала скорей на улицу, стала искать его, кричать: «Толя! Толя!» — но его нигде не было. Я стала спрашивать всех, кто попадался: «Не видели ли мальчика, одетого в белую панамочку и синее пальто, такого кареглазого, пяти лет?» Мне все отвечали: «Нет, нет». Я кинулась в одну сторону, все продолжаю спрашивать: «Не видели ли мальчика?» — потом в другую. Все отвечают: «Нет, нет». Где он сейчас, боже? Что мне делать, куда бежать? В такой сутолоке, далеко от нашего дома, он же потеряется. Вроде адрес наш он знает, так ведь мог забыть, перепутать!

А по Международному проспекту едут танки по направлению к Средней Рогатке и идут строем солдаты. Многие одеты по-военному, а многие в штатском. Они идут на передовую. За ними, вернее, с ними идут по бокам провожающие, конечно больше женщины. Некоторые плачут. А впереди — духовой оркестр.

Я подумала — не побежал ли мой сынишка за ними? Я кинулась за ними, кричу все время: «Толя, Толя!» Дочка на руках у меня плачет. Наверное, хотела есть и вся мокрая. Догнав строй, я шла рядом, смотрю по сторонам и продолжаю звать: «Толя, Толя!» Люди и солдаты думают, что я зову кого-нибудь из них. Некоторые оглядываются. Я устала, волосы растрепались. Берет, что был на голове, потерялся. Вижу, что сына нет, я села на какое-то крыльцо и заплакала. Думаю: ну вот все, значит, мне завтра не уехать, значит, мне суждено остаться в Ленинграде. Ко мне подошла одна женщина и спросила, что я плачу. Я ей объяснила, что потеряла мальчика, а завтра надо с утра уезжать. Она мне посоветовала обратиться в милицию, она должна помочь. Когда я туда пришла и стала говорить, милиционер не мог ничего понять, так как я говорила сквозь рыдания. Он дал мне стакан воды, чтобы я успокоилась. Когда я в конце концов успокоилась и объяснила, милиционер стал звонить в другие отделения, повторяя, что потерялся мальчик, звать Толя, привести в такое-то отделение. Я прождала его до 9 часов вечера. Дочка плакала, я ее никак не могла успокоить. Мне предложили идти домой, так как без пропусков после 9 часов не разрешалось ходить. Я поехала домой.

Всю ночь, конечно, не могла заснуть. Ни о каком отъезде я, конечно, уже не думала. На следующее утро я поехала в милицию. Толика я сразу увидела, он сидел на окне. На щеках размазанные слезы. Мы оба обрадовались, он заплакал, милиционер рассказал, что он все старался сесть на трамвай, ехать домой, говорил, что мама его ждет. Сел, куда-то поехал, но где выходить не знал. Сел, конечно, не на тот трамвай. Потом стал плакать. Его какая-то женщина отвела к постовому милиционеру, а тот, лишь когда сдал пост, отвел его в отделение, но в другое, там он и ночевал. И только утром привели его в это отделение.

Было 10 ч. 30 минут, а ехать надо было в 8 часов утра. Мы уже опоздали. Снова хлопотать сегодня или завтра я не могла. Этот случай с потерей сына решил, почему я не выехала из Ленинграда».

Случай этот определил дальнейшую судьбу Лидии Охапкиной и ее детей. Если бы сын не потерялся, если бы не было в тот момент тревоги, если бы из милиции его привели сразу, когда мать еще ждала его, то она с детьми уехала бы на следующее утро, не осталась бы в Ленинграде и дальше все сложилось бы иначе. Мысленно она часто возвращалась к этому случаю, от которого вела отсчет поворота своей судьбы.

«МАЛЫЙ РАДИУС» ГЕОРГИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА КНЯЗЕВА

Но вернемся на «малый радиус» Князева — на набережную Невы, по которой он ездит на своем «самокате» с ручными рычагами от дома к Архиву, — все те же восемьсот метров.

«1941. VII. 19. Двадцать восьмой день. Когда я сидел в саду во время тревоги, предо мной в непривычном ракурсе силуэтились на фоне ясного июльского неба мои неизменные спутники — сфинксы. Солнце отсвечивало от их буро-рыжих лоснящихся спин… Сколько у меня с ними связано мыслей, образов в связи с прошедшим и будущим… Я мгновенен, они почти что вечны. Даже если около них упадет фугасная бомба, вряд ли погибнут оба сфинкса, один-то из них, вероятно, останется. И записки мои и стихи мои за многие годы также тесно связаны с невскими сфинксами, с моими думами, с моей тревогой, с «предчувствием», или «прогнозом», того, что случилось. Конкретно я не мог представить себе, конечно, всех событий, но черную ночь великой гуманистической культуры я предвидел. Впереди, вдалеке — и рассвет, опять солнце. Но сейчас страшная кровавая черная ночь культуры… Сердце обливается кровью, когда подумаешь, что то, что с таким трудом и героизмом строил советский народ в течение 23 лет, разрушается полностью. Страшная ненависть охватывает при мысли о завоевателях, мечтающих подчинить себе, как рабов, всех завоеванных. Рабами завоевателей мы не будем!.. У нас есть священная цель — самозащита от разбойников. Что несут в мир завоеватели? Господство касты «избранных», управителей, устраивавших новый порядок…

Я сидел в саду, и эта перспектива туманила мой мозг. Я смотрел на сфинксов… «Вы все видели, но такого страшного человеческого несчастья вам еще не удавалось видеть. Весь мир горит! И на пепелище старого мира страшные морды овладевших совершенной техникой шакалов! Вы, сфинксы, создавались в рабовладельческом Египте. Но это было три с половиной тысячи лет назад… Неужели вы снова будете молчаливо стоять среди когда-то свободных людей, ставших рабами?»

Так было приятно слышать гармоничные звуки отбоя. Все вышли из земельных насыпей и принялись за свое дело или пошли своей дорогой…

1941. VII. 20. Двадцать девятый день. Нужна организация, самая строгая дисциплина. А у нас этого мало! Не умели мы еще организованно и слаженно работать. Учимся только в военных условиях. Я где только могу стараюсь ввести это настроение бодрости, настойчивости. Но ведь я песчинка в необъятном людском море.

Настольная лампа завешена с трех сторон, чтобы свет падал только на стол и не освещал углов комнаты. Пишу эти строчки и думаю: а кто знает, может быть, через несколько дней или через несколько часов от всех этих писаний ничего, кроме пепла, не останется. И все-таки пишу. Стараюсь передать то, чего другие не запишут, даже мелочи, даже такие штрихи, как то, что жена академика Алексеева сидит в свое дежурство у ворот в шляпке и лайковых перчатках. Сегодня в Румянцевском сквере за столиками я видел приходящих туда играть в домино рабочих и служащих. Все те же лица, как и три и пять лет тому назад. Играют, как будто бы ничего не случилось; во время тревоги лезут в траншею. По улицам идут прохожие, шумят трамваи, снуют мальчишки. Особенно они облепляют сейчас моих любимцев — сфинксов. Забираются на спину, на голову, тычут палками в глаза, в уши окаменевшего, когда-то гордого повелителя. Около сфинксов — кучи привезенного песка. Его сгребают женщины, девушки, подростки. Насыпают в автомобили. Город живет напряженной деловой жизнью. Никакой нервности, удрученности не заметно. Движение транспорта только резко сократилось. Зато отдельные военные машины проносятся с невероятной скоростью и не очень заботясь о правилах движения. На самокате я поэтому предпочитаю ездить по тротуару со скоростью, не

превышающей человеческого шага.

Разговорились с комендантом нашего дома. «Скучно, — сказал он, — что воюют на нашей территории… Много разорений. Почему без боя сдали укрепления старой государственной границы?..» Я ответить ничего не мог. Мы очень мало осведомлены. Я так и не знаю, близко ли, далеко ли немцы. Есть серьезная угроза Ленинграду или нет?

В замечательный летний день так многолюден Ленинград. Вечером на набережной много гуляющих. Под Ленинградом горит торф, и над городом стоит дымок. Просто не верится, что у нас война: все спокойны, хотя бы внешне. Около сфинксов — целое гулянье взрослых и малых. Тут же, несмотря на вечер, мальчишки купаются. Мы покуда не видели ни раненых, ни беженцев: Куда же направлен поток жителей Западной Украины и Западной Белоруссии, Литвы, Латвии?..

Глядел на мать с ребенком — дворничиху. Такая мирная идиллия, но она с противогазом. Она играет с ребенком, а сама посматривает на небо — не летят ли? И сколько таких матерей лишились детей, крова, жизни!

Я не снимаю со стола ехидно усмехающегося черта. Как он нагло смотрит на меня и будто цедит: «Ну что, гуманный гуманист, дождался под старость «документов прогресса»?.. Наивный дурацкий мечтатель! Не мир, а война — закон всего живущего…»

И мне делается душно невыносимо. Не мучай, черт, и без того измученный мой мозг.

Не меньше нацистской заразы я боюсь и шовинистического угара. Война для нас священна как защита от налетевших стервятников, но не как война ради господства одного народа над другим. Тут встает вопрос о действительной вине германского народа, принесшего столько страданий человечеству. Что сделал бы Гитлер, если бы его не поддержала значительная часть германского народа? Мучительный вопрос…»

Это пишет «пассивный защитник Ленинграда» — человек, который все-таки не стреляет по врагу. И по которому (пока еще) не стреляют. Лишь «гул пропеллеров» — реальный или только от нервного напряжения — висит над ним.

Но вот перед нами записки человека стреляющего, находящегося под огнем — артиллериста Сергея Герасимовича Миляева, бывшего сотрудника Государственной Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. Через два года он погибнет под Витебском, а пока своей батареей помогает удерживать Ленинград. У него свой «малый радиус обзора», но это уже и радиус обстрела — он солдат. И тоже ленинградец, тоже интеллигент, и мучают его почти те же вопросы, что и Князева:

«Закончил чтение «Красного и черного», перечитывал с большим удовольствием. А сейчас читать нечего. Конечно, скучно. Ведь сидишь в обороне. Т. к. делать нечего, то выпишем весьма известное, важнейшее место из «Развития социализма от утопии к науке». Энгельс: «…и это будет скачком человечества из царства необходимости в царство свободы». Поскольку мне жить еще немного (даже если останусь после этой войны), то умру я все же в переходный период, и поэтому большая часть времени уйдет опять-таки на индивидуальную борьбу за существование, выражаясь языком Энгельса. Как много прекрасных дней потеряно в этой борьбе!»

Ленинградец-артиллерист Миляев прочел отрывок из популярного в те дни произведения и тут же записывает:

«Мне показалось по отрывку, что автор провозглашает тезис «классовой крови» (и отпрыски врага останутся врагами). Чем это лучше тезиса об «арийской крови»?.».

Не в том суть, правильно или неправильно прочел вещь Сергей Герасимович Миляев. Важно другое — живущая и в нем и в Князеве настороженность к любому самому малому сползанию на позиции шовинизма, которым и без того был отравлен мир.

Вот такими были они, защитники Ленинграда, в начале войны. Сказывалась и

ленинградская интеллигентность и настойчивое интернациональное воспитание народа в предвоенные годы.

Дневники Г. А. Князева свидетельствуют: нелегко было снова и снова удерживать в себе высокое чувство братства. Справедливая ненависть к безжалостному врагу, принесшему столько горя, становилась порой невыносимо острой. Но — исчезали наивные формулы, схемы и все-таки оставалось и даже укреплялось сознание, что жесточайшая борьба, все жертвы и страдания потому и оправданны, что они не ради господства одного народа над другим, а во имя будущего без войн, жестокостей, ради жизни, достойной человека.

Писалось это в первые недели войны, когда ненависть к немцам возрастала, когда мы, солдаты, как бы освобождались с горечью и болью от довоенных иллюзий, от надежд на немедленную интернациональную помощь, на классовую сознательность немецкого рабочего класса Позже, много позже мы заново учились отделять немцев от фашистов.

«1941. VIII. 10. Пятидесятый день. Так все меняется Еще год тому назад хоронили Англию, ее морское и мировое могущество. Теперь Англия — не гроб, плавающий по морским волнам. Англия при помощи США удерживает свое господство на морях. И Англия не враг, а союзник. Мы боремся вместе с Англией против общего врага — гитлеровской Германии. И каким анахронизмои является эта картинка с гробом-кораблем теперь!!

Сколько поворотов пережито за последние годы в мировой политике, непредвиденных, неожиданных поворотов. Нам, простым людям, хотя и историкам, трудно, разобраться во всем этом. Поэтому я не пытаюсь много анализировать. Я только констатирую факты. В прошлом году мы и представить себе не могли, что случилось в текущем. Что же принесет нам будущий год? Коммунизм ведь чужд либерально-консервативной буржуазной демократии Англии, как и нацистской Германии…; Сколько тут заложено противоречий.

1941 VIII И — Пятьдесят первый день. Наш кочегар Урманчеев пошел в армию. Осталось трое ребятишек и молодая, но мало смышленная жена… Только он ушел, пережив тяжелую сцену расставания, сдав на наше попечение детей и жену, как мы узнали, что объявлена обязательная эвакуация детей до 14 лет и их матерей. Бомбежка Ленинграда неминуема, и тот, кто распространяет мнение, что немцы не будут бомбить Ленинград, злостный провокатор или глупый болтун. Дети и матери должны уехать из Ленинграда в обязательном порядке. Установлены две очереди: 15-го для неслужащих матерей, 23-го — для работающих. Эвакуация предполагается на баржах. Матери в отчаянии. Что они будут делать, чем жить в тех местах, куда их эвакуируют!

К моей коллекции «документов прогресса». Иллюстрация из «Огонька», 1941, VI, 11. Памятник английскому поэту Мильтону, разрушенный бомбой гитлеровских бандитов. Это в Англии. Что разрушено в городах Западной Украины, Западной Белоруссии, Литвы, мы снимков покуда не имеем. По-видимому, коллекция составилась бы очень обстоятельная.

С каждым днем растет все сильнее ненависть к насильникам, разоряющим наши земли, дома, национальные ценности. Но не пропала еще и пощада врагу. Вот один из документов. Иллюстрация. Пленному немецкому летчику Эрнсту Реетцу оказывают первую помощь доктор Е. И. Невирович и сестра В. П. Васильева.

1941. VIII. 14. Пятьдесят четвертый день. Сегодня мучительно хлопотливый день. Что-то недоброе случилось на фронте. В полдень стало известно, что пал Смоленск. Известие это камнем опустилось на сердце. Немцы где-то за Ильменем-озером. Город полон всевозможных слухов. Особенно в нервном состоянии женщины. До последних дней они крепились. Сейчас не выдержали нервы. Тому, чему я так радовался — спокойствию, выдержке, — пришел конец. Одной женщине, не желающей подвергать своего ребенка всем испытаниям, в районном Совете

ответили: «Не хотите выехать организованно, потом пешком пойдете». Что же это? Подготовка к эвакуации всего населения, к сдаче Ленинграда? Сегодня даже стойкие люди струхнули.

Пытался читать сейчас начатую историю человечества, но не мог превозмочь усталости. Не пришлось отдохнуть сегодня: такой уж день выдался. Собираю в себе все силы, чтобы преодолеть все трудности. Судьба делает меня свидетелем, точнее, современником величайших и потрясающих событий. Смоленск также пал в августе в 1812 году. Бородинский бой был 26 августа. В сентябре Наполеон вошел в Москву. Как-то развернутся теперь события? И откуда у немцев столько сил, столько дьявольской напористости?»

О ТЕХ, КТО БЫЛ РЯДОМ

В дневниках Г. А. Князева, естественно, много записей о людях, которые жили, работали рядом с ним на его «малом радиусе», — о жене Марии Федоровне, о сотрудниках Архива, о жильцах дома, работниках Академии наук, университета, Зоологического музея и т. д. Записи эти подробные, подневные, кое-где предвзятые (страсти и оценки предвоенных лет не могли не влиять на Князева), но постепенно перед лицом смертельной опасности, нависшей над родиной, переживая как человек и историк всемирную драму, Георгий Алексеевич Князев избавляется от различных старых и новых заблуждений.

Делясь со своим дневником мыслями о тех, «с кем не победишь» и «с кем победишь», описывая десятки реальных человеческих типов и судеб, Г. А. Князев постепенно создает сложный образ блокадника, как он его наблюдал на своем «малом радиусе». Среди многих — образ прекрасной, самоотверженной женщины Марии Федоровны Князевой. Георгий Алексеевич и Мария Федоровна встретились в молодости, были, что называется, на равных — и он и она готовились к научной работе, — но постепенно, оба такие независимые, с характером, как бы слились в одно существо. Незаурядная духовная энергия маленькой женщины-зырянки сконцентрировалась на любимом, скованном болезнью, но одержимом работой человеке. Сознание, что она похоронила себя как работник науки, как ученый, если и возникало, то преодолевалось другим чувством, пониманием: Георгий Алексеевич с ее помощью делает за двоих, без нее он не мог бы столько делать.

«М. Ф. говорила мне: «Я люблю жизнь, природу. С детства люблю…» Она твердо и героически переживает страдные дни. Как и я, ко всему готова. Дивная, замечательная женщина! Неужели нас судьба разделит, заставит быть свидетелями несчастья или смерти другого? Уж если умирать, то вместе бы…»

В те дни ходило немало разных слухов о знакомых людях. Нелегко было отделить вымысел от правды. Г. А. Князев старается соблюдать максимальную честность в своих записях. Поправляет сам себя, опровергает, если выясняется что-либо новое.

«Я не записываю массы вздорных слухов. Мне не хотелось, чтобы в моих записях сообщалось под видом факта что-либо вымышленное».

Поэтому он, например, опровергает сплетню об известном литературоведе, о бегстве его из Ленинграда, да еще на моторной лодке! Нет, человек этот в Ленинграде, Князев видел его и записывает это, выяснив, что он куда-то выезжал и «это подало повод к гнусной и порочащей его сплетне».

Меняет он свое мнение о сотруднице Архива И. Л., о которой прежде отзывался нелестно:

«И, глядя на нее в эти суровые дни, я ей многое прощаю. Она искренне страдает и участвует в общей работе коллектива. Несет большую нагрузку обязанностей и по службе и по общественной линии. Сейчас ею руководит бескорыстное чувство, а не карьеризм, как мне показалось в начале войны, когда она пошла в добровольческое ополчение. Справедливость требует и ее отметить в нашем активе. С такою победишь!»

Еще много раз в своих записях он будет возвращаться к облику этих и других людей, оценивая их более объективно, разносторонне по мере того, как ужесточающиеся обстоятельства принудят глубже заглядывать в самого себя, лучше видеть, вернее, понимать человека. А пока у очень многих мысли зачастую диктуются не самоуглублением, размышлением, а первыми эмоциями.

«С. А. Щ., этнограф, заходила к нам в Архив сдавать свои научные материалы. Разговорились.

— Чувствую отвращение к жизни. В середине XX века — и вдруг такие массовые убийства, разрушения.

Отвращение к жизни, к культуре, опрокидывающей самое себя, — вот что начинает овладевать мозгом мыслящих людей. Люди не сделались лучше; хуже, жестче, коварнее, пакостнее стали… Так многие думают сейчас…

Подошел опять в соседней комнате к раскрытому окну. Звездная тихая теплая ночь. Зарницы (или вспышки выстрелов) перестали мигать… Звезды, далекие, бесстрастные, волнующие душу, рассыпались узором по темному небу. Неужели и в ваших звездных мирах, где есть жизнь, происходит то же? Неужели война, массовое, жестокое убийство себе подобных, братьев своих, — закон вечный, неизменный?

Вот и ночь на исходе. Светает. Кончается мое дежурство. Тревоги не было. Немцы опять не бомбили Ленинграда. Это вызывает большое удивление и массу толков, иногда крайне примитивных. Вплоть до того, что гитлеровской дочери нужна неразрушенная великолепная северная столица!

Что принесет сегодняшний день? Осталось два до сна перед уходом в Архив. На сердце словно кто ступил, придавил его. Надрывается оно. Может быть и недалеки те часы, когда… Не буду ничего загадывать. Буду добр, деятелен, работоспособен. До конца.

Передо мной три портрета: Лев Толстой, Тургенев, Чехов. А сбоку — Достоевский. Мои учителя любви к человеку, к человечеству, великие гуманисты. Останусь верен своим учителям!

В газетах много деклараций, соболезнований и т. п. со стороны Америки, Англии и других стран. Надоело читать словесную помощь… До сих пор у немцев ведь так и нет второго фронта!

1941. VIII. 23. Шестьдесят третий день. В ночь на 22 августа, а потом на 23-е ждали бомбежки Ленинграда. 22-го исполнилось два месяца войны и месяц со дня первого налета на Москву. Это число сделали кабалистическим. Бомбежек же не было. Никто не понимает причин, почему немцы не трогают Ленинграда. По этому поводу продолжаются различные измышления».

Да, «в войну наврутся». Например, бродил слух, что Васильевский остров бомбить не будут, поскольку Розенберг будто бы родился на Васильевском. Или что там живет много немцев, еще петербургских, со времен Петра I. И вот уже некоторые, доверчивые к слухам переселяются к близким и знакомым на «безопасный» остров.

Г. А. Князев записывает:

«Вероятно, можно было бы из всех слухов делать и какие-нибудь выводы для изучающего психологии масс. Историк Чернов, например, написал целое исследование о слухах, относящихся ко времени восстания декабристов. В слухах можно подметить и сокровенные чаяния известных прослоек населения, и влияние врагов. Это своего рода «метеорологическая сводка погоды» общественного настроения. Но это специальная тема, и ею я вряд ли займусь в своих записках. Не так я много вращаюсь среди людей и слышу новостей. Например, я совсем не бываю в очередях, на рынках и т. д. А это главные очаги всяких слухов. Может быть, кстати сказать, следовало бы попытаться в противовес стихийным слухам при помощи умелой пропаганды заняться организацией создания здоровых, кующих волю и бодрость духа слухов.

…Все мы живем сейчас надеждой, что прижатые к морю немцы будут взяты в плен или уничтожены морской артиллерией Балтийского флота. Как-то даже успокоились. Сегодня весь день прожили этой надеждой, что немцы будут отброшены от Ленинграда. Живем и другой надеждой — что на юге армии Буденного удалось выйти из окружения!»

Вот они тоже слухи. Хотя вроде бы положительные. Вроде тех, что и будоражили и успокаивали ленинградцев, — про армию Кулика, которая вот-вот окружит немцев, держащих в кольце Ленинград. Кто знает, сколько тысяч людей неразумно заупрямились и не подчинились

приказам об эвакуации, теша себя подобными слухами, иллюзиями!

«1941. VIII. 25. Шестьдесят пятый день. Совершенно недостаточна существующая информация. Все в один голос указывают, что кингисеппские позиции в наших руках, Смоленск тоже… Но положение на юге тяжелое. Н. П. Т. сегодня мне конфиденциально сообщил, что на этих днях решается судьба Ленинграда: город будет объявлен незащищенным. Поэтому нет и бомбежки. Поэтому приостановлена и эвакуация матерей с детьми. В черту города должна войти 30-верстная полоса по радиусу. Уехать из Ленинграда сейчас очень трудно… После его посещения мне стало тяжело: неужели мы не отгоним немцев от Ленинграда? В чем тут дело: почему вдруг так сразу чудовищный нажим на юге и северо-западе, т. е. у нас? Откуда такая силища у врага? Спокойно смотрю событиям в глаза, но мне грустно, что мы недостаточно организованы для преодоления всех трудностей войны…»

Миллионы людей в 1941 году пережили подобные чувства. Сначала неверие: «Немцы придут в наш город? Быть такого не может!» Потрясение: «Они уже движутся сюда!» И затем — кошмарная реальность оккупации.

Не все города были стратегическими, подобно Москве, Ленинграду. Конечно, в судьбе отдельного человека и его деревня занимала положение стратегическое. Жизнь и смерть, судьба человека зависели от того, возьмут ее немцы или не возьмут.

Но судьба страны в представлении миллионов напрямую связывалась прежде всего с двумя городами — Москвой и Ленинградом… Конечно же горе от потери Киева, Минска, гордость и боль за Севастополь, а тем более напряжение, с каким все следили за битвой в Сталинграде, — все это события и чувства всенародного значения. Но пока стояла Москва, пока держался Ленинград, многие другие потери не казались непоправимыми.

Люди везде люди, что в столице, что в маленькой деревушке. И все-таки людям, которые, подобно Князеву, способны многое понимать, самостоятельно оценивать, взвешивать, невозможно было не сознавать, что личная судьба их определяется еще и тем, что живут они в стратегическом городе. Как заметно по дневникам Г. А. Князева, не все и не сразу это ощутили, не сразу на этом стали. И слухи ползли, и иллюзии плодились, порой небезвредные для дела и для стойкости. Вроде этих — о «незащищенном городе» и им подобных.

Не то удивительно, что были слухи и иллюзии, а то, что миллионы жителей города — об этом свидетельствует вся девятисотдневная эпопея Ленинграда, — оказавшиеся на стратегическом участке борьбы, повели себя так, словно сознавали: нам слабость непозволительна, мы не имеем права, на нас особая ответственность! Потому что мы — ленинградцы, мы — питерцы, мы — на виду у всей страны. Все на виду: и наши муки, и наш мужество, и наша готовность пожертвовать всем, но только не вторым главным городом страны!

«МНЕ — 16 ЛЕТ»

А Юра Рябинкин все эти летние недели работает, ходит во Дворец пионеров, играет в шахматы, читает — что еще было делать ленинградскому школьнику в это позднее лето войны? Приятель взял у него читать Майн Рида, Юра взял у него взамен Льва Толстого и «Ниву».

«Ходил с Додей в кино, смотрел «Боксеры»… Ходил в зоосад, играл в бильярд, в шахматы… Почему-то сильно заболела грудь. Появился кашель. Пот так и льется днем и ночью… Город Остров, по всей вероятности, взят, так как появилось псковское направление. Каким фронтом командует Ворошилов?.. Маме приказано явиться на Балтийский вокзал для отправки в Кингисепп рыть окопы. Я провожал маму до вокзала».

Он томится, не знает, что записывать. Война, а с ним и вокруг него как бы ничего существенного, значительного не происходит. Тем не менее он аккуратно пишет и пишет:

«Вечером, когда мы вернулись домой, к нам неожиданно приехала из Шлиссельбурга Тина. Она будущий главврач больницы. Договорились, что, если с мамой что случится, она берет меня и Иру к себе… Говорят, будем учиться эту зиму (8, 9 и 10 классы). Особенно этому не верю. Тут бы быть живым».

Эта запись сделана 19 июля 1941 года. Юра Рябинкин не мог ничего знать об испытаниях, которые ему выпадут, но тем не менее какое-то предчувствие заставляет его вести дневник. Он как бы готовится к чему-то, в нем заостряются чувства, он не верит в успокоительные слухи, он многое уже понял за этот месяц: «Тут бы быть живым!»

И еще записи:

«Да… это, пожалуй, самая тяжелая, самая опасная для нас война. Многое будет стоить победа».

«Прочел «Дворянское гнездо».

«Играл с Давидом в шахматы».

«Мама дала мне денег, на которые я съел тарелку супа (борщ) и тарелку манной каши с маслом в столовой Дворца труда. Затем пришел домой. Дома учился Давать мат слоном и конем».

«Читал «Давид Копперфильд».

«Поехал с мамой на оборонную стройку под Лугу, в Толмачево».

С удовольствием описывает он, как копал вместе со взрослыми противотанковый ров. Эти две августовские недели были полны тревог, их обстреливали «мессершмитты», а они копали, копали по восемь часов подряд. Тем временем товарищи его начинают уезжать из Ленинграда, а Юрина мама тоже готовится к эвакуации. Они обсуждают, куда поехать: мама хочет ближе к Ленинграду, Юра почему-то в Омск. Он все с большей пристальностью следит за событиями на фронте, вдумывается в них и досадует на свою пассивность.

«26, 27 августа. Новгород взят уже несколько дней тому назад. Ленинград подвергается опасности быть отрезанным от СССР. Нам присылают все время американские танки, самолеты («боинги»). «Боинги» везут на кораблях до Владивостока, а там они летят с посадками до Ленинграда. Недавно Япония заявила протест насчет отправки к нам из Америки нефти, ссылаясь, что это угрожает ее интересам. Не обошлось без Германии, наверное. Наши и английские войска вступили в Иран… Иран занимает 4 место в мире по нефти.

Сам я занимаюсь малополезными делами. Читаю, книги, играю в шахматы (закончил матч с В. Н. Никитиным. 17–11=6 в мою пользу), занимаюсь военным делом, делаю военную игру.

От Тины вестей больше нет.

30 августа. …Мама меня хочет записать в военной морскую спецшколу. Да я знаю, что

медкомиссия меня не пропустит, и отказываюсь. Тяжело все же отказываться от своей мечты — моря, да нечего делать. Все попытки — зря.

Пахнет пессимизмом.

Дни провожу за военным делом, шахматами да чтением. Настроение жутко упадочное. Никаких, даже поссредственных, перспектив перед собой не вижу. Нину мама увольняет с 1 сентября. Шахматы, военные игры, военное дело. К чему это мне сейчас, когда я свою затаенную мечту — военно-морское дело — в жизнь превратить неспособен. Тяжело. Пессимизм полнейший.

31 августа, 1 сентября. Занятия в школе 1 сентября, сегодня, не состоялись. Неизвестно, когда будут С 1/1Х продукты продают только по карточкам. Даже спички, соль и те по карточкам. Настает голод. Медленно, но верно.

Ленинград окружен! Немецкий десант, высадивший ся в районе ст. Ивановская, отрезал наш город от всего СССР…

Настроение паршивое. Не знаю, вернется ли когда-нибудь ко мне веселость.

Сегодня, по всей вероятности, нося тяжелые мешки у мамы на работе — помогал снимать важные бумаги, — свихнул шею…

В сводках пишут, что идут бои на всем фронте. И только. Ночью небо озаряют зарницы. Дальнобойные орудия бьют с наших полигонов по врагу. Враг в 50 км от Ленинграда!

Бил баклуши весь день. (Разве только у мамы на работе помогал.) Говорил с Финкельштейном. Если и школах учебы не будет, совместно пройдем (если пройдем?!!) весь курс 9-го класса. Учебники есть.

Завтра мне должно было бы быть 16 лет. Мне — 16 лет!

2 сентября. Да, ничем необыкновенным мой день рождения не ознаменовался.

Мама дала мне пять — 5 руб. в столовую. Решил себя порадовать. Пошел в магазин и купил шахматный учебник. А потом пришел в столовую — там ничего дешевого уже нет. Зато мама пришла вечером — мне два пирога принесла. Потом еще суп сварили — я и суп поел. Сыт, доволен!»

ЧЕМУ УЧИЛИ СТОИКИ

А в этот же день, семьдесят третий день войны, 2 сентября 1941 года Г. А. Князев записывает: «Ленинград стал фронтом».

Уже стекла в парадном доме на Васильевском острове заколотили фанерой и досками. В Румянцевском сквере под дождем учатся гранатометчики. Князевы пытаются запастись сухарями, единственным, чем могут еще запастись. Кроме того, Мария Федоровна приготовила индивидуальные пакеты на случай ранения, контузии. Делает она это спокойно, муж смотрит на ее работу, грустно улыбается, считая, что «наша-то жизнь, во всяком случае, кончена».

«Газета не пришла. В витрине около университета вывешены «Последние известия». Коротко и трафаретно: бои идут по всему фронту. Наши войска продвигаются по Ирану. Около витрины всегда стоят четыре, пять, десять человек. Опять жалею, что не моту здесь дать их зарисовку. Вот Васнецов когда-то запечатлел, и так талантливо, читающих военную телеграмму в 1877 г. Жаль, что не знаю таких зарисовок у современных художников. Вообще с иллюстрациями, лубками и прочим очень бедно…»

В день рождения Юры Рябинкина Г. А. Князев записывает:

«В газетах, по радио призывы к защите Ленинграда: «Защитим каждую улицу, всякую площадь, сделаем каждый дом крепостью!» Но с ополчением опять что-то не вышло. И кругом меня, на моем малом радиусе, покуда нет ни баррикад, ни рвов, ни отрядов ополчения». Г. А. Князев не знал, что дивизии народного ополчения в эти дни яростно сражаются на дальних подступах к городу. Благодаря им в значительной мере бьи сорван план победоносного марша. Начиная с июля Первая, Вторая, Третья дивизии народного ополчения, составленные из коммунистов ленинградских заводов и учреждений, из молодежи, из тысячи добровольцев, останавливали гитлеровские армии, наносили им немалый урон. Ограниченность обзора Г. А. Князева и плохая информация мешали ему знать истинное положение с ополчением. Он мог лишь гадать — и не всегда верно.

«Вчера около 12 часов ночи гремели выстрелы дальнобойных орудий или грохот взрывов. На небе полыхало отдаленное зарево. Где линии наших войск, точно нам ненеизвестно, но фактически Ленинград в окружении вражеских войск. Сегодня убавлен паек хлеба, закрыты коммерческие магазины. Мы вступаем в состояние осажденного города. Смотрим прямо и спокойно на надвигающиеся испытания. По-видимому, город решено защищать, а не сдавать. Тем, кто руководит нами, виднее. Они должны решить вопрос стратегически. Ленинград в этой титанической борьбе лишь эпизод… Но мы, ленинградцы, живые люди, и для нас, безоружных, не воинов, происходящие события решающие. Вот сейчас я опять зажег лампу под зеленым абажуром и уселся за свой письменный стол. А что будет через несколько дней, никакое воображение не может представить. Только аналогии разгрома и гибели десятков и сотен городов встают по отрывочным газетным сведениям как ночные кошмары. Но все аналогии не в счет, если вопрос идет о таком колоссе, как Ленинград… Неужели я буду свидетелем его гибели?..

Направо из сада видны сфинксы. Они стоят по-прежнему. О них попросту забыли… Не до них!.. И они — сами по себе, вне событий.

После сегодняшней тревожной ночи снял в служебном кабинете силуэты академиков работы «Антинга (1783 г.) в стеклянных рамах, чтобы не упали и не разбились. Вазу из первого советского фарфора, специально изготовленную к 200-летию Академии наук, чтобы она не опрокинулась при сотрясении здания, положил плашмя в углублении на шкафу. Не делал этого ранее, чтобы не нарушать порядка, который помогал организовывать нашу волю, наше

сознание… Наступили события, которых мы не думали быть ни современниками, ни свидетелями… Ленинграду угрожает смертельная опасность!..» Чувство ожидания неизвестного особенно тяжело для человека, приговоренного к бездеятельности (свою работу в Архиве он не считал в тех условиях первоочередной для защиты города).

Была у него тревога, были сомнения: «Долго ли сможет обороняться город?.. Великолепный город, ни разу не оскверненный врагом?» Что было, то было, без этого не понять, не оценить того душевного пути, который прошел не один Князев.

«1941. XI. 5. Семьдесят шестой день. Мы стали брать обед в академической столовой, но теперь там длиннейшие очереди.

…Стоит холодная погода, дождь… Цветы вдоль моей дороги на службу поблекли, сморщились, доживают последние дни. Сфинксы лоснятся, омоченные дождем. Над Невой серая дымка скрывает четкие контуры Исаакия, Адмиралтейства, Зимнего дворца, Сената, коней над аркой Главного штаба. А где-то, в нескольких десятках километров на подступах к Ленинграду, немцы… Не верится, словно лихорадочный сон, а не действительность. Как это могло случиться? Немцы у ворот Ленинграда.

Комендант нашего дома, сидевший у ворот, делится со мной своими впечатлениями: «Была бы раньше такая организация, как сейчас, не подпустили бы немцев так близко к Ленинграду».

1941. IX. 7. Семьдесят восьмой день. Стоики учили, что цель жизни — в мудрости и добродетели. Достигнуть этого можно только господством над страстями и неразумными влечениями и непоколебимым равнодушием к превратностям судьбы… Правда, у греков были и последователи другой философской школы, полагающей целью жизни счастье.

Нас учит жизнь непоколебимому равнодушию к превратностям судьбы. И я бываю иногда таким философом. Но я не философ, не мыслитель в полном смысле этого слова. Я хочу жить хорошо, счастливо. Мне лично мечта других греческих мыслителей — о счастье — ближе.

Счастье сейчас? Какая злая ирония. Быть бы живу, не до жиру. Но жить для того, чтобы жить во что бы то ни стало, хоть ничком на земле издыхая, еще более страшная ирония.

Сегодня воскресенье. Не знаю, что делается в мире, в окрестностях моего города, в самом Ленинграде. Ядовитыми слухами не питаюсь, корреспонденции не имею; сижу и читаю отдельные страницы из истории всех времен и народов. И на каждой странице рядом с гением мысли и творчества человека его же кровь, кровь и невыразимое страдание.

Живу лишь данной минутой, даже не часом, не говорю уж о дне. Подарила еще минуту судьба — и благодарю ее. Читаю, пишу, мыслю… А что будет хотя бы через минуту, стараюсь не думать.

Мне попалась картинка на глаза: «Спокойная старость». На иллюстрации глубокий старик в тишине и покое читает. Какой иронией осмысливается это в современном аду!..

Для нашего времени более подходит другая картинка. Великий геометр Архимед сидит в раздумье над своими чертежами. А враги ворвались уже не только в город, но и в дом, где живет мыслитель. Они на мгновение остановились от удивления, увидев спокойное лицо старика. Красивое предание вложило ему в уста, когда он увидел, что его чертежам (не ему) грозит гибель: «Не разрушай моих кругов (чертежей)». Архимед, как известно, был убит во время осады Сиракуз римлянами в 212 г. до н. э.».

ПЕРВАЯ БОМБЕЖКА

Тем временем Юра Рябинкин, по молодости, естественно, натура более действенная, кипящая энергией, создает план за планом, как защитить Ленинград. Его товарищи хотят вступить в народное ополчение. По этому поводу он замечает, что не так-то просто, изучив винтовку, идти против танков. Тут же подбадривает себя: «И с винтовками повоюем!» И тут же приводит один из своих планов:

«Сделать бы так. Минировать бы весь Ленинград, выгнать бы из него население в леса, в общем, чтобы Ленинград пустой бы стал. Создать панику в городе и т. п. Ни один помощник главнокомандующего не знал бы, что главнокомандующий думает. Войска бы заставить так отступать, чтобы если они обернутся, то заняли бы наипревосходнейшие для атаки позиции. И вот немцы уже знают, что Ленинград пуст, все их шпионы говорят то же самое. Немцы будут подозревать хитрость в том, что Ленинград заминирован, пустят туда саперов и т. п. Тогда-то главнокомандующий делает то, что он только один знал. Сразу же, молниеносно, неожиданно (еще неожиданней, чем 22/VI для нас) наши танковые части переходят в грандиозное наступление и заставляют немцев сжаться в комок. Тогда по этому комку обрушивается вся мощь артиллерии, которая во время отступления заняла наивыгоднейшие позиции. Через полчаса огонь орудий переносится на несколько км дальше, а то место, которое они обстреливали, занимают наши войска. Вся авиация, собранная над ними, летает и бомбит уцелевшие остатки врага. И как только враг дрогнул, отступил, тут его надо преследовать с воздуха, с земли, с моря. Посылать все новые и новые войска, не давать ни минуты остановки. Передовые танки сменяются новыми, первые отдыхают, затем снова заменяют вторых и т. д. И только таким ударом можно сломить немцев. И потом еще: как только танки наши достигли определенного участка, часть из них идет назад под углом к прошлому курсу.

Да, но все это несбыточная, фантастическая мечта. Никому не провести такого наступления. Да и танков у нас мало. Я думаю, что Гитлер, наверное, думает выиграть войну шпионами, ну да и еще техникой, разумеется.

Да, десант на Ивановской уничтожен. Остался еще, который на Мге. Каждая передовица в газете кричит: не отдадим Ленинграда! Защитим его до последней капли крови! Крепи противотанковую оборону! Но почему-то победы у нашей армии нет, оружия тоже нет, по всей вероятности. Милиционеры на улице, да даже ополченцы и красноармейцы иные, вооружены винтовками-маузерами черт знает какой давности. Немцы танками прут, а нас учат бороться с ними не танками, а связками гранат, а то порой и бутылками с горючим. Ну и дела».

Нельзя судить Юру взрослым умом, да еще по логике мирной жизни. Это мальчишеские мечтания, которые питаются слухами о тех же десантах; реальность Юра учитывает мало, главное в его мечтаниях — страстное, азартное желание, чтобы все и разом изменилось в лучшую сторону.

Впрочем, минуту спустя и сам Юра замечает, пишет с грустью, что «все это несбыточная, фантастическая мечта».

Ему шестнадцать лет, когда детское и взрослое в человеке еще сосуществует, перебивает друг друга. Он старается додуматься, почему немецко-фашистские войска оказались под Ленинградом, и первое, что ему приходит на ум, — шпионы!

Юрин план разгрома под Ленинградом немецких армий, который он мог бы осуществить на пару с главнокомандующим, не последний всплеск предвоенного детства и предвоенной психологии. Будут и еще всплески такого вот понимания, наивных, а порой и нелепых

представлений, не говоря уж о проявлениях детского эгоизма, с которым немало намучится совесть Юры.

Вот-вот обрушатся на Ленинград бомбы — через несколько дней. Потом начнутся зверские систематические обстрелы. И самое страшное — голод. Каждый приближался к этому, проходил через это своим житейским маршрутом, у каждого был собственный радиус ленинградской судьбы. Малый — с точки зрения всего фронта; бескрайний, бесконечный — если погружаться в глубь человеческой души, переживаний, надежд и утрат.

«5, 6 сентября. Никитин и Финкельштейн хотели идти в народное ополчение, да не пошли. Зашли в школу, крышу красить их заставили. Они не согласились, сказали, что им надо куда-то идти, обещали прийти на следующий день, а на следующий день не пришли. Мама опять меня хочет устроить в морскую спецшколу, да я не желал бы туда идти. Ведь все равно в школу меня не примут, потому что я плохо вижу — раз, плевритные спайки в правом легком — два, ну да и еще кое-что. Чего же себя тешить радужными надеждами, а потом получать горькие плоды?

Ленинград обстреливается из дальнобойных орудий немцами. Так и бухают разрывы снарядов. Вчера снаряд попал в дом на Глазовской улице, снес полдома. Финкельштейн с Никитиным приходили смотреть и рассказывали. Где-то снаряд попал в сквер — много убитых и раненых. Сегодня под вечер опять обстрел. Так, и бухают снаряды где-то в стороне Московского вокзала, там, дальше, за ним. В очередях бабы говорят, что Гитлер обещал закончить войну к 7 сентября, т. е. к завтрашнему дню. Ну и слухи! А еще совсем недавно говорили то же самое, только дата была 2 августа. Вчера был у Штакельберга. Его дома не застал. Пришел домой, он ко мне является. Работает в госпитале, принимает раненых — санитар. Ходил с ним на выставку отечественной войны (на 1-й Красноармейской). Много интересного. Французский средний танк стоит, легкий чехословацкий, потом гаубица 142-мм, всякое германское снаряжение, оборудование. Потешались над одной вещью: карточка, как у нас для хлеба, только она для солдат и на ней стоит надпись: «Имперское отделение по делам поцелуев». И на отрывных талончиках (отрывают, по всей вероятности, в публичных домах) надписи: «случайный поцелуй», «мимолетный поцелуй», «талон на (…)[29] свидание» и т. п. Полнейшее бесстыдство. По стенам развешаны плакаты, фотоснимки и т. п. Мы попали в тревогу и пробыли на выставке 3 часа. Штакельберг мне рассказал о немецких ОВ. Жуткая вещь!

…Сейчас половина десятого. Ленинград обстреливается из немецких тяжелых дальнобойных орудий. Сильные разрывы заставляют содрогаться здания и стекла.

7 сентября. У мамы выходной. Мне пришлось дежурить у ворот с 12 утра до 4 дня. Читал «День пламенеет» Джека Лондона.

Вчера, 6-го, вечером была здоровая канонада. Немцы били по Ленинграду из тяжелых орудий. Сегодня уже тише. Тревог не было, но зенитки били. Сегодня — 129 лет со дня Бородинской битвы. Когда-то под Москвой произошел грандиознейший бой между русскими и французскими войсками. Больше 108000 человек было убито, и ранено в этот день. Тогда иноземные захватчики получили крепкий отпор.

8 сентября. День тревог, волнений, переживаний.

Расскажу все по порядку.

Утром мама прибегает с работы, говорит, что ее посылают на работу в совхоз, что в Ораниенбауме. Ей пришлось бы оставить меня и Иру одних. Она пошла в райсовет — ей дали там отсрочку до завтра. Потом мы договорились о спецшколе. Мама пошла в обком, оттуда завернула в спецшколу, а я завернул к Финкельштейну. У них в школе вышел номер. Ребятам было велено покрыть пол чердака известью. Но извести оказалось мало, и они решили разбавить ее. Но вместо извести они добавили суперфосфата. Произошла реакция… В результате выделился хлор. Ребятам пришлось ходить в противогазах по чердаку. Пришел Варфоломеев,

разругался («Даром, что ли, я вас химии учил!»). Затем Додя пошел сдавать велосипед в армию (3 дня назад пришла повестка о «мобилизации» велосипеда).

Когда я вернулся домой, мама уже пришла. Она сказала мне, что, возможно, меня примут. Но я очень и очень сомневаюсь. Затем мама пошла опять куда-то.

И тогда-то началось самое жуткое.

Дали тревогу. Я и внимания не обратил. Но затем слышу, на дворе поднялся шум. Я выглянул, посмотрел сперва вниз, затем вверх и увидел… 12 «юнкерсов». Загремели разрывы бомб. Один за другим оглушительные разрывы, но стекла не дребезжали. Видно, бомбы падали далеко; но были чрезвычайно большой силы. Я с Ирой бросился вниз. Взрывы не прекращались. Я побежал обратно к себе. Там на нашей площадке стояла жена Загоскина. Она тоже перепугалась и прибежала вниз. Я разговорился с ней. Потом откуда-то прибежала мама, прорвалась по улице. Скоро дали отбой. Результат фашистской бомбежки оказался весьма плачевный. Полнеба было в дыму. Бомбили гавань, Кировский завод и вообще ту часть города. Настала ночь. В стороне Кировского завода виднелось море огня. Мало-помалу огонь стихает. Дым, дым проникает всюду, и даже здесь ощущаем его острый запах. В горле немного щиплет он него.

Да, это первая настоящая бомбежка города Ленинграда.

Сейчас настанет ночь, ночь с 8 на 9/IX. Что-то эта ночь принесет?

До 12 часов.

Только Ира легла спать, опять объявили тревогу. Мы спустились вниз, в 1-й этаж. Быстро оделись. Сперва немного постреляли зенитки, затем стали выть и трещать самолеты. Все время по небу ходили прожекторы. Но ни один самолет не был сбит. Где-то опять бомбили. Все население нижних двух этажей (исключая подвалы) было в коридоре 1-го этажа. Долго, томительно тянулось время. Затем где-то, на дворе дома № 36, забили в рельс. Мы перепугались. Я, Маруська и Лидка надели противогазы и пошли на двор спрашивать, что такое. А на дворе постовой отвечает, что никакой химической тревоги не было. Так прошло около 2-х часов. Наконец мы решились и пошли домой. Тревога еще не кончилась. Зарево на востоке погасло, но то и дело со стремительной скоростью над городом проносились немецкие самолеты. Их обстреливали, а они носились и носились над городом. Сейчас я не знаю, что делать. Мама с Ирой легли спать, не раздеваясь. Может, и я так сделаю. Не знаю. Да, эту неделю фашисты хотят сделать оставленной в памяти у нас, у всех ленинградцев. Видно, взять Ленинград с суши не удалось, так вот они и решили его с воздуха уничтожить.

9 сентября. Пишу ровно в 12 ч. ночи. За весь истекший день — 11 тревог! Да каких! По часу, по два. Самая жуткая тревога была последняя, ночная. Сильно бомбили Октябрьский район. Бомбы рвались и на Красной улице, и на Театральной площади, и у моста Лейтенанта Шмидта. Оттуда пришел очевидец весь в грязи — закидало землей — и рассказывал.

Днем во время тревоги над нашим домом сбили один самолет. Летчик выпрыгнул с парашютом прямо в город. Не знаю, что с ним. Наверное, поймали. В спецшколу не ходил, в школу не ходил. Перерывы между тревогами были по 10–15 минут. Завтра, если все будет благополучно, мама велит идти в спецшколу. Думается мне, не пропустят врачи. Не пройду медосмотр. В сводке передавали, что на Ленинград в 8.30 было сделано нападение с воздуха, но военные объекты не пострадали. А мама сказала, что сгорело много продовольственных складов, станция Витебская-товарная, маслобойный завод и еще жилые дома, сколько их — неизвестно.

Эти налеты на Ленинград все объясняют тем, что у Гитлера не выгорела операция с захватом Ленинграда сухопутными войсками. Обозлился и приказал бомбить.

На фронтах без перемен. Мы отбили какой-то город Ельно[30]… И то хлеб.

Да, теперь Ленинграду отдыха не будет. Каждый день бомбить будут.

В нашу квартиру хотят вселить семью какого-то главного инженера треста. Жуки! Мама хочет наотрез отказать.

Сирена. Час — тревога. Отбой. Перерыв — десять минут. Опять тревога. Так можно вконец измучить население. А у нас в доме даже нет бомбоубежища.

Пожалуй, пристроюсь я в пожарную команду в школе. В спецшколу наверняка не попаду. Лягу, пока тихо. А там кто знает?..»

Иначе пережил тот же день первой бомбежки Г. А. Князев:

«1941. IX. 8. Когда я возвращался со службы, на отрезке моего малого радиуса — набережной Невы чувствовалось неровное пульсирование жизни города. Николаевский мост был разведен. Движение происходило только через один Дворцовый мост. Поэтому пустынная Университетская набережная превратилась в магистраль. Вскоре между поднятыми разводными частями красавца моста показался корабль — канонерская лодка с двумя дальнобойными орудиями. Корабль поднимался вверх по течению Невы. Река была оживленна. Военные катера волновали свинцовые сентябрьские невские воды… Недалеко от Дворцового моста корабль остановился и дал продолжительный свисток, чтобы его скорее пропустили дальше.

По набережной прошел отряд матросов в походной форме и с шлемами на походных сумках. Какой-то автомобиль, весь покрытый грязью, с разбитым стеклом, прокатил мимо. В Румянцевском сквере опять ожидали группы ленинградцев, отправляющихся на трудовую повинность. В автобусах ехали куда-то вооруженные и невооруженные рабочие…

Так вдруг наполнилась жизнью, как река в половодье, моя пустынная дорога вдоль грядки с цветами и кустиками…

Кстати, на днях их подстригли. Кто-то блюдет их даже в эти жуткие дни! Это меня как-то подкрепило, подбодрило.

На Съездовской линии у ворот казармы толпился народ. Ждут свидания с ранеными, размещенными там. Некоторые заглядывают в окна, откуда высовываются красноармейцы и матросы с забинтованными головами или руками…

В 7 часов 30 минут вечера, когда я отдыхал, вдруг затрясся весь наш дом. Раздавалась стрельба из зениток и пулеметов. Первое мгновение было жуткое. Но сразу же взял себя в руки, поборов первое стремление уйти, убежать от опасности… На дворе толпился народ около бомбоубежища. Крауш привезла туда своего больного ребенка. Все смотрели на небо. Соседи пришли сказать, что у них из окон на юг видно громадное зарево и столбы густого дыма, которые заволокли все небо. Действительно, когда я пошел посмотреть, за Невой полыхало пожарище. Даже в воде оно отражалось. Некоторые предполагали, что прорвавшимся немецким бомбардировщикам удалось зажечь нефтехранилища где-то у Волковой деревни.

10 часов 30 минут. Опять тревога. Вышел на лестницу. Прожектора обыскивают небо. Стреляют зенитки. Возвратился к себе в кабинет и сижу в пальто, в фуражке и калошах под колпаком своей зеленой лампы и пишу… М. Ф. шутит: «Ты совсем как Архимед». Дом вздрагивает, но не так, как давеча. До тревоги успел позвонить на службу. Там все дежурные наготове. Мы с М. Ф. поужинали. Собрали свои узелки с вещами, деньги. М. Ф. ушла на свой санпост.

12 часов 30 минут. Тревога продолжается. С судов на Неве иногда раздаются выстрелы. Соседи еще не вернулись, сидят на ступеньках лестницы внизу. Сегодня весь Ленинград, по-видимому, не будет спать.

Итак, на семьдесят девятый день началась бомбежка Ленинграда. Впереди, пожалуй, предстоит много еще таких тревожных дней и ночей. Чашу испытаний нужно будет выпить до дна, трудную чашу».

Начались бомбежки Ленинграда. В устных рассказах-воспоминаниях каждый второй говорит о пожаре на Бадаевских складах независимо от того, близко или далеко он был от них.

Но вот мы читаем дневник Г. А. Князева, подробный, подневный, и ничего этого в нем нет: «где-то у Волковой деревни» немцам, мол, «удалось зажечь нефтехранилища»… И 9 и 10 сентября — хотя и о бомбежках записи, но фантазию человека поражают какие-то мелочи (в сравнении со складами и их значением). Впрочем, и в мелочах этих зловещая символика, ирония войны.

«1941.IX. 10. Восемьдесят первый день. Оказалось, что и вчера в вечернюю тревогу были жертвы. Стервятники бомбили опять… зоологический сад. Погиб слон. По одним сведениям, его контузило взрывной волной, по другим — ранило осколком бомбы, он очень мучился, и его пристрелили. Два вечера подряд несчастный зоологический сад переживал все ужасы действительного ада».

Так и не найдем в записках Князева ничего о Бадаевских складах. Да, у него — малый радиус, да, он старается «не фиксировать слухов». Но гибель складов, пожар во все небо, якобы виденный всеми, оказывается, не производили тогда того впечатления, какое они обрели в воспоминаниях.

Угроза непосредственного штурма города была слишком серьезна, мешала думать о более далеких последствиях и событиях.

У вспоминающих сегодня — уже другой угол зрения. Они уже прошли через страшный голод, их месяцам и годами терзали сожаление, память о хлебе, который не запасли, о сахаре, о крупе, которые погибли, и поэтому им кажется, что в первый же день они уже ощутили, осознали значение тех пожаров. А вот в дневниках этого нет. В них нет отбора событий — как бы из будущего. Они словно бы неисторичны. Но в них есть психология того времени, видение войны теми глазами, и этом дневники историчны…

Горели не только Бадаевские склады, горели соседи — жировой завод, запасы которого тоже немало значили для блокадного Ленинграда. Нина Александровна Абкина даже уверена, что тот дым, всеми ленинградцами увиденный, был от ее завода… В те дни многие свой радиус считали особенно тревожным, значительным. Могли главного и не заметить. Но то, что помнит Н. А. Абкина, действительно сыграло свою роль и в трагедии и спасении Ленинграда.

«— Я как только кончила институт и получила звание инженера-технолога, была направлена (тогда ВСНХ распределял студентов) сюда, в Ленинград. Потому что моя дипломная работа была на тему «Маргариновый завод», а здесь строили в это время маргариновый завод. Один уже был построен в Москве, а второй строился в Ленинграде. Ну, меня сюда и послали…

Когда-то, при царизме еще, здесь был завод главным образом по переработке отечественной культуры льна. Льняное масло переваривалось на льняную олифу. Много производили, когда я уже начала работать, — десять тысяч тонн в год мы этой натуральной олифы варили. Приходилось расширять сырьевую базу, и к нам стали поступать то подсолнухи, то какие-то другие масличные культуры… Ездил у нас один деловой такой мужичок по Советскому Союзу и направлял нам всякие жиросодержащие культуры. И поэтому когда кто-то из центра нам предложил взять на переработку кокос, закупленный у американцев на Филиппинах, то наши с удовольствием согласились, потому что это означало полную загрузку производства. Купили, привезли во Владивосток, а оттуда по железной дороге к нам… Мы считались передовыми, считалось, что у нас кадры подходящие и сумеют, справиться с совершенно новой культурой. Надо было переделать машины, сделать целый ряд опытов, и потом только мы сумели перерабатывать этот кокос.

Привезли нам две тысячи тонн. Мы приняли, положили, начали работать — и на этом

настигла нас война. Ну, первый день нападения с воздуха на Ленинград — его все, по-моему, кто не помнит, кто забыл, кто не знает точно, как это было. Но я-то помню, потому что оказалась в самой гуще этого дела. Помню, мы были на казарменном положении, когда был первый налет самолетов… Я не знаю, сколько они сбросили на Бадаевские, но на наш завод, я знаю более или менее точно, потому что все «хвосты» от бомб, все стабилизаторы были ко мне принесены. Ну, бросились по неопытности гасить то, что видели, что упало на крыши (а крыши деревянные), в цеха, на груды угля, которым тогда котельная топилась, просто на территорию, а то, что проникло внутрь бунтов с кокосовым орехом, естественно, не увидели, а может быть, тот, кто стоял около этих складов, не очень внимателен был, — не знаю, но там увидели только тогда, когда все эти бунты с огромным количеством сухого и жирного семени (жирность 70 %, влага — 2 %), — когда все это занялось и загорелось таким костром, который был виден с Крестовского острова. Так вот про этот пожар. Мы были совсем неопытные, как я уже вам сказала. Я — одна из трех на заводе, которая имела ружье, видите, не умею даже точно назвать, — винтовку. Она, надо сказать, «темное пятно» в моей биографии, потому что, как только сказали, что летят над нашим заводом самолеты, мы все бросились тушить зажигалки, и я поставила винтовку где-то в углу — и она пропала! Вы представляете!..

— Расскажите, а как вы тушили жмых?

— Да, жмых… Занялись склады, горела копра. Копра, конечно, горела в первую очередь. У нас был один ряд складов с копрой, затем еще ряд складов с копрой, а в середине — строение, где лежало восемьсот тонн жмыха, и мы под конец, когда было видно, что тут ничего не сделаешь, решили спасать хотя бы этот склад жмыха. И вот наш директор Василий Яковлевич Трофимовский, очень хороший человек, — он главным образом и тушил. Я забрала тоже у одного пожарного (потому что он очень пятился из этого огня, огонь был немыслимый) кишку, поливала склады, поливала директора, когда на нем дымилось пальто. Ну и на крыше у нас стоял один рабочий, хороший такой, и он поливал. Кто-то подносил воду. Вот таким образом мы боролись против этой стихии.

— Скажите, а жмых потом в хлеб добавляли?

— Этот жмых куда шел? Я вам боюсь точно сказать. На нашем заводе он не имел никакого употребления. Соседний хлебозавод брал — это был двенадцатый хлебозавод (через забор с нами), вот туда шел жмых. Потом его как таковой отпускали и как таковой употребляли жители, в том числе и мы. И он, наверное, спас нас от голода, потому что мы этот жмых рубили, и это главное питание, которое у нас было. Мы его поджаривали, какие-то лепешки делали, и вот таким образом мы жили, Конечно, нас спас не только жмых. Все же у нас было жировое предприятие. Мы могли этот жмых поджаривать на каком-то жире, и, таким образом, у нас не было людей, которые умерли от голода.

— А вы горелое это масло в армию отправляли?

— Да, мы были главные поставщики Ленинградского фронта по жирам, и то, что у нас было, все, что было переработано на жир, пока была электроэнергия, — все эти жиры отдавались армии Ленинградского фронта. Потом, с каким-то перерывом, мы снова вернулись к производству жира для армии. Это был перерыв в несколько месяцев, потом, когда уже проложили по дну Ладожского озера кабель от Волховской ГЭС и нам стали давать очень экономно электроэнергию, мы некоторые цеха стали пускать — неэнергоемкие. Энергоемкие цеха не пускали до окончания войны, а другие цеха пускали. Но все это могло быть или когда была электроэнергия — ДО 6 января 1942 года, — или после перерыва. На три месяца вообще все в Ленинграде замерло. Это были страшные дни — дни совершенного мрака, абсолютной тишины, мертвой тишины и огромного количества смертей…»

Мы расспрашиваем Нину Александровну только по делу. Свидетельство Нины

Александровны касается объекта важного, о судьбе которого мы ничего не слыхали, нигде не читали. Видимо, в ее рассказе и содержится объяснение тому знаменитому дыму, той картине страшного пожара, которая вошла во все рассказы ленинградцев.

Мы ограничиваем себя исключительно этой историей, мы не спрашиваем Нину Александровну о ее личных потерях, о ее семье. На стене висит портрет юноши. Кто он? Эта скромная, но давно обжитая комната со старыми, привычными хозяйке вещами — что она видела, как сложилась жизнь Нины Александровны в 1943–1944 годах? Даже этого мы не выясняли, потому что чувствовали, знали — для книги понадобится только этот кусочек. У нас уже был опыт. Мы ограничивали себя. В этом была необходимость, может быть, честность перед Ниной Александровной, но была и жестокость. Человек деликатный, она не навязывала нам своих воспоминаний, рассказов о себе, которые могли быть тоже важны и ценны. И долго еще вспоминалась эта недосказанность, эта комната в доме вблизи стадиона имени Ленина. Таких недосказанных, невыслушанных историй было немало, и от них копилась горечь и чувство вины перед людьми, чью память мы так безжалостно растревожили…

Однако вернемся к подневным запискам Г. А. Князева.

«1941. IX. 16. Восемьдесят седьмой день. Все по порядку.

Утром я увидел на набережной отряды вооруженных матросов. Они входили в подъезды домов. На Неве разгружался против нашего дома военный транспорт. Оказалось, что в окнах домов, выходящих на Неву, устанавливаются пулеметные гнезда. Матросы вошли и в наш дом, чтобы поставить пулеметы в квартирах Карпинских, Щербатского, Павловой и др. По затемненной лестнице ходили с мешками песка чистенько одетые, совсем юные моряки, по-видимому курсанты. У ворот выстроился целый караул…

Вернулся домой. Что делать?

Дом превращается в форт или дот. Можно ли оставаться в нем, хотя наши окна выходят во двор? Не теперь, конечно, а во время боя. Но где враг: далеко, близко? Моряки действовали очень быстро, даже с места на место не переходили, а перебегали. Решили с М. Ф. временно перебраться на службу. Если нужно будет погибать, то хоть на посту, а не в какой-нибудь лестничной клетке или в бомбоубежище. Собрали необходимые вещи, походную кровать, и я отправился на службу.

Около Академии художеств меня поразило то, что моряки на небольшом расстоянии друг от друга выкапывали ямки, что-то укладывали туда, сверху клали кирпичи и засыпали песком… Аккурат против сфинксов. Неужели… И сердце дрогнуло.

Целый день хлещет дождь. Задувает сентябрьский ветер. Где-то вдалеке ухают артиллерийские орудия. Несмотря на нелетную погоду, часто гудят пропеллеры наших самолетов. Весь город ощетинился штыками, пулеметами, огневыми точками, заграждениями. На некоторых улицах, на подступах к городу возводятся баррикады. Ленинград готовился к боям на улицах, площадях, в домах. Чему мы будем свидетелями? Настают самые трудные дни и часы…

Ночь. Сижу в своем служебном кабинете в Архиве. Со мной М. Ф. Она спит на моей походной кровати. Тишина. Горит затемненная лампа, бросает свет только на этот лист бумаги. В углу на белом фоне стены чернеет профиль бюста Ленина. Думал ли я когда-нибудь, мне придется в этом уютном служебном кабинете проводить при таких исключительных обстоятельствах ночь! Прислушиваюсь к тишине, тревоги не слышно. Мои дежурные — двое спят в читальном зале, а один бодрствует в той комнате, где телефон. На дворе черная ночь. Дождь, кажется, перестал хлестать. Но холодно и тоскливо на душе.

Белявский показал мне поднятое письмо на Зелениной улице около разрушенного дома. Взрывная волна вынесла на улицу чью-то переписку и листки какой-то рукописи… Неужели и с

моими листками случится то же?

«Скажите, — обратился ко мне Белявский, — неужели никто сейчас не ведет записей того, что происходит в городе, как переживают люди события? Как бы хорошо организовать такую запись, освободить такого человека от других обязанностей; поручить ему ходить по улицам, заходить в учреждения, дома… Не может ли это делать Институт литературы, например?» — «Нет, — ответил я, — это не входит в его функции. В институте — историки, теоретики литературы, а не писатели или бытописатели…»

Я ни словом не обмолвился, что такую запись, насколько у меня хватает сил и времени, все-таки веду, например, я. Правда, мои записи ограничиваются очень малым радиусом и малым числом встреч и событии. Но кто-нибудь, наверное, записывает события и переживания на значительно большем радиусе».

ДНЕВНИКИ, ДНЕВНИКИ…

Георгий Алексеевич Князев догадывался, что пишут, не могут не писать о том, что происходит с Ленинградом, со страной, с миром, с ними самими происходит, и другие ленинградцы. И возможно, у кого-то радиус шире, не замкнут на доме, работе, небольшом отрезке набережной Невы… За «узость» своих записей Князев винится, оправдывается, обращаясь к возможному их читателю, к «далекому другу». И где может, расширяет свой радиус, вводя сообщения из газет, книг. Нам же, его «далеким друзьям», хорошо видно, что значимость и сила его записей как раз в закрепленности за определенным, постоянно наблюдаемым местом.

У Юры Рябинкина да и у Лидии Георгиевны Охапкиной радиус еще более узкий — они пишут о себе, о своей судьбе. Великую истину выразил Лев Толстой, когда говорил: чем глубже в себе зачерпнешь, тем нужнее это всем!.. Дело не столько в широте захвата, сколько в глубине проникновения. А к дневникам и запискам тех лет это имеет отношение прямое и даже особенное. Вот почему огромную всечеловеческую силу имеют сегодня эти сугубо личные, казалось бы, исповеди блокадной матери и блокадного мальчика, исповеди людей, которые себя и других познавали, открывая бездны и вершины существования человеческого…

Больше всего, страшнее всего запомнился Л. Г. Охапкиной воздушный налет 8 сентября 1941 года.

«Это было 8 сентября 1941 года. Когда началась тревога, я побежала в бомбоубежище, но не добежала, а скрылась в подъезде каменного дома. Я стояла и тряслась от страха. Одна женщина пригласила меня к себе. Она жила на втором этаже. Только мы поднялись по лестнице и вошли в квартиру, как услышали взрыв оглушительной силы, с неописуемым грохотом и шквалом огня. Рев моторов нас всех оглушил. Взрывы бомб где-то недалеко раздавались. Весь воздух, все кругом трещало, гудело. Наш дом весь дрожал. Казалось, и земля-то бьется в судорогах, как при землетрясении. У меня от страха стучали зубы, тряслись колени. Я забилась куда-то в угол, прижав детей к себе. Они от испуга плакали. Мне казалось, что я минутами теряю сознание. Я думала, что вот конец, вот сейчас на нас упадет бомба и мы все погибнем. Все мы стояли как приговоренные к смерти. Хозяйка квартиры стояла с открытым ртом и расширенными глазами, что-то шептала. Мать ее, старуха, упала на колени и крестилась. А дети ее, немного старше моих, тоже плакали. Мы жили на Волковом проспекте, недалеко от железной дороги и совсем близко от линии фронта. Поэтому там было гораздо опаснее, чем, например, на Васильевском острове или на Выборгской стороне, вообще по ту сторону Невы. Этот налет продолжался долго. Я уже думала, что мы не переживем. За эту ночь у меня появились седые волосы.

Я решила, что оставаться жить здесь больше нельзя, тем более что недалеко от нашего дома разрушены были в ночь дома. Утром дымились руины. Балки торчали, как огромные кресты над людьми, которых завалило…»

…Я поехала на Петроградскую к жене Шуры, которая жила недалеко от Кировского проспекта. У нее тоже была маленькая дочка. Я думала, что мы больше друг друга поймем, тем более она жила в первом этаже, а тогда это было удобнее и безопаснее. Когда я к ней приехала, все ей рассказала. Она согласилась; только, чтобы ночевать, надо взять разрешение в милиции. Мне пришлось долго там ждать.

У Инны я прожила всего два дня. К ней приехала мать из пригорода, нам стало тесно, и мать была не довольна, и я опять уехала к себе домой в Волков деревню.

Дома у нас жильцы почти все выехали, кто эвакуировался из Ленинграда, а кто переехал жить в центр города к родным или знакомым. Крыша нашего дома сгорела, и во втором этаже уже никто не жил. Я жила в первом этаже. Там еще осталось две семьи. Я жила в страхе за детей

и как приговоренная к смерти. От каждой бомбежки ждала гибели. Но однажды приехала комиссия от райсовета и предложила выехать в другой район, сказали, что утром будут поданы трамваи и нас всех, кто жил в Волковой деревне, перевезут. Нас перевезли на Васильевский остров, где потом через В. О. райсовет мне дали комнату, узенькую, 8–9 метров, на 1-й линии, на третьем этаже, где я потом и жила с ребятами. Это было числа 20–23 сентября. Тревоги и воздушные налеты продолжались, и я с детьми бегала в подвал, где было устроено бомбоубежище. Но потом перестала туда ходить, так как убедилась, что если случится прямое попадание, то все равно не спастись. И потом тревоги начинались больше вечером, часов в 8—10, дети уже спали и их трудно было собрать. Толик спал одетым, как и я, даже в зимнем пальто, в ботинках. Его трудно было поднять. Один раз я его будила, чтобы скорей бежать. Он только что заснул и не хотел вставать и сквозь слезы говорил: «Не пойду я, пусть меня сонного убьют, мне будет не больно. Не хочу я, не хочу никуда». Мне слышать это было невыносимо… С тех пор я перестала ходить в подвал.

…Я уже не помню, когда мыла ребят. Бани работали с большими перерывами. И из-за тревог опасно было ходить. Я решила детей помыть дома. Когда я раздела Толика, то увидела, что его тело все покрыто болячками и расчесано. У него была чесотка, которую он подхватил, когда был в отъезде. Я пошла в аптеку. Чесоточной мази не было, и мне дали синьки. Но прежде чем помазать его, надо было помыть как можно горячей водой. Один раз во время такой процедуры — дело было к ночи — он стоял голенький в круглом тазике, и я его мыла такой горячей водой, что у самой еле терпели руки. Он кричал. Вдруг объявили воздушную тревогу. В окно нашей комнаты тут же как бы влетела огненная вспышка. Ковер старый, занавешивающий окно, упал. Стекло вдребезги раскололось. Все это в один миг. А на улице я услышала оглушительные взрывы. Дети громко закричали. Я схватила сначала Тольку, голого, мокрого, почти бросила в коридор на пол, потом побежала за дочкой. Прижала их к себе где-то в углу коридора. Думаю, ну когда же это кончится, неужели не будет конца? «Звери, сволочи», — ругала немцев. Наутро, когда я пошла за хлебом, увидела, что у дома напротив нашего одна половина была разрушена, на другой, уцелевшей, стенки оклеены разными обоями: розового, голубого и зеленого цвета, в цветочки и полоски. И что странно было — в одном квадрате висели большие часы и еще ходили».

Но все равно Лидия Георгиевна Толика мыла и смазывала каждый вечер и вылечила его, хотя, когда наступало время мыть, страшно нервничала…

Дневники стали вести сравнительно многие ленинградцы. Возможно, такое происходило с началом войны и в Других прифронтовых городах, не знаем. Но в Ленинграде явление это достойно внимания. В первые дни войны работница больницы имени Софьи Перовской Фаина Александровна Прусова дает своему сыну, студенту-медику, общую тетрадь и просит записывать, что будет происходить с ним и со всеми. И сама принялась писать военный дневник. Они сохранились, оба дневника, матери и сына. Дневников уцелело на удивление много, хотя это, конечно, ничтожная часть того, что было.

Сколько их, этих дневников, все более теряли первоначальный характер аккуратных, старательных записей, по мере того как надвигались темень, голод, холод, смерти. Вроде бы нетрудное занятие — писать — теперь становилось непосильной работой, подвигом человеческого духа. А сколько таких записок было разметано взрывами, сгорело в блокадных пожарах, пропало после войны — одни в самом Ленинграде, другие где-то в далекой эвакуации. Марина Александровна Ткачева сохранила переписанный от руки ее теткой дневник неизвестной блокадницы и привезла его в Ленинград из Ярославля. В конце сделана такая приписка: «Эти тетради были найдены в столе одного учреждения в г. Ярославле. Один из

служащих нашел их в столе и пренебрежительно отбросил. Их подобрала другая служащая и, посмотрев наскоро в перерыв и увидев, что это дневник женщины, пережившей голодную зиму 1941 г. в Ленинграде, взяла их к себе домой. Дома, прочтя, она узнала, что автор — родственница ее близких знакомых. При расспросах выяснилось, что учрежу дение расположилось в помещении, где до этого помещался стационар для эвакуированных, где и умер автор дневников».

И дневник Юры Рябинкина — обгоревшая общая тетрадь — оказался в руках внимательного человека, медсестры Р. И. Трифоновой, и был сохранен.

Здесь также были свои спасатели…

Некоторые блокадники начали писать, записывать пережитое, как только вырвались за кольцо. Или же вскоре после войны — «по свежим следам». К машинописным «Запискам о блокаде Ленинграда» Л. Д. Барановой сделано примечание: «По настоянию друга всей моей жизни Надежды Васильевны Розановой-Верещагиной составлены эти записки в 1942—43 годах по приезде в Москву из блокированного Ленинграда».

Т. В. Рябинина свой маленький блокадный дневник дополнила записями по памяти, строго разделив то и другое. А причина того, что дневник оказался излишне лаконичным и неполным, ею же объяснена:

«Мне жаль теперь, что я так скупо писала, но это в значительной степени зависело от того, что нельзя было писать подробно. Десятки плакатов и воззваний призывали нас к бдительности, так же как и к стойкости, мужеству, сплоченности. Всюду стены были оклеены призывами, карикатурами, плакатами. Тут был и «наследник престола российского Кирилл в виде коронованной обезьяны, и обыватель — любитель слухов с огромными, ушами, и рабочий, призывающий работать, не склоняясь перед трудностями, и женщина, призванная заменить мужчину на производстве, — всего не перечислишь. Множество листовок расклеивали в домах, на воротах, раздавали в домоуправлениях. Их читали, очень читали, и они, несомненно, сыграли большую роль…

А о бдительности, об осторожности нам твердили на каждом шагу. На улицах патрули нередко проверяли документы, без паспорта нельзя было ходить, так как в любой момент могли остановить и потребовать его. Нельзя было указывать дорогу ни к каким «объектам» — заводам, мостам и т. д., нельзя было ни выслушивать, ни давать каких-нибудь сведений о пострадавших домах, о количестве жертв, о местах падения бомб, так как все это давало ориентировку врагу. Спросить «как пройти туда-то?» означало получить в ответ «не знаю», сопровождаемое подозрительным взглядом. Я сама отвечала «не знаю» незнакомым людям на какой-нибудь пустячный вопрос. Особенно осторожны мы стали после того, как в двух шагах от нас с помощью собак-ищеек поймали двух диверсантов, скрывавшихся в забитом ларьке «Утильсырье». Это им мы обязаны первой бомбой, упавшей на дом № 4/3 восьмого сентября, это они давали сигналы теми красивыми зелеными ракетами, которыми мы по глупости любовались в первую ночь бомбежки.[31] Они просуществовали в своем ларьке недели две, и за это время бомбы не раз сыпались возле нас. Я не видела, как их обнаружили, но видела толпу, провожавшую их. Какое-нибудь незатемненное окно вызывало взрыв негодования и подозрений».

И вот пришлось Т. В. Рябининой восполнить по памяти свои записки военных лет — уже в начале 50-х годов.

Возвращались позже к своим записям и некоторые другие блокадники. Например, дневник Фаины Александровны Прусовой имеет дубликат: она сама в 1951 году переписала свой дневник с разрозненных клочков бумаги в общую тетрадь. Копию сделала «для Димы» (внука) со всей бабушкиной старательностью: с фотографиями, вырезками из газет, фотокопиями блокадных

рисунков сына Бориса и т. д.

В архиве Ольги Федоровны Берггольц осталась толстая папка с надписью «Выписки из дневников». Там перепечатанные на машинке отрывки из блокадных дневников самых разных людей — учителей, партийных и советских работников, врачей, шоферов. Ольга Федоровна собирала подлинные документы тех лет для своей книги «Дневные звезды» — донесения бытовых отрядов, сводки райкомов комсомола, вырезки из газет, — делала выписки из дневников. Где сами дневники — неизвестно. Но интересно, как много их было в ее распоряжении в первые послевоенные годы. Да и к нам спустя тридцать лет дошло немало. Материал, отобранный Ольгой Федоровной, действительно впечатляет, и мы позволим себе приводить эти выписки (с разрешения Марии Федоровны, сестры Ольги Берггольц).

Выписка из дневника заведующей учебной частью 239-й средней школы К. В. Ползиковой-Рубец.

«11/Х1.41 г. Бомбоубежища настолько вошли в быт, что без них многие себе не представляли города. Старушка в очереди: «Разбомбили на Фонтанке господский дом, там и теперь никто не жил и раньше квартир не бывало. Жили там одни господа, графья. А папаша-то мой был у них старшим дворником. Дворницкая-то была хорошая, светлая. И как сейчас помню: налево конюшни и каретный сарай, направо подвал. А вот где было бомбоубежище, никак не могу припомнить, девчонкой ведь я тогда была». Под общий хохот очереди старушка никак не могла сообразить, что в те времена ни бомб, ни убежищ не было.

28/II. 42 г. Хочется записать про самое красивое и страшное зрелище одного из октябрьских вечеров… Я у Луров-Муров. Сирена воет, и Лур властно требует, чтобы мы спустились в бомбоубежище. Мур исчезает, в штабе, а Лур сидит со мной. Затем он выходит на улицу, возвращается и говорит — «сбросили зажигательные в районе Нардома». Через час отбой, и мы выходим на набережную. Здесь так светло, что можно читать газетный шрифт. Американские горы точно иллюминированы ярким белым, точно электрическим, светом, местами освещение так ярко, что видны рельсы, по которым когда-то спускались вагонетки. Горы эти высятся на фоне огромного темно-красного моря огня. Пламя ширится. Темное облако дыма нависло над этим гигантским костром. Иногда видна струя брандспойта, но, кажется, она не имеет действия. Нева вся сверкает, отражая то кроваво-красный огонь, то ослепительно яркий, белый. Крепость и Томоновская биржа прекрасны, так прекрасны, как не были никогда ни в одну иллюминацию. Все три моста видны до мельчайших деталей. Зрелище незабываемое по страшной красоте, именно страшной, от слова «страх». Что-то есть, что напоминает брюлловскую «Гибель Помпеи»…»

Вернемся, однако, на «малый радиус» Г. А. Князева. 19 сентября он записывает:

«Не понимаю, что происходит. 15-го у меня было впечатление, что неприятеля ждали на улицах города. Поехал ночевать в Архив, чтобы вместе с ним разделить его участь. 16-го ободрился. Все говорили, что неприятель отогнан, наша авиация усилена, кольцо окружения размыкается извне… 18-го иллюзии был положен конец часовым ожесточенным обстрелом города!..

1941. IX. 21. Девяносто второй день. Три месяца войны. Последняя, 13-я неделя для нас, ленинградцев, была самая тяжелая. Вспоминаю сейчас отдельные эпизоды и, если бы не вел записи, не мог бы установить по памяти, когда и что было в точности. Есть такие моменты, которые врезываются в память, как тавро каленым железом, но когда это было в ряду других событий, установить можно не сразу. Вот эти моменты впечатлений. Пожар здания Сената, «прыжок» нашего дома вверх и вниз при падении двух бомб, свист артиллерийских снарядов над Архивом, темный бюст Ленина на фоне чуть освещенной стены в кабинете на службе во время ночевки там… Сосредоточенно-молчаливый, но полный внутренней силы взгляд Шахматовой,

когда близко, близко от нее пролетел снаряд; вбегающие в подъезды моряки, чтобы установить огневые точки, и многое другое. Все это впечатления последней недели. Их много, и так странно располагаются они в мозгу — не в хронологическом, а в каком-то причудливом порядке.

Что же происходит? Никто ничего толком из нас не знает. Враг у ворот. Где-то близко. Но где? Люди растерянно глядят друг на друга, но редко кто-нибудь задает вопрос. В газете аншлаги: «Укрепить все подходы к Ленинграду. Каждую заставу, площадь, улицу и переулок превратить в бастионы и крепости, сделать неприступными для врага…», «Создадим укрепления, неприступные для врага…», «Ленинградцы решают одну задачу — отстоять город, разгромить врага…», «Преградить врагу все пути в город…», «На каждом шагу врага должна ждать смерть, а его технику — уничтожение». Газета полна выдержками из сочинений Ленина и других авторов о том, как вести гражданскую войну, строить баррикады…

Но разомкнуть кольцо можно только извне, а если этого не случится, тогда останется только умереть, защищая родной город… Старые рабочие Обуховского завода заверяют: «Выбор сейчас у нас только один: смерть или победа, свобода или рабство! Ни шагу назад… Или победа, или смерть!»

Проповедуется бесстрашие перед смертью, беспощадно бичуются трусость, малодушие. «Смерти этим не избежать. Она все равно придет, но только смерть позорная, сопровождаемая насмешками и издевательствами конвойных и палачей…» Это место цитируют газеты из советов генерала Коммуны Клюзерэ…

Итак, апофеоз героической смерти — вот лозунг этих дней. Если не победим, то умрем…

Отступать больше некуда!

Интересный передают разговор с профессором математики, специалистом по теории вероятностей. У каждого ленинградца один трехмиллионный шанс быть убитым или раненым. Совершенно ничтожная величина, которой спокойно можно пренебречь. Но в то же время в Ленинграде был единственный слон, и именно этот единственный слон убит при бомбежке города!.. Вот вам и теория вероятностей с пропорцией 1:3 000 000 и 1:1…

Газеты полны сообщениями о немецких зверствах. Если бы собрать их и систематизировать, то страшнее повести не выдумаешь.

1941. IX. 22. Девяносто третий день. Дорогой мой дальний друг, нужно ли знать тебе, что я сейчас иногда читаю?.. Если я потеряю М. Ф., увижу разрушенным и разгромленным мой город, уничтоженным вверенный мне Архив, то зачем мне жить?.. Но как уйти из жизни, если я не буду убит? Оказывается, что через удавление легче всего, некрасивый конец, но верный. Вот сейчас я взял энциклопедический словарь и читаю: «Петля, затягиваемая при повешении тяжестью тела, ложится обыкновенно выше щитовидного хряща и, давя спереди назад и с боков, одновременно с закрытием дыхательной трубки сдавливает большие шейные сосуды и блуждающий нерв. Благодаря этому мгновенно или через несколько секунд наступает полная потеря сознания от остановки мозгового кровообращения…» Это в будущем, а покуда я не теряю ни присутствия духа, ни бодрости. Полностью выполняю свой гражданский долг на своем ответственном посту».

У Юры Рябинкина возникает в эти дни проблема не менее жгучая, в которой мы, к сожалению, до конца так и не можем разобраться, он и в дневнике не решается признаться. Проблема, где опять же соединилось и детское и подростковое, подлинное и суетное. Но в этом-то и проявляется характер этого мальчика, вовсе не образцово-положительного, мальчика со своими страстями, фантазиями, завихрениями, порой излишне требовательного, переменчивого, мнительного, самолюбивого. Многое ломалось, перестраивалось в этом неустановившемся характере. Он развивался быстро. Если внимательно вчитываться в некоторые записи, видно, что

развитие происходило не за счет событий, они сами по себе ума не прибавляли, но прежде всего потому, что Юра думал — и над тем, что творилось кругом, и над тем, что происходило в нем самом, следил за собой, требовал от себя. Примечательна в этом смысле мелкая, казалось бы, история игры в карты. Юра играет с мальчишеским увлечением, когда вдруг замечает, как растет в нем азарт, он приглядывается к новому опасному чувству, обнаруживает в себе игрока. И останавливается. Карты, война, блокада, деньги — все соседствует с горькой достоверностью. Подростки болтались в школе, не зная, куда себя деть. Занятия не начинались, это были критические дни сражения под Ленинградом — 15, 16, 17, 18 сентября 1941 года. Пал город Пушкин, немецкие части подошли к Пулковской горе, судьбу города решали какие-то часы, решали отдельные роты, батальоны, батареи… Одному из нас в те дни пришлось проделать весь путь отступления: сдачу Пушкина, отход под бомбежкой — мимо Шушар, мимо Пулкова — к Ленинграду, к Средней Рогатке… Тогда казалось, что враг вот-вот ворвется в город и начнутся уличные бои.

«15 сентября. Сегодня утром решил: в спецшколу не являться. Причину здесь не пишу. Я не знаю, чего стоило мне это решение. У меня и сейчас слезы на глазах стоят, но я все тянул с этим. Сейчас это кончено. Впрочем, не знаю. Ведь это какой удар маме! И вместе с тем я знаю, что решение правильное.

Когда я сказал об этом решении маме, она стала доискиваться причин. Я решил отмалчиваться. Но это не удалось. Тогда выдумал уловки: дескать, школа не понравилась. У нее уже тут как тут нелепые подозрения: дескать, не боюсь ли я, что на фронт отправят, да в этом духе.

…Я очень хорошо вижу, что мне грозит. Слишком, хорошо. Но я очень хорошо вижу, что я сделаю этим маме. И я не могу решить: пожертвовать ли собой ради нее или остаться при своем решении. Выхода — два, но из них нужно выбрать один.

Тяжело, мучительно расставаться со своей мечтой… Что поделаешь? Будем к этому цинически относиться, авось будет какой толк.

На «авось» больше полагаться никогда в жизни не буду. Раз я положился на «авось». Этот дневник я пишу для себя, здесь можно говорить все — однажды я подхватил вшей. А учился я тогда в школе. И позвали наш класс на проверку к врачу — есть ли у кого вши. И я, дурак, тоже пошел. Понадеялся — «авось» не заметят моих. Ну и нашли. Стыда-то сколько было. А все из-за чего? Да из-за моего глупого решения — на «авось». Надо было тогда как-то увернуться от осмотра, улизнуть.

Чем мне теперь заниматься? Что делать? Идти на завод? В пожарную команду при школе? Оставаться так?

Оказывается, у меня уже три решения. Думаю, я буду изучать курс 9-го класса сам. Напрягусь и изучу. Сдам экзамены после войны и перейду в 10-й класс. Так-то лучше. А впрочем, не знаю. Не пережить из нас никому этой войны. Сейчас еще только бутончики, цветочки еще не видели. А если применят немцы ОВ да бактерии?..

Ну да все равно. Жили до нас миллиарды людей, будут жить после… Надо же быть кому-нибудь из них неудачливыми в жизни. Сейчас еще только час дня.

Сегодня еще раз был у мамы. Вернулся вместе с мамой домой. На ночь пошли к кочегару. Сегодня вечерол пришло два письма от Тины. Пишет, что ее эвакопункт меняет свое местоположение и свертывается в неизвестном направлении.

Мама говорила, что по Ленинграду из орудий бил, десант, который теперь выбили наши моряки. Не особенно этому верю. Говорят, что Пулково переходит из рук в руки и сейчас там немцы. Лигово тоже взято. По газетным данным, взят г. Кременчуг, — следовательно, немцы форсировали р. Днепр. Дела ой как плохи у нас. Из порта в обком приходили люди,

рассказывали, что порт сильно пострадал от налетов германской авиации.

Теперь над Ленинградом куда ни глянь — всюду летают «ястребки». Столько их, что за день не перечесть.

Тревога всегда запаздывает у нас. Сперва услышишь стрельбу зениток, а уж затем через минуту-полторы загудит сирена.

Слишком давно не был в кино. Разумеется, надо посмотреть «Кинорепортаж с фронта» и какой-нибудь художественный фильм. От горя начал опять писать. Интересна подробность: чем больше я занят делом, тем меньше пишу в дневнике.

16 сентября. Сегодня я совершил ужасную вещь — потерял 30!! рублей. 30!! рублей. Мама дала мне их на подсолнечное масло (у нее не было более мелких денег), а я их потерял… Теперь весь день я был этим огорчен. Денег и без того осталось — кот наплакал, а я еще теряю по стольку рублей.

И погода тоже подкачала. Идет дождь, пасмурно. Однако за день было уже три тревоги. Сейчас — половина пятого. Был у мамы в фонде. Там спешка — уничтожают все бумаги. Все, какие есть. Мама еще к тому же навела на меня панику — велела просмотреть и приготовить противогазы.

Сейчас половина пятого. Близко от нашего дома опять слышны сильные звуки разрыва артиллерийских снарядов. По словам В. Никитина, немцы в 15 км от Ленинграда. Я думаю — ближе.

Вечером к маме приходила Бушуева из Сосновой Поляны. Рассказывала про всякие там ужасы. Володарская занята немцами. Есть новости и хорошие: например, под Ленинградом и в Ленинграде сосредоточено около 200 000 войска, из Америки и Англии прибыло около 1000 самолетов. Сейчас над городом все время летают «ястребки». Говорят, что оголены другие фронты, а войска брошены к Ленинграду, войска идут даже из Сибири. Ленинград в германском окружении, а немцев мы хотим сами окружить. Есть новости и плохие. Лигово взято (12 км от города), все дороги до Лигова Усеяны немецкими танками, войсками. Немцы кинули на Ленинград большое количество своих частей. В.[32] ранен. Но все неофициально.

17 сентября. Сегодня вечером произошло важное событие. В нашу квартиру вселяется управляющий стройтрестом. Некий И. с женой из Московского района. Сегодня перетаскали к нам его вещи. Завтра сам явится по всей вероятности. Маме пообещали пользование их бомбоубежищем и столовой. Не знаю, как это выйдет.

В Информбюро (сообщении) сказано, что немцы готовят интенсивный налет на г. Ленинград.

18 сентября. Сегодня был у Финкельштейна. Договорились с ним о дежурстве в школе. Завтра с 8 вечера до 8 утра. Вышел приказ о военной подготовке мужчин начиная с 16 лет. В первую очередь идут, однако, 17-и 18-летние. Вечером вышел новый приказ. В нем говорилось, что по Ленинграду начались уличные бои, что все от 16 лет (мужчины) и от 18 лет (женщины) должны идти на баррикады. Ну и дела![33]

Немцы опять обстреливали город из орудий. Был обстрелян Невский, мосты, Фрунзенский район. Баррикадами не продержаться. Устарели. Современная война требует авиации, танков, орудий, а баррикады? Тьфу!..

Сейчас, наверное, немцы применят ОВ. В Ленинграде столько народу и армии, что если немцам применить в эту войну ОВ, то только сейчас. Два дела сделают: Ленинград возьмут и столько армии положат. А у немцев, наверное, есть такие ОВ, что нам еще неизвестны, и наши противогазы ничего против них не сделают. Ведь война-то началась как? Сколько войск у немцев было сосредоточено на границе… А мы и в нос не чуяли, что война близка. Так же с ОВ будет. Ну ладно, облегчил свою душу сими строками — и будет».

Юра Рябинкин мечется, винит все и всех, он лишен успокоительной силы дела, ответственности. Ему некуда девать себя, не на что направить энергию. Особенность Ленинградского фронта не давала в те дни многим подросткам, школьникам возможности чем-то помочь армии. Он чувствует опасность, хотя не знает подробностей и масштабов надвигающейся беды.

«22 сентября… Новости с фронта крайне плохие. Пал Киев. Это значит, что треть немецкого плана выполнена. Неужели немцев не отшвырнут от Ленинграда? Всюду говорят, что Ленинград окружен немцами, а немцы окружены сибирской армией под командованием Кулика. Ребята в школе шутят: «Кулик немцев жмет, немцы нас жмут. В конце концов Кулик так на немцев нажмет, что они «в панике» ворвутся в Ленинград».

Десять винтовок на весь батальон,
В каждой винтовке — последний патрон…

Говорят, что эта песня действительна (…). Не знаю, так ли это. Больше слухам теперь не верю.

23 и 24 сентября. Дежурили в школе. Особых происшествий не было. Научился в коня, в девятку играть. Особо интенсивных налетов германской авиации на Ленинград не было. Правда, вчера было 13 тревог, но не бомбили. Уменьшен паек на мясо и еще на что-то.

В спецшколу на медосмотр не ходил. Не знаю, пойду ли вообще. Как знать?

25 сентября. Сегодня я окончательно решил, что мне делать. В спецшколу не иду. Получаю паспорт. Остаюсь в школьной команде. Прошу маму эвакуироваться, чтобы иметь возможность учиться. Пока езжу на окопы. Через год меня берут в армию. Убьют — не убьют. После войны иду в караблестроительный институт или на исторический факультет. Попутно буду зарабатывать на физической работе сколько могу. Итак, долой политику колебаний! Сегодня иду в школу к 8-ми. Если мама придет раньше, скажу ей мое решение. Все остальные исходы я продумал и отказался от них.

Кроме того: решил тратить на еду себе начиная с завтрашнего дня 2 рубля или 1,5.

Мое решение — сильный удар для меня, но оно спасет и от другого, еще более сильного удара. А если смерть, увечье — то все равно. Но это-то именно и будет, наверное, мне. Если увечье — покончу с собой, а смерть — двум им не бывать. Хорошо, очень хорошо, что у мамы еще есть Ира.

Итак, из опасения поставить честь на карту я поставил на карту жизнь. Пышная фраза, но верная.

26 сентября. Появились новые факторы на мое решение. Откуда мама взяла, не знаю, но она говорит, Что с 1 октября всех с 16 лет возьмут в рабочие отряды. Когда я сказал ей, что в спецшколу не пойду, произошла целая сцена. Просила, просила, чтобы я шел…

Ладно, все одно… В спецшколу иду, чтобы успокоить маму (на 1 день), а она, бедняжка, и не ведает, что за успокоение будет. В сводках ничего особого. Слухам не верю. Вчера опять была артстрельба по городу».

Может быть, Юра не хотел идти в спецшколу из-за медосмотра? Боялся, что признают негодным? Стыдился своего слабого здоровья? Слабого зрения? Он скрывал свое нездоровье от всех. Подобное почти болезненное тщеславие или самолюбие вполне в характере этого подростка.

«1 и 2 октября. За последние дни как-то сильно проявились в моем характере упрямство и гордость. Думаю, что от беспрестанных волнений. Сдана Полтава, больше ничего особого не

знаю. Окончилась конференция США, Англии и СССР для оказания помощи СССР против Германии.

Дежурить в школе продолжаю. В нашу команду недавно поступил Левка Шванг. В ночь с 1 на 2 была сильная бомбежка. Я с Финкельштейном и Никитиным в это время был на чердаке школы.

Мне — шестнадцать лет, а здоровье у меня, как у шестидесятилетнего старика. Эх, поскорее бы смерть пришла. Как бы так получилось, чтобы мама не была этим сильно удручена.

Черт знает какие только мысли лезут в голову. Когда-нибудь, перечитывая этот дневник, я или кто иной улыбнется презрительно (и то хорошо, если не хуже), читая все эти строки, а мне сейчас все равно.

Одна мечта у меня была с самого раннего детства: стать моряком. И вот эта мечта превращается в труху. Так для чего же я жил? Если не буду в В.-М. спецшколе, пойду в ополчение или еще куда, чтобы хоть не бесполезно умирать. Умру, так родину защищая.

Думал написать мало, ан оказалось много. Ну ладно.

Хоть английский помню, и то хлеб.

Сейчас еще мама не вернулась с работы с Иркой. На часах — четверть шестого. Займусь шахматами и чтением, а может быть, завалюсь спать. Там посмотрю, что выйдет.

А мама уже мне раз сказала очень интересные слова: «Юра, ты узнай, как можно, если записаться в спецшколу, эвакуироваться». Очень интересные слова.

Никитин меня вчера вечером спрашивает: «Юрка, не пойдем ли в В.-М. спецшколу?» Да, мечта, а с мечтой расстаться — себя похоронить. Как быть?.. Кем быть? — Где быть?..»

СОТЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ

В сотый день войны, 29 сентября 1941 года, Г. А. Князев как бы окидывает заново взглядом свой плацдарм. Его перу часто не хватает живописных подробностей, подлинных диалогов тех лет, той живой плоти, которая украшает дневники людей художественно одаренных или хотя бы имеющих журналистскую сноровку. Этого у Князева мало, он не слышит в разговорах окружающих людей характерных выражений, словечек военного времени, на которое быстро и чутко отозвалась народная речь. Его, историка, интересовали прежде всего факты, детали, в которых отражались ход войны, умонастроение, поведение людей. Можно, конечно, вспомнить писательский дар таких русских историков, как Ключевский и Соловьев. Блестящие стилисты, они в своих работах предстают и как талантливые художники. Требовать подобного от каждого историка было бы несправедливо. Но тем более поучительно, что подневные, подробные записи, которые вел совсем не писатель, записи, вроде бы лишенные литературной ценности, тем не менее обладают значительной, порой уникальной ценностью — исторической. Оказывается, что честные записи любого думающего, образованного человека о пережитом, обо всем, что он видел, слышал, знал, интересны и в своем роде единственны. Такие записи не обесцениваются другими свидетельствами современников.

Итак, сотый день войны.

«1941. IX. 29. Понедельник. Падают под ударами резкого сентябрьского ветра листья с деревьев. Всюду ветер намел на асфальте волны песка. Хмурится порой небо, но прорывается ярким потоком лучей солнце и озаряет ярким светом наш замечательный город. В эти дни страшных для него испытаний он стал дороже, ближе даже тем, кто привык к нему и был равнодушен. Каждый дом, улица, площадь, переулок — все такое родное, близкое и в такой непосредственной опасности! Каждый день пожары, разрушение зданий, гибель людей… А люди ходят по улицам, работают на заводах, в учреждениях. Приходят на службу и тихо сообщают: «А у нас все стекла повылетели: соседний дом разрушила фугасная бомба. Ночевать придется у знакомых». И никто не знает, чем кончится начавшийся, ну вот хотя бы сегодняшний день, яркий сентябрьский день…

Вечер. Вот уже два раза поднимались к нам из квартиры Карпинских предупредить о тревогах. Во второй раз сообщили, что где-то было слышно падение сброшенной бомбы. Я так устал за день, что не стал спускаться вниз. М. Ф. читает Загоскина. Самое подходящее чтение во время тревог! Я читаю всемирную историю, пишу вот эти строки. Но не скрою, что — когда начинается чуть заметное дрожание пола под ногами от вибрации воздуха при пролете поблизости самолетов — невольно настораживаешься, болезненно ощущаешь эти чуть заметные толчки. Напрягаешь слух, не стреляют ли зенитки с морских судов на Неве. Нет, стекла не дребезжат в окнах, значит, покуда вражеские самолеты не летают еще в том квадрате, где мы живем. Но все-таки мы наготове, я сижу в фуражке, в калошах, рядом пальто. На всякий случай!.. И сидим мы не в столовой, а в передней, где нет окон, а только двери. Над нами чердак, мы живем в верхнем, в третьем, а если считать подвал, то в четвертом этаже. Поэтому невольно иногда посматриваешь на потолок.

Днем все эти воздушные тревоги, артиллерийские обстрелы проходят менее заметно. На службе ни я, никто не уходит со своих рабочих мест. Я даже не мог прогнать своих сотрудников, которые не были дежурными в тот злополучный день, когда Ленинград обстреливался из дальнобойных орудий и горела уже ярким пламенем часть здания Сената. А вот вечером или ночью и бомбежку и обстрел переживать приходится более нервно-напряженно. Вчера, насмотревшись на зарево пожаров, я не решился раздеться на ночь и спал одетым, просыпаясь

мгновенно от какого-нибудь даже малейшего содрогания дома.

Так переживают эти дни и ночи в Ленинграде, по-видимому, очень многие. Сегодня на службе И. Л. говорила мне, что после ударов вчерашних бомб она с трудом взяла себя в руки, чтобы не прислушиваться к тишине и спать. Множество людей ночует в бомбоубежищах или бегает туда во время каждой тревоги. Это уже своего рода психоз. Некоторые держатся стойко и упорно: фаталисты, верующие и просто равнодушные ко всему люди, или очень спокойные по природе своей, или, наоборот, очень усталые. Вчера во время тревоги, когда мы на набережной стояли в подъезде против Исаакиевского собора, одна молодая дедушка не хотела уходить с улицы, несмотря на настойчивые требования милиционера. «Мне все равно, что жить, что умирать, — злобно говорила она. — Надоело все, опротивело». В это время в транспортном автомобиле провозили гроб, вокруг которого сидели провожавшие с венками. «Вот счастливый человек», — сказала девушка. Я не удержался и задал вопрос: почему она в таком унынии, в таком подавленном настроении? «Двоих уже потеряла, а вот третьего никак не могу доискаться: раненный привезен в Ленинград, а куда поместили — не знаю», — скороговоркой ответила она. Я не стал ее больше расспрашивать, да и тревога уже кончилась. Все выскакивали из подъездов и стремительно направлялись к стоявшим на путях трамваям.

У других больше воли, чем у этой девушки, но чувствуется страшная усталость, крайняя нервная напряженность… «Сколько же это времени продлится? — спрашивала меня сокращенная у нас Петрова, молодая мать. — И что дальше будет? Зашла в столовую, одну, другую, наконец в одной получила билетик в очередь, какой-то семисотый номер. К вечеру, говорят, может быть, удастся пообедать… Хорошо еще, ребенок не голодает. Вот от мужа получила пятьсот рублей, но деньги лежат, и купить на них ничего не могу. Как же дальше-то жить? Говорят, Кронштадт разбомбили», — добавила она. Все это говорила она спокойно, не волнуясь. А вот на А. О. взглянуть страшно. Лицо совершенно без кровинки, истощенное. Сегодня она узнала, что отложенная эвакуация матерей снова возобновляется, и перед испытаниями неизвестности ужас опять стал глядеть из ее глаз. Тяжело тут, в Ленинграде, но есть по крайней мере работа и академическая столовая, куда она водит обедать своих двух детей. А там впереди полная неизвестность и сжимающий душу страх за судьбу ребят и самой себя.

Успокаивал ту и другую. Не умалял грозности событий, но указывал, что положение наше не безнадежное. Нужна только воля не поддаваться унынию, растерянности. Надо сознаться, они меня плохо слушали, или, точнее, слушали из вежливости…

Один у всех настойчивый и неотвязный вопрос: Долго ли это положение продолжится? Приближается зима. Ко всем испытаниям и лишениям прибавляется холод. И невольно у многих, даже крепких нервами, встает вопрос: выдержим ли?

На этот вопрос отвечают женщины Ленинграда: «Выдержим!»

Вчера был всегородской женский митинг. Выступали артистки, писательницы, работницы. Все в один голос призывали к защите Ленинграда и заверяли в своей стойкости и помощи защищающимся. Весь митинг стоя аплодировал одной девушке, юной дружиннице, вынесшей с передовых позиций во время боя 29 раненых бойцов. При этом она сама была ранена дважды… Вот это подлинное и святое геройство!

Я нарочно записал так подробно свои впечатления на моем малом радиусе. Как вся наша жизнь, и жизнь в осажденном городе полна противоречий. Не правы будут те, кто скажет об одной усталости, угнетенности; неверно будет и утверждение, что среди ленинградцев было лишь одно геройство. Была жизнь, полная противоречий. И вот краешек ее я пытался запечатлеть на этих страницах.

1941. X. 5. Сто шестой день. Зашла девочка Валя, которую мы собирались воспитывать. Дом их полуразрушен от взрывной волны. Соседний дом разрушен до основания от фугасной бомбы

очень большой силы. Живет она на Дегтярной. Вся их мебелишка исковеркана, двери сорваны, окон нет, не только стекол. Разрушение произошло в то время, когда она с матерью была на окопных работах (мать взяла ее с собой, т. к. не с кем ее было оставить). Поэтому они остались целы. Теперь большей частью живут в бомбоубежище. Есть нечего, мать без работы, карточка иждивенческая, т. е. голодная. Смотрит испуганными глазами Валя и прислушивается: «Кажется, тревога. Пойду у вас посижу на дворе в бомбоубежище». Выяснили, оказалось — тревоги нет. Все-таки она сидела как на иголках. Дали ей денег, продуктов, что могли… Бедный, несчастный ребенок!.. За что она так страдает?

1941. X. 6, 7, 8. Сто седьмой, сто восьмой, сто девятый дни. Прошли три дня очень беспокойных, точнее, тревожных, нервно-напряженных. Ничего особенного не случилось, все то же, но только несколько в ином восприятии пережитое. Мы люди самые обыкновенные, ничем не замечательные, и записывать чего-нибудь героического мне просто нечего. Одно только и есть достойное внимания — это то, что мы работаем все время, даже во время тревог на службе работа не прекращается. Вот и все, что надо отнести к нашему «геройству». Это, в сущности, и немало при всем том, что сейчас приходится переживать ленинградцам… Надо отдать справедливость моим сотрудникам: работают неплохо, несмотря на тревоги, на холод, на недоедание, на мытарства в столовой, на полубессонные ночи. Некоторые живут без стекол, другие принуждены были переселиться к знакомым. Замечательно усидчиво работает Шахматова, хорошо Крутикова… Цветкова еле таскает ноги: и голодна и страдает от недостатка сна… В общем же я своим коллективом доволен. Они не только работают, но поочередно еще несут вечернюю и ночную вахту, оставаясь на посту во время воздушных тревог и артиллерийского обстрела.

…На днях будут обучаться стрельбе в тире, имеющемся при университете. Стулов близорук и вдаль ничего не видит. Модзалевский тоже… Таковы два архивных «воина», готовящихся для последнего резерва. Но Архив дал и настоящего полноценного бойца, и политически подкованного и с большим кругозором, А. М. Черникова. Дал и добровольца, который дерется на линии огня, П. Н. Корявова, скромного и честного партийца. В московском отделении Архива ушел на фронт добровольцем Гетман. Таков наш гражданский и военный актив Архива.

1941. X. 9. Сто десятый день… По радио выступал профессор-красноармеец К. Ф. Огородников. Он доктор физико-математических наук, 19 лет изучал в лабораториях вопросы строения звездного неба, наблюдая в телескоп за небесными светилами. Теперь он в рядах Красной Армии, куда пошел добровольцем, научился стрелять из винтовки, метать гранаты. Он сказал: «У меня много учеников, много друзей и знакомых. Я хочу, чтобы они знали, что их профессор и коллега — красноармеец Огородников — будет стойко и храбро, как подобает советскому воину, сражаться с врагом».

Затем профессор обратился на английском языке к своим коллегам в дружественной Великобритании. Он передал привет сэру Спенсеру Джонсу, королевскому астроному, и профессору Смарту, с которым был связан многие годы совместными работами в области астрономии.»

1941. X. 10. Сто одиннадцатый день. Весь вечер работаю над историей Академии наук. Сейчас около 12 часов ночи. Третий раз приходит к нам студентка Нехорошева, сообщая о тревогах. Сижу в передней в пальто. Холодно. Начинаем прислушиваться. Изредка стреляют зенитки. Отложил карточки с выписками по истории Академии. Невольно прислушиваюсь к гулу орудий и беру листок для записи впечатлений за день».

Горькие дни переживал Г. А. Князев. Ему казалось, что в огне войны ненависть испепелила в людях всякую человечность, гуманностью стало лишь уничтожение немецких захватчиков.

Человечность ушла из мира, сетовал он… Он еще не знал в те дни о Майданеке, Освенциме, Бухенвальде, о печах, где сжигали людей, газовых камерах, о душегубках, о тщательно разработанной технологии истребления народов, неугодных теоретикам национал-социализма. Война с Германией началась для нас как война с захватчиками, с оккупантами, с агрессорами. Постепенно открывались для все большего числа людей и другие стороны этой войны — уничтожение коричневой чумы, грозящей гибелью всему человечеству. Ненависть к фашизму и любовь к человеку не сразу, не просто сопрягались в наших душах.

Уничтожение фашизма и было любовью к ближнему, было гуманизмом, было всем тем, о чем тосковал старый историк-романтик. Но каждый приходил к этому своим путем. В этот день Ольга Берггольц написала:

Всем, что есть у тебя живого,
Чем страшна и прекрасна жизнь —
Кровью, пламенем, сталью, словом
Опрокинь врага, задержи!

А в Эрмитаже готовили помещение под торжественное заседание в честь 800-летия Низами.

«1941. X. 16. Сто семнадцатый день. Опять тяжелые известия с вяземского и калининского направлений. Вражеские войска, по-видимому, окончательно и катастрофически для нас прорвали нашу линию сопротивления под Москвой… Тревожное чувство овладело всеми нами. Родина в смертельной опасности…

1941. X. 20. Сто двадцать первый день. В 6 часой утра заговорило радио. В Москве объявлено осадное положение. За всякое нарушение порядка, распространение провокационных слухов — расстрел на месте. На подступах к Москве — Малый Ярославец переходит из рук в руки. В 1812 году этот многострадальный город переходил от русских к французам и обратно 10 раз!.. Положение на московском фронте по-видимому, катастрофически ухудшилось.

1941. X. 21. Сто двадцать второй день… Ухудшается продовольственное положение Ленинграда. За вторую декаду октября иждивенцы при хлебном пайке в 200 гр. получили 100 гр. мяса, 200 гр. крупы, 100 гр. рыбных продуктов, 50 гр. сахара, 100 гр. конфет, 100 гр. растительного масла; служащие и дети немногим больше; рабочие же в двойном размере, чем служащие. На деньги купить нечего, и потому они не ценятся. Те, у кого есть много денег, не знают, куда их девать, и покупают или всякую дрянь (дорогие духи и проч.), или (те, которые попрактичнее) скупают в магазинах остатки мануфактурных товаров для мены, когда деньги потеряют всякую цену. Из всех грядущих испытаний для ленинградцев едва ли не самое страшное — голод. Голод и бомбежка! Не хватало бы только еще холеры, или чумы, или просто голодного тифа. Надо приучить себя прямо смотреть в глаза событиям и как можно меньше думать о будущем. Когда придет это будущее, тогда и осмысливать его!.. Сегодня зашел к нам мастер на все руки Филимонов. «Трудно работать, — говорит он, — поослаб, питания не хватает. В академической столовке уже второй день вместо супа — ржаные макароны с водой».

1941. X. 22. Сто двадцать третий день. Ночь, точнее, утро, скоро рассвет… Мы, ленинградцы, сейчас, забывая свое горе, всеми помыслами обращены к Москве, к сердцу нашей советской родины. Как это могло случиться, что враг смял наши армии и просочился к самым жизненным центрам страны? Вот неотступный, мучительный вопрос. Враг, вооруженный современной, самой совершенной военной техникой и всеми достижениями науки, обратил все

это на разрушение, на уничтожение в своих грабительских планах завоевателя, насильника. Он уничтожает все культурные ценности на своем пути, как дикий варвар, какой-нибудь вандал, гунн, но только во сто крат страшнее. У тех не было ни науки, ни техники. Те были просто двуногие хищники. Немецкие захватчики — двуногие культурные звери!..

Гитлер сейчас стянул под Москвой все силы свои и бросил в бой резервы. Можно ли спать спокойно в такие ночи, когда идет кровопролитнейшая в мировой истории битва за Москву, за целость и самое существование нашей родины!

Говорят, что Гитлер в своей речи угрожал стереть Москву с лица земли как источник красной заразы. Это было четыре месяца тому назад и было чудовищно хвастливо, нелепо… И вот в эти хмурые октябрьские дни его армия под Москвой!

1941. X. 21. Сто двадцать второй день… Оказывается, что бомба, брошенная на днях стервятниками между 5 и 6 часами вечера и попавшая в Мойку, была исключительной мощности. Она несомненно предназначалась для здания Главного штаба. Она упала невдалеке от дома, где находилась последняя квартира Пушкина.

1941. X. 23. Сто двадцать четвертый день. Пасмурный день. Дождь. И люди радуются, как не радовались солнцу, теплу: «День нелетный, бомбить не будут».

На службе у меня в Архиве голод несколько дезорганизовал работу. Особенно сдала И. Л., она, правда совсем больна. Сидит в 12-й комнате, около уборной, где поставлена плитка, и курит, курит без конца. И кашляет.

Принимаем все меры к отеплению Архива на зиму. Но отапливаться будет всего одна комната… Сегодня еле высидел в 2-градусной температуре.

И без того нервнобольная мать Е. Т. не выдержа всех испытаний переживаемого нами времени и в припадках болезненной подозрительности собирается задуши свою дочь. Е. Т. принуждена ночевать на службе у знакомых.

Ехал утром вдоль свежевыкопанной грядки для будущих цветов и опять умилялся… Живые живут живой жизнью!

Планировал с Андреевым заседание, посвященное памяти Беринга, на декабрь…»

КОНЧИЛОСЬ ДЕТСТВО

Читая записи Юры Рябинкина за те дни, словно попадаешь в другой мир. Впрочем, почему же «словно», это и в самом деле был иной мир — мир в юности. Трагические события не могли загасить плещущего через край жизнелюбия, веры, веселья молодости. Карты так карты, игры, розыгрыши, насмешки, мечты, страхи — все соединялось, клокотало, кидало из стороны в сторону этих ребят, еще лишь выходящих из детства в юность. Но уже можно различить черты характера, судьба уже, как говорилось когда-то, стучится в дверь. Ах, как просто и легко залечиваются в этом возрасте раны, как бесследно такют недавние страхи перед медосмотром в спецучилище. И все это время Юра продолжает требовательно и строго наблюдать за собой, судить себя. Пожалуй, именно эта черта, именно это качество сближает Г. А. Князева и Юру Рябинкина.

Семья Юры была потомственно интеллигентной, во всяком случае со стороны матери Антонины Михайловны,[34] урожденной Панкиной. Ее отец, дед Юры, окончил до революции Артиллерийское училище, был офицером, после 1917 года служил в Красной Армии, был помощником начальника артиллерийской базы Северо-Запада. Мать окончила гимназию, она хорошо знала французский, немецкий, польский, в доме была богатая библиотека — русская и иностранная. Обо всем этом нам стало известно позже. В остатках семейного архива

сохранились фотографии деда и прадеда, также военного, великолепные рисунки деда…

А. М. Рябинкина (Панкина), мать Юры Рябинкина.

«1941 г. 3 октября. Чрезвычайно волнующий меня день. В школе я был с 8 утра до 7 вечера — играл в очко. Проиграл 10 копеек. Но это еще ничего. Пообедал — жареный поросенок с чечевицей и студень. Пришел обратно в учительскую — сел играть в очко. Я, Бронь, Финкельштейн, Лопатин и еще какой-то парень из другой смены. Сперва играли нормально — я оставался при своих. Но затем настала очередь банковать мне. Я поставил в банк рубль. Но так передо мной ставили все. Банную. И, как назло, все маринуют. Мне везет, банк увеличивается… 2 рубля, 4 рубля… 8 рублей… 16 рублей!.. Стучу. Идет второй круг! 32 рубля!!! Игроками овладевает азарт, все с жадностью смотрят на карты… 64 рубля!!! Ребята делают складчину и опять маринуют. Их девятка — мой туз!!! В банке 128 рублей!!! Азарт неимоверный… И вот… Ребята опять маринуют… Маринует Бронь взакрытую. Я открываю свою карту — дама… Бронь осторожно свою — дама!!! Я забираю банк — целых 254 рубля!!!

Я не знаю, что со мной сделалось. Сидел как дурак. Какой выигрыш! Каково?! Стал опять играть… Играю… играю — и вот опять срываю подряд несколько банков — итого у меня около 400 рублей (наличными — 73). Меня взяла огромная тоска… Что мне с этими деньгами делать? Взял и отдал ребятам обратно. Но Лопатина уже тогда не было. Бронь что-то проворчал в ответ. Итак, у меня сейчас около 40 рублей на руках, 130 должен Бронь, 100 — Финкельштейн и по 40 р. должны Лопатин и еще какой-то парень. От них всех я, разумеется, денег брать не буду… Какое сильное волнение! Когда банк в первый раз доходил до (…), то я просто хотел сказать: «Ребята, я больше не буду, не играйте…» Это все выходило как-то по-детски — неуклюже.

Никто не заметил. И странно, при выигрыше почувствовал не радость, а какое-то немощное удивление, как-то окаменел и затем долгое время, минута от минуты, нервно хохотал. Да, правду говорит пословица: «Богатство не всегда счастье приносит». Так и тут. Деньги спрятал дома в железную коробку из-под конфет, которая лежит в картонном ящике в этажерке. Да что же это такое со мной делается? Я не сойду ли с ума?

4 октября. Все еще не могу очухаться от выигрыша. Собственно говоря, не от самого выигрыша, а от сознания выигрыша. Денег с ребят брать, ясно, не стал.

Мама должна уехать 5-го на субботник с Ирой.

Все это я пишу 5-го утром. Теперь расскажу происшествия за сегодняшнюю ночь. За ночь было около 8 тревог. Тревоги крайне жуткие. Несколько раз бомба так сильно свистела, что я думал, что она упадет в школу. Ровно в 1 час ночи я сменил Финкельштейна на вышке. Было «бестревожно»! Первые полчаса прошли спокойно. Затем неожиданно тишину прорезал какой-то свист, потом еще… еще… Вспышка, грохот — вспышка, грохот. Я вскочил со стола, на котором сидел, и боязливо выглянул из вышки в окно. С десяток зажигательных бомб коптились на школьном дворе и на соседних домах. Я дал сразу же три звонка — на третьем посту (…). Потом оказалось, что я немного ошибся — бомба упала рядом со стеной школы, где третий пост, на двор. Ну, их все, разумеется, быстро потушили. Затем немцы сбросили еще несколько фугасных бомб, а уже затем воздух прорезал жалобный вой сирены. На моем посту было спокойно. Но тревоги, начиная с той, были особенные. Совершенно молчат зенитки. И только слышно отдаленное жужжание самолетов, которое то нарастает, то убывает, и порой гулкий свист — затем визг и удар взрыва. Меня слишком взволновала эта ночь. Я всю ее не спал. Да, вот какие настали над Ленинградом ночи. Давид говорил, что он тоже где-то слышал, что Псков и Старая Русса взяты Куликом…

5 и 6 октября. Дни прошли в волнениях от бесконечных тревог. Сегодня, вернее, сейчас — 9 часов вечера 6 октября. Тревога. Я, Анфиса Николаевна (жена вселенного к ним И. — А. А., Д. Г.) дома. Мама с Ирой ушли вниз. Получили письмо от Тины. Жива-здорова была на 2 октября. Пишет, что их бомбят. Намеками, конечно. Беспокоится о нас. В школе начались занятия 10-х классов. Я попросил Нину Николаевну дать мне какое-нибудь задание по математике. Она дала. Никитин уже принят и оформлен в спецшколе…

8 октября. Был на медосмотре. Я, оказывается, правильно сделал. Медосмотр я не прошел из-за глаз. У меня левый глаз 20 %, а правый — 40 %. Ничего себе! Мама настаивает на немедленном лечении. Наверное, придется носить очки. Володька Никитин пошел на медосмотр после меня. Ну, его, наверное, примут. Но самое главное — я прошел хирурга, ушного. На фронтах положение для меня туманное. Сегодня во сне увидел Володьку Шмайлова. Эх, где-то он сейчас?

Мать мне запретила читать. Чтобы не портил глаз.

Пишу все это сегодня, 9/X. Если бы я писал это вчера, то расписал бы на 2–3 страницы, а сейчас не могу. Надо идти на дежурство.

9 октября. Сегодня дежурство было наилучшее по сравнению с остальными. Слишком весело было. До обеда еще ничего, а после обеда так и пошло… Началось с того, что нам Нина Николаевна запретила играть на деньги. Начали играть в балду. Остался им Алька. Ему назначили наказание — подойти на улице к первому встречному и сказать ему в лицо: «Я — балда». Вот хохота-то было. Потом стали играть в фанты. Лопатин полз этаж на четвереньках по винтовой лестнице. Финкельштейн катал на себе Броня, а я должен был, во-первых, поймать кошку и пустить ее в учительскую дежурку, а во-вторых, поцеловаться с Элой. Первое я сделал, от второго отказался. О чем теперь жалею, за отказ мне вылили на шею (попало на верхнюю рубашку) воды. В общем, все развеселились. Под конец поймали кота, нацепили на него

бумажку: «Ужин или смерть коту», отпустили его. Кот помчался в столовую. Что из этого вышло — не знаю. Под конец слушали по радио концерт из произведений русских композиторов.

Сейчас половина восьмого. Объявили тревогу. Небо почти безоблачно. На фронтах положение такое: по официальной сводке, взят Орел и немцы наступают на Вязьму и еще на какие-то города. По слухам, немцев отогнали от Ленинграда не меньше чем на 60 километров. По всей вероятности, 7, 8, 9-е классы начнут заниматься с 25/X.

Сейчас тревога.

11 и 12 октября. Ничего особенного не произошло.

Мама и Ира внизу, а я дома. Половина восьмого.

У нас в школе идет такое мнение: немцы решили закончить войну до зимы и развили грандиознейшее наступление на Москву. По словам Финкельштейна, Никитин не прошел мандатной комиссии. Ну да, впрочем, у него такой отец, что он все равно в спецшколе будет.

Почему-то очень часто вспоминаю Володьку и Мишу. Эх, друзья, друзья! Всего себя проклял, что так распростился с Володькой. Вернуть бы это время! Золотое время!

Игорь (брат Анфисы Николаевны. — А. А., Д. Г.) обещал принести нам одну продовольственную карточку 1-й категории. Не знаю, выйдет ли это дело.

Скорее бы занятия. Скука.

Сегодня играл в очко в школе. Финкельштейн остался мне должен 121 рубль (я от него денег все равно не возьму). Ребята теперь говорят, что мне отчаянно везет в карты. Везет в карты — не везет в любви. Так ли на деле будет? Лучше бы было наоборот.

Когда я срываю банк или удачно пробанкую, сорву крупную сумму, то на моем лице появляется неизменно какая-то ехидная улыбка, я с ней теперь все время борюсь, а она нет-нет да и промелькнет. Вот скверная у меня черта.

13 октября. День прошел спокойно. Зато ночь дала себя знать. Вечером от мамы я узнал очень интересную вещь. Она видела (…), которая теперь работает в госпитале. Предлагают мне поступить в этот госпиталь. Моя обязанность эскортировать больных с госпиталя в госпиталь. Ответственность за их доставку несу я один. За потерю кого-либо иду под суд. Разъезжаю по ночам преимущественно на машине. Мне кладут зарплату 20 рублей в месяц и рабочую карточку. Быть может, обед. День работать, день отдыхать. Я согласен. Нужда…

Видел Володьку Никитина. Он поступил в спецшколу. 15-го идет на занятия.

Ночь была, по моему «первичному» мнению, довольно благодатная. Тучки на небе, кое-какой туман — какой самолет полетит на бомбежку? Но… без пяти 7 объявили тревогу.

На 2 и 1 постах я, Давид, Борис (…) и еще две какие-то женщины. Я и Давид сидели на ступеньках. О эти тревожные бесконечные ночи: навсегда останутся они у меня в памяти. Полусвет, передо мной «летучая мышь» в ведре, лестница и сбоку окно… гулко бьют зенитки, ухо настороженно ловит каждый звук, тревожно бьется сердце при сильном свисте бомбы, и чутко настораживаешься, слыша завывание германского самолета. Окно все время озаряют вспышки, порой лестница и весь дом содрогаются и дрожат от близкого падения фугасной бомбы. И это каждую ночь… Хочется спать, есть, забыться, но снова что-то свистит под ухом, инстинктивно прижимаешься к стене, втягиваешь голову в плечи… и свист замирает. Затем вспышка озаряет окно, лестница вздрагивает, и только после этого приходит отдаленный гул взрыва.

Эту ночь было более-менее спокойно, и я с Давидом вышел на крышу. Только огляделись по сторонам, по небу прожекторы, и совершенно внезапно яростно зашипела бомба нарастающим звуком. В одно мгновение я и Давид были на чердаке, не ощущая ушибов от падения. Решив, что на чердаке оставаться опасно, мы сошли в лестничную клетку, и в это самое время раздался короткий свист и затем взрывы над нашими головами. Стало светлее, чем днем. Давид вперед

меня сообразил, что это такое, и, схватив лопату, бросился тушить бомбу. Я тоже. Началась безумная горячка. Мы работали в густом едком дыму, который лез в глотку, щипал ее, залезал в самые легкие, по лицам шел пот, а мы все возились с бомбами. Я пробежал на 1-й пост. Там стояла какая-то женщина и кричала в испуге: «Бомба! Тушите!» Она схватывала горстями песок и бросала в горевшие кусочки термита. Я схватил лопату и в полминуты забросал все горевшее песком. Яркий свет сменился глубоким мраком. Кое-как выбравшись с чердака, ведя за руку женщину, я побежал на 2-й пост. Там уже все бомбы были потушены. Я выглянул на крышу — по ней сновало человек десять. Хотелось подышать свежим воздухом, очнуться, прийти в себя. Скоро тревога кончилась. Затем, затем ничего нового не произошло. Была еще одна тревога, но безобидная для нас. После этого я и Финкельштейн завалились спать и проспали до утра. Разбудило радио, сообщая нам скверную новость: Вязьма пала. Наступление немцев продолжается.

Я узнал впоследствии, что на нашу школу упало 23 бомбы. (Я потушил две и помог затушить третью.)

14 октября. Сегодня дома безобразная сцена. Ира закатила истерику, что я вот ел в столовой треста, а она даже тарелки супа не съела в столовой. Мама ей говорит, чтобы она успокоилась. Мне в то же время говорит, что Ире давали борщ в столовой и фасоль со шпиком, а Ира говорила, что ее от них тошнит, и не стала есть. А съела оставшиеся полплитки шоколада, и только. Сама не ест и на меня злится! «Я, — говорит, — голодная хожу!» А кто ей мешает пообедать? Мне уже мама начинает говорить, что надо привыкнуть к мысли, что если накормят человека днем тарелкой супа, то и будь доволен. А если мне к этой мысли не привыкнуть?.. Я не ем даже половины, четверти того, чтобы себя насытить… Эх война, война…

Сейчас хмурая пасмурная погода. Морозит, идет снежок.

15 и 16 октября. Ничего особого не происходило. Сегодня не ходил с Давидом в школу, а сходил с ним в театр на «Опасный поворот». Чрезвычайно хорошая вещь. Замечательное обрамление, превосходная в целом вещь, но, к сожалению, похожа на какой-то громадный водевиль. Мне эта вещь до того понравилась, что я поставил ее рядом с «Идеальным мужем».

Сегодня вечером во время ночной тревоги потушил одну бомбу на дворе, спас от пожара дрова, а равно и дом.

На фронтах положение прескверное. По последним данным: Мариуполь взят, образовалось калининское направление и в настоящее время еще прорван фронт западного направления!!! Я сейчас как посмотрю на будущее, у меня волосы дыбом становятся: применение ОВ, зима, немецкий гнет; этого уж нельзя. Или: фронт, смерть, бомба, смерть — калека (…), но кое-как перебиваюсь.

17 октября. Совершил ужасное преступление: потерял ключ от квартиры. Что-то мне мама вечером скажет, когда придет. Был в поликлинике глазной, врач принимает с 9 утра до часа ежедневно, кроме пятниц. В пятницы прием производится с 2-х часов дня. Был в фотографии, снялся на паспорт. Наверное, безобразно вышел из-за волос, которые расползлись по всему лбу.

Вчера произошла безобразная сцена у наших жильцов. И., возвратясь, заподозрил жену в курении (курить, у кого туберкулез, — медленная верная смерть). Он начал ругаться во весь голос, нисколько не церемонясь, что его слышат. Она ему как будто возражала, а он кричал быстро-быстро: «Нет, нет, нет! Врешь! Врешь! Врешь!» Затем, когда была тревога, он собрался идти в бомбоубежище и стал тянуть ее с собой. Она не захотела идти. Тогда он выхватил у нее из рук сумку с ключом от комнаты и пошел вон. Она его догнала, вцепилась в сумку, произошла короткая борьба. И это на виду у нас! После еще были подобные сцены. Я только обо всем этом не писал здесь. Она у него вторая жена, с первой он разошелся. Но я не завидую ее жизни. Хотя и питается сытно. Я всей своей едой скупой пожертвовал бы, только бы не оскорбляться так.

На фронтах положение прескверное. Западный фронт прорван, немецкие ударные группы ползут к Москве, захватывая в кольцо наши силы. Немецкая авиация бомбит Ленинград ежедневно. Ночью. То же самое, наверное, и с Москвой, Харьковом и т. д. По всему Уралу затемнение, идут слухи, что Уфу бомбили.

Сегодня осведомился у Игоря насчет положений на фронте. Он говорит, что над Москвой нависла опасность. Ленинград полностью отрезан от СССР, на Ленинградском фронте еще ничего, держатся. В Ленинграде кончаются запасы продовольствия, скоро, пожалуй, пойдут голодные смерти, эпидемии и т. п. С тоской вспоминаешь, что не эвакуировались. Я боюсь сейчас даже вперед заглядывать — живешь одним днем.

Завтра в школе откажусь от ночных дежурств из-за неимения теплой обуви. Сейчас простудиться совсем не время.

От голода так и скребет в животе и слюна течет. А ведь я сегодня все-таки пообедал в трестовской столовой. Сказывается отсутствие хлеба в первую очередь. Сегодня мама покупала пряники, так они сделаны из овса да немножко сахара. Хорошо, что такие. Жить по такой норме я согласился бы на время, хотя бы года на три, но чтобы не уменьшать норм, а ведь это обязательно будет…»

Осенью снабжение Ленинграда, как известно, шло по Ладожскому озеру. Но, оказывается, в эти дни уже думали загодя о зимней дороге, о том, что будет, когда озеро замерзнет. Евгений Петрович Чуров, который тогда служил офицером-гидрографом, рассказывал:

«В сентябре командование Балтийского флота доложило Военному совету план мероприятий по организации ледово-дорожной службы на зимний период 1941/42 года, и те трассы, которые мы разведали, в дальнейшем были примерно намечены.

Докладывал там флагманский штурман Балтийского флота, великолепный специалист Юрий Петрович Ковель. О нем мало пишут, собственно, не писали даже, он человек скромный. Закончил он службу вице-адмиралом, начальником Оперативного управления Главного штаба. Я считаю его личность большой вехой в моей жизни, потому что это человек гигантского оперативного мышления. В сорок втором году — еще Сталинградская битва только разгоралась — Юрий Петрович мне объяснял, как пойдет война. И вы знаете, он не видел ведь планов Генерального штаба, но показал на карте, что примерно под Сталинградом задержим противника (Ю. П. окончил академию, был он молодой сравнительно).

Потом он показал, что разгром немцев и под Сталинградом будет производиться с помощью окружений. Вот это очень важно. Ведь чтобы показать состоятельность тактики и стратегии окружения, для этого надо было глубоко представлять военную обстановку. И вот что еще показал Юрий Петрович — что блокаду можно будет прорвать не раньше сорок четвертого года…

Так вот, Юрий Петрович мне сказал: есть план мероприятий по организации ледовых трасс и дорог на Ладожском озере и в Финском заливе (так назывался этот оперативный документ).

Было принято решение: с появлением льда организовать всюду наблюдение за ледовой обстановкой. Начали патрульное наблюдение за ростом льда в Шлиссельбургской губе и в бухте Морье. Мы вылетали на самолетах, осматривали южную часть озера.

Кой-какая практика была: на севере нашей страны, в Белом море, войска уже проводили по льду. В проводке войск по льду там участвовал знаменитый наш ученый — академик Василий Владимирович Шулейкин. Ему принадлежит первая разработка теории проходимости машин, техники по льду морскому, соленому. Он разработал впервые в мире таблицы для расчета нагрузок на квадратный сантиметр светлой поверхности льда, в зависимости от температуры воздуха, что очень важно, и от изменения силы и скорости ветра, наличия снежного покрова и

отсутствия его… В училище нам читали специальный курс дорожного обеспечения, и таблицы Шулейкина и его формулы нам были знакомы».

А у Юры Рябинкина свои испытания, заботы:

«18 и 19 октября. Мама брала на эти два дня выходные. Хотела ехать за картошкой, но дело обернулось само собой. В столовую привезли капусту, целый грузовик. И вот все жильцы нашего дома накинулись на нее. Кто сколько может. Хабидулин взял себе около 40 кочанов, а мы около 10, так как таскала капусту одна Ира. На следующий день мы до отказа наелись капустой. Ночь прошла спокойно.

Положение на фронте прескверное…

Говорят, что учиться начнем 25/X. Не думаю, однако, чтобы так было. Да, в прошлой сводке было сообщено, что мы эвакуировали в течение 8 дней г. Одессу.

Сейчас заглянул вперед. Если наступление немцев будет отбито, то все в порядке. Война нами выиграна. Если же наступление будет лишь остановлено, то длительный голод для нас. Если же немцы возьмут Москву, то для нас — смерть.

20 октября. Утром скучал, походил в поисках кваса, замерз и возвратился домой. Дома мороз. Был в пальто. Брал обед в столовке треста: щи да свекла. Поел, посидел, пошел к маме. Там взял из фонда Вольтера и Дюма «Графиня Монсоро» и «Сорок пять» — ее окончание. Пообедал в столовке там. Поел супа-овсянки. Затем пошел домой. Пришел — тревога. Почитал Вольтера. Да, перед этим заходил Игорь. Он сказал, что занесет карточку вечером, ну да не верю больше этому. В магазинах на III декаду все еще не дают. Вечером произошла весьма выдающаяся вещь. Я, как написал выше, принес из фонда Дюма. Принес себе, так как читать мне нечего. И вот входит в комнату, как полновластная хозяйка, Анфиса Николаевна, говорит: «Я, Нина Михайловна, брала у вас Золя, вот вам обратно» (книгу эту дал ей я — но это еще ничего). Подходит она к столику, берет Дюма и говорит: «Нина Михайловна, я у вас возьму Дюма, мне читать нечего». А мама так и рассыпалась в похвалах этой книге, так ее и хвалит. Только возьмите. Меня взбесило. Я стал возражать (с улыбкой на лице! — до чего приходится унижаться), что эту книгу я хочу читать сам, но мама стала кричать на меня, что я могу читать Вольтера и т. д. Я ничего не мог сделать. Анфиса Николаевна забрала книгу и ушла. Я сейчас более-менее неплохо понимаю политику этой Анфисы Николаевны. Белыми нитками она шита. Она, во-первых, желает видеть, что мы превратимся перед нею в услужливых, мягко выражаясь, людей, и приучает нас к этому. Во-вторых, она, видя, как мы нуждаемся в хлебе, сахаре и т. п., в то время как сама она ест сытно, ничего не желает «дать» — ну, предположим, она очень эгоистична, а, впрочем, может, она права. С тех пор как мама взяла у нее стакан драже, пообещав отдать, и не отдала, она категорически про себя решила не давать нам ни кусочка. И мне теперь становится стыдно, когда я вижу, как мама пьет воду, а А. Н. стоит рядом и рассказывает о театре, в то время как мама говорит: «Ну вот, дожили до ручки…»

Быть может, во мне говорит моя гордость, но я не могу без какой-то злости смотреть на это. И что хуже — я сам иногда так делаю. Эта Анфиса Николаевна похожа на толстенькую, сытенькую кошечку, которая разлеглась на диване и как будто говорит: «Ну-ка пощекочите меня». Она обо всем включительно передает своему мужу (исключая, ясно, себя), а тот (ночная кукушка всех перекукует) делает, как она хочет, сам того не замечая. Сейчас произошел еще один интересный номер: Игорь обещал нам карточку 1-й категории и говорил мне, что занесет ее сегодня вечером, а она пришла к маме и прямо ей в лицо говорит: «Игорь карточки вам дать не может, так как она (…) отобрана». Как пить дать старается для себя. Она не привыкла за услугу платить услугой, а привыкла принимать от других услуги, ничего кроме лестных слов, обратно не преподнося. Мама, я просто не знаю, что это такое, отдала ей большой кочан

капусты, а (…), которая относится к нам действительна по-товарищески, дала маленький…»

ЧЕРТА

Сам еще не сознавая того, не понимая, Юра Рябинкин и его близкие подходят к черте, к котрой блокада, голод придвигают, прижимают многих. Одни удержались, не переступили. Другие удержаться не смогли, не сумели. Но и те, что удержались, устояли перед невыносимыми испытаниями и черту не переступили, и те тоже не оставались прежними. Со стороны это, во всяком случае, замечалось, даже если челове сам этого не сознавал. Изменились невообразимо обстоятельства. Менялась мера многих вещей, понятий, поступков. Если учительница, у которой от голода умер муж, говорит возбужденно-радостно коллегам: «Знаете, какое счастье, морг в двух шагах!» — значит, в мире что-то перевернулось (из дневника К. В. Ползиковой-Рубец). И хотя Ксения Владимировна Ползикова-Рубец записывает этот случай с явным осуждением (то ест не принимает этой новой меры), но ведь надо понимать, что и та женщина такого и так не говорила бы до или после блокады. Изменились не любовь, не горе, изменились возможности человека. И то, что можно по-человечески похоронить, довезти до морга, уже хорошо.

Юре Рябинкину все предстоит открыть впервые: и хорошее и плохое и в себе и в людях. Он придирается к соседке Анфисе Николаевне только за то, что она питается лучше его, порой ему удается себя одернуть, и тогда он видит в ней и доброе и человечное. Г. А. Князев знает жизнь. Он угадывает, даже предвидит черту, за которой ты уже не ты, во всяком случае не вполне волен в своем поведении, в своих поступках. Князев верит в человека, в собственные внутренние силы, любит жизнь, но на всякий случай приметил крюк потолке. И даже (не был бы то интеллигент-книжник!) справился в энциклопедии, как это бывает. «Изучил вопрос», прикинул и на этом успокоился: нет, он себе не позволит зайти за черту. Уж лучше сразу, вот так! Может быть, и есть люди, которым предел не поставпен, которые уверены, что голод, даже съев мозг, не лишит их воли и образа человеческого. Но для Князева мыслить — это значит остаться самим собой. Он не паникер. А это в тех условиях очень многого стоило. Известны случаи, когда люди перед боем стрелялись. Насмерть. Из страха перед завтрашней смертью убивали себя сегодня. Или же из страха перед страхом смерти?..

Паника перед голодом, голодным безумием и мучительным умиранием часто губила прежде самой смерти. Поддавались панике и сильные, ясные умом и сердцем люди. Но они раньше спохватывались. Фаина Александровна Прусова записала в дневнике:

«По совету одной старушки сварила обои… Но стало так противно — тут же выбросила, только воду испортила. Сварила и ремень (дворник посоветовал) — тоже мутная, грязная вода. Вылила сразу же… И вот здесь мы дали все друг другу слово — не психовать, не есть всякую дрянь, и будь что будет!»

То, что Князев угадывает, предвидит и к чему готовит себя спокойно, с достоинством (бороться до конца, а если недостанет сил — уйти самому), то на шестнадцатилетнего Юру Рябинкина обрушивается неожиданно и непонятно. Ему предстоит все познать впервые: смерть, голод, человека, себя. Здесь будет больше всего неожиданностей и жестоких открытий.

Да, Князев еще далек, дальше многих от черты. Того, что в нем есть, что накопил за свою жизнь, взял из книг, выработал в себе, хватает и хватит на многое. Та самая неоднократно атакованная интеллигентность, в других условиях казавшаяся слабостью и даже пережитком, именно в условиях блокады обнаружила и нужность, и силу, и незаменимость свою.

«Интеллигентщина! — восклицает Георгий Алексеевич, споря с другими, но и с собой также: ведь было время, когда и сам он допускал мысль о какой-то правоте тех, кто ругался словом «интеллигент». — Да, да, Чем мы были, тем и останемся… У нас есть еще стыд, совесть.

Эти старые, «смешные» интеллигенты создавали великую русскую гуманистическую культуру и предпосылки Великого Октября… Я все силы напряг к тому, чтобы сохранить в отношениях с людьми предупредительность, мягкость, чтобы легче было. У меня нет хлеба, но есть покуда слово, бодрое и доброе слово. Оно не заменит хлеба… Но как противно, когда другие, не имея хлеба, швыряются камнями…»

«1941. X. 26. Сто двадцать седьмой день… Когда я поднимался по лестнице домой, перегонявший меня А. обратился ко мне: «Ну, какое ваше мнение, великий оптимист, о Москве: победим или оставим ее?», Я ответил приблизительно так: «Положение, как видно, очень серьезное. Решающая битва происходит под Москвой, куда стянуты все силы противника и наши… Но что бы ни случилось, я твердо уверен в том, что Германия нас не победит. На нашей стороне — человеческие ресурсы и неисчерпаемые материальные ресурсы США и Англии, борющихся с гитлеровской Германией, борьба идет смертельная, компромиссного мира быть не может. И Германия в конце концов будет побеждена… Это является для меня стимулом моей бодрости и оптимизма».

А. заулыбался и ничего не ответил.

По радио прозвучал «Интернационал». Кончился день, 12-й час. Сегодня будем спать, не раздеваясь.

Это на малом радиусе… А что делается в Москве? Сердце обливается кровью о тех испытаниях, которые выпали на долю москвичей… Идет решающая битва, и москвичи — ее непосредственные участники. Ужас охватывает от этой мысли… Неужели самое жестокое испытание грозит родине?!!

О будущем лучше не думать… Будущего у нас нет… Но у родины будущее есть!

…Может быть, потому что я директор и сам держусь строго и не вступаю в разговоры по вопросам войны и переживаемых трудностей, я вот несколько дней ни с кем не вел беседы о переживаемых событиях. Сотрудники затаились. Ни С., ни И. Л., ни другие о событиях ни слова…

Большим усилием, но я добился того, что сотрудники снова наладили свою работу. Теперь все сидим в одной комнате — в читальном зале, где поставлена печка. Ее топим всяким хламом, в том числе и макулатурой. Относительно тепло, около 8-ми градусов! Работать можно!

1941. X. 29. Сто тридцатый день… Вечером две тревоги.

Становится все тяжелее в продовольственном отношении. Сегодня обед был весьма скудный. Но об этом скучно писать. Покуда только нехватки, но еще не голод, терпеть можно. Нужно.

1941. X. 31. Сто тридцать второй день… И так жуть берет, а газеты агитируют, пугают, цитируют высказывания Гитлера: «Уничтожить 20 миллионов человек, начиная с этого времени, это будет одна из основных задач германской политики, задач, рассчитанных на длительный срок. Мы должны прежде всего вытеснить и истребить славянские народы… Естественный инстинкт приказывает всякому живому существу не только добить своего врага, но и уничтожить его. В прошлое время за победителями признавали полное право истреблять племена и целые народы… Перед нами встает задача уменьшить чужое население, как и обязанность содействовать росту численности германского населения. Нужно разработать технику сокращения чужого населения»… И к этому на нескольких столбцах газеты комментарии. Даже человека с канатными нервами начнет пробирать холодная дрожь, когда он прочтет все это. Была ли в мире более мрачная эпоха, с тех пор как появилась цивилизация? Пожалуй что нет. Жестокость была, но от дикости. Теперь изощренная жестокость от ума, от извращенно направленной техники, науки на разрушение.

1941. XI. 1. Сто тридцать третий день. Конец пути домой пришлось проехать под

артиллерийским обстрелом. Сзади меня шел по набережной академик Крачковский с женой, спокойно, своим обычным шагом. М. Ф. встретила меня радостно, с облегченным сердцем: «Ну вот, доехал, а я волноваться стала». Дома выстрелов не слышно было, только, по обыкновению, вздрагивал дом.

Вечером было две воздушные тревоги. И сейчас стоит в ушах эта гнетущая музыка завывающей сирены.

Обедали очень скудно. На этот раз, как нарочно, очень хотелось есть.

Вечером во время тревоги и в перерывах читал «Отечественные записки» начала XIX в. Все пополняю свою Шестую главу истории Академии наук.

С трудом справлялся с внутренней тревогой о полной бесперспективности в будущем. К тому же охрана Архива меня очень беспокоит. Сегодня обходил все хранилища, сделал целый ряд указаний. Сотрудники понемногу сдают. С. смотрит, и без того угрюмый, болезненно-раздражительно на все. Я даже спросил, здоров ли он. У А. О. остановившиеся стеклянные глаза. Ш. углубленно-молчалива. Л. начала снова работать, но смотрит глазами «себе на уме». Что она думает, таит в себе: как переживает события — никогда не высказывается! И мне вдруг стало скучно, одиноко в этой комнате что-то таящих в себе людей.

1941. XI. 7. Сто тридцать девятый день войны! Весь день по радио передают речи, музыку.

Слушал еще одну передачу из Москвы, речь, сказанную сегодня Сталиным во время парада на Красной площади. Оказывается, традиция не была нарушена и в 9 часов утра начался парад, правда особенный. Через Красную площадь проходили войска, отправляющиес на линию огня и возвращающиеся оттуда, смененные для отдыха, прямо из боя.

Долго молчал Сталин, и вдруг сразу два выступления. Чувствуется какой-то перелом в военной обстановке. Немцы бросают все свои силы, все свои резервы, но мы больше не отступаем. Некуда! Или умереть, или отстоять Москву и Ленинград. Третьего решения нет.

…Страшное известие промелькнуло в газетах. Кнут Гамсун, замечательный норвежский писатель, пришел к заключению о невозможности для Норвегии быть независимой страной и склонился на сторону квислинговцев, то есть к полному сотрудничеству с национал-социалистами.

…В передовой «Ленинградской правды» говорится: «Мы принесли в жертву многое… Но жертвы самой большой — Москвы — мы никогда не принесем».

…Война потребует еще много жертв и времени. Сталин говорит, не надо только преувеличивать силы врага и трудности для победы, как это делают некоторые перепуганные интеллигентики.

Впереди война, только война до полного истощения противника. Ничего другого, кроме войны.

Стреляют!»

У таких людей, как Князев, свои пределы, свои тупики в условиях голода и смертельной усталости, физической и душевной. Но у них есть и огромный запас человеческой прочности: гуманистическое предполье, которое образуется настоящей культурой, истинной интеллигентностью. И в душу Князева могут вползти, ворваться слабость, эгоизм, отчаянье, но, прежде чем ворвутся, должны еще пройти, преодолеть то самое предполье, которого конечно же недоставало мальчику Юре Рябинкину. Юре бороться с самим собой, с человеческими слабостями будет намного мучительнее. То, что Князев замечает и оценивает сразу, издали, Юра Рябинкин обнаружит в себе лишь после поступка: уже сделает и лишь потом поймет, оценит, будет мучиться…

Блокадные дневники Г. А. Князева — огромная духовная работа. Она врачует, дает заряд

сил и надежд. Работой этой он непрестанно укрепляет и расширяет то самое предполье, которое отодвигает голод, холод, отчаянье.

Истинный ученый, Князев своего писательства несколько стыдился как утаенной слабости. Побаивался незащищенности, с какой писатель является на глаза публики, вынося на люди тайное тайных. Князев шлифует до самозабвения свои стихи-формулы (лаконичные формулы мыслей и переживаний), охотно обрабатывает для себя понравившиеся чужие строки и даже чужие произведения («…как это сделал бы я!»), отыскивая «свое» у других, и все это (и стихи и дневники) заранее предназначает «в архив». Нужно при этом иметь в виду его, архивиста, взгляд на архив: для Князева это столь же желанное место, как для других печать, публикация. Совсем не кладбище, а, наоборот, то место, где живут самые уважаемые им писатели, ученые, — их рука, их строки, рукописи…

«Я уже записал в свое время небольшое стихотворение, как в фокусе отражающее мои переживания, мои настроения. Вот теперь оно в окончательной редакции. То, что требует многих десятков страниц, выражается несколькими строчками в немногих словах:

В эти дни
молчание, мой друг, молчание!
Слова излишни.
За свои страдания
и слезы ближних
отмщение придет.
Стук сердца — вот слова
и эхо — пулемет!

С большой тревогой слежу за событиями, жадно ищу ниточек, чтобы, ухватившись за них, понять, усвоить ход событий. Все переживаю в двух планах, в гражданском и личном. Поэтому так много противоречий, увязок, трудностей в понимании происходящего и ближайшего будущего, грядущего… Пути и перекрестки сбились. Поэтому я очень утомлен. Начитался газет: это отображение переживаемого в одном плане; наслушался всего: это в другом плане. И вот, сев за свои записки, растерялся: что же мне записывать? Довести до конца мысли «первого плана», значит, геройствовать; заняться изложением мыслей «второго плана», значит, ныть…

1941. XI. 12. Сто сорок четвертый день. Вот он не только постучался, но и вошел костлявыми шагами — голод.

Продовольственное положение Ленинграда плохо. Об этом объявили по радио и в газетах. «Большевики не скрывают правду от народа». Положение тяжелое. Пока не будет прорвана блокада, положение не улучшится. С завтрашнего дня сокращается норма выдачи хлеба не только для населения, но и для военных. Вопроса, который поднимается малодушными о сдаче города «на милость врага», не может быть. Ленинград должен защищаться во что бы то ни стало. О сдаче и речи быть не может! Все тяжести, испытания, выпадающие на нашу долю, в том числе голод, мы должны претерпеть…

Спокойно встретили с М. Ф. новый этап в нашей жизни. Или «перетерпим», или умрем. Но о будущем лучше не думать. Придет это будущее — и тогда нужно будет преодолевать его.

Немцы хотят взять нас измором. Выдержат ли ленинградцы, около 3 миллионов, это великое испытание? Но не только измором. Сегодня летная погода и за день было 5 тревог. В последний вечерний долгий налет мы опять ощущали колебания дома. Дом «поехал». Где-то

поблизости, значит, ухнула бомба. И, по-видимому, не одна. Я и М. Ф. встали, когда «поехал» дом, а потом снова сели и стали пить свой вечерний чай. Утром был артиллерийский обстрел. Итак, голод, холод, бомбежка, артиллерийские снаряды, пролетающие со свистом над головой.

М. Ф. говорит: «Все перетерпим, только бы отогнать немцев».

1941. XI. 16. Сто сорок восьмой день… С утра пытались вымыться и надеть чистое белье. Не смогли: одна за другой тревоги заставили насторожиться. Стали убирать в комнате все те вещи, которые могут лететь, ширму, картины, вазы, зеркало и т. п. Квартира стала походить на сарай.

В 4-м часу начался, как по расписанию, артиллерийский обстрел. Задрапировали окна дополнительно тряпьем, чтобы в случае взрывной волны не слишком далеко разлетелись стекла. Я снял лампу в своем кабинете со стола и поставил ее в угол; часы на камине поставил вдоль стенки. Почти посредине комнаты стоит ящик с песком, у камина бак и ведро с водой.

У соседей, несмотря на мороз, открытые окна, на полу кирпич, глина, цемент; весь пол в грязи, везде слой известковой пыли. Третий день мастера устраивают в окнах, выходящих на набережную, бойницы для пулеметов. Все вещи сдвинуты, перевернуты. Жить в таких комнатах, конечно, невозможно. Жильцы устроились жить в кухне, окна которой выходят во двор.

Скоро, по-видимому, и нам придется уходить из своей квартиры. Мне ничего не жаль, кроме книг, и вот этих записок, и накопленных материалов и коллекций. А может быть, и раньше будем разгромлены или сгорим.

В декларации пленных германских солдат говорится («Лен. пр.», 41. XI. 16):

«Горе нам, немцам, если поражение Гитлера произойдет помимо нас, без нашего участия, без нашего активного содействия. Никто тогда не поверит нашим заверениям, что мы, немцы, не несем ответственности за гитлеровские злодеяния.

Народ, именем которого совершены зверства, который молчит и беспрекословно ведет войну, такой народ не может рассчитывать ни на сочувствие, ни на помощь»…»

Автор записок уже познал, испытал все, что обрушивалось в те дни и месяцы на ленинградцев. Бомбы, снаряды, уже и голод подступил (хотя писать о голоде ему как бы унизительно, «скучно» — помните запись от 29 октября?). Но его по-прежнему мучит и этот вопрос: как относиться к народу, чьим именем терзают всю Европу, полмира?..

КТО-ТО ВСЕГДА ЗАПИСЫВАЕТ

И опять дневник Г. А. Князева:

«1941. XI. 17. Сто сорок девятый день войны. Вести ли дальше мои записки? Они принимают слишком однообразный характер регистрации разрушений, причиняемых бомбежкой с вражеских самолетов. Я не охватываю, как современник, событий, и радиус мой слишком мал для полноты и разнообразия их изображений. Я пытаюсь расширить свой радиус обобщением сведений, почерпнутых из газет, а нужно ли это делать? Ведь я не беру на себя в этих записках роль историка, корреспондента и т. п.

…Вот тоже — писать ли о себе, своих переживаниях?! Можно ведь и порисоваться было бы: вишь какой герой, стойко и храбро переживающий все эти испытания. Действительно, я стойко переживаю их, но переживаю диалектически, с большими противоречиями…

Жутко смотреть, как на разбитый череп, на верх здания лавалевского дома Центрархива. И дома имеют свою физиономию! Красавец дом превратился в мертвеца».

Мы уже упоминали, что в этой части, как правило, пользуемся подлинными записями тех дней. Прежде всего дневниками, но у многих сохранились не дневники, отрывочные записки, зарисовки, сценки — без чисел, не регулярные. Они тоже важны своей подлинностью. В них наблюдения, зарисовки.

Вот несколько сценок 1941–1942 годов из записок Ольги Николаевны Родштейн:

«На Неве ярко, сине, четко. Стая чаек, покачиваясь сидит на воде.

Маршрут № 12 ползет по Дворцовому мосту. В вагонах стоят стиснутые люди. В толстых платках, ватниках гражданки — добытчицы дефицитных продуктов с мешками, бутылями, тюками. Самоварные лица и, пара углей на плоском подносе, маленькие колючие глаза!

— Птиц-то сколько поналетело! Рыбу, поди, ловют!

Притиснутые друг к дружке мешочницы любуютс из окон вагона картиной гордого приволья и света там, внизу, у моста. Чайки покачиваются на волнах, беленькие, как фарфоровые. Другие, трепеща крыльями, усаживаются возле своих подруг.

— Местные утки, стало быть, — поясняет одна из домохозяек. — На суп их надо всех переловить!

Почему бы и нет? Пусть чайки будут утками, если у женщины вид голодной щуки.

…Растрелли украсил крышу Зимнего дворца фигурами (кстати сказать, странное общество). Из трамвая публика глядит на них сосредоточенно:

— Зачем это на крыше дежурит столько ремесленников?

…Голод. По телефону настойчиво объясняют, что завстоловой не прав, вырезая талон на 100 грамм мяса, ибо в котлете, кроме мяса, содержится 50 % булки. Котлету решено отправить в химическую лабораторию».

И рядом — запись для себя: «Гейне не пишет «сочинять стихотворение», он говорит: ein Gedicht erleben…»[35]

У Ольги Николаевны целая папка таких записей. Зарисовки-сценки, услышанные разговоры — и тут же рассказ о смерти матери, о том, как пришлось торговаться с дворничихой, которая за хлеб обряжала покойницу, — запись тяжкая, страшная… В семейных архивах ленинградцев, в архивах города хранится множество еще не разобранных записок, дневников, писем, связанных с блокадой. У каждого блокадника был свой радиус — наблюдений, осмысления происходившего, переживаний.

Но вернемся к страницам дневника Г. А. Князева.

«1941. XI. 29. Сто шестьдесят первый день войны… Не можем вспоминать без омерзения гражданку Напалкову. Оказывается, что она еще накануне агитировала какого-то уставшего «нытика-интеллигента», говоря, что каждый ленинградец должен быть начеку и быть готовым к отпору врага. «Неужели у нас не хватит мужества бросить бутылку с горючим в танк врага? — говорила она патетически. — Мы стойко должны держаться в Ленинграде, не покидая его в такую минуту… Это наш долг». За несколько часов до своего отлета она ни единым словом не обмолвилась, что покидает Ленинград, своих сослуживцев и сочленов по партии.

Тем печален этот случай, что Напалкова пришла в Академию, в парторганизацию после стольких провалов в ней и, казалось, завоевала прочное положение (и даже уважение) стойкого, крепкого члена партии.

…Так устраиваются те, что на словах агитируют о самопожертвовании, о подвиге, о геройстве… Еще несколько дней назад Напалкова, как ответственный член партии, агитировала меня выступить на слете интеллигенции и сказать несколько слов о долге советского интеллигента пожертвовать всем ради родины…

Нормальная жизнь человечества кончилась 28 июня 1914 года. С этого дня нужно считать начало того периода, в котором мы живем. У нас, советских людей, есть священная дата — 25 октября 1917 года, которой все мы жили как новой эрой возрожденного человечества. Так было до 22 июня 1941 года. С этого дня началась наша страшная трагедия.

1941. XII. 3. Сто шестьдесят пятый день войны. Весь вечер нет электричества. Писать при лампадочке трудно.

Сегодня на службе плохо работали. Было много волнений по поводу предположений эвакуации. Утром получили официальное извещение об этом. Хотят уезжать Орбели с тремя детьми (9 лет, 12 и 15), Урманчеева тоже с тремя детьми (1, 3 и 5), Травина колеблется. Остальные отказались. Идти пешком придется около 150–200 километров. Багаж и детей обещают везти. Панический ужас перед голодом бросает людей на большой риск. Орбели говорит: «Все равно: здесь умирать голодной смертью, идти — иметь какой-то шанс на спасений Она привела всех своих девочек на службу. Смотрел них и думал о грядущем великом исходе многострадальных ленинградцев. Идти им придется в студеные зимние декабрьские или январские ночи, в морозы, во вьюги, в заносы, по бездорожью. Отчаянная попытка».

3 декабря 1941 года — именно в этот день в доме на Карповке в своей мастерской умирает от голода замечательный советский художник Павел Николаевич Филонов. Нам рассказала о том, как это было, его родная сестра Евдокия Николаевна Глебова.

Мы еще расскажем о самой Евдокии Николаевне Глебовой, судьба которой поразительна, но сейчас надо заметить, что в самом начале декабря 1941 года смерть от голода была еще не столь частой. П. Н. Филонов умер так рано потому, что он и до того жил впроголодь и по убеждениям своим не принимал никакой помощи — ни деньгами, ни едой. Был он худой, истощенный, и, может, оттого так быстро голод одолел его.

А по дневнику Г. А. Князева уже —

«1941. XII. 5. Сто шестьдесят седьмой день войны… Сегодня День конституции. Трамваи бегают с красными флажками, но на домах флагов не вывешено почему-то.

Опять, как в 19-м и 20-м годах, на улицах встречаю везущих на саночках гроб… Мать-старуху и ее сына, раненного и сошедшего с ума в финскую войну, родных Вали, которую мы хотели воспитывать, нашли мертвыми в их квартире, дверь которой пришлось взломать.

1941. XII. 8. Сто семидесятый день войны… Вечер. С лампадочкой делать ничего нельзя. Жгу свечку. А там — будь что будет. Культурные блага кончились или с перебоями кончаются.

М. Ф. говорит: «Если так будет продолжаться, то в январе или в феврале придется умирать

голодною смертью». Говорит спокойно и добавляет: «Но так как умирать от голода очень мучительно, то придется как-то по-другому умирать. Ты убьешь меня, а потом и сам…» И говорит это М. Ф., моя жизнерадостная, любящая жизнь жена-друг…»

Поколение Г. А. Князева, все старые питерцы вспоминали 1919–1920 годы. Сравнения эти приходили по разным поводам, о том голодном петроградском времени напоминали и буржуйки — маленькие железные печурки, которые устанавливали посреди комнаты, — и слово-то это было изобретено тогда, им пользовались ныне, хотя оно лишилось своего социального подтекста. Ожили слова «пайки», «коптилки», снова объявилась «дуранда»…

ОЛЕДЕНЕВШИЕ СФИНКСЫ

Продолжим запись Князева:

«…Каждый день в газетах в надзаголовках приводится цитата за цитатой из речи Сталина. Сегодня прочел в пришедшей на 8-й день газете от 1 декабря: «перепуганные интеллигентики»… Так это или не так?

Вот мерзавка Напалкова, отнюдь не «интеллигентик», всех стыдила в малодушии, интеллигентности, трусости, а когда действительно трудно и плохо стало, бросила всех и все и улетела из Ленинграда.

Несмотря на бомбежку и холод, я так хорошо и с упоением работал в октябре и ноябре, а вот в декабре все расклеилось. И сотрудники тоже ослабли. Вынутый и рассыпанный материал уже недели две лежит на полу в хранилище. Третьего дня Л. влезла с папиросой уже в само хранилище. Холод выгнал из служебной комнаты, и все сидят около плиты в той комнате, где уборная… Мрачная картина. Только тому надо отдать справедливость, что сотрудники исполняют свой долг дежурных и проводят в неделю одну ночь на службе холодные и полуголодные. Эта работа по охране вверенных нам научных ценностей — главная и действительно нужная работа.

1941. XII. 12 и 13. Сто семьдесят четвертый и сто семьдесят пятый дни войны… Сегодня мне показались такими жалкими, голыми щенками, брошенными на жестокий мороз, мои гордые сфинксы. Словно все забыли о них. И стоят они над белым простором Невы…

Вчера нельзя было оставаться по приезде домой под портиком нашего дома: снаряды рвались где-то за Невой; сегодня ухали в те же минуты где-то дальше. Походил между колоннами. Тут пешеходов почему-то меньше. Многие ищут эвакуационный пункт и нервничают, не находя такового; другие спрашивают, где собес. Это инвалиды. Иные еле передвигаются от старости или от слабости. Тяжело смотреть на этот человеческий отход. По заваленной снегом набережной все же расчищены пути для проезда. Но проезжают редкие грузовики и изредка легковые машины, по-видимому, специального назначения или сантранспорт.

Покуда я еду или стою у колонн, обязательно увижу обычнейшую теперь картину: на саночках везут купленный пустой гроб, наскоро сколоченный, некрашеный, или уже с покойником, и двое-трое везут «погребальные санки».

Говорят, что на кладбищах скопляется много таких гробов.

От наших колонн виден как на ладони Николаевский мост. Провода на нем частично оборваны, трамваи не проходят через него. И только бесконечной черной цепочкой движутся в обе стороны пешеходы. Видны и одинокие мои сфинксы среди снежных сугробов и перед ними грузовой автомобиль без передних колес. Он стоит там третью неделю. Разбил ли его снаряд, потерпел ли он аварию — не знаю. Но убрать его, по-видимому, некому и недосуг. И стоит эта разбитая техника перед стражами тысячелетий — сфинксами из древних Фив в Египте.

Запираю за собой парадную. Первые стекла ее дверей забиты фанерой, вторые разбиты от сотрясения воздуха от выстрелов, одно из них на днях. На лестнице темно, больше месяца никто ее не мел: лежат окурки, бумажки, песок и пыль… Когда кто идет, окликаем друг друга, чтобы дать дорогу.

Дома живем в передней. Электричества нет вторую неделю.

На службе тяжело с некоторыми слабеющими сотрудниками. В хранилищах мороз, в служебных комнатах тоже. Все время гаснет электричество, и тогда сотрудники сидят в полутьме. На лестнице тогда тьма кромешная. Запереть двери на улицу нельзя, не слышно стука,

и без электричества звонок не действует. Я и некоторые другие сотрудники занимаемся в одной из башен-выступов, прилегающих к Зоологическому институту, где было относительно тепло, но и там стало теперь очень холодно. Сегодня я там здорово продрог, но высидел пять часов, работая над историей замещения академических кафедр.

Я нарочно остановился так подробно на деталях нашего быта на моем малом радиусе. Об этом вряд ли кто напишет сейчас. Жизнь же на фронте, жизнь героев, будет освещена в достаточной степени другими. От нас требуется одно — пережить, перетерпеть, дождаться перелома, победы…

И уже приходят радостные вести из-под Москвы о новом нанесенном ударе врагу. Сам Гитлер заявил, что он откладывает взятие Москвы на весну. Зима наша немцам пришлась не по вкусу. Эх, если бы они померзли все под Москвой, под Ленинградом, на Украине; нарушилась бы их коммуникация от исполинских снежных заносов. Сгинули бы проклятые разбойники, ворвавшиеся на нашу землю, ежедневно обстреливающие улицы, площади, жилые дома Ленинграда. Сгинули бы, «аки обре». Может быть, и начался уже разгром немецких армий? Сломалась бы их техника на наших снежных просторах! А тогда разбойникам пришлось бы получить возмездие за содеянные страшные преступления. Они не останутся без возмездия…

Кончаю свои записи. Со страхом смотрю на свои «мигалочки», запас горючего иссякает. Неужели скоро и мне придется жить вечер, ночь и утро в темноте, «на ощупь»?

1941. XII. 17 и 18. Сто семьдесят девятый и сто восьмидесятый дни войны. На фронте наши войска наносят удар за ударом немецким оккупантам. Очищены занятые ими участки Северной дороги под Ленинградом (от Тихвина до Волхова). Октябрьская дорога очищается. Только Мурманская крепко перехвачена финско-немецкими войсками, сидящими в Петрозаводске. В Мурманске скопилась масса продуктов для Ленинграда. Эти вести передаются из уст в уста; люди, обессиленные, уставшие, собираются с силами.

А многие уже не могут подняться. Вчера около нашего академического дома, около часто мною упоминаемых колонн, умер человек. Комендант нашего дома Савченко видел, как женщина вела под руку через дорогу мужчину. Тот еле шел, завалился около рельсов; она его приподняла, и он сделал еще несколько шагов, но до тротуара не дошел. Упал около кучи снега. Когда Савченко подошел, то увидел уже бездыханного человека. Над умершим суетилась женщина, его жена. Прохожие, узнав, в чем дело, дали совет женщине — не указывать, что она жена, а будто чужая. Тогда милиция обязана будет взять труп и распорядиться с ним как следует. Так и было поступлено. Подошедший милиционер остановил проезжавшие сани, и труп взвалили на них для отправки в покойницкую. Что сталось с женщиной, потерявшей мужа и не могшей даже похоронить его, не знаю.

Савченко и сам смотрит таким тоскующим взглядом: «Ведь погибать придется, не выдержать». — «Не придется, — успокаивал я его. — Вытерпим, только волю к преодолению трудностей не потерять». Я еще долго говорил ему, что надо продержаться, не поддаваться страху. Кажется, подействовало.

Оказывается, что в доме у нас никто не дежурит. На чердаки никто не поднимается. Когда я заговорил об инструкции о тушении зажигательных бомб в зимнее время, напечатанной в «Правде», он только грустно улыбнулся: «Кто ж это делать-то будет? Ни у кого сил нет; из дворников — Александр лежит распухший, другой, Стариков, ослабевший… Некому у нас в доме такие инструкции выполнять».

Итак, живем, полагаясь на волю случая.

На службе также с охраной тяжело. Выполнять инструкцию тоже некому.

Мрачно в хранилищах, в рабочих промерзших комнатах… С тоскою думаю: почему мы тут сидим, почему не работаем у станка, не делаем того дела, которое нужно сейчас для фронта?

Сам я сейчас заканчиваю работу для доклада «К истории замещения кафедр в Академии наук за все время ее существования». Все это, конечно, могло бы подождать.

Множество народу или сами ушли, или сокращены по разным городским учреждениям и предприятиям, и поэтому всегда кто-нибудь из семьи дежурит в очереди… Сколько, значит, народу, совершенно не использованного для обороны. Неужели и весной эти люди не займутся огородничеством, ловлей рыбы и т. п.? Я всегда с сожалением думаю: под носом Нева, в нескольких километрах рыбное Ладожское озеро, а мы даже в мирное время сидели без рыбы! Ведь пол-России можно было бы прокормить рыбой из тысяч озер нашего края!.. Нет! Вот теперь, когда подвоз затруднен, ленинградцы и пухнут с голоду и умирают.

Сегодня вечером настойчиво кто-то стал стучать к нам. Пришлось отпереть. Ввалился Филимонов, столяр и мастер на все руки, но нигде не уживший в академических учреждениях. Он занимал обыкновенно должность завхоза. Попивал здорово. Смеялся несколько времени тому назад, когда чинил мне костыль и хотел не денег, а продуктов. Сегодня он был страшен, оброс волосами, почернел. В руках у него оказалась зажженная свечка, и с ней он повалился на колени: «Спасите, погибаю, потерял карточки, дайте хлеба». Жена растерялась. Что мы могли поделать? Отдать свой дневной паек, т. е. сто двадцать пять граммов?.. Но это бы ведь его не спасло! Чем и как мы могли бы помочь ему? Я вынул и дал ему 30 рублей, стоимость 100 граммов хлеба на рынке. Филимонов взял деньги, заверяя, что ему горько, тяжело, страшно просить.

Это неожиданное посещение в такой драматической обстановке здорово выбило нас на время из колеи. Потом я успокоился. Просить в случае такой нужды я никуда не пойду. Все в таком же положении. А если придется погибать, то у меня найдется силы воли уничтожить себя.

Догорает свечка, елочная, из запасов М. Ф. Купили дюжину в третьем году на рождество. Как пригодились! Скоро рождество. Пожалуй, за 2000 лет самое мрачное и страшное. Но мы в СССР давно отвыкли от этого праздника. На днях более важное должно произойти, ежегодное событие в жизни нашей планеты: Земля, удалившись на самое большое расстояние от Солнца, снова должна приблизиться к нему. Великий праздник рождения Солнца-жизни!»

Как еще мог Князев помочь Филимонову? Что было делать с человеком, потерявшим карточки? А ослабевшие люди теряли карточки. Теряли, или у них воровали.

Подобные случаи ставили перед родными, перед окружающими нравственные проблемы, невыносимые в своей безвыходности.

ГОЛОД НЕ ТЕТКА, СОВЕСТЬ НЕ СОСЕД

Начался голод и для Юры Рябинкина, вовсю, в полную силу. Впервые подступило к нему непривычное, унизительное лютое чувство голода. Нам придется вернуться назад, в октябрьские дни, и пройти вновь эти месяцы день за днем, но уже не с мужчиной, а с мальчиком, менее защищенным от испытаний.

«21 октября. Продежурил с 8 утра до 6 вечера в школе. Заморил сегодня все-таки червячка. Затопил, вернее сказать (то есть залил водичкой. — А. А., Д. Г.). Сегодня на алгебре в школе сделал первую запись в тетрадь.

Вечером опять неприятный разговор о еде. Голод не тетка…

Мама купила на свою карточку недельный паек — 150 гр. — драже и отдала (у ней был долг) Анфисе Николаевне. Та ей только сказала спасибо и преспокойно взяла себе. Теперь у нас осталось всего-навсего 6–8 конфеток на 10 дней декады! Завтра их уже не будет, это как пить дать.

На фронтах положение — дрянь. Образовалось еще в придачу таганрогское направление. Неужели мы не разобьем немецких ударных частей и не восстановим сообщение Ленинграда с СССР до 1942 года?

Если бы только я знал, что нормы выдачи продовольствия и хлеба нам больше не уменьшат!

Если бы я только знал! Но их уменьшат. Уменьшат еще раза в два. И это как раз перед годовщиной Октября, годовщиной величайшей в истории революции пролетариата 25 (7. XI) октября!

В школьной читальне, оказывается, есть много книг по шахматам, в их числе «Современный дебют».

22 октября. Все утро проторчал в очередях за пивом. С трудом пополам достал 2 бутылки, отморозил ноги. Потом 3 талона на крупу. Вечером дежурил в школе. Тревог не было. Таганрог взят немцами. Наступление немцев продолжается…

Зачитался романом А. Дюма «Графиня Монсоро». Увлекательная вещь.

Мама 2 бутылки пива выменяла на 400 гр. хлеба. Меня опять в очередь за пивом посылают.

23 октября. Достал еще 2 бутылки пива. Был в кино. Смотрел «Праздник святого Иоргена». Читал «Графиню Монсоро».

Дома и холод и голод. Все вместе.

24 октября. Весь день с 10 утра до 6 вечера вместо дежурства в школе провел в очереди за пивом. Не было времени даже постоять в милиции за паспортом. И все-таки пива не достал. Вечером пришла мама, истратила один кочан капусты. Кое-как заморил червячка. Сводках ничего особого нет. Мама мне говорила, что ЦК союзов эвакуирован в Куйбышев. Представляю себе положение в Москве.

Чаю дают 12,5 грамм в месяц на человека, яиц вообщ, не дают. Рыбы тоже. Сегодня интересно поведение Анфисы Николаевны. Подарила нам 3 оладьи из морковного пюре, которое достала в столовой треста, и 10 драже. Было с чем полкружки чая выпить. Написал письмо Тине. Попросил ее прислать посылку с сухарями или картофельными лепешками. Надо думать устраиваться на работу. Об учебе на время придется забыть.

С Ирой странная вещь: днем и вечером под глазами синие потеки, колет в левом боку от быстрой ходьбы и не может есть жидкого (супа). Мама хочет идти с ней к врачу.

Что? Какой сюрприз преподнесут немцы?.. Во всяком случае, немцы грозятся сжечь Ленинград за три дня беспрерывной тревоги (слухи ползут от Чистовых, которым, работая в пригороде, волей-неволей приходилось читать сбрасываемые немецкие листовки).

Очереди всюду: за пивом, за квасом, за газированной водой. За перцем, солью (особенно за солью!), за горчицей.

Немцы или перебросили все свои воздушные налеты на московский фронт, или готовятся к бомбежке на годовщину Октября. Хотят превратить наш светлый праздник в траурный день. Сегодня только узнал, что за тушение зажигательных бомб на чердаке и на дворе нашего дома мне объявлена благодарность через (…) треста. А когда это было, уже и не помню.

25 октября. Только отморозил себе ноги в очередях. Больше ничего не добился. Интересно, в пивных дают лимонад, приготовленный на сахарине или натуральных соках?

Эх как хочется спать, спать, есть, есть, есть… Спать, есть, спать, есть… А что еще человеку надо? А будет человек сыт и здоров — ему захочется еще чего-нибудь и так без конца. Месяц тому назад я хотел, вернее, мечтал о хлебе с маслом и колбасой, а теперь вот уж об одном хлебе…

Тина прислала еще два денежных перевода подряд: 200 рублей и 210 рублей. Наверное, ей прибавили шпалу, а то и две: военврач 1-го ранга стала. Возможно, это и так.

Сегодня пропускаю 2-е по счету дежурство в школе, и 27-го (буду жив-здоров) придется пропустить еще одно.

Ну кто бы мог подозревать, что события так сложатся? Заглянув вперед, у меня волосы дыбом встали на голове: холод, голод, арт. набеги, бомбежка, изнурительные (…) ночи, дни, целые сутки, затем (…) бактерии, кто спасется в первый день применения, тот погибнет от

голода, все продукты в магазинах будут испорчены… Дальше я уж не гляжу, впредь оставаться в Ленинграде — гибель.

Мама мне говорит, что дневник сейчас не время вести. А я вести его буду. (Запомним, это важно, что мать знает о существовании дневника! — А. А., Д. Г.) Не придется мне перечитывать его, перечитает кто-нибудь другой, узнает, что за человек такой был на свете — Рябинкин Юра, посмеется над этим человеком, да… Вспомнилась почему-то фраза Горького из «Клима Самгина»: «А может, мальчика-то и не было?..» Жил человек — нет человека. И народная загадка спрашивает: что самое короткое на свете? И ответ гласит: человеческая жизнь. Когда-нибудь я бы занялся, быть может, философией. Но сейчас для этого надо: 1) еда и 2) сон. Этим и объясняется весь идеализм: для существования его необходим материалистический фундамент.

26 октября… И денег вдоволь — и все-таки голод.

29 октября… Я теперь еле переставляю ноги от слабости, а взбираться по лестнице для меня огромный труд. Мама говорит, что у меня начинает пухнуть лицо. А все из-за недоедания. Анфиса Николаевна сегодня вечером проронила интересные слова: «Сейчас все люди — эгоисты, каждый не думает о завтрашнем дне и поэтому сегодня ест как только может». Она права, эта кошечка.

Я сегодня написал еще одно письмо Тине. Прошу прислать посылочку из картофельных лепешек, дуранды и т. п. Неужели эта посылка — вещь невозможная? Мне надо приучаться к голоду, а я не могу. Ну что же мне Делать?

Я не знаю, как я смогу учиться. Я хотел на днях Сняться алгеброй, а в голове не формулы, а буханки хлеба.

Сейчас я бы должен был прочесть снова рассказ Джека Лондона «Любовь к жизни». Прекрасная вещь, а для моего сегодняшнего настроения как нельзя более лчшая. Говорят, что на ноябрьских карточках все нормы прежние. Даже хлеба не прибавили. Мама мне сказала, что если даже немцы будут отбиты, нормы будут прежние…

Да, немцы, наверное, объявят беспрерывную бомбежку 7 и 8 ноября. А перед тем вдоволь измучают население артиллерийскими набегами да бомбежкой. Готовят нам на праздник сюрприз.

Теперь я мало забочусь о себе. Сплю одетый, слегка прополаскиваю разок утром лицо, рук мылом не мою, не переодеваюсь. В квартире у нас холодно, темно, проводим при свете свечки.

Но самое обидное, самое что ни на есть плохое меня — это то, я здесь живу в голоде, в холоде, средь блох, а рядом комната, где жизнь совершенно иная — всегда хлеб, каша, мясо, конфеты, тепло, яркая эстонская керосиновая лампа, комфорт… Это называется завистью — то, что я чувствую при мысли об Анфисе Николаевне, но побороть ее не могу.

Мне не к кому идти. К товарищам? У меня их нет| Вовка в Казани, Мишка — на работе. А такие (…) эгоисты до глубины души, зачем к ним идти?.. Но во мне опять просыпается зависть, даже злость, горькая-прегорькая обида.

31 октября, 1 ноября. Что можно сказать об этих днях? 31-го я все же чувствовал себя несравненно лучше, чем раньше. Тетя Натала угостила меня горчичными лепешками, даже Анфиса Николаевна и та дала нам 150 гр. крупы (талонов — 6, из них 3 досталось мне на обед).

Ночью была тревога. Били зенитки, но бомб немцы не бросали. Беспрерывно по городу оба дня бьют орудия И. говорил, что немцы стянули к Ленинграду свою дальнобойную артиллерию с Ла-Манша. Сегодня, 1-го, меня встретил неприятный конфуз, меня не пустили в столовую треста до 2-х часов. А в 2 часа в столовке уже кончилось картофельное пюре, и мне пришлось довольствоваться двумя тарелками чечевичной похлебки. Купил 3 пузырька с пертусином. Это смесь рома с валерьянкой и каплями датского короля. Чрезвычайно сладкая и питательная вещь, 2 пузырька уже выпил, остался один.

3, 4, 5 ноября. Все эти три дня шла учеба в школ «Понижены требования, из прежних преподавателей осталось только несколько. Остальные пришли из 213 школы. При школе заработала столовка. Суп без кар точек — по 1 тарелке на человека, а все остальное по карточкам.

Каждую ночь тревога. Бомбежка. Вчера над городом, в центре, было сбито за ночь 3 немецких самолета. Все время артиллерийские обстрелы. Да еще впереди — праздник. Какой «праздник» нам немцы преподнесут? 0В, без сомнения… На 4 дня, с 6 или 7 начиная, в городе отмобилизованы все обмывочные пункты. Что-то будет?!

На сегодня надо было прочесть «Мертвые души» Гоголя, но при тусклом свете свечки невозможно читать. Пишешь машинально. Многие новости не знаю. Говорят: «XXIV годовщина решает все…»

Что такое человек и человеческая жизнь? Что же, в конце концов? «Жизнь — копейка» — говорит старинная поговорка. Сколько человек жило до нас и сколько их должно было умереть… Но хорошо умереть, чувствуя и зная, что ты добился всего, о чем мечтал в юности, в детстве, хорошо умереть, зная, что остались последователи в твоих научных или литературных трудах, но ведь как тяжело… На что надеется сейчас Гитлер? На создание своей империи, самый замысел которой будет проклят человечеством будущих дней. И вот из-за какой-то кучки авантюристов гибнут миллионы и миллионы людей! Людей!.. Людей!!!

Уже поздно. Артиллерийская стрельба на время стихла. Свеча догорает. Голод, холод, темнота, грязь, вши и перспектива: багровое будущее, окутанное темной пеленой».

Город готовился к зиме. Гидрограф Евгений Чуров продолжал свою работу:

«Ранний лед на Свири и в верховьях Невы, в Черной Сатоме давал основание предположить, что зима сорок первого — сорок второго года будет суровая.

В моем распоряжении находились материалы валаамских монахов… монахи вели ежедневные записи колебаний уровней Белого моря и Ладожского озера; потом, примерно с 1300-х годов, монах — настоятель собора (забыл его имя) вел запись изменений погоды: когда стал лед? какой был лед? можно ли было пробить лед? кто провалился, когда богомольцы шли на Валаам? проходили ли богомольцы с Шлиссельбурга или со стороны Черной Сатомы?.. Все это давало основание косвенным путем восстановить ледовую обстановку.

Этим обобщением я занялся по своей инициативе. И у меня сложилось четкое представление, что да, зима может быть суровой, что в этот год озеро тоже полностью замерзнет и можно будет вести войска даже на севере Ладожского озера, тем более что задача прорыва кольца блокады, окружения, стала очевидной любому офицеру, командиру, а нам — гидрографам — тем более было ясно, что нужно все свои знания использовать на это. Данные валаамских монахов, а потом данные — по тем же участкам — Северо-западного пароходства удалось сопоставить и удалось уловить характер изменения ледовых образований».

Лед на Ладоге тонок, зима 1941/42-го не спешит, хотя те, кто обдумывает и готовит «Дорогу жизни», хотели бы подогнать, подстегнуть само время — таким оно казалось медленным и безжалостным. Не спешат и союзники со вторым фронтом.

Про будущую ледяную трассу через Ладогу Юра ничего не знает, потому и не думает, не пишет о ней. А вот о союзниках записывает, что слышал, знает:

«6, 7 ноября. На фронтах положение мне неизвестно. Говорят, что выступал Сталин и в своей речи объяснил причины нашего отступления, резко, как замечают, задел США и Англию, сказав, что их помощь в настоящую минуту малоэффективна и фактически воюем одни мы против Германии. Надо было бы познакомиться с этой речью поподробнее.

Занятия в школе продолжаются, но мне они что-то не нравятся. Сидим за партами в шубах, многие ребята совершенно уроков не учат. На литературе интересен тот факт, что ребята

рассказывают образы из «Мертвых душ» по учебнику, где они есть. Некоторые даже вообще не читали «Мертвые души»…

Оказывается, рисовой каши больше у нас не осталось. Значит — 3 дня буду сидеть голодом полнейшим. Еле ноги буду таскать, если буду жив-здоров. Опять перешел на воду. Распухну, ну да что же… Мама заболела. И не на шутку, раз сама признается в своей болезни. Насморк, кашель с рвотой, с хрипом, жар, головная боль… Я тоже, наверное, заболел. Тоже жар, головная боль, насморк. Все из-за того, по всей вероятности, что, бывши на школьном дежурстве, мне пришлось пройти через три двора без пальто и шапки. А дело было в полночь, мороз…

Учеба мне почему-то сейчас в голову не лезет. Совершенно нет желания учиться. Голова одними мыслями о еде да о бомбежках, снарядах занята. Вчера поднял корзину с сором, вынес во двор и еле обратно на свой 2 этаж взобрался. Устал так, словно 2 пуда волок целых полчаса, как кажется, сел и еле отдышался. Сейчас тревога. Зенитки бьют вовсю. Бомб несколько также было. На часах — без пяти 5 вечера. Мама приходит в начале 7-го.

9 и 10 ноября. Засыпая, каждый день вижу во сне хлеб, масло, пироги, картошку. Да еще перед сном — мысль, что через 12 часов пройдет ночь и съешь кусок хлеба… Мама мне каждый день твердит, что она с Ирой ест по 2 стакана горячего, с сахаром чая, по полтарелки супа в день. Не больше. Да еще что тарелку супа вечером. Все же мне (…). Ира, например, вечером даже отказывается от лишней порции супа. А мне они обе твердят, что я питаюсь, как рабочий, мотивируя тем, что я ем 2 тарелки супа в столовых да побольше, чем они, хлеба. Весь характер мой почему-то сейчас круто изменился. Стал я вялый, слабый, пишу, а рука дрожит, иду, а в коленках такая слабость, кажется — шаг ступишь, а больше не сможешь и упадешь».

Именно в эти самые дни заведующий отделом торговли Ленгорсовета докладывает секретарю горкома партии А. А. Кузнецову, что по самым жестким нормам выдачи муки осталось на восемь дней, крупы на девять.

К вечеру 8 ноября пришло сообщение, что враг перерезал железную дорогу у Тихвина, по которой к Ладоге везли продукты для Ленинграда. И тогда 9 ноября в Москве Государственный Комитет Обороны принимает решение, крайнее в тех условиях, — выделить еще дополнительно для перевоза продуктов ленинградцам 24 транспортных самолета и 10 тяжелых бомбардировщиков.

ПРЕДЕЛЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ

Постепенно помыслы Юры сужаются, сосредоточиваются на еде, тепле, физиологии. Это испытали на себе и другие голодающие блокадники — и это тоже черта. Еще и еще черта, а за какой-то чертой может наступить тяжелый распад психики. Но некоторым удается до конца сохранить себя человеком, сохранить в себе чувство долга, чести, благодарности, милосердия, вопреки всем обстоятельствам — удержаться. Одним удается, другим — нет.

Жили блокадники по-разному, голодали тоже по-разному, и умирали неодинаково. Одни умирали как люди, и вспоминают о них и поныне с жалостью и сочувствием, Упоминают тогдашние мальчишки, девчонки. А были такие, о которых по-другому вспоминают: о ком с презрением, а о ком и с ужасом. Но всегда — с болью за образ человеческий. Может, это и есть страшный суд, который творится на земле памятью людской.

Да, были и такие (и это даже неизбежно в много миллионном голодном городе), что переступали последнюю черту, за которой — животный эгоизм, жестокость, голодное безумие.

Конечно, легче, удобнее всего об этом не вспоминать. Но тогда мы не поймем ценности и человеческой высоты тех людей — а их было большинство, — кто устоял, кто не перешел за последнюю черту. И не увидим, не поймем, в какой тяжкой борьбе с самим собой человек побеждает нестерпимый голод, холод, смерть, безнадежность.

О. Ф. Берггольц сделала выписку из дневника М. М. Кракова, главного инженера завода № 10 (Володарский район):

«Около мельницы им. Ленина я наблюдал следщую сцену.

Шедший передо мной мужчина вел за руку маленькую девочку. Внезапно эта девочка упала. Заплакала, сквозь рыдания было слышно:

— Папочка, кушать хочу. Дай мне что-нибудь. Папочка!

Мужчина растерянно смотрел на нее, бессвязно бормотал слова утешения. Попробовал взять ее на руки. Но усилия были тщетны. Он сам ослабел. Я заглянул ему в лицо. Оно было опухшим, прозрачным.

Рядом остановилась женщина. Она к груди прижимала маленький сверток. В таких свертках люди сейчас носят хлеб.

Женщина тоже попробовала уговорить девочку. Когда из этого ничего не вышло, кто-то из прохожих бросил на ходу: «Дай ей хлеба — и все пройдет».

Женщина задумалась. Это продолжалось, может быть с минуту. Затем решительным движением развернула сверток, отломила от небольшого куска немного хлеб; и дала девочке. Сразу же после этого она ушла.

Я догнал ее через несколько минут. Обернувшись, увидел слезы на ее глазах. Это были не слезы жалости к ребенку — они были слезами жалости к себе. Может быть, у нее дома был оставлен голодный ребенок… Пожалуй, даже наверняка…»

По-разному перебарывали жесточайшие обстоятельства, сохраняли и даже укрепили в себе лучшее, человеческое и Г. А. Князев, и Юра Рябинкин, и Лидия Охапкина, и Фаина Прусова, и старая женщина, дневник которой отыскался в Ярославле…

Общее у всех них было, пожалуй, вот что: каждый имел или искал (и находил) точку опоры не только в самом себе, но и еще в каком-то деле или интересе. Главным делом для большинства была борьба с фашистами, защита Ленинграда — это держало прежде всего. У каждого были свои непосредственные обязанности, долг, ответственность. У Фаины Прусовой — перед ранеными в госпитале и перед собственными детьми; у Юры рябинкина — перед матерью и сестренкой; у Лидии Георгиевны — перед своими маленькими детьми; у Георгия Алексеевича

Князева — перед Ломоносовым, Менделеевым, которые «отдали» ему на сохранение свои рукописи…

Человек, может быть, и отчаялся бы, руки уже опустились бы, когда б забота была лишь о себе. Но есть что-то большее. Вот запись Фаины Прусовой:

«Иду с работы, и сердце замирает, ну, думаю, а вдруг?.. Прихожу, еще тянутся — живы, я скорей погрею водички, подниму их, вымою им лицо. На Неву схожу с бидончиком, попьем тепленькой водички с корочкой хлеба (Фаина Александровна Прусова даже нарисовала в дневнике эту «корочку» — квадратный сантиметр! — А. А., Д. Г.). И вру им без конца, как немца окружили, благо верят. Чего-либо подкину в печурку — книги или тряпки… Наденька говорит: «Мамусенька, я если буду умирать, то тихо-тихо, чтобы тебя не испугать». Ой, я завопила: «Живи, моя снегурочка!» Она холодная вся, как льдинка…

Дома я соблюдаю чистоту. Думаю, что это нас поддержит. Подаю все на тарелочке. Согрею воды.

Да! Люди едят кошек, собак, вернее, съели.

Я только радуюсь, что Боря и Наденька не теряют человеческого образа».

Мы уже приводили в первой части выдержки из дневника Алексея Васильевича Белякова. Казалось бы, человек о том лишь думает, что он съел, сколько чего дали в магазине, что наливают в тарелку в столовой. Цифры, тарелки, «граммики» да еще какие-то рукавицы, которые никак ему не пошьют… Но нет, не одно это его интересует и держит, не хлебом единым спасается и этот человек. По количеству доставшегося ему «хлеба единого» он, может быть, уже умер бы…

«13 января. Купил Тынянова «Сочинения» за 8 руб. и Киселева «Геометрия» за 20 руб.

16 января. Вчера купил Соллогуба за 3 руб. на Мальцевском рынке.

2. II. 42 г. Купил книгу под редакцией проф. Зелинского «Эллинская культура» (40 руб.) и «Хрестоматию по истории западного театра на рубеже XIX–XX ков» (15 руб.)»

А сам он уже дистрофик. Лицо у него опухло, живет без воды, без света. Зачем ему сейчас книги, почему, отрывая от рта хлеб — самое необходимое и такое желанное, — человек ищет, покупает книги? И книги довольно случайные, которые если и понадобятся, то в неблизком будущем.

Но именно теперь, на пороге гибели, человеку видится жизнь более содержательная, чем та, которая (судя по дневнику) была у него прежде.

«Моя библиотека заполняется превосходными книгами. Придется ею пользоваться или нет? Как охота разумно устроить свою жизнь, отдать свои оставшиеся силы (авось можно еще накопить потерянные силы или уже амба?)».

Вот в чем он ищет точку опоры, чтобы удержаться, не соскользнуть в бездну — от физической дистрофи к моральной.

Обращаясь в дневнике к уехавшей дочери, предупреждая ее, что, может, увидеться больше не придется, он — как напутствие — просит выкупить тома «Истории русской литературы». Он сам был бы счастлив ее дочитать, так, видно, не придется, но пусть у дочери она будет…

Ну а у старой женщины, которая умерла в эвакуации в Ярославле, опора в дни блокады была простая, извечная — вера. Имя этой женщины нам неизвестно, нам принесли ее дневник, найденный в Ярославле, — большую конторскую книгу. Женщина была верующая. Кроме бога, она верила в хороших, отзывчивых людей: верила, что помогут, что придут на помощь в самую трудную минуту. И, судя по дневнику, именно так получилось, что у нее, у доброго человека, на пути всегда оказывались тоже добрые люди. В ряду добрых также и бог, которому она время от времени подсказывает, как дальше распорядиться ее судьбой: «Думаю, что если хранил меня среди стольких ужасов, то, очевидно, моя жизнь еще для чего-то и для кого-то нужна».

Помогают ей люди, помогает бог, даже сны у старой доброй женщины полезные, нужные, добрые…

А рядом с ней живет обезумевшая от голода молодая женщина — страшное напоминание о бездне. Человек не выдержал навалившихся на него испытаний, сломился, обрушился. С безумными глазами выхватывает хлеб у собственного ребенка. Но нет, что-то происходит там, во тьме сознания, какими-то внутренними усилиями зажигается свет. И вдруг восстанавливается человек, и старая женщина записывает:

«18. III. Сегодня, о радость! Вдруг ночью Наташа будит меня и радостно говорит: «М. Е., дорогая, ведь я совсем здорова, я все понимаю, какое счастье». Я даже плакала от радости. Слава богу, она пришла в себя. Оказывается, она ничего не помнит из того, что было: ни как она отнимала у ребенка и у меня хлеб и продукты, ни что мы говорили, ни кто ее навещал. «Мне все казалось, что это во сне, а не наяву, и все казалось, что это я сплю». Господи, какие необычайные бывают эти психические расстройства! От радости она не могла спать и все время говорила, вспоминая свою болезнь. Говорила совершенно нормально, как прежняя Наташа…»

Тот, кто видел однажды блокадный этот город, никогда не забудет вида его улиц, его воздуха, полного шелеста снарядов, странного сочетания войны, которая была не то чтобы рядом, на окраинах, а забиралась внутрь города, и быта — городского быта с очередями, «толкучкой», заводской работой…

Все знаменитые петербургские архитектурные ансамбли на месте, так же прекрасны и мосты, и набережные, и дворцы — с той только разницей, что, как точно определил один ленинградец, они теперь не возвышают душу, а отягощают ее своей призрачностью, «обнаружилась в них способность не только принять смертное запустение, но и стать его принадлежностью вместе с знаменитой землей и коробками сгоревших домов».

Блокада не уходит вместе с иными событиями в тихие заводи прошлого, куда заглядывают лишь от случая к случаю. Особенность блокады — она как бы остается поодаль, но рядом, как нечто такое, что следует всегда иметь в виду. Время от времени с ней сопоставляешь и других и самого себя.

Трупы были на улицах, в квартирах, они стали частью блокадного пейзажа. Массовость смерти, обыденность ее рождали чувство бренности, ничтожества человеческой жизни, разрушали смысл любой вещи, любого желания. Человек открывался в своем несовершенстве, он был унижен физически, он нравственно оказывался уязвим. Сколько людей не выдерживали испытаний, теряли себя!

Рослый этот красивый человек, умеющий вдумчиво слушать и так же вдумчиво произносить только собственное, выношенное, просил не называть его имени. Он говорил сильно и убежденно о себе, но и о других, потому что он употреблял местоимение «мы». Он считал, что в первую очередь погибали физически слабые по здоровью, по возрасту, затем погибали честные, великодушные, не способные примениться к обстановке, где ожесточение и окаменелость души были необходимым условием выживания:

«После блокады мир рисовался мне затаившимся зверем. Я ведь встретил блокаду одиннадцатилетним. В таком возрасте трудно противостоять натиску чрезвычайных обстоятельств. Они навязывали свои критерии и ценности как единственно возможные. Я стал подозрителен, ожесточен, несправедлив к людям, как и они ко мне, Глядя на них, я думал: «Да, сейчас вы притворяетесь добрыми, честными, но чуть что, отними от вас хлеб, тепло, свет — в каких двуногих зверей вы все тогда обратитесь». Именно в первые послеблокадные годы я совершил несколько сквернейших поступков, до сих пор отягчающих мою совесть. Мое выздоровление затянулось почти на десятилетие. Лет до двадцати я чувствовал в себе что-то

безнадежно старческое, взирал на мир взглядом надломленного и искушенного человека. Лишь в студенческие годы молодость взяла свое и жажда полезной людям деятельности позволила стряхнуть с себя ипохондрию. Однако прежняя детская вера в безусловное всесилие и совершенство человека, раздавленная блокадой, уже никогда не возродилась».

Обстоятельства блокадной жизни этого человека сложились так, что он казался себе брошенным на произвол судьбы, никому не нужным. В таких случаях нравственный смысл испытываемых лишений терялся, от этого иссякал запас духовной прочности, падала сопротивляемость голоду. Его слова, его крайнее мнение представляют ту противоположную точку зрения, которая существует, хотя, может быть, выраженная не в такой острой форме. Истории и Юры Рябинкина, и Князева, и большинства героев нашей книги спорят с ней. Но для того чтобы полемизировать с этим человеком, необходимо изложить и его точку зрения. Ее нельзя опровергнуть, ей можно противостоять. Откровенность этого человека была для нас поэтому ценной.

Блокада была крайностью, утверждал он, она была выходом, вернее, выбросом за границы обычной усредненной житейской сферы, где человек ограничен в своем низком и в своем высоком. Расширилась амплитуда его чувств и поступков, его душевных колебаний между крайностями взлета к подвигу и падения к низости, бесчеловечности.

Но интересно, что и он, автор таких горьких признаний, приходит в конце концов к выводу о приоритете духовного начала. Блокада, которая как бы открыла человека в его самых отталкивающих и самых прекрасных проявлениях, помогла понять решающее значение во всем этом морального, нравственного наполнения человеческой души.

Из всех виденных нами дневников дневник Юры Рябинкина наиболее сильно выразил потребность блокадника не только других, но и себя оценить правдиво, даже жестко. Дневник стал для него опорой, возможностью видеть себя как бы со стороны, самокритично разбирать свои поступки: начиная писать, он как бы исповедовался перед неким слушателем, обращая через дневник к самому себе упреки, осуждение. Дневник становился как бы совестью, которая его словами, но отчужденными, обращалась к нему, Юре. Его честная размышляющая натура тревожно следит за собою.

Вспомним, как метался он, когда выигрывал в карты деньги. Ни во что не ставил свое геройство на крышах и благодарность за то, что ловко тушит зажигалки. Как выстаивает он, больной, слабый, в бесконечных и безнадежных очередях, добывая для всей семьи паек. А потом эти жалкие «печеньица» и «конфеты» из заменителей надо еще донести до дома, донести и не съесть. Как сложно, как невообразимо трудно: держать в руках то, что можно съесть, и не съесть, — это знают лишь по-настоящему голодавшие люди.

Клавдия Петровна Дубровина и сегодня, рассказывая, не перестает сама себе удивляться — тому, что она сделала, когда в руках у нее оказалось сладкое и съедобное лекарство, много лекарства:

«— У нас в ОГБ[36] все пристрастились: покупали пурген и пили с кипятком по таблеточке.

— Сладкий он, что ли?

— Да, сладенький, там сахарин, мы пили. И вот наши меня попросили, помню, как сейчас, купить семьдесят таблеток (потому что нас семь человек, всем по пакетику, а в пакетике десять таблеточек было). И вот семь человек дали мне деньги (копейки они стоили) и говорят: «Купи нам». Купила, значит, иду оттуда и не могу удержаться. Путь далекий: это с Большого проспекта Васильевского острова до площади Льва Толстого — вы знаете! А наша казарма находилась вот здесь, где завод «Электрик»… И вот пока я оттуда шла, я это все — по таблеточке — съела! Еще мне хочется, еще, не удержаться, еще…»

Не могла удержаться, не сумела себя остановить, хотя это не хлеб, не сахар, а просто

сладковатые пилюли, иллюзия пищи. Потом врач ее еле выходил, попрекал: культурный человек — и 30 таблеток принять! (Это она преуменьшила, не решилась правды сказать.)

Рассказ К. П. Дубровиной — пример того, что и взрослому сознанию не всегда удается остановить себя. А Юре Рябинкину, мальчику, надо, простояв в очереди много часов, донести «печеньица» домой, донести и не съесть ничего.

Дневник его постепенно становится свидетелем мучительной борьбы — не знаем, чему равной, — с самим собой, со стыдом перед матерью.

Свидетелем и отчетом. Дневник делается союзником Юры в неравной схватке с инстинктом, с пожирающим внутренности голодом.

«9 и 10 ноября… И все же я могу твердо сказать, что не будь рядом со мной сытых, я к этому всему привык бы. Но когда каждый звук, почти (…) задевает чем-то веселым, сытным. Перед собою, сидя в кухне, я вижу на плите кастрюлю с недоеденными обедами, ужинами и завт раками, что оставляет после себя Анфиса Николаевна я не могу больше… Разрываюсь на части, буквально конечно, нет, но кажется… И запах хлеба, блинов, каши щекочет ноздри, как бы говоря: «Вот видишь! Вот видишь! А ты голодай, тебе нельзя…» Я привык к обстрелу; привык к бомбежке, но к этому я не могу привыкнуть — не могу!

На фронтах положение не изменено. Только на калининском направлении наши части выступили на несколько км. Свои позиции под Ленинградом враг упорно не желает сдавать.

И опять сейчас мне в уши бьет веселый смех Анфисы Николаевны… Мама вчера одолжила кусочек сахару у Анфисы Николаевны, сегодня хочет одолжить у Кожинских. Но сегодня — последний день декады. Завтра — будет свой сахар, хлеб… и хлеб!! Через ночь…

У нас не выкуплено на эту декаду 400 граммов крупы, 615 граммов масла, 100 граммов муки… а этих продуктов нигде нет. Где они выдаются, возникают огромные очереди, сотни и сотни людей на улице, на морозе, а привозят (…) чего-нибудь в этом роде человек на 80—100. А люди стоят, мерзнут и ни с чем уходят. Люди встают в 4 часа утра, стоят до 9 вечера по магазинам и ничего не достают. И больно, а ничем не поможешь. Сейчас тревога. Она уже длится часа два. Нужда, голод заставляют идти в магазины, на мороз, в длинную очередь, в людскую давку… Провести так недели, а затем уже никаких желаний не останется у тебя. Останется тупое, холодное безразличие ко всему происходящему. Недоедаешь, недосыпаешь, холодаешь и еще к тому же — учись. Не могу. Пусть мама решает вопрос: «Как быть?» Не в силах решить — сам попробую за нее. И вечер… что он мне готовит? Приходит мама с Ирой, голодные, замерзшие, усталые… Еле волокут ноги. Еды дома нет, дров для плиты нет… И ругань, уговоры, что вот внизу кто живет, достали крупу и мясо, а я не мог. И в магазинах мясо было, а я не достал его. И мама разводит руками, делает наивным лицо и говорит как стонет: «Ну а я тоже занята, работаю. Мне не достать». И опять мне в очередь, и безрезультатно. Я понимаю, что я один могу достать еду, возвратить к жизни всех нас троих. Но у меня не хватает сил, энергии на это. О, если бы у меня были валенки! Но у меня их нет… И каждая очередь приближает меня к плевриту, к болезни… Я решил: лучше водянка. Буду пить сколько могу. Сейчас опухшие щеки. Еще неделя, декада, месяц, если к Новому году не погибну от бомбежки — опухну.

Я сижу и плачу… Мне ведь только шестнадцать лет! Сволочи, кто накликал всю эту войну…

Прощай, детские мечты! Никогда вам ко мне не вернуться. Я буду сторониться вас как бешеных, как язвы. Сгинуло бы все прошлое в тартарары, чтобы я не знал, что такое хлеб, что такое колбаса! Чтобы меня не одурманивали мысли о прошлом счастье! Счастье!! Только таким можно было назвать мою прежнюю жизнь… Спокойствие за свое будущее! Какое чувство! Никогда больше не испытать…

Как я хотел бы, чтобы Тина взяла и прочла дневик у себя в комнате в Шлиссельбурге за чаем с бутербродом! Того, что переживаем мы в Ленинграде, ей еще вовек не приходилось переживать.

Сегодня вечером после тревоги сходил в магазин, что на Сенной. В рукопашной схватке в огромной тесноте, такой тесноте, что кричали, стонали, рыдали взрослюди, удалось ценой невероятных физических усилий, протискаться, пробиться без очереди в магазин и получить 190 г. сливочного масла и 500 г. колбасы из конины с соей. Когда я пришел домой, почувствовал сильные боли в груди, точно такие, какие я испытывал два года тому назад. У меня и так действительно сухой плеврит. Боли сильные, ну точь-в-точь такие, как прежде. Что за мучение! Завтра, непременно пойду в тубдиспансер. В конце концов, я не хочу сейчас помирать от плеврита. Что я могу поделать? Что? Я бессилен… Против плеврита есть только два сильных средства: 1) отличное питание с обилием жиров и 2) воздух сухой, чистый, теплый. И оба средства отсутствуют…

Мама с Ирой «позавтракали» и идут на работу. Я пойду в тубдиспансер. Впрочем, перед этим позавтракаю в «комфорте и уюте». Почитаю.

…Сегодня достал 4 литра пива по карточкам, отдал их Анфисе Николаевне. И из них она мне дала выпить пол-литра. Мне понравилось. Право, будь это в былые времена, я стал бы добросовестным алкоголиком».

Он хозяйственно — в граммах — подсчитывает, сколько осталось неотоваренных талончиков на крупу, картофельную муку, помнит, что дома в запасе 50 граммов шоколада… Если бы где-то можно было отоварить карточки!

«Да, забыл сказать самое главное. У мамы пухли ноги и стали твердыми, как камень. Вот дела-то!

В тубдиспансер мне надо было бы идти завтра, в тот, в который ходит Анфиса Николаевна. Это у Мальцевского рынка, где каждый день идет обстрел.

…Приказ Гитлера, цитированный в «Ленинградской правде»: «Учитывая важность назревающих событий, особенно зиму, плохое материальное обеспечение армии, приказываю в ближайшее время любой ценой разделаться со столицей большевиков Москвой».

…К 5 часам утра надо идти в очередь (…) обязательно. Все мы издерганы. У мамы я давно не вижу спокойных слов. Чего ни коснется в разговоре — ругань, крик или истерика, что-то в этом роде. Причина… Причин много — и голод, и вечный страх перед обстрелом и бомбежкой. В нашей семье — всего-то 3 человека — постоянный раздор, крупные ссоры… Мама что-то делит, Ира и я зорко следим — точно ли… Просто как-то не по себе, когда пишешь такие слова».

Юра, конечно, винит мать, кого ж еще может винить ребенок, но тут же спохватывается, оправдывает ее, заставляет себя понять причины ее раздражения. Великое это дело — заставить себя понять другого человека. Особенно в обстановке, казалось бы, исступленного голодного эгоизма. Терзает его и то, что мать свою он по-другому стал видеть — жесткой, недоброй. И то, что сам он жадно и недоверчиво следит, как она делит хлеб. Моральные требования его не снижаются. Вот он с товарищем поймал и съел одичалого кота и мучается, он уже как бы не прежний, что-то потерял навсегда.

Между тем на Ладоге идет усиленная ледовая разведка. Лед пробуют каждый день. Наконец 17 ноября на лед можно ступить. Озеро не полностью, но затянулось, замерзло. Это счастье, что так рано. Разведчики осторожно идут по первому тонкому льду, он еще гнется под ногами. На плечах у них спасательные круги, в руках жерди. Они благополучно доходят до Кобоны. На следующее утро, 18 ноября, вновь выходят на лед, размечая трассу дороги на Большую землю.

Навигация прекратилась, и, как назло, и погода нелетная, самолеты не могут доставлять в город ту малую долю продуктов, которые поднимала на себе авиация. Разведчики и дорожники 19-го готовят ледовую трассу, надо расчистить ее от снега, торосов, перекрыть трещины. Здесь рады морозу, который проклинают ленинградцы, ударил бы он еще сильнее, скорее бы вырос лед. К 20-му он достигает местами уже 18 сантиметров, и 300 с лишним саней, запряженных лошадьми, спускаются на озеро и начинают двигаться на Большую землю за мукой.

«24 ноября. Как томительно тянется время! Как оно однообразно. Все мысли заняты едой и желанием вырваться из тисков голода, холода, страха… Все надеждь на эвакуацию отложились в долгий ящик. На фронтах и под Ленинградом инициатива опять у немцев. Они, наверное, продвинулись еще ближе, раз их снаряды разрываются на нашей улице, перед нашим домом.

Сегодня с половины седьмого в очередях. Бесконечные ленты, вереницы голодных людей… навсегда мне врежутся в память! Ничего не достал, ни в одном магазине не было масла, крупы или мяса. Ни в одном. А простоял я в очереди в магазинах целых 4 часа… И надо опять в очередь.

Мама говорит, что, во-первых, железная Северная дорога уже очищена (по словам Тураносовой), а сейчас ведется ее постройка (она была разобрана). Во-вторых, из Ленинграда, по многим признакам, эвакуируются все государственные учреждения и т. д.

Насчет эвакуации мама что-то бормочет невнятное но, по всему видно, дело не пойдет.

25 ноября. Ходил к глазному. Тот прописал мне очки, указывая на то, что у меня один глаз 0, а другой 30 % зрения. Думаю, мне надо будет сходить в частную поликлинику.

Какие-то части на Южном фронте перешли в наступление и погнали немцев на 60 км. назад, разгромили (…) стрелковый корпус…

Под Уфой хлеб стоит 2 р. 50 коп., сколько угодно и без карточек, а там это считается дорого. Ничего себе, а! Ведь это же рай…

26 ноября. Сегодня с утра ожесточенные артобстрелы города, и особенно района Сенной площади и нашего квартала. В дом № 30 еще попало 2 снаряда. Много убитых и раненых.

Меня сегодня мать Штакельберга назвала круглым дураком, что я не ворую у И. «Я бы, — говорит, — и посмотрела».

Вместо растительного масла дают повидло. Очереди. Эх, достать бы где кокосового жиру! Где-нибудь..!

Мама написала заявление на предоставление ей места в самолете для вылета из Ленинграда. Чувствую, что дело провалится, хотя какая-то тайная надежда есть на освобождение, но я все-таки угнетен разными плохие мыслями.

У меня мама потребовала Ирину карточку, хлебную. Хотят лишить меня печенья. Ну что ж… Раз толькй стоит Ире получить печенье, и она уже за него так уцепится, что не видать мне его больше… Опять пойдут гнусные, грязные сцены с дележкой, ей меньше, ей больше… Ну, положим, завтра я еще печенье получу, а с послезавтра начиная кончайся моя и без того непривлекательная жизнь. Какая же жизнь, когда и печенья меня лишат… Вот теперь иди в магазин, доставай картофельной муки да кокосового масла или повидла, а они каждый день будут жаловаться, что они устали и т. д. Ирка обеими руками уцепится за печенье…

(…) положение ничуть не изменилось. Наступление на Москву продолжается. Пала Тула… В районе Тихвина идут ожесточенные бои. Ходят упорные слухи, что, как только армия прорвет, она сразу же эвакуируется из Ленинграда и будет брошена под Москву, а Ленинград будет сдан, жители смогут отступать с армией пешком. (…) настроение! Какие думы!»

Подобные слухи омрачали и без того мрачную жизнь блокадников.

Тем временем армия и Балтийский флот делали все, чтобы оснастить, обеспечить связью,

транспортом, ремонтом ледовую дорогу через Ладогу. К озеру подтянуты были специальные части — зенитная артиллерия, истребительная авиация, дорожные полки, мостовые батальоны, санитарные службы. 22 ноября 1941 года ледовая трасса была опробована. Впоследствии ее назовут «Дорогой жизни». Первые недели жизнь ее еле разгоралась. По слабому льду осторожно тянулись лишь санные обозы. Позже двинулись первые машины, но они быстро выходили из строя… Да и подвозить грузы было трудно к озеру: 8 ноября немцы заняли Тихвин — и последняя железная дорога через Вологду, Череповец, Тихвин и Волхов была отрезана. Только в декабре, когда войска Волховского фронта освободили Тихвин, можно было восстановить железную дорогу и подвести ее непосредственно к восточному берегу Ладожского озера. Теперь можно было везти грузы прямо к ледовой дороге. До этого, сентябрь и октябрь 1941 года, крохотный ладожский флот (несколько буксиров, катеров и баржи) решал непосильную задачу — доставлять в Ленинград продовольствие, снаряды, боеприпасы, горючее, смазочные масла, эвакуировать людей. Осень выдалась штормовая, перевозки часто приостанавливались, а в двадцатых числах октября поднялась такая волна, что навигация полностью прекратилась. До 20 ноября 1941 года только отдельные суда прорывались в Ленинград. Доставка продовольствия самолетами также была прервана: все самолеты по указанию Председателя Государственного Комитета Обороны использовались для боевых зада-ний — шло сражение за Москву. Об этом пишет в своих воспоминаниях А. И. Микоян. Воспоминания его, опубликованные в «Военно-историческом журнале», рассказывают, как организовывалось снабжение Ленинграда продуктами из глубины страны, как доставляли продукты к «Дороге жизни». А. И. Микоян приводит одну из причин тяжелого продовольственного положения Ленинграда:

«В самом начале войны, когда немецко-фашистские войска развертывали наступление, многие эшелоны с продовольствием, направляемые по утвержденному еще до войны мобилизационному плану на запад, не могли прибыть к месту назначения, одни адресаты оказались на захваченной врагом территории, а другие находились под угрозой оккупации. Я дал указание переправлять эти составы в Ленинград, учитывая, что там имелись большие складские емкости.

Полагая, что ленинградцы будут только рады такому решению, я вопрос этот с ними предварительно не согласовывал. Не знал об этом и И. В. Сталин до тех пор, пока ему из Ленинграда не позвонил А. А. Жданов. Он заявил, что все ленинградские склады забиты, и просил не направлять к ним сверх плана продовольствие. Рассказав мне об этом телефонном разговоре, Сталин сказал, зачем я адресую так много продовольствия в Ленинград.

Я объяснил, чем это вызвано, что в условиях военного времени запасы продовольствия, и прежде всего муки, в Ленинграде никогда не будут лишними, тем более что город всегда снабжался привозным хлебом (в основном из районов Поволжья), а транспортные возможности его доставки могли быть и затруднены. Что же касается складов, то в таком большом городе, как Ленинград, выход можно было найти. Тогда никто из нас не предполагал, что Ленинград окажется в блокаде. Поэтому Сталин дал мне указание не засылать ленинградцам продовольствие сверх положенного без их согласия».[37]

Дневник Юры Рябинкина:

«28 ноября. Был в тубдиспансере. Меня отправили на рентген и на анализы. Что будет дальше — не знаю.

Сегодня буду на коленях умолять маму отдать мне Ирину карточку на хлеб. Буду валяться на полу, а если она и тут откажет… Тогда мне уж не будет с чего волочить ноги. Сегодня дневная тревога опять продолжается что-то около трех часов. Магазины закрыты, а где мне достать картофельной муки и повидла? Пойду по окончании тревоги порыскаю. Насчет эвакуации я потерял надежду. Все это одни лишь разговоры… В школе учиться брошу — не идет учеба в

голову. Да и как ей пойти? Дома голод, холод, ругань, плач, рядом сытые И. Каждый день так удивительно похож на предыдущий однообразностью, мыслями, голодом, бомбежкой, артобстрелами. Сейчас выключилось электричество, где-то, я слышу, жужжит самолет, бьют зенитки, а вот дом содрогнулся от взрывной волны разорвавшейся неподалеку бомбы… Тусклая, серая погода, белые, мутные, низкие облака, снег на дворе, а на душе такие же невзрачные серые мысли. Мысли о еде, о тепле, об уюте… Дома не только ни куска хлеба (хлеба дают теперь на человека 125 г. в день), но ни одной хлебной крошки, ничего, что можно съесть. И холод, стынут руки, замерзают ноги…

Сегодня придет мама, отнимет у меня хлебную Ирину карточку — ну ладно, пожертвую ею для Иры, пусть хоть она останется жива из всей этой адской (…), а я уж как-нибудь… Лишь бы вырваться отсюда… Лишь бы вырваться… Какой я эгоист! Я очерствел, я… Кем я стал! Разве я похож на того, каким был 3 месяца назад?.. Позавчера лазал ложкой в кастрюлю Анфисы Николаевны, я украдкой таскал из спрятанных запасов на декаду масло и капусту, с жадностью смотрел, как мама делит кусочек конфетки (…) и Ирой, поднимаю ругань из-за каждого кусочка, крошки съестного… Кем я стал? Я чувствую, чтобы стать таким, как прежде, требуется надежда, уверенность, что я с семьей завтра или послезавтра эвакуируюсь, хватило бы для меня, но этого не будет. Не будет эвакуации, и все же какая-то тайная надежда в глубине моей души. Если бы не она, я бы воровал, грабил, я не знаю, до чего дошел бы. Только до одного я бы не дошел — не изменил бы. Это я знаю твердо. А до всего остального… Больше не могу писать — застыла рука».

ИРИНА КАРТОЧКА

Читать подряд дневник Юры Рябинкина тяжело. Не хватает воздуха. Пространство слишком замкнуто, он и сам это чувствует. Блокада отрезала не только город от страны, она блокировала многие семьи, прервались обычные связи — с работой, с друзьями, с миром. По Юре видно, как он переставал ощущать общий ход войны, ярость борьбы, которая нарастала, помогала забывать о лишениях.

Один из нас воевал в эти зимние месяцы 1941/42 года на Ленинградском фронте и помнит огромное моральное впечатление от той первой нашей большой победы — разгрома немцев под Москвой.

Мы сидели под Пушкином. Отдельный наш артиллерийско-пулеметный батальон занимал участок за железной дорогой, на голой заснеженной низине. Участок был слишком велик для батальона. Пополнение почти не поступало. Порой во взводах оставалось пять—семь человек. Не хватало людей стоять на постах, боевое охранение не удавалось подменять. А надо было каждый день чистить от снега ходы сообщения. И окопы. И расчищать сектор обстрела. Надо было где-то добывать дровишки, таскать их в землянки, топить печи, чистить оружие, поскольку мы еще к тому же стреляли, стояли на постах, волочили раненых за насыпь железной дороги… Кроме всего этого, мы ползали на рассвете на нейтралку добывать из-под снега капусту, потому что были голодны. Каждый день кого-нибудь отправляли в госпиталь — или обморожение, или отечность.

Теперь уже не понять, как мы могли держать оборону, и ходить в разведку, и даже пытаться отвоевать высоту. В сущности, мы тоже жили в очень ограниченном пространстве — взводная землянка, боевое охранение, слева подбитая, горелая, занесенная снегом полуторка, невесть как оказавшаяся посреди поля, справа вдали Пулковская гора, а ближе — кусты. Впереди же, прямо перед нами, — Пушкинский вокзал, а в бинокль виден дворец. Вот и весь наш пейзаж, наш фронт, наше поле боя. Мы мало знали о том, что происходит на соседних участках. Но зато совсем рядом сидели немцы, уж их-то мы изучали, их знали и видели, местами окопы наши так сближались, что слышно было, как они разговаривают, как звякают термосы. Когда нашим снайперам удавалось подстрелить какого-нибудь фрица, мы слышали их крик и ругательства.

Впереди были немцы, а позади был виден Ленинград. В чистом воздухе силуэт города проступал четко, со всеми шпилями, куполами, трубами, словно вырезанный старым мастером по краю земли между белыми ее полями и синим небом. Ночами багровые отсветы пожаров выедали город. Днем над нами с мягким шелестом пролетали снаряды. Небо было чисто, но мы слышали их невидимый ход, и затем с запозданием до нас долетали глухие ахи разрывов. Немцы обстреливали город по расписанию, и по расписанию на город летели бомбардировщики. Они возвращались над нами. Когда-то мы от бессильной ярости палили в них из винтовок, стреляли бронебойными, били из противотанковых ружей в надежде попасть в какую-нибудь незащищенную, уязвимую точку. Это было давно. Теперь мы поумнели, да и берегли патроны для дела. Мы просто следили, как над городом начинали хлопать зенитки и как шла бомбежка. Черные столбы дыма медленно поднимались, искажая чистый профиль. Мы пытались угадать, какой район города бомбили.

Мы ничего не могли поделать, единственное, что мы могли, это не смотреть назад, на Ленинград. И в город мы не стремились. Хотя нас и не очень пускали. Я, например, был там в ту зиму один раз, и мне этого хватило. Но все равно мы постоянно ощущали за нашими спинами присутствие, неровное, еле слышное дыхание этого города. Ни на каком другом фронте такого не было. С того дня как мы узнали про разгром немцев под Москвой, у нас все переменилось.

Воевали мы еще плохо, здесь, на Ленинградском фронте, в декабре — январе наступление срывалось, из всех попыток мало что выходило, мы еще не могли вести наступательные бои. Но зато мы почему-то точно уверились в том, что Ленинград немцам не взять. Не потому, что у них не хватит сил, а потому, что мы им не дадим. Странная эта, казалось, ни на чем не основанная уверенность охватила нас в декабрьские дни, дни нашей слабости, голода и малолюдья. Может, это как-то было связано и с тем, что в двадцатых числах декабря к нам в части, на передний край, приехала делегация ленинградских работниц вручить подарки. Может быть, начальство решило, что наш боевой дух поможет ленинградцам, а может, командование хотело воодушевить нас — не знаю. Делегация дошла до нашей роты в виде трех женщин. Все три были замотаны платками, шарфами, подпоясаны ремнями, шнурками. Когда в землянке они наконец освободились от своих одежек, то стали тоненькими девицами, можно сказать даже — костлявыми, судя по торчавшим ключицам и скулам. Землянка была жарко натоплена, мы входили и получали из их рук носки, кисеты, рукавицы. Платьица на их иссохших плечиках свободно болтались, были слишком просторны, но каждая казалась нам милой. Они появились у нас вечером, когда стемнело. Чере час старшина принес нашу кашу. Котелок каши с солониной и кусок сахара — это был наш обед, он же и ужин, из него кто мог оставлял себе завтрак, был еще хлеб и сухарь. В тот вечер кашу мы разделили с гостьями, то есть фактически скормили им, так что каждой досталось почти по две порции. Потом Володя сыграл им на гитаре, они рассказали нам про то, как шьют на фабрике белье, и потом они улеглись спать. На самом деле они стали клевать носом сразу, как поели. Они устали от дороги, а главное, их сморило от еды и тепла. Спали они на наших нарах. Приходили из соседних взводов, заглядывали в нашу землянку — удостовериться. Казалось, годы миновали с тех пор, как мы видели женщин в платьицах. Но какие это были женщины — худые, изможденные, подурневшие! Теснясь в дверях землянки, солдаты смотрели на спящих с чувством, в котором не было ничего мужского, а была лишь жалость. Но, может, в этом и было мужское чувство. Эти три женщины были для нас как Ленинград…

Их разбудили под утро, чтобы затемно они могл выбраться. Они еще хотели спать, уверяли, что никогда еще за эти месяцы не спали так спокойно, как у нас передовой.

Вместе с лейтенантом я провожал их до КП. Мы шли, ориентируясь на багрово-золотые пятна пожаров. Одинокий прожектор шарил по низкому небу. Лейтенант приглашал их следующей зимой в ЦПКиО на каток. «Узнаете меня по вашим рукавичкам», — шутил он. Я смеялся вместе с ними и вдруг понял: у немцев не поличилось, в город им не войти, теперь все дело в том, когда мы сможем их отбросить.

Юре Рябинкину неоткуда было почерпнуть это ощущение. В том-то и заключалась мука, постигшая многих ленинградцев в эту зиму среди их разрушенного существования.

Он умоляет, чтобы ему отдали Ирину карточку. Всего лишь поменяли бы на его карточку, чтобы вместо липких 150 граммов хлеба получать 100 граммов сухого, называвшегося печеньем (его иногда выдавали детям). Юре кажется, что это «печенье» его спасет.

Но при всем при том ясно высвечивается кардиограмма его терзаний: страшно лишиться карточки, понимает, что не имеет права на карточку, но отдать не хочет, будет на коленях просить, — это при его-то самолюбии! — умолять отдать карточку, через несколько строк опомнился, усовестил себя (отдам, пусть хоть Ира останется жива) и, опомнясь, вдруг увидел себя, и ужаснулся (кем я стал!), и кается, кается: оказывается, все же не удержался, потихоньку тащит чужое — лазал ложкой в кастрюлю, таскал масло, капусту, — он признается, называет все свои проступки, малые, но ужасающие его, он грызет себя, боится потерять все моральные преграды — стать вором, грабителем, — воспаленная совесть предчувствует бездну, мечется в

тоске и страхе оттого, что не хватает сил удержаться, остановиться…

А назавтра все же просит Ирину карточку. (Дети до двенадцати лет получали чуть больше, чем иждивенцы и служащие.) И может быть, умоляет, требует, может быть, в стыде унижений, потому что сцена была бурная: непросто матери выбрать между двумя своими детьми. Карточку ему дали, а в карточке-то на два дня хлеба, потому что конец месяца, а через два дня новая карточка, декабрьская, и снова мучение, дадут ему или нет.

Все это прочитывается в дневнике, может, и нет нужды комментировать, вмешиваться, подсказывать читателю, но это одно из тех мест, где у нас не хватает сил промолчать.

Да и не привыкли мы к такой открытости. Она пугает. В ней беспощадность к себе, на которую, наверное, уже не способен взрослый человек. Если бы Князев мог заполнять свой дневник с такой же силой исповедальности, что и Юра. С годами эта возможность самораскрытия утрачивается. А может, Князеву мешает чувство историка, условие, что дневник предназначен «Далекому другу»?

Откровенность — талант Юры, самое сильное проявление его личности. Возможность самоубийства, как это было у Князева, для него не существует. Из века в век человека уговаривали, раз он не верит в бога, в бессмертие души, какой же ему прок быть хорошим, мучиться совестью? Все дозволено. Жизнь опровергала логику, что-то удерживало Юру Рябинкина от эгоистической вседозволенности. И от самоубийства. Совесть хозяйничала над ним, а не он над ней. Откуда ж она бралась, только ли из любви?

«29 ноября. Две вчерашних новости. Первая — письмо от Тины, написанное ею по дороге в Сибирь из г. Буя, где в гражданскую войну умер от тифа мой дед. Пишет, что состояние удовлетворительное (значит, хорошее), едет далеко, далеко. Письмо было написано в конце октября. Вторая новость — это то, что мама решила во что бы то ни стало эвакуироваться из Ленинграда. Хоть пешком. Но это только еще словесное решение. Мне надо опять ходить в школу, т. к. из Ленинграда разрешается эвакуироваться только учащимся. Заодно мне придется заплатить за учебу 100 рублей.

Положение в Ленинграде я лично считаю крайне тяжелым. Отсутствие продуктов, беспрестанная орудийная стрельба по всем районам города, да мало ли чего еще… Но, в общем, я считаю, что положение с эвакуацией начинает более-менее проясняться, хотя на это прояснение понадобится еще месяц-полтора.

Подбираю, подбираю, что взять с собой. Я твердо решил захватить с собой, поскольку это будет возможно, портфель со всяким моим «хламом» — 2 книги по шахматам, английской немного литературы, «Историю дипломатии», несколько исторических карт, лучшие открытки из коллекции, два-три учебника 9-го класса (например, «Основы дарвинизма», «Литература», «История», «География» или даже без последней).

Как хорошо забыться в таких сладостных мечтах, как эвакуация, но холод вернет к действительности.

Меня поражает перемена в поведении Анфисы Николаевны. Так, например, вчера она дала нам тарелку пшеничной каши и блюдце сухарей, не взяв за это ничего. Часто приносила из столовой треста какао, теперь оно исчезло. Сегодня я ей достал повидла, она дала мне за это грамм 50 его. В общем, я сейчас серьезно чувствуй ее помощь. Если бы мы прожили еще полгода вместе, быть может, мы бы совсем подружились с нею. Впрочем, кто ее знает?.. Ведь факт остается фактом, что на днях ее в Ленинграде уже не будет. Время позднее. Вечер. Покушали киселя из картофельной муки с повидлом, что я сегодня достал, и сухарей, что дала Анфиса Николаевна, тоже с повидлом.

Завтра Ира получает по карточке 250 г. печенья. Сколько, а! Ну что ж, пусть поест их. Пусть…

Сегодня мама сказала, что подано заявление ею на разрешение о вылете. Что выйдет — неизвестно. Надеюсь на лучшее…

В комнате Анфисы Николаевны разыгралась бурная сцена. И. ругался со своей женой о том, что она хлеб меняет для себя на водку и т. д.

Итак, сегодня 29 ноября. Вечером написал мало, хочется спать и не хочется идти в холодный коридор. И так хочется есть… Еще неделька — и я не потяну ног.

30 ноября. У мамы настроение явно эвакуационное. Вчера она много толковала об эвакуации с Анфисой Николаевной. Та ей дала, вернее, пообещала дать адрес своих родителей, живущих у Златоуста. Хоть это и не хлебный район, но голод там, вероятно, все же не такой, как здесь. Но все зависит от резолюции, которую поставят на мамино заявление. Это ясно. Ответ должен быть самое позднее через неделю.

Анфиса Николаевна дает нам каждый день штук восемь сухарей, сегодня дала кусок конины и бутылку растительного масла. Спасибо ей за это все.

Аккуратно в 12 дня и в 00 минут немцы начали опять налет. Опять и бомбят с воздуха, и одновременно обстреливают с батарей город.

Я начинаю припасать деньги. Сейчас у меня 30 рублей, из которых легально я имею 10.

Итак, до решения нашей судьбы остаются считанные дни. В случае невылета пойдем пешком. Идти километров сто, но как-нибудь пройдем.

Мечта мамина сейчас — это порвать с шумной городской жизнью, поселиться в каком-нибудь районном селе, где была бы десятилетка для меня, обзавестись хозяйством, избой, дать мне сельскохозяйственный уклон и дожить свою жизнь в тишине и уюте, как Тина. Мама устала от жизни. Ее тянет к себе такая, например, жизнь, какую вела Тина в Шлиссельбурге, мирная, спокойная жизнь без всяких передряг и бурных переживаний… Но, быть может, я ошибаюсь и это лишь временный порыв у моей матери. Впрочем, такие же мечты, я помню, она имела в Сестрорецке, имела на Всеволожской. Жизнь среди природы, но эта жизнь требует… Но ладно, сейчас не до того. За окном бьют зенитки, взрываются бомбы, не до таких мыслей мне теперь.

Сегодня, между прочим, мама мне говорила, что голод, который мы переживаем, хуже того голода, какой был в 1918 году… В 1918 году — по словам мамы — было в высшей степени развито так называемое «мешочничество». Люди ездили в дальние деревни, там доставали хлеб, муку, масло, возвращались в Петроград и продавали из мешков все эти продукты, разумеется — за баснословные деньги. Но имевший тогда деньги был сыт, а сейчас может человек обладать миллионами, но, потеряв продовольственные и хлебные карточки на месяц, он неминуемо умрет с голоду, если только он уж не какой-нибудь феноменально предприимчивый человек.

На фронтах лучше… Немецкие войска в беспорядке отступают к Таганрогу. Мы преследуем их.

Итак, начинается разгром Германии. И под Москвой, и под Ростовом, и под Ленинградом. Чтобы поскорее лопнула бы эта фашистская свинья, черт бы ее побрал! Но когда она лопнет, то от нее повеет такой смрадный дым, что никого в живых не останется.

Завтра надо идти в школу. Обязательно. Если дело коснется эвакуации, то меня выпустят из города лишь в случае, если я буду учащимся. Поэтому необходимо посещать школу.

Как бы я сейчас поел хлеба… Хлеба… Хлеба…

1 декабря. Наступил новый месяц. Настала новая декада. Пишу утром. Сегодня был в школе в 8 ч. утра. Мне сказали, что с сегодняшнего дня занятия в школах начинаются с 10 часов, а пуск в школу без двадцати 10. Я пошел домой. Зашел в столовку треста. Там горячий чай с шоколадной конфеткой. На конфетку отрезают 10 г. кондитерских изделий. Пошел домой. В половине десятого хотел идти в школу, но дали тревогу. Сейчас, когда я это пишу, тревога продолжается, 10 часов уже, наверное, было.

Я сейчас так дорожу своей энергией, что для меня представляется важным даже решение сходить по коридору в столовую. Во всем теле чувствуется слабость. Ноги тяжелые, коленки слабые, тяжело подняться со стула, во всем теле слабость. И часов до 6–7 вечера, вероятно, не придется ничего есть. Дома масло мама запрятала, я его поискал и не нашел, а сырую конину есть не могу. Если тревога продолжится еще часа 2, в школу не пойду. Какой смысл? А впрочем, следовало бы. Захвачу с собой лишь часть учебников.

Значит, немцы теперь будут начинать налеты с 10 часов утра, вернее, с половины десятого. А в школу мне надо выходить точно в такое же время. Как быть?

Хочу все же подытожить, чему научил меня ноябрь месяц и чем отличается 30 ноября от 30 октября. Прежде всего в ноябре началась учеба в школе, которая разбила все мои стремления к знаниям из-за той обстановки, в которой велась. И вот я покончил, казалось, со школой. Перешел в каждодневные мытарства стоянки по очередям. Сразу все мои идеалистические воззрения заменились материалистическими. Основное требование жизни за месяц осталось то же — еда.

Надо сказать, что продовольственное положение в день 30 октября у нас было хуже, чем 30 ноября. Но вместе с тем безусловно требования к еде остались прежними. «Что только есть съедобного — все в рот». Вот лозунг, к которому скоро можно будет прибавить частичку «не» к слову «съедобного». Надежды остались прежними, подкрепилось, правда, несколько теперь их материальное обоснование. Если эвакуация 30 октября казалась чем-то отвлеченным мне, то сейчас это вопрос недели…

Итак, за истекший месяц можно сказать, что этот месяц, месяц страданий и слез, семейных ссор и голода, вымотал из меня половину тех сил, которые были у меня перед ним. Я ни разу не наелся досыта за весь этот месяц. Не прошло ни одного дня без того, чтобы не было бомбежки и артиллерийских обстрелов, не было ни одного дня, не омраченного, кроме голода, страхом за свою и мамину с Ириной жизнь.

Произошло 2 положительных явления за ноябрь. Переменились отношения с Анфисой Николаевной, которая, думая эвакуироваться на днях, дает нам немало по нынешнему положению продуктов бесплатно и не в обмен. Другое положительное явление, эта эвакуация Тины в Сибирь с ее эвакопунктом из Бокситогорска. Последнее письмо ее, полученное нами на днях, говорило, что она едет в поезде через г. Буй, который находится в Ярославской области.

Все мои надежды поставлены как будто бы на кончик ножа и держатся в некотором колебании. Какой-то будет ответ на заявление мамы о вылете? На всякий Случай следует приготовиться к эвакуации пешком. Хотя и ходят слухи о подобной эвакуации, она сейчас идет стихийно и неорганизованно. Толков об этой эвакуации много. Говорят о каких-то питательных пунктах в дороге, о подвозе детей на грузовиках и т. п. Но чего не выдумают люди!

Интересный факт. Позавчера в очередях появились толки, что на 11-й разовый детский талон дадут 250 грамм печенья. Вчера, покуда я стоял в булочной, десятки людей засыпали продавцов вопросами: «Дают ли на 11-й талон печенье?» — и, разумеется, получали отрицательный ответ».

Начиная с сентября, когда доставка продовольствия в город сократилась, пришлось выпекать хлеб с примесями. Добавляли овсяную муку, ячменную, отруби, жмыхи. Но и эти продукты кончались. Ученые искали заменители, которые можно было примешивать в муку и увеличить припек хлеба. Припек, то есть та прибавка в весе хлеба, какая происходит после выпечки. Под руководством В. И. Шаркова, профессора Лесотехнической академии, ученые предложили использовать целлюлозу, ту самую, что шла как сырье для изготовления бумаги. Они создали установку для переработки этой целлюлозы в пищевую. С конца ноября ее стали прибавлять в хлеб как наполнитель. «Мы получали массу немного серого цвета. После того как

отпрессуешь ее на фильтрах, получится пласт такого вещества с влажностью сорок процентов. Хлебозаводы брали этот материал, разбавляли муку, делали хлеб, — рассказывает Дмитрий Иванови Сорокин, завпроизводством завода. — Мы, командный состав предприятия, тогда в снабжении ничем не отличались от рабочих. Я получал только одну рабочую хлебную карточку, ничего больше. Единственный был случай, когда у подшефных минометчиков убило лошадь, они прислали нам кусок, и наша завхоз, полторы недели экономя, давала нам вечером тарелку супа. Нам четверым — директору завода, профессору Шаркову Василию Ивановичу, главному инженеру Мельникову и мне. А других добавок не было».

Хлеб получался сырой, глинистый, с горьким травяным вкусом, но как радовались ему хлебопеки, тот же Василий Иванович Шарков, его сотрудники — они-то знали, каких мук, усилий ума стоило создать этот хлеб. Все же это был хлеб! Декабрьский, январский хлеб — горе и счастье Ленинграда…

СПАСТИ ДЕТЕЙ

Тяжелее, чем Г. А. Князеву, тяжелее даже, чем Юре Рябинкину, приходилось в эти дни Лидии Охапкиной. Она боролась не за себя. Сына и дочь, двоих маленьких беспомощных детей, надо было отстоять от голода и мороза. Чем? Как? Что она могла в декабре, в январе, когда ничего уже не оставалось, ни крошки, все, все было подобрано, по всем углам высмотрено, по всем щелям исползано, выскоблено, изглодано, изгрызено. Но то, на что способна мать, невозможно предугадать, невозможно предвидеть. Материнская любовь, самопожертвование — эти чувства, казалось бы, хорошо известны еще по библейским притчам, сказкам, легендам разных народов. Трудно тут чем-либо поразить воображение. Тем более что героиня нашего повествования Лидия Охапкина ничем специально не отмечена и выбрана была нами прежде всего потому, что все записала добросовестно, правдиво, только в этом ее отличие от других женщин, которые с не меньшим чувством и силой сражались за жизнь своих детей. Записки Лидии Охапкиной — та щель, через которую мы можем заглянуть в сокровенный мир материнской любви и самоотдачи. Эта любовь побуждала на отчаянные поиски спасительного выхода.

«По квартире бегали и пищали голодные крысы. Они грызли обои, которые раньше ведь клеились клеем, сделанным из муки, т. е. жидким тестом. В комнате У меня никакой

обстановки не было. Стояли только две узкие железные кровати, на одной спал Толик, на другой я с дочкой. Да еще кухонный стол, который мне разрешила взять с кухни хозяйка. Ведь вся наша обстановка осталась там, в Волковой деревне. В квартире жила девушка Роза 17-ти лет и ее тетя. Муж этой старой женщины был профессор, и он эвакуировался с институтом, где работал, а она не поехала, боялась бросить свое добро. В комнате у них было богато. Ковры, пианино и хорошая мебель. Потом, в январе месяце 1942 года, умерла от голода. Сколько раз она приходила ко мне и жаловалась на Розу, что та ей почти не давала хлеба. За хлебом ходила Роза, а она боялась выходить на улицу. Мне ее было жалко, но что я могла сделать? Мне своих забот хватало. От мужа я давно не получала никаких писем и не знала, где он, что с ним. Да и он не знал нашего адреса на Васильевском острове. Мне думалось, что мы уже никогда не увидимся. Но думала я как-то об этом без особой щемящей боли, так как думала — все равно уже скоро умрем от голода.

…Я мысленно хотела, чтобы смерть пришла вместе с детьми, так как боялась, если, например, меня убьют на улице, дети будут дико плакать, звать: «Мама, мама», а потом умрут от голода в холодной комнате. Ниночка моя все время плакала, долго, протяжно и никак не могла уснуть. Этот плач, как стон, сводил меня с ума. Я тогда, чтобы она могла уснуть, давала сосать ей свою кровь. В грудях молока давно не было, да и грудей совсем уже не было, все куда-то делось. Поэтому я прокалывала иглой руку повыше локтя и прикладывала дочку к этому месту. Она потихоньку сосала и засыпала. А я долго не могла заснуть, начинала считать цифры, сбивалась. Вспоминала, когда читала Л. Толстого «Война и мир», там Пьер Безухое тоже считал до тысячи, чтобы уснуть. А я сбивалась, все думала, где бы достать еды, хоть что-нибудь. Мне все мерещились то буханки хлеба, то я собираю в поле картошку. Наберу целый мешок, а унести не могу. Один раз на рынке-толкучке мне удалось с рук купить столярного клея. Из него тогда варили студень. Вот я тоже варила и ела. Давала Толику. Ниночке боялась. Но от клея у нас стали запоры, и я перестала его варить. Другой раз мне удалось купить кожу свиную. Она была повкусней, но ее надо было варить долго, чтобы она размякла, а я жалела керосин, его у меня оставалось немного.

…В квартире был страшный холод, на стенах иней, как бывает в сараях зимой. Когда мне нужно было перевернуть Ниночку, чтобы ее не простудить, я подлезала под одеяло и подсовывала сухую пеленку, а ту бросала на пол, и она вскоре замерзала, как замерзает белье мокрое на улице. У меня не было градусника, но температура воздуха была определенно минусовая. Я уже настолько похудела, что на ногах совершенно не было тела. Груди — как у мужчины, одни соски. Скулы на лице обтянулись, глаза ввалились. Дети тоже были очень худые, и у меня замирало сердце, когда я видела их худенькие ножки и ручки и маленькие прозрачные лица с большими глазами. Не было совершенно дров. Не на чем было разогреть воду или что-нибудь сварить. Роза мне сказала, что у них в подвале имеется немного угля, но ходить туда страшно, так как туда сваливают покойников. Я сказала — ничего, надо все равно, сходить. Мы взяли ведра и пошли. Там действительно лежало несколько трупов. Мы старались на них не смотреть. Скорей накладывали, прямо руками, и, торопясь, вышли. Света электрического тоже не было, и мы зажигали коптилки. У меня был сделан в пузырьке фитилек из ваты на машинном масле, которое я выменяла на что-то. Он плохо освещал, в комнате было темно. На стенах образовывались большие тени, а копоть тянулась тонкой нитью кверху. Воды в водопроводе тоже не было, и надо было ходить за ней на Неву. Я ездила туда с детскими санками, с ведром и кастрюлей. Воды было нужно много, так как помимо для еды нужно было еще стирать пеленки…

Я стала совершенно безразлична к воздушным тревогам, они были редкими, а обстрелы улиц производились чаше. Один раз во время такого обстрела я вышла за хлебом, потому что в

это время меньше были очереди, и попала под сильный обстрел. Я хотела добежать до ворот одного дома, но как раз шла около длинного забора. Снаряды летели и разрывались совсем близко. Мне кто-то крикнул с другой стороны: «Дура! Ложись скорей, ложись!» Я упала и прижалась к стене. Потом оглянулась, встала и опять упала прямо в снег лицом. Полежала несколько секунд, сердце стучало. Я стала ползти. В общем, передвигалась, как солдаты на передовой.

…Зима 41/42 года была очень холодной. Мороз доходили до 30–40 °. Я все время думала, где бы достать дров. Когда я уезжала из Волковой деревни, то шкаф для одежды я набила колотыми дровами, а под дровами спрятала патефон. Мне хотелось туда сходить, но ведь транспорт, т. е. трамвай, тогда не ходил и надо идти пешком туда и обратно, очень далеко. Я все откладывала, но как-то собралась. Покормила детей, заперла их и с утра пошла. Представляете мой путь с Васильевского острова до Волковой деревни? Неву перешла по протоптанной тропинке, вышла на Литейный и все смотрела на дома, которые стояли хмурые. Многие с разбитыми окнами, темными, как глазницы. У других снарядом отбит или угол, или часть дома. А в другой жили люди. Мне попадались пешеходы. Шли все тихо, еле передвигали ноги. Все укутанные, с серыми худыми лицами, некоторые мужчины поверх шапок тоже повязывали платки.

…Да, город был ранен, как человек, побывавший в бою. Но был жив, и жил трудной жизнью, и не умирал, У людей была какая-то надежда, и упорство не покидало их. Ведь должен же кончиться когда-нибудь этот кошмар, этот ужас. Когда я дошла до Невского, у меня от волнения стеснило сердце, он был почти пустынным, весь завален снегом. Дома многие были полуразрушены. Окна заколочены фанерой. Стояли трамваи и троллейбусы, покрытые тоже снегом. Гостиный двор был обгорелый. На Аничковом мосту коней не было.

…На углу Лиговки и Разъезжей стоял раньше пятиэтажный дом. Он горел, но странным огнем. Горели на каждом этаже рамы и полы, огонь потихоньку вылезал из окон, как бы лизал рамы, подоконники, двигаясь так неторопливо. Ветра не было, и он синеньким огоньком не спеша ползал по дому. Люди говорили, что этот дом загорелся от буржуек и горит уже третий день. У дома было набросано много разной мебели, кровати, сломанные шкафы, сундуки и т. п. Никто этот хлам уже не брал и никто его не охранял.

…Когда я наконец пришла к себе домой, увидела, что верхний этаж дома почти был сломан. Крыша его сгорела, когда я еще там жила. На первом этаже жили еще семьи, я тоже жила раньше на первом. Рядом со мной жила Мария Николаевна со своей взрослой дочерью. Они обе были очень худые, но все же выглядели лучше тех, что жили в центре. Я спросила: «Как вы живете? Значит, не уехали отсюда?» А она говорит: «Куда же? Здесь теперь лучше. Я вот накопала немного картошки за железной дорогой. Да дров здесь полно. От деревянных домов, наполовину сгоревших, можно ломать доски, бревна и топить печку и готовить. А бомбежки ведь почти прекратились». Я говорю: «Вот у меня совсем нет дров». — «Так приезжайте сюда», — говорит она. А я: «На чем приезжать? Ведь нет никакого транспорта, я пришла пешком». И, вспомнив это, с ней попрощалась и вошла в свою комнату. Окна — два окна — были кем-то забиты досками. Сквозь их щели пробивался снег. Снег лежал повсюду — на столе, на кровати, Диване и на полу. Сердце сжалось при виде своих вещей, и воспоминание о мирной жизни с болью нахлынуло на меня. Но некогда было вздыхать, и я стала торопитья. Взяла патефон, я хотела его потом обменять на хлеб, подобрала с пола несколько игрушек для Толика. Помню — заводного слоника и мишку, для дочки целлулоидного попугая, все связала, положила на санки, а в них немного дров. Да сняла застывший жир со стенки кухонного стола, куда мы вешали сковородку и он тогда стекал, и сразу его съела. Об этом маленьком кусочке жира я вспоминала не раз по ночам, когда очень хотелось есть и немного уснуть. Как я доехала обратно, не помню.

Выбивалась из последних сил, по пути выкупила хлеб и почти весь его съела. По сторонам уже не смотрела, а тащила санки, как измученная лошадь, думая только, что меня ждут дети. Приехала, когда было совсем темно.

…Я все время ходила в валенках мужа и надевала два пальто: свое и на него еще пальто мужа. Да и все так кутались. Некоторые люди поверх пальто набрасывали на плечи какие-то стариковские шали и даже ватные одеяла.

Когда я уходила, моя дочка всегда плакала. Чтоб она не плакала, я ей давала маленький ржаной сухарик, и она его долго сосала. И на этот раз я дала ей. Но, уже запирая дверь, я услышала, что она заплакала. Это Толик отнял у нее сухарик, так как я ему не дала, потому что у меня больше не было. Я вернулась и его побила первый раз. Он громко плакал, и мне его тоже стало очень жалко. Я сказала, что, если ты будешь у Ниночки отнимать, я тебя выкину на улицу. Он говорит: «Не надо, мамочка, я больше не буду». Я его поцеловала, укутала в одеяло и пошла. В этот день нам отоваривали, так раньше говорили, продукты, и на мою карточку я получила 200 граммов пшена. Детские продуктовые карточки я отдавала — прикрепляла к детской столовой, — и это нас очень поддерживало. Там я получала на двоих детей. Утром — завтрак. Очень жиденькую кашку, конечно, в мизерных порциях. А на обед какой-нибудь супик и что-нибудь на второе. Картофельное пюре или опять кашу. Если б не это, не столовские обеды, мы голодали бы еще больше. Сын все время сидел и смотрел на будильник. Я ему объяснила: вот когда будет большая стрелка на 12, а маленькая на 10, мы будем завтракать, а когда большая будет опять на 12, а маленькая на 3 часах — обедать. И он все время смотрел на часы. То пшено, что я получила по своей карточке, я разделила примерно на две части и на ужин два раза варила жидкую кашу. Один раз прихожу домой, ходила за хлебом. Смотрю, Толик сидит на полу и что-то спичкой там выковыривает. Я говорю: что ты делаешь? Он отвечает, что выковыривает пшенинки из щелей пола. Это я немного просыпала, когда варила, было темно, и вот он их доставал и вместе с грязью ел.

Я подумала: «Боже мой, какой он голодный, но что делать, чем его накормить?» Он настолько был худенький, что уже редко вставал с кровати, и все мне говорил: «Мама! Я каши бы съел целое ведро, а картошки целый мешок». Я старалась его отвлекать. Пробовала рассказывать сказки, но он плохо слушал и все перебивал меня: «Знаешь, мама, я хлеба съел бы вот такую буханку, большую» — и показывал на круглый таз. Я говорила: «Нет, не съел бы, у тебя бы он не поместился в животике». А он возражал: «Съел бы, мама, съел бы. Я не спал бы, а все бы ел и ел». Выглядел он как галчонок, один рот и большие карие глаза, и такие грустные. А ножки такие тонкие, только коленная чашечка отчетливо выделялась. Волосы, давно не стриженные, отросли, он все время был лохматый. Один раз на мою карточку дали 200 граммов гороха. Я решила сварить жиденький супик. Сварила в печке и закутала его одеялом, чтобы попарился и лучше разварился. А сама вышла к соседке. Она умирала… Я постояла немного и ушла. Прихожу, смотрю, кастрюлька открытая. Я сказала Толику: «Ты уже лазил». Он: «Я только одну ложечку, мама, только одну попробовал». Я говорю: «Ну ладно, давайте есть». И почерпнула ложкой и вынула оттуда тряпочку, которой у него были завязаны руки. Чесотка у него почти прошла, и болячки уже отваливались. Но я ему все завязывала, чтобы он не заразил ни меня, ни Ниночку, так вот он ее и обронил. Что делать? Он сразу захныкал: «Я нечаянно, мама, она сама упала». Что делать? Суп выплескивать было жалко. Так и ели… До сих пор не забуду этого случая, да и он тоже долго помнил».

В тряпочке этой натурализм, физиология, читать про нее невыносимо, и не раз поднималась рука вычеркнуть ее, удалить, как удаляли мы некоторые подробности, ужасные в своей бесчеловечности, детали и эпизоды кошмарные, которые и придумать нельзя и знать про

них не хочется, ничего, кроме ужаса и тоски, они не вызывают. Но эта тряпочка при всей ее тошнотности помнилась. Она отмечала как бы уровень человеческих страданий. Нет, не уровень падения. Они не переступали нравственных понятий — переступали брезгливость, отодвинули ее, это запомнилось как отметка (вот докуда дошли), и вспоминали о тряпочке, не стыдясь, не укоря себя. До того мы голодные были, до этой тряпочки! Человек часто хранит в себе, в памяти своей, такую отметку страдания, муки, предела чувств своих, такую «тряпочку», то ли помогает она, то ли служит какой-то точкой отсчета…

С начала января 1942 года Московский горком партии и Мосгорисполком готовили колонну автобусов и грузовых машин для ледовой дороги на Ладоге. Надо было подобрать к ним опытных шоферов и ремонтников. 40 автобусов было выделено, чтобы вывозить ленинградцев, и 200 грузовых машин. Уполномоченный ГКО А. Н. Косыгин договорился, чтобы все машины шли загруженные сгущенным молоком, концентратами, маслом, сахаром, жирами. Предусмотрел и то, чтобы обеспечить эти машины запчастями, придать им ремонтные летучки. Москва давала что могла, но этого было мало. А. Н. Косыгин связался с Ярославским обкомом партии и с Горьковским. Попросил, чтобы оттуда направили в Ленинград грузовые машины с ремонтниками и шоферами. Машины следовало подвезти к Ладожскому озеру по железной дороге, что надо было обговорить с тогдашним наркомом путей сообщения.

«Подходили грузовые машины из Москвы, Ярославля, Горького, надо было создавать автоколонны, ремонтные службы, принимать продукты, налаживать эвакуацию, — рассказывал А. С. Болдырев. — На подходе были еще 250 грузовиков, прибывали молодые здоровые шоферы с Большой земли, по двое на машину. Автобусы оставили в Жихареве, на восточном берегу озера…»

Путь для эвакуации был один — и для станков, и для приборов, и для металлов, необходимых оборонной промышленности, и для людей: по железной дороге от Финляндского вокзала, затем автомобилями через Ладогу.

Заводы, эвакуированные на восток, нуждались в оборудовании, дефицитных материалах. Замершая промышленность Ленинграда обладала огромным потенциалом. Ежедневно А. Н. Косыгину докладывали о выявленном на парализованных ленинградских заводах: вольфрам, молибден, никель, хром, уникальные станки — готовилась опись того, что можно было вывезти без ущерба для ленинградской промышленности.

Людей вывозить или оборудование вывозить? Так вопрос не стоял, надо было одновременно решать эти задачи, обе сразу, и выбора между ними не могло быть и предпочтения не было, а возможности дороги были еще так малы…

«Мы разъехались по предприятиям, — вспоминает А. С. Болдырев, — которые были намечены к срочной эвакуации, и туда, где еще шло производство оборонной продукции — «оборонки». Часть товарищей вместе с работниками горисполкома поехали по автобусным паркам, автобазам, чтобы выявить, где есть машины, водители, определить, как использовать их для массовой эвакуации населения.

Вместе с А. Н. Косыгиным мы поехали на Кировский завод, затем на «Электросилу», потом на Финляндский вокзал.

Мы поднялись на чердак одного цеха, где был устроен НП. Отсюда в полевой бинокль можно было рассмотреть немецкие укрепления и самих немцев. У них было тихо. Наши тоже не стреляли. Однако на территории завода следовало передвигаться осторожно. Заводской двор простреливался снайперами. Зашли в профилакторий. Там лежали рабочие, пораженные дистрофией. Это было единственное место, где было тепло. Больным давали усиленный паек. Разговор пошел об эвакуации. Пожилой бригадир сборочного цеха сказал: «Вывозите лучше детей, женщин. Мы здесь, как вы видите, на фронте. Нам одно надо — чтобы скорее нас на ноги

поставили, чтобы могли воевать».

Из докладов побывавших на предприятиях картина складывалась невеселая — автомобильный транспорт не был подготовлен к массовой эвакуации людей. На железнодорожном транспорте не были готовы паровозы. Не было угля. Не было воды. Машинисты, да и остальные работники дороги из тех, кто остался жив, были истощены, многие не могли работать».

21 января Алексей Николаевич Косыгин доложил Военному совету фронта свои соображения о массовой эвакуации. Вечером он позвонил в Москву Сталину, сообщил, что Военный совет согласился с предложением эвакуировать в ближайшие три месяца полмиллиона человек. На следующий же день ГКО принял Решение об эвакуации 500 тысяч человек из Ленинграда.

А. С. Болдырев вспоминает:

«Мы с А. Г. Карповым стали готовить первую колонну автобусов. Вместе с ней мы должны были поехать через озеро. Задумано было провести пробный рейс с эвакуированными сразу из Ленинграда до Борисовой Гривы. Это было бы удобно и людям — для пересадки, перегрузки. Но мы убедились, что массовая отправка людей таким способом нереальна, — слишком плохая дорога, автобусы изношены, люди в таком состоянии, что не выдержат.

Оставалась железная дорога. Военный совет разрешил выдать усиленное питание машинистам, поездному составу, стрелочникам, ремонтникам. Нужно было в сверхсжатые сроки отремонтировать паровозы и вагоны.

Немедленно стали подвозить топливо к Финляндскому вокзалу — уголь, дрова для паровозов и печурок, чтобы отапливать вагоны. Надо было организовать заправку паровозов. Водопровод не работал. Решили использовать пожарные цистерны. В них набирать воду из Невы и подвозить к паровозам. Все это добывали, организовывали, налаживали не то что неделями, а сутками, счет шел на часы. Все понимали, что каждый день уносит жизни тысяч ленинградцев. Буквально за ночь был разработан график подвоза эвакуированных на вокзал, порядок посадки. Создали систему питания в пути, медицинской помощи. Договорились с наркомом путей сообщения срочно доставить самолетом в Ленинград четыре бригады машинистов, составителей поездов и ремонтников».

В Москве действовал Совет по эвакуации. Этому Совету поручено было заняться размещением эвакуированных в городах, в частности в Вологде…

Лидия Охапкина:

«Вскоре как привезла патефон, я повесила у булочной объявление, что продаю патефон на хлеб. На следующий день пришел один военный и принес целую буханку хлеба. Я просила еще хоть немного. Он сказал: «С удовольствием, но, к сожалению, у меня нет». Я отдала ему еще несколько пластинок, что у меня были. Вскоре я повесила объявление, что продаю ручную швейную машинку. Я ее еще привезла, когда нас перевоз в сентябре месяце. Вскоре пришла женщина и предложила мне не целую буханку, а чуть побольше половины. Мне очень было жаль машинку, но что делать, я отдала. Эта женщина выглядела не очень изможенной. Я спросила, где она работает. Она ответила: «А вам какое дело?» Вот как дорого ценился хлеб. А на одежду хлеба не меняли. Она никому не нужна была. Мне менять болье было нечего.

В конце декабря 41 года я встретилась с одной молодой женщиной, когда мы стояли в очереди за хлебом, она вызвала меня из очереди и попросила, чтоб я ей выкупила хлеб, так как она стояла далеко, а я ближе, у нее тоже были три карточки — две детские и иждивенческая, как у меня. Сделать это надо было одним весом, так как два веса в одни руки не давали. Я согласилась, выкупила, хлеб разделили пополам. Потом мы разговорились. Она жила тоже на 14-й линии Васильевского острова, муж у нее тоже был на фронте. Она сказала, что у нее есть

еще дрова (а у меня уже не было), и предложила к ней переехать. Я согласилась и в этот же день перетащила ребят и необходимые вещи. Она была очень нетерпеливая и, когда получала хлеб, сразу его съедала. А я делила на три части, чтобы есть его утром, днем и вечером. В столовую за обедом мы ходили вместе, а за хлебом по очереди. День она, день я. Один раз я схватилась к вечеру, смотрю, моего хлеба нет. Хлеб я свой клала в маленький портфельчик и высоко его вешала над диваном, на котором мы спали все трое. Толя достать не мог. А вешала я его туда, потому что крысы где угодно могли его найти и съесть. Я спросила: зачем ты взяла мой хлеб? Она отказалась.

Вскоре один ее ребенок — девочка — умер.[38] В конце января месяца, 27-го числа, до сих пор помню это число. Женя, так ее звали, пошла за хлебом, а я осталась с детьми и на железной печке, которую мы купили в обмен на хлеб, кипятила воду. Часа через два она приходит и говорит, что потеряла мои карточки. Я даже побледнела от расстройства и говорю: так как же мы теперь будем делить хлеб? А она сказала, что никак. Ты меня прости, говорит, но из-за тебя умирать я не собираюсь. У меня, правда, осталась одна детская, так как мы хлеб брали вперед и я оставила на 31 января хоть одну карточку. Я говорю: «Дай мне хоть одну. Ведь это же нечестно, что ты будешь жить на три вдвоем, а я на одной втроем». Она отказалась. Тогда я сказала, что ухожу от нее. Она: «Ну и уходи!» И вот я снова перетащила ребят и свои вещи в свою холодную комнатушку, узкую как гроб. В квартире никого не было. Роза, как я уехала к этой женщине, тоже куда-то ушла. В комнате у нас был невыносимый холод. На стенках иней, на подоконнике снег. Боже, думала я, как жить в таком холоде, да еще пять дней почти без хлеба. Я вошла в комнату к бывщей профессорше, взяла у нее два стула, сломала их и затопила печку. Потом побежала в подвал и нагребла еще немного угля. Сбегала в столовую за обедом. Ночью я не могла уснуть. Тяжелые мысли о смерти меня преследовали. Я чуть с ума не сошла от дум и горя. Пять дней без хлеба. Когда и так его не хватает. Я встала и бросилась на колени и стала молиться, молиться со слезами. Иконы не было, да я и не знала ни одной молитвы. Дети мои были некрещеные, да и сама я не верила в бога. Правда, во время тревоги я иногда мысленно шептала: «Господи, спаси, не дай погибнуть». Но в этот раз я к богу обращалась с другой просьбой и с другими словами. Я горячо шептала: «Господи, ты видишь, как я страдаю, как голодна и как голодны мои маленькие дети. Нет больше сил. Господи, я прошу, пошли нам смерть, только чтоб мы умерли сразу все. Я не могу больше жить. Ты видишь, как я мучаюсь. Господи, пожалей ни в чем не повинных детей» — и тому подобные слова.

…На следующий день во входную дверь кто-то стал стучать. За хлебом я не пошла и была как раз дома. Я побежала и спросила кто. Мужской голос спросил, здесь, ли живет Лидия Георгиевна Охапкина. Я впустила его. Это был посланец с фронта, от мужа. Он передал Мне небольшую посылочку и письмо. Вася писал: «Милай Лида…»; прочитав только это, я заплакала и сказала: видел бы, какая стала его Лида. Дальше он писал, что посылает один килограмм манной крупы, один килограмм риса и две пачки печенья. Я почему-то читала вслух. Толик после слова «риса» жалобно пропищал: «Мама, свари кашку, только погуще». Это дословно его слова. Военный, он был лейтенант, вдруг стал громко сморкаться и вытирать слезы, которые у него показались, глядя на всех нас. Он сказал: «Это ужасно, когда так голодают дети. Мы вас вывезем, потерпите еще немного. Я расскажу вашему мужу о вас. А они, т. е. фашисты, за все заплатят. За все ваши слезы, за то, что вы так голодаете, за все».

Я только один раз сварила кашку погуще, как просил Толя, а потом опять стала экономить. Но как ни тянула, все скоро съели. Да к тому же не было дров опять и мы просто замерзали. Дома я была в пальто и валенках. Дети тоже одеты в зимних пальтишках и укрытые ватными одеялами.

Как-то пришла Роза и сказала, что в райисполкоме дают ордера на дрова. И в первую

очередь тем, у кого есть дети.

Я сразу пошла, и мне дали ордер на один кубометр дров. На другой день попросили у дворника санки, и мы с Розой поехали. Дрова где-то были за Смоленским кладбищем.

Мы с большим трудом, по полену, втащили дрова на кухню. Они были метровой длины. Сразу же растопили печку. Она топилась из коридора, как раз выходила в нашу комнату и в Розину. Она еще мне дала для растопки несколько книг из профессорской библиотеки. Первый раз у нас было так тепло. Я очень устала и хотела спать. Трубу закрыла немного раньше, отдушину в комнате открыла. Мы все страшно угорели. Я проснулась оттого, что дочка заплакала. Голова трещала. Я встала, покачиваясь, и упала. Но, падая, я как-то открыла дверь. Из коридора пошел прохладный воздух. Я лежала без сознания, сколько минут — не помню. Затем как будто кто-то меня толкнул. Дети, как они? Я, шатаясь, схватила дочку, она молчала и чуть дышала. Отнесла ее на кухню, затем взяла Толика, из последних сил перетащила его и сама села возле них. Мы все чуть не умерли от угара. Толя долго был без сознания. Мы опять стали голодать, кончался уже февраль 1942 года. Посылочку мы давно уже съели. Мне Толик предлагал не раз: «Мама, — говорил он, — давай сделаем опять угар и умрем. Будет вначале больно головке, а потом и уснем». Слышать это от ребенка невыносимо. Уже который раз он мне предлагает, чтобы его или убили, или уморили угаром».

Лидия Охапкина продолжала бороться за жизнь своих детей. Она даже мысли не допускала, что имеет право выбирать, кого из детей спасти, кем пожертвовать, такой вопрос она отвергала, хотя понимала, что могла погибнуть сама и тогда погибнут оба ребенка, Что двоих детей ей не вытянуть, не отстоять. Все понимала и продолжала бороться. Материнское чувство было сильнее логики.

Е. С. Ляпин, доктор физико-математических наук, рассказывал о людях, которые теряли карточки и погибали на глазах у всех. И логически поведение окружающих было объяснимо, оправданно, так как каждый сам находился на грани смерти. Но вот подобная история с потерянными карточками произошла в Радиокомитете, о чем рассказал Георгий Пантелеймонович Макогоненко. Ольга Берггольц день, второй смотрела на невольного убийцу семьи — работника радио, потерявшего карточки, — не выдержала и отдала ему свою, хотя сама уже страдала дистрофией. То есть человек взял и отдал другому, малознакомому и даже малоинтересному ему человеку свою жизнь. Ольга Федоровна, зная жестокую реальность, никак не рассчитывала на то, что произошло потом: другие работники стали ей помогать продержаться до конца месяца. И помогли…

И это тоже правда блокады. Не отменяющая ничего другого, но всему придающая иное звучание — возвышенно-трагическое. Человек способен на многое, на очень многое, но как это горько, что жизнь снова и снова требует от него немыслимых жертв.

НА ЧТО ОПИРАЛАСЬ ДУША

Ольга Федоровна Берггольц никак не мотивировала свой поступок. Благородство не нуждается в обоснованиях. Обоснования нужны подлости, низости, даже слабость часто драпируется под необходимость, а уж всякая корысть, эгоизм и тем более бесчестье — все они убедительно красноречивы, у них множество причин, они привлекают в оправдание и психологию, и экономику, и историю.

Удивительно, как блокада срывала все драпировки, раздевала человека, беспощадно высвечивала в каждом все в нем заложенное.

Стоит продолжить рассказ Г. П. Макогоненко, активного тогда работника ленинградского Радиокомитета. Рассказ этот интересен и значителен и по тем событиям, о которых в нем говорится, и по отношению автора к происходящему.

«— Радиекомитет эпохи блокады — это сотни людей, которые своей работой обеспечивали духовную пищу города. Это учреждение, которое непрерывно работало, оно не знало остановки… Там были разные люди. Среди них был один очень хороший человек, мой старый друг, мы вместе с ним учились, человек ясного ума, честнейший, образованный, обаятельный. В нем было сочетание университетского образования с хорошей рабочей закалкой. Это рубаха-парень, это рабочий парень, и это очень тонкий философ, это изящный ум, это обаятельный человек. Он сделал очень много для ленинградского радио. Я не буду говорить более конкретно о нем только потому, что, если буду называть его реальные дела, станет известна его фамилия, а мне бы этого не хотелось. Я хочу использовать случай с ним лишь как пример того, что делала блокада, какие устраивала испытания, проверки людям. Еще и еще раз я хочу сказать, чтобы поняли вы и все, кто будет думать об этом, что это был редкостный, кристальной честности человек. Он, помимо всех прочих своих качеств, был влюблен в Ольгу Федоровну Берггольц — без какой-либо надежды. Эта любовь проявлялась в его необыкновенной нежности в отношении к ней, деликатности, в его внимании, которое так подкупало Ольгу Федоровну. И вот — роковое испытание!

Четвертого декабря сорок первого года я простился со своими товарищами, ибо рано утром пятого уезжал на ту сторону кольца по приказу Политуправления. Я простился со всеми. Но так случилось, что документы, предписывающие мне выезжать пятого, я получил только в десять часов вечера в Смольном и вернулся оттуда только в одиннадцать. А на всякий случай с Ольгой Федоровной я простился раньше. Она уже ушла (она тогда еще не жила в Доме радио). У меня срок командировки — две недели, но у меня карточки, и эти карточки нужно отдать Ольге Федоровне, потому что она последнее из своего пайка носила мужу в больницу. Но я не знал, где она. Ночевать у себя на улице Рубинштейна она не могла — там холодно, — она ходила к разным подругам. Поэтому где ее искать, я не знал. К кому обратиться? К председателю нашего Радиокомитета Ходоренко Виктору Антоновичу? Но мне показалось, что, может, это будет не очень тактично: я, сотрудник радио, уезжаю, карточки не отдаю в коллектив, а хочу отдать «на сторону» (хотя Ольга Федоровна и сотрудничала с нами). Я решил, что лучше всего отдать их вот этому моему другу, человеку, влюбленному в нее. Кому же еще? И я ему отдал, с тем чтобы он завтра же утром передал их Ольге Федоровне (она должна была прийти сдавать свое выступление, она каждый день у нас бывала). На всякий случай я еще спросил у него: «Честное слово ты отдашь?» Он сказал: «Ну как не стыдно даже спрашивать?!»

Вернулся я через две недели. Я был в той ской дивизии, которая вела бои в месте прорыва, бои, к сожалению, безрезультатные. Это была дивизия Краснова. Когда я уезжал из дивизии — все ведь знали, что я возвращаюсь в Ленинград, — меня снабдили двумя вещевыми мешками с

продовольствием: концентратами, хлебом. Правда, хлеба было мало, ибо гвардейская дивизия ела не черный хлеб, а ела калачи — пышные, высокие! Я помню такие только в детстве на Волге. Я сказал: «Братцы! Ведь я же не могу только один калач везти!» (Столько он занимал места.) «А хлеба нет. Вот калачи — пожалуйста». Пришлось мне эти калачи в лепешки превращать, тогда больше входило…

Как я возвращался — это целая история. Поразительная ситуация сама по себе. Скажу только несколько слов. Ехать озером я, признаюсь, не осмелился, хотя уже ходили машины. Поскольку я уже раз искупался, мне ужасно не хотелось это делать вторично. Тогда я поехал в летное соединение и выяснил, какие машины и откуда летят на Ленинград. Мне дали адрес. Я прибыл туда и столкнулся с поразительным явлением! Вот что такое ленинградское и всероссийское братство! Я был в помещении, которое отвели для эвакуированных семей летчиков, работающих на разных участках фронта. Эти летчики слали такие письма: «Волховский фронт. Летной части. Братцы! У меня жена (у меня отец, у меня семья) в Ленинграде. Вывезите! Адрес…» И эта воинская часть посылала самолеты в Ленинград искать людей. Часто находили трупы. Живых вывозили. И целый дом им отвели, чтобы перебрасывать потом в тыл (правда, неизвестно куда!). Они появлялись в Ленинграде как добрые духи, эти ангелы! Добирались к семье военнослужащего, даже не знавшей, где находится муж или отец, стучались в дверь, говорили: «Я за вами», — и везли на машине, потом самолетом отправляли! Это вообще удивительная страница в жизни города! Я сутки пробыл среди этих вывезенных из Ленинграда женщин, детей, стариков. Они меня спрашивали, особенно женщины: «А ты-то куда?» Я говорю: «В Ленинград». И было что-то такое пронзительное в том, как они уговаривали меня: «Куда ты, ты же молодой, зачем ты на смерть туда? Не лети ты туда!» И это с плачем, со слезами, хоть впервые видели меня. И когда я говорил, что я там был, я же оттуда, я возвращаюсь, они говорили: «Нет, ты неправду говоришь! Если бы ты видел, что там, ты бы никогда не поехал!» Но это деталь.

И вот я вернулся. И когда я прежде всего принес еду Ольге Федоровне, то в первый раз увидел что-то изменившееся в ней — не худобу (в ней не было худобы, она начинала пухнуть), но какую-то непривычную, не свойственную ей жадность к еде. Я говорю: «Оля, что с тобой? Тебе же легче было!» Она говорит: «Отчего?» — «Ну карточка, рабочая же моя карточка!» Она сказала: «Ты жестокий человек. Ты же знал, как мне трудно. Ты уехал и не отдал мне карточку». — «Как не отдал? Я отдал ему!» — «Не может быть! Он бы мне передал». — «Но я же с собой не увозил карточки! Ну вот завтра, — говорю (я приехал поздно вечером), — мы пойдем к нему и…» — «Нет, нет! — сказала она. — Ты плохо поступил, и не надо говорить гадости о таком человеке!» Я сказал: «Мы не будем спорить. Завтра поговорим».

И вот наступил этот страшный судный день нашего разговора. Он не отпирался. И в том, что он не отпирался, и в том, как он мотивировал, — вот в чем было самое страшное!.. Маленькое отступление. Он действительно был одержимым человеком в хорошем смысле. Но в нем уже тогда было то, что я называл робеспьеризмом. Я ему говорил: «Дорогой мой, это тебя к хорошему не приведет!» А идея у него была такая. Много дурного вокруг. И все дело в том, что так складываются обстоятельства, что нет возможности выявить настоящих людей и случайные попадают на нужные и важные места. Война, блокада — квинтэссенция всех трудностей, самое тягчайшее испытание. Всем будет ясно: тот, кто пройдет это испытание, должен руководить! И вот была его идея: «Я пользуюсь глубочайшим уважением интеллигенции. Я прохожу через это испытание, и — естественно, другого выхода нет — меня делают руководителем идей!» Вот почему он сказал: «Извини, родная Оля, но то, что я должен сделать, важнее. И потому я не отдал карточку. Я взвешивал, взвешивал — нет, не личное, общественное: я нужнее!»

— А талант Ольги Берггольц?

— К этому времени Ольга Федоровна еще не была тем поэтом, которым она стала потом. В это время, в декабре, она была одним из рядовых деятелей, очень хорошо выполнявших поручения Радиокомитета.

— А он был пишущий или только администратор?

— Вообще он мог писать. Но он всего себя отдавал другой цели, о которой я говорил. Ольга Федоровна ему сказала: «Я тебя понимаю, но ты глубоко ошибаешься. Ты заблуждаешься, и мне тебя жалко». Вот такой был эпизод, такой характер. А вот второй случай и второй человек, — продолжал Георгин Пантелеймонович Макогоненко. — Тот же Радиокомитет. Председатель Радиокомитета — Виктор Антонович Ходоренко. Это человек для меня поначалу необычного, неожиданного склада. Была в нем какая-то солдатская, офицерская повадка (хотя он никогда не служил в армии): такая в нем была собранность, решительность, необыкновенная оперативность, мгновенность реакции. Но больше всего он меня покорил своей сердечностью, пониманием людей, доверием. Он много доброго, хорошего сделал для Радиокомитета, а значит, для радиовещания, а значит, для того, чтобы ленинградцы слушали и поистине чувствовали этот пульс радиовещания. Но я хочу сказать не столько о нем, сколько о моменте испытания его характера. Где-то в ноябре — не сразу, а только в ноябре — он был причислен соответствующими организациями к числу работников, наверное, среднего звена, которые питались в Смольном, в столовой номер двенадцать. Питание было там трехразовое. Ну, ходить три раза он не мог — и работа не позволяла, да и сил не было, а ездить было не на чем. Он ходил туда один раз, сам безумно отощавший к тому времени, ибо был на общем пайке. Наверное, дня три он все съедал, что там давали. И затем — испытание! Я помню, как он пришел в десять часов, вызвал меня и этого моего товарища и сказал: «Положение такое: я хожу туда, меня кормят, вот такое меню. Я не могу все это есть сам, не считаю возможным, тем более что я могу там есть хлеб. Мне запретили (это предупреждение всем!) выносить хлеб, но эти вещи можно». Вынимает из портфеля завернутые два куска сахара, две котлеты, гарнир, пирожок. «Вот у меня есть предложение: от себя лично давать — это унизительно. Вы руководите отделом. Давайте составим список, я каждый день буду что-то приносить, и мы будем выдавать одному сахар, другому то, третьему другое».

— А семья у него была?

Кто-то был, но это не мешало ему… Думаю, что и чисто практически, материально, если представить себе наш паек (до весны большинство работников не имели даже рабочей карточки, а имели служащие, а это сто пятьдесят, а потом и сто двадцать пять граммов хлеба), получить в неделю кусок сахара, или котлетку, или две ложки хорошей каши — это такая помощь для организма, что ни с чем сравнить нельзя. Но какое огромное значение это имело нравственно, трудно даже передать!»

Русские понятия «интеллигент», «интеллигентность» определить трудно, толкования этих слов всегда кажутся неточными, неполными. Так же как понятие «порядочность»; оно вроде бы и изменчиво, и в то же время совершенно исторически определенно, оно узнаваемо, то есть всегда, если сказать: он порядочный человек, — то все довольно точно понимают, что за этим стоит. Интеллигентность тоже безошибочно различима. В блокаду она проявлялась по-разному, но в дневниках и воспоминаниях ее можно было распознать по особому свету мысли, духовной работы, по совестливости, по тому, наконец, как личность с помощью всего этого отстаивает себя в борьбе с голодом, отчаянием.

Александр Григорьевич Дымов, режиссер театральной студии при Дворце культуры, в самое безнадежное время заставлял себя думать, вглядываться, осмысливать.

«12 января, 12 часов дня. Мороз усилился, в комнате стужа. Мила ушла в магазин, надеется

получить что-нибудь по карточкам, давно ничего не получали. Больно на нее смотреть, так она похудела, бедная.

Чувствую себя плохо. Вещество из подозрительной смеси, которую употребляю я под псевдонимом «хлеб», желудок мой категорически отказывается переваривать.

Люди иногда улыбаются. И тогда становятся необычными их лица: улыбки их приобрели новый и странный ракурс, туго обтягивая кожей кости лица. Кстати, об улыбке. Чудесная вещь — юмор. Его осталось мало. Как и смех, он отпускается скупо, как другие продукты — по карточкам. Но он существует еще. Вчера в столовой пожилая женщина сказала официантке, подавая крупяной талон: «Вот вам крупозный талон». И много сидевщих неподалеку от нее людей беззвучно заулыбались. Несколько месяцев назад у них получился бы смех, вероятно, громкий, в разной тональности. Теперь смех их беззвучен и так же скуп, как пища, которую едят эти люди: в микроскопической дозе.

У всех мечта: эвакуироваться. Уехать из Ленинграда. Куда угодно, только бы получить кусок настоящего хлеба. Эвакуация давно прекращена: нет пути, по которому можно увозить людей, — но люди сладко мечтают об этом, сидя во тьме своих морозных комнат, шагая пошатывающейся походкой по мертвым, заснеженным улицам города, стоя в очередях у пустых полок магазинов, на работе, в столовых.

Удивительная вещь — чувство голода. К нему можно привыкнуть, как привыкают к хронической головной боли. С тупой покорностью по двое суток я ожидаю кусочка клейкого хлеба, не ощущая жгучего голода. Это значит, что болезнь (т. е. голод) перешла из острой в хроническую форму.

…Темно. Не выдержал — вытащил заветный огарок свечи, спрятанный на крайний случай. Темнота угнетает ужасно. Мила дремлет на диване. Она улыбается во сне, вероятно, ей снится бутерброд с полтавской колбасой или перловый суп. Она каждую ночь видит вкусные сны, поэтому пробуждение для нее особенно мучительно.

…Во всей квартире страшный мороз, все замерзло, выходить в коридор — значит надевать пальто, калоши, шапку. Мерзость запустения. Водопровод умер, воду надо носить за три версты. Канализация — в далеком прошлом: весь двор полон нечистотами. Это какой-то другой город — не Ленинград, всегда гордый своим европейским, щеголеватым видом. Он напоминает сейчас человека, которого вы всю жизнь привыкли видеть в шикарном коверкотовом пальто, в свежих перчатках, в чистом воротничке, в добротных американских ботинках. И вдруг вы встречаете этого человека в совершенно другом облике: рваного и загаженного, небритого, с дурным запахом изо рта, в опорках вместо ботинок, с грязной шеей.

…Во вчерашнем номере «Ленинградской правды» помещена беседа председателя Ленсовета т. Попкова «О продовольственном положении Ленинграда». После призыва граждан к мужеству и терпению т. Попков говорит о фактах воровства и злоупотреблений в системе продовольственного снабжения Ленинграда.

…Огарок почти догорел. Сейчас погружусь во тьму — до утра…

17 января. Старость. Старость — это усталость изношенных деталей человеческой машины, истощение внутренних ресурсов. Не греет кровь, не ходят ноги, не гнется спина, слабеет мозг, тускнеет память. Ритм старости — медлительный, как ритм горения почти догоревших дров в печи: все тише и бледнее пламя, вот рассыпалось на золотые куски одно полено, другое — и вот уже последние синие огоньки: скоро закрывать трубу.

Сейчас все мы старики. Независимо от возраста. Наши тела и чувства живут ритмом старости… Я видел вчера на рынке девочку лет девяти в огромных дырявых валенках. Она меняла кусок подозрительного студня, — вероятно, собачьего — на 100 граммов хлеба. У нее были смертельно усталые глаза, полуприкрытые тяжелыми веками, согнутая спина, медленная,

шаркающая походка, морщинистое, с опущенными углами рта лицо. Лицо усталой пожилой женщины. Разве можно это забыть когда-нибудь? Разве можно это простить?..

…То, что я записываю, — жвачка. Тяжелая и однообразная. Но для меня эти записи — отдушина, вентилятор для растущего в душе отчаяния, для томительных дней голода. Хотел записывать только простые, суровые факты, но не вышло. Сие от меня не зависит. Чем убить время, отвлечь себя от страшной повседневности?..

23 января, 11 часов утра. Медленно, тяжело, как истощенные люди в гору, ползут дни. Однообразные, замкнутые в себе, больные для замолкшего города. Сердце Ленинграда, заведовавшее его кровообращением, дававшее ему жизнь — электростанции, перестало работать, остановилось. И все члены огромного тела города похолодели, омертвели, стали неподвижными. Не горит свет, не ходят трамваи и троллейбусы, не работают фабрики, кино, театры. В пустых магазинах, аптеках, столовых, где с осени забиты досками окна (от осколков снарядов), кромешная тьма. Лишь слабеньким, чахоточным огоньком мерцает на прилавке коптилка… Над улицами застыли трамвайньк и троллейбусные кабели, радиопровода, густо заросшие снегом. Они висят над головой сплошной белой сетью и не осыпаются, потому что их ничто не заставляет осыпаться…

Остановилось сердце великого города. Но мы знаем — это не смерть, а летаргический сон. Придет час — и побуженный в летаргию великан сначала слегка вздохнет, потом очнется…»

Бросается в глаза литературная отточенность записей Дымова. Как будто он впоследствии тщательно обрабатывал их. Местами дневник похож на рассказ, написанный много лет спустя. Мы проверили это у вдовы покойного — Людмилы Владимировны Шенгелидзе. Оказалось, что дневник подлинный, без поправок и переделок. Именно так писал Александр Дымов при свете коптилки зимой 1942 года, пока его не увезли в больницу. Мы, очевидно, встретились с тем редким в блокадных условиях случаем, когда автор осознанно стремился к художественности, он подбирал краски, сравнения, оттачивал фразы. Этим он занимал себя, сохранял свою духовность, питал ее. Работа духа у каждого проявлялась по-своему: в дневниках Князева — через историю, философию, у Рябинкина — через самоанализ, у Дымова — через литературное творчество.

«24 января, 12 ч. дня. Сегодня день радости. Радиосводка сообщила веселым голосом диктора, что войска отбили Ржев, Холм, Старую Руссу. Может бып это сообщение поддержит сломленный дух Милы. Она теряет способность бороться — это самое скверное. Мне тяжело смотреть на нее — молчаливую, прозрачно-бледную, смотреть в ее смертельно усталые глаза…

25 января, 11 ч. утра. Первобытная жизнь. Без воды, без света, без тепла. Блокада, как фантастическая Машина Времени, отбросила нас далеко назад: к началу 18 века — в смысле уровня культуры. Но ведь в начале 18 столетия было несравненно лучше. Жители Санкт-Петербурга не знали центрального парового отопления, но у них было много дров — и они жарко топили свои патриархальные изразцовые печи. Жители Санкт-Петербурга не знали, что такое электрическое освещение. Но — у них ярко горели в горницах масляные плошки и были в избытке сальные толстые свечи. У нас — нет ни электричества, ни масла, ни свечей. Петровский «Питербурх» не имел водопровода, но в каждом квартале были колодцы, были оборудованы водоемы и проруби на Неве, Фонтанке, Мойке. Воды хватало всем. Мы же забыли, что такое водопровод, но у нас нет и колодцев, нет водоемов, нет коромысел. Сотни людей уныло стоят в длинной очереди за водой с кувшинами, чайниками у какого-нибудь крана в уцелевшей прачечной за три квартала от дома. Стоят часами.

Жители Петербурга 200 лет назад понятия не имели о трамвае и троллейбусе. Но у них были лошади, сани, возки, теплые куньи и лисьи шубы. Город был мал — и пройти его вдоль и поперек тепло одетому человеку было нетрудно.

Мы забыли, что такое трамвай и троллейбус, а об извозчиках забыли 15 лет назад. Но у нас нет ни лошадей, ни саней, ни возков. Мы плохо одеты. Мы голодны, но вынуждены ходить пешком огромные расстояния: город за 200 лет вырос неузнаваемо и средний его диаметр — 30 километров.

25 января, 8 ч. вечера. Черт его знает до какой степени повысилось значение в эти дни такого до сих пор скромного, малоуважаемого органа, как обыкновенный человеческий желудок. Вследствие безработицы и частых простоев из-за отсутствия сырья этот пищеварительный орган взял на себя не свойственные ему функции: все мысли и чувства выходят под его редакцией. Во всяком случае, качество чувств и мыслей сейчас у меня явно желудочного происхождения. И не только у меня. Действительно, грубое вмешательство желудка в мою интеллектуально-чувственную сферу я ощущаю постоянно. Я не желаю его опеки. Ведь кроме пищеварения существуют мировая литература, философия, искусство, техническое изобретательство. Берешь книгу. Перелистываешь страницу. Роман. «Брайтон равнодушным жестом пригласил их к столу. На белом пятне скатерти…» Нет, дальше читать мне запрещено. Противопоказано. Это случай прямого воздействия идеологической надстройки (литература) на базис (желудка). Берешь другую книгу. «Твое поведение, моя милая, дает пищу для всевозможных толков…» Дальше читать нельзя. «Пищу!» Многоуважаемый редактор моих ощущений (мой желудок) немедленно направил их по пути съедобных ассоциаций, хотя в книге слово «пища» употреблено как явная метафора. «Меня пожирает тоска» — написано на 35-й странице. Это тоже метафора. Но моему неумному редактору нет никакого дела до этого. Ему важно вызвать в моем представлении пожирание жирных кусков жареного мяса. Может быть, с давно забытой румяной картошкой. Это — случаи ассоциативного воздействия надстройки на базис.

«Многоуважаемый гражданин редактор! Товарищ Желудок! Я слаб и немощен. Я с великим трудом передвигаю ноги, и лицо мое давно разучилось улыбаться. Я голоден давно, застарелым, хроническим, как ревматизм, голодом. Но я борюсь, чтобы не упасть, потому что упавшего очень скоро затопчет смерть. Я держусь пока и даже пишу записки — «Записки из мертвого города». Все это так. Но я не разучился еще мыслить, читать книги, я хочу пофилософствовать. Вы мешаете мне, гражданин редактор, заниматься всем этим. Я ежеминутно ощущаю вашу власть, ваш гнет, ваше вмешательство в мои внутренние дела. Давайте будем друзьями, не надо меня мучить. Вы хотите, чтобы я смотрел на все окружающее вашими глазами. Вы на этом настаиваете. И в большинстве случаев вам это удается. Но это ненормально, я протестую, я требую, чтобы вы снова работали по своей основной специальности, освободив от своей опеки и прямого влияния сферы, вам недоступные. Я хочу читать книги и воспринимать их содержание так же, как прежде, а не в вашей интерпретации и не с вашей узкотенденциозной точки зрения. Я хочу думать не только о жратве, а о многом другом, не имеющем к ней никакого отношения. Я хочу мечтать о будущем. Прекрасном будущем. Но прекрасном не потому, что оно доверху переполнено картошкой, хлебом и подсолнечным маслом. Вы понимаете — я хочу быть человеком. Не мешайте мне в этом. Поверьте, и вам будет легче. Иначе и вам и мне будет стыдно за эти дни.

Откажитесь от своей роли диктатора. Делайте добросовестно свое скромное дело, отдыхайте — ведь у вас сейчас так мало работы. Будьте же здоровы. Примите мое искреннее уважение. Ваш покорный слуга А. Дымов».

Много болтаю. Это скверно. Но так хочется заполнить чем-нибудь зияющую пустоту бесконечных вечеров.

Сейчас тоже вечер. Такой же, как и десятки других, — ледяной, молчаливый, медленный. За окном тьма и стужа. Гремят дальнобойные орудия — враг не забыл о нас. Блокада. Передо мной

— крохотная коптилка, она дает мне иногда возможность писать, иногда не хочет гореть и, подергав хитрым желтеньким глазком фитиля, гаснет. Тогда я погружаюсь во тьму».

Надо было обладать глубоким чувством юмора, самоиронии, чтобы в таком критическом состоянии сочинить это обращение к своему желудку. Чувство юмора в ту пору сохранялось редко, правильнее, пожалуй, считать, что у Дымова был безусловный талант юмора. Как в каждой трагедии, в блокадном Ленинграде то и дело возникали ситуации смешные, их просто не замечали, не отмечали и только потом иногда, задним числом, понимали. Так, один майор ПВО, демобилизованный по ранению, рассказывал о своей женитьбе:

«Взял я ее из мартовского блокадного Ленинграда старушкой — серой, сухонькой, скрюченной. Еле ходила. Кости, обтянутые кожей. Взял с собой на Большую землю. А там через полгода она окрепла, выправилась, стала месяц за месяцем молодеть. Глаза заблестели, поднялись из впадин, волосы тоже ожили, погустели. Кожа натянулась. Потом и румянец появился. Помолодела. Превратилась из старухи в приятную женщину и чем дальше, тем больше все молодела, превратилась в девушку такую молодую и красивую, что мне стало неудобно на ней жениться».

Остатки давнего смущения кое-где еще сквозили в его рассказе, но все это давно превратилось в занятную историю, анекдот, который он рассказывал со смехом…

КРУГ СУЖАЕТСЯ

С начала декабря Юра Рябинкин перестает встречаться с друзьями, нет уже ни сил, ни возможностей для общения, в школу, конечно, он тоже не ходит, да и наверняка она закрыта, остается семья — мама с Ирой — и соседи по квартире. И он, слабея, временами соскальзывая в полубредовое состояние, устремляет свое пытливое внимание на этих людей. Мир сузился, но все равно он бесконечно интересен для него в любой своей малости, каждый человек — вселенная, каждый человек — загадка, тайна, достойная размышления. Все настойчивей пробует он вникнуть в характер Анфисы Николаевны, понять его. Стоит матери заболеть — и все претензии к ней отпадают, юношеский эгоизм отбрасывается, чтобы вновь проявиться спустя день, два. Но в эти «отливы» как бы обнажается основная порода Юры Рябинкина: совестливость, требовательность к себе и, что более всего поражает, отчаянная борьба его души за то, чтобы сохранить себя, не поддаться, устоять… Для этого он хочет понять — кто же он, какой он?

«2 декабря. Что за пытку устраивают мне по вечерам мама с Ирой?.. За столом Ира ест нарочито долго, чтобы не только достигнуть удовольствия от еды, но еще для того, чтобы чувствовать, что она вот ест, а остальные, кто уже съел, сидят и смотрят на нее голодными базами. Мама съедает всегда первой и затем понемножку берет у каждого из нас. При дележке хлеба Ира поднимает слезы, если мой кусочек на полграмма весит больше ее. Ира всегда с мамой. Я с мамой бываю лишь вечером и вижусь утром. Быть может, и поэтому Ира всегда правая сторона… Я, по всей видимости, эгоист, как мне и говорила мама. Но я помню, как был дружен с Вовкой Шмайловым, как тогда я не разбирался, что его, а что мое, и как тогда мама, на этот раз мама сама, была эгоисткой. Она не давала Вовке книг, которых у меня было по две, и т. д. Почему же с тех пор она хотела так направить мой характер? И сейчас еще не поздно его переломить…

Я раньше должен был съесть 2 или 3 обеда в столовках за день плюс еще сытный ужин да завтрак, да так, подзакусить, чтобы быть сытым день. А сейчас я удовлетворяюсь 100 г. печенья утром, ничем днем и вечером тарелкой супа или похлебки. Кроме того, вода. Вода под названием чай, кофе, суп, просто вода. Вот мое меню.

А насчет эвакуации опять все заглохло. Почти. Мама боится уже ехать. «Приедешь, — говорит она, — в незнакомый край…» — и т. д. и т. п.».

Эвакуация! Слово это повторяли не только Рябинкины. Тысячи семей стремились уехать, старались попасть в первые эшелоны отъезжающих, чтобы спастись от голода. Сами добивались, хлопотали. Но были и другие, которым надо было сказать — эвакуируйтесь! Надо было выявить тех, кто нуждался в этом срочно, немедленно. Кроме того, что делалось по устройству «Дороги жизни», райкомы проводили еще малоизвестную, но огромную работу внутри города: коммунисты обходили за домом, квартиру за квартирой.

«Я была внештатным инструктором Выборгского райкома, — рассказывает Екатерина Павловна Янишевская, — и с уполномоченным Воробьевым помогала зимой 1942 года эвакуировать людей на Финской улице. Пришли в один дом вместе с дворником. Темно. В одном углу тусклое пламя коптилки. Лежит гражданка. Осветила ее бледное лицо. Она молчала, смотрела без жизненными глазами, махнула рукой в угол. Там лежала девочка. Как скелет. Обессиленная. У Воробьева было с собой немного спирта. Дали несколько капель. Эти капли сразу же согрели. Обе ожили, повеселели. Глаза вспыхнули. Их, конечно, везти эвакуировать было нельзя. Отправили в спецбольницу… Когда в апреле «Дорога жизни» перестала работать, меня вызвали в райком и предложили поехать директором подсобного хозяйства в Коломяги и

провести там сев».

А дела у Юры Рябинкина все хуже.

«3 декабря. Заболела мама. Сегодня она не вышла и на работу. Температура, ломит кости, тяжесть в ногах… Не водянка ли? И так тяжело, а… Больше ничего не могу писать. Такое упадочное настроение. Сижу в кухне, трещат дрова в печке, а на сундуке рядом лежит больная мать… Боже мой!

По сводке Тихвин взят немцами. Севастополь продолжает обороняться.

Мама больна, Ира — ребенок, от Тины ничего нет, неизвестен и ее адрес, я изнемогаю, изнурен, еле держусь на ногах… Что-то будет дальше?..

4 декабря. Весь день в работе. Встал рано, обегал булочные, достал сахарного печенья, затем ходил на ул. Правды в поликлинику, хотел вызвать врача для мамы — не тот участок, к которому мы принадлежим. Пришлось съездить еще на пер. Матянина, в другую поликлинику. Затем опять очередь, колка дров, страдания.

Мама уволена из обкома (в связи с ожидавшейся эвакуацией. — А. А., Д. Г.). Насчет ее эвакуации и теплой одежды (…). Лежит больная. Врач, приходивший к ней, нашел у мамы грипп, сердечную слабость, откуда опухоль на ногах, боли в боках и т. д. Лечение — питание. А его нет. Итак, мама слегла, у нее тяжелая болезнь, она лишена работы; возможно, что эвакуация пешком будет, но маме с ее опухшими ногами и болезнью, Ире с ее малой силой, мне со всеми остальными заботами о них и о себе, людям с 60-килограммовым, если не больше, багажом, не пройти далекого трехсоткилометрового снежного пути, не пробыть месяца в дороге… И вот финиш всей нашей жизни: замерзшие в дороге и оставшиеся больными в какой-нибудь захолустной больнице или истощенные ежедневным голодом, опухшие, еле влачащие свое ставшее жалким существование…

Вот и все, что сегодня я могу сказать, вернее, смог написать. Остаюсь равнодушен к вестям на фронте, удачные они или нет, безразличен ко всем событиям в политике. Что делается вокруг нас здесь, в квартире? Соседи 6 декабря улетают, 5 и б улетают Тураносовы, а днях эвакуируется с семьей Громов, выезжает в Ташкент семья Кацуры… А мама больна, ей необходимо питание, которого негде взять, необходим покой, я изнурен, истощен, Ира измучена также. Что делать?

5 декабря. Мама права, надо верить всегда в лучшее. Сейчас надо верить, что мы эвакуируемся. Так должно быть. И будет. Хотя мама еле ходит — она поправится, хотя Ира жалуется на боли в левом боку — пройдет! Хотя я и мама не обуты, у нас нет валенок и теплых вещей — мы вырвемся из этого голодного плена — Ленинграда. Но сейчас уже вечер, идет тревога, бьют зенитки, рвутся бомбы… Разыгрывается жутчайшая лотерея, где выигрыш для человека — жизнь, а проигрыш — смерть. Такова жизнь. И. завтра не уезжают. Они уедут на днях. Счастливые люди…

Голод. Жестокий голод!

Понемногу, мало-помалу передо мной встает образ Анфисы Николаевны. Из ее ссор с мужем, во время которых оба раскрывают часть своей жизни, из разговоров с ними, а теперь из глубины души исходившего горестного рассказа И. несколько встал из тумана передо мной этот образ.

Анфисе Николаевне 27 лет. 14-ти лет она уже любила, вернее, была любовницей какого-то грубого человека, который силой и грубостью приучил ее еще тогда к алкоголю. С тех пор она уже не могла оторваться от вина, водки и т. д. С ней были горячки, она валялась пьяная под забором… Но она была дьявольски красива и обворожительна в трезвом виде. Такой, по всей видимости, встречает ее И. Он бросает для нее свою прежнюю жену и дочь, получая письмо, в котором она умоляет его под влиянием какого-то обновления «вырвать ее из этой грязной ямы»,

жениться на ней. И вот жизнь для нее наступает новая. Муж получает 2000 в месяц, жена тратит по 40 р. в день. Езда по санаториям, всевозможные попытки отучить жену от пьянства, ссоры из-за денег… И. сам по себе человек немного неуравновешенный, когда-то он был даже в психиатрической больнице. А жена часто оставляла его перед зарплатой совершенно без денег, пропивая их. Но вместе с тем Анфиса несомненно человек, который в трезвом виде изумителен по характеру. Возможно, что это, конечно, притворство, но все-таки… Во всяком случае, Анфиса Николаевна — это очень трудный по раскрытию характера человек.

6 декабря. Одиннадцать часов утра. И. не уехали. Отъезд их отложили на 2–3 дня. Мама с Ирой отправились в обком. Маме теперь нужно хлопотать о многом. Разрешение на выезд, вылет на самолете или присоединение к партии И., теплая одежда для мамы и бурки мне, приделать замок на дверь. Но у мамы уже совсем мало энергии. Для энергии нужна еда. Еда прежде всего. Она — источник единственный энергии в организме.

Конечный пункт эвакуации у мамы намечен. Это Барнаул, его окрестности. Все дело лишь сводится вообще-то к двум вещам: как ехать и в чем ехать. Тураносова должна была вылететь сегодня утром. Ответ из Смольного, наверное, еще не получен. Это плохо. Хорошо бы, если б нас приписали к группе И.

Маме еще предстоят две трудности. Первая — это обеспечить финансовое наше положение за счет обкома и продажи некоторых вещей, а вторая — договориться насчет увольнения, что гораздо проще.

Итак, задержка из-за теплых вещей — раз и из-за способа эвакуации — два.

Но еще главный вопрос — это еда. Без нее нам не двинуть ног… Мы можем продержаться лишь до числа 13,14, не позже, или до числа 9, 10…

Анфиса Николаевна дала нам вчера граммов 300 гороха, думая, что сегодня уедет. Вот дала бы граммов 800–900!

Мне предстоят еще очень большие трудности. Очиститься от вшей, сходить в баню, в парикмахерскую, убрать книги, достать дрова, выкупить продукты, свести концы со школой. Чувствую, что уже очень недолго осталось мне до того дня, когда я надорвусь и слягу. Но если я слягу, то уж слягу.

Вчера газет не читал, ничего не знаю, не ведаю о событиях. На нашем-то Ленинградском фронте дела плохи, это-то и я хорошо знаю. Даже слышал вчера в какой-то очереди, что запрещена пешая эвакуация, которая производилась по льду Ладожского озера. Людям давали белые маскировочные халаты, и они проходили в них сквозь пургу, по льду, без остановки, без еды 80 километров. Многие не выдерживали и погибали.

Известна песенка: «Кто хочет — тот добьется, кто ищет — тот всегда найдет». Попробую ей следовать.

От Тины нам, разумеется, помощи никакой ждать нечего. Ей есть теперь куда тратить свою зарплату. Самый счастливый из нашей семьи человек. В последнем письме из Кирова она писала, что состояние у нее удовлетворительное. А два или три месяца назад в письме из Бокситогорска жаловалась на недостачу сладкого. Значит, сейчас насчет еды у нее все в порядке. Выбор всех лакомств перед нею, на хлеб и внимания не обращает. А думает ли она о нас? Думает ли? И как думает? Знает ли о голоде в Ленинграде, о бомбежке, артобстрелах? А то, быть может, предалась чревоугодию сейчас?.. Все возможно. Я так оголодал, что не могу заставить себя поделиться крошкой хлеба с мамой. Просто больно, так тяжело за сегодняшнее утро у меня на душе, и я знаю, что так и впредь будет, если я не остановлю себя сейчас… Но как остановить. Больно, больно…»

Вот и любимице семьи, тетке Тине, досталось от бедного, мечущегося в голодной

безнадежности Юры! Он и сам знает, что несправедлив. Не могла она «забыть» про то, как им плохо, не похоже это на нее. Тетка Тина всегда им помогала, Юре было даже неловко (судя по прежним записям), что они так широко пользовались щедростью и добротой тетки. (А нам известно и то, чего Юра уже не узнал: как эта женщина после войны отыскала в далеком детском доме под Вологдой осиротевшую Иру, привезла в Ленинград, заменила ей родителей, выучила ее.)

Но сейчас Юре так плохо, так плохо, и все вокруг ему кажутся (и он сам себе тоже) такими эгоистами, что ему не хочется делать исключение и для далекой Тины. О ней он пишет даже слова особенно обидные («предалась чревоугодию»), потому что и надежда на нее была особенная, даже, может быть, единственная… И еще: мать больна, а Юра не в силах («…не могу заставить себя») поделиться с ней крошкой хлеба. И он ищет, кого еще — но сытого, но благополучного — уличить в этом же грехе. И находит любимую тетку!..

Есть, конечно, страдания, которые смягчают душу, помогают видеть чужое горе, более того, понять его, отозваться ему, на что ранее упоенный своим благополучием человек не способен был. Но есть страдания иные, ожесточающие: за что, почему я должен их нести, почему другие не несут, а я (или мы) мучаемся? Подобные вопросы восстанавливают против других людей, а не против зла.

Сколько обвинений возводил Юра на соседку Анфису Николаевну. Но стоит вдуматься в факты, отбросив Юрины эмоции, — и оказывается, что Анфиса делится с Рябинкиными едой, подкармливает мальчика, несмотря на его колкости, до поры до времени не хочет замечать, как он таскает еду из кастрюли.

Время от времени Юра старается восстановить справедливость, признает доброту и даже щедрость этой женщины, интересуется ее судьбой. Видимо, и она рассказывает о себе достаточно самокритично… Стараясь понять Юру, мы не можем не заметить, как порой под дается душа его темному и жесткому.

«7 декабря. Вчера произошло несколько интересных событий. Мама незаконным образом, договорившись с Громовым, взяла служащую карточку Сухарева, которого отчислили из списков обкома. Вчера мы купили по этой карточке 200 г. макарон, 350 г. конфет и 125 г. хлеба. Все это, за исключением макарон, вчера и съели. Маме еще дали записку к председателю райсовета об отпуске ей жмыхов. Ну да из этого-то ничего не выйдет. Тураносова обещала сегодня приготовить для мамы старые валенки, но я не смог за ними утром сходить — такой сильный мороз. Вчера еще заходила без мамы Бушуева, собирается завтра эвакуироваться пешком, обещала зайти сегодня к 6 вечера.

Эта декада будет решающей для нашей судьбы… Главнейшие задачи, которые следует разрешить, это в чем ехать и с кем ехать. Эх, если бы я хоть раза два подряд покушал досыта! А то откуда мне взять энергию и силу для всех тех трудностей, что предстоят впереди… Мама опять больна. Сегодня спала всего-навсего три часа, с трех до шести утра. Мне просто было бы необходимо сейчас съездить к Тураносовой за обещанной теплой одеждой. Но такой мороз на улице, такая усталость в теле, что я боюсь даже выйти из дома.

Начал вести я дневник в начале лета, а уже зима. Ну разве я ожидал, что из моего дневника выйдет что-либо подобное?

А я начинаю поднакоплять деньжонки. Сейчас уже обладаю 56 рублями наличности, о наличии которых у меня ведаю один лишь я. Плита затухла, и в кухне мало-помалу воцаряется холод. Надо надевать пальто, чтобы не замерзнуть. А еще хочу ехать в Сибирь! Но я чувствую, что дай мне поесть — и с меня сойдет вся меланхолия, все уныние, слетит усталость, развяжется язык и я стану человеком, а не подобием его…

Каждый вечер к нам приходит Игорь, брат Анфисы Николаевны. Анфиса Николаевна его тут кормит как на убой, отдала ему весь запас сухарей. Теперь, если она куда-нибудь поедет, так нам ровным счетом ничего не оставит. Может быть, еще оставит пропуск получать по пол-литра молока каждый день в тубдиспансере за себя у Клинского рынка, месте, которое каждый день подвергается обстрелу, так что идти туда не только далеко, но и опасно для жизни.

Сейчас я похудел примерно килограммов на 10–15, не больше. Быть может, еще меньше, но тогда ужа за счет чрезмерного потребления воды. Когда-то раньше мне хватало полтора стакана чая утром, но сейчас не хватает шести.

8 декабря. А сегодня… сегодня я потерял карточку на масло Сухарева, ту самую, которую мама нелегально себе присвоила на первую декаду. И вот… что теперь делать? Боюсь, смертельно боюсь, что вся эта история с присвоением карточки Сухарева всплывет, и тогда… Жизнь моя обрушится, так же как и жизни мамы и Иры… Я ее потерял — точно знаю — в столовке треста. Быть может, оставил в руках у буфетчицы. Только бы дела не пошло дальше… Только бы… Не знаю, говорить ли с мамой на эту тему. Если у мамы хорошее будет настроение — это малоочевидно, — то поговорю, если нет — об утере умолчу.

Боль, жестокая боль во мне от этой карточки!.. Больше ни о чем не могу и думать.

И еще финал (возможный. — А. А., Д. Г.): карточка оказывается потерянной дома и ее находит Анфиса Николаевна. У нее становится ясный вопрос: как к нам (больше не к кому) могла попасть эта карточка? Обращает внимание на печать — обком союза!.. А эта печать хранилась до последних чисел у мамы. Доводит обо всем до сведения Николая Матвеевича, тот дознается, кто такой Сухарев, — и вот мама идет в трибунал, а там изгнание из партии, расстрел и т. п.

Сейчас три часа дня, а мама ушла на работу в пять утра. Чем-то она занята? Неужели ни на шаг день не подвинет к нам эвакуацию? Ехать, ехать, ехать! Насущный вопрос. Теплая одежда, без теплой одежды никуда не выедешь.

9 декабря. Карточка нашлась у мамы. Я по ней вчера выкупил 200 г. сметаны. Вчера и съели. Да, сегодня еще вот подъели вчерашние 100 г. жира, да дай бог, чтобы 15 г. осталось.

Вчера мама достала и принесла два ватника и теплых штанов. Очередь за валенками.

С самолетом вопрос не решен. Но я имею надежду, что мы полетим. Правда, вот И. с женой отказали в вылете, но Кацуре, жене, разрешили лететь до самой Вологды. Во всяком случае, это дело весьма спорное. Одно время отправка производилась, но сейчас, как мне сказал И., дело замолкло. Списки эвакуируемых резко сокращааются, желающих эвакуироваться — почти все, кому ни скажешь, так что дело становится серьезнее, чем раньше. По словам И., раньше эвакуировали на грузовиках-трехтонках, а теперь идут только полуторатонки».

За «Дорогу жизни» кипело сражение и на Волховском фронте и на Ленинградском, за нее бились зенитчики, и водители, и железнодорожники, никто не жалел себя.

Саму ладожскую трассу все время бомбили, машины гибли, горели, уходили под лед, опускались в воду, и оттуда, из глубины, еще светили зажженные фары, пока мороз не затягивал полынью. Сто с лишним машин потеряно было за эти дни. Беды ледовой трассы происходили не только от нехватки водителей, ремонтников, от плохого льда, от организационной неурядицы. Шла война, где противник тоже наблюдал, думал, и придумывал, и обманывал, и мог перехитрить и превзойти. Фашисты воевали не только с армиями, они воевали и с «Дорогой жизни». Они все интенсивнее бомбили и обстреливали ладожские трассы. А там к тому же задувал сиверик — ветер, который окутывал озеро непроницаемой белой мглой. Ветер морозил машины, срывал мешки, фонари. Что такое трасса? Это пункты обогрева, это медицинские палатки, пункты питания, это склады, это связь, это ремонтные летучки, мостостроители. Все это на льду, на берегах…

Теперь шоссе от Ленинграда до Осиновца асфальтировано. Вместо километровых столбов стоят обелиски с надписью: «Дорога жизни». Ныне они мелькают один за другим за стеклом машины, тогда каждый километр был огромным расстоянием. Это был путь к спасению, Но путь, обозначенный горелыми машинами, выкинутыми вещами, санитарными землянками, могилами…

Недалеко от Всеволожской на этом шоссе стоит памятник «Дороге жизни», и рядом посажена березовая роща: девятьсот берез — девятьсот блокадных дней. А в Осиновце — большой музей «Дорога жизни». Залы его всегда полны народу. Приезжают из Ленинграда, из других городов. Экспонаты деловые — фотографии, карты, портреты, картины, модели кораблей, барж, пирсов, — конкретно рассказывают, как моряки, а потом бойцы «Дороги жизни» обеспечивали город во время блокады, поддерживали его связь со страной. На дворе вокруг музея стоят на постаментах полуторка, трехтонка и автобус. Машины тех лет кажутся трогательно слабыми, маленькими, старомодными. Между тем на них вывезли из города по льду озера больше полумиллиона женщин, детей. На них привозили продукты. Смотришь на них и думаешь, что эта, казалось бы, жалкая техника в то время была могучей в руках людей, воодушевленных идеей спасения и защиты города. В залах музея сохраняется память о тех, кто работал на трассе «Дороги жизни», — зенитчиков, гидрографов, медиков, летчиков, железнодорожников. Лежат их ордена и медали, их часы и пистолеты. В живых остались немногие. Но музей не похож на мемориал. Его экспозиция разворачивается, как сюжетная история со множеством действующих героев.

Полуторка на постаменте как будто прямиком перенесена из дневника Юры Рябинкина, так напряженно думающего о возможности выехать из города. Продолжим его записи.

«Обком выдал маме на эвакуацию денег. Вчера мы считали деньги», у нас наличностью было 1300 с лишним рублей. С 10 декабря мама лишается работы. Я думаю, что если бы был положительный ответ из Смольного, то я бы был так счастлив, как никогда. Этот ответ должен быть, обязан быть, он будет, потому что… да и как ему не быть?! «Кто хочет — тот добьется, кто ищет — тот всегда найдет!»

Хорошо бы улететь 12-го. 11-го выкупить все конфеты на новую декаду и улететь, грызя их. Пожалуй, тогда у меня даже воспоминания об этой жуткой голодовке как-то смягчатся. А ведь что со мной было? Ел кота, воровал ложкой из котелков Анфисы Николаевны, утаскивал лишнюю кроху у мамы и Иры, обманывал порой их, замерзал в бесконечных очередях, ругался и дрался у дверей магазинов за право пойти и получить 100 г. масла… Я зарастал грязью, разводил кучу вшей, у меня не хватало энергии от истощения, чтобы встать со стула, — это была для меня такая огромная тяжесть! Непрерывная бомбежка и обстрелы, дежурства на школьных чердаках, споры и сцены дома с дележом продуктов… Я осознал цену хлебной крошки, которые подбирал пальцем по столу, и я понял, хотя, быть может, и не до конца, свой грубый эгоистичный характер. «Горбатого одна могила исправит» — говорит пословица. Неужели я не исправлю своего характера?»

Редкое свойство у этого мальчика — он умеет видеть себя со стороны. В записи от 9 декабря он обличает себя, прямо по-толстовски, ничего не опуская, ничего не обходя. Он из той породы русских мальчиков, из какой был толстовский Николинька Иртеньев. Да и раньше: и карточка потеряна — это он виноват, и стыд оттого, что карточка незаконная, чужая. Он наворачивает на себя страхи, ужасы, казнит себя, придумывает наказания себе и матери. Это совесть раскачивает фантазию, это как бы бред совести.

В начале декабря «Дорога жизни» еще не стала дорогой жизни для Ленинграда. Она всего

лишь ледовая дорога, и лед на ней плохой, устает, ломается; грузить как следует машины нельзя. Немецкая авиация бомбит дорогу, в воздухе все время идут бои, наши части ПВО пытаются отбивать атаки, несмотря на нехватку истребителей. Машины на Ладоге из-за воронок идут под воду. Доставлять продукты к Ладоге тоже стало трудно, потому что дорога на Тихвин перерезана и надо везти машинами по бездорожью. В результате пока что по ледовой дороге город получает ничтожно мало. Но части 54-й армии наступают в направлении на Войбокало. 9 декабря наши освободят Тихвин. Теперь можно будет наладить подвоз продуктов к Ладоге и эвакуацию населения. Ледовую дорогу через озеро надо будет еще обеспечить надежным прикрытием с воздуха, зенитными частями, прикрыть ее с берегов армейскими частями. Предстояло наладить движение машин, эксплуатацию их, не хватало бензина, смазки, ремонт не был обеспечен. Дорога не справлялась с перевозками, не оправдывала надежд. И только с двадцатых чисел декабря начнет доставлять в город по 700–800 тонн грузов ежедневно. 25 декабря наши войска овладеют районом Войбокало, и тогда начнутся восстановительные работы на железной дороге и можно будет продовольствие везти к Ладоге поездами и людей эвакуировать. Совсем немного остается Юре дотянуть до этих дней. Вот это ощущение быстро тающих сил ленинградцев и вело бойцов 54-й армии в наступление на Тихвин, а водителей автобатальонов и отдельной автобригады заставляло совершать на своих хлипких полуторках, сквозь пургу, заносы, по два, а то и по три рейса в день.

После войны один из авторов работал в Ленэнерго. В кабельной сети. Однажды, это было уже году в сорок седьмом, произошла авария в начале Лиговского проспекта. Пробило кабель, и целый квартал остался без света, без энергии. Искали место повреждения до вечера — не нашли. Стояла зима, мерзлый грунт били ломами, успели проверить одну муфту, она была в порядке. Стемнело. Работы продолжались, потому что без света сидели детская больница и фабрика.

Вел работы мастер Акимов. Это был низкорослый неразговорчивый человек, отличный знаток всего подземного хозяйства. Он, как и другие мастера, работал еще в блокаду. Мастеров было несколько, и каждый знал, что и где на его участке происходило. И на синьках у них все было отмечено. Помимо отметок на синьке, хороший мастер должен был держать в памяти все подробности случившегося. Что за воронка была, был ли тогда мороз или оттепель, и как снаряд разорвался, и если кабель уже ремонтировали, то кто его ремонтировал, потому что у каждого кабельщика своя манера, своя степень добросовестности. Дело в том, что бомбы и снаряды, падая даже в стороне от кабеля, могли взрывной волной нарушить изоляцию, могли сдвинуть грунты так, что постепенно начинало кабель тянуть, рвало его из муфт. Несколько лет после блокады продолжались такого рода аварии. Убраны были развалины, заделаны все пробоины, отремонтированы фасады домов, а под землей как бы продолжался обстрел, падали снаряды и бомбы, и в огромные воронки, давно засыпанные, залитые асфальтом, вдруг рушился электрический ток. Давний взрыв снаряда пробивал кабель. И термин был — пробой, как пробоины на корабле.

Я не знал, как они жили в блокаду, как работали, как питались. Я пришел в район с фронта, демобилизованный, да и они не очень-то рассказывали, это теперь вспоминают, а тогда поскорее забыть старались. В 1943–1944 годах, когда город стал оживать, им, чтобы дать энергию, свет, приходилось наспех под обстрелом латать перебитую осколками сеть, подкидывать времянки. Да и позже, после войны, кабельщикам еще долго доставалось от всех. Мощностей не хватало, трансформаторы выходили из строя, за время блокады они пострадали так же, как страдали дома и люди, подстанции были в ужасном состоянии, все требовали света — магазины, конторы, школы, гостиницы. Сети перегружались, кабели пробивало один за другим. Приборы определяли место повреждения весьма приблизительно, и все решало чутье

мастера, умение видеть, что происходит там, под землей.

У Полякова, у Косолапова, у Полежаева — у каждого из мастеров были свои методы, свои приметы, которые ни передать, ни определить словами нельзя. Никто из них не мог помочь Акимову хотя бы потому, что никто из них не знал его участка, истории этого кабеля, его ремонтов, не знал капризов этой трассы с ее пересечками. И главный диспетчер Кирсанов, который знал весь район, который работал здесь чуть ли не с двадцатых годов, тоже ничего не мог посоветовать. Подвижный его висячий нос на мятом лице принюхивался, мы ходили по трассе взад-вперед, но глаза Кирсанова оставались грустными. Метров сто, а то и полтораста были под подозрением. Это значило еще копать, резать, прозванивать, снова копать, резать… Это значило еще два, три дня работы.

И Акимов и Кирсанов сходились на том, что авария блокадного происхождения. Горел костер на мостовой, кабельщики грелись и грели массу, чтобы заливать муфту. Кругом было темно, дома стояли темные, без света, и уличные фонари не горели, только проезжие машины включали фары. Над котлованом горел фонарь «летучая мышь» с красным стеклом. От этой холодной темноты, от скрипучего снега что-то всколыхнулось в моей памяти. Я почему-то перешел на другую сторону улицы, стал в подворотню, потом пошел в следующую подворотню.

Пожалуй, это было здесь. Только наискосок, на пустырее, стоял тогда небольшой дом. Он развалился на глазах. Как же это все было? Меня, наверное, загнала сюда бомбежка. До этого я шел по Невскому. А еще раньше по бесконечному Московскому проспекту. До штаба армии меня подвез старшина. У Обводного из черного репродуктора звучал женский голос, чуть хрипловатый, неповторимый голос, который с того дня запомнился навсегда. Это Ольга Берггольц читала стихи. Впервые слышал ее. Я постоял у железного столба. Было безлюдно, солнечно. Угловой дом, снесенный бомбой, дымился, пахло паленым. Две женщины сидели на обугленной балке, в ногах у них на санках лежали обломки стульев и золоченая рама от картины. Значит, потом я очутился на Садовой, в квартире Гали, школьной нашей подруги. Комнаты ее были занесены снегом. Оттуда я пошел к Боре Абрамову. Соседи сказали, что он умер. Тогда я отнес продукты матери Вадима… И тогда я очутился у Суворовского.

Все правильно, я восстановил в памяти тот день, это было не так уж сложно; тогда я впервые получил увольнительную в город. Блокада преобразила город неузнаваемо, поэтому все поражало и отпечатывалось в памяти прочно.

Когда началась бомбежка, вернее, когда она приблизилась, я укрылся сперва в одной подворотне, потом перебежал в следующую. Зенитки захлопали рядом, прожектора шарили по небу. Все, что на передовой мы обычно наблюдали издали, сейчас происходило над головой. Неподалеку упала бомба, следом завыла следующая, на этот раз ближе, громче. Вой ее нарастал. В подворотню вбежала женщина с каким-то большим свертком. «Ложись!» — крикнул я, толкнул ее в снег и сам упал на что-то мягкое. Раздался удар, грохот. Дом наискосок стал разваливаться. Женщина закричала. Она кричала от страха. Судя по взрыву, бомба была небольшая; я хотел подняться и вдруг увидел под собой человека — румяное лицо старика. Это было так неожиданно, что я вскочил на ноги, потом нагнулся, потрогал завернутую в простыню фигуру, тронул лицо, волосы — я не сразу сообразил, что в свертке был большой елочный дед-мороз. Женщина, глядя на мой испуг, стала смеяться громко, истерически, освобождаясь от собственного страха.

Я тоже рассмеялся. Этого деда-мороза она несла для большой елки в Дом пионеров…

— Здесь падала бомба, — сказал я Акимову. Мы посмотрели синьку. Там напротив этого дома не было никакой отметки.

— Это было в конце декабря, — сказал я.

В конце декабря Акимов лежал. Он пролежал до середины января, и этот промежуток

времени у него на карте остался без отметок.

Бомба упала как раз на той стороне, влево от подворотни. Осколками пробило створку железных ворот. Это я запомнил хорошо. У меня отпечатался этот момент с фотографической точностью. Наверное, из-за деда-мороза. Авария извлекла его из глубин памяти, где он хранился вместе с прочими подробностями того блокадного дня. Повседневное стирается в памяти: если б я часто бывал в городе, все позабылось бы.

Мы проверили с Акимовым — в створке ворот сохранилась рваная дыра от осколка. Тогда мы стали копать и работали до утра. Я оказался прав. Кабель пробило точно по кратчайшему расстоянию до центра взрыва. Очевидно, тогда появилась волосяная трещина в свинце, и помаленьку туда проникла сырость. Шесть лет она пробиралась. Вот как долго летят осколки блокадных бомб.

Пока копали и ремонтировали, мне вспомнилось, как я проводил женщину с дедом-морозом до Таврического. Я нес ее деда-мороза стоймя, при виде его краснощекого лица и шубы в блестках прохожие удивленно останавливались. У некоторых появлялась слабая улыбка. Так что нести его было приятно. Время от времени я вспоминал свой испуг и смеялся.

Эта история несколько исправила мое тяжелое впечатление от прихода в город. Когда я рассказал в батальоне о своем путешествии, дед-мороз тоже поразил всех и приободрил. «Дед-мороз!» — повторяли все со значением. Меня упрекали за то, что я не зашел к пионерам, не увидел елки и не мог ничего рассказать, как радовались дети и что был у них за праздник, хотя бы как это выглядело. Но зато я запомнил стихи Ольги Берггольц. Тогда у меня была хорошая память на стихи. Я Запомнил и прочитал их.

Конечно, я жалел, что не увидел елки. Особенно я Жалею об этом сейчас. Ничего нельзя исправить в том блокадном вечере, ничего больше не удается увидеть, рассмотреть в нем. Впрочем, он все же пригодился тогда, в сорок седьмом году, когда мы ликвидировали аварию на Литовском проспекте.

В конце декабря, а точнее, 25-го, будет объявлена прибавка: рабочим на 100 граммов хлеба, служащим, иждивенцам и детям на 75 — им теперь не по 125, а по 200 граммов хлеба в сутки!

В начале января будет построена дорога, которая позволит машинам прямо от железнодорожной станции ехать на Ладогу без перегрузки. А в начале марта в городе пойдет первый трамвай: очистят пути, восстановят сети — и по рельсам, звеня, покатятся красные вагоны. Люди будут кричать «ура».

Будет выдаваться клюква.

Суп станут давать в столовых без вырезки талонов.

А затем каждому горожанину дадут дополнительно полтораста граммов жиров.

Весь январь шла огромная работа по налаживанию дороги через Ладогу.

Однако в январе она работала еще плохо. График не выполнялся. Много машин ломалось. Ремонтировали медленно, недоставало запчастей.

Задача была вывезти из Ленинграда в феврале 100 тысяч человек, в марте — 200 тысяч. Это против 11 тысяч фактически эвакуированных в январе.

А Юра Рябинкин живет еще в декабре. Ему дотянуть бы до конца года, а потом как-нибудь до февраля, до марта! Но для него теперь день — за месяц, неделя — за год…

ПОСЛЕДНИЕ СТРАНИЦЫ

«9 декабря (продолжение). Сколько еще чистых страниц осталось в дневнике? Раз, два, три… Тридцать шесть… А было… было двести. Через полмесяца уже полгода этому дневнику, полгода войны. Много я писал в этом дневнике. Сперва мои записи носили описательный характер, затем сменились лирическими. Каждый прожитый мною день дает еще одну страницу, а то и две. И сколько раз запись дня начиналась о голоде, о голоде и холоде? Сейчас, когда я вижу перед собой перспективу эвакуации, я как-то замалчиваю эти мысли. Но вот исчезни эта надежда… Что будет? Чем я буду жить? А сейчас опять не то обстрел, не то тревога. Что-то где-то бьет, слышно. Мама во Дворце труда. Там, под обстрелом… Ей надо опечатать имущество обкома, фонд. Разрешится ли сегодня наша надежда о вылете? Или нет?..

Пора кончать. И без того целый лист перемарал без толку своими «лирическими» отступлениями. Вернусь-ка к реализму. Что нам сегодня поесть придется? Хорошо, если в столовке отпустят по талонам за 2-ю декаду. А то без ничего будем сидеть весь день. Весь день… Сутки…

10 декабря. Декада к концу. А дела наши с эвакуацией… Вопрос все еще остается открытым. Как это мучительно! Знаешь, что с каждым днем твои силы иссякают, что ты изнемогаешь от недоедания день ото дня все больше и больше, и дорога к смерти, голодной

смерти, идет параболой с обратного ее конца, что чем дальше, тем быстрее становится этот процесс медленного умирания… Вчера в очереди в столовой рассказывала одна гражданка, что у нас в доме уже пять человек умерло с голода… А самолеты летят до Вологды… Каждому прибывающему дается целых 800 г хлеба и еще сколько угодно по коммерческой цене. И масло, и суп, и каша, и обед… Обед, состоящий не из жидкости, а из твердых тел, именуемых: каша, хлеб, картофель, овощи… Какой это контраст с нашим Ленинградом! Вырваться бы из этих чудовищных объятий смертельного голода, вырваться бы из-под вечного страха за свою жизнь, начать бы новую мирную жизнь где-нибудь в небольшой деревушке среди природы… забыть пережитые страдания… Вот она, моя мечта на сегодня.

«Кто хочет — тот добьется, кто ищет — тот всегда найдет!» Но когда Лебедев-Кумач составил слова к этой песенке, не думал он… Правильна народная мудрость: «Человек закаляется в несчастье», «Весь характер человека проявляется у него полностью лишь в несчастье». Таков и я. Несчастья не закалили, а только ослабили меня, а сам характер у меня оказался эгоистичным. Но я чувствую, что сломить мне сейчас свой характер не под силу. Только бы начать! Завтра, если все будет, как сегодня утром, я должен был бы принести все пряники домой, но ведь я не утерплю и хотя бы четверть пряника да съем. Вот в чем проявляется мой эгоизм. Однако попробую принести все. Все! Все! Все!!! Все!!! Ладно, пусть уж если я скачусь к голодной смерти, к опухолям, к водянке, но будет у меня мысль, что я поступил честно, что у меня есть воля. Завтра я должен показать себе эту волю. Не взять ни кусочка из того, что я куплю! Ни кусочка! Если эвакуации не будет — у меня живет-таки надежда на эвакуацию, — я должен буду суметь продержать маму и Иру. Выход будет один — идти санитаром в госпиталь. Впрочем, у меня уже созрел план. Мама идет в какой-нибудь организующийся госпиталь библиотекарем, а я ей в помощники или как культработник. Ира будет при нас».

Дневник для Юры все более становится средством, помогающим во что бы то ни стало удержать себя от сползания, которое уже началось! Стыдом удержать себя! Нет у Юры другого оружия в борьбе с голодом, в борьбе с тем, что, как утверждали многие, «правит миром». И чтобы заострить свое оружие, Юра заостряет свою вину. Мало того: специально записывает в дневник все, за что будет и после смерти стыдно. Мать (или кто-то еще) прочтут ведь! А смерть — вот она, рядом. И она отдаст дневник в руки матери. Саму мысль о смерти Юра использует, чтобы укрепить себя, свою волю. Теснимый, обгладываемый голодом, Юра сдает позицию за позицией. А дневник — как последнее средство! — становится все более откровенным, страшным. Вот что ты делаешь, вот что будет читать мама, люди будут читать, узнают о тебе… Он и маму начинает любить больше, чем в мирное время. Совесть одолела страдания, раскрыла его сердце, сделала его еще более отзывчивым.

«Сегодняшний вечер даст мне лишь одни слезы. Я это знаю. Мама голодная, холодная. Дров у нас мало, почти нет, теплого она ничего не достанет, съестного также, измучается, издергается… Из Смольного придет отрицательный ответ, или вопрос все еще останется открытым. Жмыха и дуранды не достанет. Утром, перед ее уходом, плакала Ира — плохая примета, неужели и я стал верить в приметы? Наверное, так. Какие мрачные мысли лезут мне в голову! Все горько, все уныло, голодно, холодно стало на этом свете. Все мысли стремятся к одной еде да еще к теплу. На улице мороз — 20–25 градусов. В комнате, хотя и топилась печка, холод такой, что у меня замерзли ноги и по спине бегает дрожь. И ведь дай мне съесть буханку хлеба!.. Я оживу, я засмеюсь, я запою песни, я… что говорить…

На часах одиннадцать утра… А впереди — день, вечер, ночь. А там… там новый день, новая порция хлеба в 125 г. Новая декада. Конфеты… Медленно угаснет во мне жизнь, как

медленно перевертываются страницы этого дневника… Но медленно и верно!

У меня такое скверное настроение и вчера и сегодня. Сегодня на самую малость не сдержал своего честного слова — взял полконфетки из купленных, а также граммов 40 из 200 кураги. Но насчет кураги я честного слова не давал, а вот насчет полконфеты… Съел я ее и такую боль в душе почувствовал, что выплюнул бы съеденную крошку вон, да не выплюнешь… И кусочек маленький-маленький шоколада тоже съел… Ну что я за человек! У мамы вчера сильно распухла нога, с эвакуацией вопрос открытый, в списки треста № 16 маму включить нельзя, одна надежда на Смольный. Смольный даст нам троим, маме, мне и Ирине, жизнь или смерть. У нас после сегодняшнего дня осталось только 200–300 граммов крупы на вторую декаду да 300 граммов мяса. Конфет тоже всего 650 граммов, правда, еще сахара Ирине 200 граммов должны получить. У мамы ее карточка уже полуиспользована на 2-ю декаду, в запасе лишь Иринина (150 г.) да моя — 180 граммов… А внешне мы готовимся к эвакуации, собираем вещи, приготовляемся…

Меня уже не радует начавшееся по всему фронту наше наступление, отбит Тихвин, Елец, немцы бегут на ростовском направлении к Мариуполю и Таганрогу, на московском направлении наши части начинают гнать немцев с завоеванных ими областей, из-за отсутствия антиобледенителей сотни немецких самолетов бездействуют, почему немцы и не бомбят Ленинград эти дни, развертывается все шире партизанская война в Югославии, немецкие части несут большой урон от англичан в Ливии, лишь Япония продолжает бить США, нанося чрезвычайно эффективные удары, но ее постигнет участь та же, что получит и Германия от нас. Эх, если бы только разрешили вылет на самолете! Только перенесший большое горе, большие страдания может ощутить в полной мере счастье, какое только существует на земле. Через две декады Новый год. Где-то будем мы, что будет с нами? В эту новогоднюю ночь осиротеют новогодние игрушки в диване, не будет для них елки, негде им будет показаться во всем своем блеске и наряде. Не до елки будет каждому человеку в Ленинграде в эту ночь. Как сон мы вспомним, если будем живы, прошлогодние рождественские вечера, елки с горящими свечами, обильный пряностями, закусками и другими сладостями ужин, какой всегда имел место на 1 января… Может быть, а впрочем, что загадывать наперед, что с тобой может случиться?.. Как проведет эту ночь Тина? Где будут ее мысли ровно в 12 часов ночи 31 декабря 1941 года, когда сорвется последний листок календаря и откроется новый чистый свежий календарь 1942 года?.. Время летит, летит…»

Юра не понимает, какое значение для Ленинграда Тихвин. Освобождение Тихвина сразу сокращало маршрут подвозки продуктов к Ладоге, сам Тихвин становился главной перевалочной базой…

Но все равно Ладога еще не справлялась с заданием, не хватало дорожных частей. Количество машин сократилось из-за потерь, много было разбито, ушло под воду, ждало ремонта. А ремонтников не хватало. На железной дороге от Тихвина до Войбокало надо было восстановить разрушенные мосты.

«Сейчас мама ушла в трест № 2 к Тураносовой осведомиться насчет отправки из Ленинграда и валенок.

Анфиса Николаевна ходит злая и угрюмая. Понятно отчего. Запасы сухарей и крупы у нее кончились, послезавтра она последний раз получает молоко в тубдиспансере, а об эвакуации ее вопрос также остается открытым. Вот и бесится, боится, что будет недоедать. Ну что ж, смеяться над чужим несчастьем не нужно, дай бог, чтобы наступило на всем земном шаре такое время, когда ни один человек не знал бы, что такое голод.

Страницы моего дневника подходят к концу. Кажется, что сам дневник определяет мне

время своего ведения…

12 декабря. Сейчас мама ушла в карточное бюро. От этого зависит вся моя дальнейшая жизнь. Если история эта всплывет наружу, я могу даже покончить с собой. Впрочем, что так бы и вышло. Мне тогда, выросшему в почти беззаботной, счастливой, райской, как мне кажется, обстановке, жить мне тогда — значит вечно мучаться, пока голод или немецкая пуля не прекратят мое жалкое влачение. Что-то будет тогда с Ирой, с мамой… Выехать из Ленинграда, даже вылететь, если бы ответ из Смольного был бы положителен, удалось бы только в январе месяце. А опухнуть и умереть от водянки можно в неделю, а отправиться на тот свет от шального осколка или грядущих быть ОВ и в одно мгновение.

Но наружно я должен не унывать. Иначе — все. Все не для меня (для меня все уже настанет, быть может, через… ну, время назвать не могу — в любое мгновение), но все для мамы, Ирины. Прольет Тина слезы на дальней стороне, вспомнит всю нашу прошлую жизнь, пожалеет кое о чем, да и через полгода станет опять такая ж… Пройдет полгода, год, война кончится, настанет прежняя счастливая жизнь в нашем городе. Истлеют наши трупы, в пыль рассыплются кости, а Ленинград будет вечно стоять на берегах Невы гордый и недоступный врагу.

Сколько людей каждый день умирает в Ленинграде! Сколько голодных смертей! Только сейчас я представляю себе город, осажденный врагом. Голод несет смерть всему живому. Только на себе испытавшие голод могут понять его. Вообразить же его неиспытавшему человеку невозможно.

Но зачем такие грустные мысли, столько меланхолии? Вспомянешь, бывало, оду Державина «На смерть кн. Мещерского» да и задумываешься над концом. Раз нам дали жизнь, этот бесценный дар природы, так зачем же думать о плохом в ней? Думай лишь о хорошем, бери от жизни все те удовольствия, какие она может дать. Что терять?

Все это так, но какой-то тайный червь грызет втайне мою душу. Человек никогда не удовлетворяется настоящим. Ему надо еще хоть самое мизерное улучшение, что-то новое в будущем. Можно вправе сказать, что «надежды юношей питают», внося еще одну поправку, а именно: под юношами подразумевать всех людей.

Третий час ночи. Ира спит, я пишу дневник».

Странно, он вспомнил стихотворение, которое в русской поэзии, может, с наибольшей силой раскрывает философию смерти:

…Едва увидел я сей свет,
Уже зубами смерть скрежещет,
Как молнией, косою блещет
И дни мои, как злак, сечет…
Жизнь есть небес мгновенный дар;
Устрой ее себе к покою
И с чистою твоей душою
Благословляй судеб удар.

Ему, Юре, хотелось бы проникнуться этим высоким отношением к жизни и смерти. Но и взрослому это трудно, а уж юноше тем более.

Подступили вплотную дни отчаянной борьбы, самого тяжелого испытания, которое Юра Рябинкин успеет еще пройти. Неокрепшая душа его стала ареной борьбы между совестью и голодом. Это просто сказать — борьбы. Но надо представить себе все реально. Конечно, долг,

любовь к маме и сестре, стыд, воспитанная порядочность, честность — все это противостояло голоду; но голод — он рос с каждым днем, он не считался ни с чем, и какие бы запреты ни воздвигал себе Юра, голод не подчинялся. Заставлял брать, запихивать в рот довесок хлеба — чужой!

Ничего Юра не мог поделать с собой. Как мучается он, корчится от стыда и отвращения к себе, клянется и снова не выдерживает, нарушает клятву, он падает, низвергается и все же не сдается, он продолжает казнить себя, следит за собою… Вот эта борьба, почти безнадежная, но которую Юра вел до конца, — самое дорогое в истории его короткой жизни.

«12 декабря (продолжение). Мамы нет дома. Через полчаса, а то и немного раньше надо сходить в столовку треста. Итак, сегодня уже 12 декабря. Кстати, это, кажется, уже IV годовщина дня выборов в Верховный Совет СССР. Сегодня я прямо заявляю, что больше месяца мы в Ленинграде не проживем. Это как 2Х2 = 4. Сейчас стук в дверь — бегу отворять, сердце тревожно забилось в груди, отворяю… не мама, а Анфиса Николаевна…

5 часов вечера, а мамы нет. Значит, это что-то плохое. Либо дело с карточкой всплыло, маму, быть может, даже задержали в бюро, либо с мамой произошел какой-нибудь несчастный случай, быть может, она сейчас уже в больнице или даже морге… Чем не играет судьба?..

И все это из-за карточки. А почему мама взяла эту карточку? Из-за меня, из-за моего голодного вида. Это я толкнул ее на преступление, я виновник смерти, быть может, или же будущей нищенской жизни мамы и Иры, горя Тины, не говоря уж о зле, причиненном самому себе. Я виновник всего этого! Если бы я не впадал в меланхолию, уныние, было бы не то. Под моим влиянием мама пошла на преступление, я должен перенять кару с нее на себя. Если и это не выйдет, если я погубил все наши жизни, я лишу себя жизни, я должен и могу это сделать. Пойти добровольцем в ополчение и хоть на фронте сделать доброе дело, погибнуть за родину. Погибнуть, не забыть отдать свой долг, «Любишь кататься — люби и саночки возить», «Что посеешь, то и пожнешь».

Если история с карточкой вышла, то я отправлю Тине следующую телеграмму-молнию: «При смерти. Помощь не нужна. Забудь нас. Юра». Но я так писал бы, коли был один. А ведь Ира. Наконец, мало ведь как можно испортить всю их жизнь? Умереть-то легко, а вот поставить Иру на истинный путь!.. Пишешь и чуть не плачешь. Вчера мама говорит: «У меня вся надежда на бога. Вот я и коммунистка, а в бога верую. И Ира тоже». Но на бога надейся, а сам не плошай. И все-таки я чувствую, что, пожалуй, я тоже становлюсь религиозен, смотрю на икону и молю бога, чтобы отвлек от нас это несчастье.

А мамы нет и нет… Шестой ведь уже час вечера, ушла и вот до сих пор нету… А сегодня как раз артобстрел был где-то…

Единственный человек, которому мы дороги, который не покинул бы нас в минуту несчастья, Тина — далеко-далеко, в Канске, в Красноярском крае, за блокадой, за фронтом, за Уралом, за Енисеем, в самой глуши Сибири…

Еще подожду полчаса или час, а затем пойду в трест № 2. Я должен знать, где мама. А если ее там после часу не видели, придется завтра наводить справки по больницам, съездить в морги».

И сползшей вниз по странице рукой: «Что за ужас я пишу, я не могу больше. Боже мой, боже».

«13,14 декабря. Пишу за два дня, что редко со мной теперь случается. Полдня провалялся в постели, вечером сходил в магазин и купил 6 плиток какао с сахаром из сои по 30 р. (пачка —

100 г.) да еще 300 г. сыру по 19 р. кг. По дороге домой случилось несчастье, так что я вернулся домой, имея при себе лишь 350 г. какао да сыр. Была сцена с мамой и Ирой. Мама, вернувшись из райкома, сообщила, что мы занесены в список эвакуирующихся на автомашинах в колонну Наркомстроя, которая по обещанию райкома да райсовета пойдет 15–20 декабря. Завтра как будто еще решится о самолете. Дома еды нет никакой, кроме 100 г, хлеба, которые мама выменяла на пачку табаку. Болит зуб, общее недомогание, в отъезд из Ленинграда как-то не верится, все думы о еде, еле держусь на ногах, так что, несмотря на вести об эвакуации и хорошие новости с фронта (разгром немецкой армии под Москвой, Ростовом, Тихвином), настроение упадочное. Если бы только чем-нибудь подкрепиться, что-нибудь поесть! Как бы я ожил…

15 декабря. Каждый прожитый мною здесь день при-ближает меня к самоубийству. Действительно, выхода нет. Тупик, я не могу дальше продолжать так жить. Голод. Страшный голод. Опять замолкло все об эвакуации. Становится тяжко жить. Жить, не зная для чего, жить, влачить свою жизнь в голоде и холоде. Морозы до 25–30° пробирают в 10 минут и валенки. Не могу… Рядом мама с Ирой. Я не могу отбирать от них их кусок хлеба. Не могу, ибо знаю, что такое сейчас даже хлебная крошка. Но я вижу, что они делятся со мной, и я, сволочь, тяну у них исподтишка последнее. А до чего они доведены, если мама вчера со слезами на глазах говорила мне, что она искренне желала бы мне подавиться уворованным у нее с Ирой довеском хлеба в 10–15 грамм. Какой страшный голод! Я чувствую, знаю, что вот предложи мне кто-нибудь смертельный яд, смерть от которого приходит без мучений, во сне, я взял и принял бы его. Я хочу жить, но так жить я не могу! Но я хочу жить! Так что же?»

И снова через всю страницу детское, незащищенное: «Где мама? Где она?»

«Ну вот и все… Я потерял свою честность, веру в нее, я постиг свой удел. Два дня тому назад я был послан за конфетами. Мало того, что я вместо конфет купил какао с сахаром (расчет на то, что Ира его есть не станет и увеличится моя доля), я еще половину «всего» — каких-то 600 г. полагалось нам на всю декаду — присвоил, выдумал рассказ, как у меня три пачки какао выхватили из рук, разыграл дома комедию со слезами и дал маме честное пионерское слово, что ни одной пачки какао себе я не брал… А затем, смотря зачерствелым сердцем на мамины слезы и горе, что она лишена сладкого, я потихоньку ел какао. Сегодня, возвращаясь из булочной, я отнял, взял довесок хлеба от мамы и Иры граммов в 25 и также укромно съел. Сейчас в столовой я съел тарелку супа с крабами, биточки с гарниром и полторы порции киселя, а домой маме и Ире принес только полторы порции киселя и из них еще часть взял себе дома.

Я скатился в пропасть, названную распущенностью, полнейшим отсутствием совести, бесчестием и позором. Я недостойный сын своей матери и недостойный брат своей сестры. Я эгоист, человек, в тяжкую минуту забывающий всех своих близких и родных. И в то же время, когда я делаю так, мама выбивается из сил. С опухшими ногами, с больным сердцем, в легкой обуви по морозу, без кусочка хлеба за день она бегает по учреждениям, Делает самые жалкие потуги, стараясь вырвать нас отсюда. Я потерял веру в эвакуацию. Она исчезла для меня. Весь мир для меня заменился едой. Все остальное создано для еды, для ее добывания, получения…

Я погибший человек. Жизнь для меня кончена. То, что предстоит мне впереди, то не жизнь, я хотел бы сейчас две вещи: умереть самому, сейчас, а этот дневник пусть прочла бы мама. Пусть она прокляла бы меня, грязное, бесчувственное и лицемерное животное, пусть бы отреклась от меня — я слишком пал, слишком…

Что будет дальше? Неужели смерть не возьмет меня? Но я хотел бы быстрой, не мучительной смерти, не голодной, что стала кровавым призраком так близко впереди.

Такая тоска, совестно, жалко смотреть на Иру…

Неужели я покончу с собой, неужели?

Есть! Еды!

24 декабря. Не писал я уже много дней. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Целых 8 дней не брал в руку перо.

Со мной произошли перемены. Появилось что-то хорошее, как мне кажется, в моем характере. Поворот этому дала потеря мною Ириной карточки на сахар. О, как я тогда подло поступил с мамой и Ирой. Зазевался в магазине и потерял 200 г. сахару, 100 г. шоколада для Иры и мамы и 150 г. конфет. Я хочу перемениться, хочу выковать из себя иной характер, но я чувствую, что без поддержки мамы и Иры мне не протянуть на моей честной новой жизни. Пусть бы они как-нибудь сглаживали, ну, дальше я не могу просто выразиться. Сегодня я в первый раз за много уже дней принес домой полностью все конфеты, выкупленные в столовой, делюсь с Ирой и мамой хлебом, хотя иной раз еще украдкой стяну крошку. Но сегодня я почувствовал к себе такое теплое обращение от мамы и Иры, когда они взяли и отделили мне от своих конфеток: мама — четверть конфетки (впрочем, потом опять взяла себе), а Ира — половину конфетки за то, что я ходил за пряниками и конфетами и лепешками из дуранды в столовую, что я чуть было не расплакался. Это люди, те люди, которых я так обманывал раньше и которые знают теперь про мои прошлые обманы! Да, чего только не может сделать хорошее обращение! Но затем… та же мама у меня взяла пряник, пообещав лишнюю конфету (а лишнюю конфетку получила сама), а та же Ира плакала, что мама дала и ей и мне одинаково по конфетке, а я потом еще Ире от своей конфетки дал, так что конфеток-то Ира съела больше. Правда, сегодня мой грех: утаил от мамы и Иры один пряник… Ну… это вот плохо.

Маме что-то обещают в райкоме, что ее эвакуируют 28/XII… Сейчас мама пошла в райком насчет этого дела, если эвакуация будет отложена на 1 января, мы погибли, т. к. у нас осталось только талонов на два дня, еле-еле на три. Не больше.

Мамино здоровье все более ухудшается. Опухоль у уее идет уже к бедру. Я завшивел окончательно… Я и Ира немного опухли на лицо. Сегодня кончили конфеты. Завтра — крупу. Послезавтра — мясо и масло. А затем, затем…»

Реальность такова, что человеку порой хочется ущипнуть себя, проверить: я ли это, не сплю ли я, со мной ли это происходит? Но это ты, ты — и деваться некуда от правды. Твоя, а не чья-то жизнь оканчивается, почти окончилась в шестнадцать, в каких-то шестнадцать лет! Юра то уклоняется, прячется от этих мыслей, от очевидности, то вдруг бросается навстречу правде, всей правде — с горечью, с жалобой, с отчаяньем.

И — с благодарностью. За то немногое, что он успел, познал, за все, что совсем не ценил вчера, благодарит Юра жизнь, которая так безжалостно от него отвернулась…

Пройти ее из конца в конец — такую недолгую — совсем не сложно. Это как по квартире пройтись. И Юра, завершая свой дневник, свой крестный блокадный путь, ощутил эту потребность — еще раз, может быть, в последний раз обойти страшную, стылую, блокадную квартиру, в каждом уголке которой теплится воспоминание о совсем другой поре, когда жизнь была бесконечной.

Это последний Новый год Юры Рябинкина…

«Тихая грусть, гнетущая. Тяжело и больно. Печаль и тяжкая безотрадная скорбь. Может быть, и еще что. Только вспоминаются дни, вечера, проводимые здесь, когда я выхожу из кухни в нашу квартиру. В кухне есть еще какой-то мираж нашей прошлой довоенной жизни. Политическая карта Европы на стене, домашняя утварь, раскрытая порой для чтения книга на столе, ходики на стене, тепло от плиты, когда она топится… Но мне хочется обойти опять всю

квартиру. Надеваешь ватник, шапку, запоясываешься, натягиваешь варежки на руки и открываешь дверь в коридор. Здесь мороз. Изо рта идут густые клубы пара, холод забирается под воротник, поневоле поеживаешься. Коридор пуст. Один на другом стоят поставленные Анфисой Николаевной четыре стула ее, да у стенки поставлены доски от расколотого на дрова шкафа. У нас было 3 комнаты. Сейчас вправе назвать себя владельцами лишь двух из них. Крайняя к кухне занята И. О них нечего говорить. Весело топится у них в комнате буржуйка, вкусный запах идет из-под их дверей, счастьем, чувством сытости светятся лица жильцов этой квартиры. И рядом… пустая комната, оклеенная коричневыми обоями; окно разбито, гуляет холодный ветер с улицы, голый дубовый стол у стены и голая этажерка в углу. Пыль и паутина по стенам… Что это? Это бывшая столовая, место веселья, место учебы, место отдыха для нас. Здесь когда-то (это кажется давным-давно) стояли диван, буфет, стулья, на столе стоял недоеденный обед, на этажерке книги, а я лежал на диване и читал «Трех мушкетеров», закусывая их булкой с маслом и сыром или грызя шоколад. В комнате стояла жара, а я, «всегда довольный сам собой, своим обедом и…», последнего у меня не было, но зато были игры, книги, журналы, шахматы, кино… а я переживал, что не пошел в театр или еще что-нибудь, как часто оставлял себя без обеда до вечера, предпочитая волейбол и товарищей… И наконец, каково вспоминать ленинградский Дворец пионеров, его вечера, читальню, игры, исторический клуб, шахматный клуб, десерт в его столовой, концерты, балы… Это было счастье, которое я даже не подозревал, — счастье жить в СССР, в мирное время, счастье иметь заботившуюся о тебе мать, тетю, знать, что будущего у тебя никто не отымет. Это — счастье. И следующая комната — мрачная, унылая полутемная клеть, загруженная всяким добром, что осталось у нас. Стоит комод, разобранные кровати, два письменных стола один на другом, диван, все в пыли, все закрыто, упаковано, лежать тут хоть тысячу лет…

Холод, холод выгоняет нас и из этой комнаты. Но когда-то здесь была плитка, на ней жарился омлет, сосиски, варился суп, за столом сидела мама и долго ночами работала при свете настольной лампы…

Здесь, бывало, вертелся патефон, раздавался веселый смех, ставилась огромная, до потолка елка, зажигались свечи, приезжала Тина, приходил Мишка, на столе лежали груды бутербродов (с чем их только не было!), на елке висели десятки конфет, пряников (никто их не ел), чего только не было! А ныне здесь пусто (кажется, что так), холодно, темно, и незачем мне заглядывать в эту комнату.

Кухня, одна кухня — место, где протекает наша домашняя жизнь. Здесь мы едим (если есть что положить на язык), здесь мы согреваемся (если есть чем топить плиту), здесь мы спим (когда немного меньше покусывают вши), здесь — наш уголок.

Квартира запустела. Жизнь в ней совсем затихла. Она как бы застыла, превратилась в сосульку, а таять ей только по весне…»

После этой записи в общей тетради с черным корешком — дневнике Юры Рябинкина — еще три страницы.

«3 января. Чуть ли не последняя запись в дневнике. Боюсь, что и она-то… и дневник-то этот не придется мне закончить, чтобы на последней странице написать слово «конец». Уже кто-нибудь другой запишет его словами «смерть». А я хочу так страстно жить, веровать, чувствовать! Но… эвакуация будет лишь весною, когда пойдут поезда по Северной дороге, а до весны мне не дожить. Я опух, каждая клетка моей ткани содержит воды больше, чем нужно. Распухли все, следовательно, внутренние органы. Мне лень передвинуться, лень встать со стула, пройти. Но это все от избытка воды, недостатка еды. Все жидкое, жидкое, жидкое… И опух.

Мама порвала со мной с Ирой. Они оставят меня, у мамы уж такая сейчас стала нервная система, что она готова позабыться, и тогда… Как это уже бывало, как она мне каждый день говорит, тогда она с Ирой как-нибудь выберутся отсюда, но не выбраться мне. Какой из меня работник? Какой из меня ученик? Ну проработаю я, проучусь неделю, а там и протяну ноги… Неужели это так и будет? Смерть, смерть прямо в глаза. И деться от нее некуда. В больницу идти — я весь обовшивел… что мне делать, о господи? Я ведь умру, умру, а так хочется жить, уехать, жить, жить!.. Но, быть может, хоть останется жить Ира. Ох, как нехорошо на сердце… Мама сейчас такая грубая, бьет порой меня, и ругань от нее я слышу на каждом шагу. Но я не сержусь на нее за это, я — паразит, висящий на ее и Ириной шее. Да, смерть, смерть впереди. И нет никакой надежды, лишь только страх, что заставишь погибнуть с собой и родную мать, и родную сестру.

4 января… А впереди еще целый месяц до улучшения с продовольствием и отъездом. Что с нами будет к концу этого месяца, в каких нищих мы превратимся, если только нас не вырвет отсюда какой-то наисчастливый дар фортуны, милость бога, небесное спасение даст нам эвакуацию завтра, послезавтра, до середины 2-й декады… Только какой-то именно, только бог, если такой есть, может дать нам избавление. Пусть он спасет нас теперь, никогда, никогда не придется мне уж обманывать мать, никогда не придется мне порочить свое чистое имя, оно опять станет у меня священным, о, только бы нам была дарована эвакуация, сейчас! А я клянусь всею своей жизнью, что навечно покончу со своей гнусной обманщицкой жизнью, начну честную и трудовую жизнь в какой-нибудь деревне, подарю маме счастливую золотую старость. Только вера в бога, только вера в то, что удача не оставит меня и нас троих завтра, вера на ответ Пашина в райкоме — «ехать» — только это ставит меня на ноги. Если бы не это, я погиб. Но я хочу остаться, вернее, хотел бы, да не могу… Только завтрашний отъезд… Я сумею отплатить хорошим по отношению к Ире и к маме. Господи, только спаси меня, даруй мне эвакуацию, спаси всех нас троих, и маму, и Иру, и меня!..

6 января… Я совсем почти не могу ни ходить, ни работать. Почти полное отсутствие сил. Мама еле тоже ходит — я уж себе даже представить этого не могу, как она ходит. Теперь она часто меня бьет, ругает, кричит, с ней происходят бурные нервные припадки, она не может вынести моего никудышного вида — вида слабого от недостатка сил, голодающего, измученного человека, который еле передвигается с места на место, мешает и «притворяется» больным и бессильным. Но я ведь не симулирую свое бессилие. Нет! Это не притворство, силы (…) из меня уходят, уходят, плывут… А время тянется, тянется, и длинно, долго!.. О господи, что со мной происходит?

И сейчас я, я, я…»

Нам легче читать не про сами страдания, а про их преодоление, в этом мы признаем смысл — в борьбе, которая выиграна, в гибели, которая оправданна. Но жизнь не всегда дарит нам такие оправдания. Юре оно не было дано. Мы ничем не можем помочь Юре, мы можем только сострадать ему. И оттого, что помочь нечем, и оттого, что самому Юре не найти выхода и нам не в чем упрекнуть его, — от этого сострадание сильнее.

Мы следим за его борьбой с собственными слабостями, его победами, а ему плохо, ему очень плохо. Ему так нужно, чтобы его кто-нибудь пожалел. Просто пожалел. Мать издергалась до предела — на грани голодного безумия; Ира — истощенный замученный ребенок; ну а соседям И. не до него… Кому же во всем, во всем мире он нужен, кому до него дело? Юра уже и сам не верит, что кому-то он нужен вот такой — сонно-вялый от водянки, обовшивевший, со всем его «преступным» прошлым (тайком съеденные кусочки хлеба, ложка каши из кастрюли Анфисы Николаевны вырастают в его сознании до проступков непростительно тяжелых). И этот

мальчик всем, всему миру (даже богу, «если он есть») обещает искренне, трогательно, что всегда будет честен, добр, заботлив, а у матери будет счастливая, спокойная старость. Это не хитрость погибающего существа. Он искренне мучится сознанием, что его слабость, бессилие (а мы уже знаем, что он в этом действительно неповинен: мужчины раньше женщин соскальзывали к подобному состоянию) погубит и мать и сестренку, и готов собственной жизнью заплатить за их спасение. Но виноват ли он, что ему так хочется жить, жить?..

Юра, как и все его сверстники, никогда не считал, что надо чем-то доказать, заслужить право на высокие мечты, надежду на счастливое, содержательное будущее, а тем более право на жизнь. Что может быть естественнее этого права? Мечты — пусть, надежды — ладно, но чтобы и право на жизнь, просто жизнь, нужно было доказать, заслужить?!. Но именно такое время пришло, такой момент подступил: смерть, смерть на каждом шагу. Все отнято у него: тепло, пища, даже любовь матери, которая (как Юре кажется) все больше сживается со страшной мыслью, что если еще и можно спасти хотя бы Иру, то лишь задавив в себе жалость к налитому водянкой, обессилевшему сыну, который уже неспособен даже выйти, выехать из города, если они и получат разрешение на эвакуацию… (Повторим, так кажется Юре, так зафиксировано в его дневнике, а как и что на самом деле чувствовала мать, как узнаешь об этом?)

На что, на кого ему, обессилевшему, опереться, как уйти от смерти, вырваться туда, где жизнь, где какое-то будущее?.. И не какое-то, а выверенное страданиями немыслимыми, муками тяжелейшими! Это будущее, жизнь свою — если ему ее подарят — Юра видит как служение другим, честность, скромность, доброту. Он и сейчас готов — хотя так хочется жить, жить! — пожертвовать собой, только бы не помешать матери и Ире спастись…

Тем, кто рядом с ним (и Юре самому), кажется, что он опустился, потерял себя, а он поднялся как никогда прежде, обрел себя высшего…

Что же до обращения к богу, то чувство это совсем не церковное — откуда оно могло взяться у Юры? Скорее это обращение к судьбе, мольба к провидению, надежда на случай и на какого-то вполне реального Пашина из райкома. Конечно, тут есть своя сложность. Признаемся, в дни войны были такие страшные, отчаянные минуты, когда невольно обращаешься к чуду; ребенок, тот твердит: «Мама!» — а мы, уже солдаты, правда еще не обстрелянные, тоже тогда взывали к судьбе, к надежде, к видению… Было это, и никуда от этого не денешься.

И вот наступил этот момент — день эвакуации. То немногое, что нужно в дорогу и что можно увезти, уложено на саночки. Юра приподнялся с кровати, поискал свою палочку (дневник при нем?), попытался встать, не смог, не сумел, упал на кровать…

ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ

Блокада была противоборством с фашизмом, противостоянием ему на всех уровнях и по всем возможным направлениям: от Ставки в Москве до малого радиуса Г. А. Князева или Юры Рябинкина.

Тот немецкий офицер, который навестившую его невесту «угостил Петербургом» — несколькими орудийными выстрелами, сделанными любопытной и боязливой ручкой патриотки фройляйн (факт, записанный Ольгой Берггольц), — и бывший работник Публичной библиотеки артиллерист Сергей Миляев, у которого в этом «Петербурге» умирающие от голода дети, — оба офицеры-артиллеристы, но один на стороне бесчеловечности, второй — защитник человека и человеческой культуры во второй мировой войне.

Люди, которые изыскивали, изобретали пищу и витамины из бог знает каких заменителей, люди, добывавшие топливо, тепло, оберегавшие детские жизни, культурные и научные ценности, — их вклад в героическое противостояние Ленинграда фашизму, может быть, был не столь очевидным, как залпы Кронштадта. Но это тоже было противостояние, и не менее важное для исхода борьбы на северном фланге бескрайнего фронта.

Работник Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина «неисправимый интеллигент» С. Г. Миляев стал опытным артиллеристом; профессор лесотехнической академии В. И. Шарков создает пищевые дрожжи и прочие заменители, спасшие жизнь тысячам людей; рядовой техник Б. И. Шелищ, понуждаемый самой обстановкой (не стало бензина, электроэнергии), изобретает «водородный двигатель» из подручных материалов, с помощью которого поднимались и опускались аэростаты заграждения.

А врачи! Им приходилось многое открывать заново. Обнаружилось, что мировая медицина поразительно мало знает о голоде, о дистрофии. Иногда кажется, что человечество совершенно по-детски спешит забывать неприятные переживания, обидные, унизительные, к которым относится и массовый голод.

В письме-отклике на публикацию первой части «Блокадной книги» один из ленинградцев рассказал, как он попал в стационар, лежал там десять дней и удивил врача тем, что сильно потерял в весе. Он терял воду (был опухший), приходя в норму, но тогда об этом не сразу догадались. Или трагические случаи в Кобоне, когда вывезенные за Ладогу дистрофики набрасывались на пищу и погибали… На одной из станций, мимо которой проезжали эвакуированные, они прочли плакат: «Горячий привет ленинградцам-дистрофикам!» Люди, это написавшие, начисто забыли даже значение самого слова «дистрофия». Будто и не было 1921 или 1933 годов!..

Жозуа де Кастро сообщает в книге «География голода», что при освобождении заключенных из фашистских концлагерей обнаружилась все та же поразительная забывчивость людей, даже медиков, в отношении болезни, именуемой дистрофией. Заново и не сразу открыли, вспомнили, что наилучшее и первое средство — снятое молоко. А пока вспоминали, освобожденные дистрофики продолжали погибать, несмотря на весь уход и старания врачей.

«До самого последнего времени, — утверждает автор книги «География голода», — вопрос этот, поскольку он затрагивает проблемы социального и политического характера, был одним из табу нашей цивилизации. Это была наша в высшей степени уязвимая ахиллесова пята — тема, которую было небезопасно обсуждать публично…

Для организованного заговора молчания имелось несколько причин. На первом месте стояли соображения морального порядка; голод относится к числу примитивных инстинктов, и на рационалистическую культуру, пытавшуюся всеми средствами утвердить в поведении

человека господство разума над инстинктом, сама постановка подобного вопроса действовала шокирующе…»

Блокадные ленинградцы многое изобретали заново — в условиях самых стесненных. С чем только не приходилось сталкиваться, бороться рядовому блокаднику, которого Г. А. Князев называет пассивным героическим защитником Ленинграда! Голодному, среди трупов, во тьме кромешной…

И он тоже стал специалистом, этот невооруженны защитник Ленинграда, — и не только в деле, к котором его приставил фронтовой город.

О том, как бывшие блокадники относятся к хлебу, об этом писали. Но вот как они по-особому понимают, ощущают человека — об этом сказать стоит. Люди такое пережили, такое видели, узнали о себе и о других, что почти каждый задумывался о человеке, его возможностях и об их пределах и каждый может высказать вам свое суждение об этом. Г. А. Князев судит о человеке со стороны прежде всего духовной. Для него это естественный, «профессиональный», если хотите, угол зрения. От медика вы услышите и о физических возможностях, пределах человеческого организма.

Но чаще, нежели о физических возможностях, блокадники свидетельствуют о духовных проявлениях, резервах человеческих, как это им открылось в те дни и месяцы.

Людмила Николаевна Бокшицкая вспоминает:

«Я пережила блокаду в самом суровом смысле: без запасов, без помощи, но с верой, что скоро кончится. Но наступил момент, уже в декабре 1941 года, когда стало безразлично: не могли пойти выкупить хлеб, не вставали с кровати. Лежали трое: мама, сестра и я. Не реагировали на сигналы тревоги, не слышали, что летят бомбардировщики. И как вы пишете: «У каждого был свой спаситель»… В нашу комнату вошла соседка Надежда Сергеевна Куприянова. Она решила, что и мы уже мертвые, так как в квартире, где было много жильцов, живых уже не было… Увидев, что и мы уже «залегли», что мы уже безразличны к тому своему состоянию, Надежда Сергеевна со словами, что она не даст погибнуть семье такой замечательной женщины, ушла. Скоро она вернулась с дровами. Затопила печку, принесла воду. Сказав, что им в госпитале дали кролика, поставила в печку кастрюлю с кроликом. Варился суп, она нас мыла, отгородив одеялом от основного холода. За эти дни наша угловая комната первого этажа так промерзла, что тепло было только у печки в радиусе одного метра. Только после обеда мы узнали, что это кошка, последняя, наверное, а не кролик. Этот обед и это внимание позволили продержаться до 10 января 1942 года.

8 и 9 января мы опять без ощущения, что с нами происходит, лежали с мамой, две дочери, во всей одежде, не выкупая хлеб, и уже не говорили о нем, как это было раньше. Мама начала шевелиться, что-то, как мне показалось, во сне начала тихо спрашивать. А потом мама как бы с испугом задала вопрос: какое сегодня число? И по тому, что мы два дня не выкупали хлеб, установили, что было 10 января 1942 года. И вдруг мама сказала, что в этот счастливый для нее день мы не должны умирать, сегодня же день рождения Люсены, т. е. мой день рождения. Мы должны сегодня встать и устроиться на снегоуборочную работу. Очевидно, услышала по радио, что требовались рабочие… И теперь эту дату я считаю не только своим вторым днем рождения, но и днем рождения общим, для мамы и сестры. Мы пошли на улицу Скороходова, где был пункт по трудоустройству… Сначала мы делали по три шага и останавливались, но ненадолго, затем по десять шагов… Я помню, как мы считали, чтобы не больше, боясь, что можем не справиться, как мы останавливались, проявляли бдительность, чтобы не замерзнуть»…

Когда слушаешь иные рассказы блокадников, кажется, что все ленинградцы начитались

Достоевского! Тут и «бездна», тут и «небо» души человеческой — все одновременно.

Конечно же не из книг взято это знание пределов человеческих, понимание человека, его взлетов и падений. Знание, понимание, которому блокадник ничуть не радуется: слишком дорогой ценой оно куплено, с очень горькой памятью оно связано.

Блокадник порой даже не соглашается с литературой — великой, бесспорной для нас. Прожив под обстрелами, бомбежкой почти три года, учительница Ксения Владимировна Ползикова-Рубец в своем дневнике спорит «с самим Львом Толстым» о психологии человеческой.

«Я иду пешком до вокзала Новой Деревни. Езжу в поликлинику через день… И никогда не приходит мысль — а может быть, я не дойду? Это не храбрость, а привычка. Лев Толстой не прав, когда говорит: «Прежде Ростов, идя в дело, боялся, теперь он не испытывал ни малейшего чувства страха. Не оттого он не боялся, что он привык к огню (к опасности нельзя привыкнуть), но оттого, что он выучился управлять своей душой перед опасностью…» Мы именно привыкли. Мы ложимся спать под звуки сирены, под вой зениток, под звуки обстрелов, и мы засыпаем без усилий, от физической усталости, от привычки засыпать в эти часы, и будит нас только сила звука. Разумом мы знаем, что опасность нам угрожает, но чувство молчит».

В любом другом случае мы взялись бы отстаивать абсолютный авторитет Толстого. А здесь промолчим. Бывший блокадник знает о себе порой такое, что человеку лучше бы не знать. О себе и о человеке то, что мучит, как осколки в теле.

Это «осколки» — в памяти.

Но блокадники, все испытавшие, в массе своей сохранили глубочайшую веру в человека, в человечность. Память их удерживает всю правду обстоятельств, которые бывали порой сильнее конкретного человека. А потому редко кто говорит с пренебрежением, а не с жалостью о людях, потерпевших моральное поражение. Даже о тех, кто у него выхватывал хлеб в магазине. Слишком жестокими были муки голода, и не каждый в силах был их выдерживать. Особенно снисходительны в своих рассказах женщины, и особенно к мужской части населения, которая вымирала в первую очередь.

«Да, бывало, что выхватывали хлеб (у меня в том числе), но ведь это больные голодом, безумные люди, — пишет Екатерина Васильевна Вовчар. — Ни тогда, ни теперь у меня нет сил обвинять их. Я тоже однажды хотела отнять хлеб, когда у меня дома все умирали и я никак не могла раздобыть хлеба на два дня вперед. Вдруг увидела в булочной женщину карликового роста с целой буханкой хлеба и начала ее преследовать, искать удобный момент, но все-таки опомнилась и пришла в ужас от своих намерений. Очевидно, я была еще не совсем безумная…»

Да, не только о других, но и о себе такое, и очень откровенно, рассказывают некоторые блокадники: память мучит. Это не то знание, которому рады, не то открытие, которым захочешь хвастаться. Но люди рассказывают: их сегодняшний взгляд назад, на себя вчерашнего, на свои вчерашние поступки, переживания выражает и боль, и горестное удивление, недоумение. Неужели я, неужели мы могли так думать, так чувствовать?!! Вот отец ушел и нет его долго — сначала о нем беспокойство, тревога, мать послала дочку по его маршруту искать — не встретила, не нашла, теперь только сожаление о карточке: пропала, кто-то заберет!.. Да и когда посылала, сказала: «Приведи, а если не сможешь — забери карточку».

Или: муж упал на улице, жена с горечью, с болью вспоминает, что первое чувство было не сожаление, что умрет, а испуг — как я его, мертвого, буду тащить, как довезу?

Многое способен вынести человек и остаться человеком. Об этом говорит большинство блокадных рассказов, дневников. Нужно только учитывать всю сложность проявления человеческого… В семьях, где отношения между людьми и до войны были ясные, определенные, высота поведения человеческого достигалась проще и легче, с меньшими потерями. Вот еще

одна ленинградская семья, судьба — Светланы Александровны Тихомировой.

«…25 марта сорок второго года мне хотелось маме какой-то подарок сделать, в свои 14 лет что-то купить ей. Кускового сахара не было, пиленого не было, был сахарный песок. Не помню, по какой норме мы получали. Утром, когда пили чай, мама насыпала сахарный песок в блюдечко отцу, мне и себе. И надо было как-то незаметно от этой порции отделить какую-то часть, ссыпать ее иногда в кулак, иногда оставить в блюдечке, иногда переложить в карман и потом куда-то ссыпать. У меня была такая старинная вазочка. Я собирала сахарный песок в нее. Месяца два, наверное, ушло на это — не всегда удавалось. Отец делал вид, что не замечает, а мама когда шла к буржуйке чай налить — вот в это время я ссыпала. У нас всегда в это время отмокал клей в тарелках на окне — такой, в виде плитки из шоколада, отмокал несколько дней. И этот клей был на завтрак, на обед. Прятала я этот сахарный песок. Когда он мне попадался на глаза, то мне все хотелось палец в него обмакнуть и попробовать. Был случай, когда мне хотелось ночью встать и босиком дойти До этой вазочки.

Когда наступил этот день, я, помню, очень волновалась, и даже ладони были мокрые. Хотелось встать раньше мамы. Я поставила на стол полную вазочку с сахарным песком: накопилось, наверное, граммов 300! Ну, конечно, были слезы. Тут же разделили опять сахарный песок. Так праздновали день рождения.

А отцу еще до этого, в день Красной Армии, я подарила полсухаря. Не помню, как я его сэкономила».

И сегодня поучительно, как блокадник открывал, познавал свои духовные возможности. И их также использовал — взамен сил физических, хлеба насущного. Последнее не фраза, не слова только. Записи Г. А. Князева чем дальше, тем больше раскрывают, как это практически происходило. И самое удивительное, что такая замена хлеба насущного хлебом духовным, компенсация такая — возможна. До определенного, конечно, рубежа, предела…

«1942.1.3. Сто девяносто шестой день войны. Поднимаюсь медленно. Бьется сердце. На каждую ступеньку отвожу до десяти секунд. Наконец и наши двери на площадке третьего этажа. Даю условные звонки: три резких отрывистых. С замиранием сердца прислушиваюсь к шагам М. Ф. Она дома и ждет. Она — моя героическая женщина, безропотно и стойко переносящая все испытания, и прежде всего голод. Как она похудела! Словно не 51 года женщина, а хрупкая тоненькая девушка. Целую ее, чувствую ее, свою родную, близкую жену-друга. Она не потеряла своей женственности и своей исключительной женской опрятности. Светятся ее темные глаза на похудевшем лице. И я гляжу на нее с большим волнением, чем влюбленный юноша на свою возлюбленную. Каким героем показала она себя. Я знал ее 24 с половиной года как жену-друга, но не подозревал в ней такого запаса духовной энергии, воли к преодолению всех трудностей. Она не потеряла ни расположения к людям, ни бодрого веселого тона, ни улыбки, ни светлых внутренней глубиной темных чарующих глаз… Русская дивная женщина?! точнее, русская по культуре, а по рождению, по натуре, по честности, исключительной правдивости и честности зырянка: мать и отец ее были зырянами. Этот замечателный народ под напором более воинственных, жестоких грубых народов был отодвинут в тайгу и тундру, чуть не к самому берегу бескрайнего студеного моря. Я еще в детстве читал в учебнике географии: «Зыряне отличаются особой честностью». Это оказалось правдой. Родная, честная, чистая моя жена-друг!.. Как я счастлив, что мы вместе, дома.

В передней, где мы живем, мигает лампочка. Топится плита. Начинаем обедать… Тарелка воды с какой-то крупкой и катышками из черной муки, смешанной с дурандой. Два-три по 10–15 граммов кусочка подсушенного хлеба, в покупном виде подобие замазки. И сегодня больше ничего. М. Ф. мечтает, что получу же я наконец как директор Архива Академии наук СССР и зампредседателя комиссии по истории Академии наук и ученого совета академических научных

архивов карточку первой категории, т. е. рабочего, о которой мы хлопочем, и тем буду сравнену хотя бы с нашей уборщицей-истопницей Урманчеевой.

Особенно не останавливаемся на трудностях питания, говорим с М. Ф. о том, что Шахматова и ее сын Алеша совсем ослабели и погибают, что у нас во дворе около Архива целую ночь у окна пролежал какой-то несчастный, умерший от истощения, и с него уже успели стащить сапоги, что некоторые продукты за декабрь так и не удалось получить в лавке… М. Ф. бодрится мыслью, что наконец-то при Академии открывается свой распределитель… Но, несмотря на все усилия, она не может больше есть катышки из смешанной с дурандой черной муки, полученной нами в декабре вместо крупы. И я доедаю с трудом, больше потому, чтобы не волновать ее… Так кончается наша трапеза.

1942.1.5. Сто девяносто восьмой день войны. Погибли от истощения и испытаний С. А. Шахматова-Каплан и ее шестнадцатилетний сын Алеша, внук академика Шахматова, мальчик особенно одаренный и большой любитель астрономии, несомненно проявивший бы себя в излюбленной области и, вероятно, в будущем был бы выдающимся ученым, а может быть, даже и академиком. На меня и всех наших сотрудников эта весть произвела потрясающее впечатление.

Отца погибшего мальчика — ученого и мужа С. А. — нет с ними. Чтобы разыскать его, отнести ему еды, мать и сын тратили все свои выходные дни и отдавали свои последние крохи. Потом силы их ослабли и оба они слегли беспомощными и обреченными.

1942.1.6. Сто девяносто девятый день войны. В научном заседании комиссии по истории Академии наук я сделал доклад «К истории замещения академических кафедр за все время существования Академии (1925–1941)». Заседание происходило под председательством академика И. Ю. Крачковского. Присутствовали А. И. Андреев, Л. Б. Модзалевский, П. М. Стулов, М. В. Крутикова и другие.

Может быть, это мой последний научный доклад».

Да, жестокую, но и высокую правду узнали люди, пережившие ленинградскую блокаду. Правду о человеке, о его пределах.

«Даже не веришь, что это было с тобой…» — писали нам после публикации первых глав «Блокадной книги». Не верится самим блокадникам, что могли такое вынести. И знание — на всю оставшуюся жизнь: да, все превозмогли ленинградцы!.. Удивление это и знание это хорошо передает, выражает случай, рассказанный Евдокией Николаевной Глебовой, — о ней мы уже упоминали. Евдокия Николаевна, сестра талантливого советского художника Павла Николаевича Филонова, вспоминает, как она спасала его картины:

«Осенью 1941 года, в конце октября, неожиданно пришел к нам брат. Пришел и принес четыре картошечки. Принес в то время, когда они буквально на вес золота. Оторвав их от Екатерины Александровны, от себя, когда все голодали. Запасов у них не было никаких.

Когда 22 июня 1941 года Молотов по радио произнес свою речь о войне, я позвонила брату и просила сделать какие-нибудь запасы. Он с возмущением сказал: «Если такие люди, как вы и мы, будут делать запасы, это будет преступление». А может быть, думай он иначе, он и не умер бы так рано, через полгода после объявления войны.

Было очень холодно, на нем была его куртка, теплая шапка и петины лыжные брюки (наверное, Екатерина Александровна настояла, заставила его надеть эти брюк поверх своих, бумажных, которые он носил и летом и зимой).

Как мы ни отказывались от картошечек, как ни просили взять обратно, он не хотел и слушать нас, он заставил взять их. Что мы говорили тогда, к сожалению, теперь я уже не вспомню. Дома у нас было очень холодно. Он не разделся, оставался у нас недолго. Может быть,

он думал, что это его последний приход к нам, но мы никак не предполагали, что видим его последний раз. И сейчас я не могу понять, не могу простить себе, что мы не отнесли эти картошечки к ним обратно, а оставили себе. Закрыв за ним дверь, мы подошли к окну, ожидая, что он, как всегда бывало, остановится, помашет нам на прощанье рукой, улыбнется, но на этот раз этого не случилось… Шел он по двору своим широким шагом, но медленно, низко опустив голову. Когда он зашел под ворота, мы так и остались у окна, растерянно глядя друг на друга.

Что он думал тогда, что чувствовал?

Это был последний его приход к нам.

Во время войны брат добровольно охранял дом, в котором жил, от зажигательных бомб. Голодный, как должен был он мерзнуть в своей куртке, которую из-за холода нельзя было снять и дома.

Однажды в темноте он упал с лестницы. К врачу не обратился, полагаясь, как всегда, на свои силы. А сил-то уже не было… Не знаю, как в этот раз, но обыкновенно, заболевая (болел он очень редко), он садился в кресло и дремал, но не ложился в постель. Правда что и здоровому-то на этой «постели» было бы трудно, не то что больному (матраца на его кровати не было). Ни врачей, ни лекарств он не признавал.

3 декабря 1941 года утром нам дали знать, что брату очень плохо. Мы сразу же бросились к нему. Трамваи еще ходили. Войдя в комнату, мы увидели брата, лежавшего на постели, стоявшей не на своем обычном месте. Он лежал в куртке, теплой шапке, на левой руке была белая шерстяная варежка, на правой варежки не было, она была зажата в кулаке. Он был как будто без сознания, глаза полузакрыты, ни на что не реагировал. Лицо его, до неузнаваемости изменившееся, было спокойно. Около брата была его жена Екатерина Александровна и ее невестка М. Н. Серебрякова. Мне трудно объяснить почему, но эта правая рука с зажатой в ней варежкой так поразила меня, что я и сейчас, более чем через тридцать лет, вижу ее. Если бы я могла рисовать, я нарисовала бы ее — и стало, может быть, ясно, чем так поразила меня эта рука. Написать же об этом очень трудно. Но все же я постараюсь сделать это. В правой руке была зажата варежка, рука немного откинута в сторону и вверх, эта варежка казалась не варежкой… Нет, это непередаваемо. Рука большого мастера, не знавшая при жизни покоя, теперь успокоилась. Дыхания его не было слышно. В глубокой тишине, не разговаривая, мы ждали прихода доктора, каких-то уколов. Но еще до его прихода мы поняли, что все кончено. Он так тихо и так медленно дышал, что его последнего вздоха мы не заметили. Так тихо он ушел от нас….

Плакали мы или нет — не помню, кажется, так и остались сидеть в каком-то оцепенении, не в силах осознать, что произошло, что его нет! Что все, созданное им, осталось — стоит его мольберт, лежит палитра, краски, висят на стенах его картины, висят его часы-ходики, а его нет.

Только приход писателя Николая Аркадьевича Тощакова, жившего в том же коридоре, зашедшего узнать о здоровье брата, вывел нас из какого-то странного состояния оцепенелости. С помощью Николая Аркадьевича мы начали готовить его в последний путь. Николай Аркадьевич один перенес его с постели на стол. Лежал он в сером костюме, единственном за всю его жизнь. Но он был такой худой, такой неузнаваемо другой, что его бывший ученик скульптор Суворов, пришедший проститься и снять маску, должен был отказаться от этой мысли. В это страшное время, когда нельзя было найти гроб, когда хоронили в простынях, мы решили во что бы то ни стало найти доски, заказать гроб. Нам это удалось, правда после целой недели поисков. Помог нам в этом Союз художников. На девятый день после смерти мы хоронили его…

В день похорон мы — сестра и я — достали и привезли двое саней: большие и детские, для Екатерины Александровны, так как идти за гробом она не могла. Везли брата на кладбище без меня, так как я должна была позаботиться о месте, куда через несколько часов должны были

опустить тело брата. Придя на Серафимовское кладбище, я нашла человека, который за хлеб и какую-то сумму денег согласился приготовить место. Какой это был нечеловеческий труд! Стояли сильные морозы, земля была как камень. Но еще больше, чем мороз, затрудняли работу корни акации, около которой он должен был рыть землю. И, как я помню, и забыть это невозможно, он больше рубил корни топором, чем работал лопатой. Наконец я не выдержала и сказала, что буду ему помогать, но минут через пять он взял лопату от меня и сказал: «Вам не под силу». Как я боялась, что он бросит работу или, продолжая работу, станет ругаться! Но он только сказал: «За это время я вырыл бы три могилы». Добавить что-то к сумме, о которой мы договорились, я не могла, с собой у меня было только то, что я должна была отдать ему за работу» и я сказала ему: «Если бы вы знали, для какого человека вы трудитесь!» И на его вопрос: «А кто он такой?» — рассказала ему о жизни брата, как он трудился для других, учил людей, ничего не получая за свой очень большой труд. Продолжая работать, он очень внимательно слушал меня. Человека этого я вижу и сейчас очень ясно, кажется, если бы я встретила его, узнала бы. Он не был кладбищенским работником, но, чтобы прокормить семью, он пошел на эту тяжелую работу. И как я благодарна ему за его труд, за то, что он терпеливо, а главное, без брани проделал эту страшную работу.

Когда привезли тело брата, все было готово.

Везли его так. Сестра Мария Николаевна, невестка Екатерины Александровны и ее племянница Рая попеременно: две — тело брата и кто-то один саночки с Екатериной Александровной.

Опускали тело брата не совсем обычно, так как половина могилы была подрыта внутри, а верхняя часть оставалась нетронутой.

Что было после того, как могила была зарыта и остался холмик, на котором не было ни венка, ни хотя бы одного цветочка, я как-то не помню. Екатерину Александровну мы довезли до дома. С ней остались ее невестка и Рая. Зашли мы к ней или нет — не помню. Кажется, не заходя к ней, повезли сани их владельцу. Но помню, что, когда совершенно закоченевшие пришли домой и хотели затопить печку, чтобы согреться, дров на месте не оказалось, кто-то за время нашего девятидневного отсутствия их унес.

После смерти брата Екатерина Александровна осталась жить в той же комнате, где они жили когда-то вместе. Через комнату от нее, в том же коридоре, жила невестка, жена старшего умершего сына, со своей племянницей Раей. Они обе ухаживали за Екатериной Александровной, помогали ей, насколько это можно было в то страшное время. С Екатериной Александровной мы встречались — сестра и я — не часто. Мы обе работали, очень уставали и, понятно, голодали.

Все картины оставались у Екатерины Александровны. Сказать ей, что лучше было бы перенести их к нам, где они были бы сохраннее, так как у нас тогда была еще отдельная квартира, мы не решались, а Екатерина Александровна ничего по этому поводу не говорила, так они и оставались у нее. Единственное, что я могла в этих условиях сделать, это с большим трудом снять их со шкафа, где они лежали, и в присутствии Екатерины Александровны пронумеровать все картины.

Когда я по возвращении из эвакуации стала составлять каталог, зная, что картин было 400 с чем-то, я в тетради-каталоге проставила цифры от 1-й до 400-й, но когда начала заполнять, а заполняла не по порядку, чтобы не беспокоить картины, а так, как они лежали у брата, я обнаружила, что несколько номеров остались незаполненными…

Прошло около пяти месяцев со дня смерти брата, не меньше. Однажды к нам позвонили. Открыв дверь, мы увидели двух девушек, державших под руки Екатерину Александровну. Она была в своей старенькой меховой шубке, опоясанная белым вышитым полотенцем, на котором

висела алюминиевая кружка. Екатерина Александровна еле держалась на ногах. Девушки, приведшие ее к нам, объяснили, что увидели ее совершенно обессиленную на Аничковой мосту и предложили проводить ее. Надо сказать, что после болезни она очень плохо говорила. Правда, брату удалось восстановить ее речь, но после его смерти, голода, одиночества ей опять стало трудно говорить. Поэтому трудно стало и понимать ее. Но все же она смогла объяснить этим добрым девушкам свой путь, и они довели ее до нас. Оказалось, что она ушла из дома еще накануне, не сказав никому ни слова о своем намерении уйти; где она провела почти сутки, осталось неизвестно, она не могла это объяснить нам. Екатерина Александровна осталась у нас, и я начала хлопотать, чтобы устроить ее куда-то.

…После смерти брата 3 декабря 1941 года, после того как я отвезла в конце апреля 1942 года жену брата в Дом хроников — это все, что мне удалось после долгих усилий сделать, — мы, сестра и я, перевезли все работы брата к себе на Невский проспект.

Голод все больше давал о себе знать. Уехать из Ленинграда мы не могли, имея у себя все картины, все рукописи брата и не имея сил отдать их на хранение.

Работали мы это время в госпитале, где сейчас помещается Институт Герцена, на Мойке. Устроила сестру на работу Анжела Францевна (фамилию ее я не знала), жившая в одном с нами доме. Сделав это, она буквально спасла нас. Вскоре сестре удалось и меня устроить туда же. Мы получили две рабочие карточки! Это было настоящее счастье! Но это было уже поздно, так как, немного подкрепившись, вскоре мы почувствовали, что и этого мало. К тому же у сестры украли талоны на хлеб, к счастью, только те, которые давали право получать часть хлеба на работе. Сестра ничего об этом мне не сказала, чтобы я не стала делиться с ней своим хлебом. Сестра была удивительный человек, отдавший всю свою жизнь сестрам. А мне она была и сестра, и мать, и друг. Понятно, кража карточки сразу сказалась на ее состоянии. А я, не понимая причины, не знала, что делать. Да и что можно было тогда делать? Только эвакуироваться. Но как, если у нас на руках все наследие брата?

И вдруг неожиданно с фронта приехал Виктор Васильевич — муж нашей племянницы. Семья его была уже эвакуирована, и он зашел узнать, живы ли мы. Увидев нас, он сразу же спросил: «Почему же вы не уехали, почему до сих пор в Ленинграде?» Мы сказали, что уехать не можем, так как у нас на руках картины и рукописи брата. Когда же из дальнейшего разговора он узнал, что у нас нет сил донести картины до музея и нет никого, кто бы помог нам, и в этом весь вопрос, он сказал, что может помочь нам. Он приехал с фронта в командировку, и сделать это надо тотчас же.

Работы брата, давно уже упакованные, лежали в этой же комнате, где шел этот незабываемый разговор. Упакованы они были так: один пакет с 379-ю работами и рукописями и второй — вал, на нем накатано 21 полотно. Когда мы поняли, что это может быть отнесено в музей, и сейчас же, счастью нашему, радости не было границ. Он взял и понес вал, а я, оказывается, пакет, в котором лежало 379 работ! Узнала я о том, что несла пакет, через двадцать пять лет. А в течение этих лет я была уверена, что пакет нес кто-то, а я только шла с ними.

Узнала об этом зимой 1967/68 г. Вот каким образом. Я собираю все, что могу собрать о брате, чтобы все это, собранное мною, присоединить к тому, что сдано в ЦГАЛИ в Москве… Но предварительно я сделала фото со всех этих рукописей, а с этих фото микрофильм. Я как-то попросила Виктора Васильевича написать о том, как это все тогда, в блокаду, происходило. Он исполнил мою просьбу и передал мне написанное им. Каково же было мое недоумение, когда я прочитала, что «второй, легкий пакет несла Евдокия Николаевна». Сейчас же я позвонила ему и переспросила, уверенная, что он ошибся, но ошибки не было. Откуда же взялись силы?! Он пишет: «Второй, легкий пакет несла Евдокия Николаевна». В этом «легком» пакете лежало 379 работ, три из них на подрамниках, и рукописи!

До сих пор я не могу представить себя той поры, несущую эту тяжесть. Я не поверила ему, долго расспрашивала, но все было так, как он написал… Что же произошло? Неужели радость, что все сделанное будет спасено, будет в музее, и мы можем наконец эвакуироваться, так как сестре становилось все хуже, дала мне силы, но отняла память?..»

Откуда силы брались у ленинградцев, об этом рассказала нам дневниковая память Ленинграда, сами же лениградцы. Верящие и не верящие, что все это было, что могло быть. И познавшие цену жизни и тепла, хлеба и человеческой солидарности, всего, что человек не умеет как следует ценить, пока это есть у него…

ОБЯЗАННОСТИ ИСТОРИКА

Дневник Г. А. Князева где-то на четырехсотых страницах (а всего их 1200 машинописных) начинает превращаться в мартиролог: жизнеописание тех, кто на его малом радиусе умер, замученный голодом, блокадой. Но это одна сторона его записей. Чем больше и подробнее о мертвых, тем радостнее записи о живом, о красоте и богатстве жизни, спрессованной в остающиеся блокаднику недели, дни. И в то же время растянутой — каждая секунда нагружается ощущением: а все-таки живу, живем, что-то получаем от жизни, гораздо больше, чем в обычное, обыкновенное время, когда и месяцы и годы не ценили, ни во что не ставили! Именно в это время в «Февральском дневнике» Ольга Берггольц писала: «…такими мы счастливыми бывали, такой свободой бурною дышали».

Чем больше обесценивает голод, блокада человеческую жизнь, тем важнее и дороже она для гуманиста Князева. В первые дни, недели войны в своих записках не всегда бывал справедлив, не всегда щадил окружающих: слишком давали о себе знать сложные отношения в ученой среде. Сейчас о тех же людях, о тех же фактах судит мудрее, человечнее, различая вину и беду человека. Это не всепрощение. Это понимание. Что значат вчерашние страсти, порой мелочные, низменные, если всех по очереди забирает «первый миллион» умерших?! В каком, в первом или втором, окажешься ты сам?

«1942. 1. 13 и 14. Двести шестой и двести седьмой дни войны. Вчера и сегодня передают по радио речь Попкова: «Все худшее позади. Впереди освобождение Ленинграда и спасение ленинградцев от голодной смерти». Так передают из уст в уста содержание этой речи. Сам я ее не слыхал: радио у нас не работает.

Люди живут последней надеждой… Январь, дескать, может быть, дотянем, но февраль, если не будет улучшения, не пережить. Ослабевшие гибнут и гибнут».

Верный своему «заданию»: не позволять блокадной мгле (хотя бы на его малом радиусе) сразу же стирать память о погибающих, — Г. А. Князев рассказывает о всех умерших, близких и дальних знакомых, людях, которых и имени никто и никогда не вспомнит. Ни один из них не попал ни в список 607 награжденных, ни в список «геройски погибших». Он готовится и свое имя занести в поминальник, пока еще в состоянии это сделать. С той же добросовестностью и объективностью записывает он плюсы и минусы Князева Георгия Алексеевича.

«1942. I. 18. Двести одиннадцатый день войны. Раз кругом валятся люди, стал и я приводить свои дела и бумаги в порядок на всякий случай. Сегодня я закончил систематизацию всех моих материалов сперва на бумаге; по этой схеме подберу все мои папки.

Главная цель и значение моего архива — материалы для истории быта среднего русского интеллигента в дни войн и революций первой половины XX века. Среди этих материалов на первом месте должны быть поставлены: «К истории моего времени», записки и приложения к ним, как рукописные, так и печатные…

1942.1.19. Двести двенадцатый день войны. В Ленинградском отделении Института истории гибнут один за другим научные сотрудники. Умер мой сотоварищ по университету Лавров. Он так же, как и я, служил в Центрархиве (в областном ленинградском Архиве), потом перешел на работу в Академию наук. Заведовал одно время Историческим архивом в Институте истории АН в Ленинграде. Много поработал над последним академическим изданием «Русской правды», был исключительно скромен и как-то мало приспособлен к жизни. За страшную черту перешел в начале января. Ослабевши, лежал беспомощным полумертвецом, покуда жизнь не оборвалась окончательно.

…Вчера М. Ф. мне призналась, что она устает. Действительно, она очень похудела, а за последние дни побледнела. Только еще темные глаза горят светлым огнем.

Сколько мы потеряли сил, на какой грани находимся, где черта, та страшная черта, переступив которую человек уже не возвращается назад. Взяли за нормальное состояние 100 %, провели страшную черту — 50 % жизненной энергии, и М. Ф. определяет свое место между 40 и 50 процентами, т. е. где-то около страшной черты.

После потери 50 % сил начинается быстрое затухание и после 60–70 процентов утраты их — агония и смерть.

— Надо как-нибудь выжить, — настойчиво говорит М. Ф., — не перейти за роковую черту.

1942 I. 21 и 22. Двести четырнадцатый и двести пятнадцатый дни войны… Второй день из-за морозов не езжу на службу; не идет коляска, масло стынет. М. Ф. проводить меня не может туда и обратно, силы ее заметно слабеют, бодра только духом.

…Неужели не доживем до весны? Кругом слишком много умирают, и не где-нибудь, а около, в нашем доме, на службе. Каждый из нас слышит лязг косаря. Поднять глаза к потолку не хотелось: там крюк, такой добротный, обративший мое внимание еще при входе в первый раз в комнату, лет 12 тому назад. Страшная мысль промелькнула тогда в мозгу: неужели он пригодится? Если что случится с М. Ф., может быть, да, пригодится.

Но кто знает, как повернется судьба. Никто не знает, что будет не только завтра, но и сегодня, вот сейчас…

Разбирая свои бумаги, ненапечатанные, законченные и начатые работы, с любовью раскрывал и прочитывал из любимых книг».

И у Охапкиной и у Рябинкина все надежды были связаны с эвакуацией, с «Дорогой жизни». Так было с большинством. Еще недавно эвакуация воспринималась как несчастье, теперь она стала спасением. Труднее всех свыкались с необходимостью уехать Князевы, для самого Георгия Алексеевича расстаться с Архивом было немыслимо, он не представлял свою жизнь вне стен Архива.

«Дороге жизни» помогали воины Ленинградского фронта, медики, шоферы, моряки, ремонтники, тысячи людей отдавали ей свои силы. Из многих наших записей приведем лишь рассказ старого питерского врача-белоруса Михаила Михайловича Ковальчука. Когда он рассказывал нам, ему было уже девяносто три года. Трудился он с утра до вечера в своем саду, растил там великолепную смородину, крыжовник, цветы и все это раздавал детям и соседям. Человек он был редкого бескорыстия и трудолюбия.

В 1942 году горздрав направил его на восточный берег Ладоги, в Жихарево, в эвакопункт, наладить медицинское обслуживание переправляемых через озеро горожан.

«Начал я принимать и сортировать больных. Вижу — многих надо оставлять, нельзя им ехать.

Тогда я сделал стационар. Где мог ставил койки, оклеивал, забивал фанерой разбитые потолки. Что делать дальше? Такое питание, какое выдавали, я больным давать не мог. Желудки у людей были страшно истощенные, а эта еда была, по-моему, опасна для них. Смертность среди вывезенных была очень большая. Я стал просить горздрав дать мне разрешение вскрыть несколько трупов, чтобы понять, что творится с людьми. Они мне разрешили, поскольку я кончил Военно-медицинскую академию. Меня же учили и Иван Петрович Павлов, и лейб-хирург Федоров. Я был их любимцем, потому что я точил ножи для хирургов. Я вскрыл несколько трупов. И что я увидел? У одного желудок лопнул и все содержимое вывалилось, весь сухой паек, который там давали: кусок колбасы твер-докопченой, кусок сала и хлеба кусок. После обедов он еще это съедал! И вот с тех пор я стал просить, умолять отменить сухой паек. Был там Ханин, уполномоченный Совнаркома. Я к нему:

— Помогите, будьте сознательны. Смертность высока. Надо ее хоть как-то снизить. Дайте мне разрешение не давать этот паек.

Но не шли мне навстречу, потому что были такие, которые говорили:

— Как же? Без сухого пайка людям нельзя. Ведь отправляем их в эшелон. Дорога разбита немцами, и, может быть, они должны будут где-то ждать. Чем же им питаться, может, три, а может, четыре дня?

Ну, конечно, на эту их глупость я не молчал. Но никто меня не слушал. Я им показывал:

— Смотрите, не только ваша колбаса лежит, но человек и веревочку глотает. Он даже не успевает ничего выкинуть, очистить. Все оказывается в желудке.

Я самовольно сокращал питание. И через некоторое время вижу, что у меня процент смертности падает. И на все слезы, когда меня окружали голодные и просили, требовали добавки, я не отзывался, потому что знал результат.

Так вот, приходит один раз в санчасть начальство — представители Государственного Комитета Обороны-Спрашивают у меня:

— В чем дело? Люди в Ленинграде голодные, немытые, но ползают, а приезжают к вам — и умирают! В чем дело? Я молчу. Мне говорят:

— Такая у вас прекрасная пища! Непонятно, что у вас происходит.

Я говорю, что эта прекрасная пища и есть причина их смерти. И рассказываю, что у них в

желудке делается. Меня выслушали, собрали совещание и попросили все повторить. Я все рассказал на этом совещании. Со мной согласились, сказали, что эвакуированные ленинградцы — люди больные. Надо лечить их питанием. Кто этим занимается? Главный врач обязан дать лекарство и пищу, какая полагается, от которой бы они не умирали. Здесь есть врач, и он отвечает за питание. Он пусть лечит лекарствами и питает так, как считает нужным.

Но тут выступил начальник эвакопункта и говорит:

— Он ведь хочет отменить сухой паек. Не доехав до Тихвина, люди могут трое суток сидеть в эшелоне, и чем им тогда питаться?

Я говорю:

— Паровозы запасные у вас есть? Есть. Котел на каждом паровозе есть? Есть. Пусть будут кормить их похлебкой. Наварят в котлах и покормят.

— Не подступиться, — говорят, — к этому эшелону. Я говорю:

— Это другое дело. Можно вернуть часть людей, но этот сухой паек не еда. Все равно этот сухой паек не доходит у эвакуированных до эшелона: они его сразу съедают. И, кстати говоря, вот идет посадка тут же, рядом с павильоном, где мы заседаем. Пошлите кого хотите, посмотрите, что у них в мешках: есть ли у них сухой паек сейчас, когда они садятся в эшелон уезжать? Я ручаюсь, что ни у кого уже нет этого сухого пайка.

Ну, надо сказать, что послали. Проверили. И оказалось, что ни у кого сухого пайка не было: он уже весь был съеден! Я говорю тут:

— Самая легкая пища, какая у меня есть, это пшено. А мне нужна манная крупа для маленьких, потому что у меня дети такого-то и такого-то возраста и даже грудные.

— Вопрос правильный, существенный и очень трудный, — говорят мне, — но постараемся достать вместо пшена манную.

Через восемь дней пришел вагон манки.

Оставили со мной товарища Андреева, одного из этих уполномоченных, чтобы помочь мне. И действительно на следующий день приходит ко мне Андреев и говорит:

— Товарищ начальник, прибыл в ваше распоряжение!

А я думаю: это при тех полномочиях, которые ты имеешь, когда можешь расстрелять любого, ты позволяешь себе надо мной смеяться? Я говорю:

— Товарищ Андреев, если это не ирония, то садитесь а если это ирония, то ваша помощь мне не нужна.

— Какая тут ирония? — говорит он.

Первое, что мне было нужно, это какое-то помещение, куда можно было положить до захоронения трупы умерших, — нужно же было списки составить, справки давать. А рядом был огромный барак. Часовой стоит там. Никто не входит, не выходит, что там находится — не видно. Я говорю:

— Я не знаю, что там такое, но мне нужен этот барак. Он спрашивает:

— А где начальник?

Приходим к начальнику. Я в полушубке, а Андреев в штатском. Выходит дежурный солдат. Спрашиваем, где начальник. Андреев говорит:

— Попросите его сюда, чтобы он пришел. Пришли поговорить с ним.

Дежурный идет за перегородку:

— Товарищ начальник, пришел военврач. Тот кричит:

— Передайте, что приема нет!

Я испугался, думаю — что будет?! А Андреев тихо дежурному:

— Пойдите еще раз и попросите. Мы не уйдем, пока он не выйдет.

Дежурный снова идет к начальнику, говорит:

— Не уходят. А тот говорит:

— Приказ получил? За шиворот их и вон.

Я боюсь страшно за этого дурака, что его еще убьют сейчас. Придется умолять, просить за него… В общем, испугался. Через некоторое время начальник выходит в мыле: половина бороды выбрита, половина нет.

— Слыхали приказ?

— Слыхали и не выполним, — говорит Андреев.

— Так вот еще раз вам говорю — приема не будет! Андреев говорит:

— Нет, будет! Вы же не спросили, зачем мы пришли. Вы думаете, что если пришли штатские, то с ними можно и не разговаривать? А если мы пришли доложить, что шпиона поймали, — неужели вас это не интересует?!

Затем Андреев вынимает свою книжечку и показывает ему. Ну, что тут было! Он сразу побледнел, испугался, стал извиняться. Андреев говорит:

— Пойдемте к этому помещению.

Пришли. Часовой стоит. Огромный сарай. Думаю: «Господи, если бы мне дали трупы положить культурно!» А начальник сразу начал говорить, что там, в сарае, хранится военное снаряжение, военные припасы. Андреев говорит:

— Откройте!

Открыли. Смотрим: одна куча белая — не то известь, не то мел, пять штук рваных противогазов и штук 200 винтовочных, патронов. И сам этот начальник смутился. Андреев спрашивает:

— А почему это называется военным снаряжением, военными припасами? Зачем же человек мерзнет и караулит это на таком морозе? Приказываю и даю три часа сроку: все вынести, закопать и принести ключи этому военврачу.

Я ушел. Через час приносят мне ключи. Я пошел и занял весь этот барак. Так я вышел и из этого положения».

«ЛИХОРАДОЧНО ТОРОПЛЮСЬ ЖИТЬ…»

Трудное досталось время Г. А. Князеву. И послевоенное было нелегким, а все ж его время — довоенное и военное — покруче да потяжелее. Особенно же для его специальности — историка. Наверное, подошел момент и место кое-что досказать о личности Георгия Алексеевича. Он окончил историко-филологический факультет Петербургского университета в 1913 году и начал работать в архиве морского министерства по изданию документов времен Петра Первого, времен Северной войны со шведами. Эта работа и свела его с Марией Федоровной. И после революции он занимался архивным делом. Он создал за свою жизнь два архива. Один в 1917–1926 годах — исторический отдел Морского архива, и другой в 1929–1941 годах — Архив Академии наук. От первого ничего не осталось. В 1927–1928 годах его постепенно, как «неактуальный», свертывали и в конце концов ликвидировали. С 1929 года Князева назначают заведовать Архивом Академии наук, в котором он проработал сорок лет, отдавая ему все силы, всю энергию вплоть до своей кончины 30 июня 1969 года. Читал он лекции по архивному делу, слыл крупнейшим авторитетом не только у нас, но и за рубежом, был награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени… Собирал еще с мальчишества, со времен революции 1905 года, листовки, воззвания, плакаты, собрал большую интересную коллекцию. Была у него склонность к философскому мышлению, впрочем, о своих склонностях, сокровенных своих призваниях лучше всего написал он сам с нелегкой откровенностью исповеди.

М. Ф. Князева. Фото 1908 г.

Мария Федоровна вспоминает о днях блокады: «Георгию Алексеевичу было очень трудно в те дни писать свой дневник. Делал он это обычно вечером, а освещения почти никакого не было. Самодельный светильник с ниточным фитильком, заполненный какой-то горючей смесью, скудно освещал небольшой кусочек письменного стола. Но Георгий Алексеевич считал, что дневник писать он обязан… Каждый день он посещал академический Архив. Он ездил на своей коляске-самокате. Часто камеры колес прокалывались, ехать становилось почти невозможно, а дорога — сплошные сугробы снега… А ведь у Георгия Алексеевича ко всему был паралич правой ноги. Но он был очень крепок духом… Мужественное поведение Г. А. в блокадном Ленинграде было отмечено в докладе академика И. Ю. Крачковского, представителя президиума Академии наук СССР в Ленинграде, сделанном им на сессии АН в 1942 году в Свердловске».

Г. А. Князев сожалел, что не стал писателем. Он надеялся на дневник и был прав, это произведение стоит иных романов и повестей. Сколько их с тех пор бесследно кануло в Лету! Дневник же Г. А. Князева в силу подробности, методичности, честности сберег полноту картины блокадной жизни и останется необходимым для понимания психологии ленинградца тех лет. Он насыщен фактами, точен, воссоздает внутренний мир советского интеллигента времен Великой Отечественной войны, процесс изменения его мировосприятия.

Напряжение духовной жизни позволило ему подавлять чувство голода. В обширном его дневнике почти нет записей о том, как хочется ему есть, как он голодает: то ли он заставляет себя думать о другом, то ли ощущение голода побеждают рассуждения о смысле прожитых лет, о смысле происходящего.

У Лидии Охапкиной чувство собственного голода отступает перед более острым чувством: она мать и ощущает голод своих детей сильнее, чем собственный.

Князев умеет переключать всего себя на духовную работу — уплотнение жизненных планов и растягивание мгновений, чтобы в минуту прожить часы, а за день — месяцы. Не всегда, не сразу это удается и Князеву. Слишком давит реальность, муки голода, мысли о происходящем в Ленинграде и в мире, о завтрашнем дне. Но он упрямо возвращается к этому дню, данному мгновению, снова и снова убеждая себя: у родины, народа, человечества будущее есть, у меня — лишь эти мгновения и надо ими жить! Жить мгновениями для Князева — это увлеченно заниматься своей работой, незаконченными делами, неосуществленными планами, жадно впитывая сознанием и чувством человеческую историю, ее драмы и богатства, культуру. Это не избавляет его от повседневных горьких и горестных чувств. Да он и не хотел бы отрешенности от всеобщей беды.

«1942. I. 31. Двести двадцать четвертый день войны. Последний день тяжелого месяца… Живу тем, что есть мысль, планы. Читать в полутьме невозможно, и я осмысливаю в уме свой курс истории культуры. Если переживу войну, обязательно объявлю в университете это чтение… Как при плохой игре делают хорошую мину, так и я при других людях стараюсь улыбаться, говорю только бодрые слова, поднимаю дух. Недаром меня академик Алексеев называл «великий оптимист». И только тут, на этих страницах, я позволю себе не сдерживать себя. Я весь, тут как есть.

…Встретил Свикуль, у которой только что погиб пятнадцатилетний сын, скромный юноша Вова. Безутешное горе, отчаяние — все это жалкие слова в сравнении с тем, что выражают ее глаза, впалые щеки, дрожащий подбородок. Обнял ее, прижал ее к себе, вот и все, что я мог сделать.

1942. II. 3. Двести двадцать седьмой день войны. М. Ф. вернулась из распределителя ни с чем. Выдач нет и сегодня.

…Уйдем от нашего кошмарного настоящего куда-нибудь в сторону. Вчера вечером я хорошо занимался изучением прошлого Передней Азии и хеттской культуры, перемежая эти занятия с историей Академии наук. Уйдем и сегодня…

Но еще несколько слов для будущего читателя этих строк. Есть и такие «персонажи» даже на моем «малом радиусе». У соседей на кухне, где все они живут, сидит «оборонная дама», то есть жена инженера по оборонным работам. Она имеет возможность приобретать вещи за хлеб, крупу, масло, свиную кожу. Ей нужны самые изысканные вещи: белье, туфли, скатерти, полотенца; и за них она дает: кило хлеба за большой, хорошо сохранившийся ковер, горсточку пшена и несколько кусочков сахара за лампу, за туфли — 500 граммов рису… Голодные соседи только этим и держатся. Дама же себя не обижает… Значит, есть среди нас, голодных, в Ленинграде и сытые!..

А вот кусочек нашего быта. В Архиве сегодня только двое «присутствуют», дневные дежурные (ночные дежурства, как я уже отмечал, пришлось отменить из-за слабости сотрудников и отсутствия топлива): доктор истории А. И. Андреев и Фаина, истопница и рабочая Архива, жена кочегара, взятого на войну. Сидят они в 12-й комнате около плиты. Андреев читает диссертацию докторанта Бауэра и готовится к диспуту. Фаня топит плиту и скучает. Тогда Андреев пытается ее чем-нибудь рассмешить и опять продолжает свое чтение. Фаина, или Фаня, как ее зовут у нас, мать троих детей, татарка, до сих пор, до середины января, не сдавалась. Я уже отмечал ее выдержанность и стойкость. Она давно не имеет никаких известий о муже и писем от него. Ни разу она не пожаловалась на свою судьбу. Теперь она постарела, потемнела, подурнела, а ей еще нет и тридцати. По-видимому, она была недурна в молодости. Гибкая, тонкая, с природным умом и тактом, она в 17—20-летнем возрасте, вероятно, была красивой и приятной девушкой. А еще помоложе, наверное, напоминала незабываемый образ девочки-татарки, нарисованный Львом Толстым в «Кавказском пленнике». Жизнь у Фани сложилась и без «того нелегкая с тремя детьми, а сейчас и совсем сделалась тяжелой; едва она справляется с семьей и службой. С ней живет старуха, мать мужа, сама как дитя, требующая за собой ухода, Фаня мечтает эвакуироваться, уехать с детьми к себе на родину, в Пензенскую область. Ни одна эвакуация начиная с августа не удалась. Сейчас Фаня, как и все мы, переживает особенно тяжелые дни. Покуда ее крепкая натура выдерживала, выдержит ли теперь?

Андреев, тоже постаревший и потемневший, находит в себе силы и волю преодолевать все затруднения. Когда М. Ф. по моему поручению пришлось навестить Архив, она и нашла эту бытовую картинку новой архивной жизни.

У М. Ф. и Андреева неожиданно разговор перешел на общественные уборные.

— За килограмм хлеба пошел бы чистить уборные, — говорит Андреев, — а сейчас достаточно и того, что выношу все это добро утром и вечером из квартиры.

— А мы не все выносим, — вставляет М. Ф.

— То есть как же, разве у вас действуют уборные?

— Нет, ведь топят на юге кизяком, вот и мы сжигаем.

Самый современный разговор, правда не салонный.

1942. II. 4. Двести двадцать восьмой день войны. Еще один день войны. Ничего не знаю, что делается на земном шаре. Те крохи сведений, что сообщают в газетах, по радио, собственно, ничего не дают для уяснения происходящего в мире. «Мы заняли пункт Л., отдали пункт В. … Трофеи такие-то…» ничего действительно не говорят.

Куда идет человечество? Чем кончится эта жесточайшая бойня? Когда кончится? Страшные вопросы… И быть может, сейчас ненужные еще вследствие полной невозможности их как-нибудь разрешить, предусмотреть хоть отчасти их разрешение заранее. Несомненно то, что

война продлится еще несколько лет, а мы в Ленинграде не выдержали и полгода!

Продолжать ли мне свои записи, раз ограничился еще более мой радиус? Решаюсь продолжать. Мой дальний Друг, читая эти листки, выкинет или пропустит, что ему будет неинтересно, не нужно. А я в точности не знаю, что нужно и что не нужно.

Вот, например, стоимость сейчас мужского костюма полтора-два килограмма хлеба. Кстати, соседка, променяв таким образом костюм на одну четвертую часть хлебной карточки, чтобы не делиться ни с сыном, ни с теткой, объявила, что карточку потеряла.

Если удастся покойника похоронить на кладбище, то не все удостаиваются «индивидуального захоронения», то есть своей отдельной могилы, а зарываются в «траншеи», так что теперь часто говорят: «Как бы не попасть в траншею» или «Смотри, угодишь в траншею».

Это для языковеда. А вот для режиссера. Толпа на улице. Все одеты очень плохо, но зато некоторые женщины «шикарят», выпустив из-под юбки легализованные штаны в виде шаровар красного, коричневого и даже голубого цвета. А другие просто без юбки остались в нижних штанах. Вместо головных уборов носят часто косынки. И мужчины и женщины часто закрывают платком или белой повязкой рот и нос. На ногах чаще всего валенки, иногда до чрезвычайности стоптанные. Остались еще «дамы» в обношенных каракулях или потрепанных беличьих пальто, так распространенных в последний годы. Много ходит по набережной «сухопутных моряков», самых настоящих штатских, одетых в военно-морскую форму. Некоторые и из женщин ходят в морской форме, и к ним она чрезвычайно идет.

Надо еще добавить для общего колорита, что, например, Евгения Александровна Толмачева-Карпинская ходит в длинной, до пят юбке, как ходили женщины лет сорок тому назад, так что подол волочился по земле. И на голове у нее неизменная шляпа-берет почти той же давности.

1942. II. 8. Двести тридцать второй день войны. Лихорадочно тороплюсь жить… Дивный, редкостный около меня человек, жена-друг М. Ф. Сегодня она именинница…

Сегодня ночью, как-всегда, проснулся в кромешной тьме и обдумывал свою любимейшую тему о Христе, этом удивительном учителе любви и милосердия из дальней Галилеи.

Мы, собственно, ничего не знаем о нем, кроме красивой волнующей легенды о погибшем мечтателе. Всю жизнь я был связан с этим образом-мечтой о счастье человечества, о любви, прощении. Жизнь вносила все время поправки, рвала мечту и наконец снова, еще раз жестоко распяла ее…»

Г. А. Князев не просто подводит итоги работам, мыслям своим и не всего лишь тоскует над неосуществленными своими планами. И не в том дело, что он, рассчитывая в глубине души, что «бумага живучее человека», эти планы вносит в свои записки (там есть и подробные расчеты, как преобразовать архивное дело, как рациональнее переоборудовать хранилище Архива и т. п.). Дневники Князева зафиксировали не только духовную работу одного из ленинградцев-блокадников, рассчитанную на будущее, но и тот факт, что такая работа (завтрашняя) ленинградцу необходима была ради того, чтобы остаться человеком сегодня.

Самые дорогие ему, в трудах выношенные мысли: о трагических попытках спасти мир любовью, о «простой» любви, любви мужчины и женщины, и, наконец, о смысле человеческого существования — все, все идет в работу, чтобы противостоять обидной, оскорбительной ситуации, когда от каких-то «граммиков» хлеба зависит столь многое…

«…М. Ф. не хватает пищи. Она собирает вещи, идет на рынок «отоваривать» их. Опять «вспылила». Покрылась вся красными пятнами, когда посомневался, что при ее слабости и простуде вряд ли целесообразно — по моей теории «разумной экономии» — ей будет стоять на

ветру на рынке. Хлеб-то или крупу она, может быть, и добудет, но зато и совсем сляжет. Говорили друг с другом в нервном напряжении, все силы напрягая, чтобы сдержаться…

Так люди сходят с ума. Умно или безумно они тогда поступают, поди разбирайся! Вот М. Ф. ушла на рынок, а я снял с себя пояс, давно припасенный, и примерил его… Так, на всякий случай…

М. Ф. вернулась. Принесла 100 граммов (/4 фунта) хлеба за платье. И счастлива. Глаза повеселели… А мне легче, что ей лучше стало, и еще больнее, грустнее от сознания, от чего мы, наше состояние, настроение, отношения зависят!.. От четверти фунта хлеба!..

Вчера я» и М. Ф. были выбиты из колеи. К нам явилась Валя, которую мы хотели сделать своей воспитанницей. Мы были на службе, и она прошла к соседям. Там объяснила, что голодна, ослабла, у ней нет сил и пришла ночевать к нам. Мы живем в передней, и у нас даже метра нет свободного, на котором можно было бы положить человека. Сама Валя опустилась, не мылась несколько месяцев, черна от грязи, волосы слиплись в комки, завшивела, глаза помутившиеся, лицо отекло от большого употребления воды. Покуда сидела у них, свалилась со стула.

Что нам было делать? М. Ф. твердо объявила, что у нас ночевать негде. Тогда она объявила, что у ней нет сил идти домой. Она пришла по делу. Они с матерью эвакуируются и им нужны деньги, вещи, продукты!.. С собой она хлебной карточки не принесла. Пришлось накормить ее; дать денег, не столько, сколько просила она (600–700 руб.). Сперва М. Ф. дала 50 р., но та выпросила еще 20. М. Ф. предлагала свезти ее на санках домой, но оказалось, что мать ее куда-то, должна была уйти и Вале все равно нельзя было бы попасть домой. Она осталась на ночь у соседей. Рассказывала, что все вещи продала или променяла, а то, что еще оставалось, погорело. К сожалению, пальто, которое ей подарила М. Ф., не было на ней, несмотря на мороз. Пальто не сгорело, но и неизвестно, что с ним стало…

Ужасная тоска и раздвоенность овладели мною и М. Ф. Что мы могли бы сделать? Взять ее — это значит ускорить свой конец и ничего, в сущности, не устроить. Отдать ей последний кусок, деньги… Совесть, совесть, то, что вместе ведает, со-ве-дает, требовала ясного и честного решения. Мы ничего не могли сделать, кроме того, что дали ей. И сегодня утром она ушла. Я так и не видел ее».

Эта ситуация мучит Князева не меньше голода. Да, обстоятельства, да, блокадная реальность. Они вполне способны заглушить и сомнения, и муки совести. Но этого он тоже не желает — даже в облегчение себе. Накормить человека, даже если только кусочком хлеба и стаканом кипятка, в те дни значило много. Нам, читающим это сегодня, хотелось бы, чтобы он сделал еще больше, чтобы, рискуя своей жизнью, оставил у себя Валю. Но не было этого, не было, и кто решится осудить за это Князева? К тому же оставить Валю у себя значило возложить новую заботу на гаснущую от дистрофии М. Ф.: сам-то он был беспомощен.

«Никогда я не мог примириться с мыслью о простом существовании, быть только существователем, как не мог принять и другую крайность — быть навозом для будущего. Тут много еще нерешенного, в особенности в наши дни, когда десятки миллионов человеческих жизней должны погибнуть, чтобы жили их народы, к которым они принадлежат по рождению. Всю жизнь я решал вопрос о боге, о природе. Признаюсь, все эти вопросы так и остались открытыми. Правда, я неверующий. Но правильнее — я, отстранивший от себя решение этих вопросов. Они выше меня. Я знаю только, что бога, управляющего миром согласно законам любви, нет. А другого бога я не знаю и знать не хочу. Я сам себе бог… Бог же как тождество с природой, самотворчество природы для меня непостижим. Слишком грандиозна вселенная, велики и сложны ее законы, загадочно начало жизни, так замысловато устройство животного

тела и страшна иррациональность природы. Часто природа и мой человеческий разум несовместимы. Природа непонятна мне. В особенности теперь, в эти страшные годы и дни человеческой бойни разумных существ. Я преклоняюсь перед величием и красотой природы, но и содрогаюсь от ее жестокости, от ее слепоты, от ее иррациональности.

Природа диалектична и, повторяю, иррациональна. Может быть, это только на земле случилось, что человек — произведение природы — осознал эту самую природу и содрогнулся в страхе и ужасе перед неизведанными тайнами ее.

И тут мне непонятны те мысли, которые звали от разума к природе, к отказу от культуры. Вся моя жизнь — служение ей, и весь смысл жизни в Созидании ее, в исправлении, в обработке культуры.

Будущее человечества — это культурное будущее, расцвет культуры. Человечество достигнет этой степени своего развития и поистине станет культурным человечеством.

Вот что бодрит меня в тяжелые, мрачные дни, переживаемые человечеством. Вот что поднимает меня на борьбу с тем вместе, кто борется за это будущее культурное человечество. «Наша эра», ведущая счет от «рождества Христова», или должна оправдать себя (а она не оправдала и не может оправдать!), или должна смениться новой «нашей эрой», рождением нового культурного (поистине культурного) и гуманного человечества. Многим, и мне в том числе, казалось, что такая эра началась 25 октября (7 ноября) 1917 года. Будущее покажет, так ли это.

Во всяком случае, для меня другой эры пока нет. С этой же эрой у меня есть будущее, я говорю смело «у меня», пусть я даже завтра погибну: тут «у меня» и «у нас» сливается.

1942. II. 10. Двести тридцать четвертый день войны. Февральский снежный день. Редкие орудийные залпы. Прохожие. Саночки. Покойники. Бурые пятна на снегу. Обвалившиеся упоры у дверей магазинов; фанерные листы вместо стекол в домах. Развороченный кузов грузового автомобиля против сфинксов. Столб со старыми афишами, оставшимися от лета. Стеклянная витрина на университетской решетке с последним сообщением Информбюро от 1 ноября и очень устаревшими карикатурами. Часы, показывающие фантастическое время… Вот и весь мой путь.

На днях должна состояться вторая эвакуация академических сотрудников. Уезжают все, кто может! «Петербургу быть пусту»… Неужели исполнится старое и страшное пророчество!

…Я тороплюсь жить. Мысли наполняют мой мозг: вот, например, вчера и сегодня я набрасывал мысли о Монелле — Мгновении. Есть такая поэма у Марселя Швоба, поразившая меня еще лет 35 назад своей оригинальностью и изощренностью самого изысканного упадочничества. Читал я ее, помнится, в изложении А. Амфитеатрова. И мне почему-то захотелось изложить эту поэму по-своему…

Сейчас ночь; где-то, и, по-видимому, не так далеко от нас, падают тяжелые снаряды. Ахнет, вздохнет где-то земля от удара, и заходят, дрогнут стены дома. Потом опять напряженная тишина. Выстрелов мне не слышно в том коридоре-передней без окон, где мы живем.

И вот в эти напряженные минуты, когда достаточно одного такого случайного попадания, чтобы ни от этих листков, ни от нашего жилища, может быть, от нашего дома ничего не осталось, я пишу поэму о Монелле. Увлекаясь, я не вслушиваюсь в жуткую ночную тишину, прерываемую глухими ударами и вздрагиванием стен дома. Вот почему дорога мне сейчас эта совсем как будто не к месту здесь, в записках о войне, такая далекая тема.

Мы живем нервно. Многие от голодного или полуголодного состояния отупели или поглупели. Другие опустились, нервничают, ругаются. Надо же как-то жить, подавать признаки жизни. Уж лучше сочинять поэму о Монелле, чем проклинать всех и вся и мучиться от бессилия что-либо исправить кругом, изменить в своей жизни.

Умереть не трудно, умирать очень тяжело…»

УЕЗЖАЮТ 900 ТЫСЯЧ[39]

В дневнике Г. А. Князева уже двести сорок четвертый день войны.

«1942. II. 20. Пятница. Жители нашего злополучного города бросают все свое имущество, жилище, где они все-таки имели крышу, близких, если они слабы, оставляя их умирать, и покидают Ленинград. К Финляндскому вокзалу идут и идут молодые, старые, мужчины и женщины, везя на саночках захваченный скарб, по нескольку пакетов на человека. Великое выселение. А тот, кто остается, сжимает губы и молчит. В глазах затаенная тоска и тревога. А у других, наоборот, полное равнодушие. Будь что будет!

Я исполняю свой долг бытописателя. Я в каждое лицо, в каждые глаза встретившегося мне человека заглядываю. Силюсь все заметить, все записать, что вижу на моем малом радиусе. А сейчас предо мною задача — подготовить к сдаче в Архив Академии наук мои рукописные и печатные материалы. Хочется и записать некоторые свои давно задуманные литературные произведения, отрывки воспоминаний, освещающих прошлое. Словом, подвести итоги. …«Покуда Архив Академии наук будет цел, и ваши рукописи будут в полной сохранности», — успокаивал я эвакуирующегося с университетом доцента.

Надо и мне торопиться приводить в порядок свои рукописи и бумаги. Холод мешает работать в моем кабинете, в той дыре, где я сейчас живу, не повернешься. Мои рукописи за малым исключением никому не известный материал, никогда не печатавшийся. Теперь, когда много погибает материальных и культурных памятников особой ценности, имеют значение и менее важные документы. Мои рукописи, пожалуй, тоже заслуживают в таком случае охранения и сохранения. В них вся моя жизнь. В январе я создал окончательную схему для приведения всех моих бумаг в порядок и принял решение сдать их на временное, а в случае моей смерти на постоянное хранение в Архив Академии наук. Сохранится ли только и он?

Сейчас все мои мысли сосредоточены на том, как бы сохранить потухающую жизнь в Архиве Академии, которым я ведаю, и сохранить его как один из самых замечательных архивов по истории русской культуры и в особенности науки за два с лишним века.

А сил становится и у меня и у сотрудников все меньше…

1942. II. 22. Двести сорок шестой день войны. Худеет не по дням, а по часам М. Ф. Сейчас она в распределителе, где должны дать кусок мяса. Ушла с утра, не евши. Вчера с утра до вечера работала, бегала на рынок менять, в столовую за кашей. Боюсь, не хватит у нее сил. А у меня хватит? Креплюсь. Но порою совершенно теряю силы.

Зашла студентка А. В. Нехорошева-Карпинская. У нее осталось всего три экзамена — и университет был бы закончен. Она не эвакуируется, и ее отчисляют. В университете очень много волнений: ехать, не ехать? Нехорошева не едет из-за матери, которой трудна была бы дорога сама по себе. Там не лучше будет, здесь не хуже. «Там мы беженцы, здесь у нас есть крыша, кое-какие вещи, которые мы можем менять». Две ее тетки, мать и она борются цепко и крепко за жизнь. Дед их, Александр Петрович Карпинский, вложил в них большую волю к жизни, жизнеспособность.

«Мой прежний ужас сменился злостью, — сказала она мне. — Если я переживу войну и мне будет лет 50, я напишу воспоминания. Я все напишу, что люди забудут. Или не захотят вспоминать. Ведь сейчас никто ничего не записывает: не время, а те, которые бегут из Ленинграда, будут только о себе рассказывать. Поэтому я все стараюсь запомнить, чтобы потом записать».

Я ни словом, конечно, не обмолвился, что именно сейчас пишу все, что вижу, что думаю,

что переживаю. Сейчас, непосредственно, не боясь противоречий, длиннот, повторений. Ибо такова жизнь. А то, что будет писаться-потом в виде воспоминаний, будет далеко не то, что мы переживаем сейчас.

…Наискосок от нашего дома, у самого моста поставлены три тяжелых морских артиллерийских орудия. На набережной опять военное оживление, напоминающее сентябрь. Все время, покуда ехал на службу, стреляли. Снаряды разрывались где-то в районе Невского, Садовой.

Впечатление все виденное оставило очень тяжелое. Предстоят нам большие впереди испытания… И надорванный организм М. Ф., напряженная нервная воля ее не выдержали сегодня: заплакала… Я гляжу на нее с тихим затаенным страхом — почернела, осунулась, вчера пожаловалась на нижнюю десну… Сегодня она и утром встала весьма слабой, а сейчас работает: принесла дров из подвала в наш третий этаж, затопила печку, буржуйку, поставила варить менее полфунта гороху на двоих на два дня, все, что мы имеем по карточкам до конца первой декады. «Пожалуй, я не выдержу», — говорит М. Ф. тихо и кротко. И слезы, крупные, катятся по маленькому сморщенному, старушечьему (!) лицу моей исключительно стойкой жены-друга.

Возможно, что и не выдержим! Спрашивал сегодня на службе, чем мы можем помочь Л. В. Модзалевскому. Оказалось, ничем!.. Жена его вряд ли выживет, возможно, что и он обреченный. Страшно об этом подумать вчуже!

Жизнь наша осложняется с каждым часом. Из города спешат уехать все, кто может. А впереди?.. «Впереди, — говорит моя М. Ф., — полная безнадежность». Я ее успокаиваю. Беру себя в руки. Достаю книжки стихов. Упиваюсь ими. «Ты философски смотришь на жизнь, — говорит мне М. Ф., — а я ее люблю просто… Понимаешь, люблю жизнь»…

После полудня ослепительно сияет солнце над белой пеленой Невы и ее набережных, покрытых только что выпавшим свежим снегом. Ехал, закрывая лицо от слепящего солнца, и думал: у меня есть вот это еще — настоящее мгновение. Оно есть! А о будущем не нужно думать!

Но на службе я и виду не показал… Был бодр, оживлен; беседовал с доктором истории Андреевым, что-то стряпавшим у плиты. Пытался организовывать возобновление работ в Архиве. Из плиты от горевших «дел», как всегда, летела зола, предо мной сидели угрюмые, усталые, голодные люди вроде полуумирающей Цветниковой, пришедшей после болезни, и больно сжималось мое сердце.

Дома — и холод и развал; и самое страшное — безнадежность нашего существования. Но я еще не сдаюсь!

…Так много передумано за это время. Записывалось мною многое, но не все. Конечно, мои записи требуют тщательной редакции. Но покуда мне хотелось успеть записать хоть часть своих мыслей, переживаний, пусть без достаточной системы и выдержанности стиля… Моя торопливость оправданна.

Сегодня на тротуаре мне нужно было пропустить встретившиеся сдвоенные саночки. На них лежал чей-то труп, бережно и любовно зашитый в голубое плюшевое одеяло. И сам не знаю почему, я как-то вздрогнул. Почему? Ведь это такая привычная картина в Ленинграде наших дней. Другие из проходивших и «глазом не моргнули»! Излишняя нервозность, чувствительность? Ну, как хотите называйте. Вздрогнул. Именно от этого голубого плюшевого одеяла. На многие трупы смотрел равнодушно, завернутые в холстину или тряпье. А вот голубой цвет одеяла на морозном солнце был так ярок, что запечатлелся в глазах, как и тот голубой цвет, который слепил глаза за солнцем.

Встретились мы около университета, опустевшего, оставленного родного моего старого здания… Так я и доехал в задумчивости до Академии художеств, тоже опустевшей и

оставленной… Около главного входа, запертого, снег, и кто-то на нем оставил темно-бурые следы испражнений. Напротив сфинксы, мои неизменные спутники в течение этих двенадцати с половиной лет моей жизни. Кругом них кучи снега. И сами они в снегу. Но стоят, покуда стоят. И мне делается спокойно. О 3500-летней предыстории человечества говорят они мне. Настоящая история человечества впереди!»

Как работали на «Дороге жизни», написано немало, да и нам рассказывали об этом многие. Ольга Ивановна Московцева тоже работала на трассе, но дочь ее оставалась в Ленинграде. При первой возможности Ольга Ивановна поехала за ней. Девочке было тринадцать лет. Ольга Ивановна попросила у своего начальника вперед, в долг, «буханочки две хлеба», капусты, не черной, какой им давали, а — «беленькой капустки, потому что девочка слабая, больная, поднять ее надо. И селедочки. Ну, в долг мне свои рабочие дали кусочки. Я набрала тарелочку и привезла ей. А она меня выгнала: не надо мне этого хлеба, я лучше буду умирать. Ты где взяла две буханки? Ты украла! Я говорю, я не украла, я командированная, вот документы и на хлеб документы… Я ее забрала. Она не могла ходить. Ее в машину отнесли, мне помогли. Везем через Ладогу — смотрим, жива она или нет? Потом стала немного похаживать. Я ее водила на кухню. Она стригла, там хвою. Для витаминов. Мы железную дорогу строили к Ладоге…»

Хотя и в первой части «Блокадной книги» и во второй встречаются рассказы, воспоминания, дневниковые записи об эвакуации детей, населения Ленинграда, мы не имели возможности сколько-нибудь связно рассказать о том, как создавали «Дорогу жизни» через Ладогу. Те факты, события, которые мы здесь приводим, были лишь частью общей трудной работы по спасению ленинградцев.

Пачка пожелтелых листков, прихваченных заржавелой скрепкой. Докладные от одного бытового отряда. Все они про М. Лазарева, двадцати одного года, живущего по Международному проспекту, 18. Девушки комсомольского отряда, судя по первой докладной, обнаружили его одинокого, лежащего в беспомощном состоянии.

«У него истощение, родных никого нет, присмотра нет. В настоящее время он лежит в чужой комнате, но и эта семья эвакуируется 31/III 1942 года. Тов. Лазарев должен остаться во всей квартире один. Дров у него нет. Сам он работает на заводе Марти, цех 22. У него нет денег, некому сходить за карточками. После смерти матери остались в ломбарде вещи. Он просит как можно быстрее отправить его в больницу».

Докладная подписана членом бытового отряда по обследованию трудящихся Крыловой 29 марта 1942 года.

Секретарь райкома пишет: «Связаться с Октябрьским райкомом, с тем чтобы последний оказал содействие т. Лазареву лечь в заводской стационар».

Пока же члены отряда продолжали посещать Лазарева. Каждый день они отмечают в рапортичках:

1 апреля: «Больному Лазареву получили заборные книжки, прикрепили их, выкупили хлеб, принесли обед из столовой, накормили. Командир звена К. Швецова».

3 апреля: «Получили деньги на заводе Марти за больничный. Принесли обед из столовой, накормили».

4 апреля Швецова и Кирюшкина выкупают хлеб, приносят обед, кормят и моют больного. И так продолжается каждый день до 9 апреля. Последняя запись: «… по его просьбе ходили в поликлинику № 28 Фрунзенского района, вызвали врача. Командир звена К. Швецова, боец Кирюшкина».

Больше рапортичек нет.

Эти отряды — чем они только не занимались! Боец Алексей Шитов просит в письме с

фронта зайти в его квартиру на проспекте Маклина посмотреть, «в каком она положении, а если заселена, то кто живет в ней, чтобы я мог списаться с тем товарищем. Дело в том, что я жду писем от родных, а они, может, валяются там без ответа, ибо никто в доме моего адреса не знает».

Партком оборонного завода благодарит председателя оытовой комиссии Сидорову М. за помощь бригаде, приехавшей из тыла за семьями работников завода. Насколько можно понять из текста записки, бригада должна была разыскать 190 семей. Многие из-за обстрела, пожаров переселились, переехали, кто умер, кто лежал в больнице. Их положение и состояние сумели выяснить девушки этого бытового отряда. Объем их работы можно представить себе хотя бы по тому, что в городе транспорт не работал, надо было ходить пешком по бесчисленным адресам, посещать госпитали, жакты, детские дома. «Мы, эвакобригада, получили от вас полностью ясный и точный ответ по всем семьям. Еще раз благодарим весь коллектив бытового отряда».

Невозможно подсчитать и учесть вклад в победу Ленинграда сражающегося, Ленинграда работающего. Конечно, можно назвать количество разгромленных дивизий и частей врага, отремонтированных на Кировском заводе танков «КВ», выточенных снарядов, мин. А вот как учесть вклад тех, кого Князев называет пассивными защитниками Ленинграда, кто просто жил и старался не даться смерти в блокадном городе, спасти детей, как Лидия Охапкина и тысячи других женщин? Или таких, как Юра Рябинкин? Не будем подсчитывать погашенные им зажигалки — если бы их даже не было, Юра все равно оставался бы частью Ленинграда живущего.

Каков вклад в победу таких вот ленинградцев, которые сегодня даже не считаются участниками Отечественной войны, ее ветеранами? Поэт Сергей Наровчатов, воевавший в Синявинских болотах, сказал нам: «А ведь мы не смогли бы столько держаться там, голодные и обессиленные, если бы рядом не было живого города, огромного и живого Ленинграда! Просто лес, просто болота так защищать невозможно было бы».

И Лидия Охапкина, и Юра Рябинкин — живые, не дающиеся голоду, отчаянию, — тоже были необходимой частью Ленинградского фронта. Да и только ли одного Ленинградского?

«Москва держится, Ленинград не сдается!» — как это важно было слышать, знать в лесах Белоруссии, не задним числом, а именно оттуда, из военного времени, память одного из авторов извлекает чувства и факты, подтверждающие, как много значило для белорусских подпольщиков и партизан то, что Ленинград держится. Для нас важно было, что Ленинград не просто стоял несокрушимо, а то, что он как бы обесценивал силы и самоуверенность врага. Мы тогда не знали, не могли знать, какой ценоой, какими усилиями это дается. Важно было, что он держался — после того, как мы собственными глазами видели ошеломительное начало немецкого марша на восток. Ленинград остановил этот марш и указал на предел немецкой силы. Он был очерчен, этот предел, разгромом немецкой армии под Москвой. Город на Неве демонстрировал бессилье врага, оно тянулось годами, это кошмарное для Гитлера бессилье сделать хотя бы шаг вперед.

Тогда мы не знали, кому поклониться за эту казавшуюся нам издали, из Белоруссии, железной стойкость ленинградцев. Участие в работе над «Блокадной книгой» автора-белоруса будет таким поклоном, хотя и запоздалым, всем, кто сражался в городе. Теперь мы видим, что они не были из железа, реальные ленинградцы, но тем большего уважения заслуживают они.

«…ЗАЧЕМ-ТО ШАПКУ СНЯЛ»

Надежду на выезд Лидия Охапкина уже потеряла, когда 4 марта к ней пришел тот же лейтенант, (то приносил посылку от мужа, и попросил срочно готовиться к отъезду.

«Поедем мы через Ладожское озеро на машине. Для этого мне надо оформить проездные документы через райисполком, а потом заехать на Чайковскую улицу за посылкой. Я была так рада, так рада. В этот же день я пошла в райисполком Васильевского острова, оформила там документы. Они меня предупредили, что дорога опасна. Что были случаи, что машины проваливались через лед. А главное, добавили, что мы за это не несем ответственности. Мне было смешно это слушать, и я сказала: а если мы здесь умрем от голода, вы несете ответственность? Нет, я поеду, что бы там ни случилось, и пошла на следующее утро за посылкой, накормив своих детей и поцеловав их. Я взяла санки и пошла сначала к старшему брату мужа за чемоданом, где у меня были кое-какие вещи, как, например, костюм мужа, мое осеннее пальто. Жил он на Первой Красноармейской улице, путь опять дальний. Дошла туда без особых событий. Город по-прежнему был мрачный и седой, весь в сугробах. Но солнце уже заглядывало как на дома, так и в лица людей, и мне казалось, как будто у них стали чуть повеселее глаза. К тому же в феврале прибавили хлеба на детей и меня на 50 граммов. Забрав у них свой чемодан, я попросила их проводить меня. Пообещала поделиться тем, что будет в посылке. Я ее еще не получила. Они отказались. Вид у них тоже был истощенный. Я поехала опять через весь город на Чайковскую улицу, чтобы взять посылку. По дороге опять зашла за хлебом и весь его съела, так как надеялась, что детей накормлю тем, что будет в посылке. Все время беспокоилась о детях. Как там они одни, некормленые, наверно, лежат и плачут. Стало уже темнеть, время было 8 часов вечера. Когда я оформила все документы и взяла посылку, я поехала домой. Верней, повезла…»

Трудное, мучительное путешествие ее через весь город мы приводили в первой части и здесь позволим себе исключить из рассказа.

«Доехала наконец до дома, когда время уже было три часа ночи. Я не могла перетащить санки через высокий порог ворот. Оставила все на улице и чуть ли не ползком добралась по лестнице до двери. Открыла ее и стала звать Розу, на миг заглянула к себе. Дети, услышав мой голос, заплакали в два голоса. Ах, милые вы мои, живы, сейчас я вас накормлю. Мы с Розой скорей спустились по лестнице. Я ей говорю: беги скорей, там у ворот санки стоят, скорей! Там много еды, я накормлю тебя досыта. С большим трудом мы втянули весь багаж. Я разделась и упала на кровать обессиленная. Дети плакали, я минут двадцать не в состоянии была к ним подойти. Потом открыла посылку, в ней оказались почти одни ржаные сухари и только две пачки пшена. Скорей растопили печку и поставили варить кашу. Накормила детей и Розу. Всю ночь собирались. Я была не в состоянии двинуть рукой. Роза позвала двух женщин, и они мне помогли, а я им дала сухарей.

На следующий день, 6 марта 1942 года, с багажом и детьми я двинулась снова на Чайковскую. Там был сборный пункт. Одна женщина мне взялась везти вещи, а я детей. Ей я уже отдала полкило пшена и четыре ржаных сухаря. Время было 11 часов, а сбор назначен на 12 часов. Она, как и я, была слабая и с трудом тащила санки. Мы обе еле передвигались. У обеих не было сил, я очень нервничала, боялась опоздать. По улице мела метель с большим ветром. Время было уже половина второго, а мы только добрались до Литейного моста. Днем там разрешалось ходить. Что, если, мы опоздаем? Все мои мучения, трата последних сил будут напрасны. Я уже

раздала почти все сухари, крупу тоже. Значит, опять голодать. От этих мыслей у меня разрывалось сердце. В висках стучало. Я опять взмокла. В дорогу на себя я надела чистое белье, два шерстяных платья и еще поверх костюм мужа для тепла и сохранности. Мне стало жарко. Я расстегнула пальто; ветер обжигал мое лицо, но я ничего не чувствовала. Одно последнее напряжение, еще шаг, еще. Опять считаю шаги. От этой дороги, ветра я потом простудилась, и у меня был гнойный плеврит с высокой температурой, но об этом после.

Наконец мы доехали, было три часа. Машина стояла, не уехала. Оказывается, не только я, а другие тоже опаздывали. Когда я садилась в машину, меня еще раз предупредили, что дорога опасная. Обстреливается и тому подобное. Я сказала, что знаю и все равно еду. Проезжая по городу, мысленно с ним прощалась. Прощай, мой многострадальный город, думала я, прощайте люди.

По озеру тоже мела небольшая метель. Вначале ехали быстро, потом совсем тихо. Впереди шел человек, осматривая дорогу, и лыжей разгребал снег, так как боялись ям, которые были от снарядов, и лед там был некрепкий.

Об этой дороге я написала стихотворение:

Дороги, дороги, вас много кругом:
Широких, веселых и гулких, как гром.
Проносятся ветры, весенние грозы,
На кромках растут тополя и березы.
Я помню и знаю дорогу иную.
Дорогу по Ладоге, всю ледяную,
По ней вывозили людей из блокады…

По этой дороге в метель, на машине я ехала с маленькой дочкой и сыном.

…Нас ехало человек 10–12. Только женщины и дети. Шофер был военный, и с ним сидел в кабине тоже мужчина.

Я была самая слабая. Мне казалось, что мы едем долго, долго. Машина была обнесена фанерой, в нее набирался немного отработанный газ. У меня голова кружилась и болела. Я и дети находились в полуобморочном состоянии. Меня тошнило, несколько раз рвало, знобило. Я чувствовала, что поднялась высокая температура. Я вся горела. Мне кто-то давал какое-то лекарство. Клали на голову мокрое полотенце. Я сделалась безразлична ко всему, теряла сознание. Когда приходила в себя, спрашивала, где мы, где дети. Мне отвечали: здесь, в машине, живые дети. Их кто-то кормил, кто-то сажал на горшок. Я не могу себе представить, как я могла выдержать эту дорогу. Обессиленная от голода, от напряженных перевозок, вдобавок простудилась, с высокой температурой. Наверно, инстинкт матери боролся за жизнь детей, как говорят, до последнего вздоха.

…Первая остановка. Первый эвакуационный пункт. Нас встретили добрые, хорошие люди. Помогли сойти с машины, перенесли детей. Меня положили на лавку. Был построен большой, из новых досок, сарай. По краям, скамейки. В середине две или три железные печки, которые беспрерывно топились. Нам принесли еду. Детей кормили манной кашей на сгущенном молоке. Мне принесли мясной суп с лапшой. Но я ничего не могла есть. Весь рот и горло чем-то были обложены, были шершавые. Я не могла глотать, да и аппетит пропал. Свой обед я отдала шоферу. На другой день мы снова поехали. Мы должны доехать до города Череповца. Там временно стояла войсковая часть мужа. В пути мы еще останавливались в одной деревне Ленинградской области. Почти вся деревня была сожжена немцами. В одном из уцелевших

домов мы все переночевали. Я чувствовала себя очень плохо и страшно кашляла. Жар все время держался. Но, мне давали аспирин, который был у одной женщины. Затем была еще одна остановка в городе Тихвине. Этот город почти весь был разбит.

…Наконец мы доехали до города Череповца, это было 11 марта 1942 года. Когда машина остановилась у одного дома, мой муж сразу вскочил в машину. Посмотрел кругом и выпрыгнул. Он нас не узнал, а я его, конечно, сразу. У меня от волнения перехватило дыхание, и я не смогла окликнуть. Дети его не узнали. Он был одет по-военному. Я слышу, он спрашивает, приехала я или нет. Ему отвечают, что она с детьми находится в ма шине. Он снова вскочил и стал смотреть. Стал узнавать, узнавать и хриплым голосом: «Вы, вы?!» — снова выпрыгнул из машины. Он заплакал и зачем-то шапку снял. Потом, наконец совладав с собой, сказал: «Лида! Толя! и снова из глаз показались слезы. Я ничего не могл ему ответить. Смотрю и молчу. В горле словно ком. Хочу сказать, а язык как онемел. Машина была завалена, тюками, и я сидела в самом углу. Тогда он позвал: «Толя, ну иди же ко мне скорей». Я как не свои голосом: «Он не ходит». Весь этот разговор был, как я его описываю. Встреча была радостная и горькая. Она на всю жизнь у меня останется в памяти. Потом по очереди Он нас вытащил и перенес в какой-то дом. Нам на четыре семьи дали пустую комнату. Каждая семья заняла угол.

…В комнате было темно. Город Череповец на ночь тоже затемняли. Мужья здоровые, а жены истощенные. Жены с мужьями тихо перешептываются, всхлипывают. Я не могла говорить. Мне мешал кашель. У меня был жар, болела голова, грудь. Хозяйка где-то достала молока и горячего дала пить мне и детям. Она сказала, что завтра можно достать еще молока и картошки. Я была очень рада. Мне не верилось. Молоко, картошка — какое счастье! Я решила сменить белье. Когда я разделась, показала себя голой мужу. Смотри, говорю, какая я стала. А была я скелет, обтянутый кожей. Особенно была страшна грудь — ребра. А я была кормящая мать, когда началась война. Ноги тонкие, чуть потолще пол-литровых бутылок. Вася взглянул, опять заморгал глазами. Ничего, сказал он, когда кости целы, будет и тело. Никакой близости между нами не было, и не могло быть об этом даже речи, хотя не виделись мы десять месяцев. В этой комнате мы прожили пять дней. Потом решили ехать в Саратов. Мужу дали отпуск на десять дней. В Саратове у меня родные — мать и две сестры. Мы сели в эшелон, который ехал из Ленинграда. Вагоны были товарные. Ехать было опять холодно и неудобно. Пассажиры были эвакуированные из Ленинграда, такие же худые и истощенные, как и я. С нами поехала жена и сын того лейтенанта, что приходил к нам в Ленинграде. И он сам. Они хотели со мной в Саратов. Во время пути истощенные и больные люди умирали.

На каждой остановке нас кормили, и муж с кастрюлькой бегал на вокзал. Приносил кашу или суп, я почти ничего не ела. Мне все больше и больше нездоровилось. На одной остановке я тоже вышла подышать свежим воздухом. Муж в это время кормил детей. Вдруг поезд без всякого свистка и предупреждения тронулся. Я побежала, задыхаясь, к своему вагону, это было недалеко, и я успела схватиться за скобку. Поезд набирал скорость, и мои ноги, пока снег был у платформы разгребен, не касались колес. Кто-то закричал: «Лида на улице!» У меня перед глазами мелькнуло лицо мужа, лица детей и мысль как молния: «Вот где я должна умереть! Не от голода, не от бомбежки, а вот сейчас». И я потеряла сознание. Вася успел схватить за воротник пальто. Ему тот лейтенант помог меня втащить в вагон. Когда я очнулась, то носки у моих валенок были отрезаны. Один большой палец правой ноги был придавлен, из него сочилась кровь. Если бы валенки мне были не велики — они были большого размера, не мои, а мужа, — то, возможно, я лишилась бы ног — по ступни, а то и выше. Если б муж хоть на секунду позже схватил меня за воротник и не оттянул от колес, меня поезд задавил бы насмерть.

После такого переживания и болезни я совсем свалилась. Беспрерывный кашель с высокой температурой меня измучил, и я думала, что умру в дороге. Поезд ехал медленно. На одной

остановке вошли санитары. Врач бегло осматривал людей и приказывал слабых, особо больных выносить на носилках. Когда взглянул на меня, тоже велел забрать, сказал: «Эту в больницу — сыпной тиф». Я сказала, что сыпняком болела еще в двадцать втором году, девочкой, и что у меня, наверное, воспаление легких. Он: «В больнице разберемся».

Кожа на теле у меня была сухая, шелушилась от истощения, и на ней была как бы сыпь, как у ощипанной от перьев курицы. Вот врач и подумал, что у меня тиф. Муж мой испугался. Если меня в больницу, то куда же денутся дети? Мы решили, пока врач и санитары ушли, скорей выйти на другую сторону поезда, прямо в снег. Та женщина с мужем и сыном вышла вместе с нами. Поезд тронулся, мы остались сидеть на своих вещах на снегу. Мужья наши пошли узнать, что за станция, и достать лошадей с санями, чтобы нас довезти до вокзала. Когда они вернулись на санях, муж сказал, что это станция Семибратово Ярославской области. Мы погрузились, подъехали к вокзалу. Меня положили на лавку, я не могла ни идти, ни стоять. Нас окружили люди, смотрели на меня. По-видимому, мой вид их особо интересовал и пугал: «Какая худая и страшная и имеет грудного ребенка», «Да это, наверное, не ее», «Это, может, бабка ребенка».

В одной из деревень Ярославской области мы остановились. Нас долго никто не решался пускать, боялись меня, думали, что я заразная больная. Потом одна женщина пустила. Муж на следующий день уехал. Купил для нас мешок картошки. Достал с полкилограмма деревенского сливочного масла и молока. На прощание он меня поцеловал в лоб. Я ему сказала, что ты меня целуешь, как покойника. Он тогда поцеловал в губы. Я долго болела. Приходил деревенский врач, который тоже определил, что у меня тиф. Хозяйка испугалась, и меня вынесли в чулан, холодный и грязный. Там я пролежала два дня. Потом, когда снова пришел врач, как следует меня прослушал, то определил легочное заболевание. Я попросила, чтобы он ставил мне банки. Он стал приходить и ставить. Я болела больше месяца. Потом стала поправляться. Когда поправилась, стала работать в колхозе колхозницей. Из сил выбивалась, чтобы что-то заработать. Все, что я привезла из одежды, меняла на молоко для детей. Я в жизни не была в деревне и не знала крестьянской работы, но жизнь научила. В деревне я прожила три года».

Такова история Лидии Охапкиной. Это история матери, которая спасала своих детей. Могут сказать — тут ничего исключительного, героического, так и должно быть… Наверное. Исключительным было только счастье матери, спасшей своих детей и победившей, казалось, саму смерть. Лидия Охапкина еще не знала, что ее Ниночка все-таки умрет от туберкулеза и тяжелого желудочного заболевания, которое привезла из Ленинграда. Умрет уже в эвакуации, как и тысячи, тысячи других ленинградцев, которым казалось, что они вырвались из ледяных объятий блокадной смерти.

Когда читаешь записки Лидии Охапкиной, думаешь о том, как столкнулись здесь любовь и голод. Говорят — «любовь и голод правят миром». В этом выражении предполагается два решающих чувства: то одно из них перевешивает, то другое. Здесь же они столкнулись в открытой лютой схватке в сердце женщины-матери. Конечно, трое Охапкиных могли умереть в Ленинграде от голода, но и это не было бы поражением любви. Материнская любовь Лидии Охапкиной устояла. Ничто не могло ее сломить.

Думая о Лидии Охапкиной, мы невольно сопоставляли ее с Юрой Рябинкиным и Г. А. Князевым. Если определить главное, что происходило в каждом из них, то, наверное, это будет: работа совести — у Юры Рябинкина, работа разума, духа — у Георгия Алексеевича Князева и работа любви — у Лидии Охапкиной. Это, конечно, упрощение, в нем многое теряется, но именно эти три начала прежде всего представлены в их дневниках, записках. Так получилось — трое наших героев воплотили три решающие опоры человеческого бытия.

ПРАВЕДНЫЕ И НЕПРАВЕДНЫЕ

Г. А. Князев:

«1942. IV. 9. Двести девяносто второй день войны. Тороплюсь жить. Проснулся сегодня рано утром, и заработала мысль. Надо сделать это, кончить то, успеть в несколько месяцев хоть частично выполнить, на что и трех лет было бы мало!

И записать многое хочется… О женщине, жене-друге хотелось бы писать гимны, поэмы. О женах, боровшихся и спасавших, но все же в большинстве потерявших своих мужей — астронома Берга, археолога Чаева и многих других, — вплоть до той простой женщины, которая мне рассказывала о последних часах своего мужа — вахтера Центрархива Блохина.

Будущий поэт, которому, быть может, попадутся на глаза эти мои исписанные листки, вдохновится и напишет такой гимн или поэму жене, беззаветно и самоотверженно переносящей все тяготы и отстаивающей всеми своими силами своего мужа… Тем, что я покуда жив, всецело обязан М. Ф. Какая она у меня без всяких красных слов самоотверженная труженица и скромная героиня!..

1942.IV.13. Двести девяносто шестой день войны. Кто-то сказал: «Слишком широк человек, не мешало бы его сузить…» Всю эту зиму я живу лишь настоящим мгновением; но в то же время живу в прошлых веках, тысячелетиях, создавая хронологическую канву для истории культуры: «По культурным вехам и кровавым провалам». Какая необъятная широта в возможностях человека: взлеты, падения, гении, подобные космическим звездам первой величины, и изверги, негодяи; чьи имена знает история и миллиарды тех безвестных, никому не ведомых, которых никто никогда не может вспомнить, потому что ничего не знает о них, но которые жили и умирали, которые, в сущности, и есть человечество!..

Вот жизнь как она есть; вот люди как они есть… И жутко, жутко делается: что они сделали с дарованной для их жизни землей, во что они превратили ее!.. Кровь, слезы, пожарища, насилия, виселицы, расстрелы, грабежи и страдания, страдания во всем мире!.. И сделали это люди, те, которые имели среди себя и Христа, и Сократа, и блаженного Августина, и Конфуция, и Лао-Тая, и Будду, и Толстого!..

1942.IV.12. Триста двадцать пятый день войны. Оказывается, у меня есть современник, который записывает слухи. Я, как уже отмечал, не записывал их, я брал лишь факты; и только тогда записывал слух, когда он касался какого-нибудь факта, который я не мог проверить. Этот мой современник — Е. Г. Ольденбург.

Сегодня она мне помогала снять со стены дома плакат с надписью о защите родного города. Плакат этот провисел всю зиму под дождем, снегом, метелями, обстрелом: «Не сдадим родного города!» Ленинградцы отстояли свой город. Через несколько лет, через 50—100, плакат этот будет музейной редкостью. Пред ним потомки наши преклонят свои головы. Этот лоскут бумаги, бережно сохраненный, будет рассказывать о пережитом в Ленинграде больше, чем сотни написанных страниц. Он живой документ своего времени…

И вот когда Е. Г. Ольденбург помогала мне снимать со стены этот плакат, то и сказала, что она исписала несколько тетрадок, записывая все свои впечатления день за днем и все, что она слышит, слухи.

Итак, не один я пишу. Но так, как я пишу, другой не пишет. Мы видим и переживаем все ведь по-своему, неодинаково…

Ромашевский с начала войны вел регулярную запись тревог (таковых он насчитал до мая 1942 г. — 359), а во время дежурств — всех случаев. То же, оказывается, записывал и В. А. Петров. Кое-что записывал я. Значит, материалы у нас выявляются, и их немало! Надо

только зарегистрировать бы их, сохранить, изучить…

Узнал, что в нашем доме в течение зимних месяцев из 200 жильцов умерло 65, т. е. около 35 %».

А это читаем в другом дневнике:

«26. IV.42. Мне рассказывали, что умер один старик, он был до некоторой степени причастен к искусству. Среди его вещей нашли им сделанную медаль с надписью «Я жил в Ленинграде в 1942 году». Быть может, после войны и следовало бы такую медаль дать всем ленинградцам.

И еще: я бы на каком-либо красивом месте в городе или в одном из парков поставила бы памятник всем тем, кто умер во время блокады, и на камне высекла бы цифру смертности. Это будет звучать еще более величественно, чем Люцернский лев» (К. В. Ползикова-Рубец).

Вот о чем они думали в апреле 1942 года, чуть ожив па первом теплом солнце. Они находились еще в физической немощи, умирали от истощения, по-прежнему на улицах рвались снаряды, рушились дома, но вот уже подросток Саша Нестеров подходит к зеркалу: «… дистрофик — я увидел это слово в зеркале».

Люди стали смотреть, и оглядываться, и видеть. Среди горя, любви, подвигов самопожертвования и долга узрелось и другое.

Происходила поляризация, хорошее выявлялось, обнажалось в своей красоте, плохое — во всей безобразности. Тут было разное: и мародерство, и спекуляция, кто-то наживался на голоде, воровали продукты, выменивали на золото, на драгоценности, картины, меха, были и такие, что пьянствовали, кутили («Однова живем!»), — всякое было в многомиллионном городе. Странно, однако, что в дневниках эти случаи приводят редко, их надо выискивать, о них писали меньше и вспоминают о них неохотно, хотя и соглашаются, что, если избегать этих фактов, картина получится неполной.

Побывали мы в своих обходах у одного известного коллекционера. В его рассказе прежде всего прорывалась гордость тем, как удавалось ему во время блокады пополнять свою коллекцию. Как выменивал вещи у других коллекционеров, умирающих, на какие-то крохи хлеба. Может быть, выпрашивал у тех, кто эвакуировался и не мог забрать с собою. В его рассказе, разумеется, все выглядело пристойно. Он не выпрашивал — он «помогал»! он «сохранял» то, что могло вообще погибнуть в разбомбленных домах, он «спасал» у тех, кто умер с голода, бесценные собрания, которые соседи могли сжечь в печках. Его ни в чем нельзя было уличить, поэтому мы не имеем никакого права называть его фамилию, но ощущение от его рассказа возникло вполне определенное и неприятное. Конечно, как истый коллекционер, он был фанатичен. Коллекционеры бывают корыстны, жадны, настырны, они готовы унижаться, клянчить, даже обманывать. Но здесь было нечто иное. В этой большой квартире в закутке умерли от голода его отец, потом мать, а он все выменивал, добывал, пополнял свою бесценную коллекцию. Он показывал нам огромные шкафы, украшенные бронзовыми бюстами древних писателей, редкие монографии, гравюры, свою знаменитую картотеку. То были действительно уникальные вещи, но они уже не вызывали у нас восторга. Мы не могли ими любоваться. Слишком явственно виделась за всем этим трагедия блокады. Бессовестно и беспощадно пользовался он этой трагедией, собирая попутно не только предметы своей страсти, но, очевидно, и прочие художественные ценности.

Признаться, мы в своих розысках ни разу не встретились с блокадником — спекулянтом, хапугой, с тем, кто нажился на бедствиях войны, брал за буханку хлеба золото, картины, кто скупал меха, мебель, бронзу, фарфор — за хлеб, за крупу. Не встретились с теми, кто обирал в больницах больных, кто воровал продукты в столовых, в детских садах…

Они, конечно, были, но никто ведь не признается, не скажет это про себя. Наверное, они

были среди тех, кто уклонялся от разговора с нами, кто отказывался принять у себя дома.

После войны немало было случаев, когда блокадники обнаруживали на ком-то свои вещи, у кого-то — семейную реликвию.

«И вот такой случай… У меня была маленькая брошечка в виде кортика. Муж моей тетки был морским офицером, и как-то он сделал ей на заказ такую брошечку — кортик золотой, ножны черненые и слоновая кость. Это осталось у мамы с другими вещами тети…

Прошло много лет. Как-то пришла я в парикмахерскую. Сижу. И вдруг входит девушка, а у нее приколот этот кортик. Я растерялась — такое совпадение! Я не могла ошибиться, потому что это была на заказ сделанная вещь. Я очень растерялась. И все. Больше я ее не встречала. Так и пропало, конечно» (Нина Вячеславовна Сезеневская).

В те блокадные дни на здоровых и сытых лицом смотрели подозрительно, недружелюбно, заранее причисляя к жуликам.

Иван Алексеевич Савинков в сентябре сорок второго года уже замечает в своем дневнике «нуворишей», или, как он их называет, «новую аристократию», тех, кто жульничал, наживался, расхищая продукты, — он отличает их сытый вид, самоуверенность, наряды.

Но вот Г. А. Князев под фашистскими бомбами самозабвенно читал стихи Иоганна Вольфганга Гёте:

Мою ты землю не пошатнешь
И хижину мою:
Не ты ее построил…

Ни корысть, ни эгоизм, ни соблазн как-то уцелеть за счет других не поколебали таких, как Князев, не пошатнули их «землю» — их совесть.

ТЯЖЕСТЬ КНИГ

«1942.III.14. Ничего особенного. День как день… Ночь как ночь в осажденном городе, — такими представляются двести шестьдесят шестые сутки войны Г. А. Князеву. — Блокада не разорвана, и отсюда все качества… Давно решено у меня — о будущем не думать. Теперь вопрос ставится снова — что будем делать. У нас было бесповоротное решение — оставаться в Ленинграде и никуда не уезжать. Теперь сама жизнь ставит вопрос о выезде из Ленинграда. Следующей зимы, если мы и дожили бы до нее, в разрушенном городе, без дров мы не проживем. Нынешней зимой десятки, если не сотни тысяч истощенных голодом людей просто захолодели и замерзли в своих нетопленных комнатах. Ждать такой перспективы с «философским спокойствием» бессмысленно. Значит, надо решать вопрос о выезде из Ленинграда. Но куда? А с Архивом как?

И встало вдруг серой стеной это грядущее, пришлось задуматься о будущем…

На службу сегодня не смог поехать из-за неисправностей моего ручного самоката и слабости М. Ф., которой было бы не справиться сегодня со своими обязанностями и слесаря и шофера.

И я целый день читал стихи Бодлера, Верлена, Верхарна и других…

1942.III.15. Двести шестьдесят седьмой день войны. Сегодня день моего рождения. Мне исполнилось 55 лет… Я устал, истощен от голода и холода, измучен нравственно, смят вихрем событий, но я не старик, я не «отсталый». Я еще достаточно чувствую в себе сил, чтобы бороться, а если будет нужно — умереть… Что ж делать! Жизнь прожита. Не удалось, правда, три — пять лет прожить на покое, заняться своими книгами, коллекциями, неоконченными замыслами… Пришли лихие времена. Весь мир, вся наша планета в пламени огня.

Встал рано. Одевался у печки. Какое счастье греться в холодной комнате у теплой печки. Она была истоплена на ночь и к утру еще не остыла. Сижу сейчас за столом. Правда, в комнате развал; от затопленной буржуйки идет едкий дым и ест глаза… Но какое счастье, что еще около меня М. Ф. Она бодрится. Сейчас готовит кофе. Пусть у меня стынут руки и она и я в зимних пальто (на дворе опять мороз — 19°!), но мы живем. И она и я любим друг друга…

— Дорогая моя Кичи (так я зову своего верного друга и жену М. Ф.), подойди ко мне…

И я целую ее, такую худенькую, состарившуюся… А она улыбается мне своими все еще лучистыми глазами, чистыми, нежными, ласковыми.

— Радость моя, оплот мой, друг мой, верная радостная жена моя…

Я не кончаю. Я про себя думаю: «Неужели кончилась наша жизнь, все кончилось?..» И гоню, гоню эти мысли. Не надо их.

Мы садимся пить кофе. Я грею руки М. Ф. На столе у меня Петрарка, Верхарн, Ал. Блок… Сколько мыслей, образов!..

Мы еще живем!»

Книга много значила и много делала в ленинградской блокаде. Ленинград — город, насыщенный книгой, книжными собраниями: государственными, институтскими, частными. Может, по количеству книг на жителя это был первый город в стране. Причем книги скопились первоклассные, редкостные, антикварные. Ленинград славился своими букинистами. Перед войной на Литейном проспекте большая часть нижних этажей была занята книжными магазинами. Вдоль садовых оград стояли развалы букинистов. И ближние улицы — Белинского, например, — тоже были заняты книгами. Здесь можно было найти все или почти все — старый французский роман, брошюры первых лет революции, церковную книгу, немецкие технические

справочники. Букинисты в валенках, в шубах, похлопывая рукавицами, ходили вдоль лотков, заваленных книгами, где рылись любители.

От блокады книга сильно страдала. Ее жгли пожары, она гибла при бомбежке, ею, наконец, топили буржуйки, плиты, ею разжигали, ею обогревались, и за это невозможно осуждать людей. Но книгу и защищали, ее спасали. Есть замечательные рассказы работников Публичной библиотеки, которые в самое голодное, отчаянное время перетаскивали в хранилища частные библиотеки умерших собирателей, ученых, библиофилов, те собрания, которые остались бесхозными, спасали книги из разбомбленных домов. Тащили их на санках, на тележках, на себе через весь город в книгохранилища Публички. Никто не заставлял их, не было на то указаний, ничем эта работа не поощрялась. Они любили книгу, они служили книге, поэтому они ее спасали. Но это профессионалы-книжники. А были просто ленинградцы, питерцы, потомственные питерские интеллигенты.

Вот что рассказала нам Зинаида Александровна Игнатович, работавшая в научно-исследовательской лаборатории пищевой гигиены. Зинаида Александровна заведовала там отделом. До революции она прошла путь, довольно типичный для девушек, добивавшихся осмысленной трудовой деятельности на пользу людям: издалека приехала в Петербург, поступила в Женский медицинский институт, уехала работать на холеру, потом на тиф… Скромная, но по-настоящему идейная, интеллигентная труженица. Рассказанный ею эпизод — типично ленинградский.

«— В блокаду мы остались вдвоем с мужем. Он худой был. Он перестал работать уже в сорок втором году, не смог работать. Но он был невероятный книголюб. Двоюродная сестра моя была профессором, и ее удалось каким-то образом буквально в октябре уже, с трудом, но все-таки эвакуировать на Большую землю. Уезжая, она мне сказала: «Все вещи я бросила. Если будет возможность, когда-нибудь посмотрите, что там есть, потому что я с собой ничего не могла взять». Ну, весна в Ленинграде в сорок втором году задержалась, еще в апреле был снег очень долго. Наконец дни стали больше, и я говорю своему мужу: «Давай все-таки съездим к Верочке, посмотрим». У нас квартира осталась пустая, все эвакуировались. Сосед-инженер умер, жена его была на фронте. Пять комнат, а мы жили только вдвоем, больше никого не было. Мы связали двое санок и повезли их. Сестра жила у Марсова поля, нам нужно было пройти, наверно, километра два, через Неву, мимо Биржи. Ну, мы потихоньку пошли, подошли к Бирже. И тут начался страшный обстрел: снаряды падали то в воду, то возле Биржи. Я говорю: «Давай кругом Биржи обойдем, там все-таки тише».

Пришли мы в квартиру Верочки. Ну, квартира вся раскрыта, никаких вещей, конечно, нету, но шкафы с книгами целы. «О-о! — муж обрадовался. — Книги, книги-то целы! Я книги возьму!» Я, зная уже его слабость, говорю: «Знаешь что? Только бери самые интересные, потому что мы с пустыми санками еле-еле доехали». Но когда он все отобрал, я вижу — полные санки, двое санок, вот сколько книг навязано. Я говорю: «Столько книг?» А муж сказал: «Как можно бросить Достоевского? Если бросить, их ведь сожгут!» Поехали с этими санками. Перешли опять Неву у Биржи, и опять начался обстрел. Я говорю: «Давай опять завернем сюда». Когда мы начали заворачивать, я смотрю: вдруг он побледнел, хоп — упал! А я, главное, как сейчас помню, мы ведь долго прожили, прожили дружно, а я, представляете, думала не о том, что он умер, а как я его теперь до дому дотащу?!! Вот я и теперь помню это чувство! Не то, что он умер, что я потеряла его, а как я его мертвого дотащу?! Вот я его потихоньку под руки на ступени этой Биржи втащила. Положила. Начала смотреть пульс, потихоньку появился пульс. Понимаете!!! Он там посидел час, пришел в себя. Ну, конечно, чтобы он вез санки, уже не могло быть и речи. Бросить книги тоже нельзя. Пошли мы. Я его веду под руку и тащу вот эти самые санки, полные книг. Наверное, мы шли часа три до своей квартиры. Лифта не было, подниматься наверх не

было уже никакой возможности. Мы оставили санки внизу. А я его еле дотащила до квартиры. На второй день утром он с постели встать не мог. Я ему оставила кое-какую еду, а сама пошла в институт.

— А санки с книгами там, внизу, остались?

— Да, так и остались. Прихожу с работы, вижу: санки пустые! Вот ужас, думаю, человек чуть не умер из-за книг, а кто-то на растопку взял! Стала подниматься к себе наверх, на пятый этаж. Когда я дошла до четвертого этажа, слышу странный такой звук, как будто собака идет на четырех лапах, вот так вот шлепает! Я думаю: откуда в сорок втором году собака? Давно ведь всех собак съели. Когда я поднялась на площадку четвертого этажа, вижу такую картину: муж, у него сзади торба с книгами, и он на четвереньках несет эти книги!!! Увидел меня, сел и говорит: «Вот не успел! Думал до тебя перенести». Идти он уже не мог. Так на четвереньках, как собака, перетаскал все книги».

Понять, даже разделить любовь к книгам вроде бы нетрудно из нашего благополучно-сытого времени. Кто не бросится тащить внезапно свалившееся книжное наследство сегодня! Но чтобы понять и разделить ту любовь к книгам и те чувства, надо действительно представить себя на месте блокадника-ленинградца — ощутить, хотя бы вообразить то состояние предельной истощенности, когда, казалось, все мысли, кроме главной — о хлебе насущном, высосаны голодом.

Ленинградская интеллигенция… русская интеллигенция… Часто пытаются эти понятия свести к образованию, к воспитанности. Но это нечто иное…

Человек умирает в самом прямом и грубом значении этого слова — и все равно идет за книгами! Как много может человек! Потому-то так важны для всех нас блокадные воспоминания — в них открываются запредельные силы человеческой души, состояния, о которых никто не знал, возможности, которые в обычной жизни остаются неосуществленными.

Приближается весна. Она приходит медленно, слишком медленно. На «Дороге жизни» ее не торопят, наоборот, там боятся, не хотят теплого солнца, спешат, пока лед прочный, скорее, скорее завезти в Ленинград побольше продуктов, эвакуировать людей.

Первыми оживали дети.

А. П. Гришкевич записал 13 марта в своем дневнике:

«В одном из детских домов Куйбышевского района произошел следующий случай. 12 марта весь персонал собрался в комнате мальчиков, чтобы посмотреть драку двух детей. Как затем выяснилось, она была затеяна ими по «принципиальному мальчишескому вопросу». И до этого были «схватки», но только словесные и из-за хлеба».

Завдомом тов. Васильева говорит: «Это самый отрадный факт в течение последних шести месяцев. Сначала дети лежали, затем стали спорить, после встали с кроватей, а сейчас — невиданное дело — дерутся. Раньше бы меня за подобный случай сняли с работы, сейчас же мы, воспитатели, стояли, глядя на драку, и радовались. Ожил, значит, наш маленький народ».

В эти же мартовские дни 1942 года Г. А. Князев за писывает:

«Похлебка, дымящаяся похлебка на столе. И мы жадно хлебаем, лакаем, как голодные псы… Но рядом у меня книга, полная мыслей искристых, сочных, порою парадоксальных и спорных — «О поэзии в Библии» В. В. и карандаш для заметок. Я беру из нее, что мне нужно, живое и не поблекшее до сих пор, а остальное, как шлак, оставляю… Похлебка из… — я даже не знаю из чего! — кажетется нам «пищей богов». Пожалуй, самое поэтичное в ней — это идущий пар, тепло.

М. Ф. принесла лишний кусок хлеба, который обменяла на рынке на рубашку. Какое счастье

еще жить так!

И буржуйка сегодня не дымит. М. Ф. вычистила от сажи трубы.

Что еще нужно? Одно: хоть какая-нибудь уверенность в завтрашнем дне или даже ближе — в сегодняшнем вечере. Нельзя же так жить, на самом деле, — настоящим моментом, мгновением, без всякого будущего (я, конечно, говорю о личном будущем).

1942.III.18. Двести семидесятый день войны. Сегодня неожиданно во втором часу дня наш Васильевский остров подвергся жестокому обстрелу.

Я возвращался из Архива по набережной со своими думами… Вдруг воздух над Невой стал рваться, как шелк. И сразу где-то загрохотало. Впереди меня прохожие уже лежали на снегу. Все это было ошеломляюще неожиданно… Еще утром, открывая парадную и проходя в нее, покуда М. Ф. приготовляла самокат под порталом нашего академического дома, я думал — какая благодать, тишина, не ухают пушки!..

И вдруг… Один свистящий снаряд через головы, другой, третий… И трах-тах-тах! Разрывы где-то близко. Кто не лежал, бежали, пригибаясь к земле, вдоль домов. Оставаться на открытом месте было слишком рискованно, и я заехал под ворота б. Кадетского корпуса со стороны набережной. Конвойный пропустил меня. Там я и простоял минут 30–40, покуда длился обстрел. Но я, еще не дожидаясь полного спокойствия, выехал на набережную. Академик Крачковский стоял под подъездом б. Меншиков-ского дворца. Бледный, нервно-напряженный, молчаливый и гордый… Опять усилился обстрел. Он сделал несколько шагов со мною молча, сосредоточенно и опять остановился, но уже теперь за углом дома.

В это время М. Ф. сидела в столовой в подвале под Зоологическим музеем. Я был относительно спокоен за нее… Но, оказалось, напрасно. Один из снарядов упал как раз между больницей Отта и академической столовой. Оглушительным ударом взрывной волны выбил в ней все стекла… А у одного из окон сидела М. Ф., и, по счастью, шрапнельные пули или куски снаряда и осколки стекла пролетели над ее головой, не поранив, только страшный взрывной удар оглушил правое ухо. Кругом поднялась суматоха… Первая мысль М. Ф.: а что со мной? Ведь я еду по набережной, под самым обстрелом… Но, к счастью, не выскочила, осталась выжидать и получить все же обед, который во время суматохи перестали давать…

1942.III.31. Двести восемьдесят третий день войны.

С какой любовью, нежностью глядел я сегодня на свои художественные собрания, на выписки из истории культуры, на начатые или только задуманные литературные произведения… Не хватило, не хватило нескольких лет, ну годика три, что ли!..

М. Ф. подошла ко мне и, улыбнувшись, спросила: все пишешь? Напомнила мне чей-то рассказ, как один счастливый человек в восторге водил пером по бумаге, воодушевленный удачей, что он все написал что хотел и как хотел… А когда посмотрели, что он пишет, оказалось ничего: одни линии из крючков и петелек, не походивших ни на одну букву, или просто прочеркнутые линии. «Счасливец» же блаженствовал, что он все успел написать…

Мы расхохотались.

— Ты следи за мной, — сказал я М. Ф.

И мы опять рассмеялись. Редко теперь смеются люди!

— Проживем? — спрашивает М. Ф.

— Продержимся апрель, май, а в июне… В июне, июле уедем.

— А если не удастся уехать?

Молчим оба».

А вот еще один рассказ о книгах читаем мы в дневнике Г. А. Князева. Научная сотрудница Пулковской обсерватории рассказала ему о Викторе Рудольфовиче Берге.

«Он, между прочим, ездил в Пулково на грузовике в октябре раздобывать из подвалов

оставленные там книги и между ними ценнейшие и инкунабулы. Делалось это под самым носом неприятеля, в полутора километрах от него. Во время пути пришлось все-таки спасаться, бросившись из автомобиля в канаву. Но, к счастью, снаряды рвались по другую сторону дороги. Подвалы, в которых хранилась ценнейшая библиотека Пулковской обсерватории, были сводчатые и настолько крепкие, что они считались совершенно не поддающимися какому-либо разрушению. В одном помещении был даже двойной изолированный подвал для службы времени. И все это было разрушено!.. Книги перемешались. Берг, добравшийся все-таки до Пулкова с риском для жизни на военных грузовиках, в темноте откладывал наиболее ценные, известные ему книги, которые и были оттуда вывывезены. По спасению другой части библиотеки работал сотрудник Циммерман…

Когда над нами в Архиве Академии бушевала гроза, я беседовал с Шафрановским, старшим библиотекарем библиотеки АН. Дым от пожарища, наблюдаемый нами из окна, оказался левее, чем библиотека. «Надеюсь, что не дом, где я живу, горит», — сказал он задумчиво. «А дома кто-нибудь у вас есть?» — «Дочь, пятнадцатилетняя девочка». — «А еще кто?» — «Никого больше… Ведь когда я вернулся с военной службы, я не нашел дома жены и матери. Они умерли в начале этого года… Встретила меня одна дочка. Сейчас и живем с ней, но она ведь еще девочка, и бытовые условия вследствие этого очень тяжелы…» Я не удержался: «Так как же вы не сказали мне этого, когда были у меня?» — «Зачем же? Не у одного меня такое горе…» Над нами гремел «гром», раздавались дальние и близкие разрывы бомб. Я предложил пойти в одну из наших комнат в башне. Он улыбнулся и просто сказал: «Зачем?..» Мы стали продолжать деловую беседу о дальнейшем плане обследования академических хранилищ…»

Мария Васильевна Мошкова, работник Публичной библиотеки, в блокаду тоже спасала книги. Вместе с другими сотрудниками тащила на себе, на санках, в мешках остатки разбомбленных книжных собраний. Они ходили по известным библиофилам, ученым — по тем адресам, которые знали или о которых сообщали родные, близкие, карабкались по этажам, собирали книги и везли в книгохранилище Публички. Потом уже им выделили машину, а в самые тяжкие месяцы эти медленно двигающиеся от слабости женщины волочили через город тяжелые связки книг.

Блокадники вспоминают о том, как печатались и выходили книги, вспоминают о спектаклях Музкомедии, о выставках, об исполнении Седьмой симфонии Д. Шостаковича в филармонии. О последнем рассказывает музыкант Нил Николаевич Беляев:

«Это был совсем особый случай с этой симфонией. Шостакович был свидетелем колоссальных народных бедствий, всех лишений и страданий народа. И не только он, но и исполнители оркестра, и дирижер, слушатели, находящиеся в зале, все были участниками и свидетелями трагедии. И все это воспринималось совершенно необычно, как говорится, с живым сердцем. Понимаете? Потом уже мне приходилось слушать эту симфонию в отличном исполнении, с хорошим составом оркестра, с прекрасным дирижером, но такого впечатления от этой музыки, такого личного восприятия уже никогда не было — тогдашнего, свойственного только тому дню, тому времени, когда знаешь, что в оркестре сидят мои полуголодные товарищи и Карл Ильич Элиасберг тоже не ахти какой сытый человек. Причем с этими товарищами мы провели всю сложнейшую зиму, а немного позже, со следующего года, когда мы немножко встали на ноги, все мы были зачислены в рабочие батальоны. И до конца войны мы состояли в тех подразделениях, защищали как могли Ленинград. В частности, я и известный виолончелист Сафонов были сначала пожарниками, потом мы были в отделении связи».

Писатель Геннадий Гор рассказывал:

«Накануне войны я купил книгу Зиммеля о философии личности Гёте, написанную абстрактно, одну из самых трудных книг, какая мне попадалась. Пытался ее прочесть, ничего не

понял. А в блокаду при свете плошки уяснил ее и получил огромное духовное удовольствие. Позже, когда совсем было плохо, духовная жизнь, конечно, замерла. Люди стали жить уже моментом. Прошлое как бы исчезло. Осталось только настоящее, это облегчало жизнь. Жили как бы частями — обогреться, попить, съесть, дождаться обеда…»

Зоркий наблюдатель, Геннадий Гор тонко замечал смещения в духовной структуре человека того времени. Например, как изменились расстояния:

«— Все стало далеко. Улицы расширились, даже зрительно, все обрело большую протяженность. Наверное, из-за слабости, а еще из-за пустынности улиц.

— В чем, по-вашему, проявлялась духовность ленинградцев того времени?

— Не паниковали, не психовали. Было мало истерики, криков. Я вообще против слова «героизм» в этих условиях. Была выдержка, было достоинство, даже в смерти. Был оптимизм, не надежда личная, а оптимизм общества. Вообще в Ленинграде народность соединилась с интеллигентностью…»

Происходили вещи и впрямь удивительные. Даже день рождения Пушкина отмечался! В 1943 году! Совершенно случайно выплыл этот эпизод в разговоре, с Верой Петтровной Безобразовой.

Она и в войну жила на Мойке, рядом с музеем-квартирой А. С. Пушкина. Музей, конечно, был закрыт, но вот кто-то, кто — она не помнит, стал обходить дом и приглашать людей прийти на праздник.

«— Нас пригласили предварительно такими билетиками прийти. Нас было человек восемь жильцов.

— Наверно, было трудно собрать людей из города и просто пригласили тех, кто здесь жил?

— Да, тех, кто здесь жил. Пришли и сказали: вот придите, будет завтра день рождения Пушкина. Это сорок третий год, шестое июня. Кто там был? Был Всеволод Вишневский, который очень хорошо сказал речь, что мы победим и что этот голод уйдет от нас и все будет по-старому, все будет хорошо. Были еще Николай Тихонов и Вера Инбер. Если я не ошибаюсь, она прочла нам стихотворение «Памяти Пушкина».[40] Мы все стояли. На бюсте Пушкина был свитый венок. Мы все почтили его дату.

— Вы были в самом музее?

— Да, да. Было торжественно, знаете. Всеволод Вишневский с таким энтузиазмом говорил: вы поверьте, мы победим!

— Вам, восьми человекам?

— Нам, восьми человекам. А что говорил Николай Тихонов, я не помню.

— Как тут все выглядело тогда?

— Как выглядело? Все окна были забиты фанерой. Во двор, где стоит памятник Пушкину, упала бомба: там была громадная яма. А у нас тогда только прыгнула посуда, мы все остались вроде на местах.

— Памятник не стоял еще тогда?

— Нет. Памятник поставили много позже, после победы. А конюшни уцелели. Один гражданин позже спрашивал меня: «А это что за здание?» Я говорю: «Это конюшни Бирона — фаворита Анны Иоанновны». Он говорит: «Вот как интересно: это стоит, а мой гараж упал». А в основном дом-то пушкинский уцелел почти весь. А вы видите — напротив упало. Большущая бомба — в Мойку. И не разорвалась».

Происходили истории иного порядка, но столь же характерные, удивительные, свидетельствующие о творческих возможностях человека. Борис Исаакович Шелищ служил техником-лейтенантом в полку аэростатов заграждения. Он рассказывает:

«У нас не было топлива. Чтобы выбрать аэростаты, то есть опустить их из воздуха для

перезарядки, надо было включать автомобильные моторы, а бензина не было. Ведь сотни аэростатов висели над городом, они не давали фашистским самолетам снижаться, мешали пикировать, вести прицельное бомбометание. Попробовали мы вручную выбирать (мужчины еще были в сентябре 1941 года), но десять человек расчета не смогли их выбирать. Таким образом, боевые операции данного вида оружия прекращались: со временем водород тяжелеет, аэростат снижается, вместо трех-четырех тысяч метров висит низко и преграды для самолета не представляет. Встал вопрос — как быть? Мне пришло в голову выбирать аэростаты лифтовой лебедкой. Раздобыл я такую лебедку, привез, но к этому дню не стало электрической энергии. И тогда я вспомнил «Таинственный остров» Жюля Верна. С детства запомнилась мне глава «Топливо будущего». Достал эту книгу. Перечитал. Там было прямо написано: что заменит уголь, когда его не станет? Вода. Как вода? А так — вода, разложенная на составные части, водород плюс кислород. Я думаю — не пришло ли это время? Ведь мы что делали — выдавливали оболочку аэростата, выпускали так называемый грязный водород, а это все равно что выливать на землю бочку бензина. Думаю: сейчас, когда у меня есть под руками грязный водород, это же топливо. То самое, про которое Жюль Верн писал…

Я договорился с командиром. Сделал просто: шланг от аэростатной оболочки сунул во всасывающую трубу двигателя. Чувствую, двигатель работает. Даю обороты, он обороты принимает. И вдруг ЧП! Выхлоп! Обратная вспышка, взрыв, газгольдер сгорел. У меня контузия. Руки опустились. Но бензина-то нет! И тут я понял, что надо сделать затвор. Разрывать цепь автоматически. Для этого ничего лучше воды быть не может. Взял я огнетушитель и сделал в нем гидрозатвор. Двигатель сосет водород через воду. Обратная же вспышка через воду не доходит. Дали разрешение испытать. Приехали генералы. Посмотрели. Все хорошо. Приказали за 10 дней перевести все аэростатные лебедки на новый вид топлива. Собрали по городу огнетушители. Шестьсот штук понадобилось. Достали шланги. Короче говоря — все аэростаты выбирать стали на новом топливе, на водороде. Лучше работали, чем на бензине. Я вам скажу, почему лучше. Потому что в холод двигатели на бензине плохо заводятся. Надо их прогревать. На водороде же и при морозе с пол-оборота заводятся».

Двигатели на водородном топливе демонстрировали на выставке Ленфронта, потом Б. Шелища отправили с ним в Москву. Он совершенствовал свою конструкцию, отвечал на вопросы специалистов.

«Если б был бензин, я бы не довел свою идею до конца. И вообще, я скажу вам, мне многое в голову не пришло бы, если бы не блокада. А тут приходило. Знаете, я тогда перечитал про эпопею челюскинцев. Как они высадились на лед, как жили в таких условиях. Может, извлечь что можно… Мы ведь тоже были как на льду. Не помню, чтобы в нормальных, мирных условиях я работал, с такой энергией и так соображал бы. А вообще я думал, что никогда уже не смогу быть сытым».

А по радио, может быть, в это самое время звучали такие странные и такие понятные блокадникам слова:

В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
где смерть, как тень, тащилась по пятам,
такими мы счастливыми бывали,
такой свободой бурною дышали,
что внуки позавидовали б нам…

У Князева радио, мы помним, все время испорчено, молчит. Как эти слова из

«Февральского дневника» Ольги Берггольц воспринимал бы он? Насколько они выражали все то, что испытывал и о чем писал в дневнике Князев, — эту голодную возбужденность, которую пережили и помнят многие (состояние, которое у других затем переходило — а Князев все не поддавался! — в апатию, безразличие ко всему), это упоение всем, что способна еще подарить жизнь (даже в блокаду) человеку, истово преданному культуре, а сейчас начинающему с новой силой любить и ценить Ленинград, поэзию, понимать людей, которым выпала тяжелейшая судьба, отстояв, спасти гуманистическое прошлое и будущее человечества?..

Из дневника Г. А. Князева:

«Разговорились с В. А. Петровым, сотрудником ИИМК.[41] Он говорил мне: «В конце января, когда я потерял жену и дочь, когда квартира была разбомблена, книги (у меня специальная библиотека до 6000 томов) лежали, выкинутые взрывной волной из шкафов, на полу, мебель, одежда, платье, белье погибли, и я стоял в морозной разрушенной комнате в оцепенении, с начинающимся воспалением легких, — я сам не знаю, откуда найдя силы в себе, приказал себе: жить и кончить свои начатые труды. И погибающий, с похеренной жизнью я вдруг начинаю оживать. И живу. Все поборол, все превозмог. Сейчас я одинок, у меня никого нет. И у меня ничего нет. Только то, в чем остался в январе, — вот в этом пальто, шапке, пиджаке и белье. И ничего больше. Правда, когда я перешел жить в библиотеку, покуда она окончательно не замерзла, у меня там оказался запас чистых воротничков».

Сейчас он пишет, заканчивает свои труды.

«Смеяться, — говорит он, — я действительно разучился, но не плакал и не плачу»…»

МОЮ ТЫ ЗЕМЛЮ НЕ ПОШАТНЕШЬ

Дни войны, они для ленинградцев были к тому же днями блокады, а еще днями обстрела, днями бомбежек. Двести девяностый, трехсотый, триста десятый, двадцатый, тридцатый… Неукоснительно вел им счет Г. А. Князев. И учительница К. В. Ползикова-Рубец. И партийный работник Гришкевич. И еще десятки людей, чьи дневники дошли до нас. Весна, а затем лето 1942 года принесли заметное облегчение горожанам. Появилось прежде всего тепло — солнце. Исчез лютый враг — мороз. Можно было согреться, не думать о дровах, можно было немножко помыться.

Снимали с окон одеяла, ковры, матрацы — все, чем затыкали, завешивали их, защищаясь от холода, — открывали забитые фанерой форточки. Солнечный свет врывался в страшные, закопченные блокадные квартиры. Паркет был выворочен, мебель изрублена, все было загажено, но свет, солнце — оно как ласка для исстрадавшихся людей. Долгая зимняя гнетуще-копотная тьма кончилась для тех, кто выжил. Люди подходили к зеркалу, вглядывались в свои неузнаваемые отражения, ужасались, и этот ужас, страх, отвращение были тоже живительным чувством пробуждения. Об этом написано у всех.

И сразу же навалилась настойчивая забота на всех горожан без исключения, без снисхождения к слабости, к дистрофии: надо было чистить город, вынести трупы из опустелых

квартир, убрать завалы нечистот, улицы убрать, дворы, лестницы.

Уже в ноябре 1942 года, вспоминая о весенних работах, К. В. Ползикова-Рубец изумлена: как мы смогли? как сумели? От удивления она пишет в третьем лице, как бы со стороны:

«Невероятным было то, что они очистили эти кучи нечистот, которыми был покрыт Ленинград (я тоже участвовала в этом). Покрыли его ковром огородов, трудясь с восхода солнца до работы на заводах и учреждениях, трудясь после окончания работы. И это без водопровода, без канализации, без прачечных, почти без бань, на полуголодном пайке и под свист вражеских снарядов. Эти ленинградцы охраняли свои огороды, дежурили по ночам. И это у них воровали из-под носа или попросту грабили эти овощи, взращенные с таким трудом, тоже ленинградцы…»

Анатолий Сергеевич Болдырев продолжал свой рассказ об эвакуации из Ленинграда уже в весенних условиях:

«Подготовка к навигации 1942 года была не менее сложная задача, чем организация ледовой дороги. В распоряжении ленинградцев были жалкие остатки флота. Не было барж, причалов, буксирных судов, все было разбито. Надо было делать 600-тонные металлические баржи. Все работники горкома партии занимались организацией этого дела. На заводах готовили секции, перевозили по железной дороге до бухты. За Ладогой в заповедном лесу заготовляли лес для деревянных барж, совсем как в петровские времена. На временно сооруженной верфи построили 33 баржи… Ремонтировали оставшийся флот. Страшная работа, потому что непрерывно бомбили все подходы к верфям, к причалам, к пирсам. Люди гибли десятками. Но благодаря упорству ленинградцев, непрерывным подкреплениям программу удалось выполнить… Всего в навигацию сорок второго года (туда и обратно) было перевезено более миллиона тонн различных грузов».

А на малом радиусе Г. А. Князева тоже пригрело, зазеленело, расцветало:

«1942.V.18. Триста тридцать первый день войны. Дивный день сегодня. Вдоль набережной разрыхляют грядку для цветов, ту самую, о которой я с такой безнадежной грустью писал осенью. Я не думал, что доживу до того времени, когда на этой грядке снова зацветут цветы. Как взволновала меня длинная полоска черной, подготовленной для посадки цветов земли.

В Румянцевском сквере василеостровцы устроили огород. Разбили сад на участочки. К сожалению, много места занимают траншеи.

На солнце жарко. Сидеть бы и греться, наслаждаться жизнью! Мне сейчас очень хочется жить, мыслить, творить…

Сегодня, после 6-месячного перерыва, снова работал в своей комнате, за своим письменным столом — и не верилось этому…»

К июлю стало ясно, что Князевым надо уезжать. Но Георгий Алексеевич всячески отодвигает от себя эту мысль:

«1942.VII.6. Триста восьмидесятый день войны. Город полон слухов. Они всех волнуют. Все ожидают наступления немцев на Ленинград, полного его окружения и всех ужасов новой, насмерть удушающей ленинградцев блокады.

По улицам везут на детских колясках поклажу и идут женщины с детьми. Это выселяются в принудительном порядке. Врач, живущий на нашем дворе, отправил в Башкирию свою жену с двумя ребятишками. Весь потный, красно-багровый, катил на мальпосте тюк с вещами, а мать с ребенком на руках и с другим около ее подола шла неровным, усталым шагом.

В учреждениях составляются списки эвакуирующихся. К нам в Архив ученые несут свои рукописи.

Собрался с силами и насколько могу спокойно гляжу в глаза будущему…

Мне сообщили о полученной телеграмме жены нашего кочегара Урманчеева, матери троих детей, уборщицы Фани, что она доехала домой, но из троих ребят довезла только одного: двое умерли в дороге.

…Мой родной любимый город, где не только улицы, площади, дома, но и каждый камешек мне знаком! И что с ним сталось!

«Вот Невский… вот Морская» — писал я в дни первой блокады во время гражданской войны, пораженный разрухой города и пустотой. Лишь стаи псов иногда можно было видеть тогда на улицах, куда-то стремительно мчавшихся даже по Невскому, когда он затихал от транзитных пешеходов к вечеру. Теперь нет ни одной собаки на улицах…

И вот снова Невский, Морская… Страшный срез бомбой целого угла с крыши до основания на б. Малой Морской, теперь улице Гоголя… Неторгующие магазины с забитыми витринами, нежилые этажи или целые дома, пострадавшие от артиллерийского обстрела. Город снова в разрухе. Я второй раз переживаю то же самое. И сегодня, как 20 с лишним лет, я был в оцепенении, почти отчаянии… И успокаивал себя — ведь оправился город от той разрухи, оправится и теперь! Будет жить и процветать мой родной город. Дни страшной войны пройдут, а город останется… Мы умрем, а город останется. Город Петра и Ленина, двух гениев русского народа, никогда не погибнет. Петр приобщил через Петербург Россию к Европе, Ленин привлек Европу и весь мир к Советской России.

Через десять лет после своего стихотворения о разрушенном Ленинграде мне пришлось написать другое: «И стыдно мне…» Да, мне стало стыдно потом за маловерие. Ленинград тогда воскрес. Воскреснет он и теперь, когда кончится эта война… Но эти мысли я записываю сейчас дома, а там, на Невском, на Морской, на бульваре Профсоюзов, я, признаюсь, по-другому думал, неуемная тоска вдруг овладела мной, и много надо было разума и воли, чтобы совладать с ней…»

«Все время один предо мною вопрос, — записывает Князев, — имею ли я право покидать Архив, или свой «корабль», как я его называю.

Мне хотелось, если уж суждено погибать, то вместе с ним. Выходит так, что я оставляю Архив.

— Вам приказывают так поступить, — говорит мне т. Федосеев, — и вы обязаны подчиниться.

Я попросил разрешения на обдумывание ответа до понедельника. Что мне ответить? Мучительный вопрос. Я обратился к М. Ф. Она мне ответила письменно… Она искренна и ясна. Значит, уезжать! Ходил по Архиву, словно кто мне по голове обухом ударил. Имею я право покидать Архив, не являюсь ли я дезертиром?

…Родной мой город, и я принужден покинуть тебя. Сегодня мне надо было бы собираться, а я с карандашом в руках исписываю страницу за страницей. Я не хочу получить упрека, что я не выполнил своего долга — не записал того, что видел, слышал, читал, пережил в дни осады моего замечательного города. Посильно я свой долг исполняю. Везу с собой целый портфель записок о днях войны в Ленинграде…

1942.VIII.11. Четыреста шестнадцатый день войны. Последний день в Ленинграде.

Прощался с городом. Прощался со сфинксами… Пустынно на набережной. Утром от нашего дома до Академии навстречу мне попалось не больше трех человек — военный и две женщины на плечах пронесли гроб… На службе обходил хранилища с глубоким волнующим чувством. На время или навсегда их оставляю?.. Дома суматоха. Как всегда, еще много не собрано. 4 часа. А в 7 часов придет автобус за вещами и за нами!»

Этим заканчиваются подневные записки Георгия Алексеевича Князева «В осажденном

Ленинграде». Потом была трудная эвакуация обезножевшего и ослабевшего блокадника и его преданной жены и снова возвращение в Ленинград — к своей работе в Архиве.

Князев завершил свой жизненный путь в том же доме с окнами на Неву и сфинксов, на стенах которого 27 мемориальных досок с именами выдающихся петербуржцев, петроградцев, ленинградцев.

Среди фотографий в семейных альбомах Марии Федоровны Князевой мы увидели групповую: работники послевоенного Архива Академии наук СССР. Новые и прежние (кто выжил) сотрудники Георгия Алексеевича. «Старых», переживших блокаду, не выделишь по каким-то особенным признакам. Угадываешь, но не наверняка. А казалось бы, должно сразу на лицах, в выражении глаз читаться: эти пережили, эти узнали, эти — блокадники! Когда Александр Митрофанович Черников называл нам фамилии, знакомые по записям Князева, многое никак не совпадало: этот, такой уверенный, уравновешенный с виду, «все время плакал»? а эта красивая, полная могла напоминать «взъерошенную голодную кошку»? а эта женщина, такая щупленькая, и еще вот эта, на нее и внимания не обратил бы, — это они, сами полутрупы, волокли на саночках через весь город этого благополучного с виду мужчину, который тогда был «безнадежным дистрофиком»?

Они, бывшие блокадники, невидимками ходят по городу: мы их не узнаем (разве что по возрасту и облику иногда догадываемся), а они нас видят…

Среди наших магнитофонных записей хранится и этот; вот живой голос — один из сотен:

«У меня домик есть под Новгородом, старый, купленный. Вот какая я богатая! Пока я работала, купили домик старенький… Утром встаю. Никого никогда не осуждаю. За рукав никто не тянет. Иду куда хочу. Куда сегодня пошла? Пошла из церкви на Марсово поле, потом в церковь Спаса на крови, на канал Грибоедова. Постояла у больницы, где погиб мальчик. Стояла у Казанского собора, где умерла моя сестра, оставив ребенка. И пешком пошла по Невскому. И смотрела всем в глаза — не встречу ли кого-нибудь? Нет. А только видела, что несут громадные сетки апельсинов. Иду дальше…»

Она идет дальше в толпе прохожих. Ее уже не узнать, не выделить. Блокадник… блокадница… Их все меньше. Все реже они вспоминают, рассказывают. Внуки — и те уже взрослые. Они родились спустя много лет после войны. Они не застали ни одного разрушенного дома. Все восстановлено, доты давно разобраны, выбоины от осколков замазаны, заштукатурены. Чтобы ознакомить с войной, блокадой, школьников водят в музей города. Там выделено два зала: блокада вошла в число прочих исторических событий — народовольцы, революция, гражданская война, прокладка метро, застройка окраин.

Дочери, сыновья — те еще помнят. Хотя часто и не знают подробностей, как все было с ними, как они живы остались…

ЖИВОМУ — ЖИТЬ

Книга эта была уже написана, когда мы наконец добрались до подлинного дневника Юры Рябинкина. До того мы пользовались перепечатанным текстом, который дала нам А. Белякова.

Мы увидели эту тетрадь в черной матерчатой обложке — красивый беглый почерк. Лиловые чернила. Записи становятся все плотнее, без абзацев. Кое-где подклеены были фотографии, продовольственные карточки — они оторваны. Или отклеились. Остались пустые места, обрывки. Слишком долго дневник ходил по рукам. Часть его внутри обгорела. Расстояние между строками уменьшается, автор выгадывает под конец каждый кусочек страницы, как будто боится закончить эту тетрадь… Общая тетрадь начата 22 июня 1941 года, последняя запись — 6 января 1942 года. Странно, последняя страница, последняя запись — и кончилась жизнь Юры Ря-бинкина. Такое совпадение. Предчувствие его сбылось.

Дневник Ю. Рябинкина завершен, дневник Князева тоже. Записки Л. Охапкиной о блокаде кончены.

Работа наша над второй частью «Блокадной книги» подошла к концу, но мы тянули и медлили. Нам хотелось что-то еще узнать о Юре Рябинкине. Что именно, — мы не знали. Ровный, аккуратный до последних дней почерк. Смятенность чувств при удивительной ясности мысли даже в состоянии крайней дистрофии. Каким же он был, этот мальчик, к которому мы успели привязаться?.. Каким его знали, помнят другие люди?

Мы обратились к началу истории. Впервые «открыла» этот дневник редактор газеты Алла Белякова в 1970 году. Тетрадь принесла в редакцию ленинградской молодежной газеты «Смена» женщина, которая хранила дневник много лет. Чутьем опытного журналиста Алла Белякова поняла значительность этого документа, она опубликовала в «Смене» большой отрывок из дневника Юры Рябинкина. Более того, она разыскала и собрала его одноклассников в надежде узнать какие-либо подробности о судьбе мальчика.

После выхода первой части нашей «Блокадной книги» Алла Белякова передала нам машинописный текст дневника (не до конца прочитанного, расшифрованного). Дневник порождал немало вопросов: что стало с Юрой, с его мамой, с его сестрой Ирой? Дом, где он жил, давно был занят под учреждение, так что расспросить у прежних жильцов не было возможности. Было неясно, каким образом уцелел дневник. Может быть, есть продолжение его? К сожалению, адрес и фамилия женщины, которая принесла этот дневник в газету, затерялись.

Мы обратились по радио с просьбой откликнуться — кто знает что-либо о Юре Рябинкине? Среди нескольких писем пришло письмо от Татьяны Улановой. Девичья фамилия ее была Трифонова. В семье Трифоновых и хранился дневник Юры Рябинкина. Она писала нам: «Родители мои не хотели отдавать дневник — боялись, что он просто потеряется, а для них он много значил: папа воевал на Волховском фронте, мама сама пережила блокаду, ей было только на два года больше, чем Юре. От голода умерли мамины отец, сестра, племянники… Поэтому Юрин дневник был очень дорог моим родителям. Но я убедила их, и вот дневник начал новую жизнь… Может, это смешно, но я была счастлива, слушая ваше выступление. Но, с другой стороны, мне было неловко: я, не желая того, ввела корреспондента, который приезжал к нам в школу, в заблуждение. Я точно не помнила и сказала, что дневник попал к нам от Юры. На самом деле было несколько иначе. Моя бабушка Трифонова Ревекка Исааковна работала в туберкулезной больнице патронажной сестрой, и однажды ей пришлось везти в больницу (это было на Вологодчине в 1942 году. — А. А., Д. Г.) умирающего учителя из деревни Клипуново Лежского района, и жена этого учителя дала ей этот дневник почитать в дороге, чтобы нескучно было. Учитель уже не мог говорить и в больнице умер. Дневник остался убабушки. Как он попал

к учителю, жена его не знала. Бабушка думает, что Юру, наверное, вывезли из Ленинграда и он попал в какой-нибудь детприемник в Лежском районе и скорее всего там и умер, ведь многие приезжали из Ленинграда на грани жизни и смерти. Может быть, такое уточнение и мелочь, но лучше исправить ошибку, которую я внесла в историю дневника.

Помню, папа говорил, что было две тетрадки, но вторая давно куда-то делась. То ли ее «зачитали» (мои родители много раз перечитывали сами и давали читать другим), то ли потеряли при переездах. Сначала дневник был у бабушки в Вологде, потом в нашей семье в Ленинграде… Вот все, что мне известно».

Написали мы в Вологду Трифоновым. Оттуда пришло письмо, где повторялась вся эта история, рассказанная Татьяной Улановой, про самого Юру ничего Трифоновы не знали, достались им лишь его тетрадки. Естественно, нас очень интересовало, что было во второй тетрадке. В письме из Вологды сообщали:

«Теперь о второй тетради. Это была обыкновенная школьная тетрадь в шесть листов, тоже немного обгорелая и чем-то залитая. Но она не была непосредственным продолжением первой. Записи занимали 2–3 страницы. Это были бессвязные предложения и многократно повторяющиеся слова «хочу есть, хочу есть, умираю», написанные крупными буквами уже не по линейкам. Дат в этой тетради не было. Не могу объяснить, как потерялась эта тетрадочка… Вот и все, что мама может вам рассказать».

И эти подробности были важны. Заметим, что дневник этот в семье Трифоновых перечитывался. К нему возвращались. Он был как бы семейной реликвией, этот дневник незнакомого ленинградского мальчика. Может, оттого и сохраняли, сберегали все эти годы.

Но более дневника нас интересовал сам Юра: что с ним произошло? Никто из друзей его не откликнулся, да и вряд ли они что-нибудь могли знать. По некоторым сведениям, сестра Юры была жива. Мы стали разыскивать ее. Нам помогла Алла Алексеевна Белякова, и вскоре выяснилось, что Ира Рябинкина живет в Ленинграде, она учительница, преподает в школе литературу, фамилия у нее другая, по мужу… Мы списались, созвонились и не без некоторого душевного стеснения отправились на эту встречу.

Мы столько вчитывались в Юрин дневник, так сжились с Юрой, с его семьей, что теперь опасались… Чего? Разочарования? Забвения? Несоответствия? Да мало ли! Было странно и даже удивительно, что вот спустя почти сорок лет можно что-то различить и высмотреть среди братских могил блокады, трупов, сваленных штабелями. Что еще есть люди, и в Вологде и здесь, которые помнят, которым все это важно… Остается все же след. Какой-то след от каждой жизни. И от этой короткой, шестнадцатилетней, несостоявшейся… Впрочем, что значит несостоявшейся? Как судить, состоялась жизнь или нет? Не по количеству же прожитых лет…

Оказалось, что Ира, ныне Ирина Ивановна, волновалась больше нашего. Маленькая тоненькая женщина, хрупкая на вид, встретила нас с непонятным напряжением, почти испугом, хотя при этом было видно, что нас ждали, в этой уютной квартирке к нашему приходу был накрыт стол, приготовлены угощения. И муж Ирины Ивановны и дочь-студентка смотрели настороженно, словно ожидая от нас неприятностей. Все это было странно. Кроме волнения, которое обычно вызывают блокадные воспоминания, присутствовало тут нечто иное.

Поначалу Ирина Ивановна не хотела ничего рассказывать, ссылаясь на то, что тяжело вспоминать и не хочется, чтобы писали о ней, да и о брате тоже.

Мы доказывали, что жизнь Юры Рябинкина и его дневник как бы принадлежат истории, что публикация дневника в какой-то мере памятник брату, а главное, что для молодых читателей важно понять, почувствовать жизнь подростка в блокаде… Все доводы она понимала не хуже нас и уступила не потому, что мы ее убедили, а с какой-то иной, неизвестной нам мыслью. Она стала рассказывать:

«— От улицы Дзержинского до Адмиралтейства — все это мой район. И Банковский и Юсуповский садики. Это мои родные места по детству. Если есть возможность, я всегда стараюсь сейчас проходить мимо… Мы жили на улице Третьего июля, дом тридцать четыре, квартира два. У нас была все-таки разница в восемь лет с братом, и близости поэтому не было, не успела возникнуть… но сестренкой я была единственной, хотя и маленькой. Он, конечно, меня не нянчил. Была у нас до войны домработница, приходящая, дома всегда суп был, всегда варили суп, каждый день. Даже сейчас мы этого не успеваем, а для меня детство — это суп каждый день. Война меня застала в Юсуповском саду. Мы катались там с горки, и вот я услышала крики: «Война!» Все побежали… Был солнечный день. «Молотов выступает!» Я не знала, что это за Молотов, который выступает. Толпа у громкоговорителей. Это я помню. А дома никого не было. Потом пришла мама, А Юра был всегда в кругу ребят, его часто не было дома. У него была отдельная комната. У нас была квартира: вход со двора, коридор, кухня, столовая, спальня, Юрина комната.

— Вы помните И., своих соседей?

— В войну И. был управляющим трестом. Анфиса, его жена, умерла после войны. Это мне сказала соседка Мария Васильевна. Умерла, не эвакуировалась. А его дома никогда не было. Ее я помню, яркую молодую женщину. Остался ли Юра с ними или нет, не знаю. Я написала письмо в этот дом, чтобы узнать, как все это случилось… Дело в том, что последние дни он лежал, не мог вставать. Я не скажу, что мне все отдавали. Мама делила паек, но Юре не хватало. Он правильно пишет, что мама съедала первая свой кусок, а я, — может быть, потому, что была мала, мне надольше хватало. Я помню, как он лежал, отвернувшись, на диване. Разговор постоянно шел об эвакуации. Зимой, особенно в декабре, январе, все надежды были на эвакуацию: «Если обком… Если нам разрешат…» И вот, помню, мама уже принесла теплую одежду: стеганые штаны, стеганую фуфайку для Юры, кроме того, давали типа летного шлема стеганые шапки, принесла две шапки — для себя и для него. Я помню, облаченная во все это, мама помогала ему встать. Мне и в голову не приходило… Я и не смотрела… Вот он встал. Мы жили тогда на кухне. Кухня была большая — плита с медными перильцами и сбоку в таком «кулечке» стеклянном вода, которая при топке плиты согревалась. А рядом был большой сундук, у которого крышка поднималась, образуя деревянную спинку. Я больше таких не видела. Туда все можно было класть… Юра встал, прислонившись к этому сундуку, опираясь на палку, но идти не мог, не мог оторваться и стоял вот так, согнувшись, изможденный… Я помню это точно… Я все время чувствую себя виноватой, потому что я-то живу, я же понимаю это…

У нас были саночки, на них положили чемодан, в нем было столовое серебро (несколько вилок и ложек серебряных — все наши драгоценности), помню Юрин набор открыток из Третьяковки (их было у него много, чуть ли не сотня), их мы тоже с собой взяли (потом в детприемнике у меня их выпросили), затем какие-то одежки — все это взяли с собой. И вот я сзади санки толкала. А Юра остался дома: мама не могла его посадить, видимо, не могла, а идти он не мог. Не свезти было, видимо, его, я не знаю… Это был январь сорок второго. Ехали мы в эшелоне долго. Я помню эту товарную теплушку. Да, а когда мы к Московскому вокзалу добирались пешком по Невскому, мама порывалась все назад, за ним: «Там Юрка остался! Там Юрка остался!» Я плакала, конечно. Как только сели, теплушка почти сразу дернулась, и мы поехали. Поехали мы к Ладоге. Я отчетливо помню, как мы переезжали Ладогу.

— А как дневник Юры попал в Вологду?

— Вот в том-то и дело! Я получила из Морозовки телеграмму от тети: «Ира, прочти обязательно «Смену»…» Я разговаривала с этой женщиной из Вологды, я ведь поехала в Вологду узнать…

— Если бы Юра остался в Ленинграде, то и дневник бы ведь остался здесь?

— Видите ли, Вологда была перевалочным пунктом…. Читаешь дневник, особенно последние страницы: «Я хочу жить, хочу хлеба…» Я помню его темперамент. Мне кажется, его вывезли. Если бы он почувствовал, что может жить, то выжил бы. Мы добрались до Вологды. И вот я на вокзале… Столько лет прошло, а я помню: диванчик, маму и себя на этих узлах. Я когда теперь приехала в Вологду, увидела это место, столько лет спустя… Когда мы тогда приехали, нам дали по глубокой тарелке пшенной каши с кусками мяса, нарезанного кубиками. Целые две тарелки! Затем выдали талоны, и вот мама несет целую буханку хлеба, которую у нее ночью утащили из-под головы. А часов в шесть утра она лежала уже с пеной, с закрытыми глазами. Она умерла на этой скамейке. Мама умерла двадцать шестого января. Тетя Тина говорила, что опухоль дошла до сердца — и мама умерла. «Антонина Михайловна, сорок лет. Причина смерти — истощение» — сказано в справке. Значит, до двадцать шестого января мы все ехали, ехали. Мы останавливались, но нигде не жили. Меня отправили в детприемник, потом в детский дом, в котором я находилась с одиннадцатого февраля сорок второго года по сорок пятый год, а потом вернулась в Ленинград. Это меня тетя Тина взяла. Детский дом находился в деревне Никитской, сейчас это в четырех часах езды от Вологды, да еще надо было двадцать один километр идти лесом. И вот тетя Тина в сорок пятом году в шинели, с вещевым мешком за плечами пешком шла двадцать один километр за мной! Она вывезла меня в Ленинград. А эвакуировались мы примерно восьмого января из Ленинграда и двадцать шестого прибыли в Вологду».

Примерно таков был первый сбивчивый нервный рассказ Ирины Ивановны, временами слезы мешали ей, прерывали речь, кроме того, присутствовало в нем какое-то беспокойство добавочное, уже сегодняшнее, какая-то тревога болезненно-сосущая.

Мы полагали, что Ирина Ивановна боялась за мать, как бы мы не подумали про нее плохо… «Я понимаю, я вас понимаю», — предупреждая наши вопросы, говорила она. Но какие могли быть вопросы? Если мать, Антонина Михайловна, умерла, как приехала в Вологду, в ту же ночь, и никакое питание уже не могло ей помочь, то, значит, она ехала умирающей, значит, процесс дистрофии уже был необратим, значит, уезжала она из Ленинграда смертельно пораженная голодом, с сознанием, затянутым пеленой, и лишь чувство материнства, эта нечеловеческая сила двигала ею, тревога о дочери раздувала гаснущую жизнь, раздувала до тех пор, пока ехали, а как доехали до пункта назначения, до Вологды, — все кончилось, все погасло, она слегла и умерла. То, что она добралась, довезла Иру, — чудо материнской преданности. А то, что на Юру сил на хватило, так кто же решится винить ее за это? Разве только не понимающий, не желающий вдуматься в то блокадное существование человек. Сознанию сытого человека, конечно, трудно опуститься в тот мир, а до конца постигнуть его почти невозможно. Потому так тверда народная поговорка: сытый голодного не разумеет!

Рассудок матери, Антонины Михайловны Рябинкиной, был уже схвачен дистрофией, видимо, отчетливость восприятия померкла, но и сквозь это помутненное сознание пробивалось единственное — она сына оставила! По-видимому, она предполагала усадить дочь в вагон и вернуться за сыном, привезти его. Чтобы доставить обоих на вокзал разом — Юру-то ведь надо было везти на санках, — таких сил у нее уже не было.

Поезд тронулся сразу… А если бы и не сразу, и тогда, пожалуй, у нее не хватило бы сил вернуться. Повторяем — ведь сама она умирала. Всю дорогу до Вологды умирала. Питание уже было, а не помогло, умирала в тоске, в разрыве души оттого, что остался сын. Может, и корила себя за бессилие. Она корила себя, а мы не можем.

Все это возникало из рассказа Ирины Ивановны, хотя об этом она старалась говорить поменьше потому, что было бы оскорблением памяти матери оправдывать ее, защищать ее.

«Что я помню — это его увлечения. В его комнате был чертежный стол, чернильница,

зеленое вольтеровское кресло, посредине — бильярд (на котором постоянно играли мальчишки), конструктор черный с дырочками. Меня, восьмилетнюю, он, конечно, редко удостаивал… Иногда они даже устраивались в столовой: завешивали чем-то стол, под ним что-то делали; рисовал карты (которые сам придумывал) на листе ватманской бумаги. Это, как я сейчас понимаю, была физическая карта — океаны и моря кругом. Приходили мальчишки, играли во всякие бои… Дома была приличная библиотека. Юра ходил во Дворец пионеров в кружок истории и в шахматный кружок. Маме говорил академик Тарле: «У вашего сына большое будущее. Берегите его!» Девочек у Юры еще не было. Были товарищи — Штакельберг и Миша Чистов (Чистовы жили внизу).

Моя тетя Тина прожила без семьи. Она по современным понятиям человек неприспособленный, непрактичный, непробивной. Она обычно говорила мне: «Одно дело — мать, отец, но ты сама должна из себя что-то представлять».

Мы вернулись в Ленинград в сорок пятом. Тетя жила в Морозовке. Я пришла на старую квартиру, увидела кое-что: Пушкина увидела, Юрину чернильницу (она есть у меня и сейчас), альбом увидела старый с фотографиями. Эти вещи взяла. А туалет, мебель — мне было уже не до того. Я их узнала, но к следующему моему приходу это все уже исчезло. Я не знаю, может, мама успела их продать, ничего не хочу говорить.

Отец матери (Ирина Ивановна показывает рисунок деда: великолепно сделанное пасхальное поздравление — растительный орнамент с надписью «Христос воскрес! Привет вам, дорогая жена и дочери». — А. А., Д. Г.) окончил Высшее артиллерийское училище и в гражданскую войну был офицером Красной Армии, заместителем начальника артиллерийской базы Западного фронта. Он — Панкин Михаил Степанович (показывает фотографию офицера-артиллериста с усами. — А. А., Д. Г.) — выдавал «Авроре» снаряды. Я узнала от Юры, что дед в гражданскую войну погиб в городе Буй от сыпняка. А вот мой прадед, тоже военный, это бабушка, его жена (показывает фотографию. — А. А., Д. Г.). Мама окончила гимназию, и тетя Тина окончила гимназию. А потом мама окончила переводческие курсы. Тетя Тина родилась в 1895 году в Петербурге».

Интонация какой-то виноватости не исчезает из голоса Ирины Ивановны. Откуда это? Неужели от сознания, что вот она жива, а Юры нет, что ее спасли, а Юру оставили?

Все же как дневник Юры мог попасть в Вологду? — пытаем мы снова и себя и ее. Вопрос этот самый болезненный для Ирины Ивановны. В нем-то, видимо, состоит главная причина ее тоски, ее тревоги. Этот вопрос терзает ее с того дня, как обнаружился дневник Юры, то есть когда напечатали кусок из дневника в «Смене». Она прочла, прибежала в редакцию, попросила этот дневник и узнала, что он был у Трифоновых в Вологде. С этого момента и грызет ее неотступно: как дневник попал в Вологду, каким образом? а что, если вместе с Юрой? тогда что же?..

Она прерывает себя и рассказывает что-то про тетю Тину, показывает автобиографию, которую Тина записала на память, оставила записки о своем роде, о себе и о предках своих для семейного архива:

«…Работала в городе Вязьме на эпидемии сыпного тифа. В 1921 году вернулась в Ленинград для окончания института. В 1923 году окончила, работала в Ленинграде, затем в больнице имени Морозова, в Морозовке, на берегу Ладоги. Работала терапевтом, заместителем главного врача. Мобилизована в войну в эвакогоспиталь, где работала по 1945 год. Была в Белоруссии, в Восточной Пруссии, награждена орденом, медалями».

Наш разговор уходит в сторону, петляет, но и мы и Ирина Ивановна все время держим в уме те январские дни…

«— У Юры было плохое зрение. Мама знала, что плохое, но не знала, что до такой степени.

Он это скрывал. Он много читал. У нас было много периодики. Были комплекты «Вокруг света», приключенческая литература. Мальчики, его друзья, любили устраивать игры в коридоре. Там стоял огромный шкаф, около шкафа ширма, там были маски рыцарей, папки… Как они не покалечились? Помню, Юра писал какие-то рассказы. Маму вызывали в школу и говорили, что он плохо ведет себя на математике. Мама говорила — а вы давайте ему больше задачек. Потому что он решит задачки раньше всех и ему скучно…

— Что означает в дневнике детская карточка, о которой беспокоится Юра? Речь идет о вашей карточке?

— Наверное. Детская карточка тогда имела преимущество. По ней давали печенье. Но я тогда ничего не знала об этом, я впервые вычитала об этом теперь у Юры в дневнике.

— Был ли кто у вас в семье верующим?

— Нет, конечно, и мама и тетя Тина не верили. Тем более, что мама была членом партии. У нас на кухне висела красивая икона, наверное от бабушки. Юра еще застал бабушку. И дедушку. Возможно, по воскресеньям они водили его в церковь. Там хорошо пели. Может, у мамы он спрашивал. Мама в партии была с двадцать седьмого года. Ее исключили в тридцать седьмом году в связи с отцом, после его ареста.

— Но она была восстановлена?

— Кажется. Не знаю. Возможно. Потому что в Вологде, когда мама умерла, меня взял милиционер, посадил к себе на колени, и он, я помню, писал какую-то бумагу, наверное акт или протокол, и булавкой подколол к бумаге красную книжечку…

— А что вы помните об отце?

— Я помню один его приезд. Он приезжал из Карелии. Он был переведен туда в тридцать четвертом году, в тридцать седьмом его арестовали там, в Карелии, а выслали под Уфу, где он и умер в войну… Ничто нас не обошло. Вся история прошла через нашу семью — со всеми войнами, бедами. А мама работала последнее время во Дворце труда, она ведала какими-то библиотечными фондами. Она комплектовала библиотеки. Я мало что тогда понимала в этом. Мама знала языки. Французский — свободно, еще немецкий и польский. Она была глубоко интеллигентный человек. Когда я прочла у Юры, что мама его бьет, то ничего не поняла. У нас в семье никого пальцем не трогали. В Юрином возрасте, конечно, все обостренно воспринималось, только так я могу объяснить…

Зная маму, все, что у меня осталось от нее… самое… самое… — И вдруг она, Ирина Ивановна, сказала: — Его на самолете вывезли. Почему-то у меня такое мнение.

И посмотрела на нас со страхом. Мы промолчали. Тогда она сказала:

— Мне не дает покоя мысль… Подспудно… А вдруг он жив? Странно, да?

Мы слушали ее со всей серьезностью. И она заговорила с жаром:

— Если вывезли, то у него при его жажде жизни, почувствуй он только, что можно выжить, хоть один шанс был бы остаться в живых, он бы использовал. А что, если… он выжил?.. Но он же должен был тогда… он же знает все адреса, он бы нашел… Хотя бы меня… Но, с другой стороны, при его юношеском максимализме. Пережить такое! Ведь он же иначе расценивал. Как предательство… Что его оставили. Но это не может на меня… Верно? Что с меня взять? Я была тогда ребенок… Но иногда мне кажется — а вдруг!.. Он, может, рассуждает: если я тогда не объявился, что ж теперь объявляться…»

Вот, оказывается, в чем ее главная мука. И это, значит, не отпускало ее с тех пор, как обнаружился дневник, и обнаружился под Вологдой. Как он туда попал? Несколько лет назад она поехала туда. Но розыски не дали никаких результатов. Никаких следов брата она не обнаружила. Однако это не убедило ее. Надежда слабая, невероятная продолжает до сих пор

теплиться и, видимо, жжет, не дает покоя. Призрачная вина перед Юрой, которую может взять на себя лишь совестливая душа, заставляет ухватиться за эту немыслимую версию: а вдруг? а что, если?..

Мы ничем не могли помочь Ирине Ивановне, ни разуверить, ни опровергнуть, ни подтвердить. Мы перебирали варианты, при которых дневник Юры мог оказаться под Вологдой: Юру подобрали в квартире комсомольцы бытовых отрядов, они тогда ходили по квартирам, отвезли в госпиталь, он там умер, и кто-то из сестер, или врачей, или соседей по палате подобрал его дневник, уехал с ним в эвакуацию… Дневник-могли подобрать самые разные люди — и те, кто хоронил Юру, и те, кому Юра сам отдал дневник перед смертью. Многих ленинградцев эвакуировали тогда именно на Вологодчину. А может быть, это И. снесли Юру вниз, в кочегарку, где было потеплее?.. Бывшая соседка Ирины Ивановны утверждала, что произошло именно это. Не там ли, в кочегарке, обгорели дневник и тетрадь Юры? Там ли, в другом ли месте, Юра все писал: «Хочу есть… хочу есть… есть…» (во второй, пропавшей тетрадке) — а что было дальше, мы не знаем.

Ни один из возможных вариантов, казалось, не оставлял сомнений в Юриной гибели. Но сестра продолжала надеяться, она не отпускала от себя эту надежду, и наша логика тут была бессильна. Было жаль ее, мы и сострадали, и печалились, и гордились, и тоже хотели чуда.

Мы слушали эту женщину, мы видели через ее рассказ большую когда-то семью Рябинкиных и за нею семью Панкиных — семьи потомственных питерцев, русских интеллигентов, где не сразу и нелегко соединилось петербургское с ленинградским. Ирина Ивановна помогла нам увидеть что-то в Юре Рябинкине, да и его самого не изнутри, не глазами дневника, а как бы со стороны, другими глазами — то, чего нам так не хватало. Через нее лучше стало видно, откуда у Юры эта работа совести, истоки роста его души.

Стойкость Юры Рябинкина кажется порой нестойкостью: голод справляется с нею, проламывает ее то тут, то там. Но она возрождается. С еще большей требовательностью к себе восстанавливались его забота, любовь, его стыд, доброта. Он страдал от голода, морозов, от вшей, но при этом он страдал от стыда, его одолевала любовь к близким, ненависть к врагам, он мечтал, ему снилась победа. Как животное, он уступал инстинктам, готов был грызть дерево, ремни; как человек, он держался за книги, семью, навыки культуры, за красоту, за мысли, которые не могли ужиться с происходящим. Это противоречие проникало в душу из глубин, которые никогда раньше не затрагивались жизнью. Жажда самосохранения не могла разрушить в нем человека. Когда давление голода и страха становилось велико, перегородки рушились, но затем с отчаянием и упорством он их восстанавливал.

Благодаря Ирине Ивановне мы многое узнали о Юре, хотя и не узнали о том, как погиб он и как уцелел его дневник. Тайная и упорная вера Ирины Ивановны стала захватывать и нас.

Мы хотели выяснить обстоятельства смерти Юры. Вместо этого мы обнаружили совсем иное — затаенную веру Ирины Ивановны в то, что он живет среди людей. Слабая надежда его сестры не убедила нас, но что-то произошло — Юра действительно перестал быть для нас мертвым. Обостренное чувство вины — вот я живу, а он погиб — создало эту зыбкую надежду. Пока в ком-то существует это совестливое чувство, человек не может быть мертвым в том извечном понимании этого смысла, к какому мы привыкли.

«Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем». Безжалостны библейские слова. Они не оставляют утешения. Они, как ни странно, как бы уводят от веры, от надежды на вечность человеческой души. Но так ли бесспорна их суровость? Сохранилась же доля Юры в

мыслях, чувствах, любви пусть немногих, хотя бы нескольких людей. Заставляет же он работать любовь и совесть его сестры: вот я живу, а он… Что-то и в нас, читавших Юрин дневник, узнавших Юрину жизнь, вошло и поселилось. То же томящее чувство вины. Но мы-то в чем виноваты перед Юрой? А та восьмилетняя Ирочка — в чем? Но ведь живет она с этой виною.

Когда мы решили ввести Юрин дневник во вторую часть «Блокадной книги», была у нас надежда поставить как бы памятник ленинградскому мальчику, одному из десятков тысяч. Стремление это казалось нам благородным и справедливым. Вдруг возник вопрос: поставить памятник — и что дальше? Поставить и освободиться? Поставить, чтобы освободиться? Но в том-то и дело, что освободиться не удалось. Юра вошел в нашу жизнь и остался в ней.

Сколько их среди нас! Тех, чье присутствие мы чувствуем. Или чье отсутствие. Памятники, и литературные в том числе, нужны не для того, чтобы освободить. А чтобы привязывать навсегда.

9 мая, в День Победы, ленинградцы, тысячи их, идут на Пискаревское кладбище. Семьями идут и в одиночку, старые и молодые. Земляные холмы братских могил уже свободны от снега, прошлогодняя трава распрямилась. На темную ее жухлую зелень люди кладут цветы, а некоторые кладут конфеты, папиросы, хлеб, маленький кусочек хлеба. Где-то тут, может быть, лежит Юра Рябинкин. А если он не здесь, то все равно каждый из похороненных здесь нуждался в этом куске хлеба.

Юра Рябинкин страстно желал жить. Порою кажется, что короткая, незавершенная его жизнь хоть в чем-то ищет продолжения. И после гибели его эта жизненная сила как бы пребывает нерастраченной. Он не сумел до конца понять, за что, почему ему пришлось погибнуть, не успев осуществить себя, как ему казалось, ни в чем. Но остался его дневник и через дневник — его страстное томление по жизни.

Блокадный город, где он — город потерь, город нашего страдания, с пустырями разобранных, сгоревших домов, развалин, затаенный город невозместимых утрат, неосуществленных жизней, непроросших семян? Этот город не разглядеть. Раны залечивались быстро, шрамов не оставалось. Город возвращался к нормальной жизни с энергией неистовой, словно бы накопленной за девятьсот блокадных дней. Не осталось ничего, не оставляли ничего, словно бы воды сомкнулись. Много позже спохватились — что же показать детям, что увидят внуки? Восстановили синюю надпись на Невском: «Эта сторона улицы при артобстреле наиболее опасна».

Передний край обороны обозначили памятниками, соорудили Зеленый пояс Славы, а новые кварталы уходят все дальше и дальше за бывшую линию фронта. Примерно то же самое произошло с памятью о блокаде — она уходит внутрь, как древесные кольца в ствол дерева.

Старый особняк на Васильевском острове, «Аврора» на вечной стоянке, белые ночи — из чего слагается красота этого города? Для новых поколений блокада вошла в образ города, придала красоте его трагическую силу.

Время собирать камни, время разбрасывать… Когда наступает время разбрасывать камни? Наше время — если говорить также и о блокадной памяти Ленинграда — это время (упущенное изрядно) собирать. Собирать глыбы народной памяти. Мы тоже этим занимались все последние годы, собранное и отобранное сложили в то, что назвали «Блокадной книгой». И свой «раствор» положили для лучшего сцепления, связки — тот, который, как известно, всегда выветривается, рассыпается первым: оценки людей и времени, характеристики.

Единственное в чем мы были уверены, так это в самоценности «материала», который определил и сам характер, жанр книги. И даже если постройка зашатается, начнет оседать и рушиться под напором времени — нет, не нам жалеть или жаловаться. Будущее иногда бросает камни в прошлое. К этому всегда следует быть готовыми. Готовыми к тому, что, собирая

«камни» правды о себе и о своем времени, приготавливаешь их и для себя. Но так уж устроен человек — боль правды, всей правды для него в конечном счете важнее, дороже сомнительного «блаженства» неведения или лжи.

…Мы завершили свою долгую работу со странным чувством, все с тем же неотступным вопросом: зачем, ради чего оживили мы этих давно ушедших людей, их давние муки и боль? Мы много раз отвечали себе на этот вопрос и до конца все же не знали ответа, но в одном мы утвердились: это надо было сделать. Все это было, и живущие люди должны об этом знать.

Librs.net

Данная книга была скачана с сайта Librs.net.

notes

Примечания

1

Жуков Г. К. Воспоминания и размышления, т. 2. Изд. 5-е. М., 1983 с. 169.

2

История Коммунистической партии Советского Союза, т. V, кн. 1. М., 1970, с. 220.

3

Правда, 1944, 28 января.

4

Правда, 1957, 23 июня.

5

Здесь и далее примечания авторов.

6

ДЛТ — Дом ленинградской торговли, универмаг.

7

Спустя три месяца после того, как была сделана эта запись, Лора Михайловна Опахова умерла. Блокада, даже отпустив, «своих» находит.

8

Баркулабовская летопись. — В кн.: «Помнікі старажытнай беларускай пісьменнасці». Мінск, «Навука і тэхніка», 1975, с. 145.

9

Жозуа де Кастро. География голода. Сокр. пер. с англ. М., «Иностранная литература», 1954, с. 31.

10

О немецко-фашистском варианте использования этого оружия Жозуа де Кастро писал: «»План организованного голода», осуществлявшийся третьей империей, имел солидную научную базу и совершенно определенные цели. Это было мощное оружие войны, обладавшее большой разрушительной силой, которую нужно было использовать в самых широких масштабах и с максимальной эффективностью. Именно так и поступали немцы, отбросив всякую сентиментальность и манипулируя продовольственными поставками в соответствии с конкретными целями этой разновидности «геополитики голода», как назвал бы такой план Карл Гаусговер и его клика немецких геополитиков» («География голода», с. 315).

11

Основной белковый компонент молока и молочный продуктов.

12

«Положение здесь будет напряженным до тех пор, пока не даст о себе знать наш союзник — голод», — записывал Ф. Гальдер, начальник немецкого генштаба (Гальдер Ф. Военный дневник, т. 3, кн. I. Воениздат, 1971, с. 360).

13

К. Н. Сербина любезно сообщила нам фамилию докладчика: Сергеенко Мария Ефимовна.

14

Ничего, кроме этого инициала, в заголовке принесенных нам записок нет. Фамилию автора установить не удалось.

15

900 героических дней. Сб. документов. М. — Л., «Наука», 1966, с. 47.

16

Врач Б. Прусов написал нам, что в рассказе А. И. Дубровского есть неточность: одна из троих — Поздняк — была ранена, но осталась жива.

17

С. А. Пржевальский умер в 1977 году — до того, как был напечатан его рассказ.

18

Г. А. Князев жил неподалеку от Архива АН СССР, на 7-й линии Васильевского острова, д. 2 — дом Академии наук. Он ездил в инвалидной коляске, ноги были парализованы.

19

Известное в Ленинграде ателье.

20

После публикации в журнале «Новый мир» мы получили письмо от Д. Г. Басаневской, где она пишет: «Я очень хорошо знала Николая Васильевича Лебедева (а не Ивановича, как написано)… это был замечательный человек и врач…»

21

1 Мая немцы особенно яростно обстреливали город.

22

Мы встретились с Ольгой Николаевной Мельниковой-Писаренко, когда она работала в музее «Дорога жизни».

23

М. Ф. — Мария Федоровна, жена Г. А. Князева; она-то любезно и передала нам дневник покойного мужа и многое помогла понять личности и трудах Георгия Алексеевича.

24

Заметьте, Г. А. Князев предугадал, как эта война войдет в нашу историю — Великая Отечественная.

25

Многие фамилии полностью не публикуем, поскольку оценки людей могли быть случайными, продиктованными неясностью ситуации или минутным настроением.

26

Тина — Валентина Ивановна, тетка Юры, сестра его матери.

27

Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом).

28

Список длинный, из экономии места мы его опускаем.

29

Отточием в скобках обозначены непрочитанные места: страницы дневника обгорели, иные стерлись.

30

Так Юра называет неизвестную ему Ельню.

31

Рассказы о ракетчиках были характерными для тех дней слухами, порой сильно преувеличенными, что и понятно в тех условиях. Не раз, когда мы пытались выяснить подробности, оказывалось, что случай не подтверждается.

32

Видимо, Юра имеет в виду К. Е. Ворошилова.

33

Ни такого приказа, ни уличных боев в Ленинграде, разумеется не было.

34

Мать Юры по документам была Антонина Михайловна, ни в жизни ее звали Нина Михайловна.

35

Переживать стихотворение (нем.).

36

Отдельный городской батальон.

37

«Военно-исторический журнал», 1977, № 2, с. 45–46.

38

В устном рассказе Лидия Георгиевна уточнила: соседка ей посоветовала, получишь, дескать, три карточки и выбери, кого спасать, кого хоронить — мальчика или дочурку, иначе все погибнете. Сама она так поступила. Выбрала и стала спасать старшего — мальчика. Девочка плакала несколько дней, Лидия Георгиевна не могла слышать это, подкармливавала, но что она могла со своими граммиками.

39

Приблизительно столько жителей было эвакуировано из Ленинграда в 1942 году — в тяжелейших условиях.

40

Вероятно, В. П. Безобразова имеет в виду стихотворение В. Инбер «Пушкин жив», написанное 5 июня 1943 года.

41

Институт истории материальной культуры.